

Владимир  
Кантор  
Крепость

Владимир  
Кантор  
Крепость







Владимир  
Кантор  
**Крепость**



Летний  
сад  
Москва  
2015

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)6-4  
К19

**Кантор В.К.**  
К19 Крепость. Роман. — М. :Летний сад, 2015. — 592 с.

ISBN 978-5-98856-212-2

© Кантор В.К., 2015  
© Летний сад, 2015



*В романе «Крепость» известного отечественного писателя и философа, Владимира Кантора жизнь изображается в ее трагедийной реальности. Поэтому любой поступок человека здесь повелевается высшей ответственностью — ответственностью судьбы. «Коротенький обрывок рода — два-три звена», как писал Блок, позволяет понять движение времени.*

*«Если бы в нашей стране существовала живая литературная критика и естественно и свободно выражалось общественное мнение, этот роман вызвал бы бурю: и хулы, и хвалы. <...> С жестокой беспощадностью, позволительной только искусству, автор романа всматривается в человека — в его интимных, низменных и высоких поступках и переживаниях. А в общем основные темы просты и жутковаты: любовь, насилие, смерть», — так анонсировало этот роман издательство имени Сабашниковых в 1992 г.*

*К сожалению, по независящим от автора и издательства обстоятельствам, роман так и не вышел в те годы. Первая его публикация состоялась в 1996 г. в журнале «Октябрь» (очень сокращенный журнальный вариант). Эта публикация, однако, обратила на себя внимание критики, роман был номинирован на премию Букера. В 2004 г. расширенный (хотя по-прежнему неполный) вариант романа отдельным изданием вышел в издательстве РОС-СПЭН, имел рецензии, хотя, как кажется, публику могло смущать, что художественный текст был опубликован в сугубо научном издательстве (серия «Письмена времени»), где место отводится не собственно прозе, а дневникам, мемуарам etc. Тем самым «Крепость» (как писала критика) стала в восприятии публики прежде всего «документом эпохи», а ее художественное начало поневоле отошло на второй план.*

*Предлагая вниманию читателя новое издание «Крепости» в авторском, полном варианте, наше издательство уверено, что роман будет прочитан людьми, сохранившими вкус к высокой трагедийно-философской прозе.*



Отче всеблагий, неужели отворишь взоры свои от скончевающего бедственное житие свое мужественно? Тебе, источнику всех благ, приносится сия жертва. Ты един даешь крепость, когда естество трепещет, содрогается. Се глас Отчий, взывающий к себе свое чадо. Ты жизнь мне дал, Тебе ее и возвращаю; на земли она стала уже бесполезна.

*А.Н. Радищев.* Путешествие из Петербурга  
в Москву

Я глядел во все стороны, ожидая увидеть грозные бастионы, башни, вал; но ничего не видал, кроме деревушки, окруженной бревенчатым забором. <...> «Где же крепость?» — спросил я с удивлением. — «Да вот она», — отвечал ямщик, указывая на деревушку, и с этим словом мы в нее въехали.

*А. С. Пушкин.* Капитанская дочка





# Глава I

## Урок литературы

Лучше в дом не пустить,  
чем выгнать из дому гостя  
*Овидий*. «Скорбные элегии».  
Кн. V. Элегия 6.

**П**розвенел звонок, в вестибюле и на первом этаже дребезжащий, громкий; оглушающий даже, а наверху, в старших классах, еле слышный. Но ученик проходящие сорок пять минут не по часам, а телом за десять лет научается отмерять. Поэтому только донеслась первая звоночная трель, все кинулись укладывать тетрадки и учебники в портфели, и защелкали колпачки, надеваясь на авторучки. А боксер-перворазрядник Юра Желватов, с розовыми губами (на нижней белел маленький шрам), с постоянной наглой улыбкой, смотревший всегда поверх учителей, приподнялся, потянулся и зевнул, не прикрывая рта.

«Должен бы взерепениться», — подумал Петя о литераторе. Но тот смолчал, лишь иронически скосил глаза на зевавшего. Он вообще многое прощал Желватову, считая его *представителем простого народа*. «Как учит нас русская классика, — повторял часто литератор, — даже согрешив, русский народ не примет своего греха за идеал и правду. Зато образованный интеллигент не сочтет свой проступок проступком и всегда найдет себе оправдание». Образованным он считал Петю, поэтому относился к нему не очень-то приязненно.

Петя чувствовал к Юрке странное любопытство, хотя избегал всяких возможностей приятельства. И дело не только в том, что Желватов год или два назад пытался ухаживать за Лизой, даже в кино пару раз приглашал, но потом отвалил: слишком высокомерно держала себя с ним Лиза. К Пете Желватов относился снисходительно, почти добродушно, мучительно напоминая ему Валерку, парня из пионерлагеря, который на общем однодневном походе попал в группу с Петей (правда, Петя тогда был первоклассником, а Валерке уже лет четырнадцать стукнуло). Пока шли широкой лесной дорогой, разбились на пары, группки, компании. Петя держался поближе к пионервожатой. Их догнали двое ребят из старшего отряда. Валерка сразу же обратил внимание на Петины

глаза — карие, страдальческие, с выражением мировой скорби и робости, — которые уже тогда нравились девочкам. И, заигрывая с их красивой пионервожатой, Валерка все шутил со своим приятелем Славиком, указывая на беспомощного первачка, тащившегося рядом: «Армяшка?» — «Жопа деревяшка», — отвечал приятель. «Грузин?» — спрашивал, улыбаясь, шутник. «Жопа резин», — следовал отклик. «А может, жид?» — «По веревочке бежит». При этом Петя не ощущал враждебности в их голосе, напротив, даже какое-то дружелюбие. И, как сейчас вспоминал с содроганием, он в ответ расплывался в неосмысленной улыбке. «Слушай, еврейчик, — смеялся Валерка, — ты бы ехал в свое еврейство, а иначе тебя кастрировать придется. Чего ты тут, в русском пионерлагере, делаешь?» Они не знали, Петя это различал в их интонации, доподлинно его происхождения, просто веселились. А он не понимал смысла их угроз, об одном догадываясь: ребята эти не видели разницы между сказанным и сделанным. Но тогда ему казалось, что случись что-нибудь, Валерка бы не дал его в обиду.

Да и потом, после этого похода, относился он к Пете незло и даже покровительственно, играл, например, с ним в шахматы, о книжках беседовал. Возможно, Петя и не запомнил бы Валерку, если бы не увезла того милиция прямо из пионерлагеря за «попытку ограбления с покушением на убийство» учительницы из соседней с лагерем деревни. На общей линейке Валерку исключали из пионеров, начальник лагеря нервничал, говорил, что такие, как Валерка, — выродки и ублюдки, что они держат свои бандитские дела в темноте и в тайне и потому они у них получают, а дневного света боятся, потому что каждый бы остановил их, схватив за руку. Он как будто не знал, что ограбление и удар гирькой по голове были не ради денег, а на спор, и весь лагерь гадал, сделает или не сделает, или только хвастает.

Петя запомнил Валерку, и поэтому при каждом *дружеском* жесте Юрки Желватова отступал, прячась в непонимание, в книги, в свою физику и математику, изображая человека не от мира сего. Да и, в самом деле, чуждо было ему — курить, сквернословить, ходить куда-то компаниями по вечерам. Не умел он этого. Как не умел и не хотел заниматься комсомольской работой, не метил и в спортсмены, будучи физически незакаленным и нетренированным, довольствуясь своим превосходством в учебе, думая про себя, что он, единственный из всех, на самом важном и правильном пути.



Петя чувствовал, что раздражает литератора. И не мог понять, почему. Он старался выполнять все его задания. Но ничто не спасало его от четверок и даже весьма частых троек, хотя все в классе были убеждены, что Петя знает предмет не хуже учителя. Лиза посмеивалась, говорила, что это-то и злит литератора как «интеллигента в первом поколении», ибо свои знания, которые мальчикам из профессорских семей достаются *из воздуха*, он (ухмылялась она) «добывал великим трудом, преодолевая бесчисленные бытовые трудности». Поэтому не стоит на него обижаться. И тем более переживать. Но такое спокойное равнодушие не давалось Пете.

Но после звонка и он поддался стадному инстинкту, вытянул из парты свой невзрачный портфельчик, обтершийся, старый (старался Петя меньше к себе внимания привлекать), и принялся укладывать пенал, книжки, тетрадки. Однако спохватился он все же и тетрадку оставил, а портфель в парту сунул и крышку у парты прикрыл чуть раньше, чем крикнул *Григорий Александрович*, учитель русского языка и литературы:

— Пре-кра-тить! Не кончился урок!

Затем Григорий Александрович неторопливо достал из кармана помятых тexas большой носовой платок, шумно высморкался в него, снова сложил и спрятал в карман, насмешливо поглядел на класс (амплуа у него было такое: молодой преподаватель, разбивающий штампы, — игра в разночинца-народника, в Базарова, грубоватого, хамоватого, резкого, выше всего ставящего правду; это многим импонировало, даже Лизе). Похоже, Герц одного опасался: что «дети потомственных интеллигентов» будут иронизировать над ним. И, напротив, не ждал никакого подвоха со стороны «простого народа». И он тыльной стороной ладони еще раз вытер нос и сказал, по-своему флиртуя с классом и ловя обожающие взгляды:

— У вас в этом году выпускной экзамен. Но мне легче научить Желватова, который ничего не знает и думает, что голова его для кепарика предназначена, чем Вострикова с его профессорской библиотекой. Он из толстых книг чужие мысли мне подсовывает. Но просто всем вам надо внимательнее слушать на уроках, чтобы учиться высказывать собственное мнение, — усмехался Григорий Александрович.

И хотя задел он слегка и Желватова, самый увесистый *булыжник* был брошен в Петю. После слов литератора Петя сжался, потому что не умел защищаться от ударов, нападков и оскорблений,

чувствуя себя слишком большим и неуклюжим, слишком открытым всякому насилию. И стал похож на испуганного, провинившегося первоклассника. «Скорее бы домой, — думал он. — Спрятаться от всех!..» И отвернулся от Вострикова Григорий Александрович, с холодным вниманием уставившись на троицу спортсменов — Юрку Желватова, Витю Кольчатого и молчаливого Костю Телкова.

Разумеется, не сразу прекратился шум в классе: снова доставались спрятанные уже тетради, хлопали крышки парт, готовились ручки. Дольше всех бурчали, и довольно громко, Петя даже поражался, до чего громко, — Желватов и Кольчатый (по прозвищу Змей), знавшие, что раз они школьные спортсмены и любимцы Игоря Сергеевича, учителя физкультуры, то многое им позволено, чего бы другим с рук не сошло. Кольчатый, например, мог после урока обществоведения о социалистическом образе жизни, почти при учителе, как бы себе под нос, но так, что все слышали, ворчать, юродствуя языком: «Это, бля, все вранье. Что мы, ребенки, что ли? Повесили Володькин патрет и думают, что все прикроют им. Па-ду-ма-ешь, пра-ви-те-ли!.. Усатого на них нет! Распродают Расею мериканцам, себе хоромы мастерят, явреям каперативы строят. Гнать их отсюда. Как у себя расположились. Едут и пускай едут! Их кварталы себе приберем. У русского человека где на каператив деньги? Вот в блочных склёпах и живем?» — «Повесить их, на куй, надо, — лениво возражал Желватов. — Не кера русскую землю засорять». Но никто не шил им *политику* и даже хулиганство. Знали все, что Игорь Сергеевич тоже *патриот*, а мальчики эти посылаются им на соревнования, где они борются за *честь школы*. За спортивность и патриотизм прощалось им почти все, даже плохая успеваемость. Правда, на уроках литературы вели они себя помирнее. Поэтому и они стихли. Григорию Александровичу прекословить никто не решался. Стало слышно, как за окном бьется под ветром полуотвалившийся кусок жестяной кровли.

Григорий Александрович был *сильный человек*, с характером. Пете, как и почти всем, было известно, что настоящее его имя — *Герц Ушерович*, но в беседах на эту тему он *никогда не участвовал*. Слишком непростым было его отношение к литератору, да и другая причина имелась, о которой в классе никто не догадывался. В паспорте он писался: Петр Владленович Востриков, русский. Русским он был по матери — Ирине Петровне Востриковой, урожденной Кудрявцевой. Отца, Владлена Исааковича

Вострикова, назвали Владленом в честь *Владимира Ленина* (на западный немножко манер, без отчества). Впрочем, это было в большевистско-революционных традициях семьи: так и полное имя Лины, Петиной двоюродной сестры, сидевшей сейчас с Петиной больной бабушкой, звучало, как *Ленина*. Фамилия Востриков шла от бабушки, Розы Моисеевны. А она говорила, что у ее деда было прозвище *Вострый*, в какой-то момент ставшее фамилией, кажется, при переписи конца прошлого века. Фамилии же Петиного деда, давно умершего, была *Рабин*. В школе никто не знал о Петиной родословной, и сам он, когда заходили *такие* разговоры о литераторе, испытывал неуверенность и чувство страха, избегал их, опасаясь, что и его *раскроют*. И его радовало, когда все сходились на том, что литератор больше похож на латыша, чем на еврея: сероглазый, хоть и кучерявый, но светловолосый, не картавит, грубоватый, решительный и спортивный, не трус и русскую литературу обожает.

Герц и в самом деле был влюблен в русскую литературу, жил ею, каждое слово Толстого или Достоевского, Некрасова или Маяковского казались ему святыней. «Единица — вздор, единица — ноль», — часто повторял он строку «поэта-трибуна», добавляя, что здесь поэт сумел выразить пафос русской культуры с ее стремлением к общинности и соборности. «Да Герц более русский, чем все остальные вместе взятые, — говорила Лиза. — Он и псевдоним взял не из страха, а чтоб с Россией до конца сродниться. Носится с этими русскими идеалами, как курица с яйцом. Теперь вот достал Флоренского и Ивана Ильина, читает, конспектирует. Они, кстати, тоже интеллигенцию недолюбливали. Да ну его совсем». Пете эти имена были неизвестны, а Лизины пояснения не вызывали желания узнать подробнее.

— Григорь Алексаньч! Выйти позвольте! А то живот схватывает! — это пухлощекий рыжий Саша, как и все рыжие в школе живший шутковством, вдруг усиленно потянул вверх растопыренную пятерню.

— Нет! Сядь и слушай! — внезапно рассердился Григорий Александрович, не приняв шутки. И рыжий Саша присел с испугу, но все-таки не удержался и ляпнул:

— Я-то, может, и не выйду, а если из меня что выйдет?! Всем же хуже будет... — однако мигом осекся и прикрыл рот ладонью.

Смягчая строгость, Григорий Александрович постучал костяшками пальцев по столу и принялся расхаживать по классу,



заложив пальцы за брючный ремень. И заговорил, будто не прерывался урок:

— И, наконец, третья тема завтрашнего сочинения... (несмотря на гул из коридора, в классе было слышно царапанье мела, которым записывал он на доске название темы) ...это — «Человеческое достоинство в «темном царстве»». Вот вкратце, что к этой теме нужно вспомнить. Прежде всего, вам необходимо про-ду-мать образ Катерины, это безусловно. Бесспорно, полон человеческого достоинства русский изобретатель-самоучка Кулигин. Им противостоят паразиты, кровососы или, прибегая к народной мифологии, настоящие упыри, вурдалаки, — Кабаниха, Дикой. Даже сами их фамилии говорят, что они представители бесчеловечного мира джунглей, мира чистогана. А предаёт Катерину слабовольный интеллигент Тихон. Такова его роль в этом мире (*эти слова он выделил*). Мне кажется, что из сопоставления всех этих лиц наверняка можно многое извлечь. Также вспомните, что я вам рассказывал про Катерину, вспомните о ее поэтичном детстве среди народных легенд и преданий. Я вам больше ничего повторять не буду, перечитайте саму пьесу, там все это есть. А текст ее надо знать, чтобы хоть что-то приличное написать. И думайте, думайте, сопоставляйте, анализируйте! Вы ведь все же хоть по школьной программе, но что-то читали. Вспомните Татьяну Ларину. В каком-то смысле, по сравнению с ней, образ Катерины есть шаг вперед, она пытается бо-ро-ть-ся за свое человеческое достоинство...

(«бараться», — пробурчал Кольчатый, Телков *пихнул* его в спину, и вся троица, хмыкнув, уткнула глаза в парты, а Григорий Александрович, будто и не слышал этой реплики, продолжал)

...конечно, в сфере семейных отношений. Образ Кулигина тоже чрезвычайно любопытен, ведь говорит он о положении ученого в «темном царстве». Представьте, что Дикой в припадке самодурства и ярости сживает Кулигина со света. Как бы реагировали на такое событие остальные персонажи? Вот вопрос, — он посмотрел на класс, словно тут собрались будущие ученые, физики, математики, изобретатели. Причем смотрел так, словно обращался он ко всем кроме Пети.

...и еще... Я думаю, вам подскажет многое одна лю-бо-пыт-ная мысль Горького. Я бы даже хотел, чтобы вы положили ее в ос-но-ву ваших будущих сочинений. Итак... «Человек... рождается... в сопротивлении... среде...» Слово «человек» надо понимать, разумеется, в

том высоком смысле, какое придавал ему Горький. Тогда сопротивление приобретает значение революции, ведущей к освобождению человека. Ведь само название пьесы — «Гроза» — можно прочитать, как указание на возможную революцию. Говорим же мы: очистительная гроза народного гнева. Вы помните, что в пьесе выведен Кудряш, в образе которого намек на лихого разбойника, Стеньку Разина. Разин ведь тоже был — не будем ханжески скрывать этого, вы не дети уже — женолюб, что не помешало ему стать предводителем народного бунта. Хотя Кудряш помельче, он «лих» только «на девок». Но он из того же теста, что и народные вожди. Разразившаяся над городом гроза, напугавшая обывателей, приводит к гибели Катерину, она не видит, что сила природы на стороне свободы и любви.

Приоткрылась дверь, и голова в кепке просунулась, чем-то или кем-то интересуясь, но увидев Григория Александровича, голова дернулась и исчезла: самый страшный и непосильный предмет в школе — литература.

— Я от вас всего только требую, — заканчивал свою речь Григорий Александрович все тем же спокойным, неторопливым, урочным голосом, — чтобы вы не пересказывали учебника. Сама русская литература есть учебник жизни. Понятно? Проверочное сочинение — не шутка. И не надейтесь, что Григорий Алексанч, мол, требует одно, а для РОНО надо писать по-другому. Проверять сначала буду я и оценки ставить буду как всегда, прошу это запомнить! За казенщину — оценки буду снижать безжалостно. Мне нужно, чтобы вы выявили в сочинении свою личность... Это понятно? Тогда, пожалуй, все. Можете идти па перемену.

Но прежде, чем сам он вышел из класса, бросились к нему отличники: комсорг Таня Бомкина, плосколицая, с рыжими глазами и скудными косичками, и пренизенького роста мальчик, староста класса Сева Подоляк. За ними потянулись хорошисты, а сзади толпились трусоватые троечники и двоечники. Сгрудилась толпа — задавать неискусные вопросы, надеясь, что учет при проверке Григорий Александрович их «живой интерес» к литературе. Таня Бомкина и Сева Подоляк затеяли страстный и взалхлеб спор о жизни. Они являли собой тезис и антитезис, и синтеза у них якобы не намечалось. Поощрял такие споры Григорий Александрович, потому что литература ведь не сама по себе, это «человековедение», она учит *ж и т ь*. Вот все и учились. Даже Витя Кольчатый приблизился, спросил что-то, на всякий случай. Но

через полминуты он уже снова сидел рядом с Желватовым и они говорили вполголоса о чем-то совсем нелитературном.

— Хе-хе! — рассмеялся вдруг кучерявый, с завитками волос, похожими на рожки, Витя Кольчатый и погрозил Желватову пальцем. — Баловник ты... Кудряш!.. Пря, упырь какой-то! Из джунглей!

Они теперь оба расхохотались, неторопливо и лениво вылезли из-за парты и расслабленной походочкой, первыми, двинулись в коридор — стоять у подоконника, где на самом деле и происходили действительные обсуждения школьных и мировых событий, где играли в «коробочку» и проводили сравнительную оценку женских достоинств своих соклассниц.

— Окончилось? — вбежала длинноволосая блондинка Женя Ланина из параллельного Лизиного класса, полнотелая и круглолицая, школьная художница, писавшая еще и рассказы, о чем Петя знал от Лизы. Она тоже робела школьных сочинений. И, присоединившись к толпе, промолвила искательно:

— Здравсьте, Григорий Александрович!..

Но Герц и головы не повернул, просто кивнул в ответ, поднялся, насмешливый, сухой, не худой, а худощавый, в смятых небрежных брюках. За ним, гудя и волнуясь, увязалась кучка прилипал.

А Петя от лихорадки, трепавшей его с самого утра, то отпусавшей, то вновь охватывавшей, сидел, не двигаясь, и не очень реагируя на происходившее вокруг. Первой, и по существу, единственной причиной было письмо от Лизы Несвицкой. Письмо еще перед первым уроком передала Петина одноклассница и Лизина соседка по дому — Зоя Туманова, узкогрудая, хилая девочка из того малоизвестного Пете общественного слоя (детей шоферов, слесарей, бывших барачных жителей), с которым он избегал соприкасаться. Ей же Петя нравился и стоило им в школе встретиться, как начинала она неотрывно смотреть в его большие карие глаза с длинными изогнутыми ресницами и переходила на полупшепот: «Какие у тебя волосы мягкие, Петя! Как шелк! Это значит, что у тебя и характер мягкий». Не знала она в своей среде мягкости, так понимал ее слова Петя, и за его незлобивость на многое была готова. Рукой по его волосам проведя (стеснялся Петя возразить), глядела на него так откровенно-завывно, что отводил Петя глаза в сторону, делая вид, что ничего не замечает. Хотя не заметить было трудновато, тем более, что под прошлый Новый год даже стихи от нее получил:



«С Новым годом, Петя, тебя поздравляю,  
С предпоследнею школьной зимой!  
Я надежды своей не теряю  
Танцевать первый танец с тобой!»

Подписаны стихи были слишком ясными инициалами — «З. Т.» И еще: найдя как-то в кармане своего пальто конфеты, Петя, испугавшись непрошеного вмешательства в свою жизнь или — что хуже — таинственной провокации, с тревогой объявил об этом в классе. И добровольные радатели выследили, что конфеты ему кладет Зоя. Тайна была раскрыта, конфеты Зоя класть перестала, но чувства ее не остыли, а, как ни странно, укрепились. Петя же не испытывал к ней никаких чувств, просто не мог, чужая она была, из другого мира, поэтому тяготился он ее привязанностью. Зато Лиза, что удивляло Петю, вроде бы приятельствовала с Зоей: та тянулась к ней, как к удачливой сопернице, а Лиза умела «себя поставить» и, легкая на знакомства, не задумываясь, использовала Зою на посылках.

Слова в Лизином письме лепились одно к другому, как всегда складно, у Пети в ответных записках так не получалось, свой текст он вымучивал.

*«Петенька, здравствуй! Как ты поживаешь? Я соскучилась. Целых три дня тебя не видела, была больная-пребольная. А почему ты не звонил? Тоже болел? Бедненький! Но ты не думай, я уже в порядке, и если ты тоже, то мы сегодня в театр непременно ходим. У меня целых два билета есть. Вот я какая богатая! Только ты приходи. Помнишь, где мы договаривались? Приходи в полседьмого. обяза-ательно!*

*До свиданья.*

*Уже почти здоровая».*

Петя ничего не ответил, когда Зоя спросила, о чем записка, он сидел, в который раз пораженный, удивленный, насколько Невская меняется в письмах, так что даже не по себе ему становилось от этой ее нежности и ласковости. Да и в других случаях Лизина реакция была порой так неожиданна, что тревожно замирало сердце. Раз в присутствии Лизы говорили ребята об экзаменах, о репетиторах, о подготовительных курсах в МГУ, и Сева Подоляк сказал: «Для нас с Петькой одна цель — поступить в вуз. Я его понимаю, потому что мы похожи». Вдруг Лиза усмехнулась, перебив:

«Высоко берешь». Мол, не тебе с Петей равняться. Сева смешался, но ничего не ответил, как-то подобострастно вдруг глянув на Петю.

Никому, кроме Лизы, не рассказывал Петя ни про своего старшего брата Яшу, умершего от дифтерита, ни про то, что бабушка Роза оказалась бациллоносителем (это выяснили, взяв у всех мазок из зева), что мать считала ее виновницей Яшиной смерти, что его, Петю, родители завели спустя год после своей трагедии, что бабушка на его памяти, не переставая, полоскала горло разными снадобьями, и «посев» теперь был нормальный, что отца пригласили работать в журнал «Проблемы мира и социализма» и вот уже полтора года как родители в Праге, а с бабушкой год назад случился удар, что на ноги ее кремлевские врачи поставили, но она все еще плоха, как пушкинская «старая графиня» — тяжела и капризна в быту, что родители пока вернуться не могут, что он оставлен с больной бабушкой, но смотрит за ней, переехав к ним, его двоюродная сестра. О Лизе он знал много меньше, знал только, что ее отец — военный инженер, что они долго жили в провинции (Петя все забывал спросить, где), что в Москву переехали девять лет назад, что, как и все переехавшие в Москву провинциалы, Лиза обходила, объездила, обсмотрела в столице много больше, чем это делают коренные москвичи. О родителях своих Лиза говорила мало, вообще любила накидывать на себя некую таинственность. Вот и сейчас. «Была больна... Чем больна? При этом в театр собирается». По телефону Лиза звонила ему редко. У самого Пети был насморк и он тоже три дня не ходил в школу.

— Что с ней? Пишет, что болела, — как бы между прочим спросил он у все еще стоявшей около него Зойки. — Ты ж ее видела сегодня утром, — счел он нужным пояснить свой вопрос.

— А, пустяки. У нее обычное женское... — и вдруг увидев запунцовевшее Петино лицо, хихикнула и шепнула: — Ты, Петя, совсем ребенок. Ничего еще не знаешь и не понимаешь. Месячные у нее.

Петя все равно ничего не понял, то есть он догадывался о чем-то, очень даже чувствуя влечение к противоположному полу, но некоторые физиологические подробности были для него темны. Спрашивать он, однако, не стал, к тому же проходивший мимо Желватов вдруг всем боком прижался к Зое, полуобнял ее и лапу на бедро положил.

— Стоит, Зоя. Зоя, Зоя, дай стоя! Ты чего, Петрилло, теряешься? Она тебе хоть сейчас даст. Правда, Зочка?

Та вывернулась, руку Желватова с себя сбросила:

— Убери, пожалуйста, свою руку, Юра. И не думай, что если ты плохо воспитан, то другие похожи на тебя.

Перепалки не состоялось, начался урок, Зойка и Желватов разошлись по своим партам; потянулся учебный день, прошел наконец и урок литературы: можно было идти домой. Лихорадка не отпускала Петю, и он еще подождал, пока все разошлись, чтобы одному идти к трамваю. Петя не любил, точнее, испытывал тревожную неприязнь к школе, зато с охотой оставался дома. К тому же, школа втягивала в себя улицу и уличных, которых Петя робел, а дом — отъединял, отгораживал, дома он был сам по себе и самим собой.

Поэтому не хотел Петя никого впускать в свой дом, в свою крепость, в убежище, особенно соклассников вроде Зоечки или Юрки Желватова. Человек, побывавший хоть раз у тебя дома, и второй раз зайдет и третий, и еще кого за компанию приведет. И конец убежищу, где сам он распоряжался своим временем и своими интересами. Правда. Желватов был-таки у него однажды. Юрка первый подсмотрел или кто из «корешей» ему сообщил, как Зоечка кладет конфеты в карманы Петинного пальто, но в школе этого Пете почему-то не сказал, а вечером приехал к нему домой. Петя вздрогнул, открыв дверь и увидев Желватова: «откуда он адрес знает?» И в квартиру не впустил, сам вышел на площадку, смущенно объяснив, что бабушка больна и нуждается в тишине, а у родителей, напротив, гости, и им нельзя тоже мешать (родители уже были тогда в Праге, но в школе об этом Петя не говорил). Желватов уловил противоречивость ответа, похоже, что не поверил, но спорить не стал, предложил Пете «выйти покурить». Они спустились на один лестничный пролет, Желватов облокотился о подоконник, вытащил пачку «Примы», протянул Пете, сам тоже достал сигарету, размял ее и, закурив, иронически, но ожидающе глянул на Петю:

— Слушай, Петрилло! Конфеты-то тебе Зойка в карман кладет. Сохнет девка — сукой быть!

— Что же делать? — забеспокоился Петя, испугавшийся за целостность и спокойствие своего душевного мира, которые готовы были нарушиться извне неприятной навязчивостью.

— Как что? Хуля тут теряться — трахнуть надо. И тебе приятно будет, и ей удовольствие. Заодно научишься — Зоя Олеговна тебе все разобъяснит.

— А она что?.. того?.. Ты с ней?..

— Ну, я пока не пробовал, болтать не буду. Она тут ходила с одним с Бугров (Петя вздрогнул — самое бандитское место в районе), длинный такой, Серега, не знаешь? Он целок не отпускает. Пару раз в кино — и дерет. Я уж про отчима ее покойного молчу. Тоже сука был. А вообще, хуля тут уметь! У тебя встал, она ноги раздвинула, ты всунул — и делов-то! А если баба ляжки сожмет, тогда по морде ей — дурь разом выйдет, — простодушно делился опытом Желватов.

Он улыбался, розовые его губы с белым шрамиком на нижней растянулись в сладострастно-гнусоватой ухмылке. Петя вглядывался исподлбья — прямо смотреть почему-то не решался — в его чистое, светлое лицо, подозревая, что в его словах таится что-то еще. А Желватов выпускал кольцами сигаретный дым, следя за тем, как кольца поднимаются вверх и постепенно расплываются в вышине. «Зигзагообразные движения дыма — типичный пример флуктуации в броуновском движении, как объяснял Эйнштейн, — ни с того, ни с сего подумал Петя, искоса наблюдая воровски-вальяжную повадку своего далеко опередившего его в созревании одноклассника. — И какая флуктуация толкнула его вдруг заявиться в «профессорский дом», куда его никто не звал?..» В просто дружеское расположение он не мог поверить, хотя были к тому основания.

Петя перешел в эту школу в восьмом классе, сменив при этом изучаемый иностранный язык (был французский, стал английский). Июнь и июль он занимался с милой, молоденькой преподавательницей, недавно кончившей институт. А в августе его отправили на дополнительные занятия по английскому в школе — проверить, достаточно ли хорошо он натаскался, чтобы переходить. Вместе с ним занималось несколько «отстающих», которых «подгоняли» перед началом учебного года. Был среди них и Желватов. Конечно же, Петя был впереди, тем более, что английский — язык современной науки, его надо знать. В перерыве устроили на парте жим руками, кто чью руку пригнет, и Петя уложил руку Желватова. Тот, удивленный, но не оскорбленный, сказал самое на его вкус хвалебное: «Тебе спортом надо заниматься, — он оценивающе поглядел на массивного, смущенно-робкого Петю. — Борьбой. Тело у тебя для спорта приспособленное». И в класс Петя уже пришел с репутацией «своего».

— А трахнешь Зоечку — с тебя бутылка, — Желватов лизнул кончиком языка верхнюю губу и, сплюнув окурочек «Примы»,

притоптал его. «Неужели в этом его действительный интерес? — думал Петя, совершенно не понимавший вкуса в спиртном. — Этого не может быть. Тут что-то еще кроется». Юрка уже казался ему мафиози, тайно подбирающимся к его крепости. Испугавшись, он поневоле принял Юркин тон.

— Трахнуть — дело нехитрое,— сказал он, улыбаясь фальшивой, неестественно-молодецкой улыбкой и с отвращением к себе видя, что Желватов эту неестественность чувствует, — а что потом?

— Потом? Что потом? Понравится — еще трахнешь, хоть до смерти ее задери. А нет — так пусть кто другой ей пистон ставит. Тебе-то что тогда? Как в песне: и за борт ее бросает в набежавшую волну.

Петя был ошеломлен. Ведь это же смертельно обидеть женщину, если вначале с ней как с женой, а потом бросить. Мать его вышла из «кулацкой» (Петин дед извоз ямщицкий держал) семьи — но не раскулаченной, вовремя перебравшейся в Москву, бросившей в деревне и дело, и дом, и усадьбу, — семьи, где нравственность, серьезность отношения к людям, к делу были залогом преуспевания. В такого рода правилах, этических правилах *основательности*, российском варианте протестантской этики, воспитывала Петю мать. Да к этому добавлялась со стороны отца еще еврейская мнительность, предполагавшая необходимость участливого (ведь чужая страна, только добром там надо), хотя и пугливого, робкого отношения к людям. И с женщиной, как ему казалось, отношения могли быть только *навсегда*. Иначе не могло быть, а «просто так» и вовсе невымыслимо.

Он и к Лизе тянулся как к убежищу, в котором мог бы укрыться от постоянного чувства уязвленности. С самого детства было у него это чувство: не умел он, как остальные, играть дни напролет в футбол, носиться в казаки-разбойники, болтать вечерами, обсуждая успехи или неудачи футбольных «мастеров», не интересны ему были спортивные игры и никого из кинозвезд он не знал. Еще больше отвращали и пугали его, когда он стал постарше, вечеринки с выпивкой и девочками, часто заканчивавшиеся траханьем. По двору ходила история, как одна из мамаш, не вовремя вернувшись домой, застала свою дочку в постели с Алешкой Всесвятским, дочка сползла под кровать, а Алешка, натягивая на себя простыню и глупо улыбаясь, сказал: «Здрасьте, Анна Николаевна! А мы вас не ждали». Впрочем, это были дела давно минувших дней, известные Пете по

расскажам. Его дворовые сверстники почти все разъехались, дом пустел, ребята постарше — перебесились, а школьные приятели были откровеннее в этих делах — и тем они больше пугали Петю.

Физика была убежищем понадежнее. В отличие от свиданий с Лизой свидания с физикой не требовали от него вечерних прогулок. Она оправдывала его сидение дома, в своей комнате закрывшись. И эти его занятия не мешали ему «быть на подхвате», помогать кухне Лине. Переехав к ним из-за бабушкиной болезни, Лина почти весь день сидела дома, к ней приходил, — чаще, чем раньше к отцу, — отцовский приятель, говорун дядя Илья Тимашев. Его было интересно слушать, и было видно, что он любит, когда Петя его слушает. Поэтому, рассуждая, поглядывал на него, ловя, какое впечатление производит. Такое внимание к себе Петя опять же связывал со своей физикой. Еще весной увидел Тимашев, что он читает «Небесную механику» Лапласа, удивился и спросил: «Разве это современно?» — «Не очень-то, — ответил Петя. — Но знать все равно надо. Некоторые до сих пор называют черные дыры «объектами Лапласа». Он их открыл». Тимашев тогда отрывисто так вздохнул: «Молодец! *Мой* предпочитает тусоваться с хипами». Сын дяди Ильи Тимашева, как знал Петя, был не то на год его младше, не то ровесник, но он промчал, не умея в этой ситуации найти подходящие слова.

Лина поначалу шикала на него и отправляла за уроки, когда приходил Тимашев, но потом перестала. С Петей они были вроде бы даже *союзники*, как «оставленные», оставленные ухаживать за «бабкой» (так Лина называла бабушку Розу) и терпеть ее недовольство, повелительные окрики и указания. Петя, однако, не мог предположить, как Лина отнесется к его вечернему походу в театр. Все зависело от того, как прошли первые полдня и в каком Лина настроении.

Конечно, быть может, было бы и лучше, если б бабушка переехала в «Дом старых коммунистов» в Переделкино, как это сделала их соседка, Лидия Андреевна Обручева, которая когда-то была в Испании вместе с бабушкой Розой. Ее внука, Бориса Кузьмина, Петя знал по двору, а дядя Илья Тимашев вроде бы даже приятельствовал с ним, поэтому Лина не раз затевала с Тимашевым разговоры о Переделкино, но дядя Илья говорил, что без согласия Розы Моисеевны отправлять ее туда нельзя, осторожно замечая Лине, что все уж не так страшно и сложно, как она изображает. Во-первых, бабушка Роза была прикреплена к Четвертому управлению,

а потому каждый день, а если по вызову, то несколько раз в день, приезжали неотложки с обходительными врачами, имевшими все современные лекарства. Врачи замучились и все же безотказно ехали на каждый капризный бабушкин звонок. Из обычной поликлиники, и Петя это понимал, к человеку такого возраста приезжать отказывались: так без врачебной помощи скончался от инфаркта дед Петр, отец его матери. Узнав, что ему под семьдесят, врач начал давать советы по телефону, а потом и вовсе трубку бросил. Бабушка же Роза по любому недомоганию требовала врачей, так что Лине и Пете становилось неловко, и они безуспешно пытались убедить ее не гонять людей зазря по нескольку раз на день. Но бабушка упрямо твердила, что ей «положено» и терпеть «болезненные явления» она не намерена. Вот это вот «положено» и облегчало, и весьма сильно, Лину участь — ведь все самые лучшие лекарства, которые и достать нигде нельзя было, разве что за бешеные деньги у спекулянтов, Петя спокойно покупал в аптеке Четвертого управления на Сивцевом Вражке. «Старым большевикам» лекарства выписывались на красном рецепте, по которому платить приходилось всего лишь двадцать процентов реальной стоимости лекарства. Во-вторых, бабушка имела талоны в «столовую лечебного питания» на улице Грановского (филиал для родственников — у кинотеатра «Ударник»). На эти талоны, стоившие бабушке всего шестьдесят рублей в месяц, можно было прокормить три семьи — продуктами, давно исчезнувшими из обычных магазинов.

Вообще-то Лина была раньше добродушной, улыбчивой и приветливой. Петя помнил, как она принимала его с отцом в своей комнате на Красной Пресне: старинные стулья с высокими спинками и гнутыми ножками, столик с резьбой, удлиненные тонкие чашки с изогнутыми ручками в виде веток деревьев, фарфор, кофейник прямо-таки восточный, из носика лился густой струей черный кофе, на столе стоял молочник со сливками, печенье тонкое, сахарное. Рядом, правда, стоял современный журнальный столик из пластмассы, висели какие-то железные книжные полки — результат ее недолгого замужества за знаменитым дизайнером. Впрочем, Лина тогда была для Пети посторонней, не членом семьи, хоть и считалась родственницей. И он как о чем-то далеком, к нему не относящемся слушал реплики Лины, вроде: «Ну, Владлен, это было, когда мама и я жили у вас...» Удивительно было только, что Лина называла отца на «ты». Но и простиительно: была намного старше Пети, лет на пятнадцать, —



совсем взрослая женщина. Теперь же, вот почти уже год, она жила в комнате родителей, согласившись присматривать за бабушкой, а заодно и за ним, Петей. Тогда-то он как-то до конца осознал, что она его *родственница*. Лина была заботливой, но какой-то *странной*. С утра до вечера пила крепкий кофе, сама молола, варила его в джезве и пила чашку за чашкой, объясняя это пониженным давлением; становилась порой раздражительной, без особых, на взгляд Пети, поводов; могла часами сидеть молча с сигаретой в зубах, уставившись в одну точку, пока не позовет ее бабушка. Словно некая заторможенность нападала иногда на нее, а иногда была, напротив, порывистой, нервной, даже оскорбительно-резкой, несправедливой. Но и тому вроде была причина: роман с дядей Ильей Тимашевым, о чем Петя узнал—догадался, только когда Лина к ним переехала. Она бледнела, видя его; при посторонних они старались держаться как случайно встретившиеся люди; когда он долго не звонил, она ничем не могла заниматься, только курила сигарету за сигаретой.

Спускаясь вниз по ступенькам школьной лестницы, придерживаясь рукой за перила, чтобы не быть сметенным с ног носившимися вверх и вниз младшеклассниками, Петя вспомнил, что бабушку увезли на реанимационной машине как раз на следующий день после спора между ней и отцом, которого осторожно поддерживал дядя Илья Тимашев. Точнее, даже не спора, а скорее перепалки, потому что бабушка Роза говорила им какие-то непробиваемо-обидные слова, вызывавшие необходимость возразить: отец раскраснелся, кричал, что Советская власть тем и сильна, что продолжила традицию великодержавной царской России, что надо это понять и трезво взглянуть на вещи, на что бабушка бросала: «Я не понимаю, Владлен, почему ты до сих пор еще в партии». «Таковы правила игры», — отвечал за отца дядя Илья и добавлял, что основная посылка Владлена верна, что даже сами буденновки красноармейцев — символичны, что они готовились как шлемы-богатырки — на русофильский манер, еще до революции, а стали символом революции, что их натянули на свои головы новые русские богатыри, новые Ильи Муромцы и Стеньки Разины, чтобы построить то, что хотели и что в итоге построили: пошатнувшуюся к началу двадцатого века Российскую Империю, и тем самым восстановили древнюю традицию. Бабушка, бывшая членом партии с одна тысяча девятьсот пятого года, потрясенная этими словами, уже не возражала, упрямо мотала головой, повторяя: «Не понимаю. Не хочу понимать

даже». А наутро, когда Петя вбежал на ее звонок (звонок был проведен к самой постели еще лет двадцать пять назад, тогда тяжело болел дед), бабушка Роза сидела на постели и все так же оцепенело повторяла: «Ничего не понимаю». А через десять минут отказали и речь, и движение. После месяца больницы бабушка ожила, ее спасли: она сама ходила, сама могла поставить чайник, иногда пробовала сама стирать себе белье. Стала она при этом грузнее, неустойчивее, врачи опасались, как бы она не упала и не сломала себе шейку бедра, как часто бывает со стариками, просили следить за ней, надолго не оставлять одну. Но было чудо, как говорили сами врачи, что она выжила, и не только выжила, но сохранила способность двигаться, говорить, рассуждать, хотя мозг уже не всегда ей подчинялся. «Гвозди бы делать из этих людей», — так, удивляясь и отчасти самооправдываясь, говорил дядя Илья Тимашев про бабушку.

Выйдя из дверей, Петя прошел асфальтовой дорожкой мимо физкультурного зала — краснокирпичного здания, построенного недавно и соединенного со школой внутренним переходом. Затем свернул на дорожку из гравия, чтобы через две калитки и задний дворик выйти к трамваю, так получалось скорее. В этот дворик выходили окна и крыльцо коммунальной квартиры для живших при школе учителей. В одной комнате уже много лет жила математичка, в другой — два года назад перебравшийся в Москву из Черновиц, Григорий Александрович Когрин, то есть Герц. Петя заходил к нему с Лизой несколько раз, и потому считал себя вправе, когда спешил, пройти через этот дворик. Герц приехал с женой, но родила она уже здесь, год назад. У крыльца стояла синяя коляска, подрагивало, а временами вздувалось на ветру детское белье, висевшее на веревках, протянутых меж столбами. Столбы огораживали маленькую детскую площадку: песочница доверху насыпана свежим песком, но в ней пока никто не играл. К ручке коляски привязана веревка, проведенная в открытую форточку (чтобы качать коляску, не выходя на улицу). Герц был рукодел и выдумщик.

— Что плетешься? — кто-то крепкой ладонью хлопнул Петю по плечу. — Я в физзал заходил, спортивный костюм там оставил, а у меня сегодня тренировка.

От неожиданности вздрогнув, Петя обернулся и увидел волчье лицо Желватова, его розовые губы с белым шрамом, слюну между ними, собранную в плевок, широко и могуче развернутые плечи. Под школьной курткой у него была дешевая клетчатая ковбойка.

— Ишь, обставился и устроился, — сплюнув, Юрка кивнул на окна Герца. — Смышленный народец. День живет, два живет, а на третий — будто век здесь жил... Это мы по простоте все в дерьме да в помойке варагаемся.

— Какой народец? — с неприятным чувством беззащитности и ущербности, что выдает этим вопросом свою сопричастность вышеупомянутому «народцу», еле решился спросить Петя.

— Будто не знаешь? — снова сплюнув в сторону коляски, ответил Желватов, при этом тоном отъединяя Петю от Когрина и присоединяя к себе, к своим. — Чего он тебя все время прикладывает?! А?.. Ты же литературу секаешь не хуже его.

Но Петя такого разговора о Герце не поддержал, ничего не ответил, только плечами пожал, что, мол, поделаешь. И все равно, похоже было, что Юрка принял его молчание как знак солидарности с его словами, но солидарности трусоватой, *из кустов*.

— А ты чо, Петрилло, здесь всегда ходишь? — и только сейчас его гнусоватая ухмылка вдруг сказала Пете, что в этом извращении имени есть что-то непристойное, унизительное. К счастью, подумал он, в школе этого никто не заметил, иначе житья бы не было. Петю звали просто Петей. Он снова подумал, что от Желватова, несмотря на дружеское похлопывание по спине и дружеские слова, в любой момент можно ожидать любой подлянки, и не зря он его остерегается, не доверяет ему.

На крыльцо вышел невысокий старик в нижней голубой бумажейной рубашке и залатанных брюках, причем из помочей была застегнута только одна, вторая болталась, и поэтому с одного бока брюки немного съезжали. Крючковатый нос спускался к самому подбородку, седые волосы были такие же кучерявые, как у Герца, и так же шли ровной чертой над выпуклым лбом; седые брови были такие большие и густые, что походили на два островка высокой, теснорастущей травы, они нависали прямо на глаза, что придавало старику вдохновенный или, скорее, сумасшедший вид.

— А это что за хайло выползло? — Юрка подтолкнул Петю плечом. — Пошли, проходи давай по скорому, пока он не разорался. Подумаешь — гнездо поимели, деток вывели! А сами Христа нашего распяли. Шугануть бы их на куй отсюда. Да чтоб залетали, пархатые!

Петя сжался от этих слов, но они были так привычны и сказаны, как обычно такие слова говорились, «в воздух», что он не воз-

разил, только еще раз оглянулся на старика и подумал, что, вероятно, к Герцу приехал из Черновиц его отец. Старик, кренясь под ветром, подошел к веревке, повесил на нее синие мокрые кальсоны. Потом вернулся и сел на крыльцо, не говоря ребятам ни слова.

Желватов шагнул в калитку, он шел враскачку, не спеша, ослабленной, «спортивной» походкой. Могучие плечи его слегка сутулились от привычки к боксерской стойке. Петя тоскливо шкандыбал сзади. Гуськом, по вытоптанной, с маленькими лужицами от вчерашнего дождя, тропинке они приблизились к трамвайной остановке. «Неужели Желватову в ту же сторону?» — с замиранием сердца подумал Петя.

— Ну ладно, Петрилло, будь! — ухмыляясь, будто прочитал Петины мысли, Юрка протянул ему руку. — Держи краба. Пойду портвешком освежусь. Ты, небось, откажешься?..

Петя замотал головой, что он не может, не хочет, не пойдет, и, пожалв Пете руку, Юрка свернул направо, в сторону Коптевского рынка, к двухэтажным, продолговатым, вытянутым домикам барачного типа, окружавшим пивной павильон, где в розлив продавалось и вино. Казалось даже, что вначале именно этот павильон был выстроен, а дома́ уж потом к нему подстраивались, тянулись, как к некоему духовному центру, средоточию человеческой энергии этого мирка. Вот и Юрка как боксер и спортсмен вроде бы не должен был пить, но уже удержаться не мог, полагаясь на свое здоровье, на то, что он не чета остальным и с ним ничего не случится ни на ринге, ни в жизни, и на все уговоры и предостережения дружков смеялся и отвечал, сплевывая: «Это тебе нельзя, а мне можно. Молодо-зелено — гулять велено. Старость придет — веселье на ум не пойдет. А книги пусть Востриков читает, у него это сподручней выходит». Желватов был в состоянии «засадить стакана два бормотухи», самого дешевого красного вермута, который он называл также «краской», зажевать табаком, «чтоб не пахло», и отправиться на тренировку. Пете же было дико, что люди тратят силы и деньги, чтобы достать напиток, который дурманит им голову и делает их неспособными понимать что-либо. Боялся Петя общения с Желватовым, и, хотя можно было даже считать, что Юрка посочувствовал ему после нападков Герца, но так, что лучше бы он этого не делал, и Петя почувствовал себя спокойнее, когда остался на остановке один, без своего одноклассника.

## Глава II Старухи

Парки бабье лепетанье,  
Спящей ночи трепетанье,  
Жизни мышья беготня...  
Что тревожишь ты меня?

*А.С. Пушкин*

**В** дороге никаких особых происшествий не случилось с Петей. Трамвай был набит, все теснились, толкались, пихались, так что приходилось все время прилагать усилия, чтобы удержаться на ногах, но, наконец, уцепившись за поручень, Петя занял удобную позицию, позволявшую абстрагироваться от толкотни: на втором сиденье около окна. Правда, поразмышлять, как ему хотелось бы, он не смог, и единственное чувство, которое все же снизошло на него, было чувство полной прострации, когда глаз фиксирует происходящее, но душа в этом не участвует.

Вообще-то Петя любил, забившись на сиденье в угол к окну, сидеть так, чтоб не сталкиваться с соседями и знакомыми, постоянно ездившими этим же маршрутом, дабы не отвлекаться от своих мыслей. Он даже радовался, если в трамвае знакомые его не замечали. Потому что иной раз и неловко было объявиться, дать знать, что он кого-то видит. Как-то он наблюдал и слушал беседующих Кузьмина и Тимашева, ехавшего тогда *мимо* их дома, то есть мимо Лины. И слава Богу, что остался он незамеченным, иначе Тимашев бы смутился, да и Петя не представлял бы, как себя вести дальше, что сказать Лине. А беседа была занятной. Обсуждали они что-то имевшее вроде бы выход на проблему причинности и случайности. Петя знал, что в новейшей физике управляет закон теории вероятностей, что детерминизм там «не работает». Похожие ситуации не обеспечивают сходства результатов, ибо не обязательно, чтобы одно непременно следовало за другим: важны отклонения, составляющие, условия, позиция самого наблюдателя. Но в разговоре двух взрослых и

умных довольно произвольно, как показалось Пете, сближались Древний Рим и современная жизнь в их общем отечестве.

Первым заговорил Борис Кузьмин: «В наши края?» — «Да нет, к себе, на свою Лягушкинскую. По делам ездил, сейчас мимо» — «Что так?» — «Сын ждет. Обещал ему книгу по Древнему Риму» — «Интересуется?» — «Да скорее я хочу, чтоб заинтересовался. Конечно, надеюсь, станет ему ясно. Что уже в Риме были и цирки, и зрелища, и безделье, своего рода хипизм, и тоже как порождение имперского сознания. Пока парень не хочет этого понимать категорически. Думает, что нашел путь к свободе». Петя тогда первый раз сообразил, что у Тимашева могут быть какие-то *свои* проблемы, не связанные с Линой и их домом. Кузьмин мизинцем почесал свою шкиперскую бородку: «С дочками пока у меня хлопот меньше. До детей трудно доходит, мне кажется, самое главное, — что на свете существует одна причина, влекущая за собой всегда определенные следствия, — я имею в виду смерть и страх смерти. Когда человек подрастает, на этом его страхе начинают играть всевозможные персонажи: начиная от мелких и крупных тиранов и кончая обыкновенными хулиганами. Человек детерминирован этим страхом. Во все века и у всех народов. Хотя ваши любимые римские стоики этот страх по-своему преодолевали. Но именно от предошущения этого страха и бегут дети в хипизм. Так что Рим здесь не при чем». У Тимашева борода была длиннее, продолговатее, поэтому он за бороду хватался рукой: «Видите, я не ищу причину сегодняшних процессов в Древнем Риме, но аналогия не случайна. Она не мной придумана. В России прошлого века шло постоянное соотнесение российской империи с римской. Это и у Герцена, и у Чернышевского, и у Тютчева, даже Замятин в конце жизни, пытаясь осмыслить нашу революцию, писал роман об Аттиле — «Бич божий». А то, что вы говорите об игре всевозможных тиранов на страхе смерти, потому что хулиган — это потенциальный тиран, то этот страх входит в необходимость имперского образа жизни. Человек должен бояться правителя. При этом люди привыкают к крови и с жадностью пожирают более образованных, а затем самих себя. Именно это и делал Сталин — приучал народ к злобе и ненависти к себе подобным» — «Тише все же говорите, — приложил невольно Кузьмин палец к губам. — Да и откуда вы ждете нашествия варваров и падения Рима?» — «Жду ли? По-моему, оно уже было. Вы поездите по провинции: церкви,

бывшие дворянские и купеческие дома стоят как после варварского нашествия. Никто не знает, что с ними делать. Как варвары в теремах жилища себе строили, так и здесь — в церквях склады, в особняках — конторы. Мы сейчас доживаем постварварскую римскую жизнь. А жизнь эта, признаться, была довольно пуста. Лучшие у нас дома, — постройка либо конца прошлого, либо начала нынешнего века. И в культуре то же самое. Питаемся крохами прошлого века. Доживаем, одним словом» — «Разве ваш любимый Чаадаев не пророчил чего-то подобного еще в начале прошлого века? И вот — обошлось. Какой взлет был!» — «Чаадаев не совсем об этом писал, *такого* исторического опыта у него не было. Я хочу...» — «Ой, извините, моя остановка. Извините, ради Бога. Будете здесь — заходите, договорим». Они потискали друг другу руки, Тимашев проводил Кузьмина к переднему выходу, а Петя выскользнул с задней площадки.

Интересно было слушать их невидимкой, но хорошо все же, что Тимашев его не заметил. А Кузьмин увидел его только на подходе к дому, поздоровался, ему и в голову не пришло, что Петя ехал тем же трамваем, задал какие-то дежурные вопросы на вполне житейские темы: сказал чего-то о старухах-соседках, спросил, как себя чувствует бабушка, куда Петя собирается поступать и чем заниматься. Петя с важностью и некоторой иронией по отношению к гуманитариям ответил, что в МГУ на физфак, а цель — занятия астрофизикой. Он фанфоронил и только дома подумал, что произвел невыгодное впечатление. Петя не сказал тогда Лине, что видел Тимашева, чтоб не огорчать ее и чтоб не было потухших Лининых глаз, раздражения, окриков, диковатых движений. Это было одно из уже привычных для Пети исчезновений Тимашева: он не приходил тогда около двух недель и Лина психовала.

На этот раз никаких знакомых не встретилось. Дефилировали навстречу мимо трамвайных окон магазина, жилые дома-девятиэтажки из панельных бетонных блоков, стройки с грудями мокрого песка и непролазной грязью на подходах. Неслись сбоку, поднимаясь и опускаясь, сорванные ветром желтые и желтовато-зеленые листья, сломанные мелкие веточки. Долго катился стекло в стекло какой-то набитый автобус. Вот и булочную миновал трамвай, вот и поворот, вдали виднелась недавно поставленная бензоколонка, стояла очередь машин на заправку. Петя стал потискиваться к выходу; трамвай был старый, он подергивался,



взлязгивал, погромыхивал, его потряхивало, и пока Петя сделал несколько шагов к двери, ему дважды пришлось хвататься за поручни. Вот и его остановка.

Он соскочил довольно неуклюже, чуть не выронив свой набитый тетрадами и учебниками портфельчик. Каждый раз, когда возвращался он домой, стоило ему только сойти с трамвая, одна и та же мысль посещала его: что дня через два «сегодня», которое так переживаешь, пройдет, станет таким же далеким, как и сегодняшнее «позавчера», и что время — это единственное, что дано людям, казалось бы, на их усмотрение, а они тратят его попусту, ибо не понимают этой единственной, ничем не заменимой ценности, а потому не умеют использовать ее.

Петя повернул голову, не идет ли встречный трамвай, перешел линию и свернул на асфальтовую дорожку, с обеих сторон обсаженную кустами боярышника. Дорожка повела его к старой, добротной постройке еще тридцатых годов — пятиэтажному дому с высокими потолками и толстыми стенами. Ходили слухи, глухие и не очень внятные для благополучного юнца, что дом этот строили заключенные; во всяком случае, до того еще, как его оштукатурили, показывали Пете «большие ребята» кирпич, вделанный в угол дома, рядом с окном профессора Кротова; на кирпиче читались корявые буквы, процарапанные чем-то, видимо, еще до обжига: «кипич делаю заключенный в лагерь», — а снизу большими буквами: «ГОЛУБ»: то ли Голубев, то ли Голубь, а, может быть, и в самом деле хохол Голуб. Дом был профессорский, и никакого отношения профессора, в нем жившие, как Пете казалось, к лагерям и заключенным не имели. Но что-то было связывавшее дом с тридцатыми годами, неуловимое, как некая печать, стоявшая на доме и его пожилых обитателей. На прогулках и при встречах профессора разговаривали не о *проблемах*, а о *сослуживцах* и *склоках* на своих кафедрах. Среди них были всякие люди: и дурные и хорошие, и вроде бы ученые с именами, и откровенные приспособленцы, даже *стукачи*. Но всех их роднило одно: они доживали свой век в одиночестве, дети вырастали и, как правило, уезжали. Дом был крепостью, но крепостью, в которой ряды защитников редели.

И все же жильцы дома сохраняли значительность. Впереди Пети по дорожке неторопливой походкой шли двое мужчин в просторных плащах и мягких шляпах. Даже со спины было

видно, что эти люди уже в летах и в чинах, они не шли, а прогуливались, совершали дневной моцион. Это о таких с подобострастным уважением говорил приходивший к Пете за уроками несколько лет назад, еще из старой школы одноклассник, Фима Бабеев, косой и прыщеватый мальчик: «Солидные люди тут живут. Не болтуны». Фима был из «простой семьи», его мать работала сторожихой в магазине, и ему было, с кем сравнивать.

Поздоровавшись с учеными мужами и обогнав их, Петя свернул направо, во двор. Немного левее от дома стояло с полдюжины гаражей. А прямо перед домом давно еще насадили газон, а вокруг газона — клены и тополя; газон потом разделили надвое аллейкой, вдоль которой росли липы, в середине образовавшихся газонов разбили клумбы, а в восьми углах двух четырехугольников высадили кусты сирени. И вместо обычного городского газона получился в результате маленький парк, напоминавший Пете то, что он читал про сады и парки старинных, уже в прошлое ушедших дворянских усадеб. Правда, густота, мрачность и полумрак зелени бывали летом, сейчас деревья и кусты стояли скучные, с последними облетающими листьями.

Хлопнула дверь ближайшего к углу подъезда, и из него, на встречу Пете, вышла женщина с бритым, как у мужчины, лицом, коренастая, крупнотелая, неопрятная, носившая гетры и грубые башмаки на толстой подошве, а также, даже в жару, свитер и короткий прорезиненный плащ. По внешнему виду ей было от тридцати до сорока лет. От отца, болтавшего как-то с Линой, он краем уха слышал, что каждое утро эта женщина ходит на почту, не доверяя общему почтовому ящику «Для писем», и лично передает в окошечко, иногда заказное, иногда простое письмо, послание, душевные излияния на сиреновой (кто-то умудрился увидеть!) бумаге, предназначенные любимому человеку, бывшему однокласснику, бывшему ее первому мужу, который давно снова женат и про нее слышать не хочет. Она нигде не работает и живет на мизерную пенсию по шизофрении. Живет в одной квартире с матерью и племянницей-сиротой, совершенно не обращая на них внимания. Либо пропадает на сутки, либо сидит, запершись в своей комнате, ни к телефону, ни к дверному звонку не подходя, будто ее и нету. Вся в своей мечте. Отец добавил, что видит в ней изуродованный природой образ «вечной женственности», то есть того, чего не хватает привлекательным, ярким женщинам, а

у нее в избытке, да никому не нужно. Лина тогда помрачнела, а Петя уловил в рассказе только оттенок чего-то непоправимого, что порой в жизни бывает, и подумал, что с ним такого не должно случиться, что он всегда должен быть хозяином своему рассудку.

И лишь спустя год, глядя на эту бритую, как мужчина, женщину, он стал чувствовать исходившее от нее веяние судьбы: роковое напоминание, что есть жизненные превратности, не сопряженные даже с физическим насилием случайного разбойника (о таком тоже много в профессорском дворе говорилось), а заключенные внутри самого человека. Ведь никому в ее детстве (особенно родителям) и в голову придти не могло, что эта крупная, немного вяловатая, ухоженная и всем обеспеченная девочка «свихнется» и будет предоставлена своему сумасшествию, а сознательный ее путь окажется так короток.

Здоровался Петя со всеми жильцами дома, так был воспитан, хотя многих различал только по внешнему облику, не зная часто ни фамилий, ни имени-отчества. Однако с этой женщиной он не здоровался, то есть пытался здороваться, но она каждый раз вместо ответа так мрачно исподлобья смотрела на него, что Петя счел за благо свои попытки прекратить и теперь, когда сталкивался с ней, отводил глаза в сторону. Зато со старухами, профессорскими вдовами, Петя любил здороваться, любил, когда они его останавливали и задавали вопросы, отвечать обстоятельно, чувствуя, что им по сердцу его благонаравие.

Старухи были одиноки, *оставлены*, хотя и законодательствовали во дворе. Профессорские невестки не уживались со свекровьями, выезжали из дома, забрав мужей и детей, и из женского населения обитали здесь либо профессорские жены и вдовы, либо постаревшие профессорские дочери: старые девы или разведенные и бездетные грустные женщины.

Петя застал еще время, когда во дворе было веселее, когда многие, потом уехавшие, крутились во дворе, создавая шум и переполох, когда старшие ребята сами устроили волейбольную площадку во дворе, на нее же вытаскивали пинг-понговый стол и резались в настольный теннис днями напролет, когда были качели, была для малышей песочница, а недавно обженившиеся под деревьями играли в шахматы. Теперь волейбольное поле поросло густой травой и стало как бы частью правого газона. Петя помнил, как ребята постарше играли в индейцев, в «казаки-раз-

бойники», помнил виденные им со стороны их стычки между собой и с ребятами из других дворов. Но их «подначки» и «приколы» сидевших у подъездов старух он внутренне осуждал, потому что старухи, просвечивавшие глазами-рентгенами приходивших во двор чужаков, казались ему стражами дома.

Старухи обычно сидели на лавочках под балконами (прячась от ветра, дождя и снега) и следили за редкими захожими незнакомыми людьми (двор был — непроходной), наблюдая и спрашивая «чужих», куда они идут. Подложив под зады толстые подстилки или плоские подушечки, старухи часами, беседовали о разной разности: о протекающей перед их глазами жизни, о событиях, произошедших в доме, о соседях, о том, что дают в ближайших магазинах, осуждали подростков и гоняли со двора мелковозрастную шпану. Но поскольку дом, их последнее прибежище и обиталище, доживал вместе с ними свой век (его уже давно пора было ставить на капитальный ремонт: время от времени старые водопроводные трубы худились, заливая потолки нижних соседей), то речь у них шла обычно о болезнях и смертях, которые случались, разумеется, во всех домах и в этом доме бывали и раньше, но раньше их перебивала, забивала молодая жизнь, теперь же выглядели неумолимым законом, осуществлявшимся последовательно и жестоко.

Между средним и крайним, Петиным, подъездом на лавочке — широко расставив ноги в теплых высоких ботах и опершись обеими руками на палку с набалдашником, стоявшую перед ней, — расположилась старуха Меркулова, поверх пальто обвязанная еще черной шалью. Рядом со старухой, правда, не на лавочке, а на асфальте, сидела, высунув язык, черная лохматая пуделиха; она сидела, тяжело — от старости — дыша, и смотрела на Петю замутненными, слезящимися глазами, не мигая, в упор. Так она смотрела на каждого, кого останавливала своими расспросами Меркулова. Все во дворе были уверены, что и перчатки, и платки, и кофточки у Меркуловой связаны из шерсти ее пуделихи Молли; почему-то всех это удивляло и шокировало, но никто ей своего осуждения вслух не высказывал. Алешка Всесвятский, появляясь во дворе, всегда вспоминал, что «большие ребята» раньше «ненавидели» Меркулову, потому что она кричала на «пацанов», запрещала им носиться и играть в мяч под окнами, жаловалась на них родителям... Петя же удивлялся, что какие-то эмоции можно было тратить на безвредную, в

сущности, старуху, у которой в жизни ничего не осталось, кроме лавочек, соседок и пуделихи. Петя и представить ее себе не мог кричащей: то ли дело жена профессора Сипова, тощая, злая и неприветливая, раздраженно стучавшая палкой по асфальту, а чуть что замахивавшаяся ею на шкодивших мальчишек. Меркулова была (это Петя знал от отца, печатавшего в своем журнале ее старшую дочку Надежду Михайловну) в начале двадцатых певичкой в кафешантане, хотя и происходила из богомольной семьи, потом пошла в экономки к профессору Меркулову, потом, с рождением дочек, стала его законной женой. Профессор Меркулов давно умер, его вдова болела водянкой, была громадиной, ноги колодами, ходила с трудом.

— Как бабушка, Петя? — спросила она, даже не поздоровавшись: это был и знак благоволения к собеседнику и сознание, что ее возраст позволяет пренебрегать условностями.

— Ничего. Спасибо.

— Это к вам сегодня «скорая» приезжала? — говорила она с трудом, с одышкой, делая паузы между словами.

— Не знаю. Может быть, — вежливо отвечал Петя.

— Да, старая у тебя бабушка. Часто к ней врачи ездят. А она что, по комнате сама ходит?

— Сама.

— И по квартире?

— И по квартире.

— Ну тогда еще ничего. Значит, до туалета может дойти. Это хорошо.

«А ведь и в самом деле это важно», — подумал Петя, пораженный простотой и откровенностью слов Меркуловой. Бабушка, правда, все равно пользовалась ночным горшком, так ей было удобнее.

Приблизилась маленькая сморщенная старушка: сухонькое тельце, плоская грудь, постоянный белый платок, застиранная юбка и неизменная шерстяная кофта крупной вязки (Матрена Антиповна, надо сказать, вязала на почти весь профессорский дом — вещи необходимые, хотя и простые: носки и варежки). Руки у нее, как всегда, прижаты к груди. И походка такая, будто все время бочком идет. Она прикрывалась ладошкой от ветра.

Было ветрено, однако еще не холодно. Зимой она сюда не приезжала, хотя жила всего в двух кварталах отсюда, в отдельной комнате коммунальной квартиры. Но она даже в магазин зимой не выходи-

ла, и продукты ей покупали либо соседи, либо сын, который очень нежно к матери относился и обихаживал ее. Сына она прижила еще до революции, работая служанкой в каком-то богатом семействе, но замуж ни тогда, ни после Октябрьской так и не вышла, потому что по своему мироощущению являлась именно служанкой и ни кем иным — не женой, даже не любовницей. Занятно, что начало жизненного пути было у нее схоже с Меркуловой, затем расхождение, и снова одинаково бессмысленные стали они к своему биологическому концу. Еще семь или восемь лет назад Матрена Антиповна занимала койку в трехкочной комнате в подвале Петиного дома, где было общежитие рабочих, нянечек и уборщиц, служивших в Институте. Жилье им долго не давали, оклад был мизерный, и Матрена Антиповна, как помнил Петя, всю жизнь подрабатывала — не только вязаньем, но и убирая квартиры, и живя в них, когда хозяйева отправлялись отдыхать и боялись оставить добро без пригляда.

Она подошла, кланяясь, к скамейке.

— Здравствуйте. Давно всех не видела.

— Ну, Матрена Антиповна, наконец-то пожаловала! Совсем нас забыла, — громко сказала Меркулова.

Вместо ответа старушка повернулась, изогнувшись вся, к Пете.

— Как Роза Мойсевна? Жива еще?

— Конечно, — грубовато-неприятно буркнул Петя, шокированный и немного испуганный такой прямолинейностью.

— Сколько ей уже? Знала ведь, но забывать все стала.

— Девяносто два, — убавил почему-то Петя бабушке год.

— А мне семьдесят восемь. Совсем плохая стала, скоро уж, через месяц, тоже семьдесят девять стукнет. Я к вам сегодня зайду навестить. Все болела, больше месяца, никуда не выходила, даже позвонить. Не могла Розу Мойсевну поблагодарить...

— За что это? — спросила недоверчиво Меркулова.

— Она мне, то есть Роза Мойсевна, каждый месяц десять рублей высылала. Надо спасибо ей сказать.

— Ну уж вначале ко мне. Чайку попьем.

— А к Розе Мойсевне завтра загляну. В два-то место мне в один раз тяжело стало заходить, — просительно залебезила худенькая старушка перед Петей.

Петя нарочито свысока кивнул. Он знал, что бабушка Роза считала своим долгом высылать Матрене Антиповне деньги за

то, что та при случае и в комнате могла прибрать, пыль вытереть, пуховое сбившееся одеяло пересыпать, старую кофту шерстяную распустить (все это за деньги, конечно). Но похожие услуги она и другим соседкам оказывала, однако только его бабушка Матрену поддерживала, когда та не могла работать. У Пети зашвербило в душе что-то похожее на обиду, поскольку Матрена не идет первым делом к бабушке Розе, сразу поддавшись уговорам Меркуловой, что сначала — ко всем другим, к бабушке же — *в последнюю очередь*.

Обращаясь к Меркуловой, старушка меж тем говорила:

— Мы, старые люди, в тягость молодым. Я одного хочу — летом помереть. Чтоб легче было могилку копать.

Умильно-благолепная ее интонация напомнила Пете бродячих странниц из пьес Островского, рассуждавших о «Махнуте турецком и Махуте персицком». Подобных странниц учил осуждать Герц как выразительниц косного и тупого начала. А Матрена, подумал неприязненно Петя, старушонка — без чувства собственного достоинства, с рабскою психологией, и к бабушке Розе заходит только корыстно.

Да и вообще он чувствовал, что во дворе к его бабушке относятся, как к чужому, экзотическому существу, которое удивляло тем, что было похоже на человека: имело руки, ноги, голову. Так фантасты описывали космических пришельцев: такие, да не такие. У нее было все не как у людей: она была слишком идейной, любила в Институте выступать на собраниях, когда еще работала (об этом жены знали от своих мужей); не сидела с другими старухами на лавочке, не вступала с ними в долгие разговоры, считалось, что «обособляется» и «брезгует» ими. Петя был «простой», за это старухи его и любили, как и за благонравие. Да и мать у Пети — русская, а к отцу они тоже неплохо относились и потому не называли его евреем, а говорили, что он *вылитый француз или испанец*.

И это тем страннее, что жители окрестных домов и барачков, с мутными глазами, часто пьяные, относились ко всем без исключения обитателям петиного дома так, как те относились к его бабушке Розе. Лет десять-двенадцать назад, Петя это по рассказам и легендам знал, в их дворе происходили баталии: ребята из барачков, налетая на прятавшихся или убежавших профессорских деток, обычно кричали, отождествляя научное звание с на-



циональностью: «Профессора! Жиды пархатые!» На самом деле с еврейской кровью было только две или три семьи в доме. Таких, по крайней мере, где хотя бы старики были евреями, потому что молодые женились на русских и выходили замуж тоже за русских. И хотя Илья Тимашев и уверял, что нет ближе культур, чем русская и еврейская, что об этом еще Бердяев и Владимир Соловьев писали, Петя все равно чувствовал свою *ущербность*. А ведь бабушка Роза была, как казалось Пете, совсем не похожей на местечковых, шолом-алеихемских евреек, она «имела европейское воспитание» и совсем не знала идиш, разве одно-два слова. Например, Петиного отца, Петю, а потом и Илью Тимашева она называла «ишивебухер», так во всяком случае это слово Пете слышалось, а как оно писалось и сама бабушка не знала. Переводилось же — книжник. Правда, был у нее язык, не хуже идиша обособлявший от остальных, в том числе и от членов семьи, — испанский. Двадцать лет бабушка прожила в эмиграции в Аргентине, на *родину* вернулась только в двадцать шестом, в тридцать шестом уехала в Испанию, где пробыла два года и где познакомилась с бабушкой Бориса Кузьмина — Лидией Андреевной Обручевой. С ней только и находила она общий язык, потому что та была такого же закала и взглядов. Но Лидия Андреевна последний год жила в Переделкино, в доме старых коммунистов.

Вежливо кивнув старухам, Петя двинулся к своему подъезду. Открывая дверь, он еще слышал громкие (как всегда без стеснения, что кто-нибудь услышит), прерываемые тяжелой одышкой слова Меркуловой:

— Значит, в болезнь совсем, бедная вы моя, выходить не в состоянии. А я-то сижу все на лавке и смотрю, чего это Матрены Антиповны не видать. Не зайдет, не посидит, совсем про нас не вспоминает, думаю. А про болезнь-то и забыла, что и с вами она может приключиться...

Еще повернув от старух к подъезду, почувствовал он дурноту, а от резкого перепада уличного света и полумрака подъезда вдруг сильно заболела голова, режуще так, от темени к затылку, даже глаза зажмурились. Петя приложил руку ко лбу, показалось, что лоб горячий, что лихорадит. «Приду — сразу две таблетки анальгину...» — подумал он.

## Глава III

# Лина, или безумие

Старая графиня сидела в своей уборной перед зеркалом. <...>  
У окошка сидела за пальцами барышня, ее воспитанница.

*А.С. Пушкин. Пиковая дама*

**В** другой бы раз он воспользовался таким идущим в руки фактом и, слегка добавив жалоб, симулируя большую болезненность, чем была на самом деле, вызвал бы врача, чтоб остаться дома и не ходить в школу. Поболеть, поваляться в постели с книгами он любил, благо и книг было немало. Это был — пока — единственный ему доступный способ укрыться в убежище: от уличных и школьных обид и огорчений. Особенно часто он болел в седьмом и восьмом классе, об этом тогда даже в стенгазете стишки сочинили бдительные активистки из учкома:

Петя в школу не идет,  
Он здоровье бережет,  
Аккуратно по болезни  
Справки вовремя сдает.

Их больше всего раздражало, что при явных прогульщицких настроениях придаться к Пете было невозможно. Он и в самом деле на каждый свой неприход в школу имел справку от врача. Но сейчас — нет, болеть он не собирался. Все же выпускной класс. К тому же не мог он обмануть Лизу, которая будет ждать его сегодня на Козицком. Да и хотел увидеть ее, обнять, ощутить в руках то странное, гибкое, мягкое, податливое, ласковое, что называют в книжках «женским телом». И все же боль в затылке и темени была резкой, в висках заломило, пока он шел к лифту.

Возможно, раздражающе действовал на голову сам подъезд. С тех пор как выстроили внешний, наружу вынесенный лифт и на месте окон в рост человека оказались выкрашенные грязно-синей краской автоматические двери, подъезд стал сумрачный и

холодный. Лампы дневного света, горевшие при этом через этаж, окон заменить не могли, и даже днем чудилось, что ты находишься в каком-то древнем каменном подвале или бомбоубежище. Лифт сделали «по петиции» пожилых и самых уважаемых жильцов дома, которым тяжело было всходить пешком по лестнице.

Остановки лифта были между этажами. Выйдя снова на лестницу, Петя спустился на полэтажа ниже и, подойдя к своей двери, вдруг замедлил нажимать кнопку звонка. Последние пару дней Лина была в ужасно «вздернутом состоянии духа» и покрикивала не только на бабушку Розу, но и на Петю. А он не мог, не умел огрызнуться. А с такой головной болью тем паче оборониться не сможет. В хорошие минуты Лина часто вспоминала и рассказывала, как она его встречала привезенного из роддома и помогала купать его в ванночке, как доставала *череду*, которую разводили в купательной воде, против всяких кожных раздражений. В плохие же — бывала столь язвительна, что простодушный Петя всерьез обижался на нее. Хотя отец, уезжая, говорил ему, чтоб он на ее срывы внимания не обращал, что она добрая, только с изломанной судьбой: не осталось ни отца, ни матери, живет одна, без работы, с мужем разошлась *надрывно*, даже два месяца в психушке просидела, но об *этом почти никто* не знает и знать не должен, понимаешь *не должен*, потому что это *клеймо* на всю жизнь, а Лина *совершенно нормальная* и может еще найти работу и работать да, глядишь, еще и личная жизнь у нее сложится. Петя значительно кивал головой, не очень понимая, какое отношение все эти разговоры о ненормальности имеют к Лине, образованной и изящной.

Да, она исходно была какая-то несчастливица, невезучая, но вовсе не походила на ту плохо бритую шизофреничку в гетрах и башмаках на толстой подошве, таскавшуюся каждый день на почту отправлять письма. Лина была красавица, высокая, стройная, черноволосая, с матовым цветом лица, с красивой грудью, длинными ногами и очень гордилась своим носом «с уздечкой», что она считала признаком *породистости*. Впрочем, может, так оно и было. Петя в этом не разбирался, но видел, что Лина «много о себе понимает», как говорили в таких случаях девочки в школе. Линин отец был сыном Петиного деда от первого брака. Года через два после войны, ее отца, майора Карла Бицына (это была фамилия первой жены деда) посадили, обвинив в симпатиях недавнему

союзнику — Америке, слишком уж он настойчиво, на глазах у сослуживцев, учил английский язык. Так он и пропал в лагерях, а через полгода после его ареста и родилась Ленина, и дед-профессор, желая помочь невестке, пригласил их пожить пока у них. Алевтина, так звали мать Лины, не долго дождалась мужа, завела себе любовника, а тут еще родился Петин брат Яша, и бабушка Роза настояла, чтобы Лина и, главное, ее мать уехала «на свою жилплощадь». Мать Лины собиралась было отсуживать одну комнату у свекра, как учил ее новый любовник, но все же им пришлось уехать, хотя напоследок (это вспомнила Петина мать) Алевтина еще кричала, что не позволит выгнать себя из квартиры, потому что она жена тоже как никак сына Исаака Моисеевича, что не один Владлен у него сын, что если другие сыновья от первого брака неплохо устроились в жилищном отношении, то надо и о ней подумать. Потом все сгладилось, бабушка Роза и дед, которого Петя не знал совсем, помогали Лине, она подолгу гостила у них, потому что ее мать все же сумела выйти замуж за одного из очередных своих любовников и перестала обращать на дочку внимание. Лина называла тогда бабушку Розу бабушкой, и никто уже не вспоминал эти прошлые обиды и неурядицы, словно их и не было.

А потом Лина стала бывать у них в доме много реже, так что, когда Петя подрос, он видел ее случайной гостьей: красивой, веселой, нарядной женщиной, смеявшейся каким-то странным горловым, необычно волнующим смехом, каким мама никогда не смеялась. Лина как раз тогда поступила, а затем окончила труднейший, по словам папы, институт — Архитектурный, сокращенно МАРХИ, причем с отличием, с красным дипломом. И вились вокруг нее молодые гении, предлагая себя в спутники жизни, с некоторыми Лина приходила к ним в гости, но бабушка Роза отрицательно качала головой: мол, слишком молод, положиться нельзя. А Лина тогда цвела, чувствуя себя *примой*, но ни за кого из «гениальных мальчиков» она так и не пошла, а отбила мужа у какой-то женщины с тремя детьми, — именитого архитектора и дизайнера Диаза Замилова. Петя один раз наблюдал его уже после, в Доме Архитектора, куда попал с отцом в конце семидесятых на выставку Татлина. Диаз был высок, строен, узкоглаз, с «благородной сединой» на висках и принадлежал к направлению «конструктивистского толка». Это последнее обстоятельство в свое время рассорило Лину с ближайшей подругой, в семье которой она фактически выросла.

Лет с пятнадцати, когда они с матерью давно уже жили в своей коммуналке на Красной Пресне, она подружилась с новенькой, пришедшей к ним в школу в восьмом классе. Семья Саши Михайловской была искусствоведческая, консервативного, так сказать, направления мыслей — с любовью к передвижникам, идейности, реализму, понимаемому как изображение «типических характеров в типических обстоятельствах», при этом, правда, как водилось в те годы в рафинированных интеллигентских семьях, — с иронико-саркастическим отношением к властям предрержащим. Лина, так говорил отец, была в детстве да и постарше, девочкой живой, хорошо рисовала, прекрасно писала школьные сочинения и всегда «тянулась к искусству»: в семье Михайловских ее приняли как вторую дочь, тем более, что догадывались о ее непростых отношениях с матерью. Там она впервые поняла, что и у нее не просто жизнь, что у нее есть *биография*, что гибель ее отца в сталинских лагерях делает ее самое *интересной*, добавляя даже что-то и к женской ее привлекательности, повышает ее *ценз*. И Петя думал, что, быть может, в этом была одна из причин («в самоупоении»), почему она отвергала то одного, то другого притязателя на ее руку и сердце, пока не столкнулась с Замиловым. По рассказам, смутно уловленным Петей за одним из вечерних чаепитий, Лина поразила всех, надев на свадьбу белое платье-мини, выше колен обнажавшее ноги, и иронически посмеивалась над «записью актов гражданского состояния», называя эту процедуру «пошлостью». Диаз же, в черном приталенном костюме, глядел устало, грустно и мрачно. Свидетельницей со стороны невесты была Саша.

Но брак этот не принес Лине счастья. Михайловские его приняли с трудом, приглашая Лину к себе в гости *без Диаза*, объясняя свою нелюбовь к Замилову его конструктивистскими увлечениями, ее брак переживался как *измена дому*, выращившему неблагодарную. Над Линой начали подшучивать, уверять, что у нее произошла «конструктивизация всего организма». Она теперь чаще проводила время с мужем в других домах: то в Доме Архитектора, то в Доме творчества на Сенеже, где работала студия дизайнеров, в Сашиной семье появляясь раз или два в месяц. Наконец, ей было прямо сказано об измене «принципам», что, по российской традиции, пережившей все режимы, всегда считалось самым большим оскорблением. Лина вспыхнула, встала в позу: «Как вы смеете это говорить мне, дочери уз-

ника, замученного в сталинских концлагерях», — кричала она шепотом. Это она сама часто повторяла, рассказывая Пете свой разрыв с подругой детства, переживая его, возбуждаясь и восклицая: «И это мне, дочери врага народа!.. Дочери человека, погибшего за свои принципы!». Короче, с той семьей она порвала, но и с Диазом любовь довольно быстро кончилась.

Они жили в ее комнатке на Красной Пресне (мать Лины к тому времени умерла, а Замилов оставил квартиру бывшей жене и детям), первое время были счастливы. Но была Лина по молодости кокетлива, а Диаз, по-восточному ревнуя, бил ее, что, разумеется, перенести она не могла и ушла: и от него, и одновременно из Гипротеатра, где они вместе работали и где она оставаться не хотела, чтобы не слышать радостных соболезнований подружек и их же сплетен. Ушла в никуда (Пете этот ее поступок казался безумием), *в никуда*, ничем и никем не защищенная, нигде не работала и работы не искала. Как она попала в сумасшедший дом, Петя не знал. Отец что-то глухо говорил об их родственнице, вдове дяди Миши Бицына, враче-психиатре, докторе медицинских наук. Приехав навестить несчастную, брошенную мужем племянницу, она на следующий день прислала за ней перевозку. Два месяца психушки дались Лине непросто: в ней что-то сломалось, похоже, пружинка, которая делала ее *примой*. Да к тому же она считала, что в документах ее стоит теперь непременно какой-нибудь таинственный знак, сообщающий о ее пребывании в дурдоме, и ни один отдел кадров ее не пропустит, уж пусть она лучше будет голодать. Для подработки она писала шрифты, чертила дипломникам конкурсные проекты, пыталась давать уроки черчения, но все это неудачно, доход имея скудный; помогала деньгами бабушка Роза, а потом у бабушки случился удар, и Петин отец уговорил Лину переехать к ним.

Это, конечно, поддержало ее материально, но и словно загнало в еще больший ступор: она по-прежнему не искала работы, бросила писать шрифты, перестала давать уроки, утвердившись в мысли, что ей ни в чем все равно нет удачи. И с Ильей Тимашевым у нее как-то неладно получалось. Он тоже был женат.

Петя позвонил и через минуту услышал быстрые женские шаги, дверь распахнулась без вопроса «кто там?», к которому с детства приучали его родители. А Лина всегда говорила: «Мне бояться нечего. Да и вы что трясетесь! Кому мы нужны? Что у

нас тут брать? Книги? Да никому эти книги по марксизму да по науке не нужны, никто нас грабить не придет!»

Лина стояла на пороге, раскрасневшаяся, немного распатланная, в кухонном фартуке поверх темно-фиолетового вязаного платья, и прикладывала палец к губам. Это означало, что бабушка спит и что надо быть тише, чтобы не послышался ее громкий обычный крик: «Кто пришел?!» Петя понимающе моргнул. Как осажденные в крепости, они объяснялись знаками, чтобы их случайно не подслушали соглядатаи противника. Петя шагнул в коридор-прихожую, и Лина, придерживая язычки замков, тихо прикрыла дверь.

— Совсем замучила меня утром, — пожаловалась Лина чуть слышно. — Трижды неотложку требовала, мне уж звонить туда неловко было.

— Ничего, — тоже шепотом ответил Петя. — Четвертое управление на машине ездит, не развалится.

— Там ведь тоже люди работают, — Лина осуждающе посмотрела на Петю, но остановила дальнейшие свои раздраженные слова увидев Петино лицо. — Ты чего мрачный?

— Голова очень болит.

— Прими аналгин, — сказала Лина без всякого сочувствия. И словно оправдываясь, словно объясняя свою холодность, зашептала:

— Со мной что-то странное происходит. Петя, она за мной следит, подглядывает. Я в своей комнате, а чувствую — мне кто-то в спину смотрит. Обернусь — никого. Ведь кроме нее в квартире людей нет. Кто еще может в спину смотреть? Ты ж знаешь, это раньше была ее привычка: встать па пороге и в спину тебе уставиться!

— Ты просто устала, — думая, что понимает ее, сказал Петя, ощущая, что голова его раскалывается на кусочки.

— Да ты не мучайся, — пожалела его в ответ Лина. — Поди скорее аналгин прими...

— Сейчас переоденусь...

Лина согласно кивнула и двинулась на кухню, а он просочился в свою сыроватую, даже промозглую, а зимой просто холодную комнату. Зимой здесь выше пятнадцати градусов температура не поднималась. Поэтому в комнате всегда стоял электрический камин — синий прямоугольный ящик из железа

на четырех ножках с открытой спиралью за решеткой. От выкрашенных масляной краской в зеленоватый цвет стен несло дополнительной сыростью. Петя воткнул штепсель электрокамина в розетку, переоделся в теплый тренировочный, он же домашний, костюм. Потом, как пушкинский скупой свое золото, осмотрел книги, которые он сейчас читал, перечитывал или собирался читать. Хоть Лина и ворчала по поводу таких книг, что они ничего не стоят, Петя считал их своим богатством. Были тут и учебники, вроде трехтомника Ландсберга по физике, но и книги для мысли и души: Норберта Винера «Творец и робот» и «Я — математик», Леопольда Инфельда и Альберта Эйнштейна «Эволюция физики», Макса Борна «Моя жизнь и взгляды», И.С. Шкловского «Что такое вселенная?» и любимые — «Эварист Галуа» Л. Инфельда и «Эйнштейн. Жизнь и взгляды» Б.Г. Кузнецова. Положив книгу об Эйнштейне на нижнюю полку тумбочки, прикрепленной к деревянному изголовью кровати, он вышел на кухню.

На столе лежала пачка анальгина и стоял стакан воды. Лина готовила у плиты обед: овощной суп — из картошки, морковки, лука, зеленого горошка, сушеного сельдерея и разных корней, а на второе — вареные котлеты из вырезки, повернутой на мясорубке, тоже с луком и морковкой. Петя выпил две таблетки и присел на стул. Между плитой и раковиной мостился небольшой кухонный столик, на нем Лина чистила овощи, споласкивала их под струей холодной воды и сразу бросала в кастрюлю с кипятком, уже стоявшую на огне. С самого отъезда родителей в доме не варили больше мясных супов, потому что бабушке нужна была легкая для усвоения еда, а Лина не возражала, ибо и себя хотела ограничить в потреблении пищи, «чтобы не потерять форму». На второе обычно был либо вареный язык, либо вареная вырезка, либо котлеты из вырезки. Все это приносилось (да еще, скажем, докторская колбаса, от которой и в самом деле пахло мясным духом) из распределителя, то есть столовой лечебного питания, к которой бабушка была прикреплена как старый член партии. Но таких, как она, было там немного. Пока она была здорова, Петя ездил с ней на улицу Грановского, где отоваривались сами владельцы карточек, дающих право на пользование этой столовой, — как правило, мужчины с толстыми затылками и крутыми могучими плечами, так что маленькая, подтянутая, хотя и властная, бабушка Роза была каким-то непо-



нятным исключением. Получив сразу на несколько дней порции хорошо упакованных продуктов, мужчины шествовали к своим служебным машинам, такие одинаковые, что странно, как их узнавали шоферы, тоже, кстати, похожие один на другого холуйскими рожами. Теперь они с Линой по очереди ездили в распределитель «для членов семьи» — около кинотеатра «Ударник», в «дом на набережной».

— Чего-нибудь помочь? — спросил Петя. Боль немного утихла. Он видел, что обед будет готов не раньше, чем через полчаса, и надеялся, что Лина отпустит его назад в комнату, однако ошибся. Лина, повернув к нему воспаленно сверкавшие глаза, сказала:

— Да нет, помогать не надо. Посиди со мной, расскажи, что у тебя происходит, как твои дела с Лизой.

Петя не очень-то любил такие разговоры. Отношения у них сложились странные: то Лина делилась с ним своими чувствами и переживаниями, порой, казалось Пете, весьма нескромно, то вдруг ополчалась на него, обвиняя в самом страшном, на ее взгляд, грехе: в несовременности, что было для нее синонимом консервативности. Обида Лины на семью Михайловских, которая «во имя своих консервативных устремлений» отвергла ее, ближайшую подругу их дочери, усиливала, как понимал Петя, любовь Лины к новаторскому и современному. Слово «современный» было к тому же в середине шестидесятых, когда Лина поступила в Архитектурный, еще и синонимом творческого, духовного протеста против косности, догматизма, сталинизма, мешанства и т. п. Ракета, атомоход, синхрофазотрон, Андрей Вознесенский, космические скорости, облегченные конструкции домов, открытость западному образу жизни, древнерусская иконопись, футуристы и, конечно же, обэриуты, — вот что было современным и должно было быть любимо каждым по-настоящему прогрессивным человеком. Над этими ее устремлениями посмеялся как-то Борис Кузьмин, которого затащил к ним в гости попить чаю Илья Тимашев. Сосед по дому, вспомнив старое знакомство и какие они с Линой были когда-то молодые (Лина надупилась), сказал, что в начале шестидесятых, когда ему было восемнадцать лет, он тоже писал стихи про атом и косность, но и тогда у него хватало сообразительности не путать прогресс технический с духовным. И в доказательство прочитал:

Летит ракета в космос,  
И атом гложет лед,  
А мне людская косность  
Покоя не дает.

Тимашев попытался сгладить ситуацию, придать спору научную респектабельность (он видел, что Лина обиделась), но был слегка пьяноват, и ему это не удалось. А Кузьмин, словно не замечая Ляной обиды, сказал, что у него тоже есть друзья из Архитектурного, хотя бы известный Тимашеву Лёня Гаврилов, их общий приятель, и совершенно понятно, что в словах Лины — типичная модерна эклектика Архитектурного. Тимашев возразил ему, что, например, Лёня большой поклонник Витрувия, но Кузьмин уперся, сказав, что Витрувий у Лёни в ряду модерна, как это ни парадоксально, ибо в среде архитекторов слово «современный» всегда было символом веры: «современная архитектура» (Корбюзье, Франк-Ллойд Райт, Гропиус), «современная мебель», «современный интерьер» (Баухауз, фирма Оливетти, Мальдонадо, дизайн), книги Мишеля Рагона, А.К. Бурова, И.Л. Мацы и других. А так же йога, дзен-буддизм, христианство, байдарка и слайды. Лина тогда очень обиделась, и больше Кузьмин у них в гостях не бывал. Сама она книг по всяким сложным вопросам не читала, «предпочитая общаться с умными и интересными людьми», к которым относил неизвестных Пете Андриюшу Томского и Олега Любского, конечно, Илью Тимашева, а в свое время, очевидно, и Диаза Замилова. То есть людьми, которые что-то читали сами и могли поразить ее экстравагантностью суждений. Лина сидела дома, иногда вечерами (но теперь редко, как она сама жаловалась) ходила на концерты современной музыки или на выставки со скандальной славой, еще реже к ней приходили давние приятельницы, она встречала их с какой-то нервной напряженностью, они начинали на кухне пить кофе, курить, потом уходили к Лине в комнату (бывшую родительскую). О чем они говорили вечерами напролет, Петя не интересовался, подозревая *пустое*.

Сегодня Лина была в нейтрально-нервном расположении духа, готовая от приязни вдруг перейти к ссоре.

— Ну, так что у вас с Лизой слышно? Уж мне-то, старушке — по сравнению с вами, конечно, к тому же твоей близкой родственнице, можешь в своих изменах и флиртах сознаться!.. Ска-

жи, завел новую девочку? Шучу, шучу. Ты спокойный и верный. Это хорошо. И гением себя не мнишь. Нынешние гении либо сумасшедшие, либо пьяницы. Никогда не обманывай любящую женщину, которая все тебе отдала.

Петя похолодел от этих слов, потому что он и в самом деле подозревал, что Лиза ему хочет «все» отдать.

— У твоей Лизы, надеюсь, современные представления о жизни, — говорила Лина, закончив, наконец, возню с овощами и повернувшись к нему. — Ах, я завидую вам! Вы такие молодые, беспечные, никаких проблем! Вы можете бездумно веселиться. Что ж ты не сводишь свою даму в театр? Не все же по кино околачиваться. Женщин нужно уметь *культурно* развлекать. Я уж и одна здесь посижу. Много ли мне надо! — хотела она пококетничать. Но прозвучали эти слова искренне и грустно.

А Петя обрадовался, так неожиданно получив индульгенцию на нынешний вечер, и, похоже, не сумел скрыть радости.

— Сегодня веду. На «Дон Кихота» булгаковского, — более того, таким признанием выдал, что собирался идти, не предупредив Лину заранее, как бы умышленно оставляя ее в одиночестве у постели больной.

Но Лина это не сразу заметила:

— О! На Михаила Булгакова! Шикарно. А билеты кто достал?

— Лиза.

И тут, видно, до Лины *дошл о*.

— Ну а это неприлично, — Лина внезапно, «с недоумением» подняв брови, посмотрела на Петю. — Ты должен за женщиной ухаживать, а не она за тобой, — ничего другого она сразу не нашла сказать.

Отвернувшись от него, она принялась молча проворачивать в мясорубке мясо для котлет. Уйти сейчас было бы только хуже. Надо было дать ей выговориться. Хотя Петя побаивался таких ее смен настроения, потому что помимо обид в его адрес, они всегда имели один и тот же поворот сюжета: она как «девка-чернавка» обслуживает и Петю, и его бабу, а он ведет себя как барин, даже пальцем не пошевелит, сидит и смотрит. Так и есть!

— Смотришь, как я *стряпаю*? Нечего меня подгонять да за мной наблюдать! От своей бабки этому научился?

Петя молчал в ответ, зная, что надо выждать, чтоб в театр уйти по возможности мирно, и сидел, опустив глаза в стол. Пока

из бабушкиной комнаты, из-за плотно затворенной двери не до-  
неслось вдруг громкое, проникающее во все углы квартиры:

— А-а! Лина-а!

Петя вскочил. Лина от неожиданности чуть не уронила ми-  
ску с фаршем. Но не уронила, поставила на кухонный столик и  
тыльной стороной руки отодвинула в сторону волосы с глаз.

— Фу, вот так всегда. Крикнет, аж сердце в пятки уйдет.

Они вновь стали союзниками.

— Кто там? — доносилось из-за двери. — Я проснулась, а со  
мной никого. Все, все меня забыли. Я как в тюрьме. Одна, все  
время одна-а! Лина-а! С кем ты говоришь? Кто пришел?

— Это Петя! — крикнула в ответ Лина, и по тону ее он понял, что  
раздражение не утихло, просто переменило объект. — Звонили ей из  
парткома и из газеты. Берут сегодня у нее интервью как у *старой  
большевички*. Я ей говорила, но старуха наверняка все забыла.

Петя, глянув на расстроенное и несчастное лицо Лины, подум-  
мал, что, помимо всех ее забот, Илья Тимашев не заходил и не  
звонил уже третий или четвертый день.

— Ли-на! Пе-тя! Где вы! Петя! Внук мой! Ты где?

— Поди посмотри, что ей там нужно. А я быстро котлеты до-  
делаю.

Петя шел по коридору мимо книжных полок во всю стену под  
причитания, доносившиеся из бабушкиной комнаты:

— Что же ты ко мне не заходишь? Я тебе надоела? Я всем на-  
доела. А что я могу поделывать? Не умираю. Никак не умираю.

Перед дверью он секунду постоял, прежде чем, постучав-  
шись, войти к бабушке. А она, уже забыв, кого звала, говорила  
вслух сама с собой, жаловалась неизвестно кому:

— Все меня забыли, все. О, где ты, сын великой любви? Влад-  
лен! Мать великой любви зовет тебя! Ты занят, ты на работе. Я  
так тебя учила, что работа важнее всего. Но ведь работу можно  
бросить, когда умирает твоя мать, мать великой любви... Ты дол-  
жен мне пожертвовать своей работой, — потом, вспомнив, види-  
мо, кого звала: — Петя! О, мой любимый внук, ты один меня не  
забываешь. Но ты не можешь сейчас придти, ты болен, — сно-  
ва пауза, и осторожным, хитрым голосом. — Впрочем, Линочка  
тоже любимая внучка. Вну-учка.

Набравшись духу, Петя вошел в комнату. Бабушка лежала  
на диване в мятом байковом халате, ноги ее были укрыты крас-

но-черным шотландским пледом, глаза устремлены в потолок, и все свои речи она уже привычно произносила, не имея перед глазами слушателя, почти нараспев. Рядом на круглом столике лежали стопкой газеты, стояли пузырьки с лекарствами, около них очки без оправы, развернутая «Правда» валялась в ногах. Остальные газеты бабушка еще не смотрела. Над головой у нее — в рамке под стеклом висела увеличенная фотография деда, человека с большим лбом, добрыми глазами и маленьким подбородком. На стенке над диваном — цветная репродукция какой-то картины Диего Риверы: идут куда-то восставшие крестьяне, размахивая серпами, некоторые уже с винтовками. На маленьком гвоздике — цветной бубен с изображением корриды. А еще на двух гвоздиках треугольные флажки: на одном какие-то дома и слово «Buenos-Aires», а на другом некий святой, поражающий копьём чудовище, распростертое у ног его коня (это был, очевидно, герб города, судя по надписи — «Barcelona»). Пахло мочой: под столиком с газетами стоял синий ночной горшок. Видимо, Лина горшок забыла вынести, а у бабушки то ли сил не хватило, то ли она демонстративно его оставила, чтобы чувствовать себя совсем заброшенной и чтобы все это поняли. Еще пахло немывтым старушечьим телом, лекарствами и духами, воздух был спертый, нечистый. Пол был неметен, валялись какие-то бумажки, обрывки лекарственных упаковок, рецепт с красной полосой (из Четвертого управления) и засморканный носовой платок, вдоль книжных полок у противоположной стены — свалывшаяся в клубки пыль.

В больнице бабушку коротко постригли, и теперь было видно, особенно с затылка, что волосы у нее не только седые, но и редкие уже, настолько редкие, что, несмотря на взлохмаченность, просвечивала сквозь них покрасневшая кожа головы. Петя кашлянул, и бабушка повернув голову к двери, с полубессмысленным ужасом уставилась на него своими безресничными глазами.

— Петя?! Ты разве не в больнице? Что у тебя с горлом?

— Ничего. А что?

— Я хочу пить. Дай мне воды.

Петя снял с письменного стола стакан с водой (на ночь бабушка клала в этот стакан с водой вставную челюсть, а днем, вставив челюсть на место, споласкивала стакан и наполняла его свежей водой, чтобы запивать лекарства) и подал ей. Она отпила глоток.

— Ты разве здесь? Мне мальчик сказал, что у тебя пошла кровь горлом. И тебя забрали в больницу. Как моего первого мужа. Он был похож на Горького и все принимали его за Горького.

— Какой мальчик? — перебил се Петя. (Он знал, им с Линой объяснили врачи, что в бабушкином психическом состоянии ничего нет опасного или серьезного, но тем не менее воображаемое для нее такая же реальность, как и сама реальность, надо только аккуратно выводить се из этого состояния, не противоречить).

Бабушка задумалась, успокаиваясь потихоньку.

— Не знаю. Просто приходил мальчик. Может это был твой старший брат Яша? Нет, не он. О, я не виновата в его смерти. Это моя самая большая боль. Но это был не он. А-а. Это был Карл, Линин отец. Хм. Но он тоже умер. Он родился уже после того, как мы познакомились с Исааком. Ты же знаешь, у Исаака, у твоего дедушки, было трое сыновей от другой женщины. Исаак был тогда анархист. И первого сына назвал Петр — в честь Кропоткина, второго Михаил — в честь Бакунина, и только Карла — в честь Маркса. Я уже к этому времени имела на него влияние. Я еще с Карлом все играла. Вот он и приходил. Или не он, а очень похожий?.. — она задумалась, припоминая, был ли мальчик. — А у тебя с горлом все в порядке?

— В порядке, бабушка.

Она посмотрела на Петю вдруг ясными, не затуманенными бредом глазами. Сморщилась страдальчески.

— Ох, устала я.

Попыталась приподняться на правой руке. Рука была вялая, слабая, в кисти распухшая до складок и перевязочек, как у младенцев. Пальцы тоже опухшие, словно надутые, ногти подстрижены плохо. Ногти на руках она стригла сама. На ногах, после больницы, просила стричь то Петю, то Лину, то, пока был отец, — отца. Когда Петя, держа в руках ее желтоватую, толстую ногу, стриг ей ногти, она переживала и говорила: «Тебе, наверное, противно, но что делать? я не могу сама, ты меня извини». Ей трудно было сгибаться. А ногти были длинные, заскорузлые, толстые, резались плохо, трудно; под ногтями — скопление грязи, от ног плохо пахло. А бабушка, суровая бабушка мучилась от своей беспомощности во время этой процедуры, и Петя старался об этом не думать.

Петя бросился и подхватил ее, подложил под спину подушки, чтобы было повыше, решив, что она хочет сесть. Но бабушка стала упрямо спускать ноги с дивана, пытаясь встать.

— Горшок. Надо вынести горшок. Я понимаю, вам противно... Выхода не было.

— Ты посиди, бабушка, посиди, я сам вынесу.

Петя наклонился, поправил на горшке сбившуюся крышку и быстро пошел к туалету. На пороге кухни стояла Лина. Увидев Петю, протянула руку к вонючему сосуду:

— Пусти, я сама все сделаю. Я собиралась, просто не успела. Она ведь нарочно перед тобой демонстрацию устроила.

Петя протянул было ей горшок, чтоб только не спорить, но тут зазвонил телефон, стоявший в кухне на шкафчике с посудой, и Лина, резко развернувшись, рванулась к трубке. Петя прислушался, не из Праги ли родители, не Лиза ли... Но Лина словно ушла в телефон, и Петя понял, что звонит Тимашев.

— Чем обязана? — говорила Лина ледяным тоном. — Да нет, я вовсе не обижена. Что мне на вас обижаться? Вы мне такой же посторонний человек, как всякий другой, а на посторонних не обижаются. Не вижу, почему это я должна быть с вами на «ты». Мало ли что было! Живу как живу. Кому какое дело? Завтра? Нет, не могу. Надеюсь, что приедет один мой знакомый живой человек. Устроит мне фестиваль. Я не жалуюсь. Это я так в своих безрадостных буднях называю светлые дни. Может, в театр меня сводит. Неужели меня некому в театр сводить?! Да? К матери своего друга? Пожалуйста. Приходите, мне какое дело! Свое решение я уже приняла. В этом вы убедитесь, я думаю. А ваше полное право навестить Розу Моисеевну. Вот и навещайте, когда хотите. Почему я должна возражать?.. Не знаю. Но кто-то сегодня будет непременно дома, так что дверь вам откроют. Пока дома. Да. До свиданья.

Лина положила трубку, и хотя тон ее был резок, Петя увидел, что выражение лица помягчело. Она нырнула в ванную прихватив пудреницу и тушь.

Фортка на кухне была открыта, он услышал, как к подъезду подкатила машина, и Петя почему-то решил, что это к ним. С какой-то внутренней заторможенностью он продолжал стоять, прислушиваясь. И как бывает, — неожиданно угадал. Перед дверью послышалось шебуршание, потом раздался звонок.

## Глава IV

# Интервью

Старуха молча смотрела на него и, казалось, его не слыжала.

*А.С. Пушкин. Пиковая Дама*

**Н**у что ты стоишь? Иди открывай!  
Петя молча и виновато показал горшок, который он так и не вылил, а Лина, причесанная, умытая, слегка подрумяненная и напудренная, пожав плечом, прошла мимо него к двери, сказав негромко, так, чтобы только Петя слышал:

— Взятся, так уж делай, за что взялся!

Подойдя к двери, хмыкнула, рассмеявшись слегка:

— Интересно, кого это к нам черт принес?

Смех был как бы отчужденный от Пети, рассчитанный на посторонних. Открыв дверь, она встала вполоборота к входившему, так что Петя видел выражение ее лица. Словно и не было у нее только что хандры и печали, она улыбалась навстречу гостю, застрявшему в дверях криворотому мужчине в шляпе. Петя быстро, поражаясь своей недавней прострации, шмыгнул в туалет. Приподнял деревянное сиденье, чтоб не забрызгать его, и аккуратно вылил в унитаз содержимое горшка — перестоявшуюся, темноватую и остропахнущую мочу. В прихожей слышался мужской голос, слегка гундосый и шепелявый, как показалось Пете. Он заколебался, удобно ли с горшком в руках перескочить на чужих глазах из туалета в ванную, не лучше ли отсидеться, но гость, похоже, никуда не двигался, и Петя решил. Не поворачивая головы в сторону входной двери, прошел в ванную, сполоснул горшок под сильной струей воды, также быстро вернулся в туалет, вылил воду, поставил горшок около унитаза (к бабушке не понес), снова проскользнул в ванную и вымыл руки. И только тогда вышел в коридор.



Лина и вошедший все еще толклись в прихожей. Высокий мужчина в плаще, как робеющий школьник, держал перед собой двумя руками шляпу и портфель, а Лина говорила ему:

— Вы к Розе Моисеевне? Так проходите, пожалуйста.

Мужчине удалось ухватить левой рукой одновременно шляпу и портфель, а правую он протянул Лине, невнятно произнеся кривым ртом:

— Саласа.

— Что? — не поняла Лина, подавая ему руку.

— Саласа, — повторил мужчина. — Фамилия моя — Саласа. Рязанский я. Василий Кузьмич. После войны в Москву перебрался. А вы здесь живете? — некстати брякнул он.

— Проживаю некоторым образом, — неприятно на сей раз улыбнулась Лина, растянув губы и прищутив глаза. — А это Петя, *внук* Розы Моисеевны...

Но мужчина не заметил иронии:

— А-а, здравствуйте, молодой человек! Это Петя, точно, Петя. А я вас помню совсем еще мальчиком. Наверно, школу уже кончаете. А куда, позвольте узнать, собираетесь поступать? В Московский университет, надо думать?..

— Да, на физфак, — подтвердил Петя с самодовольством, поскольку собирался поступать на такой трудный факультет и поскольку к нему едва ли не впервые обратились на «вы». Но с места не сдвинулся, потому что не понял, с кем говорит и как себя вести дальше.

— По научной линии, значит? — переспросил вошедший.

Петя молча кивнул. Из-за двери подавала голос бабушка, видимо, тщетно прислушивавшаяся к голосам, но так и не сумевшая разгадать, кто пришел:

— Кто там?! Кто там? Пе-етя! Ли-ина! Кто там?!

Лина было дернулась открыть дверь, но мужчина, очевидно, решил, что он не только ей, но и Пете должен представиться. Похожий на перестарка-ученика, привыкшего лебезить перед учителями, извиваясь тощим телом и хлопая полами старомодного белого пыльника, он шагнул от входной двери мимо Лины к Пете.

— Вы, наверное, меня не помните... Я Саласа, Василий Кузьмич, из парткома, в этом году секретарем выбрали. Я на кафедре истории партии работаю, где и Роза Моисеевна работала. Мы с

ней почти двадцать пять лет проработали вместе, можно сказать. Я горжусь, что я ее ученик. Мы наследники, так сказать, ее славных дел. Вот пришли узнать подробности. Для воспитания молодежи.

— Ли-ина! Пе-е-тя! — снова крикнула бабушка.

Но Саласа, не обращая внимания на бабушкины крики, прихрамывая, все наступал на Петю:

— Я у вас дома когда-то бывал. Раза два. Я и батюшку вашего помню, — и завистливо-уважительно добавил. — Я слышал, он сейчас в Праге... Что ж, большому кораблю большое и плаванье. Ведь он сын Розы Моисеевны и в таком журнале *работал!*..

«Кто бы мог подумать!» — было написано на его лице, и Петя вспомнил, что фамилию Саласы он слышал раньше в домашних разговорах. Действительно, карьера Петиного отца, автора статей в солидном научно-идеологическом журнале, не могла не казаться феерической, карьерой, на которую может претендовать только залетная жар-птица. В пятьдесят втором году, когда отец только-только кончил филологический факультет, он сразу оказался без работы. На факультете его не оставили, а в издательстве, куда он попробовал устроиться хотя бы корректором, его не взяли, сказав: «Конечно, специалисты нам нужны, но чувствующие язык. А вы же не можете чувствовать русский язык». Бабушка, сама с трудом удерживаясь на своем месте, все же сумела его определить в соседний вуз — вести семинары по истории партии: *этих* специалистов не хватало, и отца приняли. А работавший тогда у бабушки на кафедре молодой ассистент Саласа приходил на семинары к отцу с *проверкой* — и вдруг в конце пятидесятых *такой рывок*: работа в журнале. А теперь вот и Прага!..

— Владлен Исаакович и кандидатскую, небось, уже защитил?..

Петя кивнул, что давно, мол, уже. Гость обрадовался и улыбнулся своим удивительно кривым ртом: справа рта как бы не было, а налево почти до самого уха. Улыбнувшись, пожаловался:

— А мне вот никак защититься не удастся. Все времени нет, зачеты, часы, да сейчас и публикации ввели, а знаете, как трудно что-нибудь нашему брату написать, а напечататься совсем негде, и невозможно... Правда, доцента мне все равно дали. Как и Розе Моисеевне. Давно уже. Но я решил по партийной линии пойти. Инструктором в горком зовут..

Петя стоял, улыбался в ответ, не знал, что говорить и с мучением думал: «Почему же он не идет, наконец, к бабушке?» Стоять

бессмысленно он устал. Бабушка продолжала говорить из-за двери, но уже не спрашивала, кто пришел, а размеренным речитативом вела нескончаемый диалог сама с собой или еще с кем-то:

— Пора кончать. Черт! Пора кончать! Я жила честно. Честно! Все мои братья поумирали. А я была старшая. Старшая! Хватит! Все поумирали. А я все живу. Ли-ина! Это ко мне пришли?!

Стоявшая молча в стороне и смотревшая теперь на Саласу с демонстративно выраженным презрением, которое она считала своим долгом показывать хамам, староверам и реакционерам, Лина, наконец, прервала его. Высокая и статная черноволосая красавица рядом с пегим и криворотым доцентом, похожим на чертика, казавшаяся еще более красивой, она вдруг встрепенулась и как бы случайно, а вместе с тем, чтобы было понятно, что и не случайно, взмахнула у него перед лицом смуглой, полной рукой, шагнула к двери, приоткрыла ее и крикнула:

— Бабушка, это к вам пришли!

И обращаясь к Саласе:

— Шляпу можете в прихожей оставить.

А проходя мимо Пети, громко сказала:

— Иди почитай, если хочешь. Минут через тридцать-сорок я тебя позову. Когда обед будет готов.

Саласа улыбнулся Пете и развязно двинулся в бабушкину комнату. Шляпу в прихожей он не оставил, а по-прежнему прижимал пальцами к портфелю. Пыльник он тоже не снял. При ходьбе гость заваливался на правую сторону, похоже, что прихрамывая. Петя встал на пороге своей комнаты, которая была напротив бабушкиной. Сквозь распахнутую настежь дверь он хорошо видел часть бабушкиной комнаты: полки во всю стену, заставленные книгами; напротив двери большое окно, справа от него телевизор на тумбочке; над телевизором маленький иконостас — в общей деревянной рамочке, разделенной на три части, фотографии Маркса, Энгельса, Ленина; слева от окна застекленная репродукция картины И. Бродского «Ходоки у Ленина»; на книжных полках среди книг по истории партии стояли привезенные из Аргентины и Испании цветастые бубны, старые, треснувшие, на которых изображались мужчины в *пончо* и женщины в длинных черных юбках, танцующие танго; на полке повыше — глиняные раскрашенные божки с непристойно выпяченными животами, пониже стоял кокосовый высушенный орех с хвостиком сухих

листьев, а также выдолбленная и опраренная в серебро тыква — сосуд для питья аргентинского чая, называемого «матэ», туда же была вставлена специальная ложечка с полой ручкой и ситечком внизу (сквозь эту ложечку полагалось *сосать матэ*); на огромном бабушкином столе (значительная его часть тоже была видна) перед специальной подставкой для писем от сына и дочери стояли металлический Дон Кихот с вынимающимся мечом и черный терракотовый интербригадовец-испанец в красной пилотке и с красным знаменем в правой руке. Бабушкиного дивана и самой бабушки не было видно: скрывал простенок и ее, и фотографию деда над ее головой, и восставших крестьян Диэго Риверы, с их страшноватыми, землистыми лицами.

После первых приветствий гость уселся на стул у стола, боком, так, чтоб быть лицом к бабушке. Поставив меж ног портфель и укрепив на нем шляпу, он, чтобы занять руки, снял со стола металлическую фигурку Дон Кихота и принялся ее вертеть и разглядывать. Бабушка почему-то лежала молча.

— Этот Дон Кихот стоит у вас как символ чего-то? — спросил Саласа, прикрывая правой рукой свой дрыгавшийся по всему лицу рот.

— Это мой любимый герой, — отвечала наставительно бабушка. — Мы все были такими Дон Кихотами в революции. И наше стремление к социальной справедливости тоже началось с чтения книжек.

— Тоже как у кого? — туповато переспросил гость.

Петя тихо прошел в свою комнату, но дверь оставил открытой: мало ли что, вдруг бабушка разволнуется, и он ей понадобится. Он начал перебирать лежавшие у него на столе тетради и книги: записи абонементных лекций по физике и математике, которые он посещал каждое воскресенье, справочники для поступающих в МГУ за несколько последних лет — все конкурсные задачи оттуда он уже перерешал и теперь пролистывал их чисто механически.

— Как у Дон Кихота, — горделиво сказала бабушка.

— А он разве читал книжки? Я не помню. Некогда, Роза Моисеевна, классику почитать. Все, знаете ли, наши институтские дела отвлекают. Родную мать из-за них забудешь. Но, насколько я знаю, он же с ветряными мельницами боролся и все ему чудилось не то, что есть в действительности.

Бабушка, видимо, сделала протестующий жест, потому что он быстро добавил, поставив статуэтку Дон Кихота на стол:

— Я хочу сказать... что вы и подобные вам боролись не с мельницами, а за наше будущее с самодержавием.

— Нет, нет, у него было много приключений в жизни, но правильных, позитивных, — возразила бабушка. — Он пытался заступаться за униженных и оскорбленных. Да, и за тех, и за других, но мы еще и за бедных. Мы эту линию вели всю жизнь — последовательно и принципиально. Жизни не щадили.

— Очень правильно, Роза Моисеевна, — кивнул головой доцент. — Мы все вас помним и ценим за вашу неустанную работу по воспитанию молодого поколения и за ваши остропартийные выступления на собраниях. Я считаю себя вашим продолжателем. Я мало бывал у вас дома, но в свое время воспитывался на ваших лекциях. Вашей принципиальности нам сегодня очень не хватает, но мы всегда на вашем примере учим молодых коммунистов. Да вы лежите, не вставайте, чего уж там!

Криворотый махнул рукой, вскочил, задел ногой шляпу, та упала, он снова уместил ее на портфеле и подошел к дивану.

— Вы молодец! Мы так и думали. Поэтому я пришел не один... А с нужным товарищем. Внизу...

Но бабушка упрямо прервала его:

— А я одна, все время одна. И смерть не приходит. Меня все забыли. Только Ольга Ивановна заглянула — я очень обрадовалась. Она цветы принесла, конфеты. Мне не нужны конфеты. Мне нужно человеческое отношение. А она долго сидела. Я ей так была благодарна, по-человечески, что она пришла. Мы ведь с ней не были близки. А теперь она не приходит. И никто не приходит.

— А теперь вместо нее я. Вы не думайте, Ольга Ивановна не от себя. От парткома. Она от всего коллектива приходила. Мы ее послали и так и говорили ей, чтоб не меньше часу навещала. И деньги на коробку конфет и на цветы ей выделили.

— Я не знала. Она мне этого не сказала. Я думала, от себя.

— Нет, она не от себя. Мы ее послали.

Повисла пауза. Очевидно, разговор слушала и Лина. Она вдруг вошла к Пете, наклонилась к его уху и шепнула, указывая глазами в сторону бабушкиной комнаты:

— Вот дурак чертов!

Петя кивнул головой, пожав плечами, что, мол, все равно уже ничего поделать нельзя, сказанного не воротишь, но, быть может, бабушка и не заметила обиды. От Лины пахло французскими духами. Как-то Петя видел флакончик «Клема» на ее туалетном столике и даже нюхал. Похоже, что Лина не в шутку ждала Тимашева. Подумал также, что у Лизы нет духов, во всяком случае, она ими не пользуется. Вспомнив Лизу, поглядел на синий будильник, стоявший на столе: было начало третьего. Перехватив Петин взгляд, Лина распрямилась:

— Да тебе еще рано, успеешь. Я скоро.

И она снова пошла на кухню. Она помягчала и, видно, была рада, что Пети вечером не будет. Саласа тем временем все пытался объяснить, что ему надо спуститься вниз за корреспонденткой институтской многотиражки, но бабушка не понимала его или не желала понимать, на все его уговоры отвечая:

— Жаль, что вы уже уходите. Ольга Ивановна дольше сидела.

Одна из стен Петиней комнаты выходила на лестницу. В то время, как из бабушкиной комнаты доносились пререкания, за стеной послышались тяжелые, но не мужские, шаги, потом звонок в дверь.

— Ты откроешь? — крикнула с кухни Лина.

На пороге стояла невысокого росточка, коротко стриженная широкоплечая девица в светло-сером клетчатом пиджаке и темно-коричневой вельветовой юбке. Лицо у нее было бугристое, нос в красноватых точках выдавленных угрей, щеки в рытвинах и свекольного цвета. Сквозь очки виднелись подслеповатые глаза с редкими рыжими ресницами. Через плечо у нее висел фотоаппарат, а в правой руке деваха эта держала портативный магнитофон. Петя понял, что это заждавшаяся сигнала Саласы корреспондентка.

— Мне нужна Роза Моисеевна, — сказала она, кокетливо при этом улыбнувшись Пете. Смешавшись и смутившись, да еще удивленный собственным поступком (открыл дверь, не спросив, кто там), Петя отступил, показывая рукой, куда пройти. Она почему-то подморгнула в ответ и прошла в комнату, умудрившись на коротком пространстве раза два вильнуть задом, который был у нее уже, чем плечи.

Вернувшись к себе, Петя поежился: за дверьми мог кто угодно стоять. То есть, надо надеяться, что днем бандиты не ходят, но осторожность никогда не помешает. А вошедшая в бабушкину

комнату, поздоровавшись и представившись — «Матятина Нина Васильевна» — уже говорила доброжелательным и заинтересованным тоном:

— Видите ли, Роза Моисеевна, мы при нашем Институте собираемся открыть Музей ветеранов революции, ну, тех, кто участвовал, а при этом еще — чтоб были нашими сотрудниками. Мне поручено составить их биографии, чтобы студенческая молодежь знала, кто своей работой, своим героическим прошлым подготавливал почву для будущего, для нашего светлого сегодняшнего. Нам бы хотелось знать о вашей работе подпольщицы, об участии в революции пятого года. Вы же член партии с одна тыща девятьсот пятого года, мне в кадрах сказали, там еще ваше личное дело помнят. Ну и, конечно, прежде всего о вашей роли в Октябрьской революции, а также о дальнейших вехах вашей славной биографии, включая и работу в Институте.

Она остановилась, выжидая. Бабушка молчала, задумавшись и припоминая. Но тут в разговор влез Саласа:

— В момент совершения Великой Октябрьской революции Роза Моисеевна, как я слышал, находилась в эмиграции по партийному заданию. Правильно я говорю, Роза Моисеевна?

— Да, в эмиграции мы тоже чувствовали себя работниками партии, — смутно и неопределенно ответила бабушка. — Я там провела около двадцати лет, с девятьсот шестого года.

Петя подумал, что неучастие бабушки в революции должно разочаровать мужиковатую корреспондентку, но гостя не сдавалась, хотя тон ее и вправду стал не такой приподнятый:

— А как вы попали в эмиграцию? Вы, наверное, были в Швейцарии, с Лениным. Расскажите, как вы туда попали.

— Нет, я была в Аргентине. Но попала я туда не случайно. Мой отец всегда был свободолюбивый! — начала бабушка совсем не то, что, по Петиним понятиям, от нее ожидала корреспондентка. Петя даже поразился бабушкиной простодушной искренности и одновременно политической нечуткости. — Когда начались погромы, он сразу уехал в Аргентину. Я думаю, мое свободолюбие от него. Да, когда начались погромы, он уехал. Он не хотел жить в стране, где погромы. А в Аргентине был богатый меценат. Такой барон Гирш. Он там основал земледельческую колонию. И всем евреям давал землю бесплатно, и еще деньги и оборудование. Но евреи ленились, потому что им все досталось

даром, получали у барона деньги и ничего не делали. Отвыкли трудиться. А мой отец, о! он был трудолюбив, он не брал денег у барона Гирша, он все засеял и выращивал, как надо. Соседи ходили и удивлялись, какие у него ухоженные поля и хороший урожай. Ведь, как и остальные евреи, он жил раньше в черте оседлости и не имел права крестьянствовать. Но он был трудолюбив, мой отец, и всему научился. А потом один *гаучо* убил ножом папиного работника, который не пожелал ему отдать лошадь. И тогда мы вернулись. Разве можно жить там, где тебя могут каждую минуту пырнуть ножом! Но в эмиграцию я поехала снова в Аргентину. Там уже были корни, остались знакомые. И потом я уже была старше и понимала, что *гаучо* — темные, обездоленные люди, просто нужно их дикие инстинкты наполнить классовым смыслом и направить их ненависть против эксплуататоров. А первый раз я в Аргентине была в семь лет.

У бабушки была книжка «Аргентина в фотографиях», присланная теткой еще лет десять назад. Петя любил ее рассматривать, пытаясь представить ту страну, где родился его отец, — в каком-то смысле историческую прародину. Он знал, что Аргентина — страна эмигрантов не в меньшей степени, чем США, что там есть столица Буэнос-Айрес и река Ла Плата, что в устье этой реки первые поселенцы нашли много серебра и потому назвали эту землю «Аргентиной», то есть «серебряной». *Argentum* по таблице Менделеева значит *серебро*. А в предисловии к книжке, написанном на четырех языках, Петя со словарем вычитал следующее:

«В нашем бурном мире Аргентина является наиболее интересной и очаровательной страной, — с неизменной возможностью мирного и благоустроенного житья для тех, кто захочет здесь поселиться. Ее территория составляет несколько тысяч квадратных миль, в Аргентине можно найти все типы климатических условий, так что она является своеобразным *конспектом климатов* как Америки, так и всего мира. Похожая на гигантский, перевернутый вверх ногами треугольник, она содержит скалистые горы и палящие джунгли на севере, величественные водопады Игуасу, необъятную Патагонию, захватывающие дыхание озера Анд и ледяной пункт Южного полюса. Слава Аргентины увеличивается с каждым днем, и замечательные достижения ее народа становятся известными и за границей». И так далее, все в том же приподнято-рекламном духе.



Рассматривая ту часть книги, где были фотографии пампы и ее обитателей, Петя теперь вполне знал, как выглядит настоящий *гаучо*: широкополая шляпа на ремешке, черные густые усы, слегка вывернутые пухлые губы, шейный платок, завязанный как галстук, широкий черный кожаный пояс на широких штанах, а в руках непременно витая веревка — лассо. А вот как выглядел его прадед, он даже и вообразить не мог. Бабушка почему-то не сказала корреспондентке, что после революции девятьсот пятого года прадед снова уехал в Аргентину и поселился в Буэнос-Айресе, поэтому бабушка в эмиграцию уехала к родителям. Но когда началась первая мировая война прадед Моисей вдруг почувствовал приближение смерти и, бросив семью и все свои аргентинские дела, поехал каким-то кружным путем, потому что прямым было невозможно, едва ли не через Японию, умирать домой, в свою Юзовку. Добирался почти полтора года и таки добрался, а там через месяц и вправду умер. Думая об этом, Петя часто приходил к мысли, что, видимо, домом нужно считать не то место, где ты родился и живешь, а то, где ты хочешь умереть. Впрочем, мысль эта мелькала у него мимоходом, и он особенно ее не фиксировал, оставляя на будущие, «взрослые» размышления.

— А сразу вернулись первый раз? — спрашивала корреспондентка Матятина, проявляя журналистскую смышленность. — Ну, после убийства работника...

— Нет, отец некоторое время был представителем фирмы Дрейфуса в Буэнос-Айресе, продававшей зерно. Он был способный, но ему надоело подчиняться директору фирмы. Отец был независимый, к тому же и фирма прогорела, вот мы и уехали.

Голос Матятиной, записывавший на магнитофон бабушкину историю, поскучнел еще больше:

— А расскажите лучше, как вы попали в тюрьму.

— Я росла в Юзовке. Теперь это, кажется, Донецк. Там и гимназию кончила. Там меня приняли в партию. Когда наша организация провалилась, то почти всех арестовали, а меня нет, и еще одна, Таня ее звали, была дочь попа, тоже уцелела. Она сбежала из Юзовки и поехала в Одессу, где были тогда мои родители, они снова собирались в Аргентину. И рассказала все моей матери. Мать приехала и хотела меня увезти с собой. Но мне было неловко. И я осталась. Пришли жандармы и очень стеснялись, что им надо арестовывать барышню. А я была рада. Я

даже была счастлива, что меня арестовали, и нисколько не боялась. Тогда у всех было такое настроение, что настоящий революционер должен пройти через тюрьму. Это как бы своего рода революционный университет. А в тюрьме, ее еще называли крепостью, тогда было довольно свободно. Был такой мягкосердечный начальник, Федулин его звали, какой-то глупый тип. Мы ходили из камеры в камеру. Проводили собрания, диспуты.

Пете казалось, что он просто чувствует отчаяние корреспондентки, которая ни слова не слышит о жестокостях царизма, а слышит про тюрьму, больше похожую на дом отдыха общего типа. Но вот бабушка перешла к своему излюбленному рассказу о тринадцатидневной голодовке, и Петя почувствовал даже облегчение, что сейчас, наконец, все станет *правильно*, и бабушка выдаст хотя бы отчасти тот текст, какой от нее ждут.

— А потом мы устроили побег одному уголовнику. Мы его распропагандировали, ведь мы боролись не с ветряными мельницами, а с реальным злом царизма. И помогали людям найти себя в борьбе. После побега начались строгости. Камеры заперли, и нас перестали пускать друг к другу. Нас это возмутило, и мы устроили голодовку. Вот я голодала тринадцать дней. И до сих пор жива. Пережила своих братьей и сестер. У меня была необыкновенная жизнь. А потом меня выпустили на поруки. И мать сразу увезла меня за границу. Там я и родила свою дочь. У нас тогда были так называемые гражданские браки.

Бабушка все равно говорила *не то*. И Петя терзался, что эти люди наверняка ее не поймут и втайне будут потешаться, если не хуже. Ведь их совсем не интересует ее человеческая биография, даже реальная политическая не интересует (как бабушку исключили из партии, как потом восстановили — «с сохранением стажа»). То, что им надо, они знают заранее, а в ее рассказе этого нужного нет. Еще потому его смущал ее рассказ, что уже несколько лет, как евреям разрешили *уезжать*, и он слышал разговоры в трамваях, что *евреи* заварили всю эту кашу, устроили революцию, под шумок накопили деньжат («не успел их Сталин передавить всех!») и теперь бегут, а надо бы их всех вместо Америки — в Сибирь. Ужасно, что так говорили и интеллигенты и простой народ, вроде Желватова, отец которого раньше работал инженером на заводе, а теперь, как рассказывали, в винном магазине ящики подносит с водкой. Бабушка же словно поддер-

живала эту точку зрения своим непродуманным рассказом, подчеркивая свое *еврейство*, а не *партийность*.

Матягина выключила магнитофон, потом что-то сообразив, снова включила его, — в последней надежде:

— А Ленина вы не видели?

Петя даже привстал от неловкости должествующего последовать бабушкиного ответа. Но бабушка ответила довольно спокойно:

— Меня все спрашивают, видела ли я Ленина. Нет, не видела. Не привелось. Не пересекались пути. Вот мой второй муж сидел в одной камере со Свердловым. Но он тогда был анархистом и все носился с князем Кропоткиным. Он ведь тоже был естественник, геолог и географ, как мой муж. Свердлов уговаривал Исаака читать Маркса, а он не хотел. И потом на лодочке сбежал в Турцию со своей первой женой и старшим сыном. Уж потом в Аргентину. А в марксисты его я распропагандировала, там, в Буэнос-Айресе. Это была великая любовь!.. Все удивлялись нашей любви!

Саласа закашлялся. А корреспондентка, щелкнув выключателем магнитофона, принялась укладывать в футляр микрофон и свернутый шнур. Доцент Василий Кузьмич Саласа встал со стула и, прихрамывая, принялся похаживать, чтобы размять ноги.

Корреспондентка Матягина что-то записывала в блокнот. Она сидела лицом к Пете и иногда через коридор вскидывала на него глаза за толстыми стеклами очков, но Петя сразу же судорожно делал вид, что увлечен чтением. Почиркав в блокноте, корреспондентка суховатым спросила:

— А кто-нибудь еще в вашей семье занимался революционной деятельностью?..

— Моя дочь. Она сейчас в Аргентине. Она очень болеет. Как и я. Она моя дочь от первого брака. Она — дитя революции!

— А братья, сестры?..

— Нет, они были торговцы. Я — отщепенец, — и бабушка вдруг захихикала булькающим таким смешком.

— Да, не всякий может вырваться из среды, — визгливо, но со значением изрекла корреспондентка. — Только очень сильные люди, подлинныи революционеры преодолевают влияние своей среды.

— Когда я закончила гимназию, — обрадованная ее полупохвалой, по-детски похвасталась бабушка, — я заслужила золотую медаль, но мне ее не выдали!

— За что? — вытаращился на нее Саласа.

— За революционную деятельность, — с гордостью ответила бабушка.

А он почему-то возликовал и воскликнул:

— Значит, засекли?!

Душевная грубость Саласы, его туповатая ограниченность внезапно показались Пете странно знакомыми. Тогда он попытался вытащить из памяти ощущение, которое испытывал, когда как-то с бабушкой зашел в Институт на кафедру истории партии и таскался за ней как хвостик по всем комнатам. В этих комнатах сидели за столами, заваленными бумагами, папками, ведомостями, и толклись перед деревянными прямоугольными шкафами какие-то пыльные люди, прихрамывающие, с перекошенными лицами, тощие, толстые, фальшивые, то искательно друг к другу склонявшиеся, то твердо пожимавшие друг другу руки, то строившие улыбки, то попросту, по-партийному похлопывали собеседника по плечу, говоря ему гадость. Они улыбались Пете, похлопывали и его по плечу, спрашивали, пойдет ли он по стопам своей бабушки, говорили, что им нужны «молодые кадры». Тогда-то он и почувствовал (припомнил он, наконец, искомое ощущение), что эти люди кажутся ему не только пропыленными бумажной пылью, но и *тесными*: стать одним из них значило сдавить себя так, что не вздохнуть, и он отчетливо понял, что ему не хочется быть похожим на них и вовсе не вызывают удовольствия их улыбки, ему адресованные, хотя обычно ему нравилось общаться со взрослыми.

А здесь — все мимо, мимо. И ему снова стало жалко себя, когда, глядя на бабушку, он видел, что к ней никто, кроме этих людей, не приходит, да и они раз в год. Неужели таков конец всякой человеческой жизни, даже такой, как у бабушки? Ведь она объездила полмира, была *деятельницей международного масштаба*, организовала Аргентинскую компартию — одно это чего стоит! а умирает *одинокой*, в сущности никому неинтересной и ненужной старухой. Где оно, убежище от зла жизни? Все ушло: и известность, и значение, и красота. Вот и развитие жизни: от детства все расширяется, на весь мир замах, а к старости сужается до жуткого одиночества. Человек оказывается отработанным материалом: и природа, и общество его выкидывают. Больше не нужен.

Гости уже собирались уходить. Прощаясь с бабушкой, Саласа взглядел вдруг фотографию деда, висевшую у нее в изголовье.

— Что-то знакомое лицо, — сказал он, кривя рот и глотая гласные. — Похож на портрет зав. кафедрой геологии, который был у нас в Институте до сорок девятого года. У нас, знаете, теперь портреты всех бывших заведующих вывесили, и ваш тоже. А кто же это?

— Это мой муж, — отвечала бабушка, не понимая происходящей накладки и нелепицы. — Он работал зав. кафедрой геологии в нашем Институте до сорок девятого года.

— Какое похожее лицо, — подтвердил Саласа.

— Мы познакомились в Аргентине — объяснила снова бабушка.

— А что он там делал? Был в командировке?

— Нет, в эмиграции. Бежал из тюрьмы.

— А зачем?

От этих слов Петя аж подскочил со стула. Но Саласа, не дожидаясь бабушкиного ответа, уже вышел из комнаты, волоча одну ногу и прихрамывая на другую. Портфель со шляпой он по-прежнему нес перед собой, держа их обеими руками.

— Где у вас можно воды? — обратился он к Пете, вопрошающе улыбаясь кривым ртом. — Мне надо рот прополоскать.

И тут в дверь опять позвонили. Поскольку в квартире толпились люди, Петя открыл, не спрашивая: спрашивать было неловко. А за дверью, в темной спортивной расстегнутой куртке, с синей сумкой через плечо стоял, слава Богу, знакомый человек: борода, свалявшиеся, видно, давно не мытые волосы, лицо виноватое и напряженное, тоскливо улыбочивые глаза, — Илья Тимашев. От него пахло водкой, но на ногах он держался вполне твердо.

## Глава V

# Существо с Альдебарана

Чем ныне явится? Мельмотом,  
Космополитом, патриотом,  
Гарольдом, квакером, ханжой.  
Иль маской щегольнет иной?..

А. С. Пушкин. Евгений Онегин.

**В** стеклянном кафе, расположенном напротив бассейна «Москва», за квадратным столиком, на «современных», то есть пластмассовых, с уже расколотыми спинками и сиденьями стульях сидела компания мужчин в неопределенном интеллигентном возрасте от тридцати до пятидесяти. Перед каждым, помимо стаканов, стояли широкие блюда с остатками капустного салата и недоеденными кусками хлеба, а в середине стола — для всех — три порционных тарелки с репчатым луком и ломтиками селедки. Двое, желавшие не только выпить, но и поесть, приканчивали сомнительно пахнувшие котлеты с холодной гречневой кашей, уверяя остальных, что водка — лучшее противоядие против любого отравления, что она все *дезинфицирует*. Публика в кафе была весьма приличной, потому что с одной стороны от него располагался Институт Теории, куда заходили сотрудники ведающего этой теорией журнала, а с другой — какое-то военное учреждение, именуемое в просторечии «Пентагоном», где, похоже, никого ниже полковников не было. Поставив рядом со стульями свои тяжелые кейсы, расстегнув кителя и слегка ослабив галстуки, покрасневшие полковники не обращали на теоретиков никакого внимания.

За столиком, где сидел Илья Тимашев, поначалу говорили о том, какой подлец директор Института, несмотря на ласковую фамилию Лапочкин, а также, какой идиот и хам Главный редактор журнала, требующий от сотрудников «соблюдать безбородый внешний вид». Острили, злословили. Тимашев отмалчивался, он чувствовал себя подавленным со вчерашнего вечера, а особенно после телефонного звонка Лени Гаврилова часовой давности,

звонка, лишившего его хоть малого утешения в его тоске — чувства оскорбленной правоты. А тут Лёнин звонок!..

Леня Гаврилов позвонил ему около двух: «Ну, старичок, ты на месте! Рад, что поймал тебя. Хочу душу твою и тело согреть. Финская банька часов в семь наклеивается. Ну та, милицейская. Петр Георгиевич с Марьяной придут. Он нас и позвал. Так что программу ты себе представляешь. По твоему анекдоту, помнишь? Патриции с гетерами пойдут в термы. Марьянка с юга только что вернулась и хочет загореленьким своим с белыми полосочками показаться, — пел Лёня-гедонист. — Есть шанс плотски раскрепоститься, хорошенький ты мой! Жду тебя. Бутылочку винца только купи. А? Не можешь? Жаль. А что? Может, вырвешься?.. Постарайся, старичок». Илья ответил, что вряд ли. И повесил трубку, но на душе стало нехорошо.

Тем временем приятели приставали к Тимашеву, не сбредет ли он бороду, чтоб не сердить начальство. Несмотря на сосущее чувство пустоты, угнездившейся где-то в желудке, которую не заполнить было ни питьем, ни едой, Илья, усмехаясь, все же сказал, что никогда не побреется, поскольку сначала человек лишается бороды, потом лысеет: так происходит эволюция головы в задницу.

— Однако твой любимец Чаадаев был не только безбород, но и лыс, — сказал Саша Паладин, повернув к Илье свое безбородое, словно помятое, с слегка приподнятыми вверх щеками лицо. Саша был наблюдателен, внимателен, остр, любил выпить, был известный «ходок» по бабам, что вызвало у местного Сократа, доктора философских наук Мишки Вёдрина, один из его знаменитых вопросов: «Гляжу я на тебя, Паладин, и удивляюсь, отчего это дети высокого начальства такие злобучие?» Сашин отец был весьма крупный партийный чиновник союзного масштаба, и это льстило вольнолюбцам из «стекляшки», что их приятель — из Сыновей.

«Лучше бы ему помолчать», — думал Илья. Но привычка к ироничному, ни к чему не обязывающему застольному трепу была сильнее его пасмурного настроения.

— Чаадаев в другое время и в другом пространстве жил, — ответил он, не глядя на Сашу.

— Уж больно ты серьезен, друг мой Илья. Это какое же у нас по-твоему время и пространство? — не отставал тот.

— У нас, душа моя, хронотоп развитого социализма, — пьяно ухмыльнулся через весь стол Боб Лундин.

Илья на минуту полуприкрыл глаза, отключившись от разговора: алкогольная раскованность отчасти давала ему право на это. Существо, которое жило в его душе, опять стало плохо и тоскиво среди этих людей. Но других оно не знало, и ему приходилось притворяться, что оно такое же. Существо не могло проводить время бесцельно, однако успешно это делало. Тимашев шутил, смеялся, отвечал на вопросы, хотя ему хотелось завывать и бежать куда угодно от этой планеты.

Куда-нибудь на страшно далекий Альдебаран... Он пытался представить, как живут на Альдебаране. Наверно, там ухоженные рощи, огромные фруктовые сады, прохладные реки, теплые моря, песчаные пляжи, яркое солнце, счастливые жители, — ничего другого, кроме банальных этих образов, не приходило ему в голову. На Земле можно тоже найти подобные виды. Фантазия бессильна. Чем же отличается жизнь *там*? Почему он так неуютно чувствует себя *здесь*? Потому что *не свободен*, ответил он сам себе. А в тамошнем мире все его обитатели, наверное, *свободны*. Вот и вся разница. Илья понимал, что у него начинается депрессия. Отсюда и мысли об Альдебаране.

Вчера жена не пришла ночевать, сын сказал, что она звонила от подруги и останется там. Что ж, дело житейское. Перезванивать и проверять он не стал. Не чувствовал себя вправе: слишком сам был грешен. Да и доверял ей до последнего времени, а на этот раз даже твердо был уверен, что сегодня ничего и не может быть. Потому что Паладин остался дома, с семьей. Паладин, его почти лучший друг, знавший все его похождения и грехи... Вот это и было вчерашним ударом, когда в гостях у Паладина, листая книги его небольшой библиотеки, пока Саша ходил за вином, он внезапно обнаружил Элкину записку со стихами, равнодушно положенную меж страниц. Саше даже в голову не пришло, что ее могут обнаружить. Илья сунул записку в карман. В автобусе по дороге домой перечитал. Стихи оказались ему любовными. Ноги отнимались, еле до квартиры добрался. Только там взял себя в руки, твердя сквозь зубы: «Сам виноват». И тут случился жуткий скандал с сыном, который выскочил за дверь и явился только к часу ночи, а до часу, психуя, как бы с парнем чего не случилось, Илья курил сигарету за сигаретой и, проклиная себя,



несколько раз брался за телефонную трубку, набирая известные ему номера друзей Антона. Заснул с мыслью, что дальше совместной жизни не получится.

Он болезненно представлял себе, как Элка со свойственным ей говорливым темпераментом уже в который раз обсуждает с подругой Танькой свою *ситуацию*. Эту Таньку он знал, однажды даже переспал с ней и понимал, что верность этой подруги весьма сомнительна. Но понимал также, что существует на свете и женская солидарность и что-нибудь Танька ей присоветует, и прежде всего *молчать и терпеть*. А что ему было делать?

— Слышь, что Вадимов написал, — толкнул его в левый бок маленький Вася Скоков. Илья помотал головой, встряхиваясь. — «Некоторые деформации, — читал Скоков выписанные на клочок бумаги слова, — не смогли преодолеть сущностные черты социализма, проросшие еще на заре нового строя».

— Наш Демосфен, — воскликнул, хмыкая, Боб Лундин.

Даже законопослушный Скоков позволял себе смеяться над Главным. «Неуважение к власти чревато распадом», — сентенциозно подумало существо в душе Ильи, а вслух Тимашев сказал, настраиваясь на общий тон:

— Знаете, где проходит граница между развитым социализмом и просто социализмом? — заранее усмехаясь всем лицом, спросил он, и сам ответил, выдержав паузу:

— По московской окружной дороге. А между развитым социализмом и коммунизмом? По кремлевской стене.

— Во-во, точно, — ответил полусмеясь краснолицый, толстый, с шишковатым лбом Сократа доктор наук Мишка Вёдрин. Мясистый нос его был в синих прожилках. — Новый класс. Джилас об этом когда еще написал! И заметьте, будто и не писал. Мы шутим, а ведь социального неравенства не ощущаем. Что вон Паладин разве меньше пьет, чем я? Столько же. И много ли мне надо, чтоб я стал ему завидывать? Он в трехкомнатной квартире живет, а мне и в двухкомнатной неплохо.

Илья снова замолк, думая, что все они повязаны с этим новым классом, а это уже признак метастазов общественного организма, что Паладин его друг не случайно, потому что он еще из лучших. Он вспомнил паладинского приятеля Толю Тыковкина, сына еще более значительного чиновника, с которым познакомился на свадьбе Паладина. Он бы его не заметил, но пришел тот с Глебом

Галаховым, которого Илья знал. Глеб учился параллельно с Ильей на романо-германском отделении филологического факультета, а Илья на факультете историческом. Несмотря на молодость Толя Тыковкин уже заведовал отделом в Библиотеке зарубежных книг, где работал и Галахов. У Тыковкина было широкое, скуластое, волжское лицо, роговые очки, еще мальчишка по виду, но тут же начал пробовать себя, стравливая гостей и с интересом наблюдая, как марионетки дергаются у него в руках. Поразительно, что никто, кроме Тимашева, этого не заметил, даже Глеб, настолько все делалось аккуратно, как бы между прочим. Был пьяный сумбур, но Тыковкин быстро нашел себе жертву, Левку Помадова, с пьяными слезами вспоминавшего свою жену Ингу, от которой он с полгода как ушел к молодой бабе. «Скажи, Лёва, — спросил Тыковкин мягким голосом, — тебя ведь Лёва зовут? Скажи, прав ли академик Серов: он пять раз женился, так он говорил, что каждая последующая жена хуже предыдущей. Так ли?» Лёвка и без того переживал свой уход, не раз твердил, что Инга золото, что он ее не стоил, а тут совсем расстроился, оскорбления не понял, не услышал, начал опрокидывать рюмку за рюмкой, крича, что, конечно же, он подлец и не стоит мизинца на ноге у Инги. Но Тыковкину этого было недостаточно. Галахов, над которым он тоже слегка подтрунивал, ушел, и он снова сосредоточился на Лёвке. И принялся нашептывать ему, что его бывший коллега по журналу Орешин называл Лёвку идиотом, пропащим человеком и подонком, что, бросив Ингу, Лёвка кончился как журналист и ничего больше толкового не напишет. «Он мне за это ответит», — прорычал пьяный Лёвка и, как ни оттаскивали его тоже изрядно пьяные друзья, в том числе и Тимашев, все же с криком: «Я рожден для того, чтобы убить негодяя!» — он прорвался к Орешину, которого уже скрывали на кухне, там опрокинул на пол груды помытого хрусталя, получил от Орешина по физиономии, успокоился и уснул прямо на кухонном диване. Пришедший на шум Паладин, до того спавший пьяным сном в соседней комнате, сказал недовольно: «Толя, кончай свои штучки». Из чего Илья заключил, что детки знают друг друга, а из обмененных ими взглядов, что отношения их сопряжены с взаимной ненавистью. Но, как часто бывает в случаях, нас напрямую не касающихся, додумывать до конца не стал, тем более, что Паладин был ему симпатичен. А Тыковкин, заметив, очевидно, что остальные, в том чис-

ле и Паладин, относятся к Тимашеву с явным пиететом, подсел к нему и начал доверительным тоном говорить, как ему трудно жить, что все смотрят на чин его папахена, что поэтому он не может найти себя, но что надо уметь таиться до последнего, прежде чем нанести удар, что самая главная наука — это наука управления людьми, что он очень похож на своего отца и чувствует в себе такую же силу и что партаппарат, если его умело использовать, может стать прогрессивной силой, послужив проведению либеральных реформ, а что ему, Толе Тыковкину, надо пока наработать себе имя и положение. Илья слушал, не вдумываясь. А Толя, желая продемонстрировать ему свою прогрессивность, быстро довел до белого каления сидевшего напротив них рослого парня, которого он называл фашистом, чтоб Илье было понятнее, почему он с ним задирается. Случилась драка, Тыковкин неожиданно довольно ловко сбил ударом кулака парня с ног, его жена кинулась на Тыковкина с бутылкой, Илья сумел отвести ее руку, бутылка разбилась о стену, дерущихся растащили, а Паладин попросил Илью увести Тыковкина и посадить на какой-нибудь автобус. Темной ночью, когда Тимашев вел его, еще неостывшего и вздрагивающего, переулками к автобусу, Тыковкин вдруг зашептал с сумасшедшей яростью в словах: «Всех ненавижу. Почему я должен чувствовать себя виноватым? Оттого, что я сын аппаратчика?.. За что?.. За Сталина? Ни папахен, ни тем более я к его делишкам не причастны. Я только не понимаю, зачем я живу? Отец выбрал для меня романо-германской, я — переводчик... Жить, чтобы переводить? Я это умею. Но я не могу быть собой, не могу реализовать себя. Я, правда, задумал одно *издание*. Папахен мне поможет, он скоро войдет в полную силу. Ведь после того, как бровеносец скопытился, надо ждать перемен. И больших, и малых. Сначала малых. Сменить у нас в библиотеке директора. Я возьму директором, кого надо. Я сумею им управлять. В этом я тоже похож на своего папахена. Ты любишь своего отца?».

У меня его нет. Погиб, когда мне три года было.

А мне трудно быть сыном такого отца.

Потом некоторое время шли молча. И вдруг, без перехода, но мысли, видно, у него крутились, пока они молчали: «Ты мне надобишься, когда я затею свое издание. Один на примете у меня есть — Глеб Галахов. Это хорошо, что вы приятели, значит, конфликтов не будет. Хотя Галахов о себе понимает много, хочет со

мной на равных вести издание. Ну ничего, я его скручу, справлюсь с ним». Все это было дико и страшно. Словно сотня нечистых шевелилась на дне души Тыковкина. Посадив его на автобус, Илья вернулся на свадьбу. Нет, Паладин был намного лучше.

Между тем, за столом шло обсуждение фундаментальных вопросов советского быта. Говорили о перебоях с продуктами, которые начались уже давно и очевидно, что ситуация все ухудшалась, и всем это было ясно, но также было ясно, что ничего поделывать нельзя. В магазинах стояли бесконечные очереди, в которых практически жили терпеливые жители столицы; толпы людей на электричках и экскурсионных автобусах приезжали в Москву из среднерусских городов, наполняя мешки, рюкзаки и огромные сетки-авоськи колбасой, консервами, апельсинами. «Из-за этих приезжих ничего в Москве не стало!» — так бранились в автобусах и метро раздраженные женщины, не желая даже слушать, что провинциальные магазины вообще пусты, а, скажем, железнодорожная ветка Ярославль-Москва называется ярославцами «дорогой жизни», что в некоторых городах молоко, масло и мясо выдают по карточкам, а в некоторых мяса люди не получают годами. Сидевшие за столом обо всем этом говорили, видя в своих речах доказательство собственной независимости и напряженности духовной жизни. Уговаривали друг друга, что на Западе изобилие, передавали слух, что *Сашка Зиновьев*, очутившись в ФРГ и увидев тамошние витрины магазинов, воскликнул: «Бедный мой народ! Если б он только знал, что такое возможно!» Даже простодушный Вася Скоков выкрикнул:

— У них борьба за жизнь, а у нас за существование!

— Как сказал бы наш друг Тимашев, не будь он так задумчив сегодня: мы — Рим накануне краха, — подначивал Илью Саша Паладин, но Илья не отвечал.

— Вот именно. Я хочу... — поднялся зато краснолицый Вёдрин, но его прервали.

— Пусть Скоков обождет со своим существованием, а ты обожди со своим хотением, — Тимашев же молчит со своим Римом, — встал навстречу доктору наук Боб Лундин, сотрудник и приятель Ильи по журналу. Тощий, длинный, с худым вытянутым лицом, огромным горбатым носом и голубыми глазами, он смотрел на Вёдрину, добродушно и пьяновато улыбаясь не очень осмысленной улыбкой, тянул к нему свой стакан с водкой

чокаться, произнося полунапевно слегка измененные строчки всем известной песенки:

— Я хочу, чтоб ты пил.

И все так же глядел на меня!..

— Да ну тебя, Боб, отстань, — отмахивался Мишка Вёдрин, — нарезался и поговорить не дает.

Боб был весьма умен, писал деловые статьи, уважался специалистами (хотя по современным понятиям был относительно молод: до сорока еще не добрался), писал за академиков, что делали в редакции многие, но он писал за дельных академиков. Он играл анфантеррибля, позволяющего себе дурацкие шутки: как Суворов кричал петухом, так он время от времени бормотал вслух полубесмысленные строчки из популярных шлягеров. Говорил он при этом словно бы нарочито затрудненно, как бы вытаскивая слова откуда-то из глубины сознания, поэтому песенные рефрены воспринимались как естественное облегчение его речи. Он улыбался и тянулся к доктору, перегибаясь через стол своим длинным телом:

— Ты скажи, откуда деньги на водку, если ни у кого денег нет? Социологическая загадка.

— Ну это извечная загадка и проблема русской культуры, — неожиданно для себя встрял Тимашев. — Россия пьет с Владимира Святого. «На Руси есть веселие пити, нельзя ей без этого быти». Сегодня все кричат, что экономика у нас терпит крах, а вы почитайте, когда в России экономика не терпела крах, не была в разрухе!.. Такого периода не найдете. Идеализировать прошлое легко. А Достоевский писал, что если народ будет продолжать так пьянствовать, не наладит производительность труда, то он выродится. А вот пьем, да еще как пьем, еще больше пьем, а ничего, существуем... Пьем, хотя никаких жидов с кабаками давно нет!..

— Трали-вали, трали-вали, Достоевский-Толстоевский, нет в Москва-реке воды, воду выпили жида, — перебил его Боб Лундин, добродушно улыбаясь, обходя стол и толкая Илью в плечо. — А я у тебя не спрашиваю, чево у тебя болить, а я у тебя спрашиваю, чево ты будешь пить!.. Спивается-спивается!.. А ты ответь, на какие деньги спивается...

— Постой, Боб, не галди, — протянул руку над столом Мишка Вёдрин в сбившейся под пиджаком серой водолазке с искрой,

обрисовывавшей его круглое толстое брюхо. — Я тебе отвечу. Да не галди ты, сядь, а то все сейчас из-за тебя в отделение попадем. Да. Понимаешь, ну, все вы, наверное, помните Гешку, Лёвки Помадова приятеля... Да. Так вот, он переплетчик, в переплетной мастерской работает в музее, и они там решили провести эксперимент, так сказать, эксплицировать наружу внутреннее состояние объекта. Вот, стали они собирать крышечки, ну, эти, белые головки от поллитровок, выпитых, разумеется. Теперь заметь, что каждый из них получает ежемесячно по девяносто рублей. А в конце месяца они прикинули, что выпили они вчетвером на пятьсот рублей; если же бутылку считать в среднем по четыре рубля, то на каждого, стало быть, приходится по сто двадцать пять. Вот и смотри: вопрос даже не в том, откуда они достают еще по тридцать пять рублей на рыло, а в том, на что они вообще живут. Можно ли при таком пьянстве особенно халтурить, делать левую работу? Прямо сказать, сомнительно. Ну, конечно, приходящие гости и заказчики тоже не с пустыми руками являются. Скинем, скажем, сотню с общего счета. Все равно ситуация остается необъяснимой. Ведь им, заметь, еще надо есть, пить, в смысле не выпивать, одеваться, обуваться, ездить в транспорте, у всех семьи, которые они кормят. Вот это я называю феномен социализма. И все одеты, обуты и не голодны. Такого, по-моему, никакая история еще не знала. Что скажешь?

— Здорово! Прямо кино, — не давая Бобу ответить, возликовал Скоков. — За бугром такого нет.

Слово «кино» напомнило Тимашеву анекдот и, стараясь заглушить сосущую его тоску, теперь уже осознанно *заговаривая себя*, он поспешил со своим номером:

— За бугром зато другое кино, которое у нас не понимают, в свою очередь. Говорят, Леонид Ильич, когда в Штатах был, насмотрелся там «фильмов-ужасов». Приезжает, вызывает Ермаша и, еле шевеля челюстью, говорит: «Я, э, все думал, отчего наше, э, киноискусство отстает. Теперь знаю: у нас, э, нет «фильмов-ужасов». Надо, э, вам подтянуться». Ермаш, конечно, заюлил, но тут же сообразил. «У нас, — говорит он, — Леонид Ильич, просто нет в окружающей действительности подходящих для таких фильмов сюжетов». Ильич задумался и вдруг изрекает: «Ваше затруднение понял. Э, но сюжет для такого фильма есть. Напрямэр: коммунист потерял партбилет».

Тимашев скроил идиотическую брежневскую рожу и все захотали. Только до доктора не сразу дошло:

— Это что, анекдот, что ли? А то я думаю, откуда к такому заранцу такая информация! Не иначе, как от Андропова!..

Захохотали еще громче, теперь уже над Вёдриным. А Паладин, махнув рукой, потребовал общего внимания.

— Наш друг Илья напомнил мне историю с покойным Лёвкой Помадовым, в память которого предлагаю выпить, а потом расскажу.

Молча, со значительными, глубокомысленными лицами выпили.

— Является как-то Левка в редакцию в свежем костюме и при галстукке, — посверкивал Саша маленькими глазками, — случай, как помните, несчастый. В цека собрался. Но там визит перенесли на следующий день. Мы слегка клюкнули. Взяли еще, а Лёвка все боялся за партбилет, как бы его не потерять. Он его с собой взял, чтоб в цека идти. Ну, я его к себе повез, на дому все же безопаснее. Сели, выпили. Манечка картошки нажарила. Тут ему что-то в башку взбрело, навязчивые идеи у Лёвки спьяну часто бывали, как все мы знаем. Пошел в комнату, где ему уже Манечка постелила, и на всякий случай партбилет там припрятал. Вернулся спокойный, расслабился, ну, тут уж и дал себе волю — нарезался в свое удовольствие. К часу разбрелись по комнатам. А часа в четыре меня Манечка будит, перепуганная, вся дрожит. Слышу — в Лёвкиной комнате жуткий грохот. Вскакиваю, бегу, включаю свет. Лёвка, распатланый, волосы в разные стороны торчат, очки едва на носу держатся, в длинных семейных трусах стоит у книжной полки, подвывает и вываливает книгу за книгой на пол. Оказывается, он спьяну спрятал партбилет в одну из книг, а ночью вдруг проснулся в страшном кошмаре, что забыл, в какую из книг свой документ запрятал, и теперь его никогда не найдет. Ну, конечно, нашли. Вот вам и фильм ужасов.

За исключением Тимашева и Боба Лундина, остальные были партийными. Смех был нервный и кислый, искреннее всех смеялся сам Саша Паладин.

— Да. Сурово, — сказал доктор наук. — Крепко мы все повязаны. Homo soveticus! Это про всех нас.

— Ты чересчур строг к себе, душа моя, — напевно забормотал, утешая, Боб Лундин. — Ты все же не Вадимов, такое только про него сказать не жалко.

— Зачем вы все вр-рете?! Зачем вы все вр-ремя вр-рете? — выкрикнул, подняв голову от стола, кемаривший до этой минуты невысокий, густоволосый, весь скособоченный от переполнявшей его постоянно ярости человек. — Я н'люблю, к'да вр-рут! Н'люблю. Никакого с'циализма нет и не было!

— Ханыр, успокойся, ты чего! — стали уговаривать его друзья. Фамилия пробудившегося была Ханыркин. — Всё! Ханыркину больше не наливать!..

— Нет, мне н'ливать, — с пьяным бешенством орал он, хилый, нечесаный, агрессивный. — Именно мне н'ливать! Давай наливай, на! — крикнул он Илье, протягивая стакан — Ч'во вылупился, н'ливай, прохиндейская твоя душонка!

Илья вопросительно посмотрел на остальных. Ханыркин работал в одном из экономических институтов, но больше общался с философами, которые его любили и уважали, хотя он всех осуждал без изъятия, потому что он считался правдолюбом и однажды не то подписал какое-то письмо, не то выступил на собрании против своего начальства, получив за это «выговор с занесением». С тех пор он жил на ренту своей славы *правдеца*, совсем перестав что-либо профессионально делать, занимаясь выяснением отношений между сотрудниками Института теории, иногда запуская свой правдоискательский глаз и в журнал.

Ханыркин признавал разве что бессребреника Лёвку Помадова, который органически не умел жить для себя. Он и статьи писал, причем легко, быстро и неглупо, только если приходилось это делать за какого-нибудь начальника. Лёвка был спасением и подарком для редакции, потому что исхитрялся банальности сильных мира сего излагать не только грамотно, но и вполне глубокомысленно, делая почти незаметной обязательную тавтологичность этих статей. Хотя и Лёвку в конце его жизни, думал Илья, на подлинную метафизику потянуло, он придумал теорию калейдоскопа да не успел разработать. Там, на Западе, с этой теорией его давно бы уже объявили «новым мыслителем», здесь же он воспринимался с этой своей идеей как *экспонат*, как сумасшедший. В подтверждение Лёвкиной ненормальности ребята рассказывали, что в последние его дни ему все какой-то «крокодил» мерещился.

Илья надеялся, что он-то свою книгу успеет написать. Вернее, две книги по истории русской культуры он уже выпустил.



Но эти книги и еще статьи, как сам он считал, были лишь отходами его *главного труда*, для которого он давно собирал материалы. «Русская культура: Реальность и Зазеркалье» — так он назывался. Как-то вскользь он помянул о своем замысле Борису Кузьмину. Тот встрепенулся, но не согласился с символической заглавия, сказав, что Зазеркалье — принцип видения мира в английской культуре, для русской же характернее — подполье, *подпол*. «В этом подполье и протекают основные драмы нашей исторической жизни, — заявил Кузьмин. — Когда они уже нашли свое разрешение в подполе, видимая жизнь меняется, а подполье тем временем вбирает в себя новые противоречия, продолжая свою тайную, но по сути, для культуры главную жизнь».

Илья не спорил, но в своей правоте был уверен. Мы — Зазеркалье по отношению к Западу. Он заносил в блокнот:

«У них: личность. У нас: община.

У них: герой-личность прославляет отчизну. У нас основной лозунг — пусть сгинут наши имена, но возвеличится отчизна.

У них: Шекспир с принцем Гарри и в кабацком разгуле сохраняющим светлый ум и душу. У нас: Достоевский пишет русского принца Гарри — Ставрогина, за внешним лоском скрывающего звериные кабацкие страсти и адскую бездну.

У них: крепость — защита человека. У нас: крепость — порабощение человека, то есть крепостное право.

У них: великая депрессия, которой они не скрывают, пытаются из нее выбраться. У нас: в результате такого же экономического кризиса — великий террор.

У них: социализм понимается как свободное развитие каждого, это неперемное условие развития всех (Маркс). У нас: о личности не помнят — железная поступь рабочих батальонов (Ленин)».

Его мысли перебил краснолицый доктор наук:

— Ну ладно, я Ханыркина сейчас выведу. Илья, ты належ нам посошок, и мы пойдем, да.

— И мне, — лез Анемподист Ханыркин, тыкая стаканом чуть не в лицо Ильи.

— Я счас йду, р-раз в'м так х'чется, я йду, — он уже еле ворочал языком, но пытался привстать, чтоб показать искренность своих намерений.

Илья почувствовал, что лицо его становится уксусным от ярости и неприязни к себе и окружающим. Заметивший это добродушный Боб запел негромко, улыбаясь и приговаривая:

— Налей, налей, налей!

Звон бокалов чудесен!..

Илья постарался улыбнуться, показать, что он по-прежнему, как всегда, весельчак и шутник. Но вынужденная неподлинность своих реакций угнетала его. Рука его затормозилась.

— Попрошу-ка я тебя, душа моя, — снова обойдя стол и обнимая Илью за плечи, радостно улыбаясь, бормотал Боб Лундин, — огласить весь список.

— Да, мужики, уже пора, а то начальство сегодня в редакции, могут нас хватиться, — стал нервничать законопослушный аккуратист Вася Скоков. — У тебя заесть от запаха ничего нет? — с тревогой спросил он у Ильи, тыкая себе пальцем в рот. — Хорошо бы мускатного ореха или хотя бы чаем или пшеном зажевать...

Илья отрицательно покачал головой.

— А ты головой-то не мотай, ты лучше водку разливай. А то мотает, мотает. Ты не думай. А историю от Гостомысла до Тимашева потом допишешь, — Боб, все также радостно улыбаясь, указывал на полураскрытую сумку Тимашева, где стояла последняя, уже на треть опустошенная бутылка.

Шутка насчет «Истории государства Российского от Гостомысла до Тимашева» была в редакции дежурной, на нее полагалось ответить ухмылкой, но плохо было у Ильи на душе...

— Ты что это на себя сегодня не похож, — спросил Саша Паладин, внимательно в него вглядываясь.

Илья не хотел отвечать, слова не выговаривались, на Сашу он и смотреть не мог, поэтому сделал вид, что оглядывается, нет ли в кафе милиции.

— Давай разливай, — сказал Паладин. — Я слежу. Да до конца уж лей. Чего тут оставлять!

Илья быстро разлил водку по стаканам и шепнул проходившей мимо официантке, протягивая незаметно пустую бутылку:

— Хозяйка, посуду прими.

Она, не глядя, взяла из его рук бутылку и сунула под грязно-белый фартук, продолжая идти вдоль столиков. В кафе постоянно все пили, и пустые бутылки были неиссякающим источ-

ником дохода для местной obsługi. Пьющие оставляли под столом посуду, не сдавая ее в магазин, а за это их в кафе любили и привечали: «Вы сегодня поосторожнее, сегодня Славка-постовой дежурит».

— Ну, хлопнули и побежали!..

Они чокнулись и, проглотив по полстакана дешевой «андроповки», заели остатками капустного салата с корочкой хлеба.

— Мужики, вы в редакцию? — вдруг спросил Илья. Он и сам туда собирался, но внезапно ему так не захотелось, что сил нет. К тому же он понял, куда ему хочется поехать и где он наверняка застанет, кого ему хочется застать.

— А ты? — осведомился Вася Скоков.

— Я — нет. Если начальство хватится, то я, естественно, где-то в редакции. Ну, или только что вышел, с автором там поговорить или что... Доступно?

— А если позвонит твоя жена Элка? Что ей сказать? — ласково-понимающим голосом спросил Саша Паладин.

— Это уж смотря по тому, к кому ты лучше относишься, — произнес Илья, глядя в сторону.

— Не понял, — побледнев, удивился Паладин.

— Странно, — по-прежнему не глядя на него, ответил Илья напряженно.

Кончай ссориться, ребята, — бросился их разнимать Вася Скоков.

Илья принужденно улыбнулся и повернулся к Бобу Лундину, теревшему его за плечо.

— С тебя, моя радость, бутылка за сокрытие места твоего пребывания, — Боб, длинный, в длинном замшевом пиджаке, стоял во весь рост, пошатываясь и подняв кверху указательный палец. — Опять к киске поехал?

Вместо ответа Илья подтверждающе ухмыльнулся, чтобы не разочаровывать его. На улице дул ветер. Тимашев свернул в метро, а приятели, поддерживая заваливающегося в разные стороны Ханыркина пошли наискосок через шоссе. Издали казалось, что их уносит ветром.

Из метро, преодолевая голосом грохот проносащихся поездов и отдыхая ухом в минуты промежутка между поездами, Илья позвонил Лине и напросился приехать. Он избегал ее уже несколько дней, не звонил и догадывался (а по тону ее уверился в спра-

ведливости догадки), что она обижена и решила в очередной раз расстаться с ним: так уже бывало в предыдущие моменты его длительных отлучек. Она всегда ждала его, хотя, говоря ей, что любит ее, он твердил, что все равно никогда не женится на ней, что у него есть обязательства перед семьей. Еще два дня назад он и в самом деле был уверен, что никогда не уйдет от жены и сына, несмотря на взаимную усталость и раздражение, несмотря на то, что чувствовал себя с Линой естественным и *свободным*, но все равно не хотел, не хотел уходить из дома, бросать родных, с которыми сросся, болью которых болел, неурядицы которых были его неурядицами, заботясь о которых, даже на свидания, не стесняясь, ходил с хозяйственной сумкой набитой продуктами для дома... А вот теперь он бежал к Лине за *спасением*, не сказав ей, разумеется, об этом ни полслова.

\* \* \*

Он познакомился с Линой уже больше двух лет назад на сорокалети Владлена. Сначала была пьянка в редакции, сильно завелись, Владлен щедрой рукой кидал деньги и водки выставил изрядно. Потом двое или трое наиболее трезвых и транспортабельных вместе с Владленом схватили такси и поехали к нему домой, где должен был состояться основной — домашний — праздник. Стол был уже накрыт, горели лампы, но от выпитой водки Илье казалось, что в комнате полумрак, а фигуры и лица людей виделись как в неом кино: они двигались, шевелили руками и ртами, но звуков он вначале не слышал. Потом на него обрушился водопад голосов. Молчала только *она*, с любопытством на него поглядывая. Тимашев догадывался почему: шла за ним слава сердцееда и Дон Жуана. Помимо шести или семи малознакомых ему пар, за столом сидели еще Ирина, жена Владлена, и она, то есть Лина, которую он тогда впервые увидел. «Глянь, какая у меня племянница, — сказал Владлен, представляя их. — Только прошу: веди себя прилично». Лина приехала помочь Ирине, разумеется, осталась на вечер и сидела за своим полупустым прибором, раздувая ноздри уздечкой и иронически поглядывая на быстро пьяневших гостей. Роза Моисеевна была в те дни в больнице — на профилактическом осмотре и лечении, которые предоставляла «Кремлевка» своим подопечным.

Спускаясь по ступенькам в метро, Илья вдруг вспомнил, как Владлен накануне отъезда в Прагу, оставляя Лину присматривать за Розой Моисеевной и уже зная об их романе, тем самым надеясь и на помощь Ильи, хмуро говорил, что он должен добиться поста номенклатурного работника: «Чтобы выжить в этой стране, тем более сносно существовать, необходим *чин*, который позволит быть уверенным в будущем. Ты ведь, живя в окружении бандитов, постарайся непременно обзавестись каким-нибудь оружием. Так вот, *чин у нас — то же оружие*». Но Илья не верил в его карьеру, глядя, как Владлен гуляет, пьет, не хмелея, рюмку за рюмкой и всегда готов на какую-нибудь авантюру: слишком он был сам по себе, чтобы всю жизнь держаться черствости и сановности в поведении, как держались партийные бонзы, которых нагляделись они в журнале: это был обязательный «авторский актив». Так и случилось: по последним слухам он сцепился с шеф-редактором, да к тому же завел бурный роман с какой-то иностранкой — это он из его писем понял. Владлен жаловался, что стало болеть сердце, что боится загнуться и вообще нудил. Во всяком случае было ясно, что на карьере он крест поставил, раз до сердечных болей дошел. «Одного меня ничего не берет!» — промелькнуло как-то судорожно в голове у Ильи.

Но в тот день, о котором он теперь вспоминал, обо всех этих проблемах даже и речи не было, а была речь о том, что поскольку Розы Моисеевны нет дома, можно гулять хоть до утра, потому что есть, где разместить гостей. Есть комната Пети, комната Владлена с Ириной, где сейчас шла пирушка, и комната Розы Моисеевны, где собирались улечься хозяева. Те же, кто останутся на ночь, разместятся здесь — где пьют и гуляют: благо имеется раздвижной диван и раскладушка, заботливо оставленная в углу.

Салаты, приправы, жареное мясо, грибы, колбаса, буженина, сыр с чесноком и майонезом, заливная рыба, вино, водка, коньяк (для дома Владлен припас несколько бутылок коньяку, хотя в редакции ставил только водку). Пили, разговаривали и пели. Больше, конечно, пели, чем разговаривали. У Владлена был приличный слух и мягкий, несколько насморочный бас. У Ильи слуха не было, зато он знал много песен: когда-то на Элке женился, потому что та песни пела под гитару. И он орал песни одна хлеще другой, помалкивая, пока Владлен выводил романсы, но вступая, когда начинались блатные, лагерные, полити-

ческие. Тут он солировал. Он видел, как, с каждой «граждански острой» песней, Лина все с большим интересом вглядывается в него. Как-то незаметно он очутился рядом с ней, гусарствуя, налил себе, да и ей не забывал подливать. Она пила мало, но все же пила. В пьяном тумане Илья уже не мог различить, *как* она него смотрит, хотя и желал изо всех сил ей понравиться. Заметил только, и это обрадовало его, что она не очень-то отодвигалась, когда спьяну его заносило, и он кренился в ее сторону, и, напротив, придвигалась к нему, как бы прося защиты, когда пьяные руки соседей тянулись к ней. И он с чувством получившего признание кавалера отводил, обрывал, отталкивал и отпихивал руки пьяниц, невольно полуобнимая ее за плечи, ощущая в груди трезвящий любовный холодок и одновременно упоительную уверенность любовной удачи.

В одиннадцать ушел спать Петя. Около двенадцати поднялись первые, наиболее семейные гости. Незадолго до часу еще три пары, торопившиеся попасть в метро до закрытия. А около двух поднялась последняя, странная такая пара — бывшие муж и жена. Муж — ладный военный, жена — однорукая красавица, непонятно почему бросившая своего мужа-военного, который по-прежнему был влюблен в нее и ходил на все вечеринки, где бывала и она. Илья сразу после часу, как закрылось метро, позвонил домой, сказал, что в метро он уже не попал и слишком пьян, чтоб сейчас куда бы то ни было ехать, потому останется у Владлена, чтоб, де, Элка не беспокоилась, не ждала и легла спать. А Владлен, взяв трубку, подтвердил его алиби. Позвонив, Илья почувствовал себя окончательно раскрепощенным человеком, вроде бы как солдатом в увольнении. Да, да, именно вольным, а не свободным: с чувством вольницы — после нас хоть потоп, а сейчас живи во всю мочь, пока живется.

Празднование дня рождения завершилось. Друг Владлена еще со школьных лет — усатый и грязный толстяк-здоровяк, живший репетиторством, как и Лина (только он преподавал русский язык и литературу), начал захрапывать за столом, тыкаясь усами и носом в блюдо с остатками салата. Его пытались куда-нибудь уложить, но он отрицательно мотал головой, так что с усов летели беловатые брызги майонеза. Наконец, ушли спать Владлен с Ириной, оставив за столом Лину, Илью, кемарящего усатого (который сразу после ухода хозяев расслабился, сполз

под стол, вытянул привольно ноги и засвистел носом) и Боба Лундина, ходившего, пошатываясь, вокруг стола — он выпивал рюмку за рюмкой и бормотал:

— Стоит средь хижины моей

Чудовищный скелет...

Вдруг грозил кому-то пальцем и добавлял:

— Я говорил ему: «Не пей!»

Так не послушал, нет!

Потом присаживался на диван, рядом с Линой, но с другой стороны, нежели Илья, и падал головой ей на колени, с которых она терпеливо его поднимала. И Илья на какой-то момент решил, что Боб окажется ему в этот вечер если и не соперником, то во всяком случае помехой, но Боб вдруг встал, покачиваясь на длинных своих ногах и улыбаясь доброй и бессмысленной улыбкой человека, забывшего о своих сексуальных поползновениях:

— Ай эм гоун ту май гел Белла, — сказал он, продвигаясь к двери. Беллой звали его вторую жену. Через минуту хлопнула входная дверь. Под столом храпел и постанывал во сне усатый.

— С ним ничего не случится, что он такой пьяный? — спросила Лина, уставившись на кончик своей туфли.

— Да нет, не в первый раз, на такси доберется, — ответил Илья и рассказал комическую, на его взгляд, историю, как однажды, сказав шоферу направление, Боб уснул в такси, полностью вырубился, а когда шофер, доехав до указанного ориентира, принялся его расталкивать и требовать точного адреса, Боб, которого к тому времени совсем развезло, мило улыбался и пел в ответ: «Мой адрес не дом и не улица, мой адрес — Советский Союз».

После рассказа наступила пауза.

— Выпить еще что-нибудь, что ли? — сказал Илья, поднимаясь и протягивая руку к бутылке с остатками коньяка, не решаясь сразу приступить к действиям. Но пить не хотелось. Он налил коньяк в рюмку, пригубил ее и поставил на стол. Лина смотрела на него.

— Я про вас про всех слышала от Владлена, — сказала, наконец, Лина, и по тону ясно было, что сказала она только для того, чтоб хотя что-то сказать.

— Неужели ваш Боб и вправду способен писать какие-нибудь статьи, да, говорят, еще по методологии науки? Как ему это удается?

Илья пожал плечами.

— На общем фоне — из лучших.

— Зачем вы так пьете? Какой смысл?

— Либералии, — односложно ответил Илья, тут же досадуя на себя, что придется, видимо, слово объяснять, *терять время*, и одновременно соображая, что от такого объяснения легче будет перейти к *делу*.

— Что это значит? — спросила Лина, как он и ожидал.

— Либер — в переводе значит «свободный», это иное имя Бахуса. Кто такой Бахус, надеюсь, ты знаешь? — она кивнула головой. — А в Древнем Риме был праздник — либералии, в честь Бахуса. Тысячелетия тянущаяся попытка приобщиться таким образом к свободе. Бахус-Либер своим напитком освобождал от всяческих забот.

— Ты освободился?

— Ага.

Он снова сел рядом, притянул ее к себе и поцеловал, но в щеку, потому что Лина отвернулась, хотя из рук не вырывалась. Потом, вздохнув, распрямилась, выскальзывая из объятий:

— Давай спать, — она провела ладонью по лицу. — Раскладушку разбирать уже сил нет. Мы на этом диване уместимся. Но ко мне не приставать. Я не хочу.

Она молча легла. Свет они погасили и в комнате наступил предрассветный полумрак. Было около четырех утра. Минут через пять он начал тихо ее гладить, целовать, она не сопротивлялась, потом «приставать», а потом она ему уступила, со страстью сжимая его руками, а усатый храпел под столом.

Они встречались уже два года. Ни с кем из женщин Илье не было так хорошо в постели, он влюбился. Ссорились они часто. Илья старался перебороть себя, а Лина рыдала и упрекала его:

— Ты поступаешь непорядочно. Ты вмешался и продолжаешь вмешиваться в мою жизнь, хотя никогда на мне не женишься.

Он бледнел, краснел и полуискренне говорил:

— Ну, давай сделаем вид, что ничего не было, и я исчезну из твоей жизни.

Она пугалась:

— Что ты! Все было!..

Между тем у Ильи начались семейные неурядицы. Элка все чаще разговаривала с ним, не разжимая губ, а сила ее характе-



ра настолько давила Илью, что он, чувствуя при том свою вину, никак не отваживался на выяснение отношений с ней, а про развод даже и не думал. Точнее, думал, но изменить накатанный образ жизни был не в состоянии, придавая разводу вполне космический смысл крушения основ мироздания. Он снова и снова пытался преодолеть свою страсть, ничего не получалось. Так что Элкина измена — если она была! остановил он себя — ответ на его фокусы. «Себя вини!» — в который раз произнес он. Но ведь Лина не только постелью притягивала его, если б только — он бы преодолел давно.

Лина не просто умела слушать, она, казалось, и на самом деле интересовалась тем, что он говорил, проявляла участие к *его идеям*, которые он считал смыслом своего существования. Жене эти его «разглагольствования» давно надоели, она была уверена, что знает его насквозь и что все его разговоры — простая болтовня. «А статьи и книги?» — спрашивал он. «Ну, тебе просто нравится писать, у каждого свое хобби, — отвечала она. — Я же не навязываю тебе того, что происходит, скажем, с моими подругами и во всяком случае имеет отношение к *жизни* — в отличие от твоих, ты уж прости, схоластических упражнений». С друзьями-приятелями, философами, мыслителями и алкоголиками из «стекляшки» надо было всегда держаться полуиронического тона, что тоже не очень-то вдохновляло на изложение «идей» и «концепций». Слушали его — с интересом! — только Лина и Петя, сын Владлена. Да еще сосед Владлена по дому — Борис Кузьмин.

Дома он отучился и говорить, и работать — из-за «постоянных бесконечных и бессмысленных гостей», жаловался он. Хорошо еще, если приезжали одни подружки жены, без мужей или любовников, тогда они накуривались на кухне и в ее комнате, но ему во всяком случае выходить к ним было не надо. И они с маленьким Антоном занимались английским или просто беседовали («папа, не уезжай надолго на работу, — просил он его раньше каждое утро — мне без тебя плохо»): именно из-за Антона, он это твердо знал, не ушел он в свое время из семьи. Хуже было, когда подружки приходили со своими мужчинами, тогда отсидеть у себя в комнате он не мог, вынужден был идти на кухню, пить водку, рассказывать, тряся бородой, анекдоты и всячески своим присутствием демонстрировать, что в жизни его жены

все в порядке, что она не одна, что у нее есть такой сильный, бородатый и даже что-то там печатающий муж. Для женщины очень важно, чтобы все знали, что она не одна: «тогда она чувствует себя полноценной», говорила Элка. Вот он и существовал для ее чувства полноценности. Но больше всего его удручало, что и Антон крутился среди этих бездельно-болтливых компаний, нахватываясь этого лекомысленного и пустопорожного отношения к жизни. И Илье тем острее по-прежнему казалось, что, если он уйдет, пропадет единственно благотворное, потому что серьезное и с добрыми идеалами, влияние на сына. Ведь для какой-то высшей и благой цели послано на Землю существо с Альдебарана!.. Возможно, усмеялся он, чтобы, несмотря ни на что, сохранить семью и воспитать сына.

\* \* \*

Надо сказать, он только хотел быть человеком с Альдебарана, а может, и не человеком, а неким существом в человеческом облике. Ведь вполне допустимо, что на Альдебаране его обитатели не имеют материальной оболочки, а только духовную сущность. Там их реальность — дух, здесь же она вынуждена облекаться земной материальной плотью. Первым — но наверно, он и в самом деле что-то такое чувствовал — о своей альдебаранской сущности заговорил краснолицый доктор наук Мишка Вёдрин. Хотя было это сформулировано хитро, оставалось неясным, шутка его слова или серьезное утверждение. Недаром Мишка любил повторять, что «в каждой шутке есть доля шутки». Вёдрину было уже за пятьдесят, все считали, что жизнь его складывается необыкновенно удачно: автор нескольких книг по западной философии, доктор наук, профессор, сохранивший, несмотря на регулярные возлияния, ясность ума и цепкость мысли. В своих книгах он не врал, сам знал, что специалист он из редких, предмет свой понимал как никто, никого никогда не подсиживал, но вот что-то не давало ему покоя, все ему казалось, что он проживает жизнь впустую. Толстобрюхий, спьяну — сальный безобразник, матершинник, он вдруг начинал иногда, когда еще не сильно бывал пьян, жаловаться, что его высшее Я не получает никакого выхода, ибо, жаловался он, человеку ведь хочется обращаться ко всему миру, ко всем, и от себя лично, а не только в качестве профессионала, нечто сообщающего профессионалам.

Вот этот-то Ведрин как-то в «стекляшке» и выдвинул, размахивая стаканом с налитой водкой, «концепцию Альдебарана». «Понимаешь, — говорил он, — вот, когда ты среди пьяного сброда, да, ха-ха, прошу извинить, среди друзей-собутельников, которые мало чем от пьяного сброда отличаются, да, так вот, когда все у тебя ладно и хорошо, все в порядке, на работе неприятностей нет, жена не знает про любовницу, любовница не беременна и не требует, чтоб ты на ней женился, понимаешь? работы твои выходят, тебя хвалят, а ты в своих сочинениях не фальшивишь при этом, или почти не фальшивишь, что по нашим временам одно и то же, и вдруг тебя прохватывает смертельная тоска, именно прохватывает, как понос, тебе от нее никуда не деться, понимаешь? тоска ни от чего, да, мировая скорбь как ее раньше называли, тоска от твоей неподлинности, вот тут и задумаешься, откуда это взялось. Все эти трагические концепции мироздания, весь этот экзистенциализм — откуда они взялись? Спрашиваю, но не отвечаю. Ведь выдвигали их вполне благополучные люди, нет, я не говорю сейчас о христианстве, это другое, хотя да, что-то тут есть, кое-что, кое-какая переключка, ведь христиане не без влияния римских стоиков образовались, но вы дальше увидите; я пока спрашиваю другое: откуда у благополучных людей — Сенека был благополучен, да и Сартр тоже не в нищете живет — идеи о своей, скажем, «высшей избранности», ни на чем, кроме внутреннего самосознания не основанной, о своей «заброшенности» в мир, в историю, как в некий чуждый поток, об исконной одинокости людей духа, об их «оставленности», ну и так далее, тут можно много наговорить. И даже у нас, среди этого полного распада и говна, вдруг кое в ком начинают шевелиться эти чувства. Еле-еле, придавлено, но шевелятся. Как они могли возникнуть? Ни дворянским, ни буржуазным происхождением, ни средой, ни даже порой талантом во многих случаях это не объяснить. Да, так вот, но если представить, что чуждый разум, ну, вспомните несчастную Хари в «Солярисе» Лема, которую океан посылает космонавту, нет, это не точно, не совсем точно, у Хари не было своей сверхидеи, давайте по-другому. Допустим, гипотетически, конечно, что в созвездии Альдебарана, помните, у того же Лема книжонка такая есть, «Нашествие с Альдебарана», да, так вот.. Если там, на этом Альдебаране есть высшая цивилизация, и она интересуется

Землей, если эти засранные альдебаранцы хотят понять, как мы живем, в большем ли говне, чем они, и понимают, что в большем, ну и для каких-то там своих целей, может колонизировать нас хотят, а может, возвысить, а для этого надо подготовить землян, этих, на их взгляд, полуживотных — ну вроде, как африканских или полинезийских дикарей, если по нашим меркам — к принятию высших альдебаранских идеалов. Дикари привыкли убивать и пожирать даже своих соплеменников, а их надо научить ценить жизнь себе подобного, и вот альдебаранцы посылают на Землю уже несколько тысячелетий своих разведчиков и диверсантов — все эти Будда, Конфуций, Христос» — «Так, по-твоему, Христос — инопланетянин?» — перебил его Вася Скоков, из книг понимавший только фантастику. «В каком-то смысле — да, он из числа диверсантов, которые, пытаются переделать людей, а есть простые разведчики, которые должны только наблюдать. Я не знаю, как это технически у них разработано, но можно представить, что они посылают на Землю некий генный сигнал, и таким образом альдебаранец рождается у обыкновенной земной женщины. Как если бы Миклуха-Маклай родился в Новой Гвинее папуасом, а вместе с тем был бы и Миклухой. Вот тебе и заброшенность в иной мир. Духовно альдебаранец живет по другим законам, чем землянин, даже если альдебаранец — простой разведчик, ибо взыскует неведомого. За таким, поскольку у него другая духовная организация, очевидно, легче следить с Альдебарана, по его реакциям определяя степень земной гадости, дикости и животности. Но иногда охватывает этого разведчика, то существо, которое живет в земной оболочке, невероятная тоска по чему-то иному, нездешнему. Это и есть свидетельство его неземного происхождения. Вот что, да, мне кажется...»

Говорил Мишка как всегда спяну немного косноязычно, но все же донеся на сей раз до собеседников свою мысль. Принялись обсуждать идею и знакомых, с Альдебарана они, или, например, с Кассиопеи, всем хотелось быгть с Альдебарана, как-то почетнее казалось. Один Боб Лундин отрицательно мотал головой и бормотал, что новомодные варианты псевдорелигий его не интересуют. Тогда Тимашев подумал, что вполне вероятно для Вёдрины это не просто шутка — насчет Альдебарана, что он, пожалуй, и верит в свою концепцию. Уж очень в словах толстопу-

зого доктора наук звучала жажда трансцендентального обоснования своего бытия.

Речь Вёдрина была запита изрядным количеством водки и портвейна. Илья тоже пил и пытался вообразить себя космическим пленником чуждого мира, чуждого разума, живущим по обычаям туземного племени и просто слегка запутавшимся в туземных отношениях. Это утешало. Только представить, понять, что ты житель иных миров, и — можно ко всему относиться *со стороны*, конечно, переживая свою оставленность, но зато не испытывая никакого чувства вины и ответственности. Хорошо бы было чувствовать себя существом с Альдебарана, хорошо бы было, хорошо бы, хорошо...

## Разговоры в коридоре и в комнате

- Так вы ничего про нее не знаете
- Нет! право, ничего!
- О, так послушайте.

*А.С. Пушкин. Пиковая Дама*

**Н**а какой-то момент сегодня ему удалось представить приятелей и телесную свою оболочку порождением чуждой планеты, враждебной его альдебаранской сущности. И все тщетно, все прахом... Слишком все с ним происходившее его касалось. Не мог он от этого отчуждаться, отстраниться... Не мог посмотреть на себя извне. Если и мучали его какие потусторонние силы, то очень они с земными его страстями были связаны. «Пусть Альдебаран остается вотчиной Вёдрины», — усмехнувшись, махнул он рукой, подходя к пятиэтажному, почти родному уже для него дому.

Привычное возбуждение охватило его. Он входил в квартиру, где жила сейчас Лина, охотнее, чем к себе домой. Он был уверен, знал по опыту, что, сердитая по телефону, Лина встретит его с радостью, с любовью, — такая вздорная, несчастная, желанная. А он захочет распушить перья и начнет говорить о том, что волнует его, и ему будут внимать. А внимание, казалось ему, окрыляет, возвышает дух, позволяет относиться к себе с уважением. Ох, как Илья это было нужно!..

Позвонив, он ждал, пока ему откроют, глядя на обшарпанную снизу, словно оббитую грязными ногами дверь, и подумал, что это, наверное, маленький Петя, не дотягиваясь до звонка, колотил ногами по нижней филенке. Илья услышал, как поворачивается рукоятка дверного замка, и, одновременно уловив в глубине квартиры чьи-то чужие голоса, сообразил, что черная «Волга», стоявшая у подъезда, очевидно и привезла сюда гостей. Ее шофер спал на переднем сиденье, накрывшись газетой. Но кто могли быть эти гости? Они не входили в его предположения о том, как будет протекать его визит, он даже приуныл немного.

Дверь открыл Петя и обрадованно улыбнулся Илье. За ним, в конце коридора, он разглядел Лину, стоявшую с кухонным ножом в руке, в цветастом фартуке поверх темно-фиолетового вязаного платья с короткими рукавами. В ванной лилась вода, кто-то булькал, полоща рот. Лина, засветившись при виде Ильи, но робко, словно виноватая за раздраженный телефонный разговор, подошла и встала за Петиной спиной.

Хлопнув по плечу, полуобняв его правой рукой и отстранив слегка с дороги, Илья потянулся поцеловать Лину, чувствуя, что у него перехватывает дыхание, отступает куда-то вчерашний бред и морок с Элкой и Паладиным, что забыл он все на свете и не хочет ничего и никого, кроме нее, и что, видимо, на лице у него все это написано. Потому что Лина уклонилась от поцелуя. Рядом стоял Петя, дверь в комнату Розы Моисеевны была открыта и оттуда доносились голоса: разговаривали две женщины.

— Петя, иди к себе, — строго сказала Лина. — Сейчас гости уйдут, я позову тебя обедать. Да-да, иди и закрой за собой дверь.

Петя обиженно хлопнул дверью.

— Ты слишком резко, — шепнул Илья, привлекая к себе Лину. — А что за гости? Надолго?

Прижавшись к нему на секунду и снова выпрямляясь, она сказала нейтральным голосом:

— Надеюсь, что скоро... А ты давай вешай свою куртку в шкаф и проходи на кухню, поможешь мне.

Ее длинные смуглые руки приняли от него куртку, и она сама, словно не доверяя ему, а на самом деле показывая, что ей приятно за ним ухаживать, открыла дверцу шкафа, чтобы повесить куртку. Илья воспользовался распахнутой дверцей как прикрытием и поцеловал ее. Она счастливо улыбнулась, но тут же приложила палец к губам.

Скрипнул паркет на пороге комнаты Розы Моисеевны и хлопнула дверь ванной. В коридоре сразу стало толкотно, поскольку для четырех человек места здесь было маловато. Из комнаты вышла девица лет двадцати пяти в мужском пиджаке, с продувной комсомольско-журналистской физиономией. Щеки у нее были бугристые и свекольно-красные, на носу тяжелые, квадратные очки, и вся она нелепо оживленная и понимающе заинтересованная. Из-за ее широкой спины вырисовывалась голова Розы Моисеевны с неприбранными, распушенными редкими

белыми волосами. От ванной по направлению к ним, прихрамывая на одну ногу и подволакивая другую, ковылял криворотый человек с черным портфелем и шляпой в одной руке. Подойдя поближе и протиснувшись мимо Лины и девицы с портативным магнитофоном, он перехватил свой портфель в левую руку, а правую протянул, скорее, даже сунул Илье:

— Позвольте представиться. Саласа, доцент.

Лина показала глазами, что эти гости — *нечто* и пошла на кухню, всем своим видом выражая презрение к разговору. Илья не успел пожать хромому руку.

— Это Илья Тимашев, — громогласно заговорила Роза Моисеевна, кутаясь в застиранный и выцветший байковый халат. — Это друг моего сына. Он тоже крупный ученый, как и мой сын. Он его друг и работает в журнале!

— Вы тоже кандидат? — подобострастно обратился к нему Саласа, пряча руку в карман пиджака. — Я так и думал, что вы друг Владлена Исааковича. А я все никак не могу защититься. Печатных работ не хватает. Вам легко, вы ведь в журнале работаете?.. Значит, с вами надо дружить, хе-хе! Глядишь, статейку опубликуете...

Илья привычно начал бормотать что-то вроде: «Как же, как же, приходите, кто может запретить. Редколлегия только у нас суровая, ничего почти не пропускает. От нас ведь не все зависит. Но, разумеется, попытка не пытка...» При этом он уцепился правой рукой за бороду, чувствуя себя как всегда неловко при встрече с дураком.

— Да, к вам нелегко попасть... Как говорят, три пуда каши съесть надо, — заискивал неостепененный доцент.

— Так вы работаете в журнале? В том самом? Мы на политзанятиях его изучаем, — кинулась, перебивая Саласу, девица. — Мы с вами, значит, коллеги, я тоже представитель прессы. Нет, я с вами не хочу равняться, вы, конечно, страшно умный. Но и наша многотиражка выходит уже на четырех полосах. Только хорошего материала маловато. Вам это должно быть понятно. Это наше общее профессиональное мучение. И вы, надеюсь, — тут она так кокетливо улыбнулась, что Илья непроизвольно вздрогнул, — не откажетесь мне помочь, вы просто обязаны это сделать, — она положила ладонь на его руку и *дружески* сжала ее. — Вы должны рассказать кое-какие детали про Розу Моисеевну, ладно? Мне кажется, вы давно ее знаете... А нам очень нужна точка зрения молодого, идеологически грамотного человека,



тем более профессионального журналиста и философа, — ластилась она, вопрошающе дыша и заглядывая ему прямо в лицо.

В редакции Тимашева называли то «бабьим пророком», то «дамским угодником», потому что любил он позубоскалить, поболтать, почти пофлиртовать — с машинистками, секретаршами, официанточками, авторшами и прочими кисочками. Но журналистка была из тех женщин, с которыми даже пошутить он затруднялся, слишком неаппетитным казалось ее тело и слишком волчьей хватка. Обычно подобные женщины мечтают, чтобы интересные, но развратные мужчины попали под их благотворное влияние и, сохраняя свою развратность в «интимных отношениях», стали бы образцом общественной морали. «Ко всему, небось, и старая дева, — решил Тимашев, но поправился. — Хотя вряд ли... А комсомольские молодежные лагеря, а школы молодых журналистов, а симпозиумы, а финские бани, а вечерние посиделки в редакции, а главный редактор, а директор, а парторг...»

— Вы меня простите, — сказал он ласково и, тоже *дружеским* жестом, снял ее руку со своего локтя. — Но лучше Розы Моисеевны вряд ли кто расскажет ее биографию. Думаю, вам стоит попросить Розу Моисеевну записать свои воспоминания на бумагу. Вы сведете воедино с тем, что у вас на магнитофоне, тогда, возможно, получится, что надо, — говоря, он двинулся потихоньку в сторону кухни.

На звук его голоса, не утерпев, вылез из своей комнаты Петя. А оскорбленная, отшита журналистка, несмотря на смущенно-наглую улыбку, которою одарил ее Илья, обиженно дала косину обоими глазами и покатила к двери, а следом за ней, придерживая двумя руками портфель, двинулся почтительно хихикавший Саласа, но приостановился, когда распевно, раскачивая головой, принялась жаловаться Роза Моисеевна:

— Илья, ты пришел, а то не приходит ко мне никто! Вот только эти товарищи пришли, им важно, чтобы я поделилась своими воспоминаниями. Это всем важно. Мне недавно даже из Иркутска письмо пришло, от моего бывшего ученика, он теперь профессор, профессор Каюрский. Я еще не читала, но так он написал на обратном адресе. Запомните это имя. Он меня уважает. Он меня помнит. Он уже однажды, очень давно только, хотел, чтобы я прислала историю своей жизни для иркутского исторического музея. Это правильно. Мой первый муж, тоже револю-

ционер, был из Иркутска. Как и Каюрский. Я могу вам прочесть его письмо. Нет, не могу, оно далеко...

— Всем, всем, дорогая Роза Моисеевна, нужен ваш жизненный опыт, — залопотал Саласа, лебезя. — Для нашей партийной организации, где вы проработали больше сорока лет, он особенно неоценим. Ныне особенно важно помнить, как вы нас всегда учили, что каждый коммунист должен быть высоко-идейным, активным бойцом нашей партии, особенно в условиях усиления нападков империализма и сионизма, злопыхающих на строительство коммунизма в нашей стране. И мы обещаем вам, дорогая Роза Моисеевна, я от лица всего парткома говорю, приложить все силы, чтобы ваша жизнь не прошла даром. Вот и Илья... Илья... извините, как вас по батюшке величать?

— Васильич, — недовольно-нетерпеливо буркнул Илья.

— Вот и Илья Васильевич поддержит мои слова, не так ли?

Илья вяло кивнул. Старуха стояла, вытянувшись, как маршал на параде, торжественно и важно держа свою седую маразматическую голову, как бы впитывая каждое слово изогнувшегося червем Саласы. Повисло молчание. Пришельцы, одетые в пиджаки, стояли перед старухой в стираном байковом халате и шлепанцах на босу ногу; на заднем фоне виделась красивая насупленная рожица Лины; румяное лицо не то подростка, не то уже юноши выглядывало из двери комнаты; сам Илья растерянно застыл на месте, хотя рвался внутренне к Лине. А над всем этим сборищем — желтый неяркий свет электрической лампочки, всегда горевшей в темной прихожей. «Никакие альдебаранцы в этой картинке бы не разобрались», — внезапно решил Илья. Саласе и девице наплевать на самое дело на старухины воспоминания, они вовсе не желают *знать*, какую жизнь та прожила, чего хотела свершить — им нужна галочка в отчете, и, как всякие бумажные люди, они *верят* в значимость проводимой сверху кампании по *выявлению* старых большевиков. Подумав так, Илья было ощерился, найдя объект, достойный унижения. Но сдержал себя: во-первых, торопя мысленно, чтобы ушли уже, наконец, эти гости, хоть сквозь землю провалились, а он мог пойти к Лине, во-вторых, безумно жалко старуху Розу Моисеевну, которой вряд ли необходим был этот визит. Как и любому человеку, ей нужно внимание, а к нему уверенность, что не напрасно она жила и живет. «Но воображаю, что она по своей прямоте им наговорила! Совсем не то, разумеется, что они ожидали от

нее. Уж очень рожи у этого Саласы и девки уксусные! — с пьяной остротой подумал он. — Не случайно, эта сучка ко мне сунулась».

Немая сцена, наступившая после слов кривомордого Саласы, была нарушена им же.

— Можно я пойду еще раз рот прополоскаю, а то у меня привкус какой-то, — обратился он к Лине.

— Я вас подожду в машине, — шепнула журналистка, морщась и кисло улыбаясь. Она вдруг догадалась, что к *этой* в фартуке понравившийся ей философ пришел.

— Да я мигом, — повернулся Саласа к захлопнувшейся входной двери. Лина указала на ванную и сказала, что пойдет принесет чашку, но Саласа остановил ее, прихрамывая следом:

— Не надо, спасибо, я из ладошки.

Илья повернулся к Пете, смотревшему на него во все глаза:

— От отца есть какие-нибудь новости?

— Не-а, — ответил Петя и добавил полушепотом: — Он уже второй раз идет рот полоскать.

— А ты что думал? После стольких-то льстивых слов, — определил Илья свое отношение к доценту. Петя понимающе-иронически моргнул глазами. Он прислушивался к словам Тимашева, даже был привязан к нему. Илья это чувствовал. А дома? «Ты мне мешаешь жить! Ты мне навязываешь чуждый мне образ жизни, давишь меня, стоишь на моем пути!» — кричал Илье сын. Опять вернулась тоска, что он не с сыном так мирно и дружелюбно разговаривает.

Из ванной выполз Саласа, криворотый и хромоногий визитер.

— Рад был с вами познакомиться, — подхалимски улыбнулся он Илье, но руку протянуть не решился. — А вам, дорогая Роза Моисеевна, желаю больше душевной бодрости, ее у вас и так много, но надо еще больше. Вашим примером должна жить молодежь.

— Уж конечно! — фыркнула из конца коридора Лина.

— Я жила верная идеям марксизма-ленинизма, — нараспев сказала старуха. — Живите, как я.

Она три раза театрально махнула рукой вслед ушедшему сослуживцу, другой рукой оперлась на ручку двери своей комнаты. Но только с улицы послышался шум взревевшей и поехавшей машины, как она расслабилась:

— Ушли! Все уходит. Одна я остаюсь. Ох! Все болит! Лина! Лина! Помоги мне! Ты бесчувственная! Ты не хочешь видеть, как мучается старый человек, нет, пожилая женщина, старый член

партии. Ты себя бережешь. Ты бережешь свои нервы. Ты равнодушная. Ох! Помогите же мне кто-нибудь!

Она стала заваливаться набок. Бросился к ней Петя, но Илья был ближе, потому оказался проворнее и, подхватив ее под руки, довел до постели, отвернул плед и осторожно усадил. Она села, посидела, потом скинула тапки, влезла под плед и укрылась им, не снимая халата. Оживление от прихода неожиданных гостей сменилось усталостью и раздражением. В комнате пахло давно не мытым телом, лекарствами, мочой, тленом.

Вошла Лина.

— Роза Моисеевна! Вам сейчас принести обед или попозже?

«Бабушкой не назвала, сердится», — отметил Илья. А старуха вместо ответа запричитала, словно Лина ее ни о чем не спрашивала, запричитала, лежа и глядя в потолок:

— Где моя семья? Куда я попала? Здесь все чужие. Я всем чужая. А я честно прожила свою жизнь. Честно. Я всем помогала, а меня все забыли. Где я живу? В какой стране? Разве здесь не социализм? Ведь вы — советские люди. Почему вы не ухаживаете за мной? За какой-нибудь глупой старой бабой и то больше ухода. А я всегда боролась, всю жизнь, боролась за ваше счастье! Я заслужила заботу. А меня все покинули!

— Ну что вы, Роза Моисеевна! Это не так! — Илья старался возражать мягко и вежливо, понимая много яснее, чем она, *исторический смысл* ее вопля. Она не нужна. Что-то сделала, плохо или хорошо — другой вопрос, но добилась! И кто же выиграл, кто у власти?.. Те, за кого боролась? Униженные и оскорбленные?.. Да нет — Тыковкины и Паладины. Он взял ее за руку.

— Вы прожили свою богатую событиями и поступками жизнь, как Дон Кихот, мы все это понимаем. Но вы же знаете, что у каждого из нас есть обязательства, которые мы должны выполнять. Вы же сами были человеком, для которого — прежде всего *дело*. И Владлен с Ириной не могут сейчас приехать: ведь Владлен *работает*. К сожалению, далеко от вас. А Лина, как вы можете видеть, все свое время вам отдает, даже на службу не устраивается. Уж ее упрекнуть не в чем.

— Она не хочет и не умеет работать, — безапелляционно изрекла вдруг Роза Моисеевна. — Она лентяйка. Она привыкла дома сидеть и по телефону разговаривать. Думает жениха найти. Только об этом и думает, а сама пальцем не пошевелит для этого. Не ты же ей жених!..

Илья покраснел, отведя глаза, но чувствуя, как вздрогнула его *любовница*, и подумал, что, несмотря на весь свой маразм, старуха наблюдательна и язвительна.

— Это вы *мне* говорите! — Лина, вылетая из комнаты, даже дверью не хлопнула. Илья знал, что теперь она ждет его на кухне, но уйти сразу следом было неудобно.

— Вы несправедливы, Роза Моисеевна, — стараясь не дрогнуть голосом, твердо произнес Илья. Старуха закрыла глаза, ее белые редкие волосы были разбросаны по подушке. — Лина всё вам отдает. Все силы, время, возраст, наконец. Ведь ей чуть больше тридцати.

— А ей некому больше свой возраст отдать. У нее никого нет. Ты не в счет, потому что редко бываешь, — с жесткой и эгоистической прямоотой старости отвечала Роза Моисеевна. — А я к тридцати годам была одним из руководителей компартии Аргентины. Да я ее и организовала. Там меня еще помнят. Этот тип, Кобовилья, грубое животное, он ходил за мной и слушал, как я выступаю, и называл себя моим учеником. О, это был тип, ты знаешь, из итальянцев, он сначала хотел примкнуть к какой-нибудь мафии, и чуть не попался на уголовщине, его даже хотели гнать из кружка, но я за него вступилась, у меня был русский опыт перевоспитания уголовников, когда мы сидели в тюрьме, мы одного преступника перековали в нашу веру, я и за Кобовилью взялась, он с бандитами порвал, а своими связями среди аргентинского пролетариата и бедноты принес партии много пользы. Да, он наладил контакты, — она вдруг задумалась и *вздохнула*, — мы его избрали в Цека, а потом он написал на меня донос в Коминтерн, что я узурпирую власть. Товарищи быстро разобрались, но из Аргентины мне пришлось уехать. Мне исполнилось тридцать восемь лет, когда я вернулась сюда. Это был двадцать шестой год. Но партийную работу я найти не смогла, потому что была еврейкой. Это уже тогда началось. Из руководства партией, из Политбюро выводились все товарищи еврейской национальности. Поднялся и удержался только это ничтожество Каганович. Но я не зря прожила жизнь. *Жизнь!*.. А что твоя Лина сделала?! Тридцать лет — это совсем немало...

— Вы, Роза Моисеевна, и вправду должны написать мемуары, это было бы чертовски интересно, — то бледнея, то краснея, старался Илья увести ее от «темы Лины», да и ворохнулся в нем историк-либерал, желающий знать правду о том, что происходит, и потому собирающий *свидетельства*.

«Может, и в моей работе пригодится», — подумал он. Хотя нет, он о другом собирался писать. Ему уже сорок три — успеет ли? Хватит ли у него сил — не разорвать с женой и сойтись Линой, а написать свою историю русской культуры, свое «Зазеркалье», о том, как все высокие идеи, взятые с Запада, оборачивались навыворот — к торжеству азиатского, рабского начала, а все великие художники ненавидели себя за то, что они великие и выходят из ряда, вываливаются из общинного начала, выпадают из народа, и старались смирить себя, «становясь на горло собственной песне». Уже пора, и нет сил, не хватает уверенности, что написанное им кому-нибудь понадобится, не говоря уж о естественном страхе любого автора, боящегося неудачи.

Эта нерешительность, как он сам полагал, была в нем от его робкой, всего трусившей матери. Он помнил, как зимой сорок четвертого года он, четырехлетний, сидит на топчане около тяжелого квадратного стола, а бабушка с мамой прилаживают — прячут то в одно, то в другое, то в третье место их единственную трехлитровую бутылку с бензином, спорят, ссорятся, торопятся, потому что вот-вот может явиться постовой. Час назад забежала соседка и сказала, что по их домам (дома были двухэтажные, продолговатые, покрытые розовой штукатуркой, выцветшей от дождей и ветров, с обшарпанными стенами в надписях; из-под отбитой и отвалившейся штукатурки глядели перекрестья дранки, на которую штукатурку лепили; внутри были длинные коридоры, пахло кошачьей мочой, вдоль коридоров — однокомнатные квартиры: кухня там была крошечная, с маленькой железной печкой, топилась она дровами) пойдет с обыском милиция, потому что в домах много шоферов живет и наверняка есть ворованный бензин. Илья помнил, что этот бензин, который они тогда купили у соседей, ни мама с бабушкой, ни он следом за ними не воспринимали как ворованный, они были признательны соседям, говорили, какие они хорошие люди, что продали бензин. И бензин казался маленькому Илье подобным той горящей головне или кремню с огнивом, которые так важны были древним людям, чтобы поддерживать огонь в очаге, который охранял от холода и злых зверей и на котором можно было готовить принесенную в стойбище добычу. Илья для своих четырех лет был начитан, во всяком случае книжку «Приключения доисторического мальчика» мать ему читала. А бензин был нужен для скверно разжигавшейся печки. Бабушка тогда очень ловко за-

прятала эту трехлитровую бутылку. Она вынесла ее в прихожую, поставила в угол около двери и сверху набросила на нее драную телогрейку, будто бы здесь куча старого барахла, к тому же, когда дверь распахнулась, она прикрывала угол, где стояла бутылка. Тут явился постовой, — безо всяких ордеров на обыск, да и в голову никому в те годы не приходило каких-то «законных оснований» от власти требовать, — обойдя квартиры соседей, заглянул к ним. Он, видимо, сам понимал, что является к людям как враг, потому что зимы стояли холодные и голодные, а в бутылки бензина скрывалось тепло и, следовательно, жизнь. Может, он и по их комнате прошелся бы так же бегло и непристально, как и по комнатам соседей, но маму, сидевшую рядом с Ильей, со страху колотила такая явная дрожь, что он поневоле должен был заподозрить какие-то невероятные запасы бензина, потому что из-за трех литров так не пугаются. Бабушка была более спокойна, она открывала дверцы шкафа, ящики комода, помогала отодвинуть шкаф, чтобы милиционер и туда заглянул. Нигде ничего не было, и постовой уже два раза собирался уходить, но, взглянув на трясущуюся маму, не говоря ни слова, принимался снова за поиски. Его должно быть охватил азарт, как в детской игре, когда что-то прячут, а потом кричат водящему «холодно» или «горячо». Так вот сейчас явно было «горячо». Наконец, он принялся соизмерять свои поиски с дрожью мамы и, разумеется, нашел бутылку. Найдя, был недоволен собой, потому что составлять акт и куда-то тащить эту тяжелую бутылку ему определено было неохота, но что делать: нашел, так расплачивайся.

Илья всегда вспоминал этот случай, когда думал о своем неумении переступить официально принятый стиль жизни и заняться работой без надежды на публикацию, работой *для себя*, о своей подспудной боязни властей предержавших. Отец у него был поэт в шиллеровско-романтическом смысле; по рассказам матери, человек отчаянный, но с пятого курса ИФЛИ он пошел в ополчение и погиб в декабре сорок третьего года, так и не передав сыну умения смотреть на начальство и на жизнь с вызывающе высокомерным прищуром. А теперь Илья работал в престижном научно-идеологическом журнале, приближенном к сильным мира сего. Не зря так задрожал в прихожей доцент, сообразив, где Илья работает. Служба в этом журнале давала ему *жизнейский статус*. Естественно, что среди его приятелей оказались дети советских сановников. Ничего он у них не

просил, да и *неприлично* это было бы — просить, имеющие власть просьб не слышат, но, казалось ему, дружба с *ними* подтверждает перед кем-то его *лояльность*. Так и Паладин в его жизни возник. Вроде бы почему и нет: коллега по журналу. Но можно было не дружить, не связываться. А он сам привел его в дом, сам с Элкой познакомил. Ну и что? говорил он себе. В конце концов, «мы все — советские люди». А мать учила его жить так, чтоб не полагаться на свою личную активность, жить, снимая с себя ответственность за свои поступки, перелagая ее на обычай, на постановления и установления. Это отсутствие личной смелости в выборе своей судьбы мучало теперь Илью.

Он оглядел комнату, и тут едва ли не в первый раз как следует осознал, что старуха гордилась своим прошлым. И всякими безделушками, напоминающими Аргентину и Испанию, словно старалась удержать его, снова приблизить к себе. Эти безделушки выглядели как трофеи, которые хранит старый боевой генерал, и ему по-прежнему кажется, что только он и умел воевать и что, пусти его сейчас в дело, он, именно он всех врагов разобьет. И наверно, она мечтает повернуть время вспять.

— Зачем писать? Все говорят — пишите, — нарушила вдруг молчание Роза Моисеевна. — Все прошло, все кончилось, ничего не вернешь, жизнь не проживешь заново. Материя истлевает, превращается в прах, в круговорот вещей в природе. Так и должно быть. Но это стра-ашно, — наступила пауза, во время которой растерянный Илья не знал, что сказать, а старуха продолжала, не обращая на него внимания. — У меня были братья и сестры, и все поумирали. А я все живу. Все живу. Я как вечный жид! И никого кругом. Такие настали времена. Один мой внук, мой единственный внук, и эта дура, как ее... ну... Лина. Дура.

— Она достаточно умна, — не нашелся сказать ничего лучшего оскорбленный за Лину Илья.

— Умна для чего? Ничего не делать и волосы перед зеркалом часами причесывать? Для этого ее ум годится.

Илья вдруг обрадовался перебранке, она хотя бы уводила от морально-метафизических проблем, которые невыносимо было обсуждать с умирающим человеком.

— Ну хотя бы, — резко сказал он, — ее ум годится для того, чтобы готовить вам обед. Да и вообще пора понять, что человек не определяется общественной пользой.



— А чем же?

— А ничем. Самим собой. Тем, что он человек и существует на Земле, при этом добрый и никого не обидел. Потому что все эти общественные активисты и воинствующие гуманисты уже столько зла в нашем мире наделали! — сказал и спохватился, что она может не так понять. И замолчал.

Роза Моисеевна тоже молчала, как бы прислушиваясь к чему-то. Илья тоже прислушался, но ничего не услышал. Помолчав, она как-то странно на него посмотрела и спросила не менее странно:

— Чей это голос?

— Где? Я не слышу.

— Только что кто говорил? Чей голос звучал?

— Мой.

— Это вражеский голос, голос реакции. Вот это какой голос. И тебе должно быть стыдно повторять за ним. Ведь ты коммунист!

— Я беспартийный, — ляпнул Илья и почувствовал, что напрасно это сказал, глаза старухи на минуту широко открылись, она страдальчески задышала. И тут же зажмурилась.

— Роза Моисеевна, дело ведь не в партийной принадлежности, — начал Илья, не желавший огорчать ее.

Но старуха не отвечала, она лежала, закрыв глаза. Стало понятно, что она *уверена* была в его партийной принадлежности, потому что он в *таком* журнале работал и потому, что *хорошо* к нему относилась. Илья подождал, с подушки слышалось ровное сопение. Роза Моисеевна заснула или делала вид, что заснула. Во всяком случае черты ее лица и даже тела (оно четко вырисовывалось под пледом) приобрели твердость, а губы плотно сжались. Она явно показывала, что не проронит ни слова. И тут, на его счастье, послышался хриплый, заплаканный голос Лины:

— Илья, Петя, обедать!

Но, когда Илья тихонько открывал дверь, чтобы ускользнуть, лежавшая навзничь старуха, по-прежнему не размыкая глаз, бросила вдруг в воздух:

— Конец света! Это конец света. Не осталось настоящих людей. Это конец света. С миром что-то случилось. Пора умирать. Умирай, давай умирай! Черт, забери меня, наконец!

Илья закрыл за собой дверь.

## Глава VII

# Историсофия за обедом

Как пламенно красноречив...

*А.С. Пушкин.* Евгений Онегин

**И**лья помедлил на пороге кухни, пытаясь угадать настроение Лины. Есть ему совсем не хотелось, хотелось того, чего хотелось, за чем он сюда ехал, желание вдруг проснулось и побежало по всем клеточкам тела. Губы стали сухими. Но, подчиняясь невольно Лининому настроению, вдруг почувствовал себя здесь чужим. Все здесь не свое, хотя такое знакомое: холодильник, в который он не мог сунуть нос, как совал дома, шкафчики кухонные, висевшие на стенах, откуда Лина доставала посуду, *не его*, тем более *не их* посуду, давно не стиранные, пыльные, в пятнах занавески на окнах. Лина тоже была здесь чужой, какой-то бесприютной — в этой не своей квартире, хотя именно здесь начался их роман, а потому все же, как она говорила, дорогой теперь для нее. Но и в своей комнатухе в коммуналке на Красной Пресне она выглядела такой же бесприютной. Женщине нужен свой *дом*. А он, Илья, не мог ей дать этого дома.

Петя и Лина уже сидели за столом. Петя в углу, между холодильником и стеной, как бы в некоем укрывище, убежище. Лина спиной к плите, высоко подняв голову. Илье оставалось место посередине — лицом к окну, спиной к двери. Они ели молча, вернее, ел Петя, а Лина сидела перед пустой тарелкой: ждала Илью. Лицо у нее было напудрено, чтобы скрыть красноту от слез. Она успела переодеться: тоненькие лямки сарафана узкой полоской пересекали ее полные смуглые плечи, длинные округлые руки лежали безвольно на столе, и вся она, в своем сарафане, подобранном в стиле «помпадур» под грудь, казалась такой обольстительной, такой желанной, как ни одна другая женщина. Желание у Ильи было только одно — отвести ее в комнату и там

раздеть. Почему он должен садиться за стол? Но Лина глядела строго («сейчас нельзя»), Петя — со смущенным и нечистым любопытством: он, конечно, знал об их отношениях, и, как всякого подростка, его это волновало. «Может, и рукоблудием занимается, когда рядом такое творится», — с жалостью и щемящим чувством сострадания, ведь подросток от этого, небось, мучается, подумал Илья и сел на свое место, стараясь придать выражению своего лица метафизическую серьезность.

— Очень она достала тебя? — это Лина.

— Скорее, тебя, — провел Илья ладонью по гладкой коже ее руки.

— Привыкла думать только о себе. Ей плохо — и уже конец света! — Лина сказала это сухо и зло. Лина была обижена, и все должны были видеть эту обиду и чувствовать.

Петя опустил глаза.

— Ну, не скажи, — возразил Илья, надеясь, что ему, как всегда, удастся переговорить, заговорить, забормотать ее настроение. — Через себя она думает о надличном, о высшем. Таково вообще свойство еврейского, вы уж меня простите, менталитета.

— Это свойство изгоев, одиночек, — возразила вдруг Лина.

— Быть может. Ты, однако, умница, хорошо сказала.

Лина, довольная, гордо покраснела.

— И все же евреи — изгой уже несколько тысячелетий. Так что эта метафизика вошла в их духовный архетип. Да и окружающие это понимают. Знаете анекдот? Приходит старый еврей из консерватории, нет, из обсерватории, нет, черт, слово забыл, из... ну, где звездное небо за деньги показывают...

— Из планетария, — подсказал из своего угла Петя.

— Именно. Приходит и говорит: «Дети мои, мне плохо, я умираю...» — «Папа, что с вами?» — «Ох, я умираю. Лектор сказал, лучше бы я этого не слышал, что вселенная погибнет через миллион лет. Ох, бедные мои внуки и правнуки! Ох!» — «Да не через миллион, папа, вы ошиблись, через миллиард» — «А? Что? Через миллиард? В это можно верить? В таком случае мне уже лучше». Вот это масштабы восприятия бытия!

Петя хихикнул, Лина криво улыбнулась, встала, подошла к плите.

— Ладно. Хватит. Конец света еще не наступил, и мы обедаем. Ты чего хочешь?

— Я-то?.. — Илья посмотрел на нее в упор. Снова запунцевев, она сказала:

— Суп будешь? Или сразу второе?

— Давай и того, и другого, но лучше по очереди, — улыбнулся Илья, не отрывая от нее глаз. «Интересно, когда Петя уйдет и вообще уйдет ли?» — подумал он, а вслух продолжал свои рассуждения, благо, что и в самом деле об этом думал, а Лина любила его слушать: своего рода сублимация.

— А конец света — не такая уж простая тема. Человечество ждет этого конца уже несколько тысячелетий. Правда, пока безуспешно, несмотря на постоянное к нему приближение.

Лина поставила перед ним тарелку, полную супа. Налила немного в свою, села. Он съел несколько ложек и продолжал:

— Чего стоило хотя бы великое переселение народов! Дикари, варвары с Востока, словно из неведомого котла выплеснувшиеся народы, вдруг хлынули по всей Евразии, ну и цель была — богатый цивилизованный Рим и романизированные его окраины. А Рим, как и положено протодемократическому государству, — во внутренних противоречиях, да еще усвоил в тот момент странную религию, придуманную маленьким народцем со склонностью к надличному Богу. И вот Рим варвары победили, а эта религия зато покорила их, одолела, и за десяток столетий сумела покрыть тонкой пленкой гуманности разлившееся и разбушевавшееся море варварства. Но не везде это удалось. Кое-где произошел откат к дохристианскому периоду. Наиболее явно в фашистской Германии и сталинской России. И хотя Роза Моисеевна и твердит о конце света, боится его, она и ее сподвижники по партии немало сил положили, чтоб эту пленку разодрать, во всяком случае в России. Тем самым снова всех поставив перед концом света.

— Ты говори, говори, — перебила его Лина, — но ешь при этом.

Илья снова послушно проглотил несколько ложек супа.

— Но вот что интересно, — он поднял вверх ложку, — исторический парадокс в том состоит, что народ, давший миру христианство, привнесший в мир идеи гуманизма, снова дал людей, по силе своей и страсти равных библейским пророкам и евангельским апостолам, которые оказались среди разрушителей христианства, хотя на свой лад эта идея личности в новом учении

сохранялась, заземлялась, обмирщалась, но кто это понял? Последователи не обмирщали, а умерщвляли христианство.

— Дядя Илья, каких пророков вы имеете в виду?

— Извини, дорогой, заговорился. Ну хотя бы Маркса, Троцкого и Ленина. Ленин, конечно, не чистый еврей, но о его еврейской четвертушке нельзя забывать. Вообще, в нем слились четыре крови — народов, что характерно, когда-то правивших Русью и славянами: немцев (тут тебе и варяги и династия Романовых), татар (двухсотлетнее иго), калмыков и евреев (верхушка и субстрат хазарского каганата). Наши славянофилы ведь уверяют, что хазары правили Русью до того, как она стала Русью. Вот эти люди и вызвали вторжение варваров, но не внешнее, не горизонтальное, а внутреннее, вертикальное, как определял испанец Ортега-и-Гассет...

Илья говорил как продуманное, так и услышанное, ухваченное от кого-то, не различая меж чужим и своим, лишь бы шло на пользу рассуждениям. Он хотел когда-то так беседовать с сыном, чтоб Антон воспринимал умные идеи не опосредованно, как чужие, — через учебники, преподавателей, книги, а как нечто живое, сегодня актуальное, от отца. Сообразив вдруг это, он с болью в левой стороне груди подумал: «Предаю сына. Все, что я говорю, он должен первый слышать». И снова вспомнил Саллюстия «О заговоре Катилины»: как Катилина, чтоб жениться на возлюбленной, убил сына, потому что та не хотела иметь в доме пасынка. «Избави Бог от древнеримских страстей», — испуганно сказал он себе, поднял глаза и с удивлением и тут же возникшем чувством усталости увидел, что Петя насторожился и насупил, а Лина, раздувая свои ноздри уздечкой, словно позируя перед кем-то, сказала:

— Ты, конечно, очень умный, мне с тобой не совладать, но все это похоже на старую песню, что жида погубили Россию. Хочу тебе напомнить, что я отчасти тоже принадлежу к этому племени, да и Петя, а твой друг Владлен — чистокровный еврей.

Она снова была в том своем частом состоянии вздорности, когда демонстрировала, какая она несчастная и одинокая: тут она могла напортить себе житейски бесконечно. Да к тому же что-то ведь должно быть у человека, за что он может бороться, что защищать. Когда идей нет — остается национальность. «Ну уж хотя бы не передо мной выпендривалась, — уныло подумал

Илья, опустив голову (его желания отодвигались на неопределенный срок). — Это как выказывать презрение партии через дурацкого Саласу». Опять надо было говорить, можно было подумать, что Лина нарочно вызывает его на рассуждения, ей нравилось, когда он вещал нечто, как нравились когда-то тургеневским героиням ламентации их избранников.

— Послушай, — строго сказал Илья, — не люблю ерунды, — такую менторскую манеру он давно выбрал себе для разговора с женщинами в трудных ситуациях. — Ведь ты же прекрасно знаешь, что я считаю русскую революцию прежде всего русской. И сейчас я говорил прежде всего о грандиозном историческом парадоксе, быть может, даже не историческом, а мистическом. Помнишь, Иван Карамазов говорил, что своим эвклидовым умом он не в состоянии понять неэвклидову логику и мудрость Священного писания?..

Илья вытер пьяный пот со лба, а Лина кивнула, хотя «Братьев Карамазовых» не читала, но, как всякая интеллигентная женщина, много об этом романе слышала и кино смотрела, так что получалось, что почти даже и читала.

— Он не в состоянии понять неэвклидову мудрость. Неэвклидову математику разработал Лобачевский, о чем Достоевский наверняка знал. Но, говорят, что Лобачевский был крещеный еврей. Скорее всего, это вранье, но очень характерное. Эвклидова геометрия касается наших земных дел, так сказать, быта, неэвклидова тянет в горние просторы, речь идет уже о высшем бытии. И считается почему-то, что это земное притяжение преодолел великий сын еврейской девы Марии, а потому только дети этого племени способны к такому прорыву. Если же я назову имя еще одного гениального еврея — Альберта Эйнштейна, тоже преодолевшего земную физику Ньютона, то перед нами налицо две точки, а то и три, если вспомнить Библию, позволяющие провести прямую линию, которая позволяет уловить некую закономерность.

— Например? — спросила, взглянув непонимающе, но как бы уже тянулась всем существом к говорившему.

— Я имею в виду, что это племя, не знаю, избранное Богом или Дьяволом, а может, инопланетянами, может, сами они инопланетяне, работает на трансцендентальных идеях, тащит за собой человечество из мирного уюта полуживотной жизни, а то и

прямо из людоедской, варварской — в разреженные выси духа, где человек становится человеком, свободным и самостоятельным. И они, представители этого племени, вовлекли, втянули все человечество в свои духовные распри. Никогда споры между кантианцами или гегельянцами не принимали такой остроты, как между христианами, марксистами, фрейдистами, троцкистами, ленинцами... Будто не об идеях спорили, а о самой сути жизни, да жизнью за эти идеи и платили. Назовите мне хоть одного кантианца, пожертвовавшего жизнью за свои убеждения! — Илья перевел дух, сообразил, что сказал и добавил. — За мои речи меня возненавидят и сионисты, и антисемиты, как, впрочем, и те, и другие могут надергать для себя подходящих соображений. Хорошо, что не слышат.

— Почему сионисты возненавидят? — удивился Петя.

— А почему антисемиты понятно?

Петя смутился.

— И те, и другие за изоляцию евреев, отторжение их от мирового процесса. А мне кажется, что, участвуя в духовных распрах этого племени, человечество тем самым проходит необходимую школу духовного возмужания. Это я как чисто русский человек вам говорю. Я думаю даже, что изгнание, рассеяние и диаспора, гонения, избиения, вынуждавшие евреев принимать обычаи той страны, куда они попадали, все эти несчастья еврейского племени служили высшим целям. Будучи среди других народов, они оказывались бродильным ферментом внутри них, тянули их к высшему существованию.

Лицо Лины посветлело, она смотрела на Илью замороженными глазами, очень смешно и, как казалось Илье, трогательно поспешно кивая на каждую его фразу. Заметив, что он остановился, она улыбнулась ему и с тихой, тоскливой любовью посмотрела на него.

— Ты почему не ешь? А, уже все. Прости, я заслушалась. Сейчас я вам второе обоим положу. Сама я что-то не хочу.

Она забрала глубокие тарелки, поставила их в мойку, сняла с сушилки мелкие, положила в них котлеты и жареную картошку.

— И это все мне? — сказал Илья. — Что-то слишком много.

— Ничего не много. Бери вон пример с Пети. Могу я хоть покормить как следует любимого человека?

Петя смущенно уставился в тарелку. Илья вопросительно посмотрел на Лину. Лина пожалала своими красивыми плечами: мол, насчет твоих других желаний ничего не могу сказать, мы не одни.

Илья принялся за еду, понизив тон рассуждений:

— При этом не случайно говорят, что евреи, как правило, добрые, мягкие, жалостливые. Евреи самыми хорошими мужьями считаются.

— Погоняют по миру четыре тысячи лет — поневоле станешь понимать беды и страдания других, когда сам все время страдаешь и боишься, — глубокомысленно вдруг изрек как давно продуманное Петя, покраснев. Ему явно не хотелось уходить от умных разговоров и завершать обед он не торопился, это с неожиданной неприязнью заметил Илья.

— Можно и так, — суховато ответил он. — То есть еврейская жалостливость возникает как средство самозащиты: я к тебе гуманен, будь и ты ко мне гуманен.

— А что же в этом плохого? — снова вскинулась Лина. — Разве лучше сразу по-русски — в морду?

— Точно. Русская женщина, когда ее муж застанет в постели с любовником, кричит: «Ваня, бей, только не по голове!» А еврейская: «Хаим, это ты? Тогда кто же это?» Гуманно!..

— Конечно, — раздула ноздри Лина. — Интересно, что говорит русский мужчина, когда он не приходит домой ночевать?

— А он всегда приходит, — ответил ей быстро Илья.

Он вдруг почувствовал, что выпитая в «стекляшке» водка, горячая еда, жаркая кухня, собственная многоречивость, Линины вопросы (как удары под дых) неожиданно подействовали на него: он обильно покрылся потом. Потливость не украшает мужчину, подумал он. Не глядя на Лину, чтоб не видеть обиды от его ответа, он вытащил из кармана платок и вытер лоб. В этот момент из комнаты большой послышалось:

— А-а! О-ох! А-а!

Илья привскочил.

— Сиди, — одернула его неласково Лина. — Это она нарочно, балуется. Чтоб внимание привлечь.

— А-а! О-о!

Но не выдержав второго взрыва криков, побежала сама.

— Что-нибудь случилось, Роза Моисеевна?



— Что? что? Ничего особенного! Просто я умираю, а никто не хочет со мной побыть. Вот что. А я умираю. Уми-ра-ю! Все меня бросили. Принесите мне жертву! жертву! Где все? Я одна, совсем одна! Почему вы все ушли? Где Илья? Он умный, я хочу с ним поговорить. Он русский, но он умный.

— Илья Васильевич обедает, — донесся в ответ ледяной голос Лины. — Могу и вам принести, если хотите.

Молчание, потом старушечий голос.

— Не надо. Ничего мне не надо. Мне нужно общение, а не суп. Но суп есть необходимо. Разве уже время обеда? Тогда принеси.

Раздался хлопок двери.

— Ну что ты скажешь! Слышал? Вот и тебе досталось.

— Ничего, — Илья положил ладонь на Линину руку, успокаивая ее, чтоб она не сердилась ни на него, ни на старуху. Лина сжала в ответ его ладонь, будто и не сердилась:

— Я сейчас, а потом чаю попьем, и ты нам еще чего-нибудь расскажешь.

Она наполнила тарелку и пошла с кухни, а Илья досадливо подумал: «Так все время в разговорах пройдет. Можно подумать, что я сюда чай пить приехал!»

Лина вернулась, поставила на огонь чайник, села на свое место, гибко передернула плечами, подперлась рукой:

— Ну?

— Что «ну»? Я только одно хотел сказать, развивая предыдущую мысль. Что у старухи, несмотря на ее интернациональную закуску, здоровая по-своему основа. Она и вправду привыкла считать, что евреи всех умнее, привыкла быть первой, хотя в реальности всегда, после выполнения самой трудной работы, ее и ее соплеменников отесняли на последние места. Сколько сегодня кричат, что Октябрьская революция была еврейской. Все посты, де, в Совнаркоме поделили. Что ж, поначалу мозговой центр они собой, пожалуй, представляли. Ну а потом? Посмотри в газетах на рожи тех, кто *сегодня* у власти: начиная с грузина Сталина и хряка Хрущева — простецкие толстые ряшки: курские, тамбовские, днепропетровские, тофаларские, ярославские — словом великороссы. Еврейских физиономий вы не увидите. Евреи от управления страной отстранены. Они стали не нужны. Революция была настолько русская, что подняла самые

темные массы, которые закономерно привнесли в политику и антисемитизм. Поступить в институт, аспирантуру, устроиться на работу — еврею много сложнее. Это Пете предстоит еще узнать, разве что бабкина фамилия спасет. А вообще-то евреев каждая культура использует на свой лад, их энергию, предприимчивость, целеустремленность, умение и желание раствориться в чужой культуре, принять ее идеалы как свои и тем послужить приютившей их стране. Если же при этом данная страна сумеет усвоить то, что умеют евреи, как возрожденческая Италия усвоила банковскую систему, начатки капитализма, которые сохранились в еврейском менталитете, трудоспособность, — это духовно и материально ее обогащает. А можно использовать, не усвоив, и выбросить. Говорят, что среди большевиков были большинство евреи. Возражение простое: среди тех, кто хотел идти западным путем — меньшевиков, эсеров (этих общепризнанных народолюбцев), даже кадетов, — евреев было не меньше, если не больше, чем среди большевиков. Но революция была, повторяю, русская, и победила та партия, которая в большей степени выражала антизападнические великодержавные идеалы. Наша революция была антипетровская по своему пафосу, ибо она желала быть наперекор Западу мессианской, диктовать свои законы свету, создать третий Рим, — произнося эту длинную речь. Илья внезапно с ужасом почувствовал, а потом и услышал, как в животе у него забурлило, и этот звук раздался на всю кухню.

Илья поперхнулся, промычал извиняющимся тоном:

— Прошу прощенья...

Лина болезненно вздрогнула. Бурчанье это было совсем не к лицу оратору, тем более герою-любовнику, каким хотел выглядеть Тимашев и каким он казался Лине. И мысли сразу побежали маленькие, пошленькие: «Только расстройство желудочного мне еще сейчас не хватало!.. Хорош я буду с Линой! Вместо того, чтобы лежать с женщиной, сидеть в сортире. У-у, вот накладка так накладка! Так еще и домой придется бежать». Илья почему-то органически не мог справлять свои естественные потребности в чужих домах и чужих клозетах: все ему было неловко. Пожалуй, единственное, что дома еще было ему хорошо — это привычка без стеснения пользоваться своим клозетом. Да и это в последнее время получалось лучше, когда он оставался один.

В животе снова булькнуло и Илья решил «заговорить», заболтать свой желудок, отвлечь его от низменного:

— И вот в западном обличье марксизма пришло и победило в России в сущности старое славянофильское учение. Марксизм был вроде бы против буржуазии, против капитализма, но именно в буржуазной форме проникал в этот момент в Россию Запад. Так что, выступая против буржуазности, марксисты-ленинцы не случайно выступали и против индивидуализма, против личностного начала, которое является корнем европейской культуры, да и любой развивающейся, не застойной структуры. У Маркса — свободное развитие каждого, у Ленина — железная поступь рабочих батальонов. Но если вдуматься, то против личностного начала была вся русская культура, и прежде всего дух ее — Толстой и Достоевский. Правда, с ними сложнее, они сами были культурные полукровки, Западом воспитанные, и так до конца от него отделаться не смогли. Да и сами были великими личностями. Впрочем, полукровки — это сила, — он подмигнул Пете. — И пока Россия была двукультурна, она была величественна, потому что, как говорил гениальный Бахтин, культура — явление пограничное, она рождается на границе, на пересечении противоположных элементов...

— А вы верите в Россию? — осмелел начитанный Петя.

— Роковой вопрос! — снисходительно, но и с удовольствием, что к нему обращаются как к оракулу, да и живот вроде перестал бурчать, усмехнулся Илья. — Неужели в Россию можно только верить? А знать? а понимать? сейчас это Советская Россия, соединение гремучее, опасное как для своих обитателей, так и для окружающих. Соединение это уже взрывалось. Вспомните двадцатые, тридцатые, сороковые, все эти репрессии, миллионные, заметьте, репрессии, завоевательную политику. Так что сейчас, подчеркиваю, сейчас, пока, оно самое спокойное. Слишком большая энергия из этого соединения уже вышла. Но это ничего не значит, энергия снова копится, и еще мы можем рвануть мироздание к чертовой матери. Опасная страна, еще более опасная и непредсказуемая, чем Германия. Которая при этом тоже великая страна.

Лина поднялась, сняла с огня закипевший чайник, сполоснула кипятком заварочный, засыпала туда чай, налила кипятком и оставила на плите — настаиваться. Затем собрала грязные та-

релки и принялась мыть посуду. С приходом Ильи она становилась очень хозяйственной. Заполнив вымытой посудой сушилку, Лина поставила на стол чашки, выбрав понаряднее, поизящнее. Заглянула в заварочный чайник, настоялся ли чай, повернулась к столу.

— Тебе покрепче? — обратилась она к Илье.

Тот важно кивнул. Он считал, что выглядит значительнее, когда пьет крепкий чай, к тому же (Илья где-то читал) крепкий чай «возбуждает умственную деятельность»: русская интеллигенция — Достоевский, разночинцы — всегда пила такой чай. Да и застольный сервис, которого дома давно уже не было (если и был когда, мелькнуло с тоской в голове), обязывал быть требовательным. Разлив чай, Лина села, ласково проведя вдруг рукой по его волосам:

— Ты продолжай, говори.

Сердце Ильи при этом, несмотря на вожделение, не покидавшее его, занеслось к горлу от тщеславия и удовольствия, что его так слушают. И он сказал:

— В России была, строго говоря, одна революция — это реформы Александра Второго, который думал дать России свободы на европейский манер. А Октябрь — это контрреакция на эти реформы, по сути дела, контрреволюция, направленная против петровской идеи европеизации России-матушки. Об этом и Томас Манн писал. Я его как раз по дороге сюда пролистывал. Могу прочесть.

Илья выскочил в коридор за сумкой оставленной при входе.

— Вот ведь книжная душа! — услышал вдогон восклицание Лины. В первый момент он даже вздрогнул, так похоже прозвучала ее реплика на обычную присказку Элки, но те же слова, что в устах жены звучали насмешкою над его «нежизненностью», сейчас были полны ласки и отчасти благоговения. «Успокойся, она тебе не жена, потому и ласкова. Она тебя ловит. Ей больше как лаской нечем тебя удержать», — цинично сказал он сам себе, но все равно интонация Лины была ему приятна. Примостив портфель на подставке для обуви, Илья принялся его расстегивать, прислушиваясь. В комнате Розы Моисеевны была тишина. Очевидно, поев, она заснула.

Роясь в сумке, Илья почему-то не спешил вернуться. Он думал, как это получилось, что Элку стала раздражать его книж-

ность (ведь в библиотеке когда-то познакомились, она готовилась, чтоб сдать «хвост» по античности, потом и стишки шуточные писала: «но вот увидел он в библиотеке пери...»), называла она его пристрастие к книгам бегством от жизни, конформизмом, а если еще прямее, то слабодушием и трусостью. Ей больше импонировали борцы за демократические права, диссиденты, хотя ни с одним она не была знакома и в общем-то была рада, что находится за спиной у прилично зарабатывающего мужа, но если вспоминать о заговоре Катилины («что он мне сегодня так дался, этот заговор? диссиденты наши, правда, тоже требуют утраченных свобод»), то Элке очень бы подошла роль какой-нибудь Семпронии, бывшей одной из первых среди заговорщиков, которая знала прилично литературу, пела и играла на музыкальных инструментах, блистала в компаниях; но и Элка умом отличалась тонким, умела сочинять стихи, шутить, говорить то скромно, то нежно, то лукаво, словом, как казалось Илье по-прежнему, в ней было много остроумия и много привлекательности. Не было только того, что нужно для дома: заботы о муже и о детях, то есть о единственном их сыне Антоне. Ей надо было блистать, а Ильи подходящих условий кроме как приглашения на домашние пьянки и посиделки друзей и коллег из редакции создать для ее блистанья не мог. Умела она быстро сходиться с людьми, говорить с ними вечерами, чего Ильи тоже не умел и ставил это умение ей в заслугу, а свое неумение — себе в вину. «Но что есть жизненность? Или — что есть жизнь? Умение общаться с людьми? проводить время в дружеских посиделках и попойках? за песнями, беседами, спорами — бесконечными и бессмысленными, — поскольку никакого деяния или даже самостоятельного рассуждения за ними не стоит? Или это вековая библиотечная культура и мудрость, которые тоже ведь составляют момент жизни, ибо сотворены духом жизни, только высшим ее началом. О чьей жизни помнят больше? деятеля? мыслителя? или просто живущего человека? Хотя о каком деянии можно говорить в нашем обществе? Вот все и смеются, когда говоришь о грехе безделья...»

— Илья! — крикнула Лина. — Ты что застрял? Трактат пишешь?

— Нет, нет, иду. У меня бумаги рассыпались, я их подбирал, — от неловкости задержки соврал он.

Было уже около четырех: садясь за стол, Илья украдкой глянул на стенные часы над холодильником, но так, чтоб Лина не заметила и не обиделась. До дома ему отсюда около часа езды, так что еще часа четыре-пять верных в его распоряжении есть: работа до шести, часа два или три можно на «стекляшку» свалить, да еще час от работы ехать. Поразительно было то (чего он в юности стыдился, чему ужасался в себе, но потом заметив подобное же у других, стал и себе прощать), что, когда он говорил о высоком, он действительно верил в свои слова, высказывая продуманное и прочувствованное, но это не мешало ему одновременно, если можно так выразиться, мыслить физиологически, как бы прямо плотью, более того, свой духовный ум использовать на потребу плоти. Особенно спяну это легко уживалось, но ведь если можно совместить водку с высокими разговорами, где теряются причины и следствия, отчего бы не совместить с высокой материей и юбку. Он фыркнул и помотал головой, вчуже ужасаясь этому нашествию нечистых мыслишек.

— Ну, слушайте. Это из статьи о Гёте и Толстом, — он зажал пальцем страницу в толстом темно-кирпичном томе, чтоб не отлигнулась, и голосом выделил цитату: «Западно-марксистский чекан, озаривший ясным светом великий переворот в стране Толстого (подобно всякому свету, озаряющему покров вещей), не мешает нам усмотреть в большевистском перевороте конец Петровской эпохи — западно-либеральствующей *европейской* эпохи в истории России, которая с этой революцией снова поворачивается лицом к Востоку. Отнюдь не европейски-прогрессистская идея уничтожила царя Николая. В нем уничтожили Петра Великого, и его падение расчистило перед русским народом путь не на Запад, а возвратный путь в Азию». Ну и так далее. Там он пишет о конце буржуазно-гуманистической эпохи во всем мире. Вот написано черт-те когда, у нас уже двадцать лет как опубликовано, еще в шестидесятом, а все прочитать не умеем, просто не видим этих слов, потому что сами к этому пониманию не подошли. Но если Манн прав и конец гуманистической эпохи уже наступил, то мы и в самом деле живем в начале неизвестной эры, хотя и объявляем себя наследниками предыдущей, пользуемся вроде бы выработанными в прошлом столетии понятиями, но сами-то пытаемся вырваться из исторического процесса, убежать от него, противопоставить себя всему прошлому.

«Клячу истории загоним!» — Маяковский общее умонастроение выразил. Поразительно, что все, что я говорю и что кажется инакомыслием, говорит и наша пропаганда. Только она не замечает, что пытается совместить несовместимое. Ведь официально мы заявляем, что с Октября наступила новая эра, поясняя при этом, что она отрицает в прошлом дурное, развивая лучшие гуманистические традиции. Но это прямая ложь. И доказательство тому принятое у нас сочетание несочетаемых по своему внутреннему смыслу понятий, где одно слово сводит на нет другое. Например: гуманизм — хорошее слово, но вот к нему пристегнуто определение «воинствующий» или «социалистический», и нам ясно, что гуманизма как такового не существует: нашему словосочетанию могут противостоять только такие же мерзкие — буржуазный гуманизм, абстрактный гуманизм, а то еще и гнилой гуманизм. Хотя нет — «гнилой» у нас либерализм! Вместо пацифизма, за который выступали лучшие и благороднейшие умы, у нас появился опять-таки буржуазный пацифизм, и существительное сразу стало ругательным. Могу назвать с десятков таких словосочетаний, которые стали штампами, в них не вдумываются, а в них заключен секрет идеологического мифотворчества. Вот послушайте, вслушайтесь: «демократический централизм»... тот же «воинствующий гуманизм»... «диалектический материализм»... «социалистический реализм»... «партийное просвещение»... «коммунистическая нравственность»... «научная идеология»... Замечу для неграмотных, что, по Марксу, идеология и наука понятия прямо противоположные, и все наши философы попусту бьются, доказывая их единство... Но дальше: «социалистическое правосознание»... «непримиримая борьба за мир»... «партийная совесть»... «отмирание государства по мере его укрепления»... «коллективистский тип личности»... «марксистско-ленинское мировоззрение»... наконец, «Советская Россия», с которой началось это рассуждение. Но самое страшное, что все эти взаимоисключающие сочетания абсолютно точно описывают реальность. В формах реализма — пропаганда социалистической доктрины, вот вам и социалистический реализм; под видом гуманизма — проповедь насилия, вот и воинствующий гуманизм; и вместо совести — веление партии, вот тебе и коммунистическая нравственность и партийная совесть... И так далее, — Илья разгорячился и снова вытер лоб. — И это не просто путь на Восток,

отказ от западного образа жизни, однозначный возврат в допетровскую эпоху. Хотя все это есть. Но мы на самом деле живем в качественно новую эпоху. Какую позицию сегодня избрать? Не знаю. Манну было хорошо: он объявил себя певцом закатной эпохи гуманизма и заковался весь в броню из интеллекта и библиотечной премудрости. А сейчас и броня интеллектуализма вполне пробиваема, да и куда западным интеллектуалам до наших проблем...

— До ваших алкогольных проблем? — перебила его словесный напор Лина, мягко улыбаясь.

— Ах ты, язва! Ну смейся, смейся, а наверно на взгляд европейцев мы похожи, ну, если бы европейцы были римлянами, тогда мы напоминали бы романизированных галлов или германцев. Романизация затронула только узкий слой окраинных народов, так и нас цивилизация. Не об этом ли весь Чаадаев?.. — Илья повернулся к Лине. — Я тебе отвечу. Это не просто алкогольные проблемы, это стиль жизни и мышления. У нас похваляются, что приедем западникам и штатникам очень нравится наш образ жизни, манера нашего общения, потому, де, что у нас интеллектуальные разговоры о Боге и об истории сопровождаются большой водкой и песнями под гитару до утра, а у них, к сожалению, это невозможно: это разные слои — те люди, которые пьют, не ведут интеллектуальных разговоров, а наоборот. И там с каким-нибудь профессором, который считается серьезным ученым и мыслителем, не нарежешься до блевотины, а у нас запросто. Но это не потому, что на Западе профессура чванная, и не потому, как говорят, что мы себя не уважаем, еще как уважаем и гордимся этим своим пьянством, а потому что нашим нынешним интеллектуалам сказать нечего, если попробовать, к примеру, нашу пьяную невнятицу перевести в осмысленную *письменную* речь, в Слово. Не могу себе представить Чаадаева, Флоренского, Кавелина, Вернадского, пьяно икающими за столом. Потому и общаемся мы в основном с приезжей шпаной, наполовину недоучившимися студюзусами. И дело в том, что все наши рассуждения о высоком не результат продуманности, а скорее нахватанности, где-то слышали, что-то прочитали, но не сами придумали, сами в лучшем случае чего-то почувствовали. Я, признаться, нынешнюю русскую интеллигенцию не то что терпеть не могу, я ее ненавижу. И себя,



разумеется, в том числе. Только болтать умеем. А еще плетем, что на Западе все ожирели, бездуховны, выпить как следует не умеют, а мы и пьем, и о Боге, и о черте, и о власти... поболтать готовы. А ведь все идейки о Боге и черте, истории и государстве тоже, по совести говоря, с Запада понаперли. Кто у нас считается умным? Кто сумел какого-нибудь западного мыслителя пересказать. Так что все наши философы, из умнейших, я имею в виду, всего лишь не очень прилежные читатели Хайдеггера, Ясперса, Сартра, Леви-Стросса, Фрейда, Юнга, Фромма, Левинаса, Фуко, желательнее, чтобы тексты их не были переведены на русский, чтобы информационный полупересказ заменил размышления. Причем вся подлость еще и в том, что этот пересказ подается под видом критики. Ведь вся наша философия давно бы заглохла без западных инъекций и идей. Но там, де, зато бездуховность, каждый сидит в своем доме, мой дом — моя крепость, не общается, как мы, с кем попало, не пьянствует, с ним не посидишь всю ночь напролет, беседуя *о матерьях важных*, будет ссылаться на какую-то там завтрашнюю работу — по нашим понятиям, скучные люди. Но я так думаю, что если бы к Хайдеггеру или Ясперсу каждый вечер закатывались пьяные компании с болтовней, водкой и песнями до утра, то московским интеллектуальным алкоголикам их уже цитировать бы не пришлось. Потому что жить так, как мы живем, значит никогда ничего не создать.

Илья говорил, зная, что и про себя говорит, но одновременно он как бы своими словами давал понять, что он-то преодолел или во всяком случае преодолевает такой образ жизни, что он — реальный творец, человек, который нечто создает. Но представив вдруг свой дом, быт, свою жизнь в своем доме, где, он не имел ни времени, ни воли это время взять, бесчисленных гостей, тут же услышал со стороны свою болтовню... И помрачнел.

— Не расстраивайся, ты не такой, ты настоящий, — шепнула чуткая к его настроениям Лина.

— Вам бы на форум, на трибуну надо — излагать свои идеи, — восхищенно сказал Петя.

— Где он, этот форум?! Только на вашей кухне, — пробормотал польщенный оратор.

— Дядя Илья, — не унимался, продолжал Петя, — так получается, что даже наша духовная элита — это дикари, варвары?

— В каком-то смысле получается. Но духовность, конечно, не атрибут профессии. А дипломированные профессионалы наши, как правило, ужасны. Одного нашего академика-философа послали недавно на симпозиум в Японию. Ну, натурально, в гостинице бассейн. Он плавки одел, в бассейн свои телеса спустил, пописал прежде, чем плавать, а вода возьми и окрасься в розовый цвет. Пришлось большую неустойку платить. — Илья ухмыльнулся.

Петя хихикнул, а Лина сказала:

— Фи, Илья, ты не лучше академика. За столом!..

— Прости, дорогая, — Илья поцеловал ее в локоть.

А Петя все не отставал:

— Но духовность ведь в ком-то хранится, — он, конечно, имел в виду себя, как понял Илья.

— Хранится. Вот случай был. Приезжает как-то высокая делегация передовой совхоз проверять. То да се, словом, все в порядке. Подходят к «Доске почета». И вдруг, в уголке, фотография Владимира Ильича, борода, лысина, прищур. И подпись: «И.С. Рабинович, бухгалтер». Комиссия в ярости, бежит в партком, в дирекцию; парторга и директора за горло: «Вы за это издевательство ответите!» — «За что? Какое?» — «Вы в углу чью фотографию повесили?» — «Как чью? Рабиновича, бухгалтера» — «Вызовите его». Зовут бухгалтера. Входит. Он, точно он: борода, лысина, прищур, жилетка из-под пиджака и картавит также: «Вы меня вызывали? Здгаствуйте». Тогда один из комиссии нашелся: «Вы бы, говорит, товарищ Рабинович, хотя бы бородаку сбрили». Увещевает его. А тот в позу встал, левую руку за спину, большой палец правой за жилетку зацепил и лепит: «Богодку-то я сбить могу. Но куда я идеи дену?!»

И Лина, и Петя дружно засмеялись. Илья сидел, довольный собой. Погрустнев неожиданно, Лина спросила:

— Еще чаю? Ты голодный не остался?

Илья помотал головой.

— Говорят, путь к сердцу мужчины лежит через его желудок, — она комически вздернула вверх полоски черных бровей. — Но кто бы из женщин знал, как на самом деле все происходит! Где он, этот путь!.. — она снова засмеялась, но на этот раз низким, грудным смехом, даже с некоторым рокотаньем, и сказала, совершенно не стесняясь Пети. — Просто одним жен-

щинам повезло, а другим нет. Одних и не любят, а с ними живут, а к любимым только иногда переспать заезжают..

Она подняла свои круглые красивые нерусские руки и прижала кончики пальцев к вискам. Илья увидел, что глаза ее блестят, хрящеватые ноздри раздуваются, но взгляд ее обращен не вовне, а словно бы внутрь. «Замучилась, — с испугом подумал Илья, — действительно, замучилась-измучилась. И все из-за меня. Так и свихнуться недолго». Он почувствовал даже раскаяние, но вместе с тем с удивлением отметил, что желание несколько не уменьшилось. Сейчас бы обнять ее, но Петя смотрел на него во все глаза, как на гуру, и Илья снова начал было говорить:

— Дух живет там, где хочет, — он постарался сделать вид, что пропустил слова Лины мимо ушей сознательно, потому что нельзя же *такое* при подростке, и вернулся к проблемам любомудрия. — Но бывают условия благоприятные для его выявления, исторические условия, а бывают — чудовищные, когда дух в ком-то живет, но проявить себя вовне не может..

Лина вдруг, помертвев лицом, поднялась, извинилась и вышла из кухни, прошла в свою комнату и закрыла за собой дверь. Оратор осекся, вскочил:

— Извини, — и бросился следом, тоже прикрыв за собой дверь.

Лина стояла лицом к окну, вздрагивала, будто плакала. Илья повернул ее к себе, но глаза были сухи:

— Ты что?

— Ничего. Извини. Ты зачем вышел. Я сейчас приду. Я почему? Просто ты меня совсем не любишь. Тебе с Петей интереснее рассуждать, чем слушать мои печали. Ты прав, милый. В самом деле, ты прав. Не обращай внимания. Это бабское. Это пройдет.

Илья прижал ее к себе, напрягся и потянул к дивану.

— Нет, милый, не надо. Петя на кухне. Дверь не заперта.

— Ну, Линочка, солнышко, радость моя...

— Нет, нет. Петя вечером куда-то уходит. Я забыла. Тогда... А пока иди назад. Ну чего ты будешь мучаться! Позвони, кстати, Кузьмину, посиди у него час. Пережди. Ну, иди.

Она развернула его лицом к двери.

— Иди. Я сейчас тоже выйду.

Петя продолжал сидеть за столом. Илья подошел к холодильнику, на котором стоял телефон, снял трубку, крутанул диск:

— Извини, Петя, мне только один звонок.

— Мне выйти?

— Что ты! Сиди! Я быстро. Алло! Борис? Привет. Как ваши дела? Это Тимашев. Я тоже рад. Я тут неподалеку. Не возражаете, если я к вам загляну ненадолго? О'кей. Ну, минут через двадцать.

Он повернулся. Лина уже стояла у него за спиной. Губы ее вздрагивали. Очевидно, она ругала себя за поспешное предложение, а Илью, что так быстро согласился с ним. Напряженно улыбаясь, она, пытаясь если не удержать, то хотя бы задержать, приглашающим жестом указала ему сесть за стол.

— Ты высказался, а мы с Петей, господин профессор, даже вопросов по прослушанной лекции не успели вам задать.

— Ну, конечно, я слушаю, — ответил Илья, не умевший никому отказывать, понимая, что Лина страдает, да и предполагавший, что сразу ему не выйти, потому двадцать минут и накинул.

— Не воображайте, уважаемый профессор, что вы один думаете о судьбах человечества. Мы тоже не дураки, не пальцем деланы, — она прикусила губу, глянув на Петю, но тут же справилась, потому что Петя уже «взрослый», — что ж, повторяю, не пальцем деланы, — на сей раз она рассмеялась. — Так вот, господин профессор, мы, конечно, понимаем, что судьба человека зависит от судьбы человечества, но ведь есть у каждого и какая-то своя персональная судьба. Например, почему старость нависает над человеком как проклятие, и не только своя, но и чужая? Я понимаю, понимаю, организм стареет, но ведь помимо простого биологического процесса возникает что-то неотвратимо роковое в поступках и даже в словах у всех стариков...

Илья почувствовал, как у него на физиономии устанавливается ласково-снисходительное выражение. Лина это выражение заметила, криво усмехнувшись, спросила:

— Дура, да?

Но тем не менее закончила — не совсем впопад:

— Хорошо, что моя мама умерла, когда ей еще шестидесяти не было... Я тогда плакала, а теперь думаю, что хорошо. Пусть это жестоко, но это так.

Илья открыл было рот, но, переведя взгляд на Петю, увидел, как тот по школьной привычке поднял руку, чтоб обратить на себя внимание.

— Я позволю себе выслушать и второй вопрос, прежде чем ответить на первый, если прекрасная половина аудитории не возражает.

Илья галантно-шутовски поклонился Лине, показывая, что принимает игру в профессора, что все это не очень серьезно, но все же достаточно серьезно, чтобы выслушать и ответить не по-нарошке. Он думал, что Петя поддержит вопрос о судьбе и роке, но подросток спрашивал о другом, не очень-то обратив внимание на вопрос кузины:

— Дядя Илья, я только одно хочу понять, безо всякого там профессорства, как же жить здесь, в нашем обществе, да и вообще в этом мире, если позиция гуманистического индивидуализма, как вы только что сказали, да и Томас Манн тоже об этом писал, бесперспективна. То есть, раз она отжила свое, стала в этом мире бессмысленной, то все мы, воспитанные на ценностях этого гуманистического индивидуализма, получается, что обречены на гибель. А перестраиваться ведь было бы низко, да и невозможно уже, — здесь в интонации подростка Илье слышался давний испуг не сегодняшней беседой рожденный. — А ведь честная позиция одновременно с исповеданием идеалов бабушки, ну, папиной мамы, — он покраснел, потому что сказал не «по-взрослому», — для нас уже невозможна. Она возможна только для циников и приспособленцев. А как же избежать при этом грозящей индивиду гибели? — он снова смутился. — Особо еврея.

— Успокойся, — перебил его Илья, — по сионистским законам ты не еврей, ты русский, у тебя мать русская, что и в самом деле важнее.

— Ну уж нет, ко мне все угрозы антисемитские относятся, для антисемита полукровка — тоже еврей. И как еврей находится в положении изгоя, одиночки.

— Петенька, на полукровках же, как я сегодня говорил, держится мир, держится развитие культуры, — поторопился Илья.

— Вы напрасно шутите. Я отдаю отчет, о чем говорю. Я это переживал, со мной это было.

В голосе подростка звучал испуг, скрываемый словами об антисемитизме, о порядочности, об изгойстве... Илья это видел так отчетливо, что ему стало не по себе от страха мальчика: совершался жизненный выбор, надо было сказать что-нибудь до-

стойное, но нужных слов он сразу найти не мог. С Линой дело было вроде бы понятнее: бабка заела. Но и тут от него ожидалось какое-то решительное слово. Он был в растерянности от собственной неготовности. Оставалось обойти слушавших округлыми речами. И все же при этом ему стало лестно, что от него так много ждут, хотя жизненный опыт ему подсказывал: подросток всегда ищет правду о жизни на стороне, а не на прямой линии — у родителей, ну а женщина все равно впитает в себя лишь то, что захочет. Элка с подружками часто обращалась к Илье за справками, он был для жены вроде говорящей энциклопедии, пусть рассказывает, раз уж такой книжник. Здесь же от него ждали *совета*. И он хотел ответить, потому что любил не только Лину, но и всю эту семью: и Розу Моисеевну, и Владлена, и его тихую, приветливую жену Ирину, и Петю, — семью, которая сама не осознавала свою необычайность и вместе с тем историческую представительность, явленность. Он хотел ответить, но не знал, как и что.

— Видите ли, друзья мои, — начал он важно, стараясь шутливостью скрыть свою неуверенность, — давайте по порядку. Начнем с дамы и ее вопроса. Давно уже сказано, что человек отвечает за себя, свою жизнь, свою историю и так далее. Но почему-то никому не приходит в голову, особенно в молодости, что ему и вправду когда-нибудь придется отвечать за все, что он сделал. Сказано было про эту ответственность вполне ответственно. И чаще всего она приходит в виде старости. Старость — это Рок, который настигает человека всегда, но особого рода Рок. В ней выявляется в чистом, или, как сказали бы естественники, практически чистом виде вся предшествовавшая жизнь человека. К чему он стремился и чего он достиг. Думаю, не случайна скорбь людей, когда умер Толстой, и не случайна смертельная давка на похоронах Сталина, своего рода загробные гекатомбы. Но я говорю не о материальной, не о фактической стороне жизни, а о метафизической. Рок проявляется в легкой или тяжелой смерти, в том, как к тебе относятся и близкие, и дальние (что, конечно, не показатель, вернее, обманчивый показатель, могут ухаживать за злодеем и забросить праведника), главное в том, как ты сам переносишь свою старость и свои болезни, умеешь ли их перенести. Уважаемые друзья мои, старость — это, можно сказать, смертельный и жестокий

зверь, который следит жадными глазами за еще движущейся жизнью, — Илья чувствовал, как из набора слов начал складываться какой-то страшный узор как в калейдоскопе. — Мы забыли слова Рок, Судьба, Предназначение, Предопределение, и все окружающие нас события сводим к склокам, скажем Вадимова с Чухловым. А ведь на самом деле непонятно, какими путями движется Рок. Быть может, через начальника Тыковкина, подтравливающего своего подчиненного Галахова... Но большинство так и живет в убеждении, что есть суета отдельных людей, но Провидения нет. А Законы Истории частных лиц не касаются. Поэтому только тот, кто пытался связать свою жизнь с Историей или с Богом, жил надличностной жизнью, только для такого существует старость как Рок. Такова она, я думаю, для Розы Моисеевны. Тут уж, солнышко мое Лина, ничего не поделаешь. Но можно попробовать еще точнее сказать: редко, кто воспринимает старость как Рок, но от этого она — в метафизическом смысле — не перестает быть таковой. Я сейчас шел мимо вашего дома; у подъезда на лавочках сидят старухи, судачат, обсуждают прохожих, соседей. Вы к ним привыкли, а я все же немножко со стороны смотрю. Во всей нашей литературе никому из писателей не пришло ни разу в ум — до чего бытописание довело! — изобразить их не только как сплетниц, отравляющих молодежи жизнь, а — как мойр, древнегреческих богинь судьбы, у которых у руках не пряжа, а нити человеческих жизней. Ведь древние греки не из головы этот образ, этих богинь выдумали. Наверно, и там сидели на приступочках старухи, пряли, вязали, а греки придумали *мойр*. Римляне таких старух называли *парками*, тоже богини судьбы. В Античности люди были смелее и глубже нас, раз за древней старухой сумели увидеть богиню судьбы, за внешним суть. Вот Роза Моисеевна, она же определяет вашу жизнь, хотите вы того или не хотите, и не только тем, что приковывает вас к дому, а всей своей судьбой, которая накладывается на вашу, ибо мы отвечаем за дела наших предков по крайней мере до четвертого колена.

Илья перевел дыхание, пора было кончать речь, идти к Кузьмину, и пусть Петя займется своими делами, а то время-то бежит, а он, как в народном присловье, «все разговоры разговаривает, а не дело делает». Но на уход к Кузьмину надо было перейти мягче, не обрывая резко:

— А ведь хорошо было бы изобразить старух у подъезда, даже и в нашем псевдореалистическом театре как хор в древнегреческой трагедии, сопровождающий жизнь героя. Ну что-нибудь вроде как в «Царе Эдипе», хотя там, правда, хор стариков, а не старух, ну да это для нас все равно. Надо бы Кузьмину эту идею подбросить, местному нашему писателю. Может, использует? Кстати, я и зайти обещался. Уже пора, — он посмотрел на часы.

Но Лина почти как всякая женщина малую выгоду видеть возлюбленного в данный момент предпочитала выгоде большей и, понимая, что лучше бы Илье выйти, все оттягивала это время.

— Давай по сигаретке, и пойдешь. А пока курим, ты еще Пете на его вопрос ответишь, ладно?

Лина принесла пачку «Явы», спички, поставила на кухонный стол большую деревянную, аргентинскую, как знал Илья, пепельницу, выдолбленную из единого куска какого-то твердого красноватого дерева, села, достала сигарету. Илья тоже вытянул из пачки белую, набитую табаком бумажную палочку, «палочку здоровья», как острил обычно Антон, зажег спичку, они закурили.

— Что-то она затихла, — сказала Лина, затянувшись.

— Я думаю, спит, — ответил Илья, выдохнув дым.

— А я каждый раз нервничаю, — упрямо сказала Лина, стряхивая пепел и не двигаясь, однако, с места. — Ведь не дай Бог что случится, все на меня ляжет. Владлена с Ириной нет, а ты же мне не в помощь. — Илья перенес укор, шпильку любовницы, которая не жена, и, как всегда говорил любовник, никогда женой не станет, потому что, как ни любит он Лину, с Элкой его связь глубже.

Избегая остроты ситуации, Илья пробормотал:

— Ты не волнуйся. Я сейчас схожу посмотрю, — он принялся вставать.

— Да не надо. Сиди. Если что, я сама...

— Линочка, дорогая моя, девочка моя, ну не надо так, не мучь себя, — не обращая внимания на Петю, внезапно сказал Илья, и сам поразился неподдельной нежности, прозвучавшей в его словах, нежности, как-то даже и не связанной напрямую с *желанием*. Что-то было неправильное, непорядочное, даже подлое в этой нежной интонации. Так он чувствовал. С такой интонацией он должен был обращаться к жене и сыну, и ни к кому



больше. Быть может, если б Элка слушала другие его слова, его *умствования*, — он бы мог и нежные слова по-прежнему ей говорить. А может быть, уже и нет. Во всяком случае, она привыкла к его речам-рассуждениям и пропускала их мимо сознания. Хотя по-своему уважала его, хотела им гордиться. Элке нравилось, когда его не печатали: «Значит, ты написал что-то настоящее». То есть можно и не стыдно сказать друзьям, что не стоит считать Илью чистым приспособленцем, хоть он и работает в *таком* журнале и не очень пьянствует, как его оппозиционные друзья, вот написал нечто, что не печатают. «Пьянство как оппозиционность, — со злостью подумал Илья, — главный оппозиционер — Паладин». Он вдруг поймал себя на том, что в первый момент даже обрадовался, обнаружив вчера у Паладина Элкины стихи. Это обстоятельство словно бы оправдывало его измены, и главную среди них — любовь к Лине. Но сегодня, сейчас, когда он думал об Элке с Паладиным, сердце его болело болью. Его вина перед Элкой была больше, чем ее вина перед ним. «Вспомни, — сказал он себе, — сколько раз она спасала тебя, ее бесстрашие, как тогда в Гурзуфе, когда на тебя напал припадочный, она неожиданно, не испугавшись, ухватила его сзади за шею, и, пока он отшвыривал ее, ты поднялся и скрутил его».

«Хотел свободы, получай ее — в мучениях совести!» — снова сказал он себе.

— Ты о чем задумался? — тревожно спросила Лина.

Он помотал головой, чувствуя, что запутывается в своих размышлениях. И чтобы заглушить их, принялся подробно отвечать Пете, сумев, однако, ласково улыбнуться Лине.

— Прежде чем уйти, чувствую себя обязанным ответить на вопрос второй половины аудитории. Это так же непросто. Люди, мой друг, должны преодолевать себя. Не в том смысле, что изменять себе, нет. Именно преодолевать, что в них есть мелкого и ненужного. Человек — это не состояние, этот процесс, процесс постоянного делания себя. Кто знает, что в отдаленной перспективе веков окажется важным и решающим, что будет признано человечеством за верную позицию! А если даже и не будет!.. Человек, верный себе, остается в истории, так всегда было. Особенно, если он успеет осуществиться. Вот это уже другой вопрос. Об этом после. Пока же скажу: быть сегодня гуманистом опасно, индивидуалистом тоже, но ты — по своему воспитанию — не

можешь им не быть, так будь им! Завоюй право быть им! В наше время и в нашей стране хуже всего маленькому честному человеку. Маленький приспособленец живет хорошо, но горе честному малышу! Его даже от хулиганов никто защищать не будет. В школе его съедят учителя и заводилы местной шпаны, в институте — если, конечно, ты туда поступишь, хотя у тебя есть шанс, потому что фамилия у тебя русская, да и пятый пункт в порядке, — так вот в институте комсомольские лидеры совместно с преподавателями, на работе — начальство. Если он начнет писать честно, то есть не прилаживаясь ни к левым, ни к правым, его никто, кроме определенной организации не заметит, а издательства ни наши, ни западные его не напечатают, и кончится все отсидкой. А может, что скорее, и ничем не кончится, так и сгинет незамеченным. Любая критика в печати, пока ты не успел составить себе имя, означает конец. Сегодня, чтобы иметь возможность состояться как личность и не погибнуть, необходимо реализоваться в какой-нибудь боковой области, совпадающей с интересами государства, — в физике, например, стать академиком, скажем, чтоб тебя сразу не смогли заткнуть, тем более уничтожить. А затем дерзать.

— Что-то вроде Сахарова?..— переспросил наслышанный Петя. Имя Сахарова тогда вовсю звучало в интеллигентских кругах.

— Именно вроде. Но как пример это подходит. Если нет у тебя такой возможности, иди на риск, чтоб не остаться простым удобрением для неизвестно каких всходов, — голос Ильи патетически задрожал, когда он закончил свою речь. Ему стало немного стыдно. Он чувствовал, что Петя впитывает его слова, но совсем неизвестно, как он их истолкует и перетолкует. И тут же подумал с тоской, что если отнести его слова к нему самому, то он как раз опоздал стать академиком, нужным государству. И стало быть, это именно ему необходимо идти на риск, если он хочет написать то, что задумал.

Он замолчал, погасил сигарету и глянул на часы. Жест был простительный, потому что к Кузьмину он уже давно звонил.

— Спасибо, солнышко, — обратился он к Лине. — Вы мне позвольте, я здесь сумку ненадолго оставлю, он встал со стула. — Зайду к Кузьмину и вернусь за ним. Лады? — его уже устаревшая и наивная маскировка заставила Лину усмехнуться.

— А сколько времени? — схватился вдруг Петя.

— Без четверти пять.

— Я тоже к себе пойду, — подскочил Петя, словно бы оправдываясь перед Линой: так было понятно по его тону, что не будет ей сейчас помогать мыть посуду. — Мне к завтрашнему сочинению надо бы кое-что посмотреть. А то мне через сорок пять минут, в крайнем случае через час уходить.

— Куда это? — спросила Лина, успевшая, как уже говорила Илья, позабыть про театр. — Я забыла.

— В театр.

— А что смотреть? — оживился Илья, сообразив, что Петя и в самом деле уходит на весь вечер.

— Булгаковского «Дон Кихота».

— Ишь ты! Где билетика достал? — имитируя зависть, спросил непонятно зачем Илья.

— Да так, одна знакомая девочка достала...

— Тогда умолкаю, — с привычной пошлостью взрослого человека Илья сделал ладонями отстраняюще-извиняющийся жест. Но в голове и во всем организме было только одно: сейчас он сходит к Кузьмину, вернется, а Пети уже к этому времени не будет дома... Он поглядел на Лину и проглотил слюну.

## Глава VIII

# Страхи и терзания подростка

Увы, моя глава  
Безвременно падет: мой незрелый гений  
Для славы не свершил возвышенных творений.

*А.С. Пушкин. Андрей Шенья*

**В**ойдя к себе в комнату, Петя плотно притворил за собой дверь. Все равно, если бы подала голос бабушка или в коридоре кто начал разговаривать, он бы услышал, но все же возникало некоторое чувство обособленности, изолированности. За стеной его комнаты была лестничная клетка, он изредка слышал поднимающиеся или сходящие вниз шаги: они не мешали, потому что были привычны

Лиза его ждет сегодня. Через час ему идти. Он посмотрел на свои наручные часы «Seconda», подаренные ему матерью по случаю шестнадцатилетия. Вообще-то она была против баловства, но получение паспорта казалось ей да т о й . Секундная стрелка бежала, время шло.

Из комнаты бабушки Розы не доносилось ни звука. На кухне, после его ухода, тоже установилась тишина: во всяком случае журчащего голоса Тимашева он не слышал. Петя сел на свой диван. В комнате, как всегда, было прохладно, а от тяжелых темных штор и сумрачно. Но Петя привык к этой комнате, за те десять лет, что его перевели из родительской сюда, в маленькую, как говорили домашние, комнату, он сроднился с ней, она стала как бы частью его самого. А его серый матрасовый диван, укрепленный на деревянной основе, с деревянной спинкой, идущей по периметру дивана вдоль стены и кончавшейся открытой тумбочкой, на которой лежали тетрадки с «записями для себя» и книги, — этот диван был для него спасительным островом, неким метафизическим убежищем среди домашних бурь. Круглый (некогда гостевой — потому что раздвижной) бабушкин стол, заменявший ему письменный, стоял в углу около окна (с набросанными на нем книгами, учебниками, физическими и математическими таблицами, которые

Петя считал нужным всегда иметь перед глазами, как изучающий иностранный язык всюду развешивает листочки с зарубежными словами), сбоку над ним висела лампа-абажур в синюю полосочку, — книжные стеллажи тянулись вдоль стены и он мог рукой достать любую книгу, сидя за столом. Этот стол придавал, как ему казалось, ученый и даже спартански-отшельнический вид его комнате. У стола — деревянный стул с прямой спинкой, на который он вешал школьную форму, ленясь повесить ее аккуратно на плечики в выгоревший белесоватый шкаф, находившийся в изножии дивана. На дне шкафа в картонной коробке валялся мятый лыжный костюм, в котором он иногда в холодные дни ходил дома, туда же он обычно бросал домашние брюки и любимые байковые рубашки. Петя вообще питал пристрастие к мятой, потрепанной одежде, в ней было уютнее, домашнее. А если бабушка упрекала его в неряшливости, он отмалчивался, но в ответ воображал, что когда-нибудь в будущем он будет ходить по своему дому в мягком, слегка помятом, но элегантном вельветовом костюме, ласковой фланелевой рубашке (о фланели он читал в чьих-то жизнеописаниях), и как ему будет удобно и просторно. Пока же чаще всего лежа на своем диване-острове, диване-убежище, укрытый пледом, он бродил где угодно в своих полусновидениях-полумечтах, от которых потом с трудом приходил в себя. Словно и впрямь пережил то, что воображал, и бывал там, где хотел.

«Жизнь замечательных людей» — вот книги, которые он любил листать. И сравнивать, замирая, отрочество и юность великих людей со своим отрочеством и юностью. Как «они» успевали в эти же годы в науках, как «они» относились к женщинам, какие у «них» были взаимоотношения с друзьями (были ли они у «них?»), школьными учителями, когда «их» посещали первые откровения, проявлялись первые проблески гениальности, и не опоздал, не опаздывает ли он, Петя?.. Получалось, что еще время есть, что до двадцати трех — двадцати четырех, когда «ими» были сделаны фундаментальные открытия, у него еще куча времени! Огромная куча, будто гора песку, — такие песчаные горы он как-то раз видел из окна поезда, едучи на юг. Стояли они словно на века, но — он знал — могли осыпаться в несколько часов. Но пока ему казалось, что грядущие шесть или семь лет — это так много, что все можно успеть! Только бы Лиза не помешала ему заниматься наукой!

А может, он просто боится ее, вернее, не ее, а того, что должен с ней совершить, думал он. Но нет, уговаривал себя Петя, он боится другого: увлечься так этим занятием (если, конечно, у него получится), что забудет о своем деле жизни, о том, что он должен жить с группировавшись, быть собранным в комок, готовым — больше чем любой спортсмен — ко всяким трудностям, интеллектуально тренированным, как спортсмен — физически. Иначе ему, полукровке, здесь, в этой стране, — не выжить. Он должен уметь бороться за жизнь или хотя бы за существование. Ведь кто выживает в катаклизмах? Он не задумывался о дельцах, жуликах, политиках — все это были сферы ему чуждые абсолютно. Кто выживает в социальных катаклизмах из людей духовного, интеллектуального труда?.. Так он мог бы уточнить свой риторический вопрос. И ответ у него был: либо гении, либо специалисты высокого класса, которые везде нужны. Кто уцелел, а потом получил гражданство в Штатах, когда в Германии власть захватили фашисты? Томас Манн и Альберт Эйнштейн, да физики-теоретики... У его матери было много справочной литературы по истории математики и физики, он ее читал и пролистывал. Мать кончила мехмат, но математика из нее не вышло, и она занялась историей науки, работала в научно-технической библиотеке, ЦНТБ. Враждебные фашистам страны были заинтересованы спасти для себя хороших специалистов, и наплевать, что для себя, главное, что спасти. Да и кто будет помогать евреям просто так? Ведь почти все бежавшие от Гитлера были евреи или прикосновенны к еврейской крови, вроде Томаса Манна, на еврейке женатого. А физики — люди, всем развитым странам нужные. И математики тоже. Что-нибудь на пересечении наук он будет разрабатывать. Или астрофизику — решение проблемы происхождения планет и звезд из пылевых туманностей. Пойти к академику Зельдовичу, ведь он же, несмотря на фамилию, добился академии: значит, там пока нужны люди с головой. Но до состояния замеченности нужно дорасти, как и до величия. Все упирается во время. Время нельзя терять. И важно нигде не промахнуться.

Пока все складывалось неплохо. Для этой страны неплохо, что бабушка — старый член партии, отец работает в «Проблемах мира и социализма», мать — в Центральной научно-технической библиотеке. Что называется — «из хорошей семьи». Это-то, правда, и раздражало дурацкого разночинца Герца, но только его одного, —

из учителей, то есть. У которых пока в руках власть над Петиным будущим. Мешало, пожалуй, лишь его еврейское происхождение. Тем более, что ходили слухи о новых анкетах при поступлении, в которых будет вопрос о национальности родителей. Но могло и пронести, как пронесло в тридцать седьмом бабушку, несмотря на Испанию и аргентинское прошлое (которое когда-то было опасно, а теперь стало престижно), как в сорок девятом проскочил отец, которого даже на Лубянку таскали по доносу русского приятеля, за то, что он осмелился вслух (наедине с приятелем, разумеется) предположить, что «будь Ленин жив, такого бы антисемитизма он бы не допустил». Он уцелел, потому что в тот месяц «в КГБ план по недовольным евреям был выполнен», а в следующем отец уже убрался из Москвы: он уехал в Челябинск, где преподавал в средней школе историю и логику. А когда разгул государственного бандитизма (эти слова Петя про себя выговаривал достаточно отчетливо, наслушавшись разговоров отца с Ильей Тимашевым) поуспокоился, и этому государству понадобились мозги в большем, чем раньше, количестве, мозги, умеющие придать облик приличия тому, что здесь происходит, обратились к тем, кто понимал жизнь чуть посложнее, ибо был обижен и мог посмотреть на родное государство немного со стороны, то есть увидеть, как его воспринимают там, а стало быть, удовлетворить ожидания Запада, критикуя его мыслителей с точки зрения подлинного марксизма, который и там уважался, но к жизни в России не имел ни малейшего отношения. Отец вернулся из Челябинска, пошел работать в журнал, — возникла социальная защищенность. «Они, на Западе, ничего о нас не понимают, — говорил он, — поэтому спорить с ними легко». Он рассказывал, что однажды им в редакционной статье надо было написать, как наш строй обличают буржуазные идеологи. Книжек под руками не было, но в редакционных статьях сносок не требовалось, и тогда они от лица этих идеологов изложили, что сами думают о нашем строе. «Такая критика им на Западе не снилась», — гордились отец с Ильей Тимашевым. Но социальная защищенность отца вовсе не помогала против школьного антисемитизма, и в первом классе сосед по парте обозвал Петю «жидом», просто так, не думая, не подозревая о его действительной национальности. Но прозвучало это все равно страшно и обидно. Петя рассказал все маме. Не очень долго думая, она научила Петю ответить вполне в российском духе: «А ты ки-

таец!» Петя попробовал сказать, но его дразнилка звучала совсем не так обидно. Ничего-то родители не могли ему присоветовать. И поэтому про пионерлагерского Валерку он уже не рассказывал. Просто он чувствовал, что школу и детство надо как-то пережить, переждать, что когда он станет старше, в его окружении та к о г о не будет, как не было такого в окружении отца.

В те же годы, как вернулся в Москву отец, вспомнили в правительстве и о недобитых старых большевиках: этого требовал новый имидж государства, «возвращавшегося к ленинским нормам партийной жизни». Большевикам отстегнули часть льгот от партаппарата, и бабушка получила паек и кремлевку. Все эти события произошли до Петиного рождения, при его умершем старшем брате Яше, и он вроде бы имел все эти льготы как данность, но у него с тех пор, как он стал задумываться о своей жизни, не проходило ощущение, что все это — временно. Потому что все люди смертны, и бабушка в том числе, хотя до последнего времени она казалась вечной, как сама Советская Власть, как «вечно живое дело Ленина». Он должен успеть, пока жива бабушка, пока родители в силах его поддерживать, создать что-нибудь о б ъ е к т и в н о значимое: значимое и здесь, и там.

Мешала жить сосредоточенно невесть откуда взявшаяся Лиза. Петя перешел в эту школу в восьмом классе, когда здание его бывшей школы отдали вдруг под техникум. Лиза училась в параллельном классе, но он с ней познакомился всего год назад. Конечно, ему х о т е л о с ь . И еще в восьмом классе он с Вовкой Метельским вечерами таскался па прогулки в темные аллеи, где ходили такие же ждущие и томящиеся девчоночьи пары, но они боялись с ними заговорить, остановить, познакомиться, прикадриться, и Петя только лихорадочно слушал воспаленное вранье Вовки о девчонках, с которыми он будто бы трахался. Впрочем, были и примеры этого. В его старой школе косоглазенькая Зина Лебядкина уже в седьмом классе забеременела от их одноклассника Шипка, слюнявого, прыщавого прикурка. А здесь в прошлом году девятиклассница, секретарь комсомольской организации, Лизина подружка Таня Проценко просто-напросто родила от десятиклассника по прозвищу Гиппопотам, или сокращенно — Гиппо. Гиппо пришлось уйти из школы, жениться на «потерпевшей», устроиться куда-то работать. Секретарем выбрали гуманитарную девочку Лизу, Танькину подругу. Лиза жалела Таньку, но больше завидовала ей. Ей хотелось, чтоб Петя был столь



же настойчив, как Гиппо. Но Петю словно невидимый какой крюк не пускал, ему под ох чудился в этом действии, потому что слишком уже прямолинейны были хвастливые разговоры ребят.

Какой-то обман был в невыразимой простоте отношений между полами, в том невероятном, что именно этими частями тела (вроде бы предназначенными выбрасывать отходы организма) люди любили. Это казалось ему ненормальностью природы, несмотря на эротические сны, в которых он занимался этими с разнообразными женщинами — и с неизменным успехом. Но так было в мечтах, а наяву он боялся, что девушка примет его за сумасшедшего, если он попытается с ней сделать это. Сие отчасти напоминало другое его знание: что человек смертен. Он наверняка знал, что все рано или поздно умирают (вон бабушка уже год при смерти), и тем не менее к нему это вроде бы не относилось, он так не умом даже, а телом понимал и чувствовал. Но трепетал, скажем, возможной катастрофы «в одной, отдельно взятой стране», что будет, как говорил Илья Тимашев, пострашнее падения Римской империи. Хотя все равно надеялся уцелеть в самом жутком державотрясении, какое бы смутное время наступило. Он должен стать незаменимым в любой системе и стране, во всяком случае, чтоб цивилизованные страны захотели его спасти. Надо только, чтоб какой-нибудь дикарь не пришиб его по случайности. А Лиза, по-американски — Лайза, понимает ли это она, вызывая на вечернюю улицу, где ты ни от чего не застрахован? Конечно, она зовет его в театр, в цивилизованное место, но вечер-то после театра остается непредсказуемым... Да еще захочет, чтоб он ее до квартиры провожал.

Петя сидел, опершись спиной о деревянную основу дивана, оставив невидящие глаза на два стояка книжных полок у стены напротив. В комнате было холодно, и на ноги до пояса Петя накинул плед: стало теплее и уютнее. Когда он думал о Лизе и всяческой эротике, он чувствовал, как тесно становится в старых штанах его распрямившемуся и увеличивавшемуся мужскому достоинству. Это было естественно, и все же что-то не то, что-то низменное, чего надо стыдиться.

Стукнула дверь в бабушкину комнату. Потом голос дяди Ильи:

— Спит. Я к Кузьмину ненадолго. Скоро приду. Петя в театр, а я к тебе. Чтоб нам не мучить друг друга.

— Хорошо, я жду, милый, — это тихая, присмирившая Лина.

Звук поцелуя, хлопок мужской руки по женскому телу, как по круппу лошади. Затем щелчок входной двери.

«Они тоже э т и м занимаются, — думал Петя, — или все меня обманывают, даже мои собственные ощущения? Просто я такой испорченный, что мне везде траханье чудится? Когда говорит об этом Желватов я не удивляюсь: он животное. Но неужели и у остальных так же?» Петя, конечно же, понимал и знал, что у всех так же, но, не испытав сам, все равно верил в это с трудом. Он вспомнил, как десять лет назад, в начале семидесятых, к бабушке приехала ее дочка, а стало быть, отцовская единоутробная сестра и Петина тетка — аргентинская поэтесса Бетти Герилья. Пете было всего лет восемь, а может меньше, но отблеск престижного иностранного родства коснулся и его: не фигу себе — тетка из Аргентины! Это значит шмотки, игрушки, да и вообще все остальное, которое, разумеется, лучше нашего любого. Петя слегка важничал, но не очень: тетка оказалась довольно бедной. При том тетка капризничала по каждому поводу, спала до середины дня, красилась и мазалась перед зеркалом часами, превращаясь из распластанной и неприбранной шестидесятилетней старухи в энергичную, подтянутую моложавую женщину, к которой приезжали разнообразные советские писатели, наперебой ухаживавшие за теткой, в надежде, что она их переведет. Даже какой-то совсем мальчишечка вокруг нее увивался, молодой критик — не то Мерзин, не то Мензер. Дворовые ребята поглядывали на Петю с уважением: приезжавшие литераторы по самой своей профессии казались знаменитостями. Тетка разговаривала со всеми на плохом русском языке, но непрерываемым тоном взрослого, разговаривающего с детьми, не знающими ничего, что происходит в большом, настоящем, взрослом мире. «Во всем мире известно, а у вас неизвестно», — удивлялась она возмущенно почти по каждому поводу. Бабушка охраняла ее сон, шикала на всех, даже на Петиного папу, сама носилась на рынок, выбирая то, что Бетти может понравиться. Восьмидесятилетняя старуха ухаживала за шестидесятилетней как за ребенком, в который раз рассказывая Петиному отцу, что считает себя виноватой перед его сестрой (приезд тетки актуализировал этот рассказ): «Я не хотела ее рожать, — говорила нервно обычно такая уверенно-непреклонная бабушка. — Я все делала, чтоб от нее избавиться. Беременность мешала моей революционной работе.

А ребенок, я думала, будет еще больше мешать. Но Бетти все равно родилась, хотя роды были тяжелые: слишком я себя всякими снадобьями травила. С малышкой уехала в Аргентину, к маме. Там эти старые еврейки, которые вечно в нашем дворе крутились, еле ее отходили. А потом у меня не было молока, или было, но мало. Я молодая была, ничего не понимала: Бетти кричит, а я ее шлепаю. Мать взяла Бетти на искусственное кормление, а тут еще мой первый муж до Аргентины доехал. Ну, он с моей матерью Бетти и отпаивали козьим молоком. Себе в оправдание хочу сказать, что без дела не была: на мне было три пропагандистских кружка среди русских и других эмигрантов. Их клонило к тред-юнионизму, но я их сумела перебороть, превратить в первые в Аргентине ленинские кружки. А Бетти выросла и стала революционной поэтессой. Но с тех пор она такая больная». Тетка была больной, пока за ней ухаживали, но, приняв душ, позавтракав, наведя марафет, она отправлялась блистать и нравиться мужчинам. Она любила из ничего делать «красоту», чтоб все удивлялись. На голые черные ветви, предварительно вымазав их каким-то клеящим составом, бросала маленькие, блестящие, разноцветные и упругие шарики-комочки из пенопласта, прилипавшие к веткам в художественном беспорядке, превращая их в нечто, похожее на кораллы. Она любила на кухне рассуждать, пока бабушка или мама стояли у плиты, о том, как готовят в Буэнос-Айресе, Париже, Лондоне... Она учила маму, Петю и отца пить чай, под названием «матэ», странного вкуса, из долбленной, оправленной в серебро тыквочки, тоже называемый «матэ», сквозь серебряный мундштучек. От тетки остались в большом количестве поллитровые, с завинчивающимися крышками, коричневого стекла стеклянные банки из под растворимого кофе «Nescafe». Потом их использовали для покупки развесной сметаны: удобно. Петя чувствовал себя немножко элитой. И еще он был благодарен тетке за то, что она прямо назвала своим именем предмет, которым делается э т о . То, что говорили хулиганы-мальчишки и что Петя и сам чувствовал, оказалось правдой, а не хулиганской развратной выдумкой. В тот день она вертелась на кухне в особо приподнятом настроении. Мальчишечка с усиками, литературный критик — не то Мерзин, не то Мензер — сделал ей предложение руки и сердца, — желая устроить свои литературные дела и выйти на международную арену. Именно это и сказал тете Бетти отец, ведь не думает же этот мальчишечка создать с ней семью

и иметь детей. «Любовь важнее, чем делание детей», — отвечала взбалмошная тетка. Тогда, воспользовавшись случаем, покраснев от термина, Петя бросил в воздух: «А как делаются дети?» — «Они сидят у женщины в животе, а потом выходят через детородный орган», — ответила тетка, не имевшая детей. «Понятно, — сказал Петя, не отставая. — Но при чем здесь мужчины?» — «Ты разве не знаешь? Такой большой, а не знаешь? Мужчины и делают женщине детей» — «Бетти, прошу вас, не надо», — сказала мама. «Он должен знать, чтоб не выглядеть дураком перед своими друзьями» — «Как делают? Чем?» — настаивал Петя, не желая упустить шанс узнать не хулиганское, не дворовое объяснение мучавшей его проблемы. Мама попыталась прекратить разговор, пробормотав нерешительно, что, когда Петя подрастет, он сам все узнает. «Чем! Чем! — возмутилась поэтическая тетка, не слушая матери (очевидно в Латинской Америке эти вопросы решались проще). Все мальчишки знают, а он будто не знает! Пипиской это делается, вот чем!» Мать, смутившись вышла, а тетка вернулась к обсуждению брачного предложения, сделанного ей Мензером (или Мерзиным — Петя не помнил точно). Тетка строила варианты возможного продолжения событий, словно забыв, что в Буэнос-Айресе ее ждет муж. Отец робко заметил ей, что она забывает о Луисе, не говоря уж о сомнительности намерений молодого критика. Тетка вдруг расплакалась и тут же позвонила Мензеру, сказав, что им не надо больше встречаться, что она не хочет выступать в роли тореро, машущего красной тряпкой перед быком, дразня его, но будучи не в состоянии удовлетворить его желания. Впрочем. Мензер вскорости отомстил, написав фельетон «Опоздавшая переводчица», в котором писал, что Бетти Герилья не почувствовала духа русской культуры, что она осталась в тридцатых годах, не видит современности и переводит только поэтов, которых, по странной случайности, объединяет только «национальная принадлежность» и непонимание и нелюбовь к традициям отечественной поэзии — Эренбурга, Багрицкого, Сельвинского и им подобных. Подписал он свой пасквиль «Матадор Быков», мстя ей за шутку с тореро и быком, а через запятую добавил к своей подписи определение, подчеркивающее «исконность» автора заметки: «рязанский мужик». Отец тогда возмущался, узнав где-то, кто автор и что этот Мензер сам наполовину еврей, но пытаясь перекраситься сменил свою фамилию на Мерзин, а сына своего назвал Ермолаем. Сла-

ва Богу, тетка про фельетон в «Литературке» уже не узнала: уехала раньше.

«Бойся литературного мира. Ничего мерзопакостнее, подлее и безжалостнее на свете нет, разве что политика, — сказал ему тогда отец. — Предадут, утопят, доведут до смерти, чтобы удовлетворить свое уязвленное самолюбие». Но Петя и не собирался в этот мир, там и в самом деле все казалось зыбким и непрочным, замешанным на отношениях, на выгодных знакомствах. Насмотрелся он, как эти литераторы кружили возле тетки наподобие стервятников. Куда спокойнее под защитой точных знаний и естественнонаучных фактов! Его робкая душа мечтала о безопасности. И наедине с собой Петя себе в этом признавался, хотя и было ему самого себя стыдно. Он знал, что главное свойство его характера, его психеи, если хотите, — это страх. Он всего опасался: ходить в походы с ребятами, того страшнее — на байдарках, не решался кадриться с девушками, даже заговорить с ними было невмочь, но всего больше — гулять одному по городу вечером, по парку тоже, даже по собственному двору вечером шагал быстро, чтобы скорее достичь спасительного своего подъезда. Боялся переспать с Лизой: не знал, как. Но боялся и оставить ее, упустить из рук. Он боялся получить двойку по любому предмету, чтоб не потерять ритм отличной успеваемости, боялся устных замечаний учителей, тем более занесенных в дневник, но боялся и показаться чересчур законопослушным среди своих драчливых сверстников. Да и Лизе бы это не понравилось. А он все же любил Лизу или во всяком случае уверил себя, что любит, потому что не был к ней равнодушен, как к другим девицам. Но это и пугало его: он не умел противостоять ее разнообразным прихотям, а от любимого предмета — он это знал по собственному опыту — только и жди неприятностей, если не беды.

Лет двенадцати или тринадцати он увлекся марками и, стал филателистом. И эта любовь привела его к весьма малопривычному эпизоду в его жизни, эпизоду, напугавшему его.

Марки он начал собирать благодаря своей аргентинской тетке. От нее часто приходили письма, а на них всегда было наклеено не меньше четырех или пяти гашеных марок. Аргентинские марки считались ценными и, хорошим обменным фондом. И потихоньку он втянулся. Мама купила ему два альбома и два классера. Классеры служили для обменных марок, а альбомы — один для советских, другой для иностранных. Больше всего ребята почему-то охотились

за колониями, Петя тоже принялся их добывать. Но выменять их было трудно. Мама поощряла его филателистическое увлечение, считая его спокойным и отчасти интеллектуальным, развивающим кругозор занятием. Поэтому она не очень протестовала, когда Петя запросился на марочный черный рынок, по слухам находившийся тогда на Кузнецком. Петя подкопил для той поездки путем мелких обманов и самоограничений одиннадцать рублей, мама обещала добавить еще шесть рублей. Но поход на время отложился: он попал в больницу для удаления гланд, из-за которых он часто болел ангиной, а мама еще боялась и дифтерита, от которого умер его старший брат Яша. После удаления гланд он похудел временно на семь килограммов и чувствовал себя ловким, легким и стремительным. И на Кузнецкий поехал, хотя и не один, а с мамой, ощущая себя удачливым кондотьером, карманы которого набиты деньгами: семнадцать рублей! Было нежаркое лето, конец июля. Петя так запомнил: он был одет в пиджак поверх рубашки-ковбойки, значит, было прохладно. Во внутреннем кармане пиджака лежала пачка денежных бумажек, в боковом — расческа, которую он тогда завел впервые: она, как он полагал, придавала ему зрелость. Выше к Лубянке, напротив зоомагазина, находился марочный толчок. Там толпились взрослые, но больше было подростков, примерно его лет. Пете стало неловко, что он как маленький — а ему уже двенадцать и чувствует себя кондотьером — ходит вместе с мамой, и он попросил ее уйти в какой-то магазин, а сам принялся приглядываться и прицениваться к маркам в чужих кляссерах, воровато доставаемых из-под пиджаков: временами появлялись два милиционера, тогда кляссеры прятались, выражение лиц делалось незаинтересованным и незнакомым, некоторые даже ненадолго скрывались в соседние магазины или в подъезд жилого дома рядом с толчком. Почему-то торговать марками с рук было делом полузапрещенным, хотя и не таким опасным, как торговля вещами.

...Сквозь незапертую дверь балкона Петя услышал веселый детский крик:

Дома кашу не варить,  
А по городу ходить!

Дети, иногда еще появлявшиеся в этом умиравшем доме, играли в прятки. Водящий, видимо, боялся отойти далеко от заветного места, а прятавшиеся пытались его устыдить и отманить

подальше, чтобы первыми добежать до стены, коснуться ее и воскликнуть: палочка-выручалочка! Только надо было быть внимательным и осторожным и бежать выручаться, когда уверен, что добежишь первым.

...А тогда, на Кузнецком, он не был ни внимательным, ни осторожным, слепо поверил, чувствуя себя удачливо-неуязвимым героем, когда невысокий малый хрипло, не подымая на него глаз, шепнул: «Колонии есть. Колонии нужны?» Петя, радостно ойкнув, сказал: «Да. Очень. Покажи какие» — «Пойдем, покажу», — ответил продавец и, выставив вперед правое плечо, зашел в подъезд дома метрах в пяти от толпившихся марочников. Петя автоматически шагнул следом за ним. Вожатый взбежал на один пролет вверх, остановившись на лестничной площадке между первым и вторым этажом, пояснив невнятно: «Тут окно, тут виднее». Хотя и на улице вроде бы достаточно светло было. Все еще ничего не подзревая, лопух Петя поднялся за ним. «Ну, показывай». Малый замялся. По-прежнему не глядя Пете в лицо, сунул правую руку за пазуху, некоторое время поковырялся там и вытащил затрепанную и засаленную записную книжку вместо кляссера. Петя успел подумать, что, наверное, марки разложены между страницами и что, судя по измятости и грязности страниц, марки в плохом состоянии и, скорее всего, он их не купит. Даже не сообразил в тот момент, что настоящие продавцы так с марками, своим товаром, не обращаются. Томясь, малый сделал вид, что собирается листать свою книжицу, как вдруг обрадованно вздохнул, сверкнул глазами и спрятал ее в карман. Снизу взлетели на их площадку три или четыре парня, их ровесника. Такие же, как и приведший его, по виду «без определенных занятий», будто и не учились в школе, невымытые, угловатые, оскаленные и щербатые, короткоростые, с широкими, сильными ладонями, сжатыми сейчас в кулаки. Вроде тех — как Петя сразу не узнал, не сообразил! — что толклись вечерами у школы, жили в бараках, в хрущобах заводских районов (недалеко, всего в квартале от Петиной школы, за мостом, был завод имени Петра Алексеева, куда их водили собирать металлолом, там он их нагляделся), ходили вооруженные кастетами, палками, и остро заточенными железками, которые они называли пиками. И сверху ринулось, со второго этажа, высыпавшись из-за застекленной двери, примерно пять таких же запыхавшихся (по этажу, видно, обегали) существ. И на лестничной площадке, в жилом вроде бы

доме, неподалеку от прогуливавшихся по Кузнецкому милиционеров, которые должны защищать мирных жителей, он моментально оказался в чьей-то власти, отрезанным от остального мира: с ним в эти секунды можно было сделать все, что угодно, он это понимал и чувствовал. «Деньги давай», — почему-то смущенно пробормотал заманивший его в ловушку малый. Сверху тем временем не очень спеша спускался главарь малолетней шайки. Ему было лет девятнадцать, и показался он Пете незлым и умным, вроде Валерки из пионерлагеря, который все шутил насчет его еврейского происхождения, потом ограбил учительницу, но лично к Пете относился скорее неплохо. Сейчас, вспоминая, он назвал бы главаря «более развитым», чем подчиненные ему шакалы, и не таким злобно готовым на любую. Но все равно Петя испугался настолько, что ему даже перестало быть страшно и он смотрел на происходившее с ним как бы со стороны. Ноги поначалу отнялись, потом оказались снова на месте, горло сначала пересохло, потом стало снова ничего: надо было ведь жить дальше внутри этой пугающей до одури ситуации. Минуты — это тоже жизнь, как он тогда понял. Он сунул руку во внутренний карман и, сам поражаясь своему спокойствию, протянул пачку рублевок заманившему его. Тот схватил деньги и передал высокому главарю. Высокий пересчитал деньги, сунул в брюки и спросил: «Что в других карманах?» Петю схватили за руки и моментально обшарили. Но ничего, кроме расчески, не нашли. Ничего больше и не было. Расческу протянули девятнадцатилетнему командарму. Тот взял, повертел ее недоуменно в руках, разве что не понюхал... Тогда Петя и произнес то, чем потом втайне гордился: «Расческу-то отдай...» Это был, как ему казалось, смелый поступок. Главарь еще раз повертел расческу: она явно была ему ни к чему. А может, и в самом деле подивился Петинной смелости, потому что вдруг отдал расческу и сказал: «За нами не ходи». И все они в секунду скатились вниз — и вон из подъезда. Петя медленно спустился по ступенькам, в подъезде остановился, мотая головой. Он не мог никак почувствовать, что такое произошло с ним, домашним, книжным мальчиком, никогда не ввязывавшимся ни в какие истории. Он не знал даже, как сказать про это маме: она, наверно, пристыдит его, что он не сопротивлялся, отдал просто так деньги. Все же рассказать маме пришлось, чтоб объяснить отсутствие марок и пропажу денег. Мама пришла в ужасную ярость. Вначале она решила пойти в милицию. «И что там сказать?» — робко спросил Петя.



«Что ты вел себя как дурак, — отрезала мама. — Зачем ты пошел в этот подъезд? Не мог посмотреть марки на улице?» Потом она захотела обнаружить преступников. Но Петя, хотя и увидел высокого и заманившего его, ничего маме не сказал: они ведь поступили с ним сравнительно благородно — деньги, конечно, отобрали, но не избили, а могли. Так в расстройстве они и вернулись домой. Петя тогда и вывел закономерность, что все неприятности происходят от предмета, который нам нравится, иными словами, любовь чревата гибелью.

Петя устроился поудобнее на диване, поерзал, лег на диванный валик, полежал, подсунул под голову подушку, стало удобнее. Но по ногам тянуло холодом из балконной двери. Петя сбросил тапки, подобрал ноги на диван и закутал их в плед. От мыслей, нервного возбуждения, неясности, чем занять тянущееся время, от позы, наконец, голова стала какой-то дурманной, тяжелой, сонной, и он вдруг заснул тяжелым, с кошмарами, коротким сном.

Ему мерещилось, что он провожает Лизу домой дворами, перепутаницей знаменитых хулиганами Бугров, боится бешено мчащихся ночных машин, чтоб не сшибли, но еще больше боится шпаны, бандитов, которые могут напасть на Лизу, а стало быть, и на него. Слишком Лиза лакомый кусочек на вид. Как-то вечером им вслед рассуждала подвыпившая двоица молодых мужиков: «Глянь-ка, как у ей ноги из жопы растут. Драть удобно, сладкая, наверно». Петя сжал Лизин локоть и повел ее скорее прочь, не обращая внимания на их слова. Но удивительно, что Лиза тогда не возмутилась, только через очень даже небольшой промежуток времени искоса бросила вопросительно-ожидательный взгляд на Петю, словно побуждая его к какому-то действию. Дескать, понял ли, что ее приятно любить? Но Петя притворился, что ничего не слышал, а потому и взгляда Лизино не понял. Эти образы двух пьяноватых мужиков, рассуждающих о Лизиних женских достоинствах, а потом их с Лизой обмененные взгляды как-то перешли незаметно во сне в сюжет об увидевших Лизу хулиганах, желающих подстеречь и изнасиловать ее, и что вроде Петя про эту шайку знает и старается скорее довести Лизу до дому, до квартиры, потому что самого по себе, одного, его, Петю, не тронут. Главное, успеть бы в подъезд, выскочить из темных и полутемных дворовых подворотен к свету домового фонаря. А Лиза словно нарочно медлит, ей хочется подольше побыть с Петей, а не тащиться в квар-

тиру, где она останется если и не одна, то с родителями. Впрочем, родители часто отсутствовали, как отец, так и мать, мотались по командировкам. Все же удалось затолкать ее в подъезд. Лиза жила на втором этаже. Слава Богу, невысоко, подумал Петя, сейчас ее доведу до квартиры, там поцелуемся, и все, домой скорее... Между первым и вторым этажом их и ждали. Правда, Петя, обо всем догадавшись, заставил себя подумать, что, может, просто так они там скучились. Тут же до конца сообразил, что не просто так, но сбегать они не успели, на них накнулись... Лиц, морд, рож, харь, рыл он различить в общей жуткой кривляющейся и хихикающей массе, облепившей в доли секунды их с Лизой, он не мог. И сейчас, в бреду дремоты, ему было дико страшно, холодный пот проступал по всему телу, но проснуться никак не получалось. Руки и ноги его во сне онемели, отказывались сопротивляться, расталкивать насильников, пробиваться к выходу из толпы, бить по рожам и телам, отдирать от Лизы наглые, шупающие руки, тащить, вырывать ее из этого круга, отбиваясь свободной рукой, все удары его были слабыми, робкими, неуверенными и несильными. У него не было пистолета, чтобы стрелять в них, разогнать эту орду выстрелами, не умел он встать в боксерскую стойку, сбивать с ног, рубить ударами карате, открытой крепкой ладонью. Насильники повлекли их прямо в Лизину квартиру: вывернув ее сумочку, схватили ключи и отперли дверь. В маленькой двухкомнатной квартире, выходявшей окнами на крышу прачечной, по которой Лиза с Петей гуляли в день ее рождения, воображая себя владельцами огромной жилплощади со своим, не то с о л я р и е м , не то специальной воздушной площадкой для прогулок. Их заволокли в большую комнату, бросили Лизу на ковер около серванта, конечно, входную дверь наглухо захлопнув. Петю ударили кулаками, тыкали остриями ножей-самоделов, «пик», не пуская броситься к Лизе, закрыть ее собой. С Лизы начали срывать платье, трусики, лифчик, хватать за груди и за ноги, силой раздвигать их. «Петенька, помоги! Петя, сделай что-нибудь!» — кричала она, вырываясь. Он снова попытался рвануться, растолкать эту копошащуюся массу, этих визжащих, сопящих, хрюкающих, хрипящих, рыгающих, икающих, слюнявых от вожделения, лапающих ее негодяев, но чувствовал, что его беспомощные удары не достигают цели. Он почти плакал от своего бессилия. И тут из тени, из толпы, из орды, из массы выступил, выделился один: главарь, пахан, вожак — или герой-освободитель. Держа-

щие Лизу отшатнулись, откатились прочь, и она сразу сжалась в комок. А героем, умирившим на время толпу, оказался Желватов. «Мое», — сказал он грозно. Распаленные, потные, мускулистые и татуированные насильники расступились перед ним. Сжавшись, совсем голая, исцарапанная, Лиза лежала перед ним, глядя на него с ужасом и все же некоторой надеждой. Но Желватов встал перед ней на колени, расстегнул брюки и, резко повернув Лизу на спину, раздвинул ей ноги. У Пети вдруг прорезался голос, и он пискнул что-то детское, глупое: «Юрка, ты не должен! Ты не должен! Как тебе не стыдно». Был его писк настолько слабым и трусливым, что он даже не удивился, когда Желватов, оборотив голову, бросил ему презрительно: «А что же ты, мудака, ее не спасаешь? А я вот спасаю. Как умею, так и спасаю...» С этими словами он упал на уже не сопротивляющуюся, не шевелившуюся Лизу и с силой воткнул в нее свой член. Она охнула, вскрикнула. Петя зажмурился, но перед этим увидел сильные, неторопливые движения Желватова и то, как Лиза в порыве обхватила Желватова за шею, словно и впрямь почувствовала в нем единственного мужчину-защитника. Из толпы кто-то восхищенно выдохнул: «Ну-у, дает! Желвак — елдак!» Испытывая слабость, бессилие, отчаяние, Петя очнулся весь в слезах.

Боже мой! Неужели это был сон? Слава Богу, это был только сон! Но какой правдивый сон, психологически точный и потому кошмарный и стыдный до ужаса! Требовалась компенсация, духовная, психическая!.. Но он не находил ее. Он вспомнил наглую ухмылку Желватова, которая показывала всем, что он никого не боится и ставит всех в ничто. И соучеников, и учителей, и директора даже. Он не знал, что хорошо, что плохо, и в этом своем незнании был прост и силен, делая все, что ему хотелось. Петя вспомнил его слова, когда они шли мимо Герца, о «жидах пархатых», и его снова охватил толкливый холод, уже не сонный, а вполне реальный. «Как может Герц жить на первом этаже, в однокомнатной квартире, почти без прихожей, с маленькой кухней? А главное, что на первом этаже! Туда же не то что влезть, камнем можно запустить в любого там в квартире!»

На этом месте Петя запнулся, потому что из комнаты бабушки Розы послышался крик.

— Лина! Ли-на! — кричала она, затем помолчав, громко и отчетливо добавила: — Паршивая девчонка!..

И громкий голос Лины с кухни:

— Боже мой! Ну что еще там?..

Но бабушкино молчание, почти минутное, послышался щелчок открываемой двери, видно, Лина все же испугалась:

— Что случилось, Роза Моисеевна? Я вам обед уже приносила...

— Не надо мне обеда! Я лучше умру с голода! — выкрикнула снова бабушка. — Что со мной может случиться?! Ничего! Ничего со мной не случилось! Уж лучше бы случилось! Да, я знаю, знаю! Я перед тобой виновата! Но это из-за Али, Алевтины, из-за твоей матери! Она себя плохо вела, а твоему деду нужна была спокойная жизнь! Он был ученый! Я не прошу многого! Не прошу! Прости меня, если можешь. Я скоро умру! Скоро умру... Я только одного прошу: принесите мне жертву, жертву! Я больная! Или я не больная?..

— Вы больны Роза Моисеевна, но от болезни надо лечиться, а жертва здесь не при чем. Лучше выпейте лекарство, — внятно и раздельно произнесла Лина, даже отчасти доброжелательно и успокаивающе.

Бабушка не отвечала, не отвечала, а потом начался бред:

— Уберите еду! Вы только о еде и думаете!.. Вы не бережете здоровье. Берите пример с меня! Я из сил выбиваюсь, горло полошу, чтоб никто не заболел. Я борюсь!.. Я всегда боролась: я не виновата в Яшиной болезни! Зачем вы меня обвиняете? Лучше берегите диету! И соблюдайте чистоту! Чис-то-ту! А в доме грязь, животные... Уберите кошку, я ее ненавижу! Ненавижу! Вы любите кошку, а я люблю людей. Я всю жизнь любила людей! Я все для них делала, а они меня забыли. Все забыли! Я заслужила, чтобы помнили меня, а не какую-то там кошку!.. Ха! Кошку любят вместо человека...

— Роза Моисеевна, вы ошибаетесь, никакой кошки дома нет, вам почудилось...

— Ты хочешь сказать, что я сумасшедшая? Мама! Где моя бедная мама? Оставь меня одну, одну! Пусть это будет на твоей совести!

В какой уже раз оскорбленная Лина, хлопнув дверью, выскочила из бабушкиной комнаты и ушла на кухню, не зайдя (чтобы поплакаться) к Пете. Да, у бабушки был характер. Она всегда над всеми властвовала и привыкла к этому. Петя вспомнил, что ему рассказывала мать про деда Исаака, какой он был мягкий и уступчивый и как бабушка Роза им управляла, сама брила его, сама галстук повязывала, а он был беспомощный, как настоящий профессор, и

все позволял над собой делать. Петя не помнил деда, тот умер, когда Петиному старшему брату Яше был год (так что даже покойный Яша не мог его помнить, тем паче Петя). Но по обрывкам чужих воспоминаний Петя знал, что дед был в старости очень мнительный, боялся болезней, страдал от диабета, что бабушка, хотя и поддерживала в нем эту мнительность, чтобы «он от нее зависел», сама не очень-то верила в его болезни. Поэтому, когда он позвал ее как-то из своей комнаты, говоря, что у него «схватило сердце», бабушка продолжала готовить обед, а к деду подошла спустя полчаса, решив «не потакать его капризам», а у него был «тромбоз коронарных сосудов», от которого он в тот же день умер. По крайней мере, так было записано в свидетельстве о смерти, которое Петя видел среди разных казенных бумаг. Да и бабушка сама говорила, что, если бы она подошла вовремя, его еще можно было спасти и что она себе этого никогда не простит. А теперь вот пользуется Четвертым управлением и требует, чтобы около нее сидели все время, буквально каждую минуту. «Но, быть может, бабушка за служила такое отношение?..» — вдруг посетила его пронзительная мысль.

Петина мама говорила, что бабушка безусловно колдунья или что-то вроде того, а потому и носитель зла. Так мама стала считать не сразу, понимал Петя, а после болезни и смерти Яши. Это обвинение бабушка пыталась преодолеть. Даже сейчас, еле двигаясь, она каждое утро просила Петю: «Помоги мне встать. Мне пора полоскать горло...» Бабушка боролась с собой, потому что оказалась бациллоносителем. Когда Яша заболел дифтеритом, бабушке удалось поместить его в Кремлевку. Если б не это, вряд ли кто и узнал о бабушкином проклятии. После того, как Яшу увезли в больницу, приехала медсестра и взяла у всех мазок из зева. Петя знал, как это делается: с тех пор по настоянию бабушки каждый год Кремлевка проверяла всех обитателей ее квартиры. Из стеклянной трубочки медсестра доставала длинную твердую проволочку с ваткой на конце, деревянной лопаточкой прижимала язык и быстро засовывала ватку в горло. Длилась эта неприятная процедура не больше секунды. Петя только успевал поперхнуться, как проволочка доставалась из горла, медсестра улыбалась и говорила: «Все. Молодец». Мама винила в смерти Яши бабушку, хотя, от дифтерита он выздоровел, вернулся из больницы домой, пошел в школу. Но туда одноклассник занес желтуху, заболело человек пять, среди них Яша, он «был ослаблен» после дифтерита и желтуху

уже не перенес. Петю «завели» после Яшиной смерти. Бабушка изо всех сил полоскала горло разными составами, чаще всего раствором из воды, йода с содой и солью, и проверялась каждые три месяца, но мама все равно боялась и очень долго запрещала Пете даже заходить к бабушке в комнату. Бабушка жаловалась отцу: «Почему кроме бациллоносительства она ничего не видит? А я ведь старый большевик! Я — носитель идей, которые должны спасти человечество!» Папа отмалчивался. Потом, когда с годами стало ясно, что посев из бабушкиного зева больше не дает дифтеритных палочек, запрет с посещения бабушкиной комнаты был постепенно снят. Но все равно мама нервничала, когда уезжала с отцом в Прагу, и поехала только потому, что боялась отпустить его одного, боялась, что он заведет там с кем-нибудь роман. Перед отъездом мать предупреждала Петю, предупреждала серьезно: «Если твоя бабка будет умирать без твоего отца, не подходи к ней, потому что ведьмы передают свое ведьмовство тем, кто принял у них последний вздох. Заклинаю, держись от нее в стороне, когда она будет умирать! Ведьмы и колдуны так долго мучаются и не умирают оттого, что им трудно найти человека, который примет их последний вздох». Хотя мать была математик и кандидат наук, в ней все равно сохранялась деревенская суеверность. Как и мать, Петя тоже был суеверен и боялся, что бабушка умрет у него на руках. Он боялся и того, что бабушка умрет, пока он не встал на ноги, потому что не рассчитывал на помощь отца и матери: слишком они были заняты своими взаимоотношениями. Но еще больше он боялся стать ведьмаком с несчастной судьбой, неприятным и жалким.

О вине бабушки перед другими людьми, перед Линой, например, задумываться ему не хотелось, тогда пришлось бы принимать еще одну сложность в душу, а это помешало бы жить, подчиняя себя единой цели. Он замечал, что мама относилась к Лине и ее матери (пока та была жива) неприязненно, хотя всегда приглашала ее на все семейные праздники и охотно с ней болтала о всяких женских пустяках. И когда осуждала бабушку, старалась привлечь на свою сторону Лину, на что-то намекая и уверяя, что она-то, мама то есть, не при чем, что они с Владленом с удовольствием не со свекровью бы жили, а отдельно, в собственной квартире. Конечно, история с жилплощадью — это не то, что в английских романах, когда свара идет за миллионное наследство или родовой замок, но все же история. Получалось, что их семья «со своим

скелетом в шкафу», как острила, о многом догадываясь, Лиза. Ей нравилось, что Петя из такой семьи — конечно, не дворянской, но все же с дореволюционным прошлым, с родословной, с иноземными связями, особенная семья, это и Тимашев говорил.

Но именно эта особенность Петиного семейного происхождения раздражала Герца, который в лучших традициях русской классической литературы был сторонник равенства и ненавидел всяческие дворянские и иные прочие привилегии, в том числе семейные. Однажды и сказал это, улыбаясь Пете прямо в лицо: «Я тебя раскусил: ты интеллигентствующий приспособленец. Ты ничего не создашь, потому что думаешь, как будешь в роли создателя выглядеть. У тебя нет почвенного, интуитивного движения к истине, живая жизнь тебя не интересует и страшит. Ты хочешь быть таким, каким по твоим книжным понятиям были творцы. А они были простодушные искатели истины, которую они не из книг вычитывали». Он говорил это бледному, беззащитному перед учительской властью Пете, сидевшему в маленькой комнатке Герца, между шифоньером и столом, служившим и для обеда, и для занятий. Петя улыбался в ответ насильственной улыбкой, должной показать, что он, конечно же, не обижается, потому что осознает свои недостатки сам, но непременно преодолет их. Лиза, которая привела Петю в дом к Герцу, видела, что Петя попал в западню, в ловушку, и попыталась сказать, что гостям, де, говорить обидные слова неприлично. Она аж вперед телом ринулась, стараясь загородить Петю, как птица своего птенца. На это Герц усмехнулся, что не считает себя обязанным скрывать свои мысли перед кем бы то ни было, иначе он был бы бесчестным перед самим собой, что он привык говорить все, что думает не за глаза, а в глаза. Петя знал, что такова школьная этика прямоты, и потому принял слова Герца как должное.

«Жестокий йог!» — подумал он. Говорили, что Герц занимается йогой, стоит на голове, что его видели лежащим в парке на скамейке, мертвенно вытянувшим ноги и руки, к нему обратились с вопросом, а он лежит, закрыв глаза и молчит, сначала испугались, сбежали женщины, кто-то пошел звать милицию, а он полежал так пять минут и встал как ни в чем не бывало. Говорили, что он себя закаляет, чтоб стать непреклоннее. А в тот день Петя решил, что все равно его переборет, просто будет писать и говорить, что требуется, пусть тогда Герц попробует придаться. Чуткая Лиза

мгновенно Петины мысли почувствовала и, спасая Петю от внутренней капитуляции, закричала на Герца: «Вы воспитываете в людях психологию рабов!» Но Герц только самодовольно моргнул, проговорив привычную свою фразу: «Мне нравится, когда со мной спорят, если возражения идут от собственного ума, а не из книжек». Затем откинул назад голову и произнес свое любимое: «Как сказал Горький, человек воспитывается в сопротивлении среде. И, скажем, у Желватова силы на это имеются, а у Вострикова нет, слишком его избаловала сытая и спокойная жизнь без проблем» — «Вы, кажется, заблуждаетесь», — сухо сказала Лиза, — Желватов вовсе не из народа. У него отец просто люмпен, в винном отделе магазина работает. Ворует и пьянствует. К тому же бывший инженер, только совсем спившийся. А мать чертежницей в КБ на заводе» — «Все равно это не элитарно-профессорская семейка», — иронически пробурчал Герц. Но поскольку оба его гостя напряженно замолчали, а Лизу он держал за поклонницу своего литературно-преподавательского дарования, то попытался неуклюже оправдаться: «Пусть Востриков не обижается, он и сам понимает, что жить в просторной профессорской квартире, разумеется, легче, чем в малогабаритной двухкомнатной, да тем более с пьяницей-отцом. Куда уютнее жить с теплым клозетом, мамками да няньками и бабушкой — старым большевиком со всякими льготами и привилегиями. Ведь, небось, у бабушки и паек продуктовый есть, а, Петя?..» Петя вякнул что-то невнятное, пайка он стеснялся, даже Лизе про него не говорил. Никто про паек не знал. И без того в классе он чувствовал себя не своим.

Он вдруг услышал громкое тикание часов, ворвавшееся в его полудрежные размышления. Время бежало, не останавливаясь. Он должен попасть в институт с первого захода. Чтобы не терять год. И сочинение всего лишь одно из испытаний по преодолению препятствий. Я напишу такое сочинение, думал Петя, что Герц будет вынужден поставить мне «отлично» и даже зачитать сочинение в классе вслух, — у Пети перехватило дыхание от предвкушения. Затем сочинение как лучшее уйдет в РОНО. А там затеют сборник лучших школьных сочинений. Через полгода, как раз к Петиному поступлению, этот сборник выйдет. И вот при поступлении окажется, что он не только участник всех олимпиад по физике и математике, всегда с призовыми результатами, но и автор такого блистательного сочинения... Пусть



тогда Герц умоется... Когда он поступит на физфак в МГУ. Неужели Герц не видит, что Пете и без того непросто жить, потому что любой антисемит чувствует в нем «еврейскую кровь». Петя не очень понимал, что значит та или иная в нем кровь, или две крови в нем, кровь у него одна, его собственная, Пегина, но так все говорили, и он поневоле принимал такой взгляд на себя. Герц упрекал его как в главном грехе — в индивидуализме, не понимая, думал Петя, что все перводвигатели науки не были коллективистами, жили на особинку.

Он достал из тумбочки свою любимую книгу Б.Г. Кузнецова об Эйнштейне и принялся листать ее, наткнувшись на любимые места, которые говорили ему о похожести их жизнеповедения и ситуации:

«Альберт рос тихим, молчаливым ребенком. Он чуждался товарищей и не участвовал в шумных играх. Ему претила любимая игра сверстников в солдаты. По всей стране гремела музыка военных оркестров. Дефилировали войска, сопровождаемые толпой восторженных мальчишек, а на тротуарах стояли обыватели, с гордостью наблюдая этот марш молодой империи, довольные новым поприщем, широко открывшимся для карьеры их отпрысков. А бедный маленький Альберт, державшийся за руку отца, плакал и просился домой. Его нервировал и пугал шум...»

«А наши все Афганом бредят», — подумал Петя, вспоминая разговоры и восторги одноклассников по поводу «тренированных» и «накачанных» ребят, прошедших «Афган». Он продолжал читать:

«Товарищи по школе обратили внимание на характерную черту Альберта — болезненную любовь к справедливости... По-видимому здесь же, в начальной школе, Эйнштейн впервые столкнулся с антисемитизмом...

...Брызги антисемитизма ранили Альберта не потому, что он был их жертвой, а потому, что они противоречили уже поселившимся в его сознании идеалам разума и справедливости...

...Мальчик переходил из класса в класс. Сосредоточенный и тихий, он без блеска справлялся со школьной программой...

«Здесь у меня по-другому: ну и что, различия тоже должны быть», — думал Петя).

...Точность и глубина его ответов ускользали от поверхностных педагогов, с трудом терпевших медлительность речи Эйнштейна...»

«А это точно», — вспоминал Петя Герца...

«...Между тем в мозгу этого тихого мальчика зрели интеллектуальные порывы, он стремился увидеть вокруг себя, в мире и обществе, гармонию, которая была бы созвучна его внутреннему миру...»

«Конечно же, — думал Петя. — ведь я же сам придумал объяснение происхождения космоса, то есть гармонии небесных тел, из хаотической космической пыли, и только потом узнал, что в этом направлении другие крупные умы идут тоже. Но беда в том, что мир все время стремится к хаосу, к энтропии...»

«...Сосредоточенный, равнодушный к школьным забавам, Эйнштейн не приобрел в школе близких друзей, а семья была далеко...»

И тут все было, как у него. А дальше шло то, что будет:

«Никогда жизнь науки не совпадала в такой степени с творческим путем ученого. В этом и состоит гениальность мыслителя. Гений — это человек, чья жизнь в наибольшей степени совпадает с жизнью человечества. Интересы гениального ученого — это имманентные потребности развивающейся науки, стремления гения — это имманентные пути науки, успехи гения — это переходы науки с одной ступени на другую, высшую».

Так и у него совпадает. Он просто живет, думает, работает, а оказывается, что не просто. Только бы случайной гибели избежать. Случайность — самое страшное, что может ждать гения. Если же проскочит, то его ждет небывалая судьба. Тикали часы. Они напоминали, что время не ждет, если он хочет себе достойного будущего. И еще они напоминали, что через четверть часа ему надо выходить на встречу с Лизой. Этого ему не хотелось, точнее, и хотелось, и не хотелось, было чего-то боязно. Лучше было думать, как великого физика спешили во всем мире принять, защитить от фашистов, как он сделал знаменитым малоизвестный до той поры городок Принстон!.. Глава с названием «Слава»!.. Ни один мыслитель, ни один писатель не достигал при жизни такого признания, как Эйнштейн!.. Потому что у Эйнштейна его личность совпадала с надличным, с познанием космической природой самой себя!

Только бы удержаться, суметь получить образование! Но Эйнштейну же его еврейское происхождение не помешало... Правда, поначалу Германия была в рамках цивилизации... И такого антисемитского разгула, как после, когда Эйнштейн уже состоялся, там не было. Как Пете не хотелось быть евреем! С самого детства. Это

был его страх и ужас. Он снова вспомнил недавнюю сплетню, что теперь при поступлении в вуз будут требовать в анкете сообщать национальность родителей и что якобы существуют какие-то хитрые распределения номеров на экзаменационных листках, по которым экзаменаторам ясно, кого валить. Да к тому же он был ужасно похож на отца: темные волосы, нос с характерной горбинкой, глаза большие, печальные, правда, не чисто коричневые, а коричневато-зеленые, но не голубые, как у мамы, о чем она часто сокрушалась: «Нет, чтоб хотя цвет глаз был мой. Как и у Яши — ничего моего». И, как потом она ему с умилением рассказывала, сам он не помнил; однажды после этих слов маленький Петя с огромным синим карандашом в руках залез к ней на колени и, протягивая карандаш, сказал: «На, перекрась, чтоб мои стали, как твои» — «К сожалению, это не в моих силах», — вздыхала мама. От этих рассказов Петя уж совсем начинал комплексовать по поводу своей внешности, столь отличавшейся от среднестатистической, и тайком подолгу перед зеркалом отжимал вверх кончик носа, чтобы тот походил на вздернутые носики его одноклассников и одноклассниц, потому что, объяснила им учительница начальных классов Лидия Ивановна, одной из особенностей настоящих русских людей, их, так сказать, коренным признаком является вздернутый кончик носа, и все мальчики сразу и со смехом принялись исследовать носы друг друга, чтобы определить, кто не русский, без злобы, но обидно и настойчиво. «Востриков у нас, наверно, немчура», — сказал кто-то, и Петя был тогда рад, что никто не догадывается о его истинном происхождении — из евреев. Потом животный страх «разоблачения» приутих, и Петя не любил вспоминать об этих своих переживаниях, но все равно помнил, потому что и другие случаи, пугавшие его, не считая (или, напротив, считая) пионерлагерского Валерку, с ним случались. Он тяжело вздохнул: перед ним снова потекли воображаемые сцены. Он сдает экзамены в Университет, и некто белолицый, русоволосый, в импортном сером костюме, с русой, подстриженной по моде бородкой, требует, чтобы Пете поставили непроходную тройку за сочинение и письменную математику, потому, де, что Востриков, де, не настоящая его фамилия, что точно известна фамилия Петинога деда: Рабин, что уж лучше пропустить учиться, получать высшее образование настоящего еврея, открытого, чем тайного, полукровку. И тут-то и пригодилось сто сочинение, изданное в

сборнике, и победы его на математических и физических олимпиадах... «Никто не поверит, — сказали бородатенькому, — что Восстриков мог так плохо написать...» — «Пусть так, — отвечал русобородый, — но, даже скрепя сердце, мы должны бороться за чистоту русской науки против засилья евреев. Это наш партийный долг. Потомки нам скажут спасибо». Неужели так будет? — тоскливо подумал Петя, выходя из воображаемого пространства. Тогда тем более нужно жить с группировавшись.

Петя вдруг почувствовал, что заклинивается, повторяется. Часы, ему казалось, стучали все стремительней. Поэтому он и не может сосредоточиться и думать о чем-нибудь другом, а не об одном и том же. Впрочем, так всегда бывало перед не школьной встречей с Лизой. Тут уж становилось не до занятий, никакого душевного и умственного сосредоточения не получалось. А это плохо. Время уходит. А как писал Сенека, которого постоянно цитировал Тимашев, «единственно времени и не возвратит даже знающий благодарность». Именно так. Прав древний римлянин. Часы тикали. Пора было собираться в театр.

«Вот было бы хорошо, — думал Петя, — если бы она позвонила и сказала, что слишком приболела и потому в театр идти не может. Все бы и решилось само собой. По крайней мере, на этот вечер». Но телефон не звонил. И вообще в квартире было тихо. Только часы стучали. Он поднялся со своего дивана-убежища, постоял, принялся расстегивать медленно свою домашнюю рубашку, испытывая такое внутреннее трясение во всем организме от нежелания куда бы то ни было сегодня вечером идти, что принужден был снова сесть. Мысли стали нелепые, злые и подловатые. «Если через десять минут она не позвонит, то мне уже будет поздно выходить». Он сидел и смотрел на секундную стрелку своих наручных часов, почему-то именно на секундную: полминуты, еще пятнадцать секунд, минута, полторы, две... Затем он перевел взгляд на будильник. Вот и прошло пять минут, просто в ожидании неизвестно чего, в тупом разглядывании стрелок не только без дела, но и без всяких мыслей, то есть попусту. «Не пойду», — наконец, твердо решил он и только собрался было сесть и закинуть ноги назад на диван, под плед, как сообразил, что и Лина, и Илья Тимашев ждут его ухода и будут спрашивать, почему, де, он остался и не идет в театр, когда так твердо о своем театральном походе объявил. Не говорить же, что испугался

вечернего провожания Лизы. И с Лизой придется объясняться, что-то говорить, ссориться... Проще сходить. «Не хочу!» — почти выкрикнул он, но тут же вскочил и принялся доставать из шкафа костюм.

Через две минуты в темном костюме и черных, привезенных отцом из Праги ботинках, он стоял на кухне — показаться Лине перед уходом. Та улынулась облегченно и радостно, глянув на часы.

— Зайди, скажи бабушке «до свидания» и постарайся не позже двенадцати, — отодвинула на час обычно рекомендуемое ему время возвращения Лина. — А если будешь задерживаться, позвони, — голос у Лины был немного напряженный.

Петя кивнул, вернулся в коридор, тихонько приоткрыл дверь и увидел, что бабушка Роза в своем вылинялом цветастом халате сидит за столом и что-то пишет на больших белых листах бумаги. Сквозь окно, у которого стоял ее стол, шел достаточный свет, под ее редкими волосами виднелась на голове розовая кожа. Сзади в некое подобие пучка был воткнут гребень, с трудом державший ее короткие седые волосы. В комнате как всегда едко пахло мочой, лекарствами, старушечьим телом.

— Бабушка, я в театр пошел. Пока.

— А я пишу свою автобиографию, — нараспев вместо ответа промолвила она. — Меня многие об этом просят. И я давно собиралась, а сегодня мне снова напомнили, и я собралась. Эта автобиография будет многим полезна. Ведь мы жили совсем не так, как вы, мы горели. Тебе она тоже будет полезна.

— Конечно, — сказал Петя. — Ну, я не буду тебе мешать.

Выйдя на улицу, он подумал, что для бабушки это писание — психотерапия, да и вообще ей хорошо, она дома сидит. А вот ему придется провожать после театра девушку и подвергаться всяким неожиданностям и опасностям.

## Барварство и цивилизация

По возвращении домой, в родную страну, в Испанию, — если только о евреях вообще можно сказать, что у него есть родная страна, — я сел в это кресло, зажег эту лампу, при свете ее взял в руки перо, которым пишут писцы, и поклялся, что лампа эта не погаснет, кресло не опустеет и своды подземелья не останутся без жильца до тех пор, пока история моей жизни не будет записана в книгу.

*Ч.Р. Метьюрин.* «Мельмот Скиталец», гл. XIV

**В**нук вышел, так хлопнув дверью, что отдалось в голове, и она сразу перестала писать. Все, что надо было вспомнить, ее память от дверного стука тут же потеряла. Конечно, она очень старая, все забывает. Это она знала. Она помнила, что родилась очень давно. Еще в тысяча восемьсот девяностом году. Страшно подумать, как давно. А в пятнадцать лет вступила в партию. И вот уже живет девяносто три года. Иногда ей казалось, что меньше, что она моложе, и снова с легкостью владеет своим телом, как двадцать лет назад. Но проклятая старость не дает забыть себя. Ей девяносто три, и она совсем беспомощна. Она прислушалась. Лина, которая, злясь, называет ее не бабушкой, а Розой Моисеевной, такая дура! — затихла где-то в недрах квартиры. Не то на кухне, не то в комнате, которую она, кажется, уже снова считала своей. Да так бы, наверно, оно и было, если бы не Алевтина, ее мать, эта шлюха, рита, *путана*. Исаак от ее поведения чуть не сошел с ума, ведь она была вдовой его сына. И теперь в этой комнате жили Владлен со своей женой, по праву жили. А Лина не по праву. Нет, у нее есть дело, она за большой бабушкой ухаживает, за кров и пищу. Да, за кров и пищу. Это долг перед внучкой Исаака. Обычно Лина шумная, а сейчас затихла где-то. А она, хоть и старая, но потерпит, не будет ее звать, ничего, она мужественная, она потерпит. От тишины тоже болела голова, и было страшно, как в детстве, когда родители ушли к соседям прятать от погрома ее младших сестер и братьев, а ее оставили последить за

вещами, обещая скоро вернуться. Они не хотели ее оставлять, она сама вызвалась, чувствуя себя старшей и опекающей даже родителей. Она всегда всех опекала. Она была сильной. Была. Внук на улице думал, что ей хорошо. А ей плохо. Потому что не осталось сил. Конечно, такой пустяк, как прочесть мысли близких, не враждебных к ней людей, она могла. Еще могла. Но не более того. И не всегда. У Лины когда могла, а когда и нет. Та слишком часто раздражалась на нее, а она — в ответ. И они поэтому не понимали друг друга. И не хотели понимать. Чувствовали только раздражение. А тогда, девочкой, она чувствовала только страх. И было тем страшнее, что, пока родители отсутствовали, на улице стало совсем тихо, прямо, как сейчас в квартире, все громилы куда-то исчезли, и она сидела и боялась, что вдруг они появятся совсем неожиданно — и сразу у дверей их дома.

На столе лежала стопка бумаги, ручка, на первой, верхней странице ее рукой, нетвердым с некоторых пор почерком было что-то написано. Она пыталась вчитаться, чтобы вспомнить, что она хотела писать дальше. Но написанные слова не помогали. Она прочла еще раз: «*МОИ ВОСПОМИНАНИЯ. Многие друзья просили написать мои воспоминания; они действительно не безынтересны*». Ничего не приходило на ум, никаких важных слов. С авторучкой в правой руке, которую последнее время приходилось поддерживать левой, чтобы не тряслась, она снова склонилась над бумагой и подчеркнула заглавие. Задумалась бессмысленно. Мысль никак в ней не шевелилась. На столе около фотографии дочери в рамочке, стоял — по левую руку — металлический интербригадовец, привезенный из Испании, с красным флажком на иголке, а справа, за фотографией сына-студента — металлический бюстик Дон Кихота.

Левая рука у нее слушалась плохо, но все же лучше правой, и при некотором напряжении могла еще работать. И она левой рукой выдвинула тяжелый левый средний ящик своего дубового письменного стола: там находились письма и памятные записки: в одном большом конверте письма от дочери, в другом — от сына, в третьем — вся иная корреспонденция и копии разнообразных заявлений. Но писем от сына и дочери давно не было. Они забыли мать великой любви! Лежал только конверт с письмом, полученным давно, уже две недели назад, от Матрены Антиповны. О, если б она здесь была! Надежный человек. И ей преданный. Но не за-

ходит. Далеко живет. И тоже уже старая. И нездоровая. Об этом и пишет. Она достала конверт, вынула письмо. Оно было невелико, в одну с третью странички из школьной тетради, написано неграмотно, не авторучкой, а брызгающим пером школьной вставочки.

*«Здравствуйте многоуважаемая и дорогая Роза Моисеевна заочно кланяюсь вам и благодарю вас за деньги получила я 10 рублей большое вам спасибо как мне хочется повидаться с вами дорогая Роза Моисеевна и все никак не насмелюс уж очень я стала бояться сырости и дожжей даже в магазин не хожу в неделю рас сын приезжает и навсю неделю приносит продукты дорогая Роза Моисеевна отовсей души желаю вам не болеть сердцем и душой быть в хорошем настроении сердце любит покой а вы овсех и овсем беспокоаетесь заботитесь обовсех но берегите себя моя дорогая Роза Моисеевна у меня новость старший внук женится 22 октября зарегистрируются приглашают на свадьбу не знаю придется побывать насвадьбе или нет пока еще вволнах нога опять заболела ходить трудно не до свадьбы а младший внук на службе моряк на 3 года служит егото едва ли дождусь жизнь короткая а жить стало хорошо и умирать нехочетца и так дорогая Роза Моисеевна еще спасибо и спасибо вам будьте здоровы досвиданье вечна помнящая и любящая вас Матрена».*

Да, если б Матрена могла приехать, она давно была бы у нее. Посидела бы, пыль вытерла, вместе бы на тумбочке пообедали. Перед ней она не стеснялась, свой человек. Матрена помогла бы и не кривилась, как Лина. Если б она могла только приехать, давно бы была здесь, сразу бы к ней поднялась. Матрена ей предана. Ей наплевать на глупых старух, которые судачат у подъезда. Они как ничего из себя не представляли, были не больше, чем профессорскими женами, так и поныне не представляют. Матрена у них убирает, но цену им, конечно, знает, Пусть только приедет, сразу к ней придет.

Она снова посмотрела на свои корявые строчки, и что-то замелькало у нее в мозгу. Но в этот момент особенно сильно стало пучить живот — ее давно уже мучали газы. Надо было выпустить их. Она немного приподнялась со стула, раздался громкий звук. и она испытала некоторое облегчение, Положив ручку, поправила на сиденье кресла подушку. Запаха она не чувствовала, но знала, что его чувствуют другие, поэтому раньше всегда держала



открытой форточку, чтобы воздух был свежий. Но сейчас у нее не было сил влезать на стул и открывать форточку. Можно было позвать Лину, эту дуру, эту несчастную бездельницу, которая не умеет бороться за жизнь, позвать, чтобы укутала ее пледом и открыла форточку. Но вообразив ее недовольное лицо, она отказалась от этой мысли. К тому же чувство вины перед Линой, откуда-то пришедшее к ней сегодня, не покидало ее. В чем-то тут была ее вина, трагическая вина, хотя она не понимала, в чем. Как она одинока, что даже кликнуть некого! Дочь в Аргентине, милая дочь, которая никак не может получить визу и приехать к своей больной матери. Эта шайка дураков из аргентинского ЦК до сих пор мстит ей за то, что она как информатор Коминтерна писала о них правду! Это Кобовилья мстит! Она освободила Кобовилью, а он ее предал. Освободила от темноты невежества, убедила порвать с мафией. А он, как разбойники, освобожденные Дон Кихотом, закидал ее камнями. Ее им свалить не удалось, и они отыгрываются на дочери, которая и без того больна, а они нашептали про нее что-то в советском посольстве и теперь ей не дают визу. Не дают навестить больную мать! Бетти — дочь революции, она ее понимает, свою мать. А Петя с Линой заботятся, но не понимают, как она больна и сколько сделала для партии! Как так могло получиться, что выросшие в стране победившего социализма, куда она ехала из Аргентины как в Землю Обетованную, враждебно настроены к великим идеалам?.. Она отодвинула в сторону листок с началом воспоминаний и на другом таком же, только еще чистом листке все такими же крупными корявыми буквами написала для внука и для Лины, которая не должна забывать, что является внучкой Исаака Рабина, революционера, хоть и не сразу пришедшего к большевикам, но революционера, поэтому и женился на ней, настоящей большевичке, — так вот она написала, чтобы они следовали ее примеру. Это главное, а не воспоминания. Слова сложились такие: «Я жила долго и честно, всегда верная марксизму-ленинизму. *Живите так же! Роза Вострикова!*»

Отодвинула в сторону этот листок, поставила на него интербригадовца. Эту фигурку подарил ей один наш генерал в Испании. Да, она воевала в Испании, на родине Дон Кихота. Ей нравился генерал, но она никогда не изменяла Исааку! Или что-то было?.. Она уже не помнила. Помнила только, что генерал ока-

зался трусом, бросив ее на произвол судьбы, когда фалангисты штурмовали Валенсию. Нет, конечно, она не изменяла. С таким трусом! А сейчас она больна. Она скоро умрет, но никак не умирает. Потому что большевики были сделаны из железа. У нее столько болезней, что хватило бы на несколько человек, чтобы те умерли! Она очень больна. Еще до этого приступа у нее был плохой диагноз. Она достала его из стопки медицинских бумажек, сколотых скрепкой и лежавших на столе:

*«Вострикова Р. М. наблюдается в поликлинике № 1 МЗ СССР с 1938 г. Копия диагноза. Диффузный пневмосклероз, эмфизема легких, легочно-сердечная недостаточность 2 степени. Атеросклероз аорты, венечных сосудов сердца, сосудов мозга. Атеросклеротический кардиосклероз. Хроническая коронарная недостаточность. Стенокардия напряжения. Атеросклероз сосудов мозга. Деформирующий спондилез шейного отдела позвоночника с явлениями вторичного радикулита. По состоянию здоровья противопоказано подниматься на высокие этажи».*

Эта копия сделана ее рукой. Для чего ее делала, она не помнила. Но значит, и тогда она была очень больна. Она не вписала сюда блуждавшую, оторвавшуюся почку, потому что та не приносила ей хлопот, чему врач несказанно удивлялась. Ее организм приспособился жить с оторванной почкой. Но еще в ее организме была одна беда, ей не причинявшая вреда, но причинявшая вред другим — бациллоносительство. Она, сколько хватало сил, боролась с этим. Бедный, прекрасный Яша оказался жертвой ее проклятого больного организма. Когда она об этом думала, ей казалось, что уж лучше было бы сидеть в одиночной камере. Как она сидела при царизме. Но ведь и сейчас она одна в своей комнате, к ней заходят, за ней ухаживают, но *по обязанности*, без любви. И кто? *Близкие люди*. Но при царизме она сидела в одиночной камере всего месяц. Да и тогда даже царизм не устраивал таких пыток над революционерами. В тюрьме им позволялось ходить по камерам и общаться. А теперь она одна. И не едет Владлен, сын великой любви! О, какая это была любовь! Все удивлялись их любви! А теперь Владлен в Праге, и вообще его мечта — она знала об этом, она же его мать — развестись с Ириной, жениться на иностранке и покинуть страну победившего социализма. Все бегут отсюда, даже ее сын,

потому что здесь трудно. А она никогда не боялась трудностей! Но пусть хоть ненадолго хоть кто-нибудь придет. Ее дочь, ее Бетти, она придет, но может не успеть. Ей надо помочь, дочь сама ничего не умеет, такая беспомощная! Надо действовать! Надо действовать так энергично, как возможно! И дочь, и она — они заслужили! Они всегда боролись за светлое будущее человечества. И дочь, и она сама. Она имеет полное право обратиться к Брежневу непосредственно. Хотя Тимашев говорил, что Брежнев умер и сейчас Генсеком кто-то другой, фамилии она не могла припомнить. Но она и не помнит, чтоб Брежнев умирал. Разве, когда она болела. Нет, вряд ли. И на новом чистом листке она написала письмо Самому.

*«Дорогой Леонид Ильич!*

*Обращается к Вам член КПСС с 1905 г. Вострикова Роза Моисеевна персональный пенсионер союзного значения. Очень прошу Вас оказать содействие приезду моей дочери Бетти Востриковой де Сомми (поэтический псевдоним — Бетти Герилья), революционной писательнице и переводчице советской литературы на испанский, проживающей в Буэнос-Айресе. Мне 78 лет, я очень больна и хотела бы еще раз повидать свою единственную дочь, поэтессу и переводчицу и пропагандистку советской литературы Бетти Вострикову де Сомми, проживающую в Аргентине. Мне 93 года, я больна, у меня все путается в голове и я очень хотела бы еще раз повидать свою единственную дочь, дочь революции. Я не стала бы обращаться к Вам, дорогой Леонид Ильич, если бы не срочность этого дела. Моей дочери тоже 75 лет и по состоянию своего здоровья она может быть в Москве только срочно. Времени осталось немного. Она скопила на поездку в Москву, а здесь она будет жить у меня, а на обратную дорогу я надеюсь оплатить сама. Сегодня я получила письмо от дочери, в котором нашла анкеты, заполненные в советском посольстве в Буэнос-Айресе. А что с ними делать, куда их направлять? Ни она, ни я не знаем. Пожалуйста, помогите мне! Мой адрес: Москва Краснопрофессорский проезд, дом 10, кв. 5.*

*Заранее благодарная Вам буду ждать ответа на мой адрес и на мою просьбу.*

*С комприветом*

*Р. Вострикова, чл. ВКП(б) с 1905*

*28 октября 1983 г.*

*Р. С. Прошу срочно разрешить т. к. я себя чувствую плохо!»*

Теперь надо было это отнести в ЦК, в отдел писем. Но она не хочет, чтобы ходила Лина, Лина раздражает ее своей неприспособленностью, отсутствием каких-либо идеалов и желаний, кроме желания выйти замуж за уже женатого Тимашева. Хорошо, что Исаак не видит свою внучку, он бы расстроился! Петя это тоже не сумеет сделать, он еще мал, хотя хороший мальчик, но мал. Скоро придет Владлен и сделает это. Да, он сделает это, сын великой любви. Он скоро придет. Если не женится на какой-нибудь американке. Она хотела жить здесь, сюда детей привезла, в страну победившего социализма, чтобы они не испытывали, бедствий капиталистического общества, а они не хотят здесь жить. Ну, Бетти — это понятно, она вышла замуж за Луиса и вернулась на свою родину, ее родной язык — испанский, и она поэтесса! Но Владлен!.. Что он там будет делать!.. Он даже себе не представляет, как там трудно жить! Но он придет к ней, к своей матери. Он не оставит ее одну. А пока она должна ждать и жить. Жить среди варваров, которые ничего не понимают и не умеют жить по-человечески. И это в социалистической стране! Ох уж эта Лина, которой на все наплевать! И Петя под влиянием этой дуры так же воспитывается. Но у него есть здоровая основа. На это одна надежда. Потому что у нее уже нет сил воспитывать внука так, как надо. Но он умный мальчик, сам поймет, а ее заслуги в деле воспитания подрастающего поколения велики. Он вырастет и это поймет. Ей об этом не раз говорили. Она положила письмо Самому в ящик стола, чтобы оно там ожидало приезда сына, и вынула из кипы адресов первую попавшуюся под руку бумажку, они все были примерно с одинаковыми текстами. Вот и здесь они пишут, какая она замечательная коммунистка. Она стала читать, вспоминая себя на кафедре, но вспомнить ничего не могла, только могла читать про себя. И от этого чтения в душе поднималась гордость.

*Московский ордена Ленина и ордена Трудового  
Красного Знамени сельскохозяйственный  
институт им. И. В. Мичурина  
Кафедра истории КПСС и научного коммунизма*

*Глубокоуважаемая Роза Моисеевна!*

*Коллектив кафедры истории КПСС и научного коммунизма горячо поздравляет Вас, старейшего члена КПСС, с 90-летием со дня Вашего рождения.*

*Давно мы знаем Вас, Роза Моисеевна, как активного работника нашей великой партии, Вашу большую пропагандистскую и преподавательскую работу, направленную на воспитание трудящихся, нашей советской молодежи в духе высоких идей марксизма-ленинизма.*

*Желаем Вам, дорогая Роза Моисеевна, доброго здоровья, дальнейших успехов в коммунистическом воспитании трудящихся и большого личного счастья.*

Дальше шли подписи, их тоже было много, не только все члены кафедры, но и из парткома и из дирекции некоторые.

Да, она заслужила другое отношение, чем она получает от Лины, да порой и от внука. Он хороший мальчик, но еще многого не понимает. А ее заслуги признают, все признают. Даже этот дурак и негодяй Сасковец подписал это письмо. Не мог не подписать. Потому что она всегда жила правильно, а не «чего моя левая нога хочет», как у дикарей, как поступает эта Лина, эта дура, которая занята только тем, что трепется по телефону и ищет себе мужа. И потом эти подружки, которые изредка к ней заходят, кто они такие? Ведут какие-то пустые разговоры. Даже разговоров по специальности не ведут, а ведь Лина воображает, что она *архитектор*. Как начинает с каким-нибудь мужиком интересничать, то сразу: «Я, как архитектор, Корбюзье это понимал не так, школа Баухаза предполагает иное...» А сама даже книг по архитектуре не имеет. И уж во всяком случае не читает. Отсюда и пустые разговоры. Друзья дочери и сына были другие, они были и ее друзьями. Но вот сын уехал, и где они? Она одна, совсем одна. Один Тимашев ее изредка навещает. Он тоже хороший парень и, кажется, не очень глупый. А остальные прямо дикари какие-то! Никаких идей, никаких идеалов, только сплетни на уме.

Опять замурлыкал противный кот. Или кошка? Нет, кошку звали Алиской, еще котенком подарила ее она сама Исааку и его жене Алене. Они переезжали на новую квартиру, и суверенная Алена хотела, чтобы первой порог переступила кошка. Она много смеялась, но все просьбы Исаака были для нее законом, они не собирались быть вместе, но у них была настоящая любовь, и она достала кошку. Она, кажется, любила семью Исаака, переживала за все удачи и неудачи его сыновей, не мень-

ше самого Исаака. Кошку дети называли Алиской. А Исааку она сказала: «Смотри на кошку и вспоминай меня. Это будет моя заместительница, пока мы врозь. Смотри на нее и не грусти, не расстраивай Алену». Нет, это не Алиска мурлычет. Ее мурлыканье было нежным, а это грубое, противное. Это черный дворовый кот! Как только он ухитряется попасть в комнату?.. Ведь она же просила Лину не пускать кота, пусть лучше ходят люди. Один раз приходил Карл Бицын. Она его расспрашивала, почему он не сохранил фамилию отца и взял фамилию матери, но он отвечал что-то путаное, и с ним было неинтересно. Но Лина даже его, своего отца, к ней не пускала. Только кота. Или кошку? Может, это и впрямь являлась Алиска раздражать ее своим мявом за то, что она оторвала от семьи хозяина, мужчину? Нет, нет, Алиска была очень доброй и ласковой. Это, наверняка, кот. А кот — это дикое эгоистическое животное. Она не хотела кота, она хотела людей. А кот (или кошка?) был черный, лоснящийся, изгибал спину, глаза имел прищуренные, с прозеленью. Откуда он брался?!

Надо позвать Лину и попросить, убрать кота. Но нет, Лину ни о чем просить нельзя. Скажет: «Сейчас». И продолжает сидеть. Проходит и час, и полтора. А она все сидит, курит, возьмет телефон к себе на колени и с приятельницами болтает часами. Она не забывает. Ей напомнишь, а она в ответ: «Вы думаете, я забыла? Я все помню. Нечего меня погонять». Грубит и живет как сомнамбула, думая, что все придет как-нибудь само собой. Даже Тимашеву сцены устраивает, что уж совсем глупо, если она хочет за него замуж.

— Лина! — позвала она, но не громко, почти шепотом, потому что кот уставился ей прямо в глаза и шевелил усами. — Лина! — крикнула она погромче. — Убери кота! Я не хочу кота! Я хочу людей! Вам кот дороже умирающего человека! Зачем кот? Ли-на!

Но Лина не успела прийти, как кот, дикое животное, куда-то исчез. Лина пришла и, думая, что она опять блажит, стала уверять, что никакого кота и в помине в их квартире нет. Ушла. Но она-то видела его. Он приходил, этот черный кот, приходил и Машевич, старый друг по Аргентине и по партии, которого Лина тоже не заметила. Пропустила. Но он приходил и сидел перед ней на стуле, все такой же толстый и говорливый. Она раньше

думала, что он давно умер, но, видно, она ошибалась. Он шутил, вспоминал, какой горький и вкусный матэ они пили у нее в патио в Буэнос-Айресе. «Когда ты еще зайдешь?» — спросила она его. «Послезавтра! *Маньяна а ля маньяна!*» — ответил он. «*Буэно*», — сказала она. Это было несколько дней назад, но он так и не пришел, хотя ей было, чем его угостить.

Она встала и, шаркая тапками, подошла к платяному шкафу, открыла левую дверцу. Там, среди ее нижнего белья стояли две банки крабов, две банки сайры, коробка шоколадных конфет и коробка сливочной помадки с цукатами, эти помадки она ела по штучке, когда хотела сладкого. Выставить все это в общий шкаф на кухне она боялась, потому что все это могло быть уничтожено в течение вечера, и о ней никто не подумает, что она завтра может захотеть еще одну конфетку. Ей было не жалко, но у нее невольно вырабатывались такие привычки запасливого степного зверька, которого, как она помнила, называют не то сусликом, не то хомяком. Все эти продукты она получала в распределителе, или, точнее, в лечебной столовой на улице Грановского, и получала по заслугам. Да, по заслугам. Она получала сто шестьдесят пять рублей пенсии, шестьдесят из них тратила на паек: выдавалась книжечка с талонами на каждый день, в каждом два отделения — «обед» и «ужин». Она все равно всего не съедала, хватало на всех, и с избытком. Но Лина совершенно не умела вести экономно хозяйство. У нее было всегда разом густо и разом пусто. Как у дикарей первобытного общества, живших в стойбищах: то они убьют мамонта и пируют, а то месяцами сидят голодные. Впрок готовить и запасаться они практически не умели. Так и эта дура Лина. Как будто явилась в век социализма из первобытно-общинной формации. Да к ней и гости ходят из-за того, что могут поесть тут на дармовщинку, и весьма неплохо. Она их так заманивает. Сама она мало интереса для своих друзей представляет. Разве что для Тимашева. Но у того интерес *специфический*. А остальные привыкли к паразитарному образу жизни: урвать, где что дают. Кормят — и хорошо. Хорошо кормят — еще лучше. Она даже не могла запомнить все эти мелькавшие лица, время от времени приходивших к Лине на вечерние посиделки, когда не было Тимашева. Один сигаретный дым под потолком можно было запомнить. Поэтому и приходилось кое-что прятать. Для самой же Лины. Чтобы было ей потом, что на стол поставить.

Она достала помадку, разжевала, чувствуя во рту расплывающуюся приятную сладость, и проглотила, с раздражением думая о Лениных гостях, которым на саму Лину было наплевать. Все эти бывшие сослуживцы по бывшим случайным работам, которые совершенно не принимали во внимание Ленины интересы. Она с трепетом смотрела, как хорошие консервы, куски *вырезки* вынимаются из холодильника для случайных гостей. Да, случайных. Сегодня одни, завтра другие. И отнюдь не товарищей по партии или хотя бы по *общему делу*. И она не хотела зависеть от их *прозорливости*. Она хотела иметь возможность подойти и съесть конфету, когда это ей захочется. Ее невероятно раздражало это типично российское, с которым большевики когда-то боролись, но которое теперь победило во многом и коммунистов тоже, типично российское *наплевательство* на труд и результаты труда, нежелание видеть, откуда что берется, непонимание, что продукт есть результат труда и что, в частности, эти продукты, которые она получает, не с неба валяются. А Лина и ее случайные гости, приходившие поесть на дармовщинку, не желали понимать: есть продукты — сожрут, не задумавшись, откуда они; нету — ворчат и ругают советскую власть, не понимая, что эта власть — народная, их власть, что они сами должны лучше работать, чтобы было больше продуктов. Совсем как пещерные люди, снова подумала она, поевавшие в три дня мамонта, а потом неделями голодавшие. Когда она думала о пещерных людях, в голове ее воспроизводилась картинка из учебника истории, на которой были изображены низколобые волосато-мохнатые люди, пляшущие вокруг костра и размахивающие суковатыми дубинками и огромными костями, которые они только что грызли.

У нее першило в горле, что заставляло ее откашливаться и отхаркиваться, и мучили газы, больше ничего не болело, только неверность движений и головокружение, да еще она опять забыла, зачем встала и что собиралась делать. Она почувствовала, что халат ей неудобен в рукавах и теснит спину и грудь. Она провела рукой по пуговицам и нащупала, что он неправильно застегнут, наискосок. «Лина приходила, наверняка видела, но ничего не сказала. Надоело ей со мной возиться». Она перестегнула, но стало еще хуже, еще неудобнее. Тогда сызнова расстегнула все пуговицы и почти неслушающимися пальцами, аккуратно, пуго-



вицу за пуговицей, застегнула его, каждый раз проверяя последовательность и порядок. Стало удобно. Тогда она вернулась за стол, так и не вспомнив, зачем подходила к шкафу и уже забыв о съеденной конфете.

Она сидела за столом и не знала, что писать. Надо собраться с силами и с мыслями. Ведь она сильная. Она одна, бесконечно одинокая, все ее забыли, но она сильная. Она все сумеет. Надо попросить Илью, друга Владлена, отнести письмо в ЦК. Он это сделает. И дочь приедет. И тогда она не будет одна. Она будет заботиться о дочери. У нее есть еще возможности и силы, чтобы обеспечить свою единственную дочь. Она всегда все делала сама. Только письмо попросит отнести Илью. Он приветливый и все сделает. Илья хороший, верный парень, друг Владлена, он ее не забывает, навещает ее. Эта дура, Лина, хочет завести с ним роман. Нет, хочет замуж. Она все видит, она хоть и старая, но все видит. Она сильная. Сама всего добивалась. Как она училась! В гимназии, в условиях самодержавия, когда евреев ненавидело царское правительство, она получила золотую медаль. Потому что евреи это народ письменного слова, народ Книги. Для нее такой Книгой стал Маркс. А не Талмуд с Ветхим Заветом. Уже отец был равнодушен к Талмуду. Но зато знал почти наизусть книгу Сармьенто. Это тоже любовь к Книге. У Лины такой любви нет. А у Пети есть. Он похож на нее, на свою бабушку. А она сильная. Она и сейчас еще многое может, несмотря на возраст. Лина так не сможет. Лина — лентяйка. А она до этого приступа не только сама себе обед готовила, но сама себя обстирывала. Чтоб сохранить фигуру и здоровье, следила за собой. Утренняя гимнастика, диета, разгрузочные дни на яблоках, чтоб очистить желудок и толстую кишку. Они, и Владлен в том числе, думали, что она о себе заботится. А она о них заботилась. *Не хотела быть им в тягость.* А теперь ей плохо, она не может, как раньше, а все забыли, что столько лет она была самодостаточна и, чем могла, им помогала. Никто к ней не едет. Никто не хочет принести жертву. Искупить ее этой жертвой у грозного, неведомого Бога. Как это делали древние греки и древние евреи. Она хочет умереть. И чем скорее, тем лучше. Пусть принесут ради нее какую-нибудь *жертву*. Чтоб она умерла. Она не любит от кого-нибудь зависеть. Пусть лучше от нее зависят. Она всегда жила, чтоб приносить пользу ближним. Дурацкий Эдип (она помнила его

имя со времен гимназии) думал, что, когда он умрет, то там, где его похоронят, будет тому месту удача. Чепуха. Человек должен действовать и приносить пользу, пока жив. А потом умереть. Умереть, а не уснуть, как говорил Гамлет. Безо всяких сновидений. Ведь и без того, прав Кальдерон, именно жизнь есть сон, *ля бида эс суэньо*. Особенно перед смертью это ясно. Теперь пришла пора умирать, а она не умирает. А человек живет только, пока сам себя обслуживает, сам о себе заботится.

Мы не можем ждать милостей от природы, говорил гениальный ученый-садовод и марксист, выдающийся естествоиспытатель, вооруженный диалектическим методом, Иван Владимирович Мичурин, взять эти милости у нее — наша задача. Только при социализме его мечты стали претворяться в действительность. Но еще недостаточно сознательности, мало ведется воспитательной работы. А такие как Лина, хоть она и внучка ей по Исааку, тянут страну назад, к буржуазному варварству. Только социализм преодолевает отчуждение человека от средств производства. А стало быть, от дикости и каннибализма. Хотя Илья Тимашев говорит, что как раз социалистический передел собственности ведет к временам переселения народов и новому варварству. Он попал под плохое влияние. Хотя хороший парень. Надо быть упорным, чтобы, несмотря ни на что, сохранять веру в *идеалы*.

А это упорство у меня от отца, подумала она. Отец был высокий, богатырского сложения, с широкой грудью, огромными руками — и при этом очень свободолюбив. Он был как ветхозаветный Моисей, хотел увести семью из рабства, из рабства царизма. Аргентина казалась ему Землей Обетованной: «Там тоже орды варваров, но там нет антисемитизма. Там мы будем жить просто как люди». Да, ветхозаветный Моисей увел еврейский народ через пустыню из египетского плена, а ее отец свою семью из царской России. Так отразилась в одном человеке вся история, все тенденция и направленность еврейского племени. Не понимал он только, что лишь в борьбе за счастье всех трудящихся будет решен и еврейский вопрос. Она помнила, как отец ходил по маленькой комнате, среди рухляди, упакованных ящиков, мешков и баулов, а они, трое старших его детей, сидели перед ним на сундуке и ждали, когда придет извозчик, это была их первая эмиграция, и отец тоже нервничал, он ходил по

комнате, пропахшей кожей, обувью и керосином, запах которого бил отовсюду, изо всех щелей их маленькой комнатки (на керосине готовили, керосином морили клопов, керосин использовали как лекарство), ходил и говорил. Он держал в одной руке самоучитель испанского языка, а в другой — первую книгу, которую он одолел по-испански и которая заменила ему Библию, — книгу аргентинского президента Сармьенто: «Цивилизация и варварство. Жизнь Хуана Факундо Кироги. А также физический облик, обычаи и нравы Аргентинской республики». Она хорошо помнила эту книгу, любимую книгу отца. Отец был необразованный человек, и первая прочитанная на чужом языке, к тому же найденная и открытая им самим книга сопровождала отныне его повсюду, а цитаты из нее так и высказывали с его языка.

Да-да, призналась она себе, отец-то и был настоящим Дон Кихотом. Начитался Сармьенто, как ламанчский идальго рыцарских романов, и решил все прочитанное осуществить на практике. Правда он не знал — его беда! — законов исторического развития, как их знали большевики. Они тоже вычитали их в книжке, но подтверждение им увидели в жизни. А отец был фантаст, мечтатель. Он рисовал перед ними, своими детьми, величественные картины дикой девственной пампы, по которой носятся лихие, бесстрашные и беспощадные гаучо, своего рода кентавры степей, говорил, что Аргентина обладает несметными природными богатствами, покоящимися без движения, но пустынна и заселена слабо, а с гаучо поэтому можно будет договориться по-людски, ведь для них они не будут евреями и изгоями, а простыми переселенцами, а любому переселенцу есть там место и без барона Гирша, есть, чем там заняться. Что, конечно, природа дика, что таков же пока и аргентинец, этот кентавр без науки и образования, — варвар, не тронутый цивилизацией. Об этом пишет Сармьенто, с почтением произносил отец, аргентинский Петр Первый, затеявший цивилизовать эту страну, и он обещает, что Аргентина приветливо встретит энергичных и деловых людей. Цитируя Сармьенто, отец вновь и вновь повторял, словно уговаривая себя, что пока, конечно, аргентинец — дикарь, но это пройдет, ведь иным он и не мог получиться, потому что он — порождение встречи пришельцев-испанцев, самого нецивилизованного по тем временам и варварского народа Европы (установившего злейшую инквизицию и выгнавшего евре-

ев и мавров, при которых земля Испании плодоносила), с дикой природой и дикими обитателями аргентинской пампы. От столкновения двух миров — индейского и испанского — и родился аргентинец, метис, гаучо, который наследовал все свойства своих предшественников и дикой природы. Но он способен к цивилизации, считает Сармьенто. Тут отец останавливался и, заложив пальцы своих больших рук в проймы шелковой жилетки, смотрел на них, желая убедиться, что они поняли его. А что они могли понять! Ей, старшей, было шесть, сестренке пять, а брату и всего три года. Но ему надо было с кем-нибудь поделиться, потому что мать, хоть и подчинялась ему во всем, никаких теорий слушать не хотела, она была полная красивая женщина, замечательная кулинарка, и хотела только спокойствия, и чтоб дети были живы и при ней, и чтобы кухня была больших размеров, а она на ней единственной хозяйкой, без своей тоже уже замужней сестры и властной матери. Они все жили в одном доме. Тем более не хотели слушать отца соседи по улице. Они считали, что Моисей Востриков немного свихнулся. Разве надо было читать какую-то аргентинскую книгу, чтоб бежать от погромов! Вот и приходилось ему разговаривать с детьми.

Отец откладывал в сторону самоучитель испанского, открывал на заложенной странице книгу Сармьенто и переводил им, наполовину догадываясь и пересказывая, подняв кверху с важностью палец, как это делал их сосед, возчик Гершеле, когда читал Талмуд. Аргентинец, говорил отец, отличается стремлением к праздности и нежеланием заниматься полезной общественной деятельностью. Но со времени Сармьенто Аргентина пытается стать цивилизованной страной, там человек если трудится, то может всего достичь, там нет погромов, войн и насилия, уже нет, а в России как в аду никогда не знаешь, какая беда или несчастье ожидают тебя завтра. Ведь погромы устраивают люди, которые не умеют и не желают работать. Поэтому им надо чем-то заняться, а война не часто бывает, где они могут делать то, что умеют, ведь варвары умеют только воевать и грабить, насиловать и убивать, вот они и устраивают погромы, избивая и убивая мирных, никому не причиняющих зла людей богоизбранного племени. Хотя, добавлял он задумчиво, быть может, так евреям предначертано спастись по всему миру, сшивая своей судьбой историю человечества. У отца все же был один недостаток:

он верил в некие Божественные Предначертания, не понимая, что не Бог, а люди, сплотившиеся вместе под руководством великих идей марксизма-ленинизма, принесут народам мир и благоденствие. Тем более не способен на это буржуазный либерал Сармьенто со своими примитивными идеями. Отец говорил, что борьба варварства и цивилизации извечна и предначертана свыше (и так часто повторял это, что и в ней засело предубеждение к варварству, которое надо было не отрицать, а преодолевать, перевоспитывая людей, как учит марксизм-ленинизм). Отец был не очень образованный человек, поэтому любил громкие и широкие обобщения. Но хоть и необразованный, он был свободолюб. Конечно, национально-ограниченный человек, утверждал всякие глупости, что евреи, получив свой закон четыре тысячи лет назад от Моисея, за это время обрзались и научились трудиться по-человечески. А ведь на все нужен исторический срок, говорил отец. Но он был свободолюб, и это главное, о чем надо написать. От него и она получила свое свободолюбие.

Но как это написать? Да и важно ли это? Она снова положила на стол авторучку. Она привыкла, что важно только общезначимое, то есть то, что для всех важно, а не ее личные дела. Хотя в личных делах у нее всегда была удача. Правда, сорвалось у нее писание труда по истории партиячейки, откуда она начинала свою деятельность. Но она и не жалела. Она все свое время пожертвовала Исааку. И ей важнее были лично-бытовые удачи. Хотя бывали и неудачи. Но никогда они не выбивали ее из седла. Но кому это интересно? А в воспоминаниях надо писать о себе в общем смысле, чтоб ее жизнь стала примером. И поэтому важно сказать, что силу воли и свободолюбие она получила от отца. Она всегда была самостоятельная. В отличие от Исаака. Вот и сейчас она сама на своих ногах стоит. «Только хожу с трудом», — вдруг с юмором подумала она. Но тут же себя одернула. В мемуарах надо быть серьезной. И мысль снова провалилась в колодезь воспоминаний. Да, она всегда на своих ногах стояла. И теперь, в старости. Даже внука и внучку поддерживает. Лина тоже внучка. От сына Исаака от первого брака. И такая же беспомощная, как Исаак. Или он не был беспомощным?

Она вспоминала. Он был тверд. Он ушел из дома и снял квартиру. Когда разлюбил свою первую жену и полюбил ее. Но как он метался! Он что-то такое говорил о мормонах и подумывал

поступить к ним в секту. Он говорил, что так и должен жить ветхозаветный патриарх, как живут мормоны в североамериканском штате Юта, чтоб у мужа был свой дом, а у каждой из жен — свой, раз мужчина может содержать не одну семью. Часть времени он бы проводил с первой женой, часть — со второй, а большую часть времени был бы предоставлен сам себе и своим ученым и творческим занятиям. Потом только она поняла, как это было наивно при его полной житейской неприспособленности, неумении даже обед себе сварить. А тогда она не возражала, понимая, что ему трудно рвать с прошлым, с женщиной, которую он когда-то любил, пусть тешит себя иллюзиями, а впрочем, она и сама так любила его — на все готова была согласиться. Она вернула ему молодость, и Исаак был неутомим как любовник. Она зажигала его. А его страсть распалила и ее. Она понимала, к кому из жен, если все-таки он уйдет в мормоны, он будет ходить чаще. Почему-то тогда ее не смущала такая перспектива, хотя она и была коммунисткой. А может, потому, что коммунисты тоже были за свободу любви, и при этом не все ли равно, какая форма взаимоотношений между мужчиной и женщиной, если они любят друга. Ее не смущало и слово *любовница*. Потому что оно происходило от слова *любовь*. Как они с Исааком любили друг друга! Это была великая любовь! Она не помнила никаких эротических поз, чем уже тогда бредили на Западе, но она до сих пор помнила часы, ночи и места, где она переживала высший любовный экстаз! Когда ей было особенно хорошо! Так, что казалось, что душа растает с телом, а в глазах сверкают молнии. Ей тогда казалось, что и мужчина переживает одновременно и так же, потом она поняла, что они более примитивно устроены, чем женщины, но ему с ней было полноценно, что особенно ценят мужчины, а все потому, что он любил. Она возвращала ему молодость! Как молодело его лицо в моменты любви! Лицо серьезного профессора из Лаплатского университета, исследователя, ученого, сразу становилось похожим на лицо счастливого мальчишки. Она ему это говорила, что он с ней молодеет, становится похож на мальчика, *чико*. Он верил и не верил ее словам, но все же больше верил. И он тогда рассуждал с ней доверительно, что Гёте в «Фаусте» именно это имел в виду, что любовь к Гретхен омолодила старого Фауста, а Мефистофель не при чем, или, если говорить точнее, он сидит в каждом пожилom

мужчине, который втайне мечтает о молодости, красоте и любви. А каким, если сейчас посмотреть, был он пожилым! Сорок четыре года! Смех, да и только. И вправду мальчишка. Но метафизические тонкости ее не волновали. Ее волновали только две проблемы: партийные дела и его любовь. И если положить руку на сердце, она может себе признаться, что в какой-то момент любовь волновала сильней.

В самом начале их отношений он рассчитывал на легкую интрижку, небольшой роман, потом надеялся, что она останется его *тайной* любовницей. Но она сразу почувствовала, что он истомился по женской ласке и нежности. Алена была, видимо, слишком сурова с ним. Он чего-то или кого-то, неосознанно для себя, но *искал*. И она стала его *находкой*. Она стала ему нужна, и не только в постели. В их случайных пристанищах и жилищах она умела создать ему уют, в котором он с возрастом стал нуждаться, несмотря на всю свою неприхотливость. В конце концов на пароме они поехали в Монтевидео, и в другой стране, уже в Уругвае, а не в Аргентине зарегистрировали свои отношения. Теперь это стало необходимо, потому что она тоже родила сына, Владлена. Если б она могла, она бы обошлась без этих записей, без этого дурацкого узаконения свободной любви, но жить в обществе и быть свободным от общества невозможно. Владлену она дала свою фамилию, чтоб не растревлять раны Исаака, который боялся, что жена узнает еще и о ребенке, но узаконить свое отцовство он считал своим долгом, а иного пути, чем брак, в этих ханжеских католических странах не было. Так, на какое-то время, Исаак стал двоежцем. Но на *мормонскую* жизнь сил у него не хватило. Он развелся с Аленой, но не там, а уже здесь, в Союзе, чтоб суметь вывезти и ее, и детей, вывезти туда, где он мог бы им помогать. И оттого, что он не развелся сразу, Алена очень долго *надеялась*, что *ее* Исаак вернется к *ней*. Но он так и не вернулся. Странно, однако, что он все время вспоминал кошку Алису, которую пришлось оставить в Буэнос-Айресе, и даже тосковал по ней. Все так вышло ужасно, ужасно!.. Подарила кошку, а увела мужа. Лучше об этом не думать.

Она изо всех сил заботилась об Исааке, потому что с возрастом он становился все неприспособленнее и неприспособленнее к жизни. Она заботилась о Бетти и Владлене. Теперь она поддерживает Лину и Петю. Она может это делать, потому что она пер-

сональный пенсионер союзного значения. Конечно, она могла бы плюнуть на материальные выгоды этого звания. Так поступил бы Исаак, который никогда не воспользовался плодами своего профессорского звания. Но он всегда был беспомощный, как ребенок. Когда они ехали в эвакуацию в Самарканд, он сидел в вагоне, худой, сутулый, но не умел получить даже положенного ему пайка, только повторял иногда, робко, как ребенок: «Роза, я хочу есть». И ей приходилось все доставать самой, пробивать бюрократизм и разгильдяйство. Ей вообще всегда приходилось о всех заботиться. Она была старшая в семье. И в гимназии сама себя содержала уроками. Так и с персональной пенсией. Она понимала, что это на всю оставшуюся жизнь ей обеспечение. И пошла, и добилась. Потому что она помнила о завтрашнем дне. Это дикари съедают мамонта за один раз, а она помнила, что завтра всегда наступает. И вот она получает пенсию в сто шестьдесят пять рублей, имеет паек в столовой лечебного питания, пользуется Кремлевкой, Барвихой, причем санаторий раз в году для нее бесплатный, а еще она имеет тринадцатую пенсию и единый проездной билет на все виды транспорта, выдаваемый на целый год, и всегда берет трамвай, или автобус, или метро, потому что умеет экономить, а Лина все норовит на такси, живет, не думая о завтрашнем дне. Она еще прикинула и вспомнила, что как старый большевик она и квартплату платит половинную. Получила она эти льготы двадцать пять лет назад, а разве двадцать пять лет это малый срок? Она самодовольно и удовлетворенно улыбнулась сама себе. Да, жизнь многому научила ее. Потому что она хотела учиться. А Исаака ничто не учило. По приезде в Россию он купил две комнаты в коммунальной кооперативной квартире и так бы и прожил там все свои последние двадцать лет жизни, если б она не выяснила все законы и не сумела пропихнуть его в очередь на квартиру, а дом строил его собственный Институт. И тогда они получили эту, большую по советским понятиям, сорокашестиметровую квартиру из трех комнат. Ведь цивилизованный человек устраивается как можно лучше и удобнее. Возводит дом, укрепляет его, утепляет, запасается припасами. Как объяснить всю важность такого отношения к жизни!

И это не значит, что цивилизованный человек не борется за светлые идеалы. Когда надо, он готов на любые лишения. Как испанские интербригадовцы, которые шли по донкихотски в



бой, пусть в чужой стране, но за высокие идеалы. Во имя идеи. У цивилизованного человека поступок следует за идеей. Ведь даже плохой архитектор, в отличие от пчелы, как писал Маркс, имеет прежде в голове план здания. Человек отличается от животного разумом. И тут необходимо терпение и настойчивость. Конечно, революция обладает очистительной силой, но в Европе она усвоила еще одно: если не получается сразу, а сразу вообще мало что получается, то все равно достигается помаленьку, маленькими усилиями. Теорию малых дел большевики отвергли правильно, но в жизни необходимы, тем не менее, постоянные мелкие усилия. Это как ежедневно чистить зубы, умываться, застилать постель, убирать комнату и мыть посуду...

Снова с шумом вырвались из нее газы. Стало легче. Проклятое тело, она потеряла над ним власть. Не только тело, все ее покинули, все. Стариков всегда оставляют. У Эдипа была Антигона, а у короля Лира Корделия. А она совсем одна. Ни к кому из детей не поедешь. Оба далеко. А она больна и не может поехать. Хоть бы ураган какой, хоть бы дом взорвался, чтобы она, наконец, перестала мучиться! Почему она не может спокойно умереть?! Заснуть и умереть во сне! То-то было бы счастье! Она вспомнила, что так умер отец ее гимназической подруги, во сне, спокойно. Какой-то чеховский тип, настоящий человек в футляре, обычный чиновник, а так повезло!.. Почему-то она помнит все, что было в юности, и совсем почти не помнит недавнего прошлого. Речь произносил отец другой ее гимназической подруги, Тани, которую она вовлекла в *организацию*, а отец ее был *батюшка*, то есть поп. Долго пели, стояли со свечами, тоненькими, которые зажигали одну от другой, читал высокий мужик в рясе что-то по толстой книге, а потом говорил Танин отец. Она с удивлением подумала, что помнит даже какие-то обрывки этой речи, говорившейся над открытой могилой. Вот странно! Она не хотела вспоминать ее, но слова сами появлялись в ее памяти, пока не исчерпались. «Незабвенный Петр Алексеевич! Мы веруем, что дух твой еще не оставил нас, что он еще витает здесь с нами, и тем ближе около нас, чем менее он стеснен теперь тою внешнею оболочкою, которая полагала непроходимую грань ему... Прими, дорогой наш человек, наше краткое и слабое слово, как дань искреннего уважения к тебе. Верь, что, выбывая так рано из человеческой семьи по неисповедимым судь-

бам Промысла Божия, ты навсегда оставляешь по себе в сердцах своих родных и близких добрую и незабвенную память». Но сердца тоже истлевают, вдруг подумала она. И если Бога нет, то надо записать все, что было, потому что иначе памяти не будет. За гробом того, умершего до революции типа, типичного представителя царского чиновничества, стояла дочь и рыдала. Мы ее утешали, хотя к смерти этого чиновника были вполне равнодушны. Зря что ли Щедрина с Чеховым читали. Но этому чиновнику повезло. Почему повезло? Ведь его уже не было. Все равно это приятно, когда тебя провожают в последний путь твои дети. А ее дети пусть прочтут внимательно то, что она напишет.

Она в который раз взяла авторучку, но писать по-прежнему не могла, думая о детях. Прага близко, но Владлен рвется дальше, прочь. Еще перед отъездом все шутил с женой, с Ириной: «Если разведемся, на сей раз женюсь на иностранке — лучше всего на американке. И бегом отсюда!» Но она понимала, что это не просто шутка. Сейчас он в Праге. Он очень радовался, когда туда ехал: там больше иностранцев. Ирина за ним покатила. Она себя без него не мыслит. Что там у них? Если б он знал, какая это даль — Америка! Буэнос-Айрес, вот где даль! Дочь, больная, несчастная, там живет, она о ней не заботилась, когда дочь была грудничком, потому что у нее не было молока, а она и не знала этого, некому было подсказать, родила по дороге к матери, на пароходе, и не понимала, почему дочь все кричит, все плачет, и дочь почти два месяца почти ничего не ела. Потом ее мать догадалась, кормили искусственным питанием, козье молоко было дорого, не по карману, проклятый капитализм! С тех пор дочь все время болеет. Дочь слабенькая, но она красавица, она поэтесса. Она тоже прочтет ее воспоминания. И будет ее помнить.

Мысль снова ушла в прошлое, к тем дням, когда пароход вез их в первый раз через океан в неизвестность, в Аргентину. Опять все начинать сначала, причитала мать, где же, наконец, пристанище нашему племени, доколе эти вечные скитания и страдания? Родители нервничали, что-то *там* будет, беспокоились за баулы, которые были сложены на палубе, они ехали третьим классом, но ей все было интересно, и она ходила среди страдавших от качки переселенцев, прижимавших к себе пожитки, хотя красть там было некому, держала брата и сестру за руки, чтоб не подбегали к борту, чувствуя себя старшей, покрикивала на них,

чтобы они вели себя как цивилизованные люди, а не как босяки, чтобы не скулили от качки и волн. А отец все учил испанский по самоучителю и книге Сармьенто, твердя им о варварстве и цивилизации, как будто забыл все другие слова. Он был очень увлекающийся человек. Но свободолюб. Она была способной к языкам и быстро усвоила уроки отца и стала понимать Сармьенто без перевода. Но насколько его идеи, как поняла она спустя время, беднее идей марксизма. Только марксизм показал силы, которые могли преодолеть противоречивое развитие общества, уничтожить угнетение человека человеком, порождавшее варварское, хищническое отношение людей друг к другу.

А у варварства, которое порождено было капиталистическим способом производства и породило впоследствии фашизм, было одно свойство, одна сила, которую мягкосердечной отцовской цивилизации было не преодолеть: решимость убить. Только ленинизм выдвинул идею воинствующего гуманизма и позвал сражаться за счастье миллионов. Ведь только сражаясь, можно победить зло, чего никак не хотел понять Исаак, оба Исаака: и их работник, и ее будущий муж. Она помнила, как рассерженный гаучо подъехал к их воротам и потребовал отца. Он полагал, что отец обсчитал его при покупке скота и хотел потребовать еще денег. Но отец был честный и никогда никого не обсчитывал. Гаучо, однако, этого не знал, он стоял, уперев руки в бока кожаной куртки, у левого бедра висел нож, *кучижся*, на правой руке через плечо свернутое лассо, глаз из-под шляпы не было видно, только черные густые усы, и он грубо ругался. А когда работник Исаак (которого отец воспитывал почти как сына, он был прямо как член семьи и приехал с ними из Юзовки) вышел к воротам и сказал, что отца нет дома, но что все расчеты произведены правильно, тогда гаучо еще больше рассердился, выхватил нож и зарезал работника, а потом вскочил на лошадь и ускакал. Она стояла у сарая и все это видела, видела, как работник вскрикнул и упал, схватившись руками за грудь, как дернулись ноги, и лужицу вылившейся из него красной крови. Еще секунду назад он двигался и что-то говорил, и вот его нет и уже никогда не будет. И на всю жизнь ее испугало спокойствие и отсутствие колебаний, с какими было совершено это убийство. И хотя отец ссылался на Сармьенто (что жизнь аргентинца в пампе полна опасностей, отсюда в его характере стоическое смирение перед

насильственной смертью и то безразличие, с каким аргентинец убивает и сам встречается смерть), он был растерян, потрясен и испуган. Она помнила, что гаучо был высок, широкоплеч, в нарядном пончо — красивый мужчина, и вот он убил и ускакал, а работник лежал на траве мертвый. Гаучо ускакал, но он крикнул, что еще вернется поговорить с отцом. Они очень испугались и, когда отец возвратился из поездки по делам, все ему рассказали. Да, он тогда вспомнил Сармьенто, но тоже испугался и очень расстроился из-за работника, которого любил как сына. А где ее сын? Сын великой любви? Она несколько лет не выходила замуж за Исаака, чтоб не разрушить его семью. Пока он просто не ушел из дому. И не стал жить один. Тогда она пришла к нему, он был такой беззащитный, неумелый, о нем все время надо было заботиться. И капризный, как ребенок. И у них родился сын. Сын великой любви! Который сейчас в Праге. И не может приехать к своей смертельно больной матери. А отец тоже любил работника как сына. Тогда они его похоронили, продали ферму и переехали в Буэнос-Айрес. Ах, она навсегда запомнила этот город! Ночные цикады, пролетки, стучащие колесами, бой петухов, которым увлекся в Буэнос-Айресе отец, дневная сиеста, когда все спят, даже рабочие, прямо на плитах тротуара, внутренние дворики почти при каждом доме, широкие лоджии, красные ленточки федералистов, борьба федералистов и уни-тариев, городская жизнь, которая длилась до двух часов ночи, в том числе и для детей, импульсивные, темпераментные люди. Росас. Католическая церковь, которая была сильна, все чуть что крестились слева направо, целуя кончик ногтя на большом пальце правой руки. Кто мог знать, что возникнет еще одна большая партия — большевиков, а она окажется одним из ее организаторов. Но это уже во второй приезд, когда она была уже молодой женщиной, носила с собой пестрый веер, шляпку с мантильей, да, была молодой. Но в тот раз, когда они бежали с фермы, у отца дела в Буэнос-Айресе пошли неважно. И он сказал ей: «Ты должна учиться, чтобы стать цивилизованной женщиной». И они вернулись в Россию, на родину.

А там была потом гимназия и первые революционные кружки. Она работала среди шахтеров, пивших и в будни, и особенно по праздникам, когда без поножовщины и пьяных убийств дело не обходилось, беспрестанно дравшихся друг с другом, бивших

своих жен и детей. Раньше она боялась этой грубой жизни, потому что навсегда запомнила этого страшного гаучо, грубого варвара, но теперь, когда она стала марксисткой и прочитала работу Энгельса «О положении рабочего класса в Англии», она поняла, что дело не в том, каков тот или иной рабочий, ибо в его недостатках виноват буржуазный строй, а в том, что за осознавшим свою миссию рабочим классом — будущее. И она смело ходила преподавать в рабочие кружки, где сознательные рабочие не позволяли пьяным хулиганам, забредавшим на занятия, обижать барышню и провожали ее вечерами до дома, в котором она снимала квартиру. А она звонким голосом объясняла им по дороге, что необходимо бороться за свои права, что им принадлежит будущее, что именно они построят бесклассовое общество. При непосредственном наблюдении рабочего класса, — говорила она с важностью, подняв кверху палец, невольно повторяя жест отца, — фиксации его непосредственных требований, нельзя порой увидеть, что именно рабочий класс призван преобразовать общество. Для того, чтобы это увидеть, нужно было совершить научное открытие, перейти от явления к сущности, выйти за пределы непосредственно данного, иными словами, совершить скачок в познании. Неважно, в чем в данный момент видит свою цель тот или иной пролетарий или весь пролетариат. А важно другое: *что* такое пролетариат на самом деле и что он соответственно своему бытию исторически будет вынужден делать. А они слушали благоговейно, цепenea как от малопонятных слов, о которых они не решались спросить, так и от присутствия чистенькой хорошенькой барышни. Это она поняла только потом, об этом ей рассказал ее первый муж, он был из пролетариев, его она тоже учила марксизму в кружке, и она была для него настоящей принцессой совсем из другой жизни.

Да, именно в кружке она встретила своего первого мужа, отца Бетти. Она называла его мужем, хотя они не венчались, не из-за разницы религий, разумеется, им обоим было на это наплевать, а для свободы, и жили, как тогда называлось, в гражданском браке. Она всегда была выше предрассудков, если есть настоящая любовь. Ей было шестнадцать лет, а он был очень красив, высокий, широкоплечий, черноусый, немножко грубоват и резок, неотесан, но таким и должен быть настоящий пролетарий. А она всю себя принесла пролетариату и не боялась никаких

условностей. К тому же ее первый муж физически чем-то напоминал того гаучо-убийцу, чей облик отпечатался в ее памяти и часто вспоминался ей со странным чувством магнетизма, он притягивал ее, хотелось как-то умиловить его. Но это было, когда она была глупой девчонкой, потом это прошло. Хотя она и сейчас помнит его. Но никакого магнетизма нет. А еще ее муж походил на Горького, конечно, молодого Горького, чей литографированный портрет она однажды приобрела в книжной лавке, хотя живого так никогда и не видела. Когда они в поезде ехали до границы и выходили на станциях, его принимали за Горького, и молодежь устраивала ему овации. Она гордилась этим сходством, еще не подозревая, что в духовном плане он совершенное ничто. А Горький тогда как раз стал настоящим пролетарским писателем, перестал изображать босяков и написал роман «Мать», став родоначальником социалистического реализма, где жизнь изображается не как она есть, а в ее революционном развитии. Она тоже мать, и дети ее настоящие коммунисты...

\* \* \*

Она задумалась, не выпуская из пальцев авторучки. В дверь тихонько стукнули, и вошел мужчина, очень молодой, почти подросток, что-то среднее между *чико* и *чикоте*. Она его не знала и знала одновременно, она его давно не видела, хотя ей казалось, что он уже приходил. За ним прокралась кошка, сверкая зелеными глазами и дыбя шерсть, черная кошка с длинными усами. Сейчас она не так ее раздражала как обычно и, хотя это была явно не Алиска, но, может быть, кто-то из ее потомства, да к тому же пришел гость, и она хотела догадаться, кто он такой. Испанские слова, однако, вспомнились не случайно. На голове вошедшего было широкополое сомбреро, кожаная куртка и кожаные штаны, усики едва-едва намечались, черненькие и жиденькие, а над кривым носом моргали испуганные, робкие, но большие и красивые глаза. Он явно красовался в своем наряде и хотел казаться храбрым и сильным.

— Роза, я помню тебя девочкой, — сказал он, откидывая на плечи сомбреро, и оно повисло на шнурке, прикрыв ему плечи и верхнюю часть спины. — Тебе было семь, мне семнадцать, и мой хозяин, а твой отец, обещал выдать тебе за мне, когда ты войдешь в возраст. Дядя Моисей был справедлив, он бы выполнил

свое обещание... Ты мне помнишь еще, Роза? Помнишь, я любил ходить в сомбреро, чтобы походить на гаучо, но настоящий гаучо мне убил... Он был *маль омбре*... Плохой человек...

Она была рада, что хоть кто-то к ней пришел, и улыбнулась ему, сказав:

— Присаживайтесь, пожалуйста. Я так рада вас видеть, а то я все одна. Как вас зовут?

— Мне зовут Исаак, Роза. Неужели ты мне не помнишь? Мы жили вместе в пампе. Пампа была ровная и зеленая, как бильярдный стол, *ля пампа*. На боку у меня висела *кучижя*, как у настоящего гаучо. Я хотел научиться скакать на коне, как аргентинский кентавр объезжать диких жеребцов, уметь на полном скаку остановить лошадь у нор *вискачи*, чтобы лошадь не сломала ногу, попав в норку. Так делали все гаучо. Я учился охотиться на *вискачи*, на американского зайца. Но я не умел убивать. Я мирный еврей. Мы с тобой гуляли во дворе и немного по пампе. А помнишь изгородь и столбы в ней? Мы ее ставили с твоим отцом. На верхушках столбов были круглые гнезда *орнеро*, по-русски эту птичку называли печник. Эти птички строили гнезда на столбах и пнях, они лепили их из грязи и травы. И помнишь, мы видели с тобой, как *орнеро* попал лапкой в петельку из травинки, им самим принесенной для постройки. Он давно висел и задыхался. Я достал *кучижя* и отрезал травинку, освободил *орнеро*. Ты помнишь? Он встал на ноги и запел, запел нам в благодарность песенку. А потом полетел над травой. Птичка благодарила нас, что мы спасли ей жизнь. Роза, помнишь ли ты это? А горячий *матэ*, который мы вечерами сосали из высушенных тыковок сквозь серебряные трубочки?..

— Матэ? Конечно, я помню все. Но вы все только и помните, что матэ. Машевич, это такой товарищ по партии, тоже об этом вспоминал, как мы пили матэ, — она подумала, что с Машевичем ей было интереснее, но работника (она, наконец-то, опознала вошедшего) было почему-то жалко. — Иса-ак... Иса-ак... — протянула она. — Так звали и моего второго мужа. Он был похож на вас. Такой же робкий и неумелый. Но талантливый. Он был ученый и писатель. Писал пьесы. Он ко мне ни разу не заходил, — и снова взглянув на колеблющуюся в комнатном сумраке фигуру, спохватилась. — Я рада, что вы зашли ко мне. Я так одинока, ко мне так редко заходят. Посидите, скоро придет

мой сын с дочерью. Они у меня такие талантливые! Вам они понравятся. Я сейчас вам покажу их книги...

Она встала, поддернула халат и прошла мимо него, скорее к книжным полкам, там, внизу, за дверцами, хранились книги дочери и журнальные статьи сына; первая книга, какую она достала, была пьеса Симонова в переводе ее дочери, Бетти Герилья, «Esperame», *эспераме*, «Жди меня»...

— *Эспераме*, — произнесла она вслух, — я и жду. Все жду... Вот, посмотрите. А дальше все книги ее стихов. И переводов. Она очень талантливая. Посмотрите.

Она протянула книгу, чтобы он принял ее в свою руку, разжала пальцы, чтобы он взял протянутое, но он вдруг стал таять, таять, исчезать, исчез, и книга тяжело шлепнулась на пол. Она долго смотрела на упавшую книжицу, потом нагнулась за ней, хотя это было трудно, но она не терпела беспорядка, а Лину звать не хотелось — вдруг он еще вернется, не спугнула бы.

Но он так и не вернулся, а сын с дочерью тоже не пришли. И кошка куда-то пропала. А Исаак, ее второй муж, который ради нее оставил свою первую семью, с которым у нее была такая любовь, что, казалось, они дышать не смогут, если хотя бы не поговорят каждый день, он не приходил. Может, потому, что после его смерти она чувствовала его как бы частью самой себя. А о первом вспоминать не хотелось, он был груб и хамоват по натуре и по воспитанию, груб и тороплив в постели, думая, что если он свое получил, то и ей хорошо, не умел приласкать женщину, чавкал, отрывивал за столом, терзался из-за этого, но не мог себя переделать и ужасно боялся ее. Он был ниже ее по своему развитию. И им пришлось расстаться. Он из Аргентины уехал назад в Россию, еще задолго до революции, вернулся в свою Сибирь, в свой Иркутск. Потом у нее из Иркутска был ученик. Но это когда она сама уже вернулась. Да, она рассталась с Федосеевым, а их дочка осталась с ней, у нее. Ее любимая, талантливая дочка! Но сейчас она далеко. И не может приехать к своей матери. Сын ближе, но и он не может. У него работа! Работа — это самое важное в жизни! Все равно он скоро придет. Как же можно оставить мать одну! Мать великой любви! Бросить ее, забыть! А все забыли... Нет, не все! Не все! Зря что ль она вспомнила о своем бывшем студенте, уроженце Иркутска. Она вернулась к столу, села и взяла в руки письмо, уже два дня лежавшее нераспеча-



танным. Она не помнила, что помешало ей распечатать письмо, хотя по обратному адресу сразу поняла, кто ей пишет. Давно он не писал, лет десять. И вот написал. Наверно, ему нужна ее помощь. Она всем помогает. И сейчас поможет, если хватит сил. Она надорвала конверт и вытащила листки бумаги, текст был напечатан па машинке. Она стала читать.

*«Здравствуйте, Роза Моисеевна! Воистину — здравствуйте, будьте добры, как всегда были, и здоровы. Думаю, что у Вас по-прежнему настоящая сибирская сила и здоровье. Помните ли Вы еще Вашего ученика, неугомонного сибиряка, который все время приставал к Вам с вопросами и хотел вместе с Вами, плечом к плечу, бороться за идеалы марксизма. Ведь Вы моя крестная в марксизме, я был стихийным марксистом, Вы сделали меня сознательным. Я приехал в Москву учиться биологии, а благодаря Вам стал философом. Я боролся за марксизм на фронте с фашизмом, а Вы объяснили мне, что и в мирное время марксизм нуждается в отстаивании. Я заваливал Вас вопросами, а Вы мне отвечали. Нас, сибиряков, не зря «чевошниками» называют. Я ведь всегда до самой сути жизни хотел докопаться. И помогли мне в этом Вы, за что Вам вечная благодарность. Вспомнили?»*

*Теперь — о себе, почему так долго не писал. Уже лет десять тому назад судьба забросила меня в поисковую партию. Искал алмазы в Якутии. Прирожденный философ, как Вы меня называли, я стал заместителем начальника поисковой партии. Почему? Долго рассказывать. Пришлось уйти из Университета с преподавательской работы, как следует хлопнув за собой дверь. Прислали нам из столицы нового зав. кафедрой, прохиндея, каких свет не видывал. А я привык по-сибирски, всегда правду в глаза говорить. Потому что я был и остаюсь сторонником творческого марксизма, то есть того, что отвечал бы на конкретные нужды и запросы людей. И принуждать себя и лицемерить на лекциях я не хотел. Говорил, что думал. Ушел. Они думали, что я пропаду. Думали — вернусь, на коленях приползу. А я им говорю: «Вернусь, когда вы партбилет на стол положите». Не на такого напали. В Сибири не пропадешь, были бы голова и руки. Недаром говорят: Сибирь — золотое дно. Пошел наниматься в поисковую партию, а мне: «Ты ж бывший комбат, руководить умеешь. А тут народ всякий, больше половины — бывшие заключенные. С ними трудно. Нужна твердая рука».*

*И взяли заместителем начальника поисковой партии. Почти десять лет бродил по Якутии. Всякого повидал.*

*Рассказывать, что пережил, долго. Первые два года у нас процветали нравы уголовной и старательской вольницы. Пьянство, картежная игра и драки были частыми явлениями. Приходилось не только руководить работами, но и выполнять обязанности представителя советской власти и милиции на месте. Расскажу только один случай. На майские праздники, разумеется, гулянка. Мы в Крестях на берегу Вилюя. Иду в верхний конец села. Вдруг на встречу бежит белобрысый парень, в руке нож, глаза дикие, никого не видит. Я его узнал — столяр, и не плохой. Иркутянин. Лет ему девятнадцать или двадцать. Трезвый — мухи не обидит. Но когда напивался, буквально зверел. Я загородил ему дорогу, он остановился, будто на столб налетел. «Ты куда это с ножом?» — спрашиваю. «Пусти!» — отвечает он. Я ему: «А ну — нож в Вилюй и спать!» Парень, помедлив, сбегает, вернее скатывается с обрыва террасы. Подбежав к урезу воды, размахивается, бросает нож в воду и, немного постояв, идет вверх, по галечному бечевнику. Через много лет я встретил его в Иркутске. Возмужал, женился, работает столяром на строительстве Иркутского академгородка, перестал пить, я слышал о нем только хорошее. Приходилось и семейные дела улаживать. Научился терпимости в человеческих отношениях, понял, что все в жизни бывает. Еще мы не доросли до коммунистического образа жизни. Бывали среди рабочих и разводы, и адюльтеры, и классические семейные треугольники, бывали скандалы на этой почве и персональные дела. А бывало и такое, что мужья просто обменивались женами, и жена покорно шла к новому мужу, избранному для нее первым мужем. Что удивительно — некоторые из этих новых семей оказывались крепкими и счастливыми. Всего не перескажешь. Впрочем, как Вы, наверное, догадались по обратному адресу и по истории с плотником-иркутянином, я снова вернулся в Иркутск, в свою дорогую семью, к своей любимой верной жене и детям и к любимой работе. Вы спросите, как это произошло? Очень просто. Так, как я и хотел.*

*Пару лет назад поехал навестить родных в свое село Каюру, где я появился на свет. Оно стоит на реке Лене, и мне жалко, что я не свозил Вас туда в свое время. Грандиознее этих мест нет на всем свете. Я так там и застрял. Устроился на пароход старпомом, а начинал я свою трудовую жизнь юнгой, и на том же самом па-*

*роходе. Ходил около года по Лене. Ведь мозолистые руки не знают скуки. И вдруг случайно узнаю, что снят и отдан под суд заведующий моей кафедрой и его помощник-блюдолиз, оба исключены из партии, то есть, как я и хотел, положили партбилеты на стол за то, что насильственно принуждали студенток вступать с ними в половые отношения. Порадовался: правда свое взяла. Но захотелось снова на кафедру, я ведь по натуре проповедник, акын. Написал в Университет письмо. И вот чудо — получаю ответ, приглашают на заведование кафедрой. Много подзабыл из философии, но наверстаю. Сейчас ношу с идеей издания автобиографий пламенных революционеров. Для воспитания молодежи. Не так много их осталось. И я обращаюсь к Вам с просьбой не отказать написать для нас свои мемуары. Не ссылайтесь, пожалуйста, на возраст. В Вас всегда было больше сил, чем в обыкновенном человеке. Да и как говорят, учитель один не считает годин.*

*Дорогая Роза Моисеевна! В борьбе за марксизм нам нужны живые примеры. Ваш — один из них. Повторяю, что есть возможность издать их — хотя бы репринтным способом. У нас образовалось общество уфологов, исследуем НЛО и собираем сведения о них, я член этого общества, у нас есть аппаратура, так что Ваша работа не пропадет и будет обнародована. Каждая такая судьба, как Ваша, — это факел, светоч, это ЖЗЛ (жизнь замечательных людей), которую все должны знать. Собираю я биографии и земляков. Среди сибиряков было много настоящих коммунистов, потому что мы — гранитной породы. Но в Вас я всегда видел то, что мне не хватало, — сочетание коммунистической твердости и горения с багажом знания. Жду от Вас письма и автобиографии. Извините за напор, но Вы ж мою сибирскую натуру знаете!*

*Желаю здоровья и долгих лет жизни. Кстати: возможно, в ближайшие недели окажусь в Москве — высокое начальство зачем-то требует. Тогда зайду самолично. Жму руку.*

*Ваш Николай Каюрский».*

Она засунула листки назад в конверт, тщетно пытаясь вспомнить этого Каюрского, как он выглядел. В памяти было что-то гороподобное и громогласное, жестикулирующее и неутомимое в спорах. Лица его вспомнить она не могла. Но ясно, что он настоящий коммунист. Письмо с неправильностями речи, но искреннее, от души, письмо настоящего коммуниста. Вот и он

просит ее воспоминаний. Значит, это всем надо. Она напишет, она непременно напишет. Это будет поучительно для молодых и для всех. Она заслужила, чтоб о ней помнили. Затем придвинула листок с первыми строчками воспоминаний, подложила под него еще с десятков и вдруг, почти не останавливаясь, своим пляшущим почерком, написала следующее.

#### *«МОИ ВОСПОМИНАНИЯ.*

*Многие друзья просили написать мои воспоминания; они действительно не безынтересны. Тем более, как мне напомнили, в этом году отмечается 80-летие создания партии, 2 съезда РСДРП. Вот я и решила написать. Может, действительно, будет полезно для молодежи.*

*Родилась я в поселке Юзовка, ныне Донецк, в 1890 г. Отец мой, круглый сирота с 8 лет, жил при брате от другой матери. Он научился грамоте и помогал сводному брату, женатому, жившему в деревне Петропавловка, и помогал ему в сборе сведений из деревенской жизни. Он именно жил при брате, но не в семье брата. Вероятно, помогал ему собирать сведения, так он жил до юности. По сватовству женился на моей матери из семьи купцов 2-й гильдии, в которой было 5 братьев и 5 сестер. Мать была старшая из женщин, торговала в обувной лавке братьев. Была у них кожевенно-обувная лавка, в которой продавцами были старшая дочь и сын. Отец женился на старшей дочери Любе. Она была красивая брюнетка. Женившись, они жили в семье моей бабушки, вдове с 10 детьми: 5 мужчин и 5 женщин. Женившись, отец жил в семье бабушки. Женщине грузной, но хозяйственной. Братья матери подрастали и вступали в торговлю. Мама тоже помогала торговать. Отец рассказывал, чтоб разглядеть будущую жену, просил показать обувь с верхней полки, чтоб разглядеть жену во весь рост. Они женились и жили дружно. Основные жители Юзовки были рабочие завода Юза и шахтеры окружающих шахт, тоже иностранных владельцев. Хотя в семье бабушки, с которой жили мои родители, нужды не было, но вокруг много обездоленных, голодающих, угнетенных бесправным трудом на капиталистов. Отец, прошедший путь «в людях», знал нужду и труд. Отец не был революционером, но свободлюб; не терпел гнета и притеснений. Добрый по природе, сочувствовал трудящимся, всегда готовый помочь и советом, и делом. Так и знали окружающие его: «Моисей Соломонович всегда помо-*

жет». Юзовка находилась в «черте оседлости». Большое число ремесленников и торговцев поселка были евреи.

В середине девяностых были неурожайные годы, сопровождавшиеся голодом и эпидемией холеры. Как обычно, царское правительство, чтоб отвлечь внимание трудящихся от тяжелых переживаний, старалось взвалить вину за все несчастья на жидов и организовало еврейские погромы. Я помню, как мать со мной и сестрой, вместе с другими женщинами скрывались в какой-то бане на окраине поселка во время еврейских погромов. Отец не был революционером, но он был свобододолюбивым человеком, ненавидел гнет, бесправие, унижение человеческого достоинства. Мое свобододолюбие от него.

Он слышал, что в далекой Латинской Америке можно дешево приобрести участок и что там не преследуют евреев. Он решил уехать туда, заниматься земледелием и избавиться от преследований из-за еврейского происхождения. Он увлек на эту поездку одного из братьев матери и приятеля, работавшего у нас в лавке, работника, но с которым он дружил, как с приятелем. Так в шестилетнем возрасте я первый раз очутилась в Аргентине.

Поездка туда была довольно сложной. Из-за холеры в России был карантин на границе. В Гамбурге нас поместили в какие-то бараки, приспособленные для таких эмигрантов. Там нас продержали несколько дней, а оттуда на товарно-пассажирском немецком пароходе в третьем классе мы поехали в Аргентину.

Путешествие длилось около месяца. Отец всю дорогу лежал, страдая от морской болезни. А когда вставал, то читал нам книгу Сармьенто, аргентинского президента, либерала, как отец, мечтавшего о цивилизации. Остальные бодро переносили качку и все невзгоды столь необычного путешествия.

На 30-й день пароход пристал у порта столицы Аргентины — Буэнос-Айреса. Но родители там не остановились, а переехали в какой-то небольшой провинциальный городок, где, очевидно, отец мог встретить людей, которые помогли бы ему приобрести желанный участок земли. Потому что отец слышал, что в Аргентине много хорошей и дешевой земли. Вот туда он и приехал с женой и дочкой 6 лет и еще двумя детьми (1 девочка и 1 мальчик) заниматься земледелием в свободной стране.

Приобретенный участок находился в провинции Энтрэ Риос, вблизи колоний, организованных миллионером-филантропом ба-

роном Гири. Он оплачивал проезд еврейской бедноты, наделяя их участками земли, избой, инвентарем, необходимым скотом, и все это было готово к их приезду и еще платил им ежемесячное пособие (штицэ). Очевидно, он рассчитывал создать доходные хозяйства (не знаю), но колонисты были люди без профессий, не связанные с землей, не умевшие ее обрабатывать. Затея, как мне известно, впоследствии не имела успеха, все разъехались по городам. Эти хозяйства не стали для них Землей Обетованной. Чтобы такую получить, надо трудиться, надо ее заслужить. Отец приобрел участок земли в 50 гект., но не стал колонистом барона Гири, чтобы быть независимым.

Свободолюбие отца не позволяло ему стать зависимым от благотворительности. Он поехал на целинную, голую землю. И вот, в один прекрасный вечер, наша семья, водруженная на двухколесном карро, подъехала к заброшенной избушке. Вечерело, возчик открыл дощатую дверь, пошарил рукой по полу и вскрикнул что-то с удивлением. После я узнала, что это означало: сколько блох! Как мы разместились — не помню, но помню, что чайник, ведро, топор и др. принадлежности были у отца, он приобрел необходимые предметы для хозяйства в Гамбурге. Участок приобретенной земли находился на расстоянии около километра от этой избушки, и на следующий же день отец со своими друзьями принялись за строительство жилища на новой земле.

Недалеко был лес, который был использован для строительства. Деревянный каркас, был обложен самодельным кирпичом. Получилась изба в две комнаты с земляным полом и деревянной крышей. Плиту соорудили во дворе. Климатические условия это позволяли. Отдавая дань трудолюбию и добрым намерениям отца и его друзей, должна рассказать, что за первый год они собрали хороший урожай пшеницы и кукурузы, создали огород с необходимыми овощами, высадили несколько десятков фруктовых деревьев. Это хозяйство стало предметом удивления колонистов, которые не смогли создать ничего подобного и больше тянулись в города. Пугали отца. Но намерению отца не удалось осуществиться: брат матери не выдержал такой обстановки и вернулся домой, а работника, который был отцу другом, заколол местный житель, сосед по земельному участку, гаучо, промышлявший воровством лошадей.

Отец посадил сад, огород овощей. Все колонисты из соседних колоний удивлялись его успехам в хозяйстве. А отец еще в Гамбур-

ге приобрел чайник, ведро, топор и другие принадлежности хозяйства. Вместе с отцом приехали в Аргентину брат матери и знакомый, у которого не было денег и свой взнос он делал своим трудом, был как бы работник, но все равно они с отцом были приятели. Брат быстро вернулся, а приятель остался. Дела земледельческие шли успешно: сад и огород развивались успешно. Урожай был хорош. Хотя в стране уже были машины, но отец, по старой памяти, затеял молотьбу катками, на что пригласил рабочих из колонии. Требовалось много времени и часть урожая погибла, но все же урожай был богатый, и отец был доволен. Все ж после молотьбы катками надо было развеивать, и отец поехал в город купить веялку. В это время случилось несчастье. Аргентинец, который промышлял воровством скота, заколол приятеля, и это привело в уныние отца, когда он вернулся из города. Отца в то время не было дома, он уезжал в город за какими-то покупками. Впечатление от убийства приятеля было удручающее. Собрав урожай, он решил переехать в город Буэнос-Айрес. Он поступил работать в контору Дрейфуса по закупке зерна. Так он стал жителем Буэнос-Айреса. К этому времени подрос сын, и отец устроил мастерскую импермеблей. Все ж тяга на родину не оставляла его, усилилась в связи с убийством молодого парня-работника, и он вернулся в Россию.

Сначала жил у бабушки в прикащечкой, а вскоре построил кирпичный дом на 7 линии и организовал мастерскую поршней и лавку обувных товаров. Привез специалиста по поршням и заготовщика. Так была создана мастерская поршней и заготовок обуви; кроме того обувной магазин небольшой.

Перспектива погибнуть от ножа соседа-убийцы заставила призадуматься отца, и он решил уехать в Б. А., оставив все созданное хозяйство. В Буэнос-Айресе отец поступил на службу в контору Дрейфуса по торговле хлебом. Семья увеличилась, родились еще мальчик и девочка. Нас было шестеро. Жили мы в одной комнате. Отец все время в разъездах по провинциям по скупке хлеба для Дрейфуса. Родители решили вернуться на родину. Это было уже после коронации Николая II. Братья матери к тому времени обжигались, стали купцами 2-й гильдии. Родители приехали без кола и двора. Их поместили в однокомнатной пристройке к дому. Кроме хлебопашества и торговли у отца не было никакой профессии. Родственники помогли открыть лавчонку и построить дом на 7-й линии, куда мы в последствии переселились.

Мне уже было около 10 лет, но я была безграмотна. Надо было начать учиться. При помощи тетки наняли учительницу, и она стала меня обучать. Учитывая мои успехи, учительница посоветовала родителям готовить меня к поступлению в гимназию, куда я поступила в 5-й класс в городе Бахмут (Артемьевск). Родители мои были вполне обрусевшие люди без националистических особенностей, разговаривали только по-русски. Отец оставался свободолюбом, другом всех трудящихся. Юзовка была местом ссылки. От отца я впервые услышала песню на смерть Чернышевского «Замучен в тяжелой неволе...», которую и заучила. Мое содержание в Бахмуте (15 руб. в месяц) оплачивала та же тетка, но в 6-м классе я уже давала частные уроки.

Начало девятисотых годов в России характеризовались активным рабочим и студенческим движением. Забастовочное движение, охватывало огромные участки России: всеобщая забастовка в г. Ростове на Дону, политическая демонстрация в Батуми в том же году и в целом ряде городов происходили выступления рабочих с протестами против капиталистического гнета и несправедливости. Огромную роль в росте недовольства трудящихся в то время сыграла неудавшаяся русско-японская война и поражение России. В гимназии иногда попадались прокламации и №№ «Искры». Встречи с исключенными студентами обостряли чувство протеста против всех форм гнета и насилия. Пришел в гимназию новый учитель гимназии по математике. Он как будто только окончил университет и устанавливал связь с учащимися. Я была из первых, с кем он встречался. Он предлагал читать Писарева, Добролюбова, Чернышевского. Но вскоре, его уволили. При его либеральном настроении он был еще неопытным преподавателем, но я стояла горой за него и даже заявила перед классом, что если кто-нибудь посмеет перед начальством критиковать его, то я заявлю, что это ложь (я была лучшей ученицей по математике). Все эти годы книги Горького имели большой успех у молодежи. Чувство протеста против царизма росло, обострялось, но не только против самодержавия, росло чувство необходимости борьбы за идеи добра справедливости для всех людей, за социализм. Окончила я гимназию на круглое отлично, но золотую медаль мне не выдали, а написали в аттестате «право на золотую медаль». Это за неуважение к начальству. Я отказывалась ехать к попечительнице, какой-то знатной, дряхлой старухе и т. п.



*И вот окончила я гимназию, вернулась в Юзовку, стала давать частные уроки. Мечтала встретиться с социалистами и принять активное участие в борьбе за освобождение трудящихся, за справедливое человеческое общество. Я искала встречи, и меня искали. И вот в один зимний вечер 1905 г. на так называемой вечеринке, на нелегальном собрании меня приняли в чл. РСДРП. С тех пор вся моя жизнь была связана с борьбой, великой борьбой за коммунизм в рядах партии Ленина. Надо было приобретать знания. «Манифест коммунистической партии» я знала почти наизусть, настойчиво изучала политэкономию, историю, Плеханова «К монистическому взгляду на историю», Каутского «Экономическое учение Маркса», «Искру» читала систематически. Ленинская книга «Что делать» произвела потрясающее впечатление, показав, как надо воспитывать пролетариат и как необходима партия для успешной борьбы. «Дайте нам организацию революционеров, и мы перевернем Россию», — говорил он. И всеми силами я боролась за создание этой организации. Стала пропагандисткой кружков рабочих завода и города, печатала прокламации на гектографе, на леднике во дворе хранила нелегальную литературу.*

*Я уже кончила гимназию с золотой медалью. Вернувшись в Юзовку из Бахмута, где я училась, я быстро нашла связь с революционерами Ридник и Полевой и стала членом партии в 1905 г. и с тех пор непрерывно участвовала в революционном движении РСДРП(б). Вела пропаганду в кружках, участвовала в рабочем движении. ПК присылал опытных пропагандистов. В партию затесался провокатор и выдал всю организацию. Происходило собрание, которое было выдано провокатором, и все собрание было арестовано. Я на этом собрании не присутствовала по болезни, и, как только я стала на ноги, товарищи организовали мой отъезд в Бердянск, надеясь таким образом спасти меня от ареста. Но полиция нашла меня, и меня там арестовали и отправили в Луганскую тюрьму, где были арестованные юзовчане. Это был 1906 г. Настроение было вполне революционное.*

*По доносу провокатора было арестовано собрание вместе с приехавшим товарищем из Центра. Оставшиеся на свободе товарищи решили, чтоб я уехала из Юзовки, так как там уже очень хорошо меня знали. Послали меня в Бердянск. Там оказалась арестованной почти вся организация. Не легко было установить связи с оставшимися на воле товарищами. В Юзовской организации кроме провока-*

тора оказался еще и предатель, работник аптеки. Он зашел к моим родителям и предупредил их, что меня арестуют в Бердянске. Приехала моя мать и предложила мне уехать за границу, на что я не согласилась; да и это было фактически невозможно. Действительно, возвращаясь из, наконец, удавшейся встречи с товарищами, я увидела свет в моей комнате. Когда я подошла к окну посмотреть, в чем дело, ко мне подошел жандарм и настойчиво пригласил зайти в комнату. Там я увидела свору жандармов во главе с ротмистром и прокурором, которые уже успели перевернуть все в комнате и заставили понятую, женщину, обыскать меня лично. Ничего компрометирующего меня не нашли, все же прокурор заявил: «Только со школьной скамьи, да еще отличница, а уже замешана в крамоле». Так вот арестовали меня и препроводили в тюрьму в Бердянске, а через день отправили в сопровождении жандарма в Луганскую тюрьму, где сидели все товарищи по делу Юзовской организации. Это был 1905 революционный год. Тюремный режим был ослаблен во всех тюрьмах, но меня тогда поразило, что двери камер заключенных были открыты. Меня поместили в одиночку, но двери не заперли, как и у всех. Помимо общего ослабления тюремной дисциплины в это время начальником Луганской тюрьмы был разжалованный офицер, и это еще больше содействовало ослаблению тюремных порядков. Происходили собрания, на которых обсуждались решения 3-го съезда партии. Надо сказать, что приезжавший в нашу организацию делегат 3-го съезда тов. Гурский не рассказал о разногласиях с меньшевиками и ситуацией, которую Ленин определил: «Два съезда — две партии». И только в тюрьме я об этом узнала, сразу заняв позицию большевиков, которая отвечала моим революционным настроениям и боевому духу. У заключенных было много книг. Стала усердно заниматься. Здесь были книги по истории, по политэкономии и по философии. Ленин писал в «Что делать?»: «Без революционной теории не может быть революционного движения». Надо было учиться, учиться, надо было накапливать знания.

Пользуясь относительно свободным тюремным режимом, товарищи установили связи с некоторыми случайными уголовниками. Там был один из них укравший от голода краюху хлеба. Парень быстро усвоил азы социалистической программы. Решили организовать ему побег. Установили связь с волей, снабдили его явками и в один прекрасный день во время общей шумной прогулки, отвлекая

*разговорами надзирателя, перебросили его через тюремную стену. Ему удалось скрыться. Кстати, я после встречалась с ним, он стал видным партийным руководителем».*

Она писала и писала, пальцы немели, кисть руки сводило, но она преодолевала себя. Мысли и слова путались, повторялись. Воспоминания диффузно проникали одно в другое. Надо было скорее добираться до конца. Как она снова попала к Аргентину, а потом опять вернулась к Москву..

*После побега режим в тюрьме резко изменился. Сняли директора тюрьмы, бывшего офицера. Прислали нового, который установил настоящий тюремный режим. Все камеры на замок и вообще всякие тюремные порядки. В ответ заключенные объявили голодовку с водой, которая длилась 11 дней. Были призваны войска, которые расправились с заключенными. Прислали нового директора, снова из проитрафившихся военных. Режим изменился к лучшему. Голодовку выдержали все, хотя среди арестованных были случайно попавшие рабочие. Восстановили старые порядки. Мои родители дали взятку директору тюрьмы, и меня освободили через 8 мес. под залог и вообще скоро был суд, и почти всех на поселение в Вологодскую губ. Меня организация направила на партийную работу в Киев. Там я вела пропаганду в кружках, но вскоре направили меня с мужем в Крым. Там крымский комитет послал меня в Феодосию, так как мой бывший первый муж страдал туберкулезом легких. В Феодосии я продолжала пропагандистскую работу в рядах ВКП(б). Я забеременела. Родители после октябрьских событий и последовавших еврейских погромов решили снова поехать в Аргентину, но не заниматься земледелием, а ремеслом. Брат Марк уже был взрослый парень, научился клеить дождевые плащи, а отец кроить их. Вот так они устроили маленькую мастерскую, отец кроил, а брат клеил.*

*Я использовала отъезд родителей для бегства в Швейцарию по их паспорту: я — дочь, мой муж — сын. Ночным поездом переехали границу для того, чтоб не различили мужа, типичного русского парня, похожего настолько на Горького, что на некоторых станциях ему устраивала молодежь овации как Горькому. Границу переехали благополучно, а там мы остались в Швейцарии (Лозанна), а родители поехали в Аргентину. Родители продали дом и тем обе-*

спечили поездку и мое существование. Родственники, которым остался дом, высылали мне 25 руб. в месяц, за счет дома, купленного у родителей.

Существование на 25 руб. было трудное, муж в чужой стране был совсем беспомощный, только раздражал меня своим пренебрежением к цивилизованным привычкам цивилизованных людей, и я тоже решила уехать к родителям в Аргентину. Жили в Буэнос-Айресе в одной большой комнате (каса) и еще в одной, где и работали непромокаемые плащи. В городе познакомилась я с другими эмигрантами. С врачом Гершуни, жена его была учительница первоначальной школы. Я быстро усвоила язык, так как кое-что помнила и свободно знала французский из гимназии. Во время 1 мая я не явилась на работу, за что была уволена из школы. Но вскоре мне старые знакомые по первой эмиграции нашли уроки французского языка, который я прилично знала и говорила, находясь в Лозанне. Одновременно я училась на врачебных курсах. Окончила с отличием и, уж закончив, занималась зубоврачеванием. Кроме работы в Б. А. я ездила в провинцию по рекомендации профессора, где жила его семья.

Библиотека руса стала партийной языковой организацией арг. компартии и я ее руководителем. Так я и другие товарищи работали в компартии в языковой организации на русско-еврейском языке, так как эмигранты в основном были евреи. Мы издавали журнал на еврейском языке «Голос Авангарда» и имели успех среди еврейских рабочих, которые составляли большинство эмигрантов, включенных в компартию Аргентины. События в России приняли революционный характер. Совершилась Великая Октябрьская революция, и я решила вернуться на социалистич. родину.

В Аргентину вернулся уехавший тов. Машевич. Он привез большой транспорт коммунистической литературы на русском языке и денег, и это стало способом агитации и пропаганды среди русских эмигрантов-рабочих.

Мы решили, что оставлять Машевича нецелесообразно, он был слишком известен полиции, и потому было решено, чтоб он вернулся и одновременно с ним послать представителя Компарт. Арг. на II Конгресс Коминтерна (КИ). К большому сожалению мой отъезд задержался из-за тяжелой болезни моей дочери, которая в то время была чл. ЦК комсомола Аргент. Вернувшиеся в Сов. Союз товарищи по указанию Ленина поручили мне быть информатором о коммунистических проблемах движения в Арг., что я и выполняла.

*Родители наградили меня хорошим здоровьем, а партия воспитала во мне упорство и настойчивость в борьбе за коммунистические идеалы.*

*После приезда представителя КИ с литературой меня назначили информатором о событиях в Аргент. Это обстоятельство послужило причиной исключения меня из партии Арг., т. к. их не удовлетворяла моя правдивая информация. Меня исключили из партии за информацию, которая якобы вредила компартии Арг. Работа информатором ИККИ имела для меня роковое значение. Хотя моя информация была строго объективная, она не совпадала с позицией руководства ЦК компартии Арг. Они хотели все представлять в положительном свете, но в действительности не все так было. ЦК исключил меня из компартии Арг. с такой формулировкой «За информацию ИККИ, которая вредит компартии Аргентины».*

*Я вернулась в СССР через год приблизительно после моего исключения. В это время в Арг. компартии произошла внутривнутрипартийная борьба против антипарт. фракции, с которой я не имела никакой связи.*

*Но, когда я, вернувшись в СССР, подала апелляцию в ИККИ по поводу моего исключения из комп. Арг., находившийся в ИККИ представитель комп. Арг. Кобовилья мотивировал мое исключение принадлежностью к антипарт. фракции. Центр. Контр. Комис. ИККИ во главе с т. т. Стучка и Пятницким разбирала выдвинутые против меня обвинения и, конечно, не могла обнаружить принадлежность к антипартийн. фракции. Тов. Пятницкий даже воскликнул: «Как вы могли исключить старого большевика?!» Исключение было аннулировано, и я переведена без положенной рекомендации комп. Арг. в ВКП(б), а после в Центр. Контр. Ком. ВКП(б) был восстановлен мой парт, стаж с 1905 г.*

*Все же это «исключение» сыграло роковую роль в моей дальнейшей работе. Ведь основная моя деятельность и в Арг. была партийная, врачевание было необходимым средством материального существования. А получилось, что меня послали на работу по этой специальности. После проверки мне предложили заведывание зуб. амбулаторией им. Невзоровой. Я создала образцовую в то время амбулаторию.*

*Но в райкоме заметили все же, что я политич. парт. работник, и взяли меня в отдел пропаганды инструктором. Меня пригласили также преподавать на курсах Ком. Института в здании, где*

теперь парткабинет МК. Так я продолжала работать пропагандистом в рядах ВКП(б).

Меня использовали по профессии. Дали заведывание клиниккой зубоврачебной, а по партийной линии — пропагандистом в кружке по истории партии. Я работала успешно. Это был 1936 г. Развернулись революц. события в Испании. В последнее время я как раз работала с тов. Карабчевым по вопросам Испании. Партия мобилизовала всех знавших испанский язык. Хотя меня не призвали, быть может, потому, что мне уже было 46 лет, но я явилась в КИ и предложила поехать в Испанию по заданию ВКП. Моя дочь была мобилизована, и мы вместе поехали в Испанию. Там сражались настоящие люди, Дон Кихоты. В 1937 г. по вызову из Москвы, в связи с тяжелым заболеванием моего мужа, профессора Рабина И.М., я вернулась в Москву. Получила за деятельность в Испанском освободительном движении орден «Красная звезда» и «Боевого красного знамени», а после, в связи с 30-летием, особую медаль.

В Москве в 1937 году были созданы особые кружки пропагандистов при МК. Меня назначили зав. кафедрой истории партии. В 1938 г. эти курсы были ликвидированы и меня направили на заведывание каф. марксизма-ленинизма в Стоматологический институт, где я проработала до 1941 г. Эвакуировалась вместе с мужем, работавшим в Институте им. Мичурина у Вильямса зав. кафедрой геологии и минералогии, в Самарканд. Там я работала лектором в отделе пропаганды горкома партии. По возвращении из эвакуации в 1943 г. я вернулась на заведывание кафедрой в Стоматологич. И-т. Но вскоре все теоретические кафедры этого института были переведены в Измайлово. Такое дальнейшее расстояние преодолевать каждый день было уже мне не по силам. Я перевелась на кафедру заведывать кафедрой марксизма-ленинизма, где мой второй муж заведовал кафедрой геологии и минералогии. Он еще был драматургом в Аргентине, но здесь не писал. Зубоврачебную клинику перевели в другое место. Для меня это было далеко, и я перешла на историю ВКП(б) в Институт им. Мичурина, где я работала до конца.

Во время революционных событий в Испании я предложила в КИ свои услуги. Меня послали, т. к. я знала испанский язык и была активным пропагандистом марксизма-ленинизма. Вскоре (через 8 месяцев) заболел мой муж и КИ потребовал меня вернуться. К несчастью, отец умер. Муж тоже умер. Я вернулась на каф. м.-л., где проработала до пенсии, когда заболела и вот до сих пор не могу прийти в себя».

Она сидела, с удивлением глядя на полтора десятка исписанных ею листков. Все же она смогла! Она все может преодолеть, когда это нужно! Но все ли она написала, что хотела? Она задумалась, перелистывая исписанные листки; болела правая рука, слегка немела правая сторона головы и правая нога. Но это ничего, все равно она много написала. Сохранила память. Даже самое раннее детство помнит она очень ясно. Особенно эту кошмарную историю, когда гаучо убил работника. И то, как потом Кобовилья предал ее и на ее костях влез в руководство ЦК, чтоб затем стать генсеком.

Вдруг она спохватилась: ничего-то, оказывается, она не рассказала о своей великой любви к профессору Рабину Исааку Моисеевичу, ее будущему мужу. Не объяснила, почему не хотела иметь ребенка, когда была юной революционеркой и все свои силы отдавала делу приближения светлого будущего, и осталось неясным, почему дочь такая больная... Вначале революция, потом семья и дети. Но все же она написала главное — о том, что она жила преданная идеям марксизма-ленинизма. Это самое главное, что нужно молодежи. Все остальное детали. Да многого она и не помнит. Например: надо ли объяснять ее отношения с Иннокентием Федосеевым, отцом Бетти? Ведь они не были даже расписаны, их отношения могут при желании, враждебном желании счесть адюльтером, а не видом свободного коммунистического брака... Но это в другой раз, не сразу, не сейчас, она и так много написала, аж рука немеет, но она это сделает, это тоже нужно объяснить. И еще хорошо бы искупить свою вину перед всеми, перед кем она виновата.

Она задумалась, пригорюнившись, тихо снова прошептала: «Принесите мне жертву! Я прошу так немного». Да, она думала о жертве, но не знала, кому. Какому-нибудь неведомому Богу, чтоб умиловился, дал ей, наконец, спокойно умереть. Ведь ни туда, ни сюда. Ведь не себе она просит жертвы, а эта дура Лина думает, что себе. Ах, сколько было жертв: вначале во имя Революции, потом в борьбе с вредителями и врагами народа погибали и невинные, а война — сколько там было жертв! Целые гекатомбы! А борьба с космополитами? Для единения народа, чтоб не принял приманок внешнего зарубежного врага, надо было пожертвовать еврейской нацией. Она понимала необходимость этого. Но это все же было страшно. Неужели нельзя

без жертвоприношений? Неужели нельзя *воспитанием* создать нового человека, человека коммунистического завтра? Ей нужно, чтоб принесли кому-то жертву, чтоб искупили ее невольные вины перед всеми. Лично ей ничего не нужно. Она всегда жила не для себя. Ведь и с Исааком она осталась, потому что он без нее не мог. Хотел стреляться. Она должна была спасти его. Этот не очень приспособленный к жизни профессор начал творить сумасбродства. У нее были и другие. Но она оставила их, отказалась от их любви, чтоб ему, Исааку, было хорошо. И всегда напоминала ему, чтоб он посылал деньги своей первой жене и детям. Или она не видела, как он страдал по сыновьям, иногда прямо застывал, лежа на диване и глядя в потолок, словно время не лечило его. Он к Владлену относился достаточно прохладно, был занят своими делами, хотя она знала, как много времени проводил он со старшими детьми, с сыновьями от первого брака. Ни словом его не упрекнула.

Она вздрогнула. А потом Исаак умер и к ней не приходит. А она жива до сих пор. Виновата ли она перед Исааком? Что-то не то написала она в своих воспоминаниях. Не написала, какой он был страстный и нежный, какой при своей робости решительный. Что был он анархистом, сидел в тюрьме, в одной камере со Свердловым, но ничего не понимал в теории. Свердлов ему говорил: «Рабин, читайте Маркса!» А он в ответ, вместо того, чтоб прислушаться: «Свердлов, читайте Кропоткина!» Из тюрьмы бежал через море, в нанятой от контрабандистов рыбацкой лодочке, вместе с первой женой Аленой и старшим сыном. И долго оставался анархистом, его пленяло, что князь Кропоткин — тоже был геологом. Это она тоже не написала. Не написала, как переживал свой отрыв от детей. Как слушался и как боялся ее. Вначале она, влюбившись, готова была подчиниться ему. Но у него не было общей единой цели в жизни, только наука да писание драм волновало его, когда они познакомились. Революционный анархизм был в прошлом, но при этом в качестве идеала. Наука и пьесы были, ей казалось, слишком личным делом, хотя ей и импонировало, что ее любит ученый и писатель. Но ей пришлось воспитывать его. Под ее влиянием он вступил в коммунистическую партию, перед ним встала великая цель. Он, правда, не сумел совместить великие цели и личное творчество. Но во всем стал верить ей. Она брила и стригла его, терла в ванной



ему спину. Ей пришлось стать его водительницей. Наподобие Беатриче. Науку он не бросил, она приносила пользу победившему государству рабочих и крестьян. Она убедила его поехать туда. Сказала, что не возражает, если он заберет в СССР тоже и первую жену и трех сыновей от первого брака. Он был благодарен ей за это. Он вообще поражался ее выдержке и силе. Иногда даже плакал: «Роза, ты каменная! Роза, ты железная!» Она должна была быть каменной и железной. Она была защитой и опорным столбом их союза. Но сейчас она должна была помочь его внучке и их общему внуку. Помочь им, как жить. Помочь им. Это будет ее последним деянием на Земле. На большее не хватит ее. Пусть Петя потеряет свой страх, не боится людей, потому что люди все хорошие, только для всех надо создать хорошие социальные условия, и плохие люди исчезнут. У Пети много талантов, но он зажат, надо, чтоб он перестал таиться, открыл себя людям и не боялся любить. А Лине надо идти замуж за Илью. Замуж. Надо. Надо замуж. Что ж, если ничего другого она не хочет... Только она дура и не понимает, что должна стать нужной мужчине, тогда ничто его не остановит, даже семья. А она, глупая, скандалит. Надо с ней поговорить и научить, что жить для пользы дела — это значит добиться и личного счастья. Если кроме себя она Илье откроет цель в жизни, она выиграет. Строительство своего счастья будет частью дела по строительству будущего счастливого общества. Общества цивилизованных людей.

## Глава X

# УМСТВОВАНИЯ

Меж ими вес рождало споры  
И к размышлению влекло...

*А. С. Пушкин. Евгений Онегин*

Но другой мир и другая жизнь находятся внутри этого мира и этой жизни... Дон Кихоты и Санчо Пансы живут в вечности — она же находится не вне времени, но внутри него...

*Мигель де Унамуно. Туман*

**Ш**елкнула, захлопнувшись за ним, входная дверь. И сразу, этажом выше, раздалась голоса, похоже, что двое мужчин спускались вниз и продолжали какой-то разговор.

— Этот сон я бы отнес к разряду бытовых, во всяком случае, не патологических, — говорил высокий, почти женский голос.

— А сексуальные сны? Вы их классифицируете как бытовые или патологические? — спрашивал другой, хриплый то ли от перура, то ли от простуды голос.

— Конечно, бытовые. Вообще, где есть эмоция, где спящий участвует в качестве действующего лица, — это *сны*. Но есть нечто, выступающее под видом сна. Это как бы чистое сознание, отделившееся от тела и смотрящее сквозь бинокль на Землю.

— А вам откровенно рассказывают?

— Видите ли, если пациент всерьез обеспокоен своим здоровьем, он старается изложить все как можно обстоятельнее и подробнее. Вот и слушаешь. А потом классифицируешь.

Илья пошел медленно-медленно, прислушиваясь к разговору, но стараясь быть все же на один пролет впереди.

— В своей классификации вы на Фрейда опираетесь?

— Ах, если бы. Я уже давний практик. А в наше время в институте Фрейд было имя запретное, даже поминать нельзя было. А на языках я не читаю. Так что приходится самому наблюдать и сравнивать.

— Кажется, вы успешно это делаете, — похвалил хриплый голос. — А женщины вам тоже свои сексуальные сны рассказывают?

— Конечно, это же нормально. Им нужно выговориться. Одна, например, поведала, что несколько раз подряд ей снилось, что она занимается любовью с мужем и соседом практически одновременно. Это моя пациентка в Фирсановке. Ей снилось, что она лезет к соседу через забор, там они, так сказать, «дружат», а потом сразу же к мужу — заглаживать вину. И ее больше всего возбуждало, что муж ни о чем не догадывается, а она его еще сильней любит после любви соседа. Одного мужика, даже во сне, ей было мало. И это нормальный сон. Просто это женщина с активной, но вполне здоровой сексуальностью. Во сне она делала то, что могла бы делать наяву. Да так оно и бывает. Как-то вполне интеллигентная женщина жаловалась мне на судьбу, что у нее замечательный муж, начитанный, заботливый, семьянин, очень культурный, все время с книгами, а с ней — не чаще одного раза в неделю. Ей этого было мало, и она завела себе дебила. Тот, как на нее влезет, то весь вечер не слезает. До трех раз ее пользует. Вот это для нее хорошо было. Она говорит: иду от него — коленки дрожат, внутри все так и гудит. Вот бы, думаю мужа и этого дебила в одном человеке совместить. Но даже грехом это не считала.

Вдруг говоривший прервал сам себя:

— Ой, постойте. Я ведь, кажется, портфель забыл.

Шаги изменили направление, двинулись вверх, а Илья остановился на лестничной площадке, перед последним лестничным пролетом, выходящим в подъезд. «Как все просто, — подумал он. — Никакого тебе дьяволова искушения или нравственных терзаний! Сексуальная активность, и все тут! Я, конечно, тоже так себя веду. Бедная Элка! Никакого от меня проку. А Лина возбуждает так, что и говорить с ней неохота, хотя и говорю, никуда ходить с ней не хочу, потому что одно мне от нее надо — ее тело, постель. Любые разговоры воспринимаю как потерю времени, мешающие основному, ради чего к ней хожу! Но ведь с другими бабами не так было, хотя тоже чужие, трахал их скорее из чувства *мужского долга*. Но до Лины я мало терзался своими изменами. Почему? Потому что лю-

бил Элку. И что же? Теперь страдаю, *оттого что не люблю*?. Ладно, забудь, перестань, идешь к Кузьмину и иди, а то свихнешься». Он принялся спускаться в подъезд, чистый, мытый, по сравнению с подъездом дома, где жил он. «Старухи следят, хранительницы традиций. А помрут — все начнет разваливаться. Хотя вон в стене подъезда какие-то крюки вбиты, а вокруг штукатурка осыпалась, кирпич виден. Щербины в каменном полу... Признак грозный».

Этот чужой подъезд, этот дом казались ему отчасти уже и своими, родными. А к собственному дому он подходил теперь, как к чужому. Но ни тот, ни другой не был *до конца его* домом. А он, в своей темной спортивной куртке, купленной ему Элкой, руки в карманах, чувствовал себя бродягой без места, искателем приключений. «Почему мы, русские, так боимся бездомности? Или смены дома? Обязательно, чтоб поместье с традицией, своя Ясная Поляна... Не от общего ли хаоса культуры, которому стараемся противопоставить свою личную укорененность. Именно к такому личному противостоянию звал Чаадаев, противопоставить разгулу нашей общей стихии европейски организованный личный быт. А я даже в своем доме этого не добился. Не подъезд, а хуже хлева, да и собственную квартиру помешал в свое время Элке благоустроить, считал личный быт — мещанством. Теперь опомнился, но поздно. Стал о «профессорской культуре» писать, Кавелина цитировать, что если поместить европейца на несколько лет в плохую хижину, он тут же начнет ее благоустраивать, а русский махнет рукой — ведь всего на несколько лет! Но ведь и вся жизнь — всего несколько десятков лет... И никого мне, кроме Лины, не надо».

Тимашев походил сейчас на гончую в момент охоты, когда она ведет дичь, еще не догнала, но чувствует впереди свое удовольствие. При этом собака делает круги, забегает в стороны, ловит ветер, скачет, позволяет себе на ходу проехаться пузом по траве, перекувырнуться через голову... Так и Тимашев: разговоры разговаривал с Линой и Петей, теперь вот двигался к Кузьмину, но все это были этапы на пути к телу Лины. Хотя Кузьмин был, пожалуй, единственным человеком, с которым он и рад был общаться, и мог говорить о перипетиях своего романа с Линой. Кузьмин знал Элку только по рассказам Ильи, и семьями они не дружили, поэтому Илья не стеснялся, признаваясь в своей *любви*, своей *страсти* к Лине. К тому же Кузьмин был какой-то *другой*, непохожий на иных его приятелей. И это было любопыт-

но Тимашеву, влекло его к Кузьмину. Ибо в Борисе было то, чего так не хватало Илье, — *независимость*.

В Кузьмине Илья чувствовал погруженность в свое собственное дело, а потому и несуетность, отсутствие корыстной заинтересованности в собеседнике. Пришел — ладно, оторвал от дел, но ничего, наверстаем, а пока садись за стол, будем чай пить и беседовать. Познакомил их пропавший вскоре без вести Левка Помадов, друживший с отцом Бориса — Гришей Кузьминым. Но Илья ближе сошелся с сыном. Да к тому же родители Бориса купили себе кооператив, куда переехали с младшим сыном, оставив Бориса с его женой, дочками и бабкой — Лидией Андреевной — в старой квартире. Насколько Илья понимал, так они, то есть Кузьмины, решили свой семейный конфликт между матерью Бориса и его бабкой. И, как оно бывает у ленивых москвичей, укрепила их знакомство географическая ситуация. Лина часто бывала в доме Владлена, пойти им двоим в гости тоже было удобнее к Кузьминым, где об их романе знали, а теперь так и вовсе Лина тут жила.

Уже полгода, как Лидия Андреевна переехала в Дом старых коммунистов, познакомившись с одним старичком оттуда, а жена Бориса дружеским разговорам не мешала, она была математик и занималась своей наукой и детьми, которых при этом часто возила к своей матери. У Бориса Илья не проповедывал, как у Лины да у других особ дамского пола, не острил напряженно, как в редакции и в подобных компаниях, не был в состоянии обороны-нападения, как дома с Элкой, а просто *беседовал*. За тем и ходил.

Он вышел из подъезда. Весь август и сентябрь лили нескончаемые дожди, на улице было сыро, промозгло, а теперь вот октябрь словно отдавал недоданные в прошлые месяцы сухие дни. Если бы не ветер... Илья подумал, что в дождливые дни, идя к Лине, он старух не видел, а теперь они, словно стайка осенних мух, сидели на самом прогревом осенним солнцем месте — у стены между двумя подъездами, под длинным балконом. Ветер им здесь не досаждал. Илья не любил и боялся подозрительных взглядов этих старых гарпий, обсуждавших каждого нового и незнакомого человека, появлявшегося во дворе, впрочем, как и постоянных жильцов этого дома. Ему казалось, что им все известно о его отношениях с Линой и что они уже давно треплют ее имя в своих бесконечных пересудах. Как мухи переносят инфекцию и пачкают все своими лапками, так и эти старые ведьмы

подхватывали носившееся в воздухе — невещественное и несущественное и превращали в осязаемую реальность.

Он застиг, неторопливо переходя из подъезда в подъезд, обрывок их причитаний и укоров миру. Трое их там сидело: толстая, распухшая болезненно, неповоротливая старуха, в пальто, в теплых ботах, поверх пальто обвязанная черной шалью, опиравшаяся на палку, с черным пуделем обок ее; сухонькая словно безгрудая старушонка в вязаной кофточке и белом шерстяном платке, согнутая вопросительным знаком; а также квадратная *пожилая дама* в сером пальто, черной шляпке, золотых очечках и высокомерно-важным выражением губ и вздернутого подбородка, с глазами, однако, жалкими, больными, тревожными. Говорила золотоочковая:

— Жизнь несправедливо устроена. Мы работаем, а они копят. Они очень много понакопили, я вам точно говорю. Они все больше на чистых работах норовят, особенно врачами. Сколько я им передавала, пока они мою дочь лечили.

— А что ж, надо было, Искра Андреевна, ведь она у вас прямо гольшом по улице разгуливала, я уж про балкон не вспоминаю. Мужики-то вечно с задранной вверх головой ходили. Срамота! И мужа вы ей купили за большие деньги, не помогло! Уж лучше врачам платить, чем на похабство деньги выкидывать, — бросила прямолинейно старуха с пуделем.

Золотоочковая поежилась, но ответила:

— Вот я и говорю, что евреи много русского золота накопили. Мы им платим, а они копят. Ух сколько найдете, если у них в закромах покопаться. Они ж из такой страны, где денег как песка, они к ним и привыкли. Только мы у них никогда этого не увидим. Просты мы!

— Зачем же они к нам приехали? — пискнула старушка в вязаной кофточке, которую Илья несколько раз встречал как-то у Розы Моисеевны. — У нас тут небогато.

— Они ж бродяги, как цыганы. Сталин для них специально паспорта ввел, чтоб за ними следить. Цыгане так и остались бродягами, а евреи паспорта приняли, а против Сталина заговор врачей устроили. Чтобы он у них денег не поотбирал... Да вы ж, Матрена Антиповна, сами у таких бываете, сами видели, что они лучше нас живут.

— Ох, Искра Андреевна! — снова пискнула старушка. — Неужто правда? А мне и неприметно было. Сколько у их бывала, никогда ничего вроде того, о чем вы поведали, не видала.

— Я, милая, вам и говорю, они так спрячут, что не узнаете, — уверила старушонку золотоочковая. А старуха с пуделем сказала:

— Вы, Матрена Антиповна, вечно всех защищаете. Они в вашей защите не нуждаются. Их судьба вознесла выше, чтоб сбросить сильней. Чем скромнее живем, тем лучше; счастлив тот, кто не выделяется.

— От судьбы никто не уйдет — попыталась незаметно для самой себя поперечить старушонка. — И бедный умрет, и богатый умрет.

Дальнейшего Илья не слышал, захлопнув за собой дверь подъезда. Нетрудно было догадаться, что у них на уме была болезнь, а стало быть, и близкая смерть Розы Моисеевны, ведь, наверняка, по их понятиям, она «зажилась». К себе, конечно же, они этого не относили. И, насколько хватало их разумения, пытались быть выше данного частного случая, говоря о целом еврейском племени. «Все эти гарпии пачкают, — думал Илья. — Хорошо хоть Лину не трогали». А что бы он сделал? Ведь он любит ее. *Любит*? Любовь всегда там, где препятствия и неурядицы... Такова житейская мудрость. Поэтому в браке любви не бывает. «Хорошее дело браком не назовут», — вспомнил он шутку университетской юности. Но так ли? От брака ждешь не только любви, но и счастья.

Но от Элки ни в любовный, ни в их семейный период не слышал Илья того, что почти в самом начале их романа услышал от Лины. «Я счастлива», — шепнула как-то она, прижимаясь к Илье. И снова повторила: «Я наверное, самая счастливая женщина». Тимашев тогда подумал, и потом не раз снова эта мысль приходила ему в голову, что он мог бы быть счастлив тем, что с ним кто-то счастлив. Элка не была с ним счастлива, как он ни старался. Все ей чего-то не хватало. Была неудовлетворена. Может быть, даже как женщина.

Илья почувствовал, что ноги его отяжелели, и он приостановился. Но потом взялся за перила и снова стал подниматься.

Почему? Да, потому, что женился неумелым мальчишкой, поначалу все скрашивалось любовью, потом вроде он и научился, да и другие бабы просвещали, как могли, но какой-то разлад оставался. Он тратил свое свободное время на ее прихоти, гостей, добывание денег, продуктов... «Муж-мальчик, муж-слуга, из жениных пажей...» Беда ранних браков: мужчина работает, думает, растет, а жена с ним все как с мальчишкой. Потом он и это преодолел. Ей стало льстить, что ее муж — философ, историк, культуролог, кан-

дидат наук, пишет и печатается, хотя и была домашняя дежурная шутка: «Илюшка — культурулог из тридцать первой квартиры». Но пожилую даму, приятельницу его матери, обратившуюся как-то к Илье, назвав его детским именем «Илька», она осадилась довольно резко: «Он вам не Илька, а Илья Васильевич!». Но счастлива все равно не была. А Лина говорила ему, что она с ним счастлива.

Он позвонил. Дверь открыл Борис, одетый по-домашнему: заплатажные джинсы и матросский фланелевый бушлат, купленный, как он сам объяснял, по случаю в Военторге. Одежда удобная и теплая. Да и шкиперская бородка к этому костюму подходила.

— Заходите, Илья. Рад вас видеть. Я, пока вас не было, чай заварил. Жены дома нет. Сами будем хозяйствовать.

Они прошли коридором и свернули налево в кухню: квартиры Кузьмина и Востриковых планировку имели одинаковую, но здесь обставлено было иначе, проще, без «аргентинского влияния». Небольшой холодильник «Саратов». Узкий кухонный стол, три пластмассовые табуретки и два деревянных стула. Сборная металлическая полка над холодильником, на ней специи и травы. У стены напротив окна два шкафчика для кухонной посуды — стоячий и висючий. Газовая плита, рядом кухонная мойка. На столе две больших чашки, сахарница, масленка и деревянная дощечка с батоном белого хлеба, острый нож.

— Ничем особенным я вас угостить не могу. Но надеюсь, что Лина вас покормила. Чаю попьем. Есть еще водки полбутылки. Не желаете?

— Не откажусь, — автоматически ответил Илья, соображая, что ему надо бы на всякий случай позвонить кому-нибудь из приятелей на предмет алиби, поскольку от Лины такой звонок он сделать не мог. И надо тут выбрать момент, чтоб сказать об этом Борису. Так вот сразу, едва успев войти, неловко.

Борис достал из шкафчика две рюмки и две вилки, из холодильника початую бутылку «Пшеничной» и банку с очищенными от костей кусочками селетки, замоченными в подсолнечном масле. Отрезал несколько ломтей «Бородинского», взятого из хлебницы, стоявшей на холодильнике, и положил их на деревянную дощечку.

— Вилкой прямо из банки. Не возражаете? Посуду мыть, неохота.

— О чем речь! Конечно.



Они чокнулись и выпили по рюмке. Борис намазал кусок черного хлеба маслом, сверху положил кусок селедки, закусил. Илья ограничился кусочком селедки.

— Что у вас слышно? — спросил Борис, начиная разговор. — Как ваше Зазеркалье?

— Пишется потихоньку. Времени не умею найти. Мечусь как последняя скотина между двумя бабами. Сам себя ненавижу за это, за бессилие определиться, решить что-нибудь, — но тут же прервался, чувствуя и понимая, что если войдет в разговор, то позволить непременно забудет, а алиби нужно, чтоб потом не дергаться!

— Позвольте, я вначале от вас позвоню?..

— Пожалуйста, ноу проблем. Телефон в моей комнате.

Комната Кузьмина действовала на Илью всегда успокаивающе, одновременно вызывая желание писать, читать, работать. Комната эта была расположена так же, как и комната Розы Моисеевны: направо от входной двери. На столе, стоявшем у окна, лежали листы бумага и блокноты с записями, в машинку был засунут чистый лист белой бумаги, справа стопка книг, а слева тяжелая настольная лампа с зеленым абажуром. Налево от стола — открытые полки с книгами и толстыми папками на тесемочках, направо — вся стена в застекленных полках с книгами. Позади стола, у стены, диван, перед диваном журнальный столик, с другой стороны столика кресло. На столике телефон.

Какое-то время назад, прикрывая свои шашни, Илья говорил, что проводит время с Борисом Кузьминым, даже рассказывал о нем, звонил от него несколько раз. Элку, однако, удивляло, что он ни разу не привел Бориса к ним в гости: гостей она любила, и раньше, когда мог, Илья старался всех своих знакомых зазывать к себе в дом, чтобы сделать Элке приятное. А на визиты к Борису злилась, потому что — без нее: «Не понимаю, что это ты к нему таскаешься так часто! Привозил бы ты его лучше к нам домой. А кто еще там с вами? И баб нет? И жены дома не бывает? Ну, Илюшка, не знай я тебя, я бы гомосексуализм стала подозревать». На Элкины упреки Илья возмущался, говорил, что если бы он мог, он бы с Борисом общался каждый день, потому что люди живущие творческими интересами, да, да, такие, как этот самый Борис, создают вокруг себя как бы некое энергетическое поле, которое заряжает и окружающих людей. Элка морщилась недовольно, но все же считала, что пусть лучше он к Кузьмину шляется, чем по пьянкам да по бабам.

Он уселся в кресло, снял трубку. Звонить надо было Гомогрею — больше некому. Любой из известных Элке редакционных приятелей хоть раз да покидал стезю нравственности. Никому из них Элка бы не поверила, то есть виду бы не подала, но не поверила бы. Гомогрей же был семьянин, хотя и пьяница. Домашний *чоловик*. И последнюю бутылку портвейна норовил увезти домой, а не допить с друзьями. Мужик он был домовитый и хозяйственный. Знал, где купить продукты и как из чего-то немислимого, порой мелькавшего на полках магазинов, приготовить сносную жратву. Пузатый, невысокий, любящий пожрать, он даже из вымени, продававшегося еще тогда в магазинах, умудрялся делать что-то аппетитное. Был он похож на добродушного гнома из немецких сказок, хотя и чистый хохол. Дома он держал кобеля Чарли неизвестной породы, которому скупал кости в ближайшей кулинарии. Редакционная недавняя сплетня сообщала, что пару дней назад, поскользнувшись на эскалаторе метро, он загрохотал вниз по ступенькам следом за ним его портфель, портфель раскрылся и оттуда посыпались коровьи кости, что напугало старушек, решивших, что рассыпался сам Гомогрей. Был добродушен и необидчив, врать не умел. Он не походил на человека *Элкиного типа*, она ценила людей значительных, острых, гусар своего рода, но словам Гомогрея могла поверить.

Он набрал номер Гомогрея.

— А, Тимашов (так Гомогрей его звал спьяну), привет! Ух мы и набрались сегодня! А ты куда пропал? Все по кискам бегаешь, засранец! Тебя Элка как-нибудь убьет! Они тебя убьют. Мне тебя, Тимашов, жалко, — слышались всхлипывания. — Илька, ты слышишь? Ваня Гомогрей плачет! Они тебя убьют!

— Вот балбес! — рассмеялся Тимашев. — Где ты так нажрался? Тебя же вроде не было с нами в стекляшке...

— Где надо! Гомогрею поднесли, его не забыли. Ах ты, чучело! Не обижайся, это я любя. Мы же потом опять в стекляшку пошли. Начальство разбежалось, ну и мы туда.

— И ты уже дома? Тогда ты должен трезвым быть!

— Конечно, трезвым, — подхватил Гомогрей. — Я и есть трезвый. А вот Ленка не верит. Слушай, Тимашов, будь другом, скажи это Ленке, что я трезвый. Скажи, скажи, скажи! На, скажи.

Трубку взяла Лена Гомогрей. Она нравилась Илье: полная, миловидная, спокойная.

— Здравствуй, Илья. Ваня совсем пьян. Я поняла, о чем он тебя просил. Как твои домашние?

— Нормально, — односложно ответил Илья. — Спасибо.

— Передавай привет Элле. Ты еще с Гомогреем хочешь говорить?.. Даю ему трубку.

— Сказал? Сказал, что я не пьян? То-то. А ты чего звонишь?

— Хотел попросить тебя об одном одолжении. Но теперь не знаю...

— Проси. Гомогрей все сделает.

— Моя просьба проста. Только не напутай. Хочу сказать Элке, что был у тебя. Она вряд ли тебе будет звонить, но если позвонит, скажи, что я только что ушел. И на будущее та же версия, что я этот вечер провел у тебя. Понял?

— Нет вопросов. У Гомогрея нет вопросов. Только ты ей позвони предупреди, что ты у меня. А то вдруг позвонит.

— Именно звонить ей я и не хочу. Мне нужно алиби, а не прямое вранье. А задним числом я скажу, что был у тебя, подвыпили, потому и не позвонил.

— Сукин ты сын, Тимашов! Ладно, скажу. Гомогрей не подведет. А жена у тебя хорошая. Ее все любят. И Гомогрей любит. Но ты должен за ней строже следить! Понял? Что это у нее за амуры с Паладиным? Он сегодня еще с Толей Тыковкиным об этом спорил. Ну, помнишь, тот, что на свадьбе у Паладина драку между Помадовым и Орешиным устроил? Они даже об заклад бились, насчет этих амуров.

— Каких амуров? — холодея, спросил Илья, чувствуя, что то, чему он старался не давать веры, хотя и обсуждал про себя, приобретает характер реальности, ибо попадает в сплетню.

— Ну, соблазнил ее Паладин или нет.. Тыковкин все подбивал его на это, дразнил, что ему слабо. Мы все там Элкой восхищались, а тебя, ты уж прости, бранили, говорили, что ты такой бабы не заслуживаешь. Вот Тыковкин и встрял.

— Зачем ему это?

— Ну ты, Тимашов, даешь! Зачем? Да просто так! Жопа, это же наша элита! У них свои принципы! А потом — между нами — у Толика такая особенность: всех стравливать. Он, блин, будущий политик, это понимать надо.

— А что Паладин?

— Ну, ты Сашку знаешь. Послал его на хер! Он так не спустит. Сказал, что в этом деле разберется без непрошенных советчиков.

И что лучше Элки он бабы не знает. Но честь женщины он никогда марасть не будет. И что ни про какой заклад он не помнит. А за треп может Тыковкину в тыкву дать. Тебя волнует, было ли что между Элкой и Паладиным? Я это чувствую. Гомогрей чувствует, что его друзей волнует. Но это тайна! Дурак, не для тебя, а для всех тайна! Ты понял? Ты меня правильно понял?

Тимашев молчал, не в силах говорить.

— Чего сопишь? — выкрикнул Гомогрей. — Ты это брось, Илька, сопеть! Терпеть должен. Ты от Элки гуляешь, вот и терпи! Ну, не сердись, мудака будешь, если рассердишься. Я ж от души. А не ходи к кискам! С огнем шутишь, Тимашов! Если Элка узнает, она тебя зарежет. Убьет. Она тебя простила, потому что любила. А разлюбит — убьет. Они с Паладиным вместе тебя прикончат. Ты должен ехать домой и целовать ей ноги, спасать семью. Хочешь, я ей позвоню и скажу, что ты уже едешь?

— Ты что, обалдел? Моя просьба остается в силе, — сухо ответил Тимашев, тупо соображая, что попал в ситуацию, когда за его спиной решается судьба в споре двух начальственных сынков, то есть происходит то, что он читал в средней руки романах. Он, понимаете ли, терзается, а тут все решено. К тому же, если вспомнить Клитемнестру, то она, может, и простила бы Агамемнону Кассандру, не вмешайся ее любовник Эгисф. Да нет, чушь, античная трагедия отзвучала, да при том и не на нашей почве.

— Ладно, не буду. Ты чего опять молчишь? Ты же знаешь Гомогрея, он и позвонить мог, если бы ты не попросил. Я вот Паладину уже звонил. Он раньше меня уехал. Но дома нет, я с Манечкой его говорил. Понял? Нет, ты понял? Гомогрей тебе друг. Он желает, чтоб у тебя была крепкая советская семья.

— Спасибо тебе, Ваня.

— То-то!

— Давай о чем-нибудь другом напоследок поговорим!

— Ладно, не переживай! У других и хуже бывает! Вон Женька из партбюро рассказал... Да, кстати... Это же про твоего кореша! Ты слышал, что на Владлена Вострикова телега пришла? Прорсался твой Владлен! Аморалку ему шьют!

— Как?

— Через пятак. Вот как! Американку себе в Праге завел, аргентинку какую-то куюву. Ленка говорит, чтоб я не трепался, потому что точно еще ничего не известно. А то, говорит, я и так

много натрепал. Все! Гомогрей умолкает. Я тебя предупредил. Все! Я тебе все сказал. Пока. Гомогрей спать хочет.

Он бросил трубку, а Илья еще с минуту слушал далекое пиканье. Потом резко нажал на рычаг, раздался сильный непрерывный гудок. Илья набрал номер домашнего телефона. Длинные гудки, номер не занят, но трубки никто не снимает. Дав шесть или семь сигналов, Илья опустил трубку на рычаг. Ладно, сын наверняка у приятелей, но Элка?.. Где Элка?.. Настроение стало пасмурным, но дольше оставаться в комнате было неприлично.

Борис терпеливо ждал его на кухне, сидя перед пустой рюмкой.

— Ну что с алиби?

— Непонятно.

— Вы что такой мрачный, Илья? Что-нибудь случилось? Давайте выпьем, — Борис снова разлил по рюмкам водку.

Они опять выпили, закусили, Илья сидел, мрачно глядя в рюмку. Рассказывать о своих подозрениях, о пошедшей гулять сплетне (или еще не пошедшей? может, он преувеличивает?) не было сил. Но представление о том, как должно вести себя в гостях, в которые сам при том навязался, вынуждало говорить, объяснять свою мрачность.

— Устал от такой своей жизни, от ее раздрызга и нелепицы, — сказал он вертя в пальцах рюмку. — Вы знаете, как я определил бы русскую жизнь, ее доминанту? *Неопрятность*. В личной жизни, в быту, в сексуальных отношениях; эти бесконечные ссоры, крики, драки, поножовщина по пьяному делу, причем между близкими родственниками, все это ужасно, но это результат общей неопрятности, расхристанности, разгильдяйства. Сравните наши дороги и наши дома с дорогами и домами в той же Прибалтике. И границы никакой нет, условная, а переехал некую черту, и уже все другое: ухоженное, чистое, заасфальтированное. А грязь наших домов, начиная от улицы перед домом и подъездом и кончая грязью в квартире. Ваш дом еще из последних, что поддерживает чистоту, остатки профессорской культуры. Если не считать, конечно, домов партаппарата. Но там, небось, спецслужбы убирают.

— А у вас много грязнее, чем у нас? Я ведь у вас так и не был.

— И хорошо, что не были. У нас обычный дом, жековский, не ведомственный и не кооперативный, тем более не партийный. Я вам не рассказывал, как возникла у меня эта квартира? Дед, когда в пятьдесят шестом вернулся из ссылки, сразу получил двухкомнат-

ную квартиру, все же крупный ученый, профессор. К себе он пропи-сал меня с матерью. Квартира после барака казалась мне огромной. Она и была такой сорок три метра. Потом дед умер, потом я собрал-ся жениться, и мы с матерью разменялись: она получила двухком-натную малогабаритку в двадцать семь метров, а я комнату в четы-рнадцать метров в коммуналке, где были еще две семьи. Женился, родился сын, а затем везуха: почти одновременно две соседские семьи получили отдельные квартиры и съехали, и нам досталась большая квартира в три комнаты. Один случай на тысячу. Сделали ремонт, привели все в порядок, и поначалу выгодно отличались от соседей. Но представьте себе улицу перед домом: грязь, мусор, на огромный восьмизэтажный дом только два мусорных бака, вечно пе-реполненных, которые к тому же редко вывозятся, кучи мусора вы-растают рядом с баками в их вышину, и потом во дворе этот вечный сладковатый запах помойки, запах чего-то тошнотворно гниющего. Иногда мальчишки поджигают мусор в баках, тогда примешивается еще запах дыма и гари. А подъезд!.. Про него и рассказывать неохота. Бумаги, окурки, скомканые сигаретные пачки, на пол плюют, и сморкаются, а за лифтом так попросту мочатся и испражняются. Мы пытались с этим бороться, но не очень-то успешно. Лифт тоже заплеван. Уборщицы нет. Вернее, периодически возникает, но через месяц-два уходит. Последние два года техник-смотритель получа-ет и зарплату уборщицы, по совместительству, разумеется, но ни-чего не делает. Писали жильцы жалобы, а ей хоть бы хны. Тронуть ее бояться. Другую же не найти! Так и живем в помойке. Одно время Элка пыталась сама убирать, потом богема закрутила, за собствен-ной квартирой почти не смотрит. Пыль клубками катается. А с тех пор, как сын в хиппизм ударился, так бедлам такой, что страшно. Неубранные постели с утра до вечера, горы грязного белья, грязные тарелки на кухне по нескольку дней. Я так больше не могу, — Илья чувствовал, что, несмотря на спокойствие тона, руки его дергаются.

— Разводитеесь тогда. Лина ведь вроде вас любит.

— Тоже не могу. Не могу оставить Элку, сына.

— Но ведь и Лина тоже дорога?

— Дорога. Но прежде всего как женщина. Понимаете? А как человек порой раздражает до судорог. Упрямство, доходящее до глупости. Мы как-то неделю проводили вместе. У меня с собой был прекрасный ликер «Вана Таллин» и армянский коньяк. Она раз налила себе в рюмку и того и другого, смесь ей понравилась.

И вот, не слушая моих возражений, она сливает вместе две бутылки, разумеется, «чтоб нам было вкуснее». Пить эту гадость я уже не мог. Пустяк? Конечно, пустяк. Но на всю неделю она мне настроение испортила. А позерство! Своего дела нет, а отсюда и вранье, желание казаться чем-то большим, а не просто красивой бабой, чтоб я не ударил в грязь лицом, когда мы куда-то вместе выходим, что, как вы понимаете, бывает крайне редко. Сядет, нога на ногу, сигарету в зубы и представляется: «Я, как архитектор, могу это оценить так-то». И все в этом духе. Меня корежит, хотя уже не кажется, как казалось вначале, что все замечают, что ее ужимки — обезьянье представление. Мне шепчут: «Ваша подруга архитектор? Как интересно: архитектор и культуролог — хорошая пара». Но я-то знаю, что она все врет, что она давно никакой не архитектор, что все забыла. В общем бред какой-то. Вроде бы жизнью она битая, а все равно представляется. А в остальном чудесная, заботливая, любящая. Когда не психует, конечно...

Борис с любопытством и изучающе, как казалось Илье, смотрел на него, смотрел как писатель. Но ему было плевать, потому что возможность высказаться, полуисповедуясь, дорого стоила.

— Зря раздражаешься, — сказал Борис. — Вы ведь тоже не святой.

— Не святой... Да уж, не то слово...

Илья замолчал. В голове словно что-то шелкнуло. Утренний разговор с Лёней. Сердце сжалось. Да, эпизод в финской бане. Бесстыдный, по сути своей. Затащил его в баню Лёня Гаврилов, их, кстати, общий приятель с Кузьминым. Баня принадлежала МВД, незаметная такая снаружи избушка, но вполне роскошная внутри видела как-то в компании, где он разливался соловьем и мыслью по древу растекался. Был он филолог, *фарца*, книгами подторговывал, работал в каком-то издательстве, при этом фантастический бабник — невысокенький, усатенький, с хитрыми глазками. Звали его Олег Иванович Любский. Уверял, что их род побочный, от Боголюбских. Врал, конечно. Он сидел за столиком, пил, лопал курицу, курил. А рядом с ним прелестное юное создание, девушка двадцати лет, как и все они, закутанная в простыню. Они тоже сели, выпили. Поднял их с места Олег Иванович: «Ладно, мужики, пожрали? Пойдем теперь жариться, мудями потрясем. Смотрите, кого привел. Марьяночка, красавица моя, сними простынку. Радуюсь, душа отмякает, на нее глядя. Какое тело, какие линии! Вот она жизнь! Ах,

какая женщина! Наша! Не гляди, что черненькая! Южно-русских кровей! Пока вы там ковырялись, мы с ней уже два раза... Смотрите, какое чудо я вам привел. И уже не краснеет. Моя школа». После прогрева ныряли в бассейне и трахали по очереди эту Марьяну.

Вспоминать это — тоска, ужас и стыд.

Он подавленно молчал.

Выручил его Борис.

— Эй, Илья. Очнитесь. Вам чаю или еще водки?

— Чаю.

— И давайте сменим тему. А то вы совсем во мрак погрузились. Я буду чай наливать, а вы расскажите мне, за что дед ваш в ссылку попал. Я и не знал, что у вас дед был профессором.

Он принялся разливать крепкий чай в большие чашки.

— За что деда посадили? Он был профессор-микробиолог, что-то там перед войной открыл весьма значительное, был донос одного из учеников, что открытие базируется на идеалистических принципах... Так что по сути дела за открытие и посадили. Потом ссылка. Он нарушил наш главный принцип. Ведь у нас главный принцип, который мы выпитываем с молоком матери, — не высывайся!

— А, вот откуда ваша тема — «профессорская культура».

— Вы считаете, что это — экзистенциально-автобиографическая тема?

— А все темы, взятые всерьез, таковы.

— Может, вы и правы, — Илья задумался на мгновение, потом рассмеялся. — Но вы, Борис, в гораздо большей степени принадлежите «профессорской культуре». Взять хотя бы ваш кабинет. Это ж кабинет настоящего бюргера, потомственного представителя духовной, нет, точнее, умственной прослойки общества. Меня профессорство деда задело рикошетом, но все же задело, потому я и вас, и семейство Востриковых понимаю и люблю. Но я-то разночинец. Поэтому и возвращаюсь к своей разночинской проблематике. И о Чернышевском поэтому пишу. Очень непопулярное нынче имя. Но, на мой взгляд, самая трагическая фигура русской культуры, оболганная и врагами, и последователями. Россия чуть было не родила своего русского Христа. Но учение его было непонятно, а он, как и Христос, объявил высшей ценностью жизнь а не гибель, не смерть во имя государства, как у нас было принято и как было принято в языческом Риме. Даже Василий Розанов, уж на что был противником всех демократов, а



назвал Чернышевского воплощением Древа Жизни... Но и это не услышали. А мне близка его жажда цивилизации, его настоящий гимн цивилизации, да и его интерес к Риму тоже, мне близок. Самая оригинальная историософская концепция, какая только была. По его мнению, Рим доработался до основ цивилизации, к каким пришла Западная Европа только в XVII веке, но был разрушен, как потопом, нашествием варваров, что отбросило развитие человечества, по крайней мере, на десять столетий назад. Я, правда, думаю, что и внутренний распад свою роль сыграл, но причина гибели названа точно — удар стихии. А Россия, если согласиться с ее самоназванием — Третий Рим, уж точно погибла от внутренних варваров, отбросив стоявшую у дверей Европу.

— Бросьте, Илья. Россия совсем даже не погибла. Просто кончился один этап, один из этапов, наступил другой, но и он подходит, на мой взгляд, к концу.

— Что называть гибелью! Вы ведь не будете отрицать, что страна варваризована. Я вот этим летом опять, как вы знаете, с нашим общим приятелем Лёней Гавриловым по Ветлуге путешествовал. Хороши дома, строившиеся дворянами, купцами да попами. А в церквах теперь склады и мастерские, а в жилых домах дворян и купцов даже не школы (это бы еще ничего) — разнообразные конторы. За все семьдесят лет ничего даже и отдаленно похожего на эти цивилизованные здания не построено. Так и видишь варваров, которые в развалинах Колизея пасли скот, а стены терм разваливали и из обломков возводили хижины. Цивилизованные привычки были забыты на много веков. Я же сказал: доминантой стала неопрятность.

— Но даже в период упадка есть в России величие. Тут вы меня, Илья Васильевич, не собьете и не переубедите. И не заводите, пейте лучше чай с сахаром. Для мозга полезно.

Илья отхлебнул терпкий от крепости чай, усмехнулся.

— Вы знаете, очень смешно, но в детстве, подростком я именно так любил Россию, все же конец сороковых — начало пятидесятых, а мне десять и около того лет. Я тогда гордился самим фактом, что я — русский! Не какой-нибудь там засранец-американец, не англичанин, тем более не немец, а *русский!* А все русское казалось мне самым лучшим, даже не лучшим, не то слово. *Подлинным* вот точное слово. А ко всему европейскому я испытывал презрение, оно казалось мне излишне и подло хитроумным. Их хитроумию противостояла наша простота, которая была

подлинностью и потому побеждала дурацкую и никому не нужную немецкую изошренность. Когда в пятьдесят пятом или нет, скорее, в пятьдесят шестом или седьмом из армии вернулся мамин брат, он привез мне и моему кузену две саперные лопатки, одну советскую, то есть русскую, другую — трофейную, немецкую и предложил мне как старшему выбирать. Немецкая была на винтах, штыку лопаты можно было придать любое положение, даже ковырять землю, не высовываясь из окопа. Наша была проста, как топор. Штык на деревяшке. Я, конечно, выбрал нашу. Вот с такой мы победили, значит, она лучше. Мы в провале, в яме, и восхвалять эту яму неприлично, на мой взгляд.

— Вы жестоки, Илья. Я и не восхваляю. Вы забываете об одном обстоятельстве, говоря о техническом прогрессе. Россия живет Словом. Словом она преодолевает смерть. К Слову у нас прислушиваются, его читают, ему внимают. Западным людям этого не понять. Там вначале было Дело, а у нас Слово.

Илья пил крепкий сладкий чай, который, как ему казалось, заглушает алкоголь, трезвит. Разговор пошел серьезный, и ответить надо было как можно яснее.

— Видите ли, — сказал он, еще раз отхлебнув из чашки, — здесь опять в силу вступает идея Зазеркалья, которую я вам как-то излагал. Помните анекдот, как построили у нас теплоход, он загудел, а с места не тронулся, потому что весь пар ушел в гудок? Резюме: у них — пар движет машины, у нас — пар уходит в гудок, в разговоры, в обсуждения, в болтовню, короче — в слова. А дела никто не делает. Вот и решайте, что лучше.

— Когда-то ведь делали, вы сами говорите, что на Ветлуге крепки только старинные дома.

— Делали. Вторая половина девятнадцатого и начало двадцатого период европеизации. Если же вы мне напомните про прочность и крепость храмов, которые так трудно было рушить, я вам скажу, что и здания райкомов и обкомов, не говорю уж о зданиях высшего эшелона, тоже будь здоров как строены. Не разрушишь.

— Ну, вы уж и сравнили большевиков и православие.

— Да почти никакой разницы. Большевики противопоставили себя всему миру как носители истины в последней инстанции, еще раньше православие стало такой же племенной религией, враждебной первохристианской идее мирового братства, религией, ненавидящей саму идею экуменизма, осмелившейся

отлучить от церкви Льва Толстого, великого писателя поставив вне закона, когда любая падаль могла его убить. Очень напоминает антилитературные подвиги большевиков...

— Ну, Илья, церковь пострадала от большевиков...

— Стойте! Это же так просто: большевики выражали ту же идею изоляции страны от мира много лучше и современнее, чем православные попы, устаревшие дилетанты, не справившиеся с европеизацией и капитализацией рубежа веков. Да и неужели вы не видите, как нынешние партийцы — из разных причем слоев — становятся на наших глазах верующими православными? Да прикажи им — завтра сдадут партбилет и с радостным визгом бросятся под хоругви возносить молебны и истреблять атеистов, видя в них порождение механизированного Запада. Хотя им лучше и удобнее совмещать большевизм с православием. А вообще еще Стругацкие писали, что следом за властью серых начинается власть черных, а святые отцы давно срослись с КГБ. Потому что большевизм и православие — это единая уверенность в возможности построения рая земного и праведной жизни в одной, отдельно взятой стране.

— Жестоко. Только как филолог добавлю: взятой за горло стране. Слово «взятой» требует пояснения, кем и за что взятой.

— Это неопределенность не языковая, а культуры. Что значит — русский? Имя прилагательное, как писал Владимир Соловьев. Так что возможен русский азиат, русский европеец, русский дикарь, русский святой... А в литературе — русский Жорж Санд, русский Диккенс, русский Гофман...

— Ну, положим, теперь сравнивают с русскими писателями, да вы. Илья, и сами это знаете. Мне даже неловко об этом напоминать. Я остаюсь при своем: сила России в Слове. Неопределенность ее культуры, как вы говорите, создала многозначность ее Слова. А многозначность и есть сила, вы ж культурфилософ и должны это чувствовать.

— Ладно, спорить не буду, да и глупо, потому что литературу нашу классическую и сам люблю и считаю ее, быть может, единственной надеждой России. Но, чтобы она подействовала на народный менталитет, нужны века. Литература в России как пятая колонна, как евреи в римской империи, основавшие новую религию и перевернувшие Рим.

— Смело. Я думаю, ревнители православной чистоты русской классики много бы дали, чтоб начистить вам физиономию. Если

б узнали, конечно. Так что замечайте, кому рассказываете свои идеи.

— Стараюсь замечать. А вы что скажете? Как-никак писатель!

— Мне-то интересно. Но ведь я писатель непечатающийся. А потому и без амбиций.

— А, это, Борис, важно — печататься, чтобы чувствовать себя писателем? Пишут же нынче почти все в стол.

— Во-первых, не все. Во-вторых, мне уже тридцать восемь, немало. И Пушкин, и Маяковский ушли к этому возрасту в мир иной. В-третьих, из-под спуда достаются произведения только тех, которые хоть строчку при жизни опубликовали. Писателю, конечно, нельзя писать, чтобы напечататься, но и не печататься для него плохо.

— Да и деньги за работу получить бы неплохо. Вы ведь по-прежнему в своем педвузе работаете?

— Ну, он много времени не отнимает. Зато у меня есть чувство независимости. Я не должен писать, чтобы получать за это деньги. Конечно, «не продается вдохновенье, но можно рукопись продать...» Но никто пока не покупает.

— Слушайте-ка, Борис! Не могу обещать, но надо попробовать. У меня появилось знакомство с одним малым из славного такого журнальчика «Химия и жизнь». Журнальчик вполне пиратский. Если бы у вас было хоть что-нибудь страничек на десять-двенадцать, напоминающее фантастику, я бы попробовал.

Кузьмин немного встрепнулся, помотал головой, как человек, который знает, о чем идет речь, и относится к атому недověрчиво, но вместе с тем и с надеждой.

— Смешно, — сказал он, — я в жизни написал один фантастический рассказ, и года три назад мой приятель отнес этот юношеский грех в ту же «Химию и жизнь». И с тех пор ни ответа, ни привета. Он меня, правда, утешает, что в этом журнале такие нравы: годами ни слова, а потом — раз, и напечатают. Но, может, им и не понравилось... И стоит им еще предложить что-нибудь. Беда в том, что чистой фантастики у меня и был один тот рассказ. Есть еще нечто, но это не фантастика, скорее, фантазмагория; конечно при желании за фантастику выдать можно. Тоже давно написано.

Тимашев вдруг заметил, что его собеседник внутренне засуетился, хотя всячески старался скрыть это. Илья опустил глаза в чашку с чаем, ему неловко стало.

— Да это неважно, когда написано, — сказал он, чувствуя почти что стыд от роли невольного благодетеля.

— Наверно, наверно, — ответил Борис, изо всех сил стараясь «не потерять лица». — Надо только найти эту мою фантазмагорию. Может, пройдем ко мне в комнату?.. Да вы чай с собой берите, там и потремемся, пока я искать буду.

За окнами уже темнело, и, войдя первым в комнату, Борис зажег верхний свет, усадил Илью на диван перед журнальным столиком, а сам подошел к открытым полкам у стола, достал папки с тесемками, выложил их на стол и принялся, развязывая и доставая скелотые скрепками листочки, быстро просматривать их. Илья прихлебывал чай молча, чтобы не мешать. Заговорил Борис, «занимая гостя»:

— И все же сегодня, Илья, ситуация другая. Литература уже не может надеяться *воспитать*. Знаете, когда я читаю русскую классику, Достоевского, например, то, отдавая должное силе его Слова, все время думаю, что вот он писал, с кем-то спорил, отвергал нигилизм, либерализм, искал, так сказать, здоровую основу русской культуры, надеялся, что еще немного, что стоит перебороть недостатки, позвать «серые зипуны», и все пойдет, как надо. Верил в нормальный ход истории, несмотря на ужасы своих романов, поэтому покупал, скажем, землю, чтобы обеспечить детей... И вдруг — бах! Все изменилось, даже следа нет тех дел и проблем, о которых он писал и думал, словно он творил в каком-то давно вымершем Вавилоне или, если вам приятнее, древнем Риме. Достоевский хотел действовать, а мы сейчас видим призрачность этого хотения. Так может ли нынче литература звать людей к какому-либо действию? Имеет ли на это право? Есть просто основные человеческие понятия, которые у нас забыты: человечность, судьба, сострадание, рок, грех и прочее. Этот произошедший шестьдесят пять лет назад перелом словно стер их из нашего языка. Вы употребили хорошее слово — провал. Кстати, вы не первый. Хорошо также «котлован» у Платонова. Тоже своего рода провал. Все прошлые дела и структуры ушли, оборвались, остались за чертой провала. А мы существуем в совсем новой реальности. Помните у Мандельштама «наступает глухота паучья, здесь провал сильнее наших сил»? Но из этого провала, который не пересилить, потому что он «сильнее наших сил», нечто видно яснее. Видно бывшее и будущее величие России. «Мастер и Маргарита» именно об этом.

Исчез Ершалаим, великий город, исчезла за улетевшими Москва, в высшей реальности остались только Мастер, Маргарита, Иешуа, да Понтий Пилат и Левий Матвей, прикоснувшиеся к высшему. А остальные все с их мелкими дрязгами растворились, будто их и вовсе не было. Надо жить не сегодняшним днем, а вечными, нетленными ценностями, — вот что мы из провала увидели.

— Положим, это человечество давно разглядело. На этом, простите, все христианство строится. Но неужели вы и в самом деле считаете, что мы живем в новой реальности?

— Считаю. А вы считаете, что это не так?

— Угу, не так. Почему же все, что сейчас с нами происходит, удивительно похоже, до явных аналогий, на старую, порой еще допетровскую Русь? Нет, вы не правы все же. Я, Борис, вижу закономерность произошедшего перелома, переворота, революции, закономерность как историческую, так и мистическую. Исторически — это отказ от европеизации, возврат к прошлому. Но он, конечно же, не мог быть полным, ибо у этого перелома был и мистический смысл. Раскрывающий высший замысел о судьбе России. Хотя он может и не осуществиться.

— Вот это интересно! — Кузьмин даже перестал на время рыться в папках. — Мы еще с вами сойдемся в наших взглядах. Хоть я и говорю о провале и новой реальности, это — как бы объяснить? — фигура речи, она от отчаяния. Слишком я люблю Россию, чтобы признать нашу гнусную действительность достойной ее. Даже и в провале, в нищете, несчастье и убожестве она привлекает внимание всего мира.

— Так-так! Я вам никогда не излагал свою концепцию Русской Библии, Русского Ветхого Завета?..

— Нет, никогда. О! погодите! Кажется, нашел... Точно. Оно!

Он взял несколько сколотых скрепкой листочков, отложил их в сторону, достал с полки длинный конверт, засунул в него отобранные листочки, подошел и бросил конверт на журнальный столик.

— Это вам с собой! Именно с собой. Здесь не надо смотреть. Лучше я вас послушаю. Верхний свет только выключу. Так будет уютнее беседовать.

Он зажег бра над журнальным столиком, затем подошел к стене и повернул выключатель: верхний свет погас. В комнате установился светлый полумрак. Борис вернулся и сел в кресло.

— Я весь внимание.

— После такой подготовки страшно начинать, потому что кажется, что от тебя ждут особо умной речи.

— Простите, Илья. Не обращайте внимания, никакой подготовки не было, просто так удобнее. Хотите, можем на кухню вернуться?.. Я еще чаю поставлю.

— Да уж давайте сидеть, как сидим. Я попробую сформулировать, что хотел, задав для начала риторический вопрос. Что из прошлого века мы принимаем сегодня как наше неотъемлемое наследство, как нашу славу и гордость? Пусть с поправками и трактовками, но принимаем... Я пытаюсь начать свое рассуждение с вашей точки зрения, но она в известном смысле — не обижайтесь — совпадает с официальной. Вы говорите о новой реальности, но и наша пропаганда уверяет, что старая Россия ушла, что все — новое, но осталась великая русская литература, великая классика, которая и подготовила духовно великую русскую революцию, великий переворот. Об этом, кстати, и враги революции говорили, тот же Розанов. Но так ли это?

Что за литература была в прошлом веке? К чему она звала? Видя грехи и неурюстройства родной земли, она призывала по-новому почувствовать мир, не по-животному, а по-человечески. Чтобы *обрáзиться*. Это была отнюдь не эстетическая, а пророческая литература. Но что есть пророк не в банальном смысле предсказателя завтрашнего дня, а в сущностном, ветхозаветном? Это одержимый божественной энергией человек, обличающий и клеймящий пороки своего народа, пытающийся и вправду поднять его до уровня народа богоизбранного. Вспомните первое письмо Чаадаева, которое до сих пор пугает всех... Чем это не проклятия и угрозы древнееврейских пророков, посылаемые своему, повторяю, *своему* народу?! Когда-то я зачитывался пророком Иеремией, к стыду своему поздно узнал и поздно прочел, да и то прочел, чтобы понять, почему Герцена называли пророком Иеремией, рыдающим на развалинах Иерусалима. Но тогда вчитался и был потрясен: как он проклинал свой народ и считал его виновным в обрушившихся на него несчастьях! Древние же евреи включили его проклятия в Священную книгу. А он призывал чужие народы обрушиться на Израиль и покарать его. У вас ведь есть Библия, дайте я найду, ага, спасибо, — перелистнув несколько страниц, он воскликну: — Ну вот, например: «Вразумись, Иерусалим, чтобы душа Моя не удалась от тебя, чтоб я не сделал тебя пустынею, землю необитае-

мою». Или еще угрозы, более сильные: «И сделаю Иерусалим грудю камней, жилищем шакалов, и города Иудеи сделаю пустынею, без жителей. Есть ли такой мудрец, который понял бы это? И к кому говорят уста Господни — объяснил бы, за что погибла страна, так что никто не проходит *по ней*? И сказал Господь: за то, что они оставили закон Мой, который Я постановил для них, и не слушали гласа Моего, и не поступали по нему; А ходили по упорству сердца своего и во след Ваалов, как научили их отцы их. Посему так, говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот, Я накормлю их, этот народ, полынью и напою их водою с желчью; И рассею их между народами, которых не знали ни они, ни отцы их, и пошлю вслед их меч, доколе не истреблю их». Страшные проклятия и, что ужаснее, во многом исполнившиеся! Но делалось это для воспитания народа, и народ оценил эту боль и страсть, стал учиться по этим книгам обличений, как надо и как не надо себя вести. *Таких* проклятий у русских писателей все же не было. Были не проклятия, были обличения. Как у Хомякова в стихотворении «России»: «В судах черна неправдой черной и игом рабства клеймена!»

Он перевел дух, вытащил пачку сигарет, закурил, не спрашивая разрешения. Борис сидел бледный, даже при боковом свете бра это было заметно. Илья продолжал:

— Но, может, стоит начать с радищевского «Путешествия из Петербурга в Москву», за которое он чуть было на плаху не попал, но в Сибирь-то точно направился. Была эта книга революционной? Думаю, что нет. Она была пророческой — в том смысле, о котором я говорил. И Чаадаев, и Радищев, обличая свой народ, любили его, заставляли его думать о себе, о своей судьбе, приобрести самосознание. Хотя Радищев воображал, что возврат в Московскую Русь — спасение для страны. Пушкин указал другой вектор — «Путешествие из Москвы в Петербург». Но радищевский дар обличения, пророческий дар, все же в его книге прозвучал. Этот пророческий дар, требующий уплаты за свое пребывание в человеке, и плата эта — жизнь, судьба, получили и Гоголь, и Достоевский, и Чернышевский, и Лев Толстой, и даже тихий Чехов, я уж не говорю про Лермонтова и Маяковского. Однако древние евреи из проклятий и обличений своих пророков составили Завет, по которому воспитывали свой народ. Но сколько веков длился процесс составления Ветхого Завета! Вспомните это. Евреи поначалу относились к своим пророкам как и мы: выгоняли, побивали камнями, рас-



пинали. Это ведь библейское: нет пророка в своем отечестве. И то, что наши философы и художники после революции оказались за рубежом — Бердяев, Булгаков, Франк, Шестов, Бунин, Цветаева — это и плохо, просто ужасно, но это и начало некоего процесса, впервые в русской истории родилась русская диаспора, в которой число интеллектуалов в процентном отношении к общей массе было невероятно велико. Это не эмиграция, как в прошлом веке, это *диаспора*, — разница принципиальная. У евреев Завет тоже стал составляться в диаспоре, когда народ был рассеян, разметен. И в Завете он искал единства, учился преодолевать свои пороки, читая проклятия своих Учителей. Народ Книги! Но о близости еврейской судьбы и русской писал еще Владимир Соловьев. Близости — несмотря на весь свойственный темным душам в России антисемитизм. Близости — в любви к литературе, и в грядущей судьбе — судьбе рассеяния, диаспоры. Сколько русских живет по разным республикам! Процентом тридцать или сорок! Такого при царизме не было. А это не рассеянье ли? Достаточно вообразить, что республики из колоний становятся независимыми государствами. Вот вам новая колоссальная диаспора. Это, конечно, не то рассеяние, что предрекал Белый...

— Я не помню. Что вы имеете в виду?

— Как же! Знаменитое стихотворение — «Отчаянье». Прочту, если хотите:

Довольно: не жди не надейся —  
Рассейся, мой бедный народ!  
В пространство пади и разбейся  
За годом мучительный год!  
Века нищеты и безволя,  
Позволь же, о родина-мать,  
В сырое, в пустое раздолье,  
В раздолье твое прорыдать...  
Где в душу мне смотрят из ночи,  
Поднявшись над сетью бугров,  
Жестокие, желтые очи  
Безумных твоих кабаков,  
Туда, где смертей и болезней  
Лихая прошла колея, —  
Исчезни в пространстве, исчезни,  
Россия, Россия моя!

Прямое предчувствие революции и гражданской войны! Не так ли? Не понимал, но чувствовал. Так что, — продолжал Илья, стараясь не изменить нарочито нейтральной интонации, чтоб не впасть в ложный пафос, — русская литература, как видите, вполне выразила данную ей кем-то весть о судьбе своего народа. Поэтому она и достойна составить из себя новый Ветхий Завет, с его профетизмом, национализмом, чувством избранности, самообвинениями и проклятиями самим себе. Я говорю Ветхий, а не Новый Завет — сознательно. Идеи Нового Завета, то есть идеи мирового братства, только брезжат в нашей литературе — в «Что делать?» Чернышевского, в пушкинской речи Достоевского, в поэзии Маяковского. А так — это обличения, сопровождаемые призывами к России почувствовать себя избранницей Бога и Истории: «О недостойная избранья, ты избрана...» Однако составление Ветхого Завета, когда народ начнет искать недостатки в самом себе и обратится к своим «учителям жизни», русским писателям, осуществится только после нового и грандиозного, назовем его высокопарно — Великого Рассеяния.

— Так вы считаете, что будет еще одна катастрофа? — привстал с кресла Борис. — А какие признаки надвигающегося на нас кризиса? Я не вижу. Как писал мой любимый Шекспир — позвольте и мне процитировать:

В высоком Риме, городе побед,  
В дни перед тем, как пал могучий Юлий,  
Покинув гробы, в саванах, вдоль улиц  
Визжали и гнусили мертвецы;  
Кровавый дождь, косматые светила,  
Смущенья в солнце; влажная звезда,  
В чьей области Нептунова держава,  
Болела тьмой, почти как в судный день.  
Такие же предвестья злых событий.  
Спешащие гонцами пред судьбой  
И возвещающие о грядущем,  
Явили вместе небо и земля  
И нашим соплеменникам и стражам.

А что явлено нам? Держава как никогда мощна, все ее трепещут, мы, может, победить не можем, но и нас никто не победит. Конечно, если мы проиграем Афганистан, как проиграли в

прошлом веке Крым, то возможны реформы, но не более того. В социальном смысле все довольны. Я не говорю о личных катастрофах, они всегда и везде возможны. Или вы считаете, что такая империя, как наша, может сама собой развалиться? Чудес не бывает.

— Видите, опять Рим. Он приходит на ум, когда начинают звучать подземные гулы, возвещающие крушение империи. Признаков никаких, кроме нашего с вами разговора и еще сотен подобных же разговоров, которые ведутся в квартирах за закрытыми дверями. Это же последняя в мире империя, и она логикой исторического развития должна распасться. Как — не знаю. Быть может, не дай Бог, прав Соловьев, который предсказывал, что двадцатый век будет веком смут, бунтов и катастроф, пока не завершится апокалиптической войной. И тогда произойдет окончательное Рассеяние. Возникнет грандиозная диаспора русских людей, обретших свою существование независимо от государства, и утвердится в мире новая Библия, которая на новом витке истории после разрушения у нас даже зачатков цивилизации, окажется хранительницей преданий, традиций, духа, сохранит высшие достижения русской культуры. Поэтому я и говорю, что в нашей классической литературе наша единственная надежда, что мы не озвереем окончательно. Будет большой канон и малый канон — разных объемов, но составлять и комментировать надо уже сейчас. Скажем, в малый канон можно включить первое письмо Чаадаева, а в большой все «Философические письма». В малый авторскую исповедь Гоголя и «Мертвые души», а в большой целиком «Выбранные места из переписки с друзьями» и еще «Ревизор» и «Петербургские повести». Малый канон — это и «Медный всадник» Пушкина, «С того берега» Герцена, «О причинах падения Рима» Чернышевского, «Исповедь» Льва Толстого, «Поэма о Великом Инквизиторе» Достоевского, «Палата номер шесть» Чехова, «Человек» Маяковского, «Котлован» Платонова. И так далее, это нужно разрабатывать. С большим каноном сложнее — это по сути дела все основные произведения русской классики. Да строго говоря, эта работа ведется, неосознанно для самих делателей, всевозможными, простите, Борис, филологами и литературоведами, готовящими собрания сочинений русской классики, но я-то провозглашаю осознанный подход к русской литературе как новой Библии.

— Странно, — сказал тихо Борис, — мы сидим в тепле и уюте, а при этом обсуждаем проблемы грядущей катакомбной культуры. Но вот мы и сошлись во взглядах. Ведь и я говорил, что сила России в Слове.

Он встал, подошел к окну, задернул шторы. Исчезли огоньки дома напротив, стоявшего за трамвайной линией, в комнате стало еще уютнее, отгороженнее от мира, защищеннее. И весь их разговор и вправду приобрел какой-то таинственный, почти пещерный, нарочито скрытый и уединенный вид и смысл. «Однако уютные катакомбы», — подумал Илья, а вслух сказал:

— Мы сошлись, как пессимист с оптимистом. Вы, оптимист, говорите, что зал наполовину полон, а я, пессимист, говорю, что он наполовину пуст. Или поострее: глядя на коньяк и нюхая пробку, пессимист говорит: «Клопами пахнет». А оптимист, нюхая клопа: «Коньячком запахло». Так что же вам — коньячком запахло?

Илья последний раз затянулся и загасил сигарету в металлической пепельнице-ежике. Слова его прозвучали резковато, но Борис вроде бы не обиделся. Он жевал кончик карандаша, потом улыбнулся Илье:

— Нет, не запахло. Разница между нами есть, конечно. И немалая. Если определить яснее, для вас литература — прошлое, она *была*. Сегодня ее нет и не может быть, потому что у нас, здесь, мертвое пространство, выжженная земля, пустое поле, место, где ничего уже не происходит, Россия пришла к своему концу, к провалу, к могильной яме. И только со временем, когда плуг истории перепахает это проклятое место, если не сломается, конечно, то тогда в эту пашню падут семена великой русской литературы прошлого века — и только тогда возможны всходы. Так я вас понял? — говорил он по-прежнему тихо, не повышая голоса.

— Примерно так. Красиво сформулировали.

— Ну, пусть красиво. К этому не стремился. Но я, хоть и употребляю это же слово — «провал», говорю о разломе, о перерыве традиций, вижу, что жизнь и в провале продолжается, люди любят, ревнуют, ненавидят, умирают, болеют, страдают, — все это жизнь, и она дорастет до высших ценностей, потому что из ямы звезды виднее — даже в светлый день. У вас взгляд немножко, мне кажется, снобистский. Я же говорю, как писатель, пусть и непечатающийся, а не как теоретик. Мне сегодняшние изломанные судьбы людей кажутся не менее достойными шекспиров-

ского пера, чем судьбы времен переломных. Времен революции, гражданской войны и тому подобных.

Глотнув остатки чая, Илья спросил:

— Что вы хотите сказать этим? И при чем здесь ваше писательство? Вы же знаете, что я уважаю вас, хотя и не читал. С удовольствием прочту, — он положил руку на конверт с рассказом.

— Вещь не показательная, — торопливо сказал Борис. — Мне было лет двадцать, когда я это написал. Если же считать, что жизнь кончилась, то тогда и писать ни к чему, да и не только прозу, но и научные статьи. Вы же согласились со мной, что все, что пишется всерьез, по сути своей экзистенциально, а значит, жизненно. Вы-то разве писали бы о прошлом, если б вам не надо было разбираться в настоящем?

— Пожалуй, что нет, — ответил Илья, чувствуя себя разбитым наголову, потому что именно это он все время говорил Элке, что он пишет для того, чтобы понять сегодняшнее и будущее, что история не музей, что она жива и объясняет настоящее.

— Вот видите. Тем более это справедливо по отношению к прозе, к искусству вообще. Я всегда думал, как найти то, что экзистенциалисты называют пограничной ситуацией, когда человек избирает себя, проявляется до конца, но в мирной жизни. Война и революция, как ни страшно это звучит, благодатный материал для художника. Ну а сейчас? Каким образом возможна ситуация человека на грани смерти, гибели, если не брать вульгарный случай хулиганского убийства? Это именно случай, а искусство со случайным делом не имеет. Двадцать лет назад, в этом рассказе, что перед вами, я нашел ситуацию пришельцев. Вы скажете, что банально, что вся фантастика об этом. Но у меня не фантастика, а попытка ввести в реальность сверхъестественное, чтобы создать пограничную ситуацию и выявить суть этой реальности. Впрочем, это похоже на самооправдания. Прочтете — увидите. Я, правда, поступил там с Петей не очень учтиво.

— Каким Петей?

— Востриковым Петей, вашим знакомым, а моим соседом.

— Но вы ж двадцать лет назад не могли его изобразить. Его и на свете тогда не было.

— Был. Он только что родился. Значит, не двадцать, а восемнадцать или семнадцать лет назад. Я использовал его имя для одного из проходных персонажей. Почему — сам не знаю. Но отчасти угадал.

Там у меня этот персонаж готовился в физики, как и Петя сейчас, насколько я знаю. Вы ему только рассказ не показывайте. А вообще я верю в мистику имен и перекрещивающихся проникновений. И имена даются не зря, да и неизвестно, кто кого создает писатель героя или герой писателя. Имена переплетаются, перекрещиваются, проникают друг в друга, наполняются жаром живой жизни, пока не теряешь, кто создатель, кто герой, а кто случайный живой человек. Может, я напишу роман о каком-нибудь Владимире Канторе, Кантор — это певец, а он возьмет и станет в моем романе писателем и будет в свою очередь писать роман о Борисе Кузьмине, сам не зная, откуда к нему пришли это имя и фамилия.

— Забавно, — хмыкнул Илья, не очень понимая, что хочет сказать его собеседник. — А вы вообще-то верите в пришельцев, раз верите в чертовщину имен и проникновений?

— Вы слишком разные явления назвали. Пришельцы у меня не больше, чем катализатор действия.

— Но нет же, Борис. Чтобы всерьез писать, надо в них, в пришельцев, хоть отчасти верить. Скажем, что они спустились к нам с Альдебарана... Верить так, как Гёте верил в Мефистофеля и омоложение Фауста. Хотя я считаю, что выбор верный: именно в пришельцев люди сегодня верят почти всерьез. Особенно в пришельцев с Альдебарана. Больше не в кого.

— Почему с Альдебарана?..

— Ах, оставьте, Борис! Почему? Не нравится вам Альдебаран, так я могу предложить вам Кассиопею.

— Ладно. Принимаю. Но, как вы увидите, у меня всем наплевать, откуда пришельцы, они создают пограничную ситуацию, в этом их художественная задача. Но после этого рассказа я старался внешние пружины действия типа пришельцев не использовать, самая фантазмагорическая фигура должна вырастать из реальности. Поэтому я ищу свою Йокнапатофу, как у Фолкнера, чтоб замкнугь в художественной реальности целый мир. Маленький участок земли, величиной с копеечную монету, в котором отражается весь мир. Последнее время мне кажется, что таким может стать наш, то есть мой обычный двор. Думаете, здесь нет трагедий? Нет материала для дантовских страстей? Для бальзаковских судеб? Да если прикинуть, что в наших двух домах по тридцать квартир в каждом, в каждой квартире по семье, в каждой семье по несколько человек, — вот вам уже по крайней мере двести или триста характеров, историй, а

может, и судеб. А ведь наш дом довоенной постройки, сорокапятилетней давности: значит, у него есть своя история. И каждая судьба может смотреться еще и в историческом ракурсе... Я вам о многих могу рассказать из нашего двора... И почти у каждого — судьба. Во всяком случае — история, в которой чувствуется дыхание судьбы.

— Ну, допустим, я вас попрошу рассказать мне о даме, которую я сегодня первый раз увидел: в лиловом пальто, с высокой прической и в золотых очках. Взгляд сразу и высокомерный, и жалкий...

— Ладно!.. История, действительно, кошмарная, даже трагическая. Взгляд-то у нее не случайно такой. Пожалуйста, я расскажу, что здесь к чему. Она доцент, депутат района. Ее отец был мелким служащим, но рано помер, а она вышла замуж за *назначенца*, мужичка из крестьян, бывшего тракториста, которого сначала партия послала учиться в наш местный, почти придворный Институт, потом сделала секретарем институтской парторганизации, а затем назначила директором Института. К тому времени они были уже женаты. Она тоже осталась при Институте, получила звание доцента. Потом, за полную неспособность в середине пятидесятых его сместили из директоров, но оставили заведовать кафедрой механизации, все же бывший тракторист, а теперь и профессор. Вариант новой аристократии, нет, скорее, служилого дворянства средней руки. Но психика этой новой элиты, их генотип оказались чрезвычайно слабыми, не выдерживающими нагрузок, которых требовало их положение. У них было две дочери. Первая старше меня на семь лет, в честь дочери Сталина ее назвали Светланой. Вторую, на год старше меня, назвали попроще — Полиной, Полей. На старшую они почти что молились, говорят, умная и красивая была девица. Я-то ума уже не помню, а красоту еще помню. От нее требовали, чтоб она была достойна своего *имени*. Вот вам, кстати, влияние имени на судьбу. Она училась на круглые пятерки, готовили из нее золотую медалистку, жили они в доме напротив, в роскошной четырехкомнатной профессорской квартире с большим холлом и потолками в три метра. Я говорю не о кооперативной новостройке за трамвайной линией, а о втором пятиэтажном доме у нас во дворе. Краснова и сейчас там живет. Краснова она по мужу, девичьей фамилии ее не знаю, да и муж, я думаю, *взял* себе фамилию поверноподданной. А впрочем, может, и настоящая, тогда это тем знаменательнее. Короче, Светлана все время сидела за занятиями, из нашей кухни видно окно ее комнаты, мне уже лет десять было, и я все ее видел

вечером за книгами. И вдруг в один прекрасный или ужасный день она свихнулась. Может, свихивание и медленно шло, но никто этого не замечал. Наши кумушки во дворе, они тогда помоложе были, говорили, что она *перезанималась*, а потому у нее начался «бред на сексуальной почве». Ребята постарше шепотом рассказывали, что с кем только она в кусты не заваливалась. Учиться бросила вовсе. Аттестат ей, конечно, сделали, только он ей уже ни к чему был. Говорят, она из дома бежала прямо в парк и там отдавалась первому встречному. Это сплетни, но я видел сам, как она стояла у себя на балконе совсем голышом и окликала проходивших мужиков. А когда те голову поднимали, она прикрывала растопыренными пальцами глаза и улыбалась им, — кокетничала. Потом на балкон выскочил отец и уволок ее в комнату, там наверно, бил, потому что она вопила, и вдруг выскакивает на балкон, по-прежнему голышом, с чайным сервизом в руках и как шмякнет его через перила на асфальт. Все, конечно, вдребезги. Ну, отец ее снова уволок. Ее и лупили, и запирали, ничего не помогало. Тогда выдали ее замуж за одноклассника, которого раньше недолюбливали, потому что мальчик был евреем, а у них такой здоровый животный антисемитизм. Но тут уж было не до разбору — хорошо хоть кто-то берет. А мальчик и вправду был влюблен, потому и на *такой* женился. Но выдержал он только год. Она ему жаловалась, когда он узнавал о ее изменах, хотя и изменами-то их не назвать, разве что случками: «Я ведь люблю тебя, — хныкала она. — А мужики говорят: «Ну и люби. Ты его все время любишь, а нас чуть-чуть, всего разик полюби». Пойдем, я уже их полюбила, теперь тебя любить буду». Это он еще терпел. А потом она стала подкрадываться к нему сзади и бить чем-нибудь тяжелым по голове, то тарелкой, то какой-нибудь фарфоровой статуэткой. Я думаю, он ее стал раздражать своим постоянством. И она ему опять жаловалась: «Я не хочу, а кто-то меня толкает: подойди и ударь». Он ушел, а Красновы стали говорить, что ничего другого они от еврея и не ожидали — обиделись на бывшего зятя. Любил бы, так вылечил бы жену своей любовью. А Светлана не унималась: начала бить домработницу, драть у нее волосы, Красновы ей платили, чтоб она терпела и молчала. А доченька принялась за мать, однажды сильно побила ее. Врач, опять же еврей, конечно, посоветовал, — а что может еврей хорошего посоветовать! — найти, купить, достать ей мужа, но, — как бы это сказать? поздоровше, мужа-кобеля. Привез отец такого из своей бывшей деревни. Но новый муже-



нек спуску своей благоверной не давал, сам ее колотил почем зря, и это несмотря на тестевы деньги. Кумушки шептались, что Красновы по ошибке ему вперед условленную сумму выдали, а надо было бы с ним на годовую плату уславливаться. Второй муж с ней два года прожил, контракт отбыл и ушел. А Светлана к тому времени подурнела, раздобрела, ведь ела конфеты и сладкое без удержу, так наши бабки объясняли ее тучность, намекая, что и во всяком деле, и в том самом, она тоже не могла себя удержать из-за сладости греха. Тогда и сдали ее все же в психлечебницу. Иногда, на месяц, на два, она приезжает домой, ходит, глядя в сторону, от каких-то препаратов у нее борода стала расти, и все носит письма на почту — своему первому мужу. Поэтому свою вторую — Полю — Красновы уже не заставляли так вкалывать на школьной ниве. Да Поля и была попроще, ее-то я по школе помню, всего в год разница, ходила такая полногрудая уже в седьмом классе, вяловатая, обстоятельная. Она была без претензий, не полезла в МГУ, кончила факультет механизации нашего Института, где ее отец заведывал кафедрой, года два отработала по распределению после окончания, лет семь или восемь я ее не видел и ничего о ней не слышал, потом узнал, что она вышла замуж за шофера автобуса, учившегося на вечернем отделении все того же факультета механизации, где она вела тогда почасовку, и весь двор всколыхнулся от такого мезальянса. Но на фоне разваливавшихся молодых семей выглядели Поля и Толя Барсиков, такая смешная была у него фамилия — Барсиков, весьма симпатично, и старухи зашептали: «Толя да Поля, Поля да Толя, как нарочно придумано». Я его только раз или два видел: усатый, сутуловатый, невысокий, вид привыкшего к ручной работе мужика. Родили они дочку — Сашеньку Барсикову, годика через три она ко всем уже подходила и говорила: «Меня зовут Саша Байсикова. Я хожу в садик. Пойдемте ко мне в гости». И все умилялись, говоря при этом, что брошенный ребенок, потому что Полина со своим Толей даже в дальние рейсы ездит: он ее боится одну без себя оставлять, ревнует. Хотя ревновать ее уж вовсе было ни к чему, она ему прямо в рот смотрела. Но он считал, что Поля «эвон из каких», а он простой шоферюга, боялся ее одеть понаряднее, и она ходила замарашкой, но ей это было все равно. А потом вдруг пополз страшный слух, что этот Толя Барсиков из ревности зарезал Полину, зарезался сам, и все на глазах у семилетней дочери. Так оно и оказалось, хотя такие итальянские страсти уж совсем вроде бы не из нашей жизни. Сам

Краснов через месяц после гибели младшей дочери умер. И осталась бабка, доцент, ученая дама, богатая, в золотых очках, осталась одна с внучкой Сашенькой Барсиковой, которой уже четырнадцать, дочкой сумасшедшего отца и племянницей сумасшедшей тетки. Какова наследственность! Вот откуда у нее жалкие глаза и внешне несокомерный вид.

— Ну вы, Борис, прямо повесть написали в духе Фолкнера, — сказал Илья, утомившийся от длинного рассказа. Плохо и с трудом воспринимал он житейские и конкретные истории без сопровождающего теоретизирования. Он даже вспомнил, что ему пора бы уже к Лине, но было нельзя не дать человеку высказаться, поскольку сам долго говорил. Хотя он-то, в отличие от Бориса, считал Илья, говорил вещи общезначимые. Но мрачности и жути рассказ на него все же нагнал. За занавешенным окном шумели под ветром деревья, а здесь было светло и тепло, но Илья вдруг почувствовал, что за этими уютными катакомбами находится мрак, который притаился у запертой двери, но готов в любую минуту ворваться.

— Фолкнера? — переспросил Борис. — Может, и так. А чем это не какая-нибудь из дантовских историй?

— Дантовские истории? Здесь? Но весь колорит дантовских историй в том, что они рассказываются в аду.

— Вот именно. Вы мне рассказали о «русской Библии». Это ваше дорогое. Позвольте и мне поделиться моим дорогим, а стало быть, слегка сумасшедшим. Данте был в аду. А где он, этот ад? Земля и есть ад. Вот моя разгадка земной жизни. Мы не хотим этого понять, но вспомните, что после грехопадения людей выгнали на Землю. Бог выгнал их из рая в наказание. Но ад и есть *наказание*. Евреи, как говорят, не имеют в своей мифологии ада, хотя сатана у них есть, потому что помнят рай и все их страдание, как их оттуда изгнали, поэтому они понимают, что нет другого ада кроме Земли. «Зачем Бог поместил здесь евреев?» — вот их моление. А для тех племен и народов, которые не имели непосредственного контакта с Богом и раем, Земля не ад, а нормальное место жительства и свои грехи они воспринимают как то, за что им *потом* будет наказание, не понимая, что уже в этой жизни они не только грешат, но и получают воздаяние. Вы скажете: а младенцы? Но именно потому, что страдают младенцы, я и говорю, что Земля это ад. Только в аду могут мучать детей за грехи их родителей. Ад не где-то там, хотя, может, там

тоже что-то есть. Но если взглядеться, то ад прежде всего здесь, под покровом привычных отношений и поступков. Эти обычные, привычные и благодаря привычке кажущиеся нормальными человеческие отношения и есть нечто безнравственное, подлое, враждебное идеалу. Ведь на Земле близкие люди чаще всего и ненавидят друг друга и, живя, как они думают, на белом свете, живут на самом деле в аду. Например, отношение полов. Когда смотришь на иных мужчину и женщину, то кажется, что они соединяются только затем чтобы мучать друг друга. А то и убивать. А убийство для убиваемого — самый страшный страх, самое мучительное мучение. Это мучение стоит вечных адских мук. Я говорю, что знаю, что мог видеть, — не само убийство, конечно, но его последствия, и мог реконструировать, что и как происходило. Четыре года назад погиб мой двоюродный брат Андрей. Тихий и благополучный был вроде бы всегда мальчик. Он был женат на бывшей однокласснице, потом развелся и женился на какой-то приبلудной бабенке, похожей на болотную змейку, гибкую, порочную, из дурной, как потом выяснилось, компании. Родила ему двух дочек, но при этом втянула в темные делишки. Он терзался, решил, похоже, все рассказать, раскрыться. Сказал жене, а та дружкам. И с ее помощью его убили, наверное, удавили, а потом инсценировали самоубийство, будто бы он утопился. А перед смертью заставили написать записку, где он просит в своей смерти никого не винить, а особенно Людмилу, так его жену звали, основной мотив записки: Людмила ни в чем не виновата, виновных не ищите ради ваших внучек. В два часа дня у родителей обедал, шутил, а в семь жена позвонила, что он уехал на Ждановские пруды купаться и там утопился. Я был на похоронах и поминках, там, кстати, последний раз видел вашего Леву Помадова, который потом пропал, тоже по-своему фигура трагическая. Первый раз тогда и увидел жену Андрея, уже вдову, физиономия преступницы, хищницы. А потом посмотрел на лицо Андрея в гробу. Несмотря на все ухищрения похоронных дел мастеров оно было искажено от мук и страданий, а левая сторона просто была почерневшей. За что ему такое? Наказание ведь приходит не преступникам-нелюдям, они дьяволы, орудия зла, бесы, а тем, кто знал норму, но преступил ее. За то, в конце концов, за что обречен весь род человеческий на страдания, — за грех праотца нашего Адама. А он еще и женился черт знает на ком! Ужас в том,

что жена уничтожила мужа, отца двух детей, кормильца. И разве мало таких преступлений? Когда-то было сказано, что муж да жена пребудут единой плотью. Но на деле это не так, увы!

— Ее арестовали?

— Доказать ничего нельзя было. У нее алиби было.

«Алиби. То, что я ищу, — пронеслось в мозгу у Тимашева. — Не дай Бог, что дома случилось, — прокляну себя».

— Она с младшей дочкой, — продолжал Борис, — в поликлинике была, а старшая крепко спала, ничего не слышала. Тетка считала, что Людмила дала дочке крепкого снотворного. Вот вам один из итогов семейной жизни. А ведь начинается она с дьявольского искуса — сексуального влечения, любви, медового месяца, а кончается все взаимной ненавистью и отвращением по большей части.

Илья откашлялся. Ему показалось, что речь собеседника задевает его, и он сказал:

— Вы забыли о страдании, когда уже больше не можешь любить. А совместная жизнь при этом продолжается.

Борис быстро глянул на него, смутился, покраснел.

— Простите, я не вас имел в виду. Хотя и ваше страдание о том, что невозможно больше любить, — разве не ад? Это не только к сексу относится. Но и к Родине, к науке, к искусству, к людям. Разве это не страдание, когда люди тебя раздражают, кажутся тебе нелюдьей? Я, слава Богу, это в себе преодолел.

«А я нет», — подумал вдруг Илья.

— Все зависит от внутренней установки, — говорил Борис, — установки на любовь, на жалость. Лучше любить и жалеть одиноких, несчастных, оставленных, злых и раздраженных. И самое главное, стоический — вы же любите римских стойков — отказ от соблазнов. Ведь сколько разных соблазнов и искусов встречается у нас на пути, подманивают нас, чтоб мы их приняли, а потом мучались всю жизнь. Но кто не мучается, становится просто прислужником дьявола. Отцы и дети тема заезженная, но это разве не трагедия, которая коренится в самой основе бытия, ибо, вырастая, дети оставляют, бросают своих родителей, которые вложили в них всю душу, и делают совсем не то, о чем мечтали родители. Стоит ли говорить о друзьях, которые завидуют один другому, о неискоренимых во всех общественных системах отношениях «верхних» и «нижних», начальства и подчиненных и тому подобном. Я не

говоря о войнах и лагерях смерти, хотя они тоже не где-то там, в потустороннем аду появились, а у нас, на Земле. Я говорю о корне земного жизнеустройства, который основан на страдании и несчастье, а вовсе не на благополучии и удаче. Вспомните бесчисленные предательства, продажи, доносы, моральные и физические увечья и убийства!.. А одиночество женщин? брошенных, оставленных, разлученных... А одиночество в смерти у любого человека! Да мало ли! Я помянул оставленных женщин, а женщины, не нашедшие и ждущие *своего* мужчину, — это тоже трагедия. Вообще почему-то больше всего детей и женщин жалко!

При этих словах Борис вдруг оборотился и посмотрел на будильник, стоявший на книжной полке напротив, потом перевел взгляд на Илью. Глянул на часы и Илья. Боже! около восьми, а Петя в шесть должен был уйти. Лина его уже два часа ждет. Но сразу вскакивать показалось неудобным.

— Минут десять-пятнадцать у меня еще есть, — успокоил он Бориса, одновременно ограничивая его речь, давая себе возможность минут через десять встать и извиниться.

— Я повторяю, — ухватился Борис за предоставленную ему возможность договорить, хотя Илья уже слушал в пол уха, нервничая, что так застрял, — что ад именно здесь и есть. Весь мир тюрьма, а Дания худшая из его темниц, но и эту темницу можно осветить светом искусства. Мне иногда кажется, что те трагедии, которых касается искусство, преодолеваются, раны заживают, затягиваются, сожженное начинает зеленеть. Не в тех, конечно, судьбах, которые послужили материалом для художественного произведения, но мистическим образом оно действует на аналогичные ситуации, поэтому подлинные создания искусства неповторимы, ибо уже никогда не повторится та болезнь, которая урочена. Искусство — посланец Высшей Силы, посланец Бога. Если бы я мог рассказать о страстях, которых наглядился в своем ближайшем окружении, в своем дворе! Говорите, тут нет материала для дантовских страстей?! А предательства, измены, тайные убийства, убийства растянувшиеся на всю жизнь!.. Вот надо мной живет тетка Алешки Всесвятского, приятеля моей юности, она старая дева, я еще помню, как Алешка с Наташей собачился, когда начал водить домой девок, как однажды даже приложил ее о стенной угол, а потом со смехом говорил, что теперь она наверняка останется идиоткой. Сам Алешка женился, уехал, но из

квартиры не выписывается. Тетка живет в квартире одна. Сестры давно повыходили замуж, уже по второму разу, живут с новыми мужьями, отец-академик умер, затем мать умерла, она ходила за ними, бросила работу, устроилась уборщицей в наш дом, чтобы быть рядом со стариками, а Алешкина мать, ее сестра, объясняет это тем, что Наташа боится и боялась потерять квартиру, поэтому в том же доме устроилась работать уборщицей. Вообще в этом семействе нравы, как у купцов Островского, так по ним проехала опрошенная советская жизнь сороковых и пятидесятых, и неинтеллигентность Алешки, несмотря на его аристократическое сложение, отсюда, из этой опрошенности — с пьянками, огуречным рассолом, грибами, песнями, — а дед — ученый, академик ВАСХ-НИЛ. Наташе уже за пятьдесят, ходит робко, говорит таинственно, видны из выреза платья ключицы в коричневых пигментационных пятнах. Как-то она пришла ко мне попросить разрешения влезть по пожарной лестнице с моего балкона на свой, всего один пролет, не то, что снизу, — она забыла ключ от своей квартиры; от моей помощи она отказалась, подвернула платье так, что стали видны морщинистые ляжки и синие теплые нижние штаны, и, нисколько не стесняясь, полезла по лестнице. А дома у нее все чисто, полированная мебель, пыли нет, все влажной тряпкой протирает, по утрам зарядку с гантелями делает, мебель с места на место переставляет, так что у меня потолок сотрясается, и раз в неделю по выходным дням играет на пианино одним пальцем одну и ту же мелодию — «На Дерибасовской открылась пивная», которой она научилась от своего племянника, от Алешки. А Алешка ждет ее смерти, не выписывается. Можно и другой сюжет: прямо подо мной живет профессор, он в свое время донес на моего деда, но с середины пятидесятых уже боялся моих родителей и мерз, как мерзли предатели во льду озера Коцит дантовского ада. Еще один: моя одноклассница, умер муж от рака мозга, перенесла две операции, раньше с ним дралась, а, когда он умирал, Валька родила дочку и назвала в честь мужа Женей, Евгенией. Вы ее, может, видите, я ее часто во дворе вижу беседующей с Линой. Замуж, похоже, она больше не выйдет: знаете, это бывает на женщине написано. Когда я захожу к ней, она говорит: «Посиди подольше, чтобы в квартире мужиком пахло». А судьба Розы Моисеевны, насколько она мне известна и насколько я могу ее понять, разве это не материал для шекспировской трагедии? Человек непомерной

гордыни, активного действия, привыкшая решать свои личные проблемы в глобальном масштабе, она погружена в бытовые и семейные проблемы, в болезнь, которую она не может преодолеть какой-нибудь там революцией, в одиночество квартиры, в воспоминания о прошлом.

Имя Розы Моисеевны заставило Илью приподняться с дивана: быть может, она спала, Лина оставалась практически одна, а он, кретин, пропустил два замечательных часа. Да и разговор исчерпал себя. Видно, это понял и Борис, тоже оторвавший тело от кресла.

— Пора уже? Убегаете? Еще чаю не хотите?

— Пойду, пожалуй. Вы, Борис, извините.

— Да ну о чем вы! Я шучу. Идите, конечно. Зов женщины слышнее и сильнее всего на свете.

— Любимой женщины!

— Так женитесь на ней!

Илья пожал плечами и шагнул было прочь от дивана, но, ухватив expectantный и растерянный взгляд Бориса, вспомнил, вернулся к столику и взял конверт с рассказом, подумав, кстати, что им он оправдывается перед Линой за опоздание. Борису же сказал:

— Прочту и непременно передам.

— Если он вам понравится... Лучше мне расскажите, как он вам.

— В журнал передам в любом случае. А вам позвоню.

Он вышел в изрядно потемневший и почти безлюдный двор. Не галдели в песочнице дети, не гуляли по аллейке, соединяющей два дома, беседующие меж собой ученые мужи, не болтали старухи. Было время ужина и вечернего телевизора, поэтому старухи на улице уже не сидели. Да и вечерняя прохлада не для их, работавших уже с перебоями организмов. Вместо них на лавочке мостились пришлые подростки и девицы. Они курили сигареты и лужали семечки, изредка сплевывая на асфальт. Это были не профессорские дети и внуки. Но и они не шумели, сосредоточенные на куреве и семечках.

## Глава XI

# Из рассказов Бориса Кузьмина

Пишите оды, господа...

*А. С. Пушкин.* Евгений Онегин

**Я** думала, что ты там останешься, — сказала Лина. — Уж и не знала, что с твоей сумкой делать! Думала отнести туда и оставить у двери!

Она злилась, как злится женщина, которая знает себе цену, но которой — уже не первый раз — пренебрегает ее избранник.

— Ну что ты вскидываешься? Зачем это? — Илья отвел глаза. — Мы сидели, беседовали...

— Вот и оставался бы там беседовать дальше... Хоть всю ночь!

— Ну, Линочка, — пробормотал Илья, успокаиваясь, что она все же не гонит его. — Мне Борис рассказ свой дал почитать. Хочешь, вместе почитаем? — Теперь он смотрел на нее, охватывая вожделирующими глазами всю ее стройную, гибкую фигуру в полосатой юбке и вечерней белой блузке, с голыми, смуглыми руками. Все недавние возвышенные разговоры не то чтобы выветрились, а отступили куда-то далеко, за какую-то стену. — Петя уже ушел? — спросил он тут же, без перехода, подчиняя слова движению внутренних своих ощущений, а не логике разговора.

— Давно, — ответила она, почти не разжимая губ, не глядя на него, но выключая свет в коридоре.

И он уже вел ее, обняв за талию, мимо комнаты Розы Моисеевны, держа в левой руке немного перед собой конверт с заложенным в него рассказом, как тем внешним поводом, что влечет его, что заставляет их уединиться в Линуину комнату. Она без сопротивления подчинялась его настойчивой руке, и они уже почти миновали коридор, когда до них донесся крик:

— Лина! Кто это пришел?

Не обращая внимания на этот дежурный вопль-вопрос, они очутились в комнате, закрыли за собой дверь, и сразу же, поло-



жив, почти отбросив конверт с рукописью на телевизор, Илья потянулся к Лине, обнял ее и принялся целовать и тискать, подталкивая потихоньку к тахте. Она, распаленная, забывшая свою досаду, отвечала на его поцелуи, клонясь под его напором, на все готовая, лишь бы удержать, не отпускать его хотя бы час, а там и больше, и всю ночь, а может, и всю жизнь. Но тут дверь распахнулась, и на пороге, озираясь безумно, в ночной белой рубашке до пят встала Роза Моисеевна. Ее короткие седые волосы были взлохмачены.

— Лина! Что случилось? — говорила она, уставившись в пространство и словно не замечая их, давая Илье и Лине возможность разлепиться и разлететься в разные стороны. Тимашев остался сидеть на тахте, подняться он не мог, неприлично было бы, а Лина отошла к окну, будто собиралась там что-то показать своему собеседнику. — Мне показалось, что кто-то вошел. А потом вдруг тишина, — продолжала старуха. — В коридоре кто-то свет выключил. И здесь темно. А Лина не отвечает. Моя внучка мне не отвечает. Я за тебя испугалась, Линочка, — хитро добавила она. — Вдруг кто тебя обидел. А, это Илья. Он умный, он не обидит женщину, которая к нему привязана. Знаете, вы друг другу подходите, — торопилась она исполнить свой недавний план соединения Лины с Тимашевым.

— Мы сами разберемся в своих отношениях, — вдруг отрезала Лина. — Без непрошеного вмешательства.

Говоря это, она покраснела, исподлобья глянув на Илью и опасаясь, что после слов старухи он сорвется с места и уйдет. Ей важно было сохранить свою женскую независимость, свой суверенитет.

Старуха закатила глаза, у нее соскочил какой-то рычажок, и хитрость оставила ее:

— О, меня все покинули! Я никому не нужна! Я старая старуха. Все думают, что я выжила из ума. Я совсем одна! Но я все вижу, я все понимаю. Что вы тут делаете?! Бросаете меня одну — вот что. И Владлена нет. Он уехал. И бросил меня. Бросил свою мать. Мать революции! О-о! Оставил на эту дуру, которая только о замужестве думает, а ничего для этого не делает! Не умеет! Она только и знает, что дома сидеть. Ты ей не жених, нет. Она тебя не удержит, она тебя потеряет. Пусть о тебе лучше не думает, раз она такая дура. У тебя семья. Тебе лучше быть у меня, раз ты здесь.

Пока она говорила, переводя глаза с Ильи на Лину, а с Лины на Илью, молодая женщина взяла себя в руки и, холодная и спокойная, с тем подчеркнутым спокойствием, которое является признаком внутренней грозы и властно действует на окружающих, подошла к старухе и взяла ее под локоть:

— Пойдемте, Роза Моисеевна, пойдемте! Вы уже пили чай?

— Пила, — послушно ответила та.

— Значит, пора спать.

— Но я еще не сделала мой вечерний туалет, — защищалась слабо больная. — Я не ходила пи-пи.

Илья молчал, глядя в пол и стараясь всем своим видом показать, что ничего особенного не происходит: внучка посидела с гостем, а теперь идет заботливо укладывать в постель свою бабушку. Лина тем временем выставила ее, держа под локоть, из комнаты:

— Сходите в туалет, — звучал с кухни ее голос, — а я пока приготовлю вам валиум и ноксирон, по две таблетки.

— Это много. Ты мне много даешь таблеток. Разве доктор велел давать именно столько таблеток? Это много. Ты хочешь, чтоб я не проснулась. Я тоже этого хочу. Уснуть и умереть. Безо всяких сновидений. А то я ни туда, ни сюда, ни туда, ни сюда...

— Я даю вам ровно столько таблеток, сколько велел врач, — Лина говорила решительно и спокойно, хотя раздражение чувствовалось.

— Ну, я не знаю...

— Зато я знаю!

Наступила пауза. Затем из туалета послышалось кряхтенье, шуранье и звук спускаемой воды.

В комнату вошла Лина. Илья потянулся было к ней с тахты.

— Сиди, — остановила она его жестом руки. — Сейчас я ее лекарствами напою и тогда приду.

— А ты на самом деле не слишком ей даешь таблеток? — спросил Илья, не очень-то разбиравшийся в фармацевтике и опасавшийся, что как бы Лина, собиравшаяся утихомирить и усыпить старуху, не переборщила, припоминая аналогичную историю с Фаустом, Гретхен и ее матерью. Та ведь так и не проснулась.

— Нормально, — ледяным голосом сказала Лина. — Ее доза. Старуха блажит, потому что не помнит. Просто я обычно ей в полночь это даю, чтобы хотя бы до семи дотянуть спокойно.

Сейчас, конечно, рановато. Ну да посмотрим, что получится, — усмехнулась она.

— Ли-ина! Ты где? Ли-ина!

— Иду! — крикнула в ответ Лина и вышла, прикрыв за собой дверь.

Но минуты через три сквозь закрытую дверь послышался из ванной звук льющейся воды. Очевидно, затягивая время, старуха потребовала от Лины помочь ей принять душ. Это явно было сознательно, потому что последнее время, по слабости сил, она принимала душ не чаще двух раз в неделю.

\* \* \*

Илья терпеливо сидел, глядя сквозь темное окно в желтые окна стоявшего напротив высокого дома. Дом стоял так близко, что в освещенных окнах, где не было занавесок, смутно мелькали люди, и Илья подумал, что если выключить свет здесь, то можно разглядеть там подробности интимной жизни посторонних людей и что, быть может, за ним с Линой кто-нибудь следит. А тут вдруг — сорвалась сцена! Но не встал и не задвинул шторы. Ждал Лину. Он понимал, что почти получилось, что хотел, но старуха помешала, испортила песню. Надо надеяться, однако, что еще не все потеряно. Он был полон ожиданием, и его кругозор на ближайшее время был затянута, закрыт юбкой желанной женщины. А дома?... Что-нибудь придумается, что-нибудь скажется — нашептывал опыт. В конце концов все переживается, даже самое плохое и постыдное, будто и не случилось. Ведь пережил же он ту банную историю с Марьяной. Да, если в его отношениях с Линой было оправдание — любовь, то его приключение в финской бане было каким-то распутным безумием. Почему баня, еще со времен древних римлян, связана с распутством? Вспомнить хотя бы описание валдайских бань, у Радишева: «место любовных торжествований...» Потому ли, что вода — стихия влекущая, ласковая и изменчивая, как женщина?

Да, это сюжет для Кузьмина... Для его Йокнапатофы. Эта баня. Лёня Гаврилов зазвал Илью туда. Идти не хотелось, Лёня уговорил: «Будет славная компания, погреемся, вина попьем. Эту баньку Олег Иванович открыл. Эмвешная банька. А у него с милицией какие-то связи. Заодно с ним познакомишься, поспоришь. Ты же таких людей не знаешь почти никого. А историк и культуролог должен все видеть своими глазами». И вот он шел,

держа в руке полиэтиленовую сумку с махровым полотенцем, время от времени вытаскивая из кармана бумажку с планом, нарисованным Лёней, и сверяя по плану свою дорогу.

Вначале АЗС, потом гаражи, за гаражами поликлиника, а рядом с ней баня. Вот гаражи. Их много, ряды, переходы, почти лабиринт гаражей. Но ни бани, ни типовой четырехэтажной поликлиники не видно. Спросил у одного автовладельца, мывшего машину, где здесь поликлиника. По плану — рядом, а ничего похожего. «Поликлиника УВД?» — переспросил тот. «Наверно». «Вон она видна». Он пошел в указанном направлении, его обогнал медицинский раффик. Точно, огромное семиэтажное здание уведешной поликлиники, как и рисовал Лёня, рядом с лесом. А около притулился одноэтажный домик, дымок над трубой, не домик — хибара, вытянулся в длину, как барак. «В России всё барачного типа», — подумал он сентенциозно. Дверь не нашел. Постучал в открытое окно, крикнул Лёню. Появился в окне завернутый в простыню худой мужик:

«А, сейчас открою, Лёня предупреждал, но дверь с другой стороны». Илья зашел в маленькую дверцу. Там уже Лёня, обнял его: «Рад, что ты выбрался». Лёня тоже в белой простыне, босой. «Пошли, разденешься». Прошли маленькую комнату с кафельными стенами, холодильником и деревянным столом. Толстощекий, невысокий блондин в костюме что-то нарезал и раскладывал по тарелкам. «Это Витя, хозяин, бани. Сам он не греется, надоело». Они прошли дальше. «Башмаки сними», — сказал Лёня. Он снял, и они очутились в следующей анфиладной комнате со стенами, обшитыми деревом: пол, покрытый ворсистым ковром, длинный низенький столик, уставленный бутылками, закусками, рюмками, и тарелками. У столика диван и три кресла. Сидели завернутые в простыни три человека: худой, открывший Илье дверь, — милиционер Алексей; маленький, длинноволосый, усатый, лет тридцати, с крестиком на голой груди — Олег Иванович Любский — филолог и книжная фарца; и юная темноволосая девушка-женщина, укутанная тоже в простыню, но обнажены руки, плечи и часть спины, из-под простыни видны тонкие щиколотки... «Марьяна, подруга Олега Ивановича», — шепнул Лёня. Выпили за знакомство. Не давая Лёне представить его, Илья мигом назвался сухо: «Энколпиев», отчуждая себя от ситуации. Лёня удивленно посмотрел на Тимашева, но встретил новую фамилию друга, не моргнув глазом. А Тимашев просто

вдруг вспомнил лирического героя Петрония — Энколпия из «Сатирикона». Олег Иванович косо глянул на него, но проглотил эту странную фамилию, сказав понимающе: «Хорошо, хотя это не римская империя и я не Тримальхион. Ладно, мужики, пожрали? Пойдем теперь жариться, мудями потрясем. Смотрите, кого привел. Марьяночка, красавица моя!..» Они ушли жариться, а Энколпиев, так Илья тогда себя даже мысленно называл, остался и выпил еще рюмку водки. «Значит, и вправду филолог, книги читал», — подумал он об Олеге Ивановиче.

Вернулся с мокрыми волосами и каплями воды на лице запутанный в простыню Лёня, за ним милиционер Алексей. «Ты чего? — спросил Лёня. — Пойдем, я тебя раздену, погреешься». Они прошли бильярдную, вошли в предбанник, где стопочкой лежали на столе простыни, а на лавке лежала одежда. Энколпиев разделся догола, оставив одежду и полиэтиленовую сумку на лавке. «Простыню потом возьмешь», — сказал Лёня. Они вошли в баню-сауну («терпидарий», — пробормотал себе под нос Илья), прихватив с собой деревянную дощечку. Было жарко и пусто — Марьяны и Олега Ивановича там не было. Сели на верхнюю полку, подложив квадратную доску: «Подпопник, — острил Лёня, — подъяичник, чтоб яйца не сжарились». Потом, наклонившись к Энколпиеву, шепнул: «Олег Иванович Марьяну уже того, оприходовал, возле бассейна». Вдруг дверь открылась. Первым вошел усатенький, невысокий с сверкающими глазками Олег Иванович, поглаживая правой рукой висевший член, а левой почесывая ухо. Следом — его красавица: к удивлению Энколпиева, тоже совсем нагая. Породистая кобылка с темными волосами до плеч, нежная, с тонкими кистями рук и стройными лодыжками и щиколотками, которые Энколпиев уже заметил, нежной грудью античных пропорций, не обвислой, а мягкой, упругой, стройными широкими бедрами, с кучерявым лобком. Энколпиев смутился. «А почему у тебя такая странная фамилия — Энколпиев? Правда, что ль, Петрония начитался? Или псевдоним такой?» — спросил Олег Иванович, устраиваясь на верхней полке между ним и Лёней. «Нет, всё взаправду. Просто я пришелец с Альдебарана», — объяснил себя Энколпиев. Олег Иванович расхохотался: «Бывает. Я тоже из Боголюбских. Побочная ветвь. За историческое время первую часть фамилии, Бога то есть, потеряли». Звонко рассмеялась и Марьяна, усевшаяся рядом с Энколпиевым. Она волно-

вала Энколпиева, и он боялся посмотреть в ее сторону, чтоб его взгляд не стал похотливым.

Потом был бассейн, или «фригидарий». Комната, широкие лавки, квадратный кафельный бассейн семи метров в ширину и в длину, лестница в воду. Свои влажные простыни спутники Энколпиева положили на лавку, он тоже положил свою сухую: полотенцами пока никто не пользовался. Следом за ними он спустился в прохладную воду бассейна. Там он увидел, как Лёня взял в рот грудь Марьяны, принялся почмокивать ее соском. Олег Иванович не обращал на это никакого внимания. А она улыбалась, не противилась. Но улыбалась через голову Лёни Энколпиеву. Он явно ей нравился. Бассейн был неглубокий, по грудь, и Энколпиев стоял, делая руками плавательные движения. Подплыла Марьяна, освободившись от Лени, обняла Энколпиева сзади, прильнув всем телом, обхватив своими ногами его тело, пяткой нежно погладив его провисший член, который почему-то никак не реагировал на ее ласку, висел бессильно. Он обернулся, взял ее за грудь, поцеловал в щеку. Она закрыла глаза, а он вдруг резко вылез из бассейна и пошел в гостиную — выпить что-нибудь, чтобы избавиться от охватившей его растерянности. Выпил. Пил с хозяином сауны Витей и милиционером Алексеем. Простыня, в которую он был завернут, стала влажной, но казалось, что водка сушит изнутри. Подошла Марьяна с двумя мужиками, тоже уже в простынях. Один Витя оставался в костюме. Выпили еще «Имбирной», которую достал из стоявшего в углу портфеля Олег Иванович. Затем он, то есть Олег Любский, пошел играть в бильярд с хозяином Витей, а Лёня с Марьиной куда-то удалились. Милиционер Алексей глупо смеялся. Перед этим Лёня расхваливал Энколпиева, говоря, что он очень умный. Почему-то Энколпиеву стало обидно, что Лёня увел Марьяну. Он пошел их искать. Нигде не было видно. Сходил в сауну, там их тоже не было. Поплавал в бассейне, вернулся за стол. Все уже там сидели, ели, пили, курили американские сигареты. Отворилась дверь с кухни, куда Энколпиев не догадался заглянуть, и в комнату вошли Марьяна с Лёней. «Я ей окрестности показывал», — сказал Лёня. Марьяна мило краснела и улыбалась. Все смеялись: «Так в простынях по улице и ходили? Вас за привидения не приняли?» Лёня шепнул Энколпиеву: «Полторы палки поставил». Олег Иванович, довольный собой и своей подругой, оглядывал всех: «Это жизнь, Энколпиев! Это и есть жизнь! У вас на

Альдебаране таких телочек, небось, нет! Здесь, у нас, возрождается античность! В России! Мы ее прямые наследники». Античные пропорции Лёни Гаврилова, его прямой, с легкой горбинкой нос, мощный торс, задрапированный в простыню, как в тогу, — все это придавало ему совершенно римский вид, подтверждая отчасти слова Олега Ивановича. Да и сам он походил на римского патриция, хотя сам-то имел в виду, как догадался Энколпиев, Древнюю Грецию. Но это был Рим. Рим, и Энколпиев вслух пропедалировал свою мысль: «Так, наверно, сидели в римских термах, сиречь, в банях», — пояснил он для милиционеров. «Но туда женщин не пускали», — сказала милая нежная Марьяна. «Почему? Пускали». «А, — вспомнила она, — пускали этих, плохих женщин, гетер». Она опять слегка покраснела, произнося *это слово*.

Лёня позвал Энколпиева снова греться. Сидя на «подпопниках», они погружались, млея, в жар сауны. Лёню распирало от своего подвига с Марьяной, наклонившись к Энколпиеву, он поведал: «Прямо на кухне я ее наказал. Сейчас ее, наверно, Олег Иванович наказывает». Через пять минут дверь открылась, вошел Любский, разглаживая усыки, с довольной, сытой рожей, показал два пальца; мол, второй раз трахнул. Слегка смущенная Марьяна, опять обнаженная, села снова рядом с Энколпиевым. Олег Иванович остался стоять внизу: «Ты посмотри, посмотри, Энколпиев, какая красота перед тобой! Это же античность!» Энколпиев наклонился к Лёне и тихо прошептал ему анекдот: «Сидят Петька с Василием Ивановичем. Петька читает вслух: «Патриции с гетерами пошли в термы». Спрашивает: «Василий Иванович, а что такое термы?» — «Это, Петька, бани по-нашему» — «Ну-у! А гетеры?» — «Это, Петька, бляди» — «Понятно, это понятно. А кто такие патриции?» — «Я думаю, Петька, это опечатка. Надо читать не патриции, а партийцы». Лёня захохотал: «Думаешь, у партийцев есть такие бани» — «Уверен. Раз уж у милиции есть...» — «Эй! — крикнул Олег Иванович. — Кончайте шептаться. Ты лучше, Энколпиев, погладь ей грудь, попробуй на руку, это же *форма, скульптурка!*». Олег Любский кончал филологический, но дружил с архитекторами, и понятие «скульптурная форма» было ему известно. Энколпиев принялся гладить грудь Марьяны, но член у него все равно даже не шевельнулся. Она же млела от жары и от его руки, свою положив ему на член. Вошедший Алексей-милиционер ойкнул, увидев такое: «Извините». И выскочил за дверь. Еще раньше ушел Олег Иванович. «Нравится, Энколпиев?» — спросил он, уходя.

Осмелевший после его ухода Энколпиев робко положил руку ей на лобок, проведя прежде рукой от груди по гладкому, ровно-му, слегка впалому животу. Она немножко раздвинула ляжки, он стал ласкать ей клитор. Она еще шире раздвинула ножки и своей рукой слегка подтолкнула его руку: давай, дескать, дальше, глубже. Он засунул ей средний палец в горячую, влажную щель. Она тихо вздохнула. «Чем это вы там занимаетесь?» — воскликнул рожочущим голосом Лёня. Энколпиев отдернул руку.

И вовремя, как он решил, потому что вошли Олег Иванович и Алексей. Марьяна сказала, что ей жарко и она идет в душ. Чувствуя, что его влечет темная сила, хотя член по-прежнему не стоял, потому что не была Марьяна его любимой, его желанной, Энколпиев все же отправился вслед за ней, зашел в маленькую душевую. Она включила воду, стыдливо сводя плечи вперед, как бы прикрывая этим движением грудь. «Ой, горячо!» — и, распрямившись, выскочила из-под хлынувшего кипятка. Он повернул кран холодной воды, температура стала нормальной, теплой. Она стала под душ. Он притянул ее к себе и поцеловал в губы. Она ответила, прижалась всем телом. Он гладил ее по груди, по ягодицам, пальцем снова залез в ее горячую щель. Она, вздохнув, повернулась к нему спиной, упершись руками в стенку и слегка расставив ноги. Но он был беспомощен. «Не стоит», — пробормотал он. Она повернулась, улыбнулась. Он взял ее за шею, за загривок, наклонил. Она вначале дернулась, потом сообразила. Принагнулась и взяла его член в рот, начала целовать и сосать. Он держал ручку двери, не давая открыться, в дверь рвались. Потом пришлось уступить силе. Вошел высокий красавец Лёня: «Что это вы тут делаете?» — «В бассейн идем». Они побежали в бассейн, спустились по железной лестнице. Она сразу подплыла к нему, прижалась грудью к его груди, обвила руками и ногами, член привстал и коснулся ее щели. Почувствовав это, она рукой заправила его в себя. Они начали трахаться прямо в воде. Но все же член стоял плохо. Непривычно было среди народа заниматься *этим*. В бассейн плюхнулся Лёня: «Чем это вы тут занимаетесь? И как, получается?» — «Не очень-то», — засмеялась Марьяна. «Марьяш, а у Олега Ивановича в бассейне получалось?» — не отставал Лёня. «Тоже не очень-то», — спокойно ответила она, соскальзывая с члена Энколпиева, но хватая его рукой, как свою собственность, не отпуская его. Лёня подгрел к ней, взял ее за груди, мям, сосал их. «Ты погляди, как они красивы», — обращался он к



другу. А Марьяна все не выпускала из пальчиков член Энколпиева. Наконец, Энколпиев сам вырвался и нырнул, чтоб охладиться.

Тем временем Лёня с Марьяной вылезли и подошли к скамейке. Энколпиев, увидев это, тоже полез из воды. Она наклонилась лицом к скамейке, Леня приставил ей член сзади, примеривался. Энколпиев подошел, она ринулась было к нему, но Лёня в этот момент засунул свой болт ей во влагалище, точнее, не засунул, а вложил, потому что он был у него тоже не очень тверд. Она затихла, но взяла в рот член Энколпиева, чтоб только не отпустить его от себя. Лёня то ли понял, что тут возникла *симпатия*, то ли устал после «полтора палок», крикнул: «Иди, занимай мое место!» И отошел. Энколпиев оторвался от лица Марьяны, которое гладил, пока она работала губами и язычком, стал пристраиваться сзади: член стоял плохо, но на сей раз все же стоял. Энколпиев понимал, что главное попасть, а там, внутри, он распрямится, затвердеет. Она выгнула спину, как кобылка, как кошка, как сучка, чтоб ему было удобнее попасть в нее. Он и попал. Леня дал ей тем временем сосать свой член, она покорно взяла его в рот, но видно, что без удовольствия, а услышав, как она застонала, когда Энколпиев попал в нее, Леня окончательно убедился, что тут с ее стороны почти любовь, отошел и вообще вышел из комнаты с бассейном. Они остались вдвоем. Он драл ее, чувствуя, что его мужское достоинство налилось силой. Она стонала и была, похоже, приятно поражена его умелостью и продолжительностью акта. Распрямившимся членом он занимал все ее внутреннее пространство, она почти рычала. Заглянул Леня: «Вот это да! Вы еще работаете...» Испугавшись, что сейчас придут остальные, Энколпиев принялся кончать. «В тебя можно?» — «Нет, нет!» Он отскочил, и сперма далеко стрельнула вдоль бассейна. «О, какой ты!» — прижалась она к нему. Потом пили чай с шоколадными конфетами, завернувшись в простыни. Ни о чем с Олегом Ивановичем Энколпиев так и не поспорил. «Пора собираться, завтра на работу», — сказал, наконец, Лёня. «А мне лучше всех, — улыбнулась Марьяна, — я на каникулах. Два дня назад сессию сдала». Одеваясь, прижималась то к Лёне, то к Энколпиеву.

\* \* \*

Вспомнив всю эту сцену Илья неожиданно для себя застонал. От неожиданности раздавшегося в полной тишине стона сам

вздрагнул. Глянул на дверь. Закрыта, и никакого за ней движения. Значит, никто не слышал. Этот стон и дрожь вывели его из оцепенения. Даже хмель, который еще гнезвился где-то в затылке, словно пропал, и он смог более или менее ясно, не казнясь, оценить свое воспоминание. Да, он грешен, любя Лину, изменяя жене. Но в припомнившейся ситуации видна степень еще большего падения. Рим времен упадка!.. Но для него-то это не должно быть оправданием. И почему он вспоминает этот эпизод со смешанным чувством, стыда, раскаяния и вожделения? Стыд как раз за это непрошедшее вожделение. Ведь он семейный человек, еще он любит Лину.. Откуда в нем эта языческая неразборчивость, эта национальная карамазовщина? Легче было бы объяснить свое бесстыдство случайностью, самому себе объяснить. Но его все тянет на морализирование, на чтение нотаций... А это значит, что чувство должного в нем сильнее прочих потребностей организма. Надо жить, себя не стыдясь. А это возможно, только когда чист в своих чувствах. Где же в своих чувствах он не фальшивит? Он любит Лину. Желает ее. Только ее. Жалеет. Жалеет и желает. Любить, любимую женщину — вот выход, единственное решение.

Когда Лина, наконец, вернулась, он, поднявшись с тахты, с которой до той поры даже не привстал, подошел к ней с виноватым и тоскливым выражением на лице, потянул к себе, зарываясь лицом ей в плечо, в волосы, как заждавшийся и изжаждавшийся. Но она, какая-то притихшая, высвободилась, посмотрела на него искоса сказала:

— Давай лучше не надо. Давай подождем, пока уснет. А там посмотрим. А пока лучше почитаем. Я совсем с ней замучилась.

Ее взгляд искоса почему-то насторожил Илью, словно она могла проникнуть в его мысли, в его воспоминания о летнем приключении в бане. Но нет, вряд ли, успокоил он себя. Достаточно с него терзаний, что он изменяет Элке! Это его главная вина, а о бане надо раз и навсегда забыть. Он выпустил Лину из своих лап, потому что не умел быть насильником, а Лина уперлась, он это видел, а стало быть ее надо утешить, успокоить.

— Ты знаешь, на Владлена телега пришла. За аморалку. С какой-то иностранкой связался, — меняя тему, ляпнул он.

— И что? Что из этого последует для меня?

— Его из Праги выпрут, я думаю. Так что скоро он вернется и твои мучения кончатся.

— Опять в свою коммуналку? Знаешь, Илья, а я привыкла здесь. Здесь мое детство прошло. Я и Кузьмина твоего помню — мальчишкой еще: ходил в ковбойке, гулял по аллее, с книжкой в руках. Знаешь, как младшие за старшими наблюдают, особенно девочки за мальчиками. Но он мне никогда не нравился. Герой не моего романа. А я не твоего героиня. Ты ведь не хочешь меня взять с собой.

— Куда?

— Куда хочешь.

— Ладно, что-нибудь придумаем. Не переживай, счастье мое. Давай сядем. Почитаем, в самом деле.

Лина сжалась вся.

— Только руками меня не трогай.

Прежде, чем сесть, она подошла к окну, задернула занавески, включила верхний свет и только после этого вернулась к тахте. Илья очень даже почувствовал, что его механическое «что-нибудь придумаем» и «не переживай, счастье мое» плохо на Лину подействовало. Она напряглась, лицо приняло стылое выражение. Одна надежда — заболтать эти слова, зачитать их кузьминским рассказом. «Бревно, только о себе переживаешь», — сказал себе Илья и немного заискивающе произнес, хотя ответ Лины был ему известен:

— Ты задергиваешь, боишься, что кто-нибудь наблюдает?

— Не боюсь, а знаю. И ты знаешь. Знаешь, что Валька, твоего Кузьмина одноклассница, со мной сдружилась. Тоже одинокая баба вроде меня, — добавила она угрюмо. — Ты же знаешь, что мы с ней перезваниваемся, словами перекидываемся, переглядываемся с балконов. Знаешь и то, что она привыкла мне в окно заглядывать.

— Ну так она сейчас Бог знает что думает, а мы как назло собираемся тихо сидеть, — поторопился Илья забежать вперед Линового раздражения.

— Все правильно. Пусть, что хочет, думает. А ты все-таки отодвинься немного, — сухо сказала Лина.

Опасаясь рассердить ее еще больше Илья отодвинулся, хотя они и остались сидеть рядом. Он взял конверт, достал рукопись, снял связывающую листочки скрепку.

— Ты уверен, что это интересно? — спросила вдруг Лина.  
— Не знаю. Посмотрим.  
— О чем хотя бы?  
— Говорит, что о пришельцах, об инопланетянах, — он вспомнил Вёдрина с его «теорией Альдебарана», хотел было рассказать о ней Лине, но побоялся перебить впечатление от рассказа, тем более, что Лина и без того досадливо воскликнула:  
— О, Господи! Какая чушь! Ладно, давай читать.  
Они сидели передавая листочки из рук в руки, пропуская рассказ сквозь свои размышления и настроения, как герои в романе Сервантеса, слушавшие с интересом истории своих случайных спутников, несмотря на собственные беды и проблемы, и при머явшие их к своей судьбе. Вот, что они прочитали.

**Борис Кузьмин**  
**ДЖАМБЛИ**  
Фантасмагория

Этот день был обычным. Совсем, как и другие, прошлые. Уже с утра в верхушках деревьев шумел ветер, сбрасывая листья, и они устилали сухой асфальт перед домом. Осень. Холодная, сухая, ветреная. Все как вчера, как позапрошлого дня. Разве что это...

Непонятно почему все листья сметались в одну большую, со всей Москвы, кучу, кучу, напоминавшую муравейник. Только один лист вырвался из нее и летал по воздуху отдельно. Внезапно что-то сверкнуло, и куча листьев вспыхнула, запылала и сгорела. И только этот единственный лист продолжал носиться по ветру. Разве что это. Листья были сухие и горели хорошо.

Уже после странного этого случая по тротуару, помахивая папкой, шел малый. Сулуый, но с большой, широкой спиной, со свисающим, как приклеенным, носом. Он был лет 22—23-х, а, если точнее, 21 года, по имени Давид Изгоев. Воротник его пальто был поднят, и он озирался довольно угрюмо. Время было послеобеденное, такое, когда ездят в транспорте люди случайные, и их мало. И когда он взшел в троллейбус и увидел, что тот почти пуст и можно сидеть на отдельной скамейке, он, видимо, сделался доволен.

У него было дурное настроение, потому что сегодня в трамвае он встретил знакомого, кончавшего в этом году школу. Когда Давид поднялся на площадку, он сразу увидел того, верзилу, чудовищного размера и силы, непропорционального, неуклюжего, в школьном костюме и

с детским портфельчиком. И костюма и портфеля он явно стеснялся и потому заискивал глазами по сторонам. Его звали Петя Востриков. Они поздоровались. По инерции приветствия, из вежливости, Давид спросил того, куда он после школы собирается поступать.

— В МИФИ, — самодовольно улыбался теперь Петя. — А ты фи-ло-лог? — спросил этот буйвол пренебрежительно.

Он с сожалением смотрел на Давида. Давид вдруг ответил:

— Один человек не велел говорить.

Это была университетская шутка. Сказав, замолчал. Петя понял, что с ним не хотят говорить, и, чтобы скрыть свой пассаж и от себя, и от пассажиров трамвая, все же спросил, на всякий случай, вдруг обойдется, и ему ответят по-человечески, нормально:

— Что не велел говорить?

— Ничего не велел говорить.

— Кому?

— Никому.

— Какой человек?

— Один человек.

Скетч этот длился не более минуты, но Петя (Давид это с неожиданной для себя иронией заметил), стараясь не поворачивать головы, все же поглядел, не слышал ли кто такого неприятного для него разговора, а Давид отворотился к окну. Высокомерие и суетность мальчиков-физиков угнетали его, и он не жалел о своем жестоком ответе. Он раздражился, присутствие буйвола стесняло его, и он был рад, когда, наконец, сойдя с трамвая, очутился один.

Давид обладал одним, возможно, неприятным свойством: не мог он встречать старых друзей, с которыми уже не дружил, тем более дальних знакомых; он не мог долго иметь дело с одной компанией. Все компании казались ему просто ячейками одного и того же муравейника, слегка лишь между собой различающимися. И, чтобы чувствовать хотя бы какое различие, он все время менял приятелей. Постоянных друзей у него не было. Вот и сейчас он направлялся в компанию, с которой сошелся недели три назад.

Он сидел и смотрел в сухое окно, в которое явственно бил ветер, когда троллейбус останавливался.

Впереди сидело пять-шесть старушек и стариков, да сзади двое-трое парней. Троллейбус был тихий и успокаивал его после встречи с буйволом. Он думал о человеческих взаимоотношениях, и ему казалось, что люди ценят в человеке не душу, не ум подлинно, а то внешнее, что определяется начальством, успехом, модой, рангом, положением и пр. Полная подчиненность общественному мнению.

Он предавался этим злым мыслям, как вдруг по троллейбусу про-шуршал шепот.

- Джамбли? Что такое «джамбли»?
- ДЖАМБЛИ?
- ДЖАМБЛИ!
- Что вы знаете про Джамблей? Приземлились?..
- Приземлились... приземлились... приземлились...
- Не порите чепухи!
- Правда, правда...
- В «Вечерке»...
- В «Вечерке» и не могло быть...
- А что ж, по вашему, получается, что...
- Нет, точняком, Саньк... Кем быть, Джамблн приземлились!..

Давид вздрогнул и огляделся. Публика упивалась сплетней. Неизвестно, как это он сорвался и как получилось, что он сорвался, но выкрикнул он на весь троллейбус:

- Какие такие ДЖАМБЛИ?! Откуда?

Публика — и те, кто не верил, и те, кто рассказывал, — всполошилась и загалдела:

- Как, вы не знаете?..
- Он не знает! Вот это да!
- Про Джамблей не знаете?..
- Вся Москва уже знает..
- Только одни верят, другие нет..
- Не может быть, чтобы хоть кто не знал!..

— Старик, слушай сюда! — это кто-то из парней с заднего сиденья. — Вчера на Новодевичьем кладбище приземлился какой-то космический корабль...

- Улыбок тебе пара, вчера! Утром щас!
- И не на Новодевичьем, а на Ваганькове!
- С Марса!
- Сказал! С Кассиопеи!

У Новослободского метро, не дослушав, Давид вышел. Но и тут, на улице, как жужжание — слово:

- **Джамбли!**
- *Джамбли!*
- **ДЖАМБЛИ!**
- Джамбли, Джамбли, ДЖАМБЛИ, джамбли.

Он шел к метро и слушал. По дороге, из обрывков разговоров он успел только выяснить, что Джамблям приписывается способность внушать мысли на расстоянии, как... Фактически он только дошел до середины перехода, как вдруг люди, шедшие с ним рядом, рванулись, обратились в толпу, и по улице пронесся дикий вопль:

- **Джа-а-амбли-и!**

Люди понеслись к метро. Они толкались, пихались, дрались, сшибали друг друга с ног, топтали упавших, грозили друг другу кулаками и пу-скали их в ход, били друг друга в ребра, в зубы, под микитки, под дых, по морде, по лицу, по харе, по физии, по тылке, по уху, по челюсти, в нос, в глаз, отталкивали один другого, выталкивали, выкидывали, вы-брасывали, выпихивали, расталкивали, распихивали, отдирали, проди-рались, жали, давили, сминали и снова били, теснили, давили, души-ли, вопили и орали. Только в дверях метро Давид сумел оборотиться назад и то лишь на мгновение. Он увидел, что посередине шоссе-ного перехода стоят две блатные или, скорее, прилатненные девки в зеле-ных платьях и, указывая пальмами на толпу паникеров, пронзительно и глумливо хохочут.

«Действительно, стыдно», — успел подумать Давид, но его оттес-нили внутрь метро, и вот он стоял уже на эскалаторе, едущем вниз. И только здесь он окончательно опомнился. И обозлился на себя, усты-дился, что со всеми бежал.

Он взглянул по сторонам. Пристыженные, как и он, — непонятно от кого или от чего убежали, — люди стояли молча. На ступеньку выше Давида стоял мужчина в белом кителе и в белой шляпе, он протирал носовым платком свои уцелевшие в толчее очки. Рядом с Давидом улы-балась золотой челюстью девка в зеленом платье, похожая на тех, что смеялись на улице. Давид немедленно подмигнул ей. Ниже стоял па-рень с черной спортивной сумкой, с шеей и плечами борца.

Они оказались вместе в одном вагоне. Гражданин в белой шляпе все протирал свои очки, потом надел их. Пока он осматривался, Давид продолжал флиртовать с зеленой девкой, то подмигивая, то в упор, со значением поглядывая на нее. И вдруг гражданин испустил вопль, как пять минут назад, на улице:

— *Д ж а - а - а м б л ь !*

Он с ужасом смотрел на зеленую девку, зеленея и втискиваясь в ко-жаную спинку сидения. И вагон замер, перестал дышать.

Девка подбоченилась, выставив грудь вперед, и нехорошая, страш-ная усмешка очутилась на ее лице. Она заговорила тихим, шепелявым, каким-то даже фиксатым голосом:

— Ну, че вылупились-та? Перестели?

Давид вздрогнул от омерзения. А девка стала делать движения рука-ми, всем телом помогая этим движениям, словно гипнотические пассы. И тот человек в вагоне, на кого она указывала пальцем, меняясь в лице, почему-то дергал себя сначала за нос, а потом таскал сам себя за уши. Пока один это делал, остальные смотрели, не переча и не вмешиваясь.

Проходя; по вагону, она отшвырнула ногой спортивную сумку пар-ня с шеей и плечами борца, стоявшую у нее на пути.

— Но-но, ты!.. — приподнялся было парень.

Он, видимо, все же решил, что это просто блатная, и думал красиво пресечь ее. Набычившись, он шагнул к девке, встав с сиденья. Усмехаясь, та пристально глядела ему в глаза. И парень внезапно поклонился ей. Она взмахнула обеими руками, и весь вагон начал униженно кланяться. Самым взаправдашним образом.

Вниз-вверх, вниз-вверх.

Давид стоял и растерянно наблюдал происходящее. На него все ее заклинания и телодвижения не действовали: он просто привык поступать так, как хочется ему, а не другому.

— Кланяйся, кланяйся, падла, — прошипел ему сосед, не переставая сгибаться.

Вниз-вверх, вниз-вверх.

— А ты что, миленький, — сказала Джамбль, подходя к Давиду, — оособого приглашения ждешь?

Давид недоуменно пожал плечами. Все вдруг показалось ему нелицепой и сном, и фигуры кланяющихся покрылись каким-то чадом. «Этого не может быть, — попытался он ободрить себя. — Дичь какая-то. Фантасмагория». Он прикрыл веки, чтоб видение исчезло.

— Ну! — услышал он противный голос, открыл глаза и увидел омерзительную физиономию Джамбля с золотыми зубами. И, недолго думая, ударил ее папкой по голове.

— А-ах! — выдохнул вагон и перестал кланяться.

Станция метро «Белорусская». Сгрудившись, кинулись было все к выходу. Но Джамбль махнула рукой, и они покорно разбрелись по своим местам. Давид на секунду тоже понурился, но встряхнулся, отшвырнул в сторону Джамбль и вышел из вагона.

Из соседних вагонов выходили люди: умные и глупые, оптимисты и пессимисты, добрые и злые, хорошие и плохие, подчиненные и руководители. Они разговаривали, шутили, хмурились, улыбались, давали указания, соглашались и торопились их исполнять. А двери того вагона сомкнулись, и поезд исчез в тоннеле. И как будто ничего и не было.

Что делать? Ведь засмеются, если закричать. Кому рассказать?

А, может, ему все это привиделось? Настолько, глядя на окружающих, казалось ему все происшедшее нереальным. А люди в вагоне, на верное, пропали... Но он же видел!..

И — новая мысль: бежать, предупредить друзей!..

Он выскочил на улицу. Помахал рукой зеленому огоньку:

— Алло, шеф!

Назвал адрес, поехали. Ветер хлестал в стекло, поднимая по улице пыль. Давид все время молчал и смотрел внимательно в окно. Но ничего, что показывало бы присутствие Джамблей в городе.



- Шеф, ты слышал о Джамблях что-нибудь?
- Как, извиняюсь?..
- Джамбли, о Джамблях?..
- Нет, не слышал. А это что же такое?
- Да нет, ничего. Так.

Говорить и рассказывать ему почему-то было стыдно, будто врал. Но не предупредить нельзя. И, выходя из машины, сказал:

— Остерегайся девок в зеленых платьях!

И вошел в подъезд. И там в сердцах: «Тьфу!» Ему стало так стыдно своего романтического предупреждения, что он, чтобы движением заглушить стыд, вихрем взлетел по лестнице.

Он позвонил, ему открыли дверь, затащили в комнату, хозяйка поцеловала его в щеку, спросила, принес ли он бутылку. Шел разговор серьезный — о предстоящей выпивке, и он постеснялся рассказывать про Джамблей.

Он не знал, как следует, ребят из этой компании. Хотя ребята были совсем обыкновенные. Правда, имена-фамилии были у них презанимательные. Девицы: Руслана Гномона, Галка Сорокина, Маша Сашина и Саша Машина, Света Форова и Лиля Акуленок. Ребята: Саша Силачев, Боба Финкельштейн, сын фининспектора, и Сима Форов, брат Светы. А в остальном ничем не выдающиеся.

Одевались, как все, без особого шика, курили, пили водку, ходили вместе время от времени в походы, кто еще учился, кто уже работал. Хотя в смысле выпивки, как показалось Давиду, изрядно перебирали. Выпивка сближала эту компанию, как, наверно, и другие компании. Это было нечто общее. Любимая песенка была:

Что-то стало холодать,  
 Не мешало бы поддать!  
 Не послать ли нам гонца  
 В магазин без продавца?

Иногда произносился и другой, хотя однотипный, текст:

Руки мерзнут, ноги зябнут,  
 Не пора ли нам дерябнуть?

Выпивая, они, чтобы не сидеть молча, вспоминали разные забавные, — забавные в силу талантливости рассказчика, — эпизоды совместных приключений и пьянок, потом долго смеялись. Давид был знаком с ними недавно (у него наклеивался роман с хозяйкой этой квартиры — Русланой Гномовой) и потому выступал лишь в роли слу-

шателя, зрителя, пайщика, когда скидывались по рублику или больше, и ценителя. Он умел с умным видом молчать или пояснить рассказчику его собственную мысль, и это было хорошо. К тому же Давид умел пить, и это было самое главное».

\* \* \*

— Типичные переживания маменькиного сынка, — прервала чтение Лина, — который, выпив рюмку или две с чужими людьми, считает, что он умеет *пить* и что теперь он *узнал жизнь*.

— А, может, оно и так, — сказал Илья. — Все же дочитаем.

\* \* \*

«Руслана еще раз чмокнула Давида в другую щеку и ввела его в комнату. Боба оторвался от карт и спросил:

— Это кто? Таки Додик?

Боба с Сашей примостились в углу на диванчике и резались в «буру». Они курили сигареты и стряхивали попеременно пепел в большую керамической чашку, Девушки сидели перед зеркалом и начесывали одна другую по очереди. Разговор был разделен по половому признаку. Мужчины бурчали в своем углу, женщины шушукались в своем. Изредка кто-то из одного кружка подтверждал слова кого-то из другого кружка. И все.

Давид, войдя и пожав руки, обойдя всех, в который раз начал лазить по книжным полкам. Он смотрел заглавия, брал книги в руки, держал их, листал, вдыхая книжную пыль, и дрожал от наслаждения. А библиотека была редкостная. Он все хотел как-нибудь посидеть день, не обращая внимания ни на кого, где-нибудь в углу и почитать. На дом книг Руслане родители не разрешали давать. Но все никак не получалось просто почитать. Он отбирал несколько, стараясь от жадности взять побольше, хотя сознавал, что надо брать одну, если всерьез хочешь, читать, и садился на другой диван. И листал их. Но настроение бывало у него в компании нервное. И он не отдавался чтению, а листал все быстрее, все поверхностнее и, наконец, оставлял книги и начинал прислушиваться к происходящему. И, возбуждаясь, шел перекинуться в «дурачка» или «дерябнуть водяры».

К восьми вечера они отправились на именины к Ирочке З. Друг за другом, одевшись, они вышли из квартиры и поскакали по лестнице. На улице сильно похолодало. Они закурили сигареты, на минутку приостановившись в парадном, и двинулись дальше.

И лишь на улице Давид вспомнил о Джамблях. Он вздрогнул. Ему почему-то было теперь страшно. От холоднокровного равнодушия не осталось и следа. На улице было пусто и темно.

У универмага толпились алкаши с разгоряченными лицами и лихорадочными при электрическом свете магазина глазами. Проталкиваясь в магазин и вынося оттуда бутылку или две, они тут же отходили за фургончик с фруктами, запертый на ночь, и пили по очереди из одного стакана, взятого из автомата для газированной воды: партия за партией проходили, а стакан оставался.

Но никакого даже намека на присутствие Джамблей. Ничего необычного не было. Это-то и пугало.

Нас всегда страшит неведомое. Самое страшное, когда оно известно и увидено воочию, пугает нас меньше. У человека есть свойство привыкать, но напряженной неизвестности он не терпит.

Давид не знал, откуда могут напасть Джамбли и будут ли они нападать, и это-то и внушало ему совершенно животный страх. И когда он все это почувствовал, он обратился к своим приятелям голосом, прозвучавшим напряженно:

— Парни! видел я сегодня необыкновенную вещь!..

— Джамблей, что ли? — повернулся Силачев.

— Да-да, именно Джамблей! — выкрикнул Давид и угрюмо вдруг замолчал, насупившись. Он шел быстро, и от быстрого шага голос у него прервался и прозвучал, как ему показалось, жалобно и заискивающе. И он опять обозлился на себя.

— Старик, плюнь на это слюной. Все это дермо собачье, — и Боба сплюнул. До самого дома Ирочки 3. они молчали: берегли дыхание. Да и трудно говорить, когда ветер дует в лицо всякую пыль.

Двухэтажный Ирочкин домик был деревянный. Ее квартирка была на первом этаже. Дома была одна она.

Они взшли на крыльцо, прошли три двери и очутились в жаркой квартире. Приятно скрипел гладкий деревянный пол. Скинув пальто, они прошла из прихожей в комнаты и принялись вытаскивать из карманов бутылки водки, купленные по дороге.

Давид, наказывая себя, решил молчать о Джамблях целый вечер. Но все, рассевшись, принялись заводить разговор именно о них. Была вареная картошка, масло, соль, полбуханки черного хлеба, три селедки и шесть бутылок «перцовки». Они раздавили на круг две бутылки, и разговор завязался. Начал Боба:

— Старик, нелепо мандражить! Джамбли — это дермо. Если бы они что имели против людей, то, можете меня уверять в противном, они бы имели то, что хотели. Таки оно так, клянусь.

Саша Силачев, напрягая могучие плечи и прикрывая мощной рукой мощную челюсть, промолвил уверенно:

— Если бы было надо, нас бы позвали. Да и сами справились бы, без нас. А раз не зовут и ничего не делают, значит, так и а д о . Может, дого-

вор какой мы заключили... Народ разберется, что к чему. Конечно, кое-какие конфликты поначалу неизбежны. Ну, тогда мы, то есть в этом случае, себя в обиду не дадим. Но надо не явиться причиной осложнений, то есть, я хочу сказать, что не надо являться причиной межкосмических осложнений. Понятно?

И он обвел закосевшим, но тяжелым взглядом присутствующих.

Давид сидел, сжав колени руками, дрожа от внутренней лихорадки. Что его поражало, так это полная обыденность происходившего разговора. Как будто приехала очередная иностранная делегация. Вначале он не понял, думал, что они не знают, потому и равнодушны к появлению Джамблей, потом — что они, как и он, стесняются первыми выскочить на улицу и призвать людей к сопротивлению. А теперь он был ошеломлен. И вправду, Силачев прав: нигде ни толп, ни солдат, ни машин с людьми. Только голоса, обывательски интересующиеся: а что такое — Джамбли? Утром они будут спрашивать: а что, они еще здесь? И будут лениво звать. Ему сделалось глубоко противно. Хмельть он никогда не хмелел. И теперь ему очень хотелось лежать дома головой в подушку. И отдаться своим мрачным мыслям. Он понял, что это его последний вечер с этой компанией. И ему сделалось грустно, что он такой бирюк, что не может быть долго с людьми, что ему становится скучно и противно.

Ждали Симу Форова, который опаздывал, потому что у него «была игра». Он был баскетболист. Он приехал. Раздавили еще бутылку. Он рассказывал про игру. Объяснил, почему не взял с собой Светку.

— Старик, — спросил его Боба, — а что ты думаешь о Джамблях?

— А ничего, — ответил тот равнодушно.

К одиннадцати Давид собрался уходить. Водка была уже почти вся выпита. Доставали заначки, припрятанные Ирочкой З. И пели песни, не зная, кто их сочинил: «Эй, шофер, вези в Бутырский хутор», «Плато Расвумчорр» и многие еще, мужественные песни. Из первой всем нравились последние строки:

Или нет, сперва давай закурим,  
Или лучше выпьем поскорей!  
Пьем за то, чтоб не осталось  
по России больше тюрем,  
Чтоб не стало по России лагерей!

Да и из второй тоже часто повторяли последние строки, мужественно глядя друг на друга:

Потому что дорога ужасно трудна,  
И бульдозеру нужно мужское плечо,

Потому что сюда не приходит весна —  
На затылок Хибин, на плато Расвумчорр!

Так и чудилось, что эти молодые, интеллигентные парни готовы подставить свое плечо могучему государственному бульдозеру. И Давид тоже так же чувствовал, как и они. И его плечо ныло от желания послужить общему делу. Давид заметил, что, несмотря на всю свою самостоятельность, он тоже отвыкал в компании от каких-то своих привычек. Но он знал, что они возвратятся, когда он уйдет. Он надел пальто, натянул перчатки, вернулся в комнату и сказал:

- Парни и вы, барышни, общий привет!
- Ты уже идешь?
- Стой, старик, может выйдем вместе?
- Ребята, да посидите еще! — это Ирочка З. говорила.
- Додичка, обожди нас.

Почеловавши руку Ирочке З., Давид вышел. За ним остальные, Руслана взяла его под руку, и все они двинулись к стоянке такси. Там уже была большая очередь.

Казалось бы, по пьяной лавочке, если и говорить, то о больном, о важном, и все говорили. Но если потом вспомнить, о чем, собственно, говорили, то вспомнить не было никакой возможности. Они переминались с ноги на ногу, курили, глубоко затягивались, ежились, пряча голову в воротник... И что-то говорили, перебрасывались какими-то репликами о холоде, о ветре, о проведенном вечере, о Джамблях — мимоходом, о водке и о всяческих любовных приключениях их общих знакомых.

Машины подъезжали медленно и редко. Холод — и люди сжимались в комок. Ветр — и люди прятались в воротники. Простейшая защитная реакция. Внезапно показались шесть машин, одна за другой, с зелеными огоньками. Увидев кавалькаду такси, очередь приободрилась. А Изгоев как раз в это время начал говорить речь:

— Джамбли — это эпоха. Это новая эра нашей человеческой жизни. Я пьян, я об этом догадываюсь, но поэтому мне так свободно держать речь. Форов, пошел к матери! Возвращаюсь к теме и прошу не прерывать. Посмотрите, как люди отнеслись к ним, к Джамблям. Сколько прелестного равнодушия. Никто не беспокоится, хотя это и опасно. Я знаю твердо, что это опасно. Я видел в метро. Но в нашем к ним равнодушии залог нашей победы. Думаю, это так. Мы будем жить, как будто их и нету! К черту! к черту! Я вдохновенно говорю! Точно говорю! Я знаю, что говорю!

Он оглянулся, жестикулируя, и увидел в первой машине шофера, везшего его сюда. Он ухмыльнулся и помахал ему рукой, продолжая го-

ворить. Он сознавал, что все же он поднапился, и что свобода в языке и в обращении от этого, но ему было все равно.

— Вот и шефу плевать!.. Скажи, шеф! А что это у тебя там за фря сидит? Джамбль, что ли? Зе-ле-нень-кая!.. Эти дураки говорят о них, как об иностранной делегации. Они ни хрена не смыслят. Слушай, Сима, а в морду? Я презираю тебя, ты спортсмен и кретин. А все вместе мы Джамблей презираем! Вот!

Дверь первой машины раскрылась, и оттуда выпрыгнула Джамбль. Из других машин тоже полезли зеленые девки-Джамбли. Шофер первой машины: сидел серый и не дышал. И Давид осекся. Он продолжал махать руками по инерции уже в сплошной тишине. Потом руки у него обвисли по телу.

Джамбль «из метро» подняла руку, и палец остановился на Изгоеве. «Не смотри ей в глаза. Закрой свои», — шепнул ему внутренний голос. Он поглядел.

— Вот он, — сказала она. — Ешьте его.

Давид вдруг услышал, как взвизгнула Руслана Гномова, и вздрогнул. У всей очереди были оскалены зубы. Он вышел и, тяжело передвигая ногами, пошел в сторону, не оглядываясь. Стояла сплошная тишина. Что-то произнесла Джамбль. Закрыв глаза, люди с оскаленными зубами медленно пытались захватить его в круг.

Он побежал.

Завизжала Джамбль. Шелкая зубами, люди неслись за ним. Он не понимал, как и куда бежит. Почему-то он оказался вдруг в поле. Сердце колотилось, дыхания не хватало, ноги устали. Слышался шум погони. Зловещим голосом кричала:

— Это я, Гномова! Дави-ид! Это я, Гномова-а!

Он упал на землю, обессилен. Хотя он тяжело дышал, они промчались мимо и не заметили его. Было темно.

1965

— Ну и что? — спросила Лина. — Тебе нравится?

— А тебе?

— Мне? По-моему, очень плохо по языку, да и вообще зачем такое старье давать читать. Еще и фантастику. Он что, больше ничего не пишет?

— Ну, это я виноват. Уговорил его найти хоть какую фантастику, чтоб показать Рохлину в «Химию и жизнь». Они иногда фантастику печатают. А писателю надо печататься. Да и не совсем это фантастика.

— Что же это такое?

— Скажу. Ты только свои претензии к тексту изложи.

— Пожалуйста. Ну, хотя бы нелепые словечки — «взошел», «холоднокровный» вместо «хладнокровный», «похолодело» вместо «похолодало», «ветр» вместо «ветер», «дермо» вместо «дерьмо». А дурацкие, глупые фамилии героев! Хуже, чем всякие там Правдины и Стародумы в классицизме. И вообще много прямолинейности, вроде фразы: «публика упивалась сплетней». И сам заход рассказа, когда столкновение со школьником-буйволом описывается! Это же откровенная параллель сражения и победы Давида над Голиафом. Но в предложенной ситуации это уподобление смешно. Смешного и наивного там много. Да и при чем здесь Петя? Это вообще гнусно.

Пока Лина произносила свою суровую речь. Илья думал, что она права, точно все увидела, но все равно рассказ ему нравится, хотя и требует редактуры, ему казалось, что пришельцы, НЛО, как и банные развлечения, все это симптом, знамение распада, гибели. Вера в НЛО — это вроде веры в гибельность косматых комет, как верили древние. И Кузьмин многое почувствовал еще двадцать лет назад.

Илья дернул левым плечом.

— А мне так кажется, что все-таки неплохо, хотя ты замечательно все увидела. Но там есть и нечто сверх этого. Могу объяснить, что я имею в виду. Если ты хочешь, конечно.

— Объясни, — протягивая ему рукопись и на всякий случай еще дальше отодвигаясь от него, сказала Лина.

Холодно сказала.

## Глава XII

# Не дам!..

...Вы должны,  
Я вас прошу, меня оставить...

*А. С. Пушкин. Евгений Онегин.*

**И**лья очень почувствовал этот ее холод, в котором сам вроде бы был виноват. Только в чем его вина, понять не мог. Нахмурившись, он осекся и замолчал. Говорить ему расхотелось, потому что и на него нахлынуло раздражение: он все же хотел его скрыть, хотя получалось это с трудом. Мужчина может много говорить, когда пытается обольстить женщину или в очередной раз пленить ее своими речами, умом, знаниями, опытной развязностью, может и ждать, пока еще есть препятствия для последнего решительного действия, но, когда препятствия удалены, и женщина должна бы уже потянуться ему навстречу, и пора уже переходить к тому, ради чего была вся преамбула, а мгновение развязки все оттягивается, красноречие начинает иссыхать, словно и говорить не о чем, хотя минуту назад тем для разговоров было полно. Илье показалось, что своими вопросами и неудовольствиями Лина не то что отдаляет, а вообще старается исключить между ними саму возможность того, что именуется интимными отношениями и ее претензии к Кузьмину на самом деле направлены на него. Предчувствуя вдруг тщету своих усилий, он тем не менее попытался собраться.

— Ну же, — робко тронула его за руку Лина, не придвигаясь, однако.

— Что?

— Объясни, что ты хотел...

— А, это... Хорошо. Хотя, честно говоря, уже не хочется.

Тем не менее он начал говорить, потому что некая надежда не оставляла его, но речь его звучала отрывисто и досадливо.

— Не понимаю, что тут можно не понять. Свинство с Петей получилось у него невольное, он мне объяснил. Впрочем, имя заменить тут несложно. А в остальном рассказ ясен и прост, как



математическая формула. Я тебе как-то говорил о катастрофичности нашей эпохи, когда все мыслящие люди почти каждый год ждут наступления какого-либо катаклизма. Даже, когда в магазинах все есть и замолкает глухое ворчание народа на нехватку всего. Катаклизмы эти наступили. Чего стоит Октябрь и сталинизм!.. И все равно продолжаем ждать окончательного, решающего... И здесь, в «Джамблях», тоже ощущается наступление катастрофы. Мы живем в странный промежуток времени, сравнительно либеральный, и потому начинаем забывать, что катастрофа, а точнее сказать, уничтожение всего непохожего, торжество рабского начала суть основы нашей жизни. Разве дело в пришедших неизвестно откуда Джамблях? Поэт, или, если хочешь, писатель, просто их называет так, это, если угодно своего рода псевдоним. Он в их обличье прозревает основы нашего бытия. Кто бы в силу каких причин ни оказался над нами сверху, тому мы сразу с охотой и готовностью начинаем повиноваться, с готовностью принося в жертву на алтарь власти и себя, и своих близких. Иван Грозный, Петр Первый, Сталин, Джамбли — все одно. Писатель чувствует психологический настрой общества и речь его о том, что вслед за Сталиным, хоть он это и не говорит и имени этого не называет, — потому что дело не в имени, — может прийти кто угодно другой или другие и что все мы вновь, в который раз окажемся рабами, готовыми пожрать ближнего. Но обожающими деспота. Грановский, это русский историк, любил повторять о любви римских масс к Нерону, любви, сохранившейся после смерти императора-изверга. Аллюзии Грановского понятны: Нерон — Николай Первый. У нас таких аллюзий много больше, — Илья говорил, чувствуя, что голос его никак не избавится от раздражения. — А то, что мысль и чувство выражаются Кузьминым пока в чужих, заемных формах, в форме сайенс фикшен, или, по-русски, научной фантастики, то это говорит о незрелости пера, о тогдашней его житейской неопытности, но никак не: о незрелости духа. Он умеет слышать дыхание Рока, его поступь.

— Как-то все это выпренно звучит, — прервала его Лина. — Конец света. Рок, только еще слов о термоядерной войне не хватает!..

Илья смолк, все больше и больше ощущая ее желание уязвить его, а тем самым и отдалиться, желание, непонятно на сей раз чем вызванное. А она вдруг грубо добавила совсем вроде бы ни к чему:

— Здоровы вы все высокие слова говорить! А сами только и думаете, как бы под разговор бабу трахнуть.

Илья пришибленно молчал. Может, она и в самом деле почувствовала каким-то непостижимым образом его воспоминание о бане? Тогда она права. Но не только ведь «баня» в его душе! Неужели не чувствует она, что он любит ее, желает ее, именно ее, и все другое — случайное, даже Элка. Произнеся про себя последние два слова, он даже похолодел, осознав вдруг их смысл. Довела-таки его Лина до этих слов, до этого ощущения!.. Теперь он окончательно предал Элку. И все же он возразил Лине, погасшим голосом, без энтузиазма и без прежнего раздражения, но возразил:

— Знаешь, дорогая, последняя твоя фразочка того типа, что по латыни звучит как аргументум *ad хоминем*, но я тебе все же отвечу. Я вовсе не имел в виду угрозу атомной войны. Это все липа политиков, это их дело, их игры. Я-то говорил о гибели определенного социума и порожденного им образа жизни, о гибели империи многих народов, раскинувшейся на необозримом пространстве. Как там у Заболоцкого?

Европа сжалась до предела  
И превратилась в островок,  
Лежащий где-то возле тела  
Лесов, пожарищ и берлог.  
Так вот она, страна уныний,  
Гиперборейский интернат,  
В котором видел древний Плиний  
Жерло, простершееся в ад!

Я имел в виду невозможность в течение столетий культивироваться и цивилизоваться: слишком сильна оказалась заковка Батыя. Отсюда постоянный хаос, брожение, беспрестанные восстания масс, вертикальные нашествия варварства. И вместе с тем — Империя, Третий Рим. Но и Рим сотрясался не только от внешних врагов. Первохристиане готовы были уничтожить все радости и приобретения римской цивилизации, демократии и свободы. Мировой катастрофы в огне термоядерной войны бояться легко, для этого не нужно напряжения чувств, бойся вместе со стадом вот и все! А суметь испугаться своих современников в их вроде бы мирной жизни — вот это штука, вот это всерьез! До-

стоевский в банальном уголовном преступлении такую бездну прозрел, такую пропасть падения, такой грандиозный провал, что потом даже не удивились в мире, когда в него ухнул русский народ и повлек за собой сопредельные, за исключением тех, что успели от Империи отложиться — Польша, Прибалтика. Но потом со дна он и их достал, к себе в провал сдернул. Да и Европу тоже. Немецкий нацизм тоже отсюда отчасти. А увидена была эта пропасть, этот провал не во внешних причинах, а в душе каждого российского человека, в душе народной. Катастрофы не извне приходят, не неожиданно наваливаются, никто нам яму не копает, мы сами копаем ее в своих душах и сами же в нее проваливаемся. Это закон нравственный, который относится как к человеку, так и к народу. Вот к этим вот размышлениям и ведет рассказ Бориса.

Лина слушала, склонив голову набок.

— Ты, конечно, умный, — сказала она задумчиво, — из любого положения можешь выкрутиться, но, по-моему, ты приписываешь, по свойственной тебе манере, другому человеку свои мысли и ощущения, словно другой рассказ пишешь.

Илье показалось почему-то, что она оттаяла, и он сам сразу отмяк, обрадовался, вздохнул облегченно, весь минор его сразу пропал, испарился.

— Да нет же, честное слово, все так у него и есть, как я сказал, — радостно воскликнул он. — Скорее, это именно я чего-то не договорил, ибо образами, как известно, сказать можно много больше, чем силлогизмами.

Он чувствовал, что у него затуманилось в глазах, так сильно вспыхнули в нем надежда и желание. Произнеся свое маленькое разъяснение, он схватил листочки, поднялся с тахты, положил листочки на телевизор и вернулся к Лине, оказавшись прямо перед ней, таким обходным, как бы отступательным маневром приблизившись к ней без насилия поближе, чтобы предпринять еще одну попытку.

Но слова выговаривались неловко и неуклюже.

— А в доказательство правоты своих слов я тебя сейчас поцелую, — склонился он к ней.

Не тонко сказал.

И Лина вскочила, выскользнув из его рук.

— Не надо!

И забормотала быстро:

— Не надо, прошу тебя. Ты очень умный, очень хороший. Но я решила: не надо. Это ни к чему и нехорошо.

Она отскочила к окну.

— Но недавно же было хорошо, — буркнул обиженно в ответ Илья, шагнув к ней, стоявшей спиной к окну и тревожно смотревшей на своего возлюбленного, шагнув напролом. Она же — его!

Он шагнул к ней и, схватив руками за талию, потянул к себе.

Она откидывалась всем корпусом, ускользая от него, от его губ, запрокидывая назад голову избегая поцелуев, но молча, глядя на него из-под полуопущенных век странно и нерешительно.

Но интонация голоса была однозначно непреклонной.

— Я тебе хочу сказать, — страдальчески шептала она, — пожалуйста, больше не надо. Ни приходить, ни звонить, ни всего остального...

— Но я не могу..

— Можешь. Сможешь. Я так тоже больше не хочу и не могу. У тебя семья. И у нас все равно ничего не получится! Мы никогда не будем вместе!..

— Подожди, потерпи. Что-нибудь я придумаю. Все образуется, все получится, — клекотал он, дуряя от страсти и прижимая ее к себе, чувствуя напряженно ее гибкость, упругость.

А что могло образоваться? что могло получиться? что мог он придумать? Только одно — из дома уйти! Само ничего не получается, само ничего не делается — самому решать надо, но решать!

— Нет! — высвобождалась она и вместе с тем подставляла под его поцелуи лицо, шею, глаза, — нет, я права, ты сам знаешь, что я права. Ведь так? Ты же понимаешь, что я имею в виду.

— Ну и понимаю, ну и что, — не отпускал он ее и продолжал целовать, бормоча. — Ах, поминутно видеть вас, повсюду следовать за вами, улыбку уст, движенье глаз ловить влюбленными глазами...

— Тебе ж этого мало. Ты еще и другого хочешь, сам знаешь, чего, — сопротивлялась она, раздувая свои ноздри уздечкой и белея лицом, а порой и прижимаясь в борьбе к нему всем телом. — Мне тоже хочется, но этого больше не будет.

— Но почему? Вот и хорошо, что хочется. Это же естественно!

— А все равно — не будет. У тебя жена, сын уже взрослый, ты его обожаешь, поэтому тебе еще чего-то захотелось. Нет, я так не могу. Не могу быть сбоку. Ты богатый, а я нищая. Но чужого мне не надо.

— Почему же это чужого? — криво усмехнулся Илья, с облегчением соображая, что, слава Богу, баня здесь не при чем, что это обычная ревность любовницы к жене, всегда пересиливаемая лаской.

Он крепче прижал ее к себе, оторвал ноги от пола и потащил к тахте, повалился вместе с ней на тахту, обнимая распаленно, тиская ее грудь сквозь блузку, расстегивая пуговицы, целуя стиснутые губы, разжимал их поцелуями. Вырываясь, она села, но в этот момент ему удалось стянуть с ее плеч и рук блузку (стоило ему оголить ее плечи, она уже не очень противилась, когда он руки ее из рукавов высвобождал) и достать из бюстгалтера грудь, к которой он тут же припал губами. Она задрожала, задыхаясь:

— Нет, Илья, не надо. Я тебя прошу. Нет. Я так не могу. Когда не хочу, то не могу.

— Но ты же хочешь! Ты только что хотела!..

— Нет. Не упрашивай меня. Не проси. Пожалуйста, не надо. Я тебя прошу. Не проси. Прощу.

— Лина, я ведь тоже не могу. Не могу сдерживаться... Просто не могу... Ты такая красивая, такая желанная... Я тебя тоже прошу! Ну что же это за мученье! Что же это получается за ерунда...

Она не убирала его рук, гладивших и мявших ее грудь, но как только он пытался приступить, приступал к действиям, комкая и задирая ее юбку, отрицательно качала головой, отводила его руки и закидывала нога на ногу.

— Что? Мне пожалеть тебя? Но мы все эгоисты, каждый по-своему. Не могу я тебя пожалеть. Не умею. Ну, не хочу. Мучаешься? Бедненький! Но все равно ничего не будет. Ты же знаешь, раз я сказала, я не отступлюсь от своих слов. Ну не смотри на меня так! Тебе лучше, легче, чем мне, у тебя жена, сын. Ты скажи лучше, как у него дела? Больше истории с оперативниками не повторялось?

...Она переводила разговор, остужала его пыл, напоминая Илье о его долге и обязанности, о его тревогах.

— Какой истории? А, этой!.. — она отчасти добилась своего, он вспомнил, в какой был панике прошлой зимой, как изливался ей, ища сочувствия и поддержки.

Год назад из райкома комсомола был звонок в школу, что Антона задержали оперативники, комсомольский отряд, за фарцовку — на площади Ногина. Из школы тут же сообщили письмом, что желают видеть родителей, потому что собираются исключить

парня из комсомола и отчислять из школы, а уже последний, десятый класс! Сын признался, что он на Ногина был, что его и в самом деле задержали, но что он не фарцевал, конечно же, а тусовался с хипами и просто попал в облаву, где брали всех подряд, «всех, кто ушел из их злобно-угрюмых рядов, — сказал сын, — сами-то они тоже хороши, мы же не интересуемся, чем они там на своих комсомольских собраниях занимаются, сколько пьют и с какими девками трахаются!» Илья тогда сказал ему, чтобы он запомнил, что на площади Ногина он не был, в облаву не попал, что его именем кто-то назвался, а он дома сидел, что могут подтвердить родители. Но в школе Илью не стали и слушать, сказав, что им поступил сигнал из источника, которому они обязаны верить. Выручил их тогда Паладин. Когда Илья растерянно рассказал в редакции эту историю, говоря, правда, что сын-то дома сидел, а его именем некто прикрылся, Саша сказал, что он как парторг готов помочь своему беспартийному другу, поручиться за него, подтвердить его слова о том, что Антон был в тот день дома, готов перед комсомольцами это засвидетельствовать, потому что и Илья, и его жена Элка, и его сын Антон ему, Саше Паладину, нравятся. На это Илья втайне и рассчитывал, полагая, что Саша, разумеется, знает комсомольско-партийную кухню и их нравы и знает, как себя вести в таких ситуациях. И Саша безотказно поехал с ним в Колпачный переулок, надев новый хорошо пошитый костюм, рубашку с галстуком и пальто из настоящей кожи, пальто, которое достать можно только в спецраспределителях. И когда короткошейй, с микролбом, комсомольский волк увидел Сашу, он сразу угадал в нем зверя пострашнее, а может, угадал и кто Сашин родитель, во всяком случае понял, что лучше не связываться. На бородатого Илью он при этом смотрел подозрительно. Но Саше сказал, что не может его словам не верить, и позвонил в райком, пробурчал, что вышла ошибка, просил закрыть дело. После всего Илья купил бутылку рома, и они с Сашей поехали обрадовать Элку и Антона, пили допоздна, Элка играла на гитаре и пела песни. С тех пор дружба с Сашей даже окрепла, тот стал чаще захаживать к ним в дом, даже когда Ильи не было. Такая возникла дружба с необычным для их круга человеком — Сыном Крупного Партийного Чиновника, власть имущего.

Вспомнив все это, он произвольно опустил руки, ответив, однако, на вопрос о делах сына:

— Нормально.

Она сразу ухватила за его ответ:

— Ну вот видишь! Все у тебя нормально, хорошо, все выправляется. Ты не переживай. Это у меня плохо. Ты уж как-нибудь без меня обойдешься! Переживешь. Это у меня никого нет...

— Если бы ты знала, что... — начал было он, но оборвал себя, не желая давать Лине козырей своим рассказом об Элке и ее стихах Паладину. И вернулся к прежним своим вопрошаниям и домогательствам. — Ну скажи, почему ты не хочешь? Я тебя обидел чем-нибудь?

Она поднялась, отошла от тахты, заправляя грудь в измятый лифчик и натягивая блузку, а он сидел, схватившись руками за голову, изображая растерянность.

— Не огорчайся. Ты меня ничем не обидел. Хочешь, я тебя поцелую? Не хочешь? Ну, ладно, ты, наверно, прав. А то получается, что я какая-то проститутка или динамистка: поманила мужика, а не дала. Будто что выклянчиваю, вымазживаю. А это не так, Илюшенька, не так, — она подошла к двери. — Хочешь, я уйду? Тебе сразу легче станет. А хочешь, просто пойдем погуляем вместе? Воздухом вечерним подышим? Не хочешь? Ах да, тебе бы домой не опоздать, ты же у нас порядочный семьянин. Ну не сердись, Илька! Извини. Я все не то говорю. Просто я решила, твердо решила, что между нами этого больше не будет. Я тебе больше не поддамся.

— Знаешь, — криво улыбнулся он, не зная, что сказать, и желая вывести разговор из напряженной тональности, — все это прямо по анекдоту: «Маш, дай!» — «Не дам». — «Ну дай!» — «Не дам!» — «Ну да-ай!..» — «Ладно уж, уговорил, речистый!» Только я не речистый оказался.

Она с готовностью улыбнулась ему в ответ:

— Ну вот и хорошо, что ты улыбаешься! Ты ведь не очень обиделся? Ты простил меня?

— Обиделся, но не очень, — ответил он, поражаясь жертвенности — даже в мелочи жертвенности — женской души. Ведь это она должна на него обижаться, должна не прощать его. Это он ведет себя нравственно-сомнительно: любя ее, живет с другой женщиной. А можно и так: имея семью, соблазнил ее, заставил на что-то надеяться...

А она вдруг села на тахту, закрыла лицо руками и заплакала. Горько так заплакала. Илья испугался, обнял ее за плечи,

она привалилась головой к его груди, продолжая всхлипывать, вздрагивала всем телом и уворачивалась от него, когда он пытался силой отнять ее руки от лица, бормоча встревоженно:

— Ты что? Ну что ты? Ты что? Что с тобой?

— Ничего, — мотала она головой, прижимая руки к лицу и говоря глухо сквозь них. — Сейчас пройдет. Ничего. Я успокоюсь. Я успокоюсь! — она еще всхлипывала, но села прямо, оторвавшись от него и высвободив свои плечи из-под его руки, сквозь всхлипы продолжая говорить. — Мне иногда кажется, что лучше было бы, чтобы я не была. Мне все кажется, что то, как я живу, это все еще прелюдия к жизни. А ведь я уже немолодая баба. Мне за тридцать лет, подумать страшно! А жизни не было. Такой, чтобы о ней можно было вспомнить хорошо, без сожаленья. Наверно, я очень тяжелый человек. Ненормальная. Я это знаю. Тяжелая для себя и для своих близких. Да и для тебя, — она неожиданно провела ласково мокрой ладонью по его щеке, сквозь слезы глядя на него, и спрятала глаза, закрыв их снова руками. — Все друзья, все эти молодые компании, все эти пьяницы, которые у меня дома собирались, сначала при муже, потом при любовнике, — твердо выговорила она это слово, — все это как-то словно мимо меня прошло. Словно и не было. А сама я была ли? Мне все противно. Не хочу я на работу, не хочу кандидатскую защищать, ничего не хочу, ты же знаешь, я умею устроиваться: когда на службу снова пошла, уже после Диаза, ну, мужа моего, набрала себе работы больше всех в отделе. Я ведь не кандидат, а работала как кандидат, понимаешь? Работала старшим, а зарплата была меньше, к тому же у кандидатов — реноме. Да всего месяца три проработала, может, четыре. Пять раз мне меняли тему: это директор меня хотел выжить, потому что у меня с его сыном роман случился. Ну да я сама ушла, когда роман стал реальностью. Хотела в уборщицы пойти, чтобы подзаработать, денег ведь не было, да с дипломом меня никто не брал. А когда любовник мой сбежал, быстро очень сбежал, стала подрабатывать шрифтами, уроками, да еще переводчицей на выставке, на ВДНХ, может, даже мимо твоего дома ездила. Вдруг что-то во мне треснуло — и психушка. После снова шрифты и уроки. Потом ты появился. Тут бабушка заболела, и я сюда переехала.

— Ты же блестяще английский знаешь, — польстил ей Илья.

— Какое блестяще! Отец вот мой знал! Как Роза Моисеевна испанский. Да и испанский тоже знал. Это от деда: он был по-



лиглот. А у меня и практики теперь давно не было, я и рисовать, наверно уже разучилась.

— Я тоже давно ничего не делаю, — соврал Илья, чтоб ее утешить. — Не читаю почти ничего, не пишу. Время такое.

— У тебя зато сын растет, вырос уже.

— Ну это естественное дело.

— Это и есть дело. А у меня этого естественного нет. У меня вообще ничего нет. Ну, пойду я на работу, ну буду зарплату получать, кандидатскую защищу, зарплату на сорок рублей прибавят, ну, на сто, но это же не решит моих проблем. Я всегда, ты знаешь, была отличницей. И в школе — с золотой медалью кончила, и в институте — с красным дипломом. И всегда о себе много понимала. Все ниже меня. Никого и сейчас не вижу по мне. Может, надо было иметь детей? Все равно от кого. Животно привязаться к жизни? Не хочу! Понимаю, что иначе не бывает, что все бабы так живут, но не хочу. Это у меня в душе провал, о котором ты говорил. Зачем все было, что было? Все куда-то, в какую-то пропасть рухнуло, и ты туда рухнешь, — она говорила не очень связно, но напряженно и страстно, как пьяная, как ненормальная. — Ведь ты на мне не женишься. Бабушка права. Она правду сказала, бабушка, — вдруг назвала она Розу Моисеевну бабушкой, нечасто она это делала, как знал Илья. — Все я чего-то ждала, что вот-вот наступит. Перед мамой всегда за себя стеснялась, что я какая-то не такая, не такая, как она. Но я такая же. Обыкновенная баба. Только несчастливая, неудачница какая-то. — Илья с холодком, пробежавшим по спине, почувствовал невольное, что в ее несчастливости есть и его доля вины. — А мне уже, наверно, поздно иметь детей. А как бы я хотела девочку. Девочку!.. Нежную, ласковую, родную... Но я уже старуха буду, когда она вырастет. Мне просто собаку надо завести, чтобы было, в кого душу вкладывать. Я ведь никому не нужна. Пете не нужна, у него свои дела. Розе Моисеевне нужна только как сиделка. А тебе я иногда лишь нужна, для одного, а сама по себе вовсе не нужна. И это ведь правда. Ты сам знаешь, что это правда. Я сейчас одна. А раньше, наверно, тоже одна была. Все вокруг меня вертелись, крутились, заходили, болтали, а потом убегали, потому что у всех есть своя жизнь и какая-то определенность в жизни. А у меня ничего нет. Нет определенности, устойчивости, ничего своего нет, я одна. Умру, как будто и не была, как будто так

и надо, что нет Линочки. Для всех лучше, что ее нет. Да и была ли она?..

Лина вырвалась из-под мужской руки, попытавшейся обнять ее за плечи, упала лицом в плед, покрывавший тахту, и зарыдала в голос, уже не сдерживаясь. Не умея ничего делать в таких ситуациях, Илья сидел рядом с ней и, не находя утешающих слов, чувствовал потерянность и раздосадованность, будто бы эти слезы — упрек ему (и понимал, что так оно и есть). Он нервничал, лезли в голову подловатые, злые мысли: «Считаешь, что я виноват в твоей незадавшейся жизни? Ну и считай! Это, конечно же, не так. Сама виновата. Каждый человек сам определяет свою судьбу. И винить за судьбу некого. Могу и в самом деле уйти, раз так на тебя я действую». Ему и вправду захотелось уйти, хлопнув дверью, изобразив обиду, тем более, что он и впрямь обижен, ведь ему ничего не перепало, да и домой пора — выяснять отношения. В груди он ощутил сразу при этом ледяной комок, мешающий дышать: комок обиды, ревности, раздражения и чувства собственной вины. Элка спросит, почему, если ты у Гомогрея задержался, то не позвонил? А хватит, ли у него решимости спросить про Паладина? Если не хватит, то и выйдет, что опять Элка права. А как от Лины он мог позвонить? Но он позвонил! От Кузьмина звонил! Это ее не было дома. Но он физически ощущал свои слипшиеся от пота волосы, немытую, грязную бороду, потную, несвежую рубашку на теле. Ах ты! сказал он себе. Только и умеешь, что рассуждать о высоких материях, а живешь черт знает как! И странно, что сам он вовсе не видит себя ни выпивохой, ни распутником, любит трезвость, любит вроде бы работать, готов все делать для семьи, и делает, но по другим фактам, фактам тоже его реальной жизни, все получается совсем наоборот. Здесь согрешил по мелочи, там согрешил по мелочи, а как подсчитаешь, то получается немалая гора и получается, что он как раз и выпивоха, и распутник. Вот как человек, который не горяч и не холоден, а только тепел, и оказывается самым большим грешником. Так что от Паладина он получил по заслугам.

В такт этим самоуничижительным мыслям он полумеханически гладил Лину по плечу и по спине, неудобно изогнувшись, так что свело немного мышцы в боку, приговаривая:

— Ну, не надо. Пожалуйста, не надо. Ну, успокойся.

А рыдания не прекращались и, считая себя виноватым и в этой истерике, он готов был — от замутненности души — сказать,

что он бросит семью, останется с ней, и в самом деле остаться на ночь, а не ехать домой, хотя он уже был в мыслях дома. Он только собирался сказать что-нибудь в этом духе, как за стенкой, в комнате Розы Моисеевны, послышалось движение и глухой стук, будто что-то тяжелое упало на пол. Илья прислушался, но больше оттуда не доносилось никакого шума, была тишина. Но во всяком случае этот шум, это падение чего-то тяжелого, создавали отвлекающий момент, и его надо было использовать.

— Эй, — сказал он, теребя Лину за плечо, — там у Розы Моисеевны что-то рухнуло. Послушай-ка. Да не реви ты хоть секунду!

Лина подняла голову. За стенкой по-прежнему была тишина. Но Илья видел, что она встревожилась.

— А ты точно слышал? — спросила она почти нормальным, почти без слез и всхлипываний, голосом.

— Разумеется, точно.

Лина выпрямилась, села.

— Боже мой! Только этого еще не хватало! Что еще там эта сумасшедшая старуха выкинула?!

— Да ты не волнуйся, — говорил Илья, радуясь, что она волнуется и поэтому перестала рыдать, слезы вытерла, — уже тихо. Прислушайся — тишина. Что там могло случиться?.. Если б что, она бы крикнула, на помощь позвала... — но ему тоже стало тревожно: глядя на испуг Лины, он вдруг представил самое страшное.

Но Лина не о внезапной кончине думала.

— Плохо ты ее знаешь. А вдруг упала — и перелом шейки бедра, самый стариковский перелом. Это ж ее навсегда к постели прикует, — сотрясаясь временами от непрошедшей внутренней дрожи, ответила Лина, а на слова Ильи, что тогда они бы услышали стон, возразила. — Плохо, говорю, ты ее знаешь. Помнишь, в этой инсценировке Дон Кихота — романа я, конечно, не читала, стыжусь, а Булгакова мы в свое время обожали — так вот, там сцена есть, может, ее Петя сейчас как раз смотрит, сцена, когда избитый Дон Кихот говорит, что хотя страшнейшая боль терзает его, он не жалуется, потому что рыцарям запрещено это делать. Так и она. Она один раз знаешь какой фокус выкинула? Полезла сама на книжные полки, да без лестницы, а они у нее в комнате до потолка, и, конечно, рухнула с верхней. Меня, правда, не было. Мне Владлен рассказывал. Они с Ириной в кухне сидели, услышали шум, но поначалу не поняли, что к чему. От-

туда ни звука, ни стопа, ни тем более крика. Минуты три или четыре просидели, прислушиваясь, потом беспокойный Владлен все же решил заглянуть, что там мать такое тяжелое уронила, а его на помощь не зовет. Заходит, а она лежит на полу и молча пытается до дивана добраться, ползет себе потихоньку, как раненый солдат. Короче, выяснилось что она при падении руку себе сломала, но даже и не вскрикнула.

— Ну, шок был, это понятно.

— Да что ты! она и потом так ни разу и не застонала, даже маленького стоника из губ не выпустила. Просто она железный человек, человек без нервов. Из нее и впрямь гвозди б можно было делать. Я дедушку плохо помню. А мама рассказывала, как он все на диване лежал и читал книги. Иногда поднимался и шаркал в Институт читать лекции. У него был такой широкий черный костюм, очень свободный. Но к маме и ко мне относился хорошо, всегда интересовался ее и моими делами. Мама не любила о себе рассказывать, но стеснялась обмануть ожидания такого солидного профессора. У нее ведь психология бедной девчонки, случайно попавшей в богатый дом, до самой смерти оставалась. А бабушка держала деда в руках твердо. Он ей говорил: «Роза, ты каменная! Роза, ты деревянная! Роза, ты железная!» А меня любил, я ему мою родную бабушку напоминала. Она сюда приезжала, очень Яшу любила, штанишки и рубашки ему привозила, сама шила. А теперь у меня никого, кроме Розы Моисеевны, не осталось, кто бы меня хоть как любил. Боже, и с ней что-то случилось! А я тут одна, — с испугом и не очень последовательно сказала Лина.

— Да я здесь!

— Ты сейчас уйдешь. Я же знаю. Илюша, я прошу тебя, если моя просьба для тебя что-нибудь значит, не уходи! — она жалобно и с мольбой посмотрела на него, голос ее звучал заискивающе. — Не уходи, пока не выясним, что случилось. А? Пойдем вместе посмотрим. Ладно? Я прошу тебя.

— Ну, конечно, пошли, — сказал Илья, внезапно вправду обуянный новым беспокойством, что если и впрямь что случилось, то домой он уже сегодня точно не выберется.

Они подошли к комнате Розы Моисеевны. Илья приоткрыл тяжелую дверь и просунул в щель голову. Над изголовьем постели горел ночник, как всегда бывает, когда человек что-нибудь читал перед сном, да так и заснул с книжкой в руках. Роза Моисеевна

лежала на подушке, ее редкие белые волосы, взлохматившись ото сна, были, как венчик, как сияние, вокруг ее головы. Руки, морщинистые, в складках и пигментационных пятнах, в сбившихся кверху рукавах белой ночной рубашки, лежали поверх байкового, в белом пододеяльнике, одеяла. Но никакой книжки, выпавшей из ее рук на пол, Илья впопыхах не заметил. Рядом с диваном стоял круглый столик, на нем пузырьки с лекарствами, рюмка для валокордина, чашка с недопитым чаем на нечистом, с чайниками и коричневыми разводами блюдец, на другом блюде половинка недоеденного бутерброда с сыром, уже подсыхающего. Илья тревожно прислушался: старуха сладко сопела. Что же на пол падало?

— Ну! — тащила на себя дверь Лина.

Она, наконец, распахнула дверь широко и прошла мимо него. И тут Илья, который почему-то испугался, что Лина обвинит его во вранье (то есть, что он соврал, что нечто здесь на пол рухнуло), увидел лежащий у шкафа, словно отброшенный, маленький, толстый томик стихов Бетти Герилья «Antologia poética» с заложным в нем листком бумаги. Илья молча указал на книгу пальцем. Лина нагнулась, подняла томик и выскользнула из комнаты, следом вышел Илья, плотно притворив ее за собой.

— Почему ты свет у нее не выключила?

— Потом, когда покрепче заснет.

Они стояли в коридоре. Горела лампа на длинном шнуре. Илья принял у Лины из рук томик, он открылся там, где был заложен листок. И прочитал вслух:

— Ля фелисидад.

Эн ля каса естаба тодо листо,

Эсперабан ля фелисидад.

Глянул на листок, вложенный в книгу:

— Да это перевод! Она сама перевела. Прочесть?

— Читай.

И скользя глазами по неровным строчкам из больших корявых букв, он прочитал, с каждой строфой произнося слова все менее и менее твердо и уверенно:

В доме все было готово,  
ожидали счастья.

Мыли, гладили,  
чистили, наводили блеск.  
Счастье не пришло.  
В доме все было готово,  
ожидали счастья.  
Готовили еду, закуски, выпивку.  
Счастье не пришло.  
В доме все было готово, ожидали счастья,  
там были настоящие люди,  
они вышли из тюрьмы  
и готовились к борьбе.  
Счастье запаздывало.  
В доме все было готово, ожидали счастья.  
Пели, смеялись,  
плакали, танцевали.  
Счастье подошло к двери, посмотрело, вздохнув, и ушло...  
В другом месте  
его срочно ждали.

\* \* \*

— Ничего себе, — сказал Илья. — Вот уж от нее не ожидал...

— Она давно собиралась стихи Бетти перевести, — пояснила Лина каким-то замирающим голосом.

Лицо ее было сумрачным и несчастным. Она хотела, чтобы он остался. Он боялся посмотреть на нее. Она-то ждала от него счастья. А мог ли он дать его ей? Она готова принять это счастье. Может, и он будет с ней счастлив? Может быть. Тогда почему она так с ним себя сегодня вела? Почему не уступила? Что за сумасшедшее упрямство? Нет уж, остаться — а там снова что-нибудь выкинет! Хоть и ничего особенного, все от изломанности их отношений, но хотелось положить голову на свою подушку. И тут он осознал, что находится в прихожей и что иного и лучшего пути и времени для отступления не придумаешь!

— Ну, хорошо, видишь, все в порядке, — произнес он, фальшиво улыбаясь. — Я пойду, пожалуй, Линочка, — он сказал это, хотя и мягко, но голосом, который звучал бесповоротно твердо.

Лина, однако, почувствовала, и он это понял, почувствовала его мысли и переживания, с трудом разжав губы, сказала:

— Я знаю, что я сама себе хуже сделала. Поэтому ты не останешься. Я такая, я, наверно, безумная. Но это потому, что я тебя люблю.

Илья молчал, опустив голову.

— Ты пошел. Я вижу. Иди, — констатировала Лина, наблюдая его движения: он натягивал куртку. Руки ее беспомощно повисли, она не делала малейшей даже попытки удержать его.

— Я тебе позвоню, — пообещал он, словно оправдываясь, и словно по телефону они о чем-то важном договорятся.

Лина скорбно покачала головой. Однако ничего не сказала, потому что видела, что ничем уже его не удержать. А Илья, подхватив стоявшую у калошницы сумку, резко открыл и сразу захлопнул за собой дверь, выскочив на площадку. Краем глаза он заметил, что, когда он выходил, она шагнула было к нему, и так получилось, словно он ее дверь в лицо ударил. Не ударил, но как бы ударил. И чувствуя, что поступил скверно, поступил не лучшим образом, он все же не стал возвращаться. Не замедляя хода, он вышел на улицу. И остановился. Свежий, прохладный воздух будто отрезвил его. «Чего бегу? — запрыгали в голове мысли. — Можно подумать, что дома меня ждет счастье!.. Ведь нет же! А — бегу! Привычка. У человека должен быть свой дом, к которому он привык, пусть неудачный, но свой. А остаться навсегда с Линой? Пусть она и любит, и время это подтверждает, но нужно еще больше времени, чтобы решиться на такое. Несмотря на Паладина. Так с бухты-барахты это не делается, не надо с перепугу или от нерва прыгать в новую мышеловку. Мы, мышата полевые, ищем щели половые, — вспомнил он чье-то похабное двустипие. — Может, лучше уйти. Давно об этом думаю. Все равно в моем доме счастья нет».

Он почти побежал по ночному двору к шоссе. И, не идя на автобус, принялся ловить такси. Как будто те пятнадцать минут, которые он тем самым сэкономит, окажутся решающими в грядущем выяснении семейных отношений.

## Глава XIII

# Ожидание

Долго ли рану нанести? Постоянно  
их нож наготове —  
Сбоку привесив,  
ножи каждый тут носит дикарь.

*Овидий. Скорбные элегии.  
Кн.. V. Элегия 7.*

**С**тарухи уже собирались расходиться. Они еще вроде бы сидели, бабка Саши Барсиковой, очень странной, по мнению Пети, девочки (смотревшей на всех мужчин бесстыдно и в упор), приподняла было свой зад со скамейки, поправила золотые очки, сползшие у нее на кончик носа, глянула сквозь них на Петю и снова опустила свое грушевидное тело на сиденье. Зато Меркулова, тяжело опираясь на палку, встала. Лежавшая на асфальте старая черная пуделиха Молли, как все говорили, похожая на свою хозяйку, вскочила и выжидающе уставилась, мол, не пора ли домой, ловя хозяйкин взгляд, а Меркулова обратилась к Матрене Антиповне, склонившей перед ней свою и без того согнутую, сутулую спину:

— Так я вас зову, любезная, пойдете со мной, еще чайку по-пьем, я вам носки и шерсть Моллину дам. Спрясть надо, а потом пятки провязать, пятки прохудились.

— Я еще к Розе Мойсеевне хотела зайти намеренно, — робко промолвила в ответ Матрена Антиповна, заметив Петю и, наверно, подумав, что он сказал бабушке о ее приходе во двор.

— Ну, к двум сразу вам тяжело будет, — сказала Меркулова, отмечая Петину бабушку. — Завтра зайдете. Она все равно лежит, ни туда, ни сюда. Дождется вас.

— А может, *они*, — сказала, глядя на Петю, бабка Саши Барсиковой, — лекарство от умирания придумали. Русские люди такого никогда не сумеют. Просты мы.

Побагровев, Петя прошел мимо и свернул в аллею, чувствуя, как деревенеет его шея. Недоброжелательство — даже одного человека — он ощущал всей кожей, всем телом. А ему и



без того было не по себе, как всегда бывало, когда он выходил на улицу в непроверенный и малохоженный маршрут: потому что за каждым углом его могла подстергать опасность.

Он миновал второй профессорский дом, стоявший напротив его собственного, вышел на проезд, соединявший Тимирязевскую улицу с Дмитровским шоссе, и двинулся по асфальтовому тротуару, обсаженному молодыми и старыми деревьями, в сторону Дмитровского, на восемьдесят седьмой автобус. Этот путь был ему знаком. Три раза в неделю он этим маршрутом добирался до центра, а оттуда на метро в Университет на подготовительные лекции по физике и математике; так получалось скорее. Кончались они около семи и в восемь он уже был дома. А театр, куда его Лиза ведет, только в семь начинается! Вечером же главное — не задерживаться на улице, в автобус и домой. Хотя и автобус не всегда спасает.

Стоял он однажды на конечной у Детского театра, подошел автобус, очередь медленно подвигалась, и за несколько человек перед Петей набилось народу в салон до невозможности, давиться он не хотел и решил дождаться следующего, где уж непременно ему достанется свободное место, чтоб сесть. Не стали подниматься и две женщины, стоявшие перед Петей. Но подбегавшие со стороны люди все же лезли в автобус, втискивались, проталкивались. Вдруг откуда-то из переулка позади Детского театра выбежал парень лет пятнадцати, вспрыгнул на нижнюю подножку, и за ним как раз дверь сомкнулась. Следом бежала компания — человек пять парней его возраста. Автобус уже с места тронулся, но двигался еще медленно, и парни застучали в заднюю дверь кулаками, крича шоферу, чтобы он открыл. Глаза дикие, бегающие, лапы ухватистые, они почти прилипали к закрытой двери. Шофер притормозил, дверь отворил, и сразу двое или трое вскочили внутрь и парня этого пятнадцатилетнего в сиреневой кофте с капюшоном оторвали от поручней автобуса и на асфальт кинули. А бесновавшийся у передней дверцы, чтобы задержать автобус, увидев победу и искомую жертву на земле, махнул рукой и крикнул шоферу: «Ехай!» А парня уже, пока на асфальт кидали, несколько раз кулаками в лицо стукнули, а когда упал, то каждый раз по два башмаками ударил его — в грудь, в лицо, в живот, под ребра: со всего разворота, как по футбольному мячу, наверно, вечно у себя во дворе в футбол гоняют. А ма-

хавший и кричавший шоферу подбежал и прямо на грудь жертве прыгнул, но чуть не упал и, озверев, выматерился. Лежавший сжался в комок, голову руками закрыл, а этот озверевший руки его от лица отбросил и каблуками на лицо вскочил. Избиваемый взвыл. Женщины закричали. Автобус тем временем поехал. Перепуганный Петя сообразил какой-то частью сознания, что у шофера *график* и из-за хулиганской драки он останавливаться не будет. Мелькнула мысль самому вмешаться, распахать парней, но эту мысль нагнала другая: что так же, мимоходом, они воткнули ему нож в живот и исчезнут, а он погибнет из-за того, что вмешался в какое-то неведомое ему сведение счетов.

Заводила отскочил, размахнулся ногой и еще раз ударил, норовя каблуком попасть в переносицу или в глаз, и — побежал, всястая за ним следом скрылась в переулке за театром. Сотрясаясь, Петя отошел к газетному киоску, а киоскерша, опомнившись, вскрикнула: «Ироды! Что вы делаете!» Но ироды уже исчезли. А побитый встал и, не обращая ни на кого внимания, вытирая кровь с синевшего на глазах лица, глядя с тоской на испачканные в крови ладони, побрел в ту же сторону, куда убежали его мучители. Понуро и обреченно побрел, как и положено жертве. Никто ему ничего не сказал, не успел сказать, да и нечего было.

Петя, вспоминая и поеживаясь, вышел, наконец, к восьмиэтажному кирпичному дому, раскинувшемуся на целый квартал: сюда переселили жителей снесенных окрестных бараков. На первом этаже располагались магазины — от «Булочной» до «Бакалеи». Даже днем там кучковались мужики у двери с надписью «ВИНО». Но они не были шумными. Петя драк не видел здесь, хотя изредка слухи и доходили, что кому-то в перебранке отбитым горлышком «харю разрисовали». Чаше обитатели этого дома, напившись, буянили у себя в квартирах. Рассказывали, что раз пьяные муж с женой выбросили в окно седьмого этажа трехлетнюю дочку, чем-то досаждавшую им, а потом туда же, через окно на асфальт, опрокинул мужик и свою жену-помощницу, объясняя потом, что «обиделся на нее за дочку». Будь Петина воля — он бы мимо этого дома не ходил.

Перейдя пустырь с редкими деревьями, отделявший дом от шоссе, он встал на остановке, ожидая автобуса. Подходили все ему не нужные номера, и он, от нечего делать, принялся разглядывать бумажки с надписями, наклеенные на толстое стекло

автобусной остановки. Среди объявлений о размене квартир, продаже совсем новой тахты, щенков хорошей породы и тому подобного, он вдруг увидел целое письмо, «спаслание», как сказал бы Винни Пух. Любопытствуя, он начал читать. Оторопь овладела им, жалкой и нелепой показалась ему бабка Барсиковой с надменностью своей и золотыми очками на носу, антисемитизмом и презрением к нему, к Пете, когда он прочел это «спаслание», адресованное никому и всем, всему свету:

*«Кто хочет познакомиться с 15-летней девушкой? Хорошо бы, чтоб парень был от 16 до 28 лет. У меня есть машина, магнитофон, два велосипеда, энциклопедии (все), много книг, золото и драгоценности (в комоде).*

*Живу: Краснопрофессорский проезд, д. 12, кв. 18.*

*Телефон: 212-05-06.*

*Зовут Барсикова Саша (Шура).*

*Осторожно! в квартире бабка старая. Она с приветом. Если нарветесь на нее, то скажите, что из мед. училища — пришел узнать уроки. Можете врать, что угодно, лишь бы было логично. В случае чего подождите в моей комнате. Еще тетка, но она никогда из своей комнаты не выходит».*

Внизу было нарисовано сердце: ♥

Петя слышал, конечно, об этой кровавой истории: что Сашин отец зарезал свою жену, Сашину мать, на глазах дочки, и сам зарезался; а сейчас вдруг припомнил, что бритая, как мужик, сумасшедшая, таскающаяся каждый день на почту отправлять письма своему бывшему мужу, — Сашина тетка. Он сорвал записку, разорвал на клочки и бросил в урну. Не то чтобы он пожалел Сашу Барсикову или ее бабку, но не хотел он наводить шпанитское отребье на их сравнительно спокойный двор.

Оглянувшись, не видел ли кто, как он срывал бумажку (это все же был не интеллигентный поступок), он заметил только равнодушно курящего сигарету бородатого мужчину в костюме и расстегнутом синем плаще и двух завитых девиц с накрашенными щеками, по виду канцеляристок. Они если и заметили, что он порвал объявление, то не обратили внимания. Подошли две тетки в коротких замызганных плащах, с авоськами, набитыми колбасой, целыми батонами, апельсинами и пачками печенья, иная

всякая снедь была ими уложена в большие рюкзаки, висевшие за плечами и разбухшие. Они встали рядышком у фонарного столба, ожидая автобуса или троллейбуса.

— Ишь, отоварилась! — сказала с приятельской подколкой та, что была потолще.

— А сама-то! — добродушно возразила вторая. — Ничего. Теперь на вокзал и домой. Почитай, недели на две хватит.

Ближайший вокзал был Савеловский. Значит, подумал Петя, куда-нибудь под Дмитров, а может быть, ближе, в Лобню. Подошла милovidная, бледная и худенькая женщина в шляпке и длинном светлом пальто, какой-то лохматый парень с худым лицом в коричневом вытертом пиджаке под замшу. Вот и восемьдесят седьмой подкатил, в заднюю дверь вошли девицы, за ними две женщины с авоськами и рюкзаками, заполнив пространство — не войти, в средней двери гроздьями уже висел народ, и никто не выходил. Петя заколебался, куда лезть. Парень в вытертом пиджаке подошел к закрытой передней двери, внезапно она перед ним открылась, и он вспрыгнул на ступеньку, бородатый мужчина полез втискиваться в среднюю дверь, а худенькая женщина в шляпке, обнадеженная, кинулась к передней дверце, следом за лохматым парнем в пиджаке. Петя подумал было шагнуть за ней, но только женщина ухватила рукой за поручень, как дверь перед ней захлопнулась, прищемив ей локоть. А водитель, совершив сей славный поступок, принялся болтать с протиснувшимся к нему в кабину лохматым парнем, совсем даже не обращая внимания на защемленную женщину. Той было больно, но еще больше она испугалась, что автобус сейчас тронется, а она от водительского равнодушия и хамства попадет под колеса. Она принялась колотить кулаком в дверь. Ноль внимания. Петя тоже постучал по стеклу водителя костяшками пальцев. Заурчал мотор. Женщина заколотила сильнее и заорала. Глянув в зеркало, шофер увидел защемленную. Дверь открылась. Женщина отдернула руку, хотела что-то сказать, потом снова сделала попытку шагнуть в эту дверь, но та снова захлопнулась, оставив ее на улице. Женщина задыхалась, не находила слов, потом бросила: «Вы, вы... негодяй!» Тот даже головы в ее сторону не повернул. Петя с трудом затиснулся в среднюю дверь, рядом угнездилась на подножке и женщина в шляпке. Лицо ее было беспомощным, покрыто красными пятнами от оскорбления и бессилия. Она понуро молчала.

После нескольких остановок Петя со ступенек переместился в салон и стоял, зажатый со всех сторон, держась за верхний поручень. В таких случаях лучше было не обращать внимания на происходящее вокруг, а думать о чем-нибудь постороннем, например, *о театре*, чтобы что-нибудь умное Лизе сказать, когда они встретятся. Лиза любила говорить об искусстве и о трагических женских судьбах великих поэтесс, словно и сама была несчастна или ожидала, что будет. Все-таки поэтесса, почти Цветаева! Петя стал вспоминать, как Тимашев, красуясь перед Линой, говорил, что театр — это европейское изобретение еще времен античности, что там, в Европе, и сами люди живут, как актеры, все время чувствуют себя как бы на сцене. От них выражение — «вышел на историческую сцену» и тому подобное. Европейцы все время наблюдают, как на них смотрит кто-то другой, и сами себя видят со стороны. Отсюда у них любовь к фразе — в хорошем и в плохом смысле. Что значит в хорошем? Ну, например: «Рим выкупает себя не золотом, а железом», «что истинно, то мое», «если что мешает тебе жить хорошо, то хорошо умереть не мешает ничто», «многие, накопив богатств, нашли не конец бедам, а другие беды», «немногих удерживает рабство, большинство за свое рабство держатся», «жить правильно — всем доступно, жить долго — никому», «некоторые кончают жить, так и не начав». Петя тогда под диктовку Ильи Тимашева записал вспомнившиеся тому изречения. Они казались и впрямь мудрыми. А в плохом? В плохом — это понятного понятней, ответил ему Тимашев. Это — фразерство, пустословие. У нас укромнее. У нас даже разбойник режет без лишних слов, разве что матерясь. А у них слова произносят, чтоб жертва знала от чьих рук и во имя чего она гибнет. Мы не выставляемся, ибо Бог и так всех видит, а перед людьми чего показушничать! Театральность у нас, сказал он Пете, это почти ругательство. Вспомни, как мы говорим с осуждением: «Он ведет себя театрально». Даже в исторических своих поступках мы не театральны. Леонид Андреев, писатель хороший, ты его еще прочтешь, после убийства царя в дневнике своем заметил, что казни европейских монархов во всех европейских революциях были торжественны, ритуальны, то есть театральны. А русского царя убили на отечественный манер: по-воровски, по-разбойничьи застрелили в подвале — как зарезали в подворотне. Русский философ Василий Розанов в том же

восемнадцатом году записал слова новгородского старика-крестьянина, что «из бывшего царя надо бы кожу по одному ремню тянуть», то есть, как Розанов пояснил, «надо по-русски вырезать из его кожи ленточка за ленточкой». Стало быть, казнили почти по воле народной. Хотя и менее жестоко, чем народ хотел. Но самое главное — без театральности. Поэтому наш театр лишь в той мере театр, в какой мы стали европейцами. А, увы, мы ими не стали. Пока что не стали. Хотя и было театральным дворянство начала девятнадцатого века, Пушкины, Лунины, был период революции и гражданской войны, когда появились герои, котурны, начали произноситься *фразы*. Любой бандитский батька старался говорить «для истории». А уж лидеры — те чувствовали себя героями французского Конвента, хотя творили нечто более невероятное и грандиозное. Потом герои героически гибли, хорошо, если в бою, а чаще — по доносам вчерашних статистов, казнили их тоже статисты, уже не думавшие о своей исторической роли, просто выполнявшие приказания. Все равно их смерть была трагическая, потому что запал был изначально высокий. А последние их фразы, точнее, даже не фразы уже, а реплики, им подсказывали суфлеры. Они же, бывшие герои, продолжали думать, что они все еще на сцене, на исторической сцене, что их видят и слышат миллионы зрителей, поэтому даже на процессах, говоря по чужому сценарию, они полагали, что играют на сей раз роль *тайных героев*, жертвующих собой во имя партии, что и подтверждается их последними, предсмертными криками, обращенными к палачам: «Да здравствует социализм! Да здравствует Сталин!» Но это уже был шутовской хоровод, русский вариант *карнавализации*, когда веселится не народ, как на Западе, а самодержец и его опричники. И вот уже по исторической сцене разгуливали статисты; фразы, оставшиеся от статистов, полны злодейского смысла, это цинические *реплики* театральных *злодеев*. Разницу между героем и злодеем в театральном смысле ты, я надеюсь, чувствуешь. Вот почему на слезно-оправдывающемся письме прославленного полководца появляется чудовищное резюме, тоже по-своему вошедшее в историю: «Не верю в честность бесчестного человека!» Герои как раз верили! Но статисты уже не похожи на Дон Кихота, освободившего каторжников, преступников, бандитов, поверив в их невиновность, которые его же потом прибили и обобрали. Дон Кихо-

ты были уничтожены. Некоторые, правда, уцелели и доживают свой век, трагически разрушаясь. Как твоя бабушка, например. Время героического театра прошло. На сцене фарс, исполняемый шутами гороховыми. Роза Моисеевна из последних, кто еще продолжает жить идеалом, идеей. Ведь это главное условие бытия театрального героя. Хотя наше время, думаю я, не последнее действие театральной пьесы, а эпилог романа. эпически подводящий итоги уже прошедшему действию.

Автобус, завернув, остановился напротив кинотеатра «Россия». Петя сошел и, пройдя несколько шагов, свернул под арку и сквозным двором протопал до Козицкого. Здесь он должен был встретиться с Лизой, около Института истории искусств, куда Лиза его как-то водила. Ее старшая приятельница делала там доклад о «Бубновом валете». Он встал, прислонившись к стене, около заглубленного входа в Институт. Лиза опаздывала. Мимо него проходили люди, открывали дверь, занавешенную зеленой портьерой, бросали искоса взгляд на Петю, мол, кто такой, и скрывались в недрах рафинированно-интеллигентного учреждения. Петя им завидовал, они выглядели респектабельно и одновременно одухотворенно. Хотелось, чтоб такие люди обратили на него внимание. Петя чувствовал свою близость к ним, ибо они были из того цивилизованного мира, где ему казалось безоспным жить.

По противоположному тротуару брела компания, вышедшая из-за угла: четверо парней, похоже, его ровесники и четыре девицы, чуть младше Пети. На парнях были длинные куртки с нашитыми на лацканах якорями, широкие расклешенные джинсы, разрезанные снизу по шву и вместо манжетов пущена металлическая молния, на запястьях звякали железные браслеты, в руке одного из них оружий песни магнитофон, у других — тяжелые палки. Они шли, временами хватая своих спутниц за шкурку и прижимая к себе, потом отпуская и оглядывая встречных с наглым приставучим задором, нарываясь на драку. Петя хотел было для независимости вида закурить сигарету, но счел за лучшее опустить глаза долу, чтоб не встретиться взглядом с кем-либо из парней. Чего не сделал Хома Брут в повести Гоголя «Вий». Говорил же ему внутренний голос: «Не смотри». А он посмотрел. И попал в лапы нечисти. Петя вспомнил, как ему было страшно читать эту повесть, он даже в комнату бабушки перебрался до-

читать. Она сидела за столом, прямая, серьезная, деловитая, что-то писала, готовилась к лекции, а Петя, пристроившись на диване, чувствовал себя под ее защитой.

Но все же каким-то боковым зрением он наблюдал за ними, не мог не наблюдать: мало ли что они могли выкинуть, надо было быть наготове. Девушки, — «кошечки», «метелки», как таких презрительно именовали сами парни, пользующиеся их благосклонностью, — были вроде бы класса девятого, а то и восьмого. Губы девушек были накрашены, а щеки нарумянены, что выглядело нелепо на таких молоденьких мордочках, невымытые волосы свисали прядями, плащики расстегнуты, из-под них — коротенькие юбочки, показывавшие выше колен их кривоватые ножки. Они курили сигареты, далеко отводя руку, сплевывали, чтобы выглядеть «круче» ребят, говорили громко. Одна из них, с наиболее прямыми и полными ножками, что-то рассказывала подругам, глаза у нее были узкие, совсем щелочки, но выглядела она сексапильно. До Пети долетали фразы: «Я ему говорю: “Вова, налей сухого”. Он глаза на меня лупит, уже и тронуть меня не может, икает, корежится весь. Ну, думаю, не возьмешь ты меня, поплыл. Пошел поблевать, в сортире заперся. И заснул там. Я ему стучу. Молчок. А я не верблюдица, чтоб себе на ноги ссать, верно?» — искала она одобрения у подруг. И лихо затянулась сигаретным дымом. Девушки захихикали, так что окончания истории Петя не услышал. Он подумал, что Зоя Туманова вполне могла быть и, наверное, была из подобной компании, она и физически напоминала говорившую: с плечами, сжатыми к груди, словно она раздевается и стесняется своего недавно появившегося бюста, узкогрудая, зато с хорошо развитыми ногами, полными бедрами, привлекавшими почему-то Петино внимание. И вот поди ж ты, влюбилась Зоя в него, старается делать вид, что не такая. А ведь такая.

Нет, он не доверял ей, что-то нечистое все время чудилось, хотя стихи ему писала. Стала книги читать. Чинно сидела в первом ряду на всех литературных вечерах. А Петя не любил их. Герц всячески подтрунивал над чинным, «профессорским» мальчиком, выказывая ему пренебрежение. Воспитание, утверждал он, должно быть спартанским, и о своем новорожденном сыне он говорил: «Я своего Сашку так воспитаю, что он крапивой подотрется и не заметит». Слово «подотрется» он произносил с особым смаком. Занимаясь йогой, Герц каждый вечер стоял го-



лый на голове в своей маленькой комнате, и бабки вздрагивали, видя торчащие в окне первого этажа голые ноги и свисающие гениталии. От Лизы, вероятно, он узнал, почему Зоя Туманова, ударилась в книги, — из-за Пети. Но он принял ее в свой литературный кружок, а Пете говорил, что Зоя скоро будет в книгах лучше разбираться, чем он, Петя. Организовав Школьный Полифонический Театр, ШПТ, Герц сам писал литературные композиции и монтажи. За ним ходили участники этого ШПТ стадами — поклонники-ученики и влюбленные ученицы. Герц сиял их сияньем. Васька Паухов, правда, написал раз на доске: «Покупайте ДДТ и травите ШПТ!» Потом, однако, Васька униженно и трусливо публично извинялся перед Герцем, который все допытывался, кто Ваську подучил. И при этом поглядывал на Петю. «Но он еще пожалеет, — затравленно думал подросток, — когда я стану знаменитым ученым, а с ним, с Герцем, общаться не захочу. Не сможет он назвать *меня* своим *учеником*. Пусть Желватовым хвалится, что его воспитал и научил».

При воспоминании о Желватове он невольно взглянул на компанию, надеясь, что она уже далеко. Но те почему-то застряли почти напротив Пети, о чем-то *базаря*. Из магнитофона доносились:

А море Черное ревело и стонало!  
О скалы с грохотом дробил за валом вал!  
Как будто море новой жертвы ожидало!..  
Стальной гигант в порту кренился и дрожал.

Петя глядел на компанию, робея и чувствуя, что надо как-то переменить свою позу, чтоб подтвердить свою от них изолированность. Чтобы те это поняли. Поняли, что между ними не только кусок пространства, но и кусок времени, эпохи. Они — это дикари из неолита, одетые заезжими матросами в человеческую одежду, напоминающую морскую. А он, Петя, из далекого будущего, ему в будущем жить и творить, а его труды будут жить еще дольше. Но как это показать, их не раздражая? А то кинутся из своего времени в Петино и затопчут!.. Как в фантастических рассказах про машину времени. Затопчут — и сломается закономерный ход истории! Хотя и надеялся он, что ранним вечером, да еще рядом с институтом, набитым интеллигентными людьми,

они не посмеют, не пристанут. Все же Петя не выдержал, закурил, поглядел на часы, все эти жесты, казались ему, подчеркивают его независимость и экстерриториальность. Он не просто так стоит, он не зевака, и делом занят, он *ждет*.

Лиза и впрямь опаздывала. Было уже без двадцати семь, а они договорились встретиться в половину. Дефилировали посторонние девицы, но не Лиза. А к нему на свидания она до сих пор никогда не опаздывала. Он начал нервничать. Куда ее могло занести? Где она запропала? А она могла запропасть. Она, хоть и была всего на полгода старше Пети, виделась ему почти совсем взрослой, виделась ему *женщиной*, привлекательной, очаровательной, дружившей со взрослыми уже людьми — какими-то поэтами, художниками. И Петю удивляло, что она выбрала ровесника чтобы влюбиться: почувствовала, наверно, что он *не просто так*, льстил себе Петя.

И стихи писала, настоящие, не то, что Зоя. Легко писала. Как-то Герц заменял заболевшего физкультурника, собрал Петин и Лизин класс в одну комнату и, видя общую настроенность на игру, ведь учитель не пришел, не стал их мучить классикой, а предложил сыграть в *буриме* на слова: предместье — известье, дым — любим, нет — штиблет, манишка — излишка. У Пети ничего не получилось, у некоторых получилось кое-как, зато Лиза сочинила столь изящно, что восхищенный Герц предложил послать ее восьмистишие куда-нибудь в журнал и долго говорил о серебряном веке русской поэзии, когда творили символисты, акмеисты, его любимые футуристы. Из его слов следовало, что Лизины стихи ничуть не хуже. Петя их запомнил:

О, французское предместье!  
О, Монмартра сизый дым!  
Как мне вкус шабли известен,  
Уксус устрицы любим!  
Пьян Парижа я излишком  
Я иду — и встречных нет.  
Белым аистом — манишка,  
Стуком дятла — звук штиблет.

Он невольно поднял глаза, ища Лизу. Ее все не было. Но — о, счастье! — компания дикарей маячила уже вдалеке. Он облегченно вздохнул. Пронесло! Где же Лиза? Что делать, если она

не придет, пропадет? Он не очень был влюблен, он был просто тревожный по своей натуре: вдруг с ней что-нибудь случилось, и он больше не встретит в жизни такой преданности от красивой, изящной, интеллигентной девочки. Девочки из другого, но цивилизованного мира, мира духовного: стихи, поэзия, музыка, живопись. Эйнштейна это интересовало, значит, и его должно интересовать. Она ему нравилась, но он не очень был влюблен. Вот в чем беда. Его дед влюблялся. И не раз. Дважды женился. Это ему не помешало стать ученым. Петя обожал слушать раньше рассказы отца про деда. Он словно бы примерял свое будущее к дедовской биографии, будучи уверен, что шагнет дальше. Ожидая Лизу, он вызвал в памяти рассказы отца:

«Прадед был возчиком на дровяном складе, имел большую семью. Одиннадцать человек сыновей. Но в старых еврейских семьях как было? Работали все, чтобы поднять на ноги старшего. Вся семья на него работала. Бывали и неудачи, если старший оказывался туповат. Твой дед говорил, что второй его брат был много его талантливее, а кончил жизнь простым бухгалтером. Но и твой дед был человеком весьма незаурядным. Горный инженер, геолог-минеролог, исследователь, да еще и драматург. Пьесы стал писать, когда в твою бабушку влюбился. А долг перед семьей выполнил: помог самому младшему брату, когда сам стал достаточно зарабатывать, — содержал его, пока тот учился на инженера. А разница, между ними была в двадцать лет. Эта ответственность с детства детям вбивалась жизнью. Поэтому мальчик из молдавского села Ферапонтовка в своей области стал всемирно известным ученым

До реального училища, — продолжал Петя вспоминать, что рассказывал ему отец, — дед учился в хедере. Прадед на закорках таскал его непроезжей дорогой пять километров. А уж после хедера попал он в реальное училище. Там-то он и влюбился в дочку попа, батюшки, преподававшего в этом реальном училище закон Божий. Посещал все его занятия. И Евангелие знал, как никто в классе, хотя ему вовсе не обязательно было, как иудею, этот урок посещать. Но он ходил, и батюшке этому очень нравился. Батюшка его хвалил: «С Исаака пример берите! Иудей! А как знает!» Я-то думаю, добавлял отец, что у твоего деда была хорошая подготовка: в хедере учили Ветхий Завет, а Евангелие ведь все время к нему апеллирует и на него опирается.

Впрочем, дед так и не женился на поповской дочке: родители были резко против, ведь они его тянули, чтоб он встал на ноги и в свою очередь помог семье, а ранний брак, тем более на иноверке, мог его от этого долга отвратить. Брак — дело не простое, запомни это навсегда. И высшее образование дед уехал получать в Германию, во Фрайбург, где учился на горного инженера. Четыре года прожил в Германии, представляешь? Немецким языком владел свободно, был буршем, участвовал в дуэлях, но учился хорошо, потому что опять-таки всей семьей работали, чтоб его там содержать. Для еврейского юноши ответственность за свои поступки — неперемнное условие существования. И дед это понимал. В России в институт он поступить не мог: была процентная норма. Но работать мог. Став горным инженером, вернулся в Россию, на Урал, работал на горном заводе, увлекся Кропоткиным, вступил в партию анархистов. А затем женился. Женился по любви, на девушке из старообрядческой семьи. Ты ее не помнишь, но должен был о ней слышать, я говорю об Алене Алексеевне. Родители ее прокляли, но дед уже был в состоянии и брату помогать, и жену прокормить. Они уехали из-под Екатеринбурга в Петербург. Там дед попал к эксам, кидал бомбу, по счастью, неудачно, чему всю жизнь потом радовался. Но в крепость его посадили. Оттуда он бежал, а затем с Аленой Алексеевной и их младенцем-первенцем на рыбацкой лодке добрался до Турции. Из Турции — в Аргентину, где занялся геологией и вскоре получил кафедру в Ла-Платском университете, это под Буэнос-Айресом. И снова, уже имея троих сыновей, влюбился. В твою бабушку. Если б не эта любовь, нас с тобой бы не было на свете, но дедушке этот слом его жизни дался очень тяжело. Так что любовь — это и хорошо, но это и помеха полноценной творческой жизни», — предусмотрительно, заглядывая в будущее, советовал отец.

Словно предчувствовал его роман с Лизой. И Петины мучения и терзания, когда хотелось и «женской любви», и напряженных занятий, чтобы преуспеть в жизни. Но странно: история деда, которую Петя со всеми отцовскими оговорками пересказал Лизе, произвела на нее совершенно романтическое впечатление, вовсе не вызывая жажду учиться и трудиться, как она вызывала у Пети. Она восхищенно глядела на Петю, точно часть дедовых приключений по закону наследства приходилась и на его долю. Лиза никогда не была ни в каких странах, тем более экзотиче-

ских, вроде Аргентины, все переезды ее родителей (отца ее, военного инженера, армейский долг бросал то туда, то сюда) были по Союзу, а Петя — через родственников — как бы принес в Россию всю эту экзотику. Поэтичную Лизу пленяло и сидение деда в крепости, и побег, смена паспортов, профессий, жен, то, наконец, что в Аргентине дед стал драматургом, по-испански пьесы писал. Она в Пете видела такого же *героя*. А Петя знал, что он не такой.

Этой весной, после уроков, иногда — но этих «иногда» становилось все больше — они вместе выходили из школы и через множество новостроек шли к Петиному дому через парк. Лизе непременно надо было зайти к своей однокласснице, жившей неподалеку от Пети. Как-то так получилось, что она очень сблизилась с этой своей одноклассницей, принявшей сразу же твердить Пете, как бы в шутку, конечно, что он покори́л Лизино сердце. Так, случайно, казалось Пете, начался их роман.

До парка — короткой дорогой — приходилось идти минут десять или двадцать: переходить по необтесанным доскам канавы с жидкой грязью, обходить или перелезть через наваленные груды бетонные плиты. Урчал экскаватор, ездил по коротеньким рельсам подъемный кран, лежали груды кирпичей и свежие осколки оконных стекол. Еще было много куч мокрого песка, на нем отпечатки шин грузовиков, постоянно подъезжавших и отъезжавших. Стройки были окружены заборами, возводились блочные девятиэтажки, и, кроме рабочих, они там не встречали никого.

Петя глядел на работниц в грязных неуклюжих робах, пропахших сыростью, олифой, масляной краской, а то и машинным маслом, на их фигуры, даже у молоденьких выглядевшие неизящными, на их перепихивания с мужиками, откровенные, явно эротические (отсюда, небось, думал он, и хулиганский глагол «перепихнуться»), на то, как они обедают — на штабелях досок или на бетонных плитах, на их обед: булки, колбасу, сваренные вкрутую яйца, соль в спичечной коробке, иногда пачки печенья и пакеты с молоком, — глядел и на душе у него делалось томительно и жутко. Слушая вслед себе цинические вопросы и пожелания, Лиза странными глазами поглядывала на Петю.

Они брели по Тимирязевскому парку с его широкими аллеями, высокими соснами, проходили мимо пруда, где были земляные гроты, и Лиза рассказывала, как она ужаснулась, узнав, что именно здесь, в одном из этих гротов, Нечаев убил студента

Иванова, а труп бросил в воду. И что самое страшное — убийству помогали друзья Иванова. У Пети не было друзей, но он все равно пугался и обнимал ее за плечи, как бы говоря, что защитит ее, сжимал ей плечи, успокаивая себя и на большее пока не отваживаясь. Она льнула к нему. Трава была мокрой, сыпалась с деревьев вода утренних дождей, на песчаных дорожках стояли небольшие лужи, лавки почернели от сырости, и старушки, сидевшие около колясок, застилали лавки газетами. Промокшие газетные листы валялись на песке вокруг..

Петя стоял в задумчивости, мысли текли и текли себе, вполне безотчетно, образ сменялся образом, как вдруг это течение прервалось, потому что он заметил выскочившую из проходного двора Лизу: кулачки к груди, стремительный наклон вперед... Видно было, что торопится, боится опоздать. Подняла глаза, заметила, махнула рукой: не волнуйся, мол, я уже здесь. Она иначе видела Петю, чем он сам себя понимал и чувствовал, видела храбрым и даже лихим. Она ему читала-бормотала цветаевское: «Я не буду пить с тобой вино, потому что ты мальчишка озорной. Знаю я, у вас заведено с кем попало целоваться под луной. А у нас тишь да гладь, божья благодать. А у нас строгих глаз нет приказа поднимать». Петя не пил вино и не целовался ни с кем, но так удивительно это было, что насмешливая с остальными, а на людях так даже и с ним, наедине смотрит на него Лиза зависимыми глазами, наделяет его доблестями и с такой готовностью соглашается со всеми его словами, что не по себе делалось — чем ответить? — а глаза у нее светятся, когда она на него смотрит. Петя старательно делал вид, что не замечает этого.

— Извини меня, пожалуйста, — ткнулась она виновато ему в плечо лицом. — Но я ничего не могла. Так получилось.

Петя не хотел ее корить, и даже хорошо, что ее тут не было, когда торчала компания — мало ли что! — но все же заставила она его простоять на одном месте, и он не мог уйти, скрыться в какое-нибудь помещение, а кругом ходят дикари, и он не удержался:

— Мы же опоздаем, ты посмотри, сколько времени! — он отодвинул обшлаг плаща и пиджака и показал ей часы.

— Мы успеем, Петенька, успеем, здесь же рядом, — она отстранилась от него, окинула взглядом его фигуру. — Ох ты, как вырядился! Такой нарядный и такой сердитый!

— Какой есть, — глупо растерялся Петя, хотя ему польстило, что Лиза оценила его «взрослое» одеяние.

— Конечно, какой есть. По мне так очень неплох, — шепнула Лиза и добавила. — Ну, не сердись. Взгляни на меня хоть немножечко. Ну, пожалуйста! Я тебе совсем не нравлюсь?

— Почему? Нравишься, — ответил пойманный врасплох Петя, не мог же он сказать иное пришедшей к нему на свидание девушке, и посмотрел на нее: овальное, немного удлиненное и немного неправильное лицо, нос чуть крупнее, чем надо, челка на лоб, небольшие темные глаза с густыми ресницами смотрят на него преданно, а ниже лица высокая грудь, тонкая талия, длинные ноги...

Она взяла его под руку, прижалась к его плечу:

— Пойдем. Я тебе по дороге расскажу, почему я задержалась. Я, правда, не виновата, — они уже шли по переулку, остановились, пропуская поток машин по Петровке. — Я у Герца была. Но не трепалась, ты не думай. Там такой ужас!

Петя непонятно почему вдруг представил себе отца Герца в синей нижней рубашке, перетянутой подтяжками, ребенка в коляске и — Желватова. Ему стало жутковато. Пытаясь заслониться от этого видения, он сострил, как всегда неудачно:

— Герц ногами стекло разбил, пока на голове стоял.

— Фу, Петька, как тебе не стыдно! Там в самом деле ужас. Ты такого себе представить не можешь, уверяю тебя. Я дома вчера стихи написала, хотела Герцу показать. Ты зря усмехаешься. Не хорошо это. Представь себе, что кроме тебя есть еще и другие люди. Ты не обижайся, у Герца и в самом деле несчастье. Я там помогала. Пришлось «скорую» вызывать. Я потом и так еле вырвалась!.. Пойдем!

Поток машин кончился, и она быстро перевела Петю через Петровку. В начале улицы Москвина он приостановился и спросил растерянно, чтобы хоть что-нибудь спросить (предчувствие жгло его):

— Кому-нибудь с сердцем плохо стало?

— Ты что! Просто ужас. Желватов, наверно, с друзьями портвейну нажрался, что-то под окном орал, а потом бульником пульнул Герцу в окно. Я там как раз сидела. Хорошо старик в этот момент над коляской склонился, а то убило бы маленького Сашку. Александру Борисовичу он затылок разможил во всяком случае.

— Не может быть! — замер Петя.

— Правда. Я тебе позвонила, а Лина сказала, что ты уже ушел. Я «скорой» дождалась и на такси сюда. Врач сказал, что ничего, будет жить. Но все равно страшно. Столько крови было! Как у Марины Ивановны: «Жизнь это место, где жить нельзя: еврейский квартал...»

— Не понимаю, — чувствуя, что его спину пронзил холодный ток, отозвавшийся в копчике, сказал Петя, но тихо, чтоб на них не оглядывались прохожие. — Почему он ребенка хотел убить?

— Да ничего он не хотел. Сволочь он. Еще, конечно, пьяная дурь. Так Герц считает. Ну, Герц — идеалист...

Холод и замирание были у Пети в груди. Неужели *слова* могут переходить в *действие*. Неужели в таком превращенном виде осуществился его сон про Желватова? Неужели надо было рассказать Герцу, что Юрка так неопределенно — «в воздух» — бросил? «Шугануть бы их, на куй, отсюда. Да чтоб залетали пархатые!..» — вспомнил Петя. Когда-то Желватов отогнал от него свою компанию, хотевшую побить Петю. Не мог он поэтому поверить, что Желватов и в самом деле такое сделает. Да и частица «бы» — «шугануть бы»! — вроде бы не предполагала действия. И похожий на Базарова Герц все равно посмеялся бы над его предупреждением. Опять «бы»! А вдруг не посмеялся бы?.. И он, запинаясь, рассказал Лизе об утреннем своем разговоре с Желватовым. Ему хотелось, чтоб кто-то оправдал его, снял с души тяжесть вины. И Лиза это тут же поняла.

— Какой гад! Сволочь! — воскликнула она, блестя глазами в вечернем электрическом свете. — Какой гад! Ты же откуда мог знать, что он это сделает! Это никому бы в голову не пришло! Ты же не думал, что он такое может сотворить? Не терзайся!

— Разумеется, не думал, — искренно и облегченно ответил Петя, но вдруг отчетливо представил себе рыжего Коляню, жившего когда-то за забором в деревянном двухэтажном доме, стоявшем напротив Петиного, каменного пятиэтажного. У Коляни была страшная, старая мать, она ходила черноволосая, распатланная, нечесаная, в грязном платье и еще более грязном переднике, про нее рассказывали всякие страсти. Говорили даже, что она крадет маленьких детей и продает их на мыло. Поэтому Колянню тоже побаивались. Тогда, лет одиннадцать назад, Пете было шесть, Коляне четырнадцать, Володьке Метельскому де-



вать, а остальным всем — как Пете: шесть или семь. Играли в «казаки-разбойники». Володька вытащил привезенный ему отцом из-за границы пистолетик, похожий на настоящий кольт. Все завидовали и просили поиграть. Володька давал каждому подержать, но не больше, чем на минуту. Коляня осмотрел кольт, вернул его Володьке, а минут через пять поделился с бывшим с ним в паре маленьким Петей: «Сейчас еще раз кольтяру попрошу — и через забор. А мамки моей он побоится!» — «Ага», — согласился Петя, не думая, что такое возможно в принципе. А Коляня так и сделал, как сказал. И Петя тогда долго мучился совестью, что не рассказал Володьке о готовящемся покушении на пистолетик, но потом забыл, а теперь вот вспомнил.

— Может, надо что-то сделать? — спросил он. — Как-то помочь? — хотелось казаться готовым на помощь человеком, да и искупить хоть чем свою невольную вину. — Давай поедем, вернемся, и ты поможешь. Я тоже, если надо, зайду.

— Уже все, ничего не надо, — быстро ответила Лиза. — Уже и «скорая», и милиция были. Желватов убежал. Герц его не догнал. Сам он теперь в больницу поехал. Наташа (так звали жену Герца, пышную, медлительную, волоокую блондинку) с Сашкой сидит. А я сюда помчалась. Мы там сейчас не нужны. Ты не очень ведь рассердился на мое опоздание? — она взяла его руку и приложила ладонь к своему лицу, как бы спряталась в ней, потом преданно посмотрела ему в глаза. — Так что мы вполне свободны и можем смотреть спектакль.

Петя кивнул. У него в горле стоял комок: от ужаса, что утром он — как когда-то в пионерлагере — разговаривал с убийцей, который не казался убийцей, а был всего лишь школьником.

## Глава XIV

# Рыцарь печального образа

Чудится мне, что ни миг,  
к горлу приставленный меч.

*Овидий. Скорбные элегии*  
Кн. I Элегия I.

Они спускались по Москвина, улица короткая, и скоро перед ними оказался каменный теремок с высоким крыльцом — Театр. Петя делал вид, что торопится, не глядел на прохожих, чтоб и они не замечали его и Лизу, потому что перед театром толпилось изрядное число парней и девиц их возраста, шумных, крикливых, с размашистыми движениями: словно устроили для какой-то школы просмотр. Он взбежал по ступенькам крыльца, ведя Лизу за локоть, помог снять ей плащ, скинул свой, встал в небольшую очередь в гардероб. На стенах были зеркала в рост человека, и Петя невольно видел сумятицу входящих, раздевающихся, проходящих в фойе: помимо массы школьников старших классов (некоторые даже в школьной форме) виднелись обветренные, красные лица приезжих, попавших сюда совершенно случайно, а также туповатые, самодовольные и угреватые лица коротконогих мужчин и толстых женщин в костюмах с блестками.

Ни театр, ни спектакль не были в моде, поэтому Петя тщетно искал глазами светских дам и мужчин, каких он видел у входа и Институт истории искусств. «Ну и хорошо», — подумал он: все равно бы его не заметили. Зачем Лиза повела его сюда? Наверное, потому, что он однажды ляпнул, что ему нравится Булгаков, и Лиза поспешила сделать ему приятное. Петя купил программку у тетки в синем пиджаке, спросил Лизу, не взять ли бинокль, но все это были внешние движения, мимолетные мысли, голова его скрипела и болела не о Лизе, не о театре, а о том, как ему вести себя дальше в случившемся кошмаре: сказать ли всем публично, что Желватов грозился (а сказать надо, раз Лизе проболтался), промолчать ли, но нет, понятно уже, что не промолчать,

значит, сказать... Он представлял себе ядовитые реплики Герца о трусости «интеллигентных мальчиков», об их неумении принимать самостоятельно жизненные решения, и заранее корчился от обиды. Но его пугало также, как отнесутся к его рассказу дружки Желватова — Кольчатый и другие. Он воображал свою беззащитность перед ними, и это наполняло его сердце страхом. А, может, наоборот, они притихнут?..

В прежней школе, где добрых две трети одноклассников жили в коммуналках и хрущобах, в шестом классе было у шпанистых заводил из их класса развлечение. Обычно предметом этой дикой шутки становился парень *по прозвищу Ха-ю*. Слезящиеся глаза, весь нескладный, паршивый, носивший заплатанный дешевый костюм, в котором он не только в школу ходил, но и гулял, — из очень бедных. Класс их был в конце коридора, в закутке, около мужского туалета. Вдруг иногда во время большой перемены раздавался негромкий клич: «Кастрировать! *Ха-ю кастрировать!*» Поднималась суматоха. Ха-ю всегда находили в сортире, хватали под руки, тащили в класс и раскладывали на учительском столе. Потом начинали копошиться в его ширинке, пока, наконец, не стягивали с него брюки. Петя старался не присутствовать при этой экзекуции. Разумеется, не кастрировал никто Ха-ю, просто *глумились* над ним. Ха-ю был бессловесным, но жертвой мог оказаться и кто угодно другой. Во всяком случае в большие перемены Петя старался крутиться неподалеку от учителей. И не зря. Потому что в какой-то момент на стол потащили Кольку Державина, мальчика чистого, интеллигентного, хотя и путавшегося со шпаной. Он сопротивлялся, выворачивался, лягался, но его все равно *разложили*, ширинку расстегнули, вытащили его *стыд* и подзывали девиц посмотреть; те фыркали, отворачивались, но лишь после того, как глянут. Когда его отпустили, он отошел к подоконнику и плакал. Державина защитил его дружок из старшего класса Борыч, побив двух наиболее активных раскладывателей. И все это дело прекратилось само собой. Может, думал Петя, теперь и Желватов на Герце *сломался, его посадят*. А тогда Желватов для него станет неопасным.

Места у них были в партере, седьмой ряд. Они уселись, но то и дело привставали, пропуская задержавшихся в буфете. Зеркала перед Петей не было, и он снова почувствовал себя интеллектуальным и *взрослым*: ведь рядом с ним такая красивая *спутница*.

— А Герцу «Дон Кихот» не нравится, — сказала вдруг Лиза, чтоб обратить на себя внимание, чувствуя, что мыслями Петя не с ней. — Не булгаковский, а сама идея «Дон Кихота». Он говорит, что никогда не поверит, чтобы книгочей стал рыцарем, что это нагрузка, что он предпочитает трезвость русской классики с ее болью за маленького человека, с прямыми призывами к переделке мира.

— А ты что?

— Я ему сказала, ты не думай, что он противоречит сам себе, что все наши революционеры ушли в борьбу, начитавшись книг.

— А он что?

— Смеется. Говорит, что в основе всего лежат социальные причины, поднявшие революционеров на борьбу с эксплуататорами.

Тут неожиданно Петя проявил филологическую чуткость:

— Как же они могут поднять, если сами лежат?

Лиза хмыкнула:

— Остроумно. Оказывается, ты умеешь острить...

— Почему это «оказывается»?..

— Потому что ты очень серьезный обычно, — лукаво посмотрела она на него, взмахнув ресницами. И Петя не обиделся.

— Ну, не знаю, — пробурчал он, а затем постарался уязвить Герца. — А Когрин твой в революционерах ничего не соображает. Для него, чем беднее и малообразованнее, тем лучше. Бабушка Роза была из вполне обеспеченной семьи, могла жить безбедно стоматологом в Буэнос-Айресе. А она, мало того, что здесь вязалась в революцию, и в Аргентине тоже. Да и дед мой был преуспевающим профессором.

— Ты ж понимаешь, что Герцу на твой пример как раз плевать. Он не слышит, когда я о тебе говорю.

Петя насупился. Хотел уязвить, а уязвился сам. Лиза его любила, но с ней не было спокойствия. Она не могла удержаться, чтоб не быть точной, даже когда Пете было обидно передаваемое ею, да и истории с ней случались, которые, может, подходили поэтессе, но не Пете. Он же не его тетка Бетти Герилья, обожавшая всякие романтические неурядицы. А у Лизы их было навалом. Особенно одна поразила Петю. Он тогда уже дня три уклонялся от встреч с Лизой: готовился к олимпиаде по физике. Она звонила ежедневно и никак не могла поверить и понять, что Петя не может уделить ей хотя бы час или два в день. А он и в самом деле должен был заниматься. И вдруг на четвертый день она

позвонила и каким-то страшным голосом сказала, что им *надо* увидиться, что у нее произошло несчастье и она ушла из дому. Бросив свои занятия, Петя выскочил к ней, заранее чувствуя, что день будет потерян и при этом он невольно принимает на себя какую-то ответственность за нее. Одетая она была довольно расхристано: видно, что выскочила из дому, накинув первое попавшееся: старое демисезонное пальто, старые, спадающие с ног туфли, вязаную шапочку. Зареванная, от слез некрасивая (не из-за него ли ревела?), она так и бросилась к Пете навстречу. «Что случилось?» — спросил он, беря ее за руку. «Я к ним никогда не вернусь. И одежды мне их не надо, и никакой заботы не надо. Петенька, забери меня куда-нибудь!» — «Да куда же я могу?.. — растерянно отвечал он. — Что все-таки случилось?» — «Прости, что я тебя потревожила, но я должна была тебя увидеть! Я ухожу из дому! Уже ушла. И никогда не вернусь! Я ударила отца по щеке...». «Ты что!» — вскрикнул Петя, который мог даже очень обижаться на отца или мать, но нахамить в ответ, тем более руку поднять — немыслимое дело! Лиза моментально поняла его испуг и быстро-быстро заговорила:

— Я узнала, что они — не мои родители, что моих в шестьдесят шестом посадили — не знаю, за что. Мне еще года не было. Там они и сгнули. А меня взяла мамина сестра, выдала за свою дочку. И ничего мне не сказала, когда я выросла, о моих настоящих родителях. А это подло, подло! Я случайно все узнала. Я всегда чувствовала, что я там чужая. Я думала всегда, что похожа на Татьяну Ларину. «Она в семье своей родной казалась девочкой чужой», — помнишь? А теперь поняла, почему так чувствовала. Потому что они мне не родные, а притворялись. А притворство чувства не заменит. Все! Я туда не вернусь. Никогда. Вот теперь и проверятся друзья, которые помогут.

Она вопросительно смотрела на него. Петя принялся уговаривать ее, что люди, воспитавшие ее как родную дочь, вполне могут считаться настоящими родителями, что кроме нее у них других детей нет, и они наверняка простят ее, когда она вернется. Она примолкла и кивала головой, соглашаясь с его словами. Пете казалось, что она все это устроила, чтоб лишний раз увидиться с ним. Поэтому и удалось ему легко уговорить ее вернуться домой, и больше — о том, что , родители ей не родные, — она с ним не заговаривала. Но через день принесла ему стихи:

«Хочешь, все тебе отдам?»  
Тишина.  
«Жизнь поделим пополам!..»  
Не нужна.  
«Хочешь — руки отруби!»  
Удивлен.  
«Для себя побереги», —  
Молвил он.

Петя сказал, что стихи ему понравились. Но хотя понял, *о чем и о ком они* написаны, притворился, как будто к нему стихи отношения не имеют. А убеждение в Лизиной экзальтированности только укрепилось. Вспомнив все это, он незаметно вздохнул и не стал продолжать разговора о Герце. Тем более, что свет в зале погас и была освещена только сцена, где началось действие.

Там стояли стол, кресло, книжные шкафы, в углу были свалены рыцарские доспехи. На столе и па полу — груды книг. В кресле сидел длинный человек с бородкой, вытянув ноги, в руках у него книга. Перед ним полная женщина, изображавшая невинную крестьянскую деву Альдонсу. Сидевший в кресле длинный человек средних лет, игравший Дон Кихота, читал вслух: «В это время Дон Белианис сел на своего коня и тронулся в путь...» Прочитав эти слова, он взял в правую руку меч, а Альдонса, выходя тихо из комнаты, пробормотала: «Побегу, скажу ключнице...» Не замечая ее ухода, сидевший в кресле продолжал говорить: «Я заменяю имя Белианиса именем Дон Кихота... Дон Кихот отправился навстречу опасностям и мукам с одной мыслью о вас, владычица моя, о Дульсинея из Тобосо!»

Лиза теснее прижалась к Петиной руке. «Да, она хотела бы быть Дульсинеей из Тобосо. Каждая хотела бы быть, — подумал Петя. — Но в наше время это невозможно. Выделение единицы из арифметического ряда возможно, когда узок слой людей культуры. Но когда в действие вступает закон больших чисел, уже нет места ни Дон Кихоту, ни Дульсинее. Это Станислав Лем доказал. Доказал, опираясь на физико-математические законы. В мире больших чисел нет места рыцарю, воюющему во имя своей дамы. Теперь воюют бомбами и ракетами. И уничтожают не одного врага, а сотни тысяч людей, рыцарей и не рыцарей. Этому невозможно противостоять, потому что нечего противопоставить. Человечество настолько размножилось и уплотнилось, что им начинают

управлять внутриатомные законы. Каждый атом газа движется хаотически, но именно этот хаос рождает определенный порядок в виде постоянства давления, температуры, удельного веса и так далее. Там, где действует закон больших чисел, жизнь и смерть становятся случайностью. Как и любовь. Ведь встречи с той или иной женщиной могло и не быть. Так и преступление. Моделью может служить участок, находящийся под обстрелом. Вас могут убить, взяв на мушку, или же вследствие плотности обстрела. Но ведь так или иначе на той стороне кто-то заинтересован в трупах. Иными словами, шальная пуля не исключает преступления, не исключает злонамеренности. А из нашей жизни — убийство на спор первого попавшегося прохожего. Прохожий-то случайный, но убийство злонамеренное». И, как всегда, при такого рода размышлениях Пете стало за себя страшно.

На сцене между тем средних лет мужчина с тазом на голове старался говорить патетически и одновременно натурально: «Я тот, кому суждены опасности и беды, но также и великие, подвиги. Идем же вперед, Санчо, и воскресим прославленных рыцарей Круглого Стола! Летим по свету, чтобы мстить за обиды, нанесенные свирепыми и сильными — беспомощным и слабым, чтобы биться за поруганную честь, чтобы вернуть миру то, что он безвозвратно потерял, — справедливость!»

Лиза слушала, вся напрягшись, словно верила во все эти слова. Хотя простой подсчет показывал, что восстановить справедливость во *всем* мире невозможно. Да и не умел Петя сопротивляться бедам и опасностям: даже на оскорбление не умел ответить. Никогда не умел, проглатывал их, делал вид, что не к нему они относятся. Чтобы ответить на оскорбление, надо его почувствовать. Это условие необходимое, но не достаточное. Надо еще быть храбрым. А храбрости-то Петя в себе и не находил. В прошлом году в Молдавии, куда они с классом ездили в трехнедельный поход, они ночевали как-то в сельской школе. Вечером развели костер и сидели с местными ребятами. Петя не хотел было идти в ночь к костру, но одному оставаться в пустой ночной школе было спокойнее, и он вышел, притулился у костра среди своих одноклассников. «Вокруг нас живут здесь евреи, — рассказывал длинный местный парень в белой рубахе с закатанными рукавами и не заправленной в штаны. — Но они трусы. Абрама ткнешь заточенной отверткой в руку куда-ни-

будь, — он почему-то показал на свое предплечье, — и Абрам уже домой бежит и кричит: «Мама, у мене кровь! Мама, мене поранили!» Парень харкнул далеко от костра, в степь, и презрительно засмеялся. И стало ясно, что «настоящий мужик», «не еврей», *такой пустяк* не сочтет раной. И даже стало казаться, что и в самом деле кровь — не кровь, а рана — не рана, так себе. И все смеялись вместе с парнем. И Петя тоже *улыбнулся*, хотя и натянуто. А ведь мог сказать, что его храбрый дед-революционер тоже еврей и родом-то как раз из Молдавии, и его мнительность не мешала его мужеству. Когда оно в самом деле требовалось, а не по пустякам. Но возражать сейчас!.. А надо ли? Ведь лично Петю он не затронул... Будь Петя взрослее, он понял бы, что и не стоило возражать, но суть-то была в том, что он считал нужным возразить, оскорбленным себя почувствовал, но побоялся. Он не был безумен, как Дон Кихот.

На сцене между тем действие закончилось, актеры ушли, опустился занавес, а в зале зажегся свет. Все принялись вставать и медлительным потоком выливаться из зала по руслу прохода. Петя с Лизой тоже пошли в буфет. Отстояв длинную очередь, Петя купил два бутерброда, два миндальных пирожных и два стакана «фанты». Выполняя эти мелкие джентельменские обязанности, Петя почувствовал себя лучше, чем в зале во время спектакля, оживленнее. Там он испытывал скуку и даже усталость: хорошо еще, что он умел размышлять, не обращая внимания на внешние помехи. Лиза продолжала держать Петину руку в своей, так ей хотелось, чтоб, даже не разговаривая, ощущать его рядом. Когда Петя брал со стойки тарелку с бутербродами и пирожными, он руку освободил. Лиза взяла стаканы с «фантой» и, видимо, полагая, что Петя, как и она, думает о Дон Кихоте, сказала, пока они шли к столику:

— Есть такой поэт — Саша Величанский. Из бывших смогистов. Но теперь сам по себе. Я его знаю немножко. Никакой он не политик, просто поэт, но все равно у нас не печатают. Да и там редко, — шепнула она. — Хочешь, прочту его стихи о Дон Кихоте?

— Прочти, — сказал Петя, притворяясь, что ему интересно, сам же невольно соображая, что спектакль тянется слишком долго и провожать Лизу ему придется по позднему.

А Лиза читала:



Пусть гнетет тебя, храня,  
одинокества броня  
тяжестью своею —  
хоть враги — рогатый скот,  
все же в латах Дон Кихот,  
и, как нимб, сияет тот  
тазик брадобрея.

Она не ждала похвал стихотворению, словно чувствовала, что Пете нечего сказать. Опустив свои густые короткие ресницы, Лиза ела бутерброд, запила его двумя глотками «фанты». И сказала, словно возражала Пете, словно он хоть слово вымолвил:

— А мне нравятся. Он сущность рыцарства выразил «одинокества брони!» Рыцарь, как и поэт, всегда одинок. А все равно это одиночество для людей. И — не требуя благодарности. За то, что у тебя душа, ты можешь только небеса благодарить. А от людей — ничего не брать. Только отдавать. Богатые отдавать не умеют. Потому что они лишнее, им не нужное отдают. Поэт и рыцарь отдают свою сущность, целиком себя. Я думаю, революционеры были такие, ни много, ни мало — жизнью жертвовали. Сытый и богатый этого не поймет.

— Почему?

— Они не видят обездоленных, а их ужасно много. Цветаева это очень чувствовала. Сама всю жизнь нищей прожила.

Петя промолчал, потому что он обездоленных не замечал. А когда не был поглощен физикой и математикой, отделившими его словно крепостными стенами от мира, то видел злодеев, так или иначе злоумышлявших на его жизнь. Прозвенел звонок, и он отправился назад в зал терпеть второе действие: Лиза нежно сжимала его руку.

«Конечно, — думал он, сидя в кресле и поневоле следя за героями, — Лиза права: бабушка когда-то жила по-другому. Не могла же она предположить в юности, что к пенсии она получит паек и Кремлевку. Она это все берет, потому что считает заслуженным. Но не боится и все потерять. Летом был сорокапятилетний юбилей гражданской войны в Испании. Все прославляли интернациональное содружество, пили за победу и подвиги интербригадцев, а бабушка со своей всегдашней прямоотой встала и сказала: «Не понимаю, чего мы сегодня веселимся. Войну-то

мы проиграли!» Все на нее обиделись. Особенно руководители комитета ветеранов, всем довольные, сытые, как говорит Лиза. Но не тронули даже словом, на жакет она прикрутила орден Боевого Красного Знамени за Испанию. Зачем с ними было связываться? Ее наверняка приняли за выжившую из ума старуху».

На сцене противный священник в черном одеянии до пят говорил Дон Кихоту, что тот служит посмешищем, потому что вообразил себя странствующим рыцарем, побеждающим гигантов. Высокий человек с бородкой, опираясь на бутафорское копьё, горделиво отвечал: «Вы считаете, что человек, странствующий по свету не в поисках наслаждений, а в поисках терний, безумен и праздно тратит время? Люди выбирают разные пути. Один, спотыкаясь, карабкается по дороге тщеславия, другой ползет по тропе унижительной лести, иные пробираются по дороге лицемерия и обмана. Иду ли я по одной из этих дорог? Нет! Я иду по крутой дороге рыцарства и презираю земные блага, но не честь! За кого я мстил, вступая в бой с гигантами, которые вас так раздражили? Я заступался за слабых, обиженных сильными! Если я видел где-нибудь зло, я шел на смертельную схватку, чтобы победить чудовищ злобы и преступлений! Вы их не видите нигде? У вас плохое зрение, святой отец!» Это были красивые слова, и Петя на минуту почувствовал подъем духа и прилив нежности к Лизе, вытащившей его на этот спектакль. Но действие длилось, время шло, и он отодвинулся от Лизиного плеча, снова чувствуя страх от предстоящего провожания по темным вечерним улицам. И подумал, что если он будет с ней нежен, то их вечерняя прогулка затянется до поры, когда и прохожих на улицах не будет, только шпана. А если холоден, то провожанье можно сократить до минимума: сухое, слегка ледяное «пока» у ее подъезда, затем на трамвай и домой.

Когда спектакль кончился, Лиза снова попыталась завладеть его рукой, но Петя не дался. Она удивленно взглянула на его *с н о к о й н о е* лицо, но ничего не сказала. Они встали в очередь к гардеробу. Петя молчал, Лиза тоже молчала, иногда быстро взглядывая на него. Он подал ей плащ, надел свой, и они вышли на улицу.

Прошли несколько шагов.

— Петенька, что-нибудь случилось? — не выдержала Лиза.

— Ничего, — тон по-прежнему холодный, мол, понимай сама.

— Я тебя чем-нибудь обидела?

— Да нет, ничего.

— Я не понимаю тогда... — остановилась вдруг она.

Петя тоже остановился, испугавшись, когда увидел выражение ее лица, что сейчас начнется выяснение отношений, как в тот раз, когда она сбегала от родителей, а это займет еще больше времени, и он улыбнулся и взял ее под руку:

— Не обращай внимания. Просто я о завтрашнем сочинении и задумался, что писать там, — соврал он. — Как думаешь, оно состоится после *сегодняшнего*?

— Герц все равно придет. Из принципа придет. Чтоб не думать, что его что-то сломить может. Да он еще на Желватова повлиять надеется. Объяснить ему что-то.

— Да уж, — неопределенно ответил Петя.

Лиза посмотрела на него *поддерживающе*, полагая, что догадывается о его мыслях:

— А ты не обращай внимания на его придирки. Ты сам по себе, а он сам по себе. Герцу тоже трудно себя *поставить*.

— Я это знаю, — ответил подросток, чувствуя, что она опять становится на его защиту, желая и стесняясь этого. Но воспоминание о Желватове укрепило в нем опасливое настроение, страх перед темными переулками ее квартала, и он решил, что будет все же суше, холоднее с Лизой, чем обычно. Чтоб недолго провожать. Но не очень суше, идя на мелкие компромиссы. Поэтому, когда она предложила:

— Пройдемся немножко пешком, — он согласился:

— Давай. А куда?

— Давай до Маяковки, а? — она заглянула ему в лицо. — Это совсем недолго, минут двадцать.

— Только не дольше, — сказал Петя, посмотрев на часы. Было уже двадцать пять минут одиннадцатого. После чего двинулся, держа под руку Лизу, по вступавшей в ночь Москве.

Они вышли к церковке на улице Чехова, там на остановке скучилось много народу, наверно, недавно кончился фильм в «России». При виде толпы людей, страх немного отпустил Петю, но Лиза перешла шоссе и шагнула в какой-то переулок. Петя плохо ориентировался в городе, будучи мальчиком домашним, по преимуществу жителем своего микрорайона. Лиза же вела его какими-то московскими двориками, о существовании которых Петя не подозревал, ходя в центре только по прямым тротуарным магистралям. А Лиза в городе, в этом взрослом мире чувствовала себя

уже *своей*. И ее к тому же влекло все запретное. Так, недели две назад, она вытащила Петю к одному художнику, который *уезжал*. Правда, *днем* вытащила. Художник сваливал за границу, и к нему можно было придти без особого приглашения — чтобы *проститься*. Петя согласился, хотя не очень понимал, как он будет прощаться с человеком, с которым даже не был знаком. «Картины посмотрим», — уговаривала его Лиза. И уговорила.

\* \* \*

Было это в воскресенье. Они доехали на одну остановку дальше Новослободского, тоже перешли шоссе, и Лиза повела его среди каких-то двух- и одноэтажных строений, в которых жили люди. Петя шел, слепо доверившись Лизе, и сегодня мог вспомнить только электрический свет из окон, разбитый асфальт дорожек, сладковатый запах открытых помойных ящиков. Они подошли к одному из двухэтажных домиков. Почти сразу от порога начиналась деревянная лесенка, по которой они поднялись. В подъезде и на лестнице пахло кошками и прокисшим бельем. Петя никогда не бывал в таких домах. Лестница кончалась площадкой второго этажа. Дверь была обшарпана, с четырьмя звонками. Лиза позвонила в один из них. Открыл дверь долговязый, бородатый мужик в рваном обвисшем сером свитере, волосы его были спутаны, глаза опухшие. «А, Лизанька, — сказал он. — Ты не одна? Заходите». Он поцеловал ее в щеку, а Пете протянул руку: «Федор». И Петя обменялся с ним крепким *мужским* рукопожатием. «Вчера до упора пили. Все прощаться приходят. Поспали совсем мало. Хорошо, что заначку кирюхам не отдал. Хоть чуть-чуть, а похмелился с утра. Так что выпить нечего. Только чай», — по пути к своей комнате морщился художник. Он шаркал ногами и говорил хрипло, словно голосом тоже шаркал.

Распахнув дверь в свою комнату, он пропустил их вперед, крикнув кому-то «Санька, принимай гостей!» И им: «Вы не обращайте внимания, у меня бардак». Они вошли в комнату, в которой стоял стол, четыре стула, деревянная скамейка и шкаф, отгораживающий часть комнаты. За шкафом находилось нечто, похожее на топчан. На топчане среди смятых простынь валялась на спине совершенно голая девица. Она курила. Увидев их, она даже не попыталась прикрыться, продолжая пускать дым и стряхивать пепел на пол. Лиза ухватила Петю за руку и протащила

мимо шкафа к столу. «Никак не оклемается», — сказал художник о девице и тоже сел за стол. Петя делал вид, что ничуть не удивлен, что все нормально. Он оглядывался по сторонам. На стенах, прямо на подрамниках, висели картины. «Можно посмотреть?» — подскочила Лиза. «Конечно», — ответил художник и встал, хотя его и пошатывало. Он стоял у Лизы за спиной и дышал, превращая воздух вокруг себя в какую-то омерзительную субстанцию. На картинах были изображены дворики, церкви, лики святых и почти на каждой ярко-красное солнце. «Ярило, — объяснил Федор. — Наше православное, красное значит прекрасное. Совдепии мы наш красный цвет не отдадим». Лиза повернулась к нему: «Это Замоскворечье?» Откуда она все это знала? «Оно самое, — с готовностью ответил художник. — Коренное наше, московское. Возил на комиссию, — продолжал он. — Почти всё, кретины, разрешили за копейки вывезти. Хрен с ними. Все с собой заберу. Все дворики увезу, через море-окиян, чтобы матушка Москва всегда со мной была. И солнышко. Наше русское солнышко. Самое яркое, самое красное, самое прекрасное. Нигде такого нет. У-ух, — неожиданно выдохнул он. — И раскудрявые березки — тоже заберу! Жена моя, евреечка, собирается, а я пока тоску глушу. Она не хотела, а я ей: «На хрена тогда ты мне сдалась, если любимого мужа из такого говна увезти не можешь!» Пошла, заявление подала. Теперь собирается. Главное — выехать. А там посмотрим, что с ней делать». Лиза повела глазами на шкаф. «Эта? Санька-то? — понял ее взгляд художник. — Она остается. На хрена она мне там. Да и вообще...» Петя ничего не понимал в живописи, однако старался смотреть внимательно, чтобы казалось, что понимает. Все же кроме одних и тех же двориков, одних и тех же церквей, только писанных в разное время года, он ничего помогающего понять какую-то *идею* не увидел.

Тем временем, натянув прямо на голое тело платье (что было заметно), из-за шкафа вышла девица. Она, видимо, причесалась там, но глазки все равно были заплывшими с похмелья, а потому казались маленькими. Она стала резать хлеб, сыр, а Лиза неожиданно для Пети достала из своей сумки бутылку сухого вина. «Сухач? — спросил художник. — Ну, ничего, на безрыбье и рак рыба». Он достал из шкафа, с полки, где лежало комком белье, стаканы, поставил их на стол, сам разлил вино и торопливо поднял емкость: «Со свиданьем!» Проглотил содержимое и доба-

вил: «Конечно нечувствительный напиток. Но ты, Лизанька, не обижайся. Это тоже хорошо», — он потянулся и поцеловал ее в щеку, совсем рядом с губами. Лиза не отстранилась, но как-то странно посмотрела на Петю: как, де, будешь реагировать? Подруга художника тоже выпила стакан одним глотком. Лиза пригубила и поставила стакан почти не тронутый. Петя глотнул, ему стало кисло и невкусно, но, побоявшись показаться невзрослым, он продолжал пить маленькими порциями, закусывая сыром, иначе было не проглотить противную жидкость. А подруга художника Санька закидывала ногу на ногу, оголялись колени, бедра, она не одергивала платья, клала Пете руку на плечо и несла скороговоркой: «Ты Востриков? Вострый, значит? Во все проникаешь? И в женщин тоже? — она провела рукой по Петиным волосам ласкающим движением. — Ишь ты, какие мягкие! Любишь искусство? Эх, какую красоту из России увезет!.. Ну и кер с ним! Правда? Крысы бегут с корабля. Зато мы здесь остаемся. Ничего, не пропадем! Может, корабль им назло и не затонет... Мы еще им всем покажем, как надо жить!» Она вызывающе захохотала.

Петя отстранялся от нее, но недостаточно решительно: боялся ненароком ее обидеть. Зыркнув на них, художник склонился к Лизе и, надеясь, видимо, что его подруга и Петя заняты друг другом, принялся шептать ей что-то и все норовил поцеловать ее в плечо. Когда у него это не получилось, он взял Лизину руку, тискал ее, целуя время от времени. Но не на ту напал. Что-то отвечая художнику, Лиза внимательно следила за Санькиными заигрываниями с Петей и в какой-то момент, решив, что та слишком много себе позволяет, вскочила, вырвав у художника свою руку: «Нам пора. Спасибо за картины». И хотя Петина соседка вцепилась ему в плечо, уговаривая остаться, Лиза решительно выдрала Петю из ее лап и через минуту они уже спускались по лестнице. Петя вспомнил, как стучали быстро-быстро Лизины каблуки, как тащила она его за руку вниз по лестнице, и снова невольно умилился ее ревности — очень трогательной.

\* \* \*

Она свернула в проход между двумя домами. И Петя спросил, чтобы преодолеть вновь возникшую в душе напряженность:

— Чего бы ты хотела в жизни?

Лиза ответила быстро, не задумываясь:

— Жить, любить и быть, если получится, счастливой. Ты бы занимался своей наукой, а я бы любила тебя и писала стихи. Но ты не бойся, я не о браке. Я понимаю, что мужчине это страшно. Я позавчера к Таньке Проценко заходила. Ее не было, за молоком ребеночку ушла, а Гиппо с младенцем сидел. Он мне в ноги упал, плакал, жаловался, что Таньку больше не любит, а живет с ней из жалости. Мне такой жалости не хотелось бы. Любовь должна быть отдачей без благодарности, без требования чего-то взамен.

Они еще шли темным проулком, и Петя, тревожась неизвестного места, ответил не совсем впопад:

— Не уверен. Бабушка Роза не для себя жила, а ради высоких идеалов. Но умирает без благодарности тех, за кого боролась. Никому не нужна. А я не хочу, чтоб со мной так было, не хочу такого одиночества!..

Слава Богу, они миновали без происшествий темный проход и теперь стояли около какой-то глухой стены, отгораживавшей внутренний дворик от других дворов и улицы. Никогда бы Петя не поверил, что есть такой дворик в Москве, в темноте, точнее, в полумраке похожий на южный или прибалтийский своей уютностью. Свет падал от двух фонарных столбов и от лампы на углу стены. А дом рядом со стеной уже спал, в окнах — ни огонечка.

— Все бедные, — тихо сказала Лиза. — Каждый на свой лад.

И замолчала. Она стояла, ждущая, готовая по первому его движению прильнуть к нему, предоставив себя его рукам и объятьям. Петя тоже хотел обнять Лизу, подержать в руках податливое женское тело, жаркое и льнущее, ощутить его трепет. Да к тому же полумрак, тишина, изолированность дворика, отсутствие аборигенов, — все располагало к нежностям. Кроме одного. Петя все время помнил, что впереди еще Бугры, где жила Лиза, бандитское местечко, и чем раньше он ее туда проводит, тем лучше. Поэтому он бездействовал. К Петинуму счастью, Лиза, которой надоело ждать, воскликнула:

— Хорошо здесь! Правда? Как у Владимира Соколова:

О, двориков московских синяя.  
Таинственная глубина  
В изломах крыш, в их смутных линиях  
Доверчивость и тишина.

Но лишь сгустится сумрак ласковый,  
Двор вновь живет седым-седой, —  
Карнизами, ветвями, красками,  
Порогами, самим собой...

— Хорошо, — согласился он, чтоб ее не обидеть, потому что собирался добавить и добавил другие слова, которые Лизе не могли понравиться. — Но пойдём уже к метро.

— Как? Уже? — охнула Лиза.

— Пора, Лизонька, правда, пора, — настаивал Петя, стараясь не поддаваться ей, зная, что если поддастся и начнутся объятья, то они здесь застрянут надолго. — Завтра все же сочинение. — Подумав, решил придать больше веса своим словам, указав и другую причину своей торопливости. — Да и бабушке я могу понадобиться. Мало ли что!

— А мы разве не погуляем еще чуть-чуть? — просительно и робко сказала Лиза. — Такая ночь теплая!.. А здесь, во дворе, и ветра нет.

Ее настойчивость уперлась в Петино упрямство и не покидавший его страх и напряженное ожидание опасности.

— Нет, не получается ничего, я не могу.

— Как же так? А я думала... Я и у Когриных не осталась, я хотела с тобой побыть...

— Ну, мы побыли уже. Ну, Лизонька, ну, пожалуйста, правда, не могу. Я же тебя *должен* еще домой проводить.

— Должен? Совсем не должен! — вдруг вспыхнула Лиза. — Не надо меня провожать. Я и сама дойду!

И она резко метнулась куда-то вбок, к другому проходу, который в полутьме Петя не заметил. Петя, напуганный ее словами, боясь, что с ней что-нибудь случится, или, и вправду, она так обиделась, что покинет его, быстро пошел следом. Догнал, тронул за рукав плаща, но она рукав вырвала:

— Не смей за мной ходить! Не смей! Я сама!..

Она шла вдоль шоссе и всхлипывала. Пронеслись мимо машины. Прохожих было уже немного. Петя остановился, посмотрел ей вслед, но тут же спохватился. Зная себя, он понимал, что не посмеет ее одну оставить. А она способна пешком и до дому идти. Лучше постараться взять такси, отвезти ее, и на той же машине потом к себе домой. Он сунул руку в карман у него еще оставалась пятерка. Как раз хватит. Он побежал за ней.



Она снова свернула куда-то вбок и шла глухими московскими дворами, которых Петя все так же не знал. Он уже полностью потерял ориентацию. Кирпичные, красные при свете фонарей, а в темноте черные стены домов, неожиданно глухие, с разноразмерными несимметричными окнами, тут же тяжелые дома серого цвета. При этом какие-то балкончики с витиевато изогнутыми прутьями.

— Петя, ну, не иди за мной, не иди! зачем ты за мной идешь? — голосом, однако, не отталкивающим его, скорей, призывающим.

Они оказались в каком-то дворе, еще больше, чем предыдущие, похожем на южный. В сплошной стене каменного двухэтажного дома было одно небольшое окошко, оттуда лился желтый свет, виднелись занавеска, герань; во дворе одиноко стоял высокий тополь, скамейка, песочница с запахом влажного песка, качели, забытые кем-то детские ведро и совок. И тишина — немосковская, негородская. Лиза опустила на скамейку. Петя сел рядом. Она спросила:

— У тебя есть сигареты? Дай мне.

Петя поспешно полез в карман, достал пачку «Явы», протянул ей, затем и сам достал сигарету, чтобы чувствовать свое как бы сопереживание с Лизой, во всяком случае показать, что он тоже ощущает серьезность момента. Хотя на самом деле курить он не любил и испытывал сейчас только усталость и досаду, что затягивается прохождение. Он зажег спичку, Лиза глубоко вдохнула дым. Она сидела нога на ногу, запахнув колени полой плаща. Петя тоже закурил и отбросил спичку за спину, вроде бы нервничая. Она, как ему показалось, удовлетворенно поглядела на него, сидящего рядом, словно бы и не бежала прочь, и лукаво, и вопросительно повела глазами, в темноте блестящими. Будто ее бег был шуткой, любовной игрой. Он вспомнил, как они дежурили на избирательном участке, и она неожиданно села к нему на колени. Это было ошеломляющее чувство, когда ее мягкие, податливые бедра, словно слились с верхней частью его ног. Он проглотил слюну и косо глянул на ее ноги, положенные одна на другую: вроде бы ничего особенного, но какая в них притягивающая сила. Но он пересилил себя, постарался отвести взгляд от ее колен и бедер. Она заметила это, стряхнула пепел с сигареты, рванулась сказать что-то, но промолчала. Петя тоже молчал.

— Когда любишь, хочется ответной любви. А ты меня ни капельки не любишь, — вдруг грустно пробормотала она. — И считаешь, что я за тобой бегаю. Я не хочу, чтоб ты так думал! Это не так. Я вовсе тебе не навязываюсь!

— Ну, что ты, Лизанька, — неуверенно возразил он, а сам думал, что именно так дело и обстоит, только удивляясь, что она, такая взрослая, употребляет это школьное слово «бегать». Да и не мог же он ей сказать, что просто *боится* ее провожать по темноте. Это было непроизносимо даже перед самим собой.

Лиза медленно загасила сигарету о край скамейки, поглядела на свои ноги, прикрытые плащом, на Петины руки (одна в кармане, в другой сигарета), которые не раз ее обнимали, ласкали грудь, гладили колени... Петя понял ее взгляд, но она не понимала, что у них нет времени на нежность. А она рисовала носком туфли на земле фигуры и словно что-то думала, чего-то решала.

— Ладно, идем домой. Ну зачем весь шум и гам, коли нужно по домам, — в рифму сказала она, а затем добавила как бы вскользь. — У меня, между прочим, родители в командировке, — приостановилась, ожидая его реакции, но Петя, опасаясь, что для нее это будет повод затягивать их уличное гуляние, когда ему хотелось скорей домой, под защиту своих стен, ничего ей на это не ответил. Она посерьезнела:

— Ты меня, Петенька, не любишь, а я люблю. Знаешь, одна провинциальная поэтесса, очень, наверное, несчастная женщина, такие стихи сочинила:

Смешней не бывает финала.  
Что это? Опомнись, друг мой!  
Не бегала я за тобой,  
Я просто шагов не считала.

— При чем здесь финал? — старался не вдумываться в смысл ее слов Петя. — Брось, Лизка, ерунду городить. Просто пора домой. Существуют же какие-то необходимости.

Она засмеялась задумчиво, встала:

— Конечно, существуют.

Они двинулась к шоссе. Петя держал ее за локоть. Лиза шла, опустив голову, глядя себе под ноги. Увидев, наконец, автостраду с проносящимися машинами, Петя ожил, обрел уверенность:

— Взять такси? — спросил отчужденно-предупредительно.

— Попробуй. Думаю, для мужчины это всегда интересно — что-нибудь попробовать. Вдруг что получится!

Петя не понял, но все же огрызнулся:

— Лизка, не язви! — он чувствовал себя наполовину свободным и в безопасности. Сейчас в машину — и почти дома.

Машина остановилась, они сели. В этом же такси — домой. Они сидели сзади шофера, но не обнимались, как обычно делают попавшие в такси влюбленные, как и раньше это делали они, а, напротив, отодвинулись друг от друга. Петя выдерживал характер, курил, но минут через пять сломался, попытался затеять мирный разговор, оправдаться:

— Все же завтра сочинение, — повторил он то, что говорил уже.

— Ага, — ответила Лиза и откинулась на заднее сиденье, прикрыв глаза.

Тогда Петя из вежливости и беспокойства спросил, не плохо ли ей. Лиза, усмехнувшись, помотала головой, сказав, что она не больная бабушка и заботы не требует. А затем забормотала вполголоса свою любимую Цветаеву: «О вопль всех женщин всех времен: “Мой милый, что тебе я сделала?”» Но Петя притворился, что этого как раз он не слышит, смотрел прямо перед собой в ветровое стекло. Лиза то о чем-то задумывалась, то всхлипывала. Но когда машина подкатила к булочной, Лиза сказала, опережая Петю:

— Здесь можно остановиться.

Петя открыл дверцу, не расплачиваясь, вылез, помог выйти Лизе и сказал, возвращаясь на сиденье:

— Ну что, до завтра?

Лиза вздрогнула и замерла. Повернула к нему лицо, казавшееся в свете загоревшейся при открывании дверцы лампочки сильно побледневшим, и спросила немного надменно-удивленно:

— А ты разве не выйдешь меня проводить? Мне одной будет страшно идти.

Что оставалось делать, чтобы сохранить лицо?.. Петя расплатился, и машина, на которой он мог уехать домой, укатила.

Булочная была давно закрыта, дверь заперта, только желтая электрическая лампочка горела над дверью, показывая, что жизнь здесь все же была. И сразу их охватила темнота и тишина подворотен и закоулков.

Ночные джунгли окраины. Среди домов ветра не чувствовалось. Светились огоньки в домах, но улицы осветить они не могли, — фонари были разбиты. Где-то вдали лязг трамвая, а из глубины двора, в арку которого они должны нырнуть, какой-то шум, чей-то рык... Кто там таится?.. Но деваться некуда, другого пути нет. Они прошли под длинной и невысокой аркой, обходя вчерашние, не высохшие лужи, которые в арочной темноте и сырости, лишенной солнечного света, застаивались долго. Лиза слегка поскользнулась на грязном асфальте, и Петя подхватил ее под руку.

Она вздрогнула, нервно рассмеялась:

— Как старушку через улицу!..

Примолкла, словно что-то вспомнив. Петя ничего не ответил. Он старался скорее довести ее до дома, загрузить в подъезд и — восояси. Вот почему она не захотела, чтобы машина довезла ее до подъезда: чтобы Петя проводил ее.

Подумав так, он разозлился, но все же руку не отнял: прикосновение к другому человеку придавало уверенности. Они миновали первый Двор со ступенчатыми подъездами, затем котельную, одинокий гараж. Следующий двор был перегорожен трухлявым забором, но проход был: один край забора упирался в стену дома за последним подъездом, зато другой не доходил до дома напротив, оставляя щель, в которую они и проникли, попав, наконец, в Лизин двор. Там стояла беседка, из беседки раздавался омерзительный, гнусный гогот, тлело пять или шесть сигаретных огоньков, кто-то бряцал на гитаре, и все хором орали:

Валява! Валява! Не уезжай в Китай!

Валявушка-Валява! Ты сердце мне отдай!

Дыхание у Пети замерло, а сердце заколотилось. Удастся проскочить или нет? Лизин подъезд казался защитной пристанью, долгожданнами крепостными воротами, плохо было только то, что из этих ворот рано или поздно придется выходить. Может, переждать в подъезде, пока они уйдут?..

Или лучше сейчас, сразу, пока они сидят в беседке, курят, орут песни и не вышли еще на ночную охоту? Да и проще одному. Когда с девушкой, шансов больше, что пристанут. Если увидели их, могут догнать. И тогда?.. Изобьют? убьют? зарежут? А ее? как в страшном сне? изнасилуют? потом тоже убьют? Они быстро, уо-

ропленными шагами вошли в подъезд. Но еще нельзя было надеяться, что проскочили, что их не заметили: в любую секунду могла открыться дверь подъезда, всунуться харя и увидеть их. На площадке между первым и вторым этажом Петя испытал некоторое облегчение: шума перед подъездом не было, значит, обошлось.

— Проводи меня до дверей, — попросила Лиза.

Они поднялись еще на один пролет и остановились перед дверью Лизиной квартиры.

— Ну все, пока, — сказал Петя, забыв даже поцеловать ее, думая о том, что ему надо спускаться и как-то миновать хулиганскую компанию, по возможности незаметно. Бывало так, что после страстных объятий в парке или на лестнице, прощаясь на людях, они глядели в разные стороны и, конечно же, не целовались. Но это на людях...

— Петенька! — громко прошептала Лиза, прижимая ладонь ко рту и глядя на Петю заплаканными красными глазами. — Неужели ты сейчас уйдешь? А я без тебя останусь... Как же это возможно?...

— Лиза, ну что делать? Надо. Пора уже, — отвечал Петя.

— Ну не уходи. Ну, Петенька!..

Петя пожал плечами.

Она, вдруг словно задохнувшись, запинаясь, держась рукой за горло, проговорила обрывающимся голосом:

— У меня все же родители в командировке. Мне одной страшно будет. Ты бы пожалел одинокую, посидел у меня. Я бы чайник поставила, у нас варенье есть, пирог бы испекла...

Петя удивился неожиданной ее хозяйственности, но подумал так: «Совсем обо мне не думает. Что ж, мне досидеть, пока трамваи ходить не будут?..» А потому и сказал вслух безусловно холодным тоном:

— Не могу, — он ничего не слышал, кроме своего страха.

Ошеломленная, она закрыла лицо руками, а он, считая это притворством, принялся, осторожно спускаться по лестнице, но как-то боком, лицом к Лизе. Почувствовав его шаги, она отняла от лица руки.

— Эй, подожди — тихо попросила она. — Мы сейчас вместе пойдем. Ты минуточку потерпи, я зайду школьную форму взять с собой и к Наташе Герцевской пойду. Герц наверняка еще не вернулся, она одна, ей помощь нужна. Подожди. Вместе до трамвая пойдем.

— Ты знаешь, сколько сейчас времени? — сухо спросил Петя. — Все давно уже спят.

— Петенька! — она догнала его, схватила за плечо. — Я не в состоянии смотреть, как ты уходишь. Это невозможно — видеть тебя уходящим! Ну побудь еще пять минут! Ну четыре!.. Я тебя не виню, что ты не хочешь быть со мной. Значит, не любишь. Сердцу не прикажешь. Не возражай, не надо. Выкурим по сигаретке, по одной только сигаретке, и ты пойдешь.

Петя с холодным лицом остановился и достал сигареты, ничего не сказав, а сам думал: «Как у нее все просто, как что не по ней — так сразу коренные выводы. Без всякого понимания ситуации».

Они присели на подоконник и закурили. Курили молча. Сигарета тлела медленно. Петя не выдержал, притушил свой недокурочок о подоконник, встал. Голова у него слегка кружилась от курения и от нерва.

— Я пойду, Лизка. Теперь уже точно пойду.

— Уже?

— Ничего себе «уже»! Пока. Я пошел. До завтра.

Лиза поднялась тоже, почувствовала, что теперь уж точно он уходит, пытаясь улыбнуться, сказала протяжно:

— Ну-у, пока-а. Ты бы хоть поцеловал меня... напоследок...

Она старалась *держаться*.

— При чем здесь «напоследок»? — принужденно пробормотал Петя.

Он притянул ее за покорные плечи и поцеловал в щеку. Она заплакала от унизости такого поцелуя и, заплетаясь ногами, побрела вверх. А Петя, не обращая больше внимания на ее слезы (не на улице она, практически дома), побежал вниз. В подъезде остановился и, не открывая внешней двери, прислушался. Уличный концерт продолжался. Судя по хриплости голосов, градусов прибавилось. И тем не менее надо было идти. Дверь квартиры не хлопнула, значит, Лиза ждала, уйдет он или поднимется к ней. Теперь было так страшно, что лучше бы он остался!.. Но что о нем подумает Лиза? — не понимая ее ожидания, сказал он себе. Петя вышел и пошел все убыстряющимся шагом. Парни в беседке орали нарочито тоненькими, противными голосами:

Па-шла я раз купаться —  
В кустах сидел бандит.

Я стала раздеваться,  
А он и говорит:  
Какие у вас ляжки!  
Какие буфера!  
Нельзя ли вас потрогать  
За рубль — полтора?  
Был парень он красивый,  
Ну как ему не дать!  
Я прилегла на травку,  
А он меня...

Пете опять повезло. То ли парни не заметили его, то ли были увлечены хорovým пением, но Петя проскочил благополучно этот двор. Сердце билось все спокойнее, и вот он уже на трамвайной остановке. Но все равно еще жутковато, темно, ветрено. Проходивший мимо здоровый малый в лыжной кофте, из-под которой висела незаправленная рубашка, приспущенных штанах и почему-то в зимней шапке-ушанке на мощных кудрях заглянул Пете в лицо, но тот, как всегда, не стал смотреть в глаза случайному Вию, помня, что главное не входить в контакт с темной силой. Не ощутив отклика, малый в шапке-ушанке прошел мимо. А тут и трамвай подкатил с электрическим светом внутри. И только в трамвае, прогоняя в уме сегодняшний вечер и свое прощание с Лизой, он сообразил с запоздалым ошеломлением, что Лиза явно *хотела его*. А он? Так боялся хулиганов, что даже не заметил этого. Упустил *случай*. «Ну ничего, — решил он. — Зато спокойно выплуюсь. Существует приоритетность дел. Завтра все же сочинение, надо быть в форме».

## Глава XV

# Прекрасное есть жизнь

Дар напрасный, дар случайный...

*А. С. Пушкин*

**В**от и она, улица Ивана Лягушкина. Начиналась она от проспекта Мира, от мухинских «Рабочего и колхозницы», делающих балетное па с серпом и молотом, причем молот у рабочего — в левой руке. Улица была перегружена машинами. Сойдя с трамвая и счастливо избежав столкновения с прицепом (его водитель гнал, не обращая внимания на трамвайную остановку и вышедших из трамвая людей), Илья быстро перебежал дорогу, ибо встречное движение было столь же оголтелым: грузовики соперничали в скорости с легковушками. Здесь он живет. Живет ли? Или существует? Опять, как всегда в последнее время, когда он подходил к своему дому, его охватила тоска. У мебельного, который находился в их доме, курили в темноте оставшиеся на ночь активисты-дежурные, охранявшие сегодняшнюю, перешедшую на завтра очередь. Хоть бы шпана какая попала в их неосвещенном и грязном дворе и начистила ему физиономию, все было бы легче придти домой — возникла бы отвлекающая тема. Но шпаны не было.

Войдя в подъезд, Илья отшвырнул ногой валявшуюся оберточную бумагу: поднимать ее и выносить в мусорный ящик не было сил. Пусть ее! Чем хуже, тем лучше! Поднявшись на лифте и медленно подходя к своей квартире Илья старался двигаться, как бы не двигаясь, чтоб растянуть время и отсрочить грядущий и неизбежный разговор. В прежние времена вот так же, блудливо возвращаясь домой, он тер лицо рукой, перчаткой, стараясь каким-то образом убрать запахи другой женщины, которыми, как ему казалось, он был пропитан насквозь — ее мылом, ее духами, ее притираниями и прочими звериными ароматами, которые отличают одну особь женского пола от другой, и так неизбежно распознаются ими самими. Хотя, конечно, он всегда



надеялся, что алкогольное *амбре* перебивает все иные благово-  
ния, да и вообще в их кругу было принято, что пьяный мужик —  
безвинный: «ну, загулял, мужик», «ну, пьян был, ничего не пом-  
ню», «ну, перебрал маленько, занесло черт-те куда». И жена, как  
правило, на пьяного Илью не сердилась. Еще лучше, когда при-  
возил он с собой друзей: это уж было железное алиби, что водку  
пил, а не по бабам ходил.

Еще с улицы, запрокинув голову, Илья увидел, что в его ком-  
нате и комнате жены темно, зато горел свет на кухне, стало быть,  
Элка одна или с сыном, а может, дай Бог, с гостями сейчас за их  
большим кухонным столом. Сидит на диване, под бра, с сигаре-  
той и болтает. И хорошо, если гости, по привычке думал он, тогда  
можно будет улизнуть от расспросов шуткой, а к утру все забудет-  
ся. Если, конечно, он хочет отложить разговор о Паладине. Хочет  
ли он? Говорить о дворянском сыне, Саше Паладине, его заду-  
шевном друге, который оставался сидеть за столом с Элкой один  
на один, когда он, Тимашев, отключался и уползал спать?.. Ведь  
пару раз мелькнула наутро шальная мысль «А что если они...» Но  
недостойным казалось даже думать об этом. Как можно подозре-  
вать друга и гостя! Он осуждал этот гостевой стиль жизни, бурчал  
о необходимости суровых научных занятий, но жена ему в таких  
случаях говорила: «Если бы не мы с Антоном, ты бы вообще жиз-  
ни не видел, так бы и зачах в своей библиотеке». Он внутренне  
соглашался с ней, хотя библиотека часто служила прикрытием  
его шашней. И даже написав статью о «профессорской культуре»  
в России, он все-таки утверждал, что немецкое геллертерство  
в нынешних условиях приводит только к серости, прагматизму и  
законопослушанию. Друзья, гости, ночные посиделки — это свя-  
тое. И ему нравилось, что всё, что он пишет, для всех как бы не-  
ожиданность: гуляет со всеми, пьянствует, а вдруг бац — и статья!  
а то и книга! Ему даже казалось, писать у него получается потому,  
что никто не заставляет его писать. И писал он не ради заработка,  
за что был благодарен жене.

Секунду Илья колебался — звонить или открыть дверь сво-  
им ключом? Лучше сам, решил он. Если даже гостей нет, он это  
сразу поймет, быстренько шмыгнет в туалет, будто терпелу нет,  
а затем в ванную, где смывает все запахи. Тогда разговор с Элкой  
будет на равных. Илья неслышно повернул в замке ключ, вошел  
и тихо прикрыл за собой дверь. Но никаких голосов с кухни не

доносилось; похоже, что гостей не было, а, быть может, они все же услышали шум двери и притихли, ожидая хозяина. Илья прошел коридором мимо стальных шкафов, встроенных в стенку еще предыдущими жильцами, и, остановившись у дверей туалета, крикнул:

— Эй! Есть дома кто-нибудь?

Ответа не последовало, да он и сам уже видел, что кухня пуста. Просто Элка и Антон ушли, забыв выключить свет. Конечно, жена могла спать у себя в комнате или делать вид, что спит, злясь на него, но прежде, чем проверить свое новое предположение, Илья решил на всякий случай заглянуть в туалет и ванную.

На подоконнике, над унитазом грудились пустые пыльные бутылки из-под импортных вин, которые не принимали в магазинах. Висела прибитая к стене дощечка-указатель, острием вниз, с надписью: «ПРОДОЛЖЕНИЕ ОСМОТРА». Рядом спертая где-то сыном жестяная табличка: «В шахту ничего не бросать внизу работают люди». А на шесте, торчащем из-за унитаза, еще одна — деревянная табличка: «МЕСТО ВЫГУЛА СОБАК». Все это делалось шутки ради, богемный сортирный юмор, но он уже не радовал Илью, воспринимался им как симптомом «пустого времяпрепровождения». Сливной бачок давно проржавел, и унитаз подтекал. Из месяца в месяц дом грозили поставить на капитальный ремонт, однако Моссовет денег ЖЭКу не выделял, не было сметы и чего-то еще, поэтому дом постепенно приходил в негодность.

Да, дворянские детки иначе живут. Хотя бы Паладин. Да и Тыковкин, и Олег Иванович Любский, наверно, тоже. Квартирная история Паладина проходила у него на глазах. Саша пришел в редакцию сразу после развода, оставив жене и сыну квартиру. Благородно. Но тут же получил комнату в коммуналке — «за выездом». Другой бы разведенный, столь же благородный, по нашим бы законам обязан был пять лет проскитаться. Но Саше пошли навстречу. «Сначала позвонил родитель, — пояснил ироничный Кирхов, — а потом взвод автоматчиков перевез мебель и вещи». Остальные деликатно смолчали. Всем неловко было задать вопрос, откуда вдруг у Саши объявился финский холодильник и ковер в десять тысяч. Получал он не больше других, гонораров не имел. Кто мог пропить в день полочки всю зарплату? Вообще-то все могли. Но потом ходили побираться до

зарплаты, стреляя трешки и пятерки на прожитье. А Саша после пропоя мог не только снова гусарствовать, но и явиться в новой, только что купленной дубленке тысяч этак на пять. Купленной ли? «Родитель подарил», — объяснял Паладин. Как-то обмолвился, что родитель тоже не покупал, ему кто-то преподнес. Кто? да за что? народ не решался спросить. Между тем у него затеялся роман, появился ребенок, и он женился (ох, с какой неохотой!). «Повезло Манечке!» — зло-досадливо повторял он о своей молодой жене. Илья вдруг вспомнил, что Элка испытывала к Манечке непонятное раздражение и, хотя обожала ходить по гостям, на свадьбу Паладина не пошла категорически. На ту самую свадьбу, где Помадов подрался с Орешинным по навету Толи Тыковкина. Почему Элка не пошла, объяснять она не стала, и Илья, вспомнив сейчас об этом, приплюсовывал это событие к ее стихам Паладину. Женившись, Саша тут же получил сорокашестиметровую квартиру в три комнаты, хотя и от издательства, но не без помощи родителя, — как он сам признавался. А затем подал на улучшение, и снова получил: уже стометровую в Староконюшенном переулке. «У аппаратчиков есть право, — пояснил Илье всезнающий Гомогрей, — трижды каждому из детей улучшать жилищные условия» — «Трижды три раза», — сказал тогда Илья, немного столкнувшийся в своей жизни с квартирным вопросом, в котором ему просто повезло, иначе он бы навсегда застрял в коммуналке. А Элка Паладину стихи пишет!..

Илья открыл дверь в ее комнату резким движением: он уже вымыл лицо, руки и шею и был готов к разговору на равных. Но Элки в комнате не было, хотя постель стояла неубранной. Он повернул выключатель, вспыхнул свет в висячей люстре с бомбошками, но никаких знаков, объяснявших отсутствие жены (хотя бы гневной записки), не обнаружил. Оставив включенным электричество, Илья пустился к комнате сына, распахнул дверь, истыканную перочинным ножом, и облупившейся белой масляной краской, с прогалинами коричневого дерева, и зажег там свет.

Комната сына уже давно не убиралась и напоминала Илье пещеру доисторического человека, который, наверно, тащил к себе всякий хлам. Под маленькой круглой тумбочкой на высоких ножках лежали свалывшиеся комки пыли, обгорелые и це-

лые спички, в углу, справа от двери, грудой валялись какие-то мешки, брезент, обрезки кожи, ремешки, рассыпавшиеся мелкие цветастые бусинки, из которых он мастерил себе *феньки*: так на специфическом языке хиппи именовались украшения. *У стенки*, купленной Ильей в свое время в Эстонии и состоявшей из книжных полок, отделений для белья, бара и других разнообразных вещей, стояла раскладушка, на которой прошлой ночью спал приятель сына. Она была не застелена, как и диван-кровать сына, простыни скомканы, а сверху навалена куча джемперов, брюки, пара рваных рубах. Грязные носки и грязные носовые платки были брошены прямо на письменный стол среди журналов и песенных рукописных нот. Около шкафа на полу Илья углядел чехол от гитары, но сама гитара отсутствовала: это означало, что сын ушел к кому-то в гости веселиться. Как и его мать, он прекрасно пел. Когда-то восхищавшее Илью пение под гитару, влюбившее его в Элку, теперь вызывало только глухое раздражение: ему казалось, что именно гитара ведет к безделью и распушенности, оттягивает сына от книг. «Волнуют парня не книги, а *прикиды*, да настолько, что сам себе шьет их, научился».

Илья посмотрел на разрисованные и исписанные всевозможными надписями на русском и английском языке стены. Он-то мечтал, отдавая сына в английскую спецшколу, что тот свободно овладеет языком и «в просвещении станет с веком наравне». «Никогда не получается то, что мы хотим сделать с детьми, совсем все наоборот», — к этой нехитрой житейской мудрости Илья пришел в последние полгода, и теперь ему стало казаться, что он виноват, что *заставлял*, насильно заставлял сына *читать*: не только русские, но и английские книги. А на *требованиях* далеко не уедешь. В результате английских книг сын не читал — только надписи малевал на стенах своей комнаты: Make a love, not a war! It won't be long! Live in peace and love each other! Press the joy on the world» А также на русском: «Думай при каждом пробуждении: Какое добро сотворить мне сегодня? Зайдет солнце и унесет со мной...» Далее кусок обоев был оторван, и конец фразы не читался. Все это выглядело ужасно благородным, хотя и *болезненным*. Не дай Бог именно Антоном сочинена поэма «Утопия», написанная на стене черным фломастером.

Спите в ручьях  
под шелест цветов.  
Каждый третий уходит в окно.  
Под песни в дыму  
мы заснули давно!

Житейская растерянность Пети Вострикова была Илье понятнее, казалась нормальнее, спокойнее, безопаснее, чем грозящее самоубийством («каждый третий уходит в окно») благородство сына, бесцельное, бездеятельное благородство, за которым обрыв в пустоту. Это пугало до холода в груди, но разговоры не помогали, а как иначе помочь он не знал. Когда он выказывал беспокойство, Антон обрывал его: «Это у тебя глюки!» Как-то, желая подольститься к сыну, нащупать контакт, Илья сказал: «Ты взрослее меня». Де, можем говорить на равных. Сын отмяк и ответил Илье похвалой, которая показалось ему жутким упреком: «Просто я получил от вас с мамой уже многое готовое, к чему вы шли сами. Что-то я взял, до чего-то сам додумался». Что готовое?... Что угодно! — только не тягу к работе.

В юности Илья был скован. Раскрепощение пришло с Элкой. Ей было наплевать на все предосторожности идеологического порядка, к которым с детства приучала Илью мать: «Что говорят дома — никому рассказывать нельзя!» Учила всегда выполнять все внешние правила социума, приучила. Механически расставляя по порядку книги сына на полках (в книгах Илья любил порядок — по странам, по годам, по писателям), Тимашев вспоминал, что познакомился он с Элкой в библиотеке, и она тут же предложила ему поехать в компанию, а он рад был сломать навязанный домом и привычкой свой железный распорядок, да и девушка понравилась, а там гитара оказалась, выпивка. Элка играла и пела, все балдели от ее песен и болтали, и никому в голову не приходило кого-либо опасаться. Все Элкины приятели жили вне идеологических страхов, с которыми Илья сжился. Социальные проблемы их интересовали только чтоб схомить. Тимашеву поначалу было удивительно от свободных реплик, а потом он понял, что нуждается в этой свободе, даже сама идея безделья, вечного карнавала, ничегонеделания показалась ему удивительно прогрессивной и невероятно творческой в потенци. Только сейчас, глядя на поведение сына, он приходил в ужас от резуль-

татов этой карнавальной вседозволенности, но тогда он приложил все усилия, чтобы добиться Элки, взять ее замуж. Она была для него талисманом свободы.

«Проклятье!» — простонал вдруг вслух Илья, стукнул себя кулаком в лоб, так ему невыносимо стало от всей своей уже прожитой и нелепо прожитой жизни. И Элка, и Антон жили сегодняшним днем, не думали о будущем. Носились из одних гостей в другие. Как ужасно виден в поведении близких, живых и родных людей архетип культуры. В российской ментальности не присутствует *время*, зато цветет *пространство*. Перемещение кажется созиданием. И он с Элкой годы целые гостевал, полагая свою работу лишь средством и способом создания условий для общения. А Антон глядел и мотал на ус. Теперь сам живет так же. По-русски. По принципу: на наш век хватит. А раз нет понятия времени, то и понятия вечности тоже нет. Странно, но похоже, что в русской культуре нет представления о будущей жизни, о том, что будет после смерти. Смерть есть смерть, после нее ничего не будет, а потому и не страшно — тебя ли убьют, ты ли убьешь. Природный процесс. Но дело не в природе, а в социуме. Этот процесс только притворяется природным, отношение к смерти — вопрос культуры. Да и вообще никто у нас не думает о будущем: весь мессианизм — в правильном распределении произведенного на данный момент продукта, а не в его создании. Созидатель думает о будущем. Он строит дом, строит крепость, чтоб сохранить свои свершения.

Эта мысль связалась с другой. Он подумал, что хотел показать Кузьмину свое эссе «Мой дом — моя крепость», написанное уже с месяц назад, но которое все равно было не напечатать. Он прошел в свою комнату, достал из ящика письменного стола (на котором стояла пишущая машинка и лежали полученные от машинистки страницы его последней статьи, хотя и предназначенной для журнала, но тоже казавшейся ему *принципиальной*) листочки эссе, спрятал в портфель. Подумал, не приложить ли и статью о Чернышевском, лежавшую на столе, но решил, что два текста давать неприлично. Потом. Если эссе Борису понравится... А пока надо вычитать статью, может, поработать над ней еще. Он присел за стол, но в горле было сухо.

Илья двинулся на кухню, открыл кран, подождал, пока протечет струя, налил себе полную кружку воды, выпил. Стало легче,

но пить все равно хотелось. Надо бы чаю... Он зажег газ и поставил на конфорку чайник, вспоминая при этом, как лет семнадцать-восемнадцать назад в Ленинграде они веселились в мансарде всю ночь, пили водку, Элка была в центре компании, играла на гитаре, пела, ее записывали на магнитофон, а Илья пил водку и выглядел добродушным парнем, немножко интеллектуалом, но в пьянстве не отстающим от других. Питерцы с их претензией на европейскую культуру были заботливы. Проснувшись утром, Илья, изнемогая от сухости во рту, едва ли не впервые тогда испытанной, обнаружил прямо на полу около их лежанки полную бутылку воды, которую с жадностью влил в свое воспаленное горло. Питерские приятели поступили «грамотно» — в специфически алкогольном понимании этого слова.

Можно было «грамотно» налить, «грамотно» выпить, «грамотно» заначить бутылку, «грамотно» оторваться от «ментов» или откупиться от них парой портвейна, а наутро «грамотно» похмелиться. Поразительно, что очень долго это и казалось «подлинной», «реальной», «настоящей» жизнью... А теперь, стоя у плиты, ожидая, пока закипит чайник, беспокоясь, что не звонят жена и сын, он задавал себе детский вопрос: почему многие люди под шестьдесят, кого знал Илья, из числа его, так сказать, приятелей, оборачивались на свою жизнь, как на прожитую случайно, испытывая метафизическую тоску, как Мишка Вёдрин, хотя и доктор наук, автор трех или четырех книг. Так же чувствовали себя и просто веселые, гульные в прошлом люди... Мать его была в себе уверена: «Я не зря жила на свете. Перед государством я чиста. Работала, не покладая рук, сына родила и вырастила. Всю жизнь трудилась». Элка иронизировала над его матерью: «Крепостное сознание, государственно-крепостное». Было легко, как он воображал, от этого сознания отказаться и стать свободным от всех обязанностей и принуждений, и какое-то время ему думалось, что он, наконец-то, *живет*, но разваливалась семья, разлаживался весь механизм его отношений с миром: никто ему уже не был нужен, кроме сына, а вот он теперь сыну не нужен.

Чайник закипел. Илья снял с сушилки *свою* чашку, подаренную ему когда-то женой, насыпал в нее чай, залил кипятком, достал купленный им джем, сел за стол. Сахарить чай не стал, хватало сладости джема, который он зачерпывал ложкой прямо

из банки. Снова зазвонил телефон. «Антон? Или Элка?» — с надеждой вскочил он из-за стола. Говорил Гомогрей:

— Тимашов, ты живой?.. Это я, Ваня Гомогрей! Жопа! друзей не узнаешь? А я о тебе беспокоюсь, не сплю!.. Гомогрей о тебе беспокоился! Сюда звонил, чтоб Элку предупредить, что с тобой все в порядке. А ее — хи-хи — дома не было. Я тебя предупреждал. Тимашов! Твой друг Гомогрей тебя предупреждал! бергись!

— Элки не было? Во сколько? — переспросил Тимашев, не обращая внимания на пьяные выкрики.

— В шесть вечера не было, в семь не было, в восемь не было, и в девять не было. Гомогрей не спал. Гомогрей каждый час звонил. Но ты Гомогрея плохо знаешь, он все же дозвонился! Он вычислил! Она у Таньки сейчас! — Илья подумал, что он это подозревал. — Но, Илька, ты учти! Она там недавно! Всего час. Мне Танька проговорила. Мне тебя жалко, Илька! Я еще портвейну выпил и чуть не плакал!.. Элка твоя, я думаю, с Паладиным была. Его тоже дома не было. Гомогрей звонил. Беспокоился и звонил. Ну и задал ты мне задачку, Тимашов! Тыковкин-то пари выиграл, — он захныкал. — Только Паладину — ш-ш-ш! Гомогрей тебе ничего не говорил.

Пока Гомогрей, не останавливаясь, нес все, что было у него на уме и на языке, Илья стоял, сжав зубы, словно онемел. Теперь, наконец, произнес:

— Я же просил тебя не делать этого, не звонить!..

— А вот Тыковкин посоветовал позвонить! Он ко мне на полчаса в гости зашел и убедил Гомогрея.

— Знаешь ли, Ваня, — начал было Тимашев, но сорвался. — Какого черта ты лезешь не в свои дела! Но раз уж ты встрял, можешь передать своим Тыковкину и Паладину, что им несдобровать!..

— Тимашов, ты что! Ты смиришь, Илька! Гомогрей тебя просит: смиришь. Жопа, ты не знаешь сильных мира сего! Съедят. Со всей, Илька, твоей гордостью съедят. Поэтому Гомогрей говорит тебе, учит тебя: смиришь. А то даже косточки твои не хрустнут. Единица что? Единица — ноль! Это еще Маяковский сказал. А если в Партию сгрудились малые, сдайся враг, замри и ляг! Сдайся, Тимашов, ты не умрешь красиво, ты просто исчезнешь.

— Гомогрей, ты что несешь! У тебя сумерки сознания, бред!



— Я, конечно, преувеличил. Но ты отступись. Не мсти! Сам во всем виноват! Я тебя, дурака, учил и буду учить! Единица против партии — ноль! Ты меня понял? Ты понял философскую мысль Гомогрея? Партия любого слотнет. Паладина сам Вадимов боится! Ты понял? Повтори, что я сказал!

— Ты охренел, — сказал Илья. — Я на твою партию клал с прибором. Эта система перестает работать, когда человеку не страшно. Понимаешь? А мне не страшно. Мне перестало быть страшно.

— Еще станет. Еще испугаешься. Тебе будет страшно, когда Элка тебя убьет за твои измены, чтоб ты ей на пути не стоял. Ты — дурак! Партия — это настоящая сила. И у нее есть своя элита, сила в силе! Это не твое вшивенькое самодержавие! А ты со своими западническими рассужденьицами и своими любимыми Чаадаевыми и Чернышевскими — типичный кабинетный ученый, типичный представитель «профессорской культуры», о которой сам ты и писал! Ха-ха — он заржал. — Что? Здорово Гомогрей тебя уел? Жопа, иди спи, раз тебя Элка пока не убила.

Он хлопнул на рычаг трубку. Илья некоторое время слушал короткие гудки, но перезванивать не стал, тоже положил трубку. «Неужели?..» — сердце болело, сжималось. До этого звонка он все же надеялся, что ошибается, что слишком мнительный. А теперь?.. Ах так! Ну, тогда никакой вины перед ней нет! Хватит! Да и надоело таскаться по магазинам, самому себе готовить, да еще встречать почти каждый день неприязненные взгляды, ощущать себя каждый день в чем-то виноватым. Ни разу не попался, но ведь его похождения не могли не чувствоваться женой. И без того уж чересчур она ему прощала. Илья вдруг спохватился. То, что поначалу словно сняло с него его грехи, теперь пугало. Логика вины вела его к умозаключению, что Элка что-то разузнала о его отношениях с Линой (других своих измен он не считал) и будет стоять на том, что он сам всему виной. Она уйдет. Дом окончательно распадется. Сын не с ним. Он тогда навсегда потеряет сына. Может, Гомогрей напугал что?.. Элка и партия! Что-то непредставимое и несопоставимое. Надо лицом к лицу это выяснить, откладывать нельзя. И он, не отходя от телефона, тут же набрал номер лучшей Элкиной подруги, своей *одноразовой* любовницы Таньки.

Голос у подруги был сухой, но жену она позвала.

— Ты чего звонишь? — вместо приветов спросила Элка зло-раздраженно. — Проверяешь? Нет, — тут же озлобившись и забыв о том, что хотел выяснить, сказал Илья. — Беспокоюсь, где сын. Если тебе интересно, его нет дома. А уже почти час.

— А ты успокойся. Не надо было на него вчера кулаками замахиваться. Да потом у мальчика должна быть своя жизнь. Так что не занудствуй. Сам разве не пил, не гулял? Да и сейчас, что делаешь? Где ты, например, сегодня был?

— Тебя самой не было. Я в шесть звонил, предупредить. А потом Гомогрей звонил... Тебя все равно не было.

— Ну знаешь!.. В шесть я в магазин выходила. Около семи к соседке за спичками зашла, где-то около восьми поехала и после девяти была уже у Таньки. Проверь у своих сыщиков! Так что зря своих приятелей беспокоишь за мной следить. У меня все открыто. А вот где ты был?

— Как где! — проговорился, защищаясь, Илья, — Я у Розы Моисеевны был, матери Владлена, тебе хорошо известного. А ей уже девяносто, и она почти совсем одна. И умирает. Это целая трагедия. После такой жизни — в забвении, в одиночестве, никому не нужной, глупой старухой...

— Мне не интересно, сколько лет твоим блядям, — отрезала Элка. — Если у нее есть сын, пусть он о ней заботится, а у тебя тоже есть, о ком заботиться, если бы ты помнил.

— Я помню, — глухо сказал Илья.

— Не похоже! Впрочем, все. Я остаюсь ночевать у Тани. Ты что-нибудь еще хочешь спросить?

— Нет, ничего.

— Тогда пока, — и она бросила трубку.

Илье ничего не оставалось, как сделать то же самое. Она оправдалась! Все по времени совпадало со звонками Гомогрея. А он остался виноватым. И не решившимся решить *свои проблемы*. Опять пожалел, что не остался с Линой. Она его любит. А Элка нет. Как все это произошло? Как совместные, любимые обоими посиделки, застолья и гулянки перешли в такой дикий, нелепый разлад? Ведь все же вместе было. А теперь все порознь. Почему? Вчера сын ему сказал, когда Илья сделал ему какое-то замечание: «Не хочу с тобой говорить. Не верю ни во что, что ты говоришь. Ты все врешь. Спишь с чужими бабами, а маме все врешь!» Вот тогда-то Илья в *праведном* (при этом полупья-

ном) гневе замахнулся на него рукой. И сын выскочил из дому, убежал к приятелю. А сегодня, видно, тоже не захотел с ним встречаться. Может, и матери что-нибудь рассказал. Хотя вряд ли. Слишком горд, да и ее гордость щадит.

Он подумал, что еще недавно дом их был полон гостей. Так странно быть в пустой квартире!.. Элкиной энергии хватало на огромные компании, которые дневали и ночевали у них. Элка ночами напролет могла играть на гитаре, петь, веселиться или беседовать. Беседовать она любила страстно. А задушевные разговоры начинались обычно после двенадцати. Излияния шли следом за возлиянием. «Жаворонок» Илья уже клевал носом и к часу ночи уползал к себе, а «сова» Элка до утра вела на кухне душеспасительные разговоры. Илья злился, досадуя, ворчал, что ее интересуют всяческие сплетни — и ничего больше, что вместо того, чтобы за домом следить, делать его уютным и желанным для мужа, она превращает его в салон, кабак, и прочее. Элка обижалась, возражала: «Может, я, конечно, и не вылизываю дом, как прочие иные, но по-своему я его тоже создаю. Наш дом любят друзья. Они всегда рады сюда прийти. Согласись, что это немало!» Это и вправду было для Ильи немало. Он ведь и сам хотел всего, что было, — пьянок, шумных друзей, способных вместе с тем к интеллигентским словопрениям, долгих посиделок, чтоб его скучная келья обратилась в античный симпозион. Приходили редакционные приятели Тимашева, Элкины подружки из музея Льва Толстого, писателя, которого Элка не любила, но в музей которого попала по распределению после филологического. Она любила петь песни, и Тимашев заслушивался ими, песни, которые так сплывали. Особенно одна ему помнилась, ее все орали, заглушая Элку, так что она вообще перестала эту песню исполнять. А Илья орал громче всех, и пока он ее кричал, он думал, что это он про свой дом кричит:

В этом доме большом раньше пьянка была  
Много дней, много дней.  
Ведь в Каретном ряду первый дом от угла.  
Для друзей, для друзей!

И далее следовало самое любимое в этой песне — припев:

За пьянками, гулянками, за банками, полбанками,  
За спорами, за ссорами, раздорами  
Ты стой на том, что это дом,  
Пусть ночью, днем — всегда твой дом,  
И здесь не смотрят на тебя с укорами.

И Илью радовало, что все чувствовали, что речь идет о *его* доме. За это безделье, за это пропущенное, проигранное время и наступила сейчас расплата.

Он сидел за кухонным столом и пил теплый чай, мрачно рассматривая груды невымытой посуды, кое-как составленной в раковине и прикрытой полотенцем. Свободные европейцы потому и свободны, что работают, не покладая рук, а не бездельничают. А мы понимаем свободу по-дикарски. Романизированные галлы!.. Вот кто мы. Илья потер рукой лоб, что было признаком усталости. Он думал, что самое скверное началось, когда подросток сын, не желавший замечать отцовской *работы*, а видевший в нем только книжного зануду (потом еще и обманщика!), поскольку Илья смотрел на его безделье, отказ от учебы, от чтения книжек — «с укорами». Какой был милый и трогательный в детстве! как нельзя было его добудиться по утрам в школу: «Вставай, уже пора» — «Я хочу проспаться» — «Почему?» — «А школа-то, школа» — «Ну и что?» — «А скука-то, скука» — «Но ведь там и другие детишки есть, вас учат нужным вещам» — «А тоска-то, тоска», — отвечал малыш. Это Илья понимал, он сам не любил школу, и он оставлял Антона дома, но всегда устраивал так, чтобы в пропускаемое время читать сыну книжки и заниматься с ним английским. Элке было все равно. «Илья — беспокойная мать, а я — гуляющий отец», — шутила она. А теперь слово «книга» приводила Антона в ярость, а книжность вызывала презрение. Он хотел быть свободным, как его мать. И теперь он жаловался по телефону приятелям: «Я с отцом больше не могу. Он меня замучил. Упреки, замечания. А я хочу общаться, жить. У меня голова не книгами забита, а другим, жизнью. Мне прямо домой приходиться не хочется».

Эту жизнь, которой хотел жить Антон, Илья знал, вкусил вполне. Ночные поиски такси, поездки на попутках, случайные уличные стычки и всякая прочая «аксеновщина» казались важнее одухотворенных бдений над книгой или рукописью.

Сейчас, вспоминая свою молодость, он думал, что искал свободу от регламентации, а теперь ищет свободу от гульбы. Ибо гульба, как показал опыт, та же несвобода.

Илья вернулся в свою комнату, пошел к столу. На столе лежала книга Сенеки «Нравственные письма к Луцилию», а на ней полученная еще позавчера от машинистки статья: «Эстетика жизни». Илья поморщился, вспомнив, что просил Элку почитать статью, говоря, что пытался в ней сказать много важного о России, но поскольку работал он на материале диссертации Чернышевского, столь дружно презираемого современной полу- и псевдолиберальной элитой, Элка читать не стала. Она и так-то с трудом мирилась, что ее муж занимается этим малопочтенным в интеллигентских кругах мыслителем. Боялась презрения от знакомых за интерес Ильи к этому «клоповоняющему господину», как прозывали Чернышевского в прошлом веке.

\* \* \*

«Несчастный Чернышевский! Не понятый ни сторонниками, ни противниками! Жизнь положивший, чтоб послужить России, и оклеветанный всеми, особенно этим дистиллированным, бездарным Набоковым, который даже не догадался, *в какой* стране прошло его собственное «золотое детство!» Илья открыл статью с середины и принялся читать, автоматически исправляя опечатки. Конечно, это была не «теория калейдоскопа», которую придумал покойный Левка Помадов, но все же... Несмотря на академический тон в статье нечто прозвучало, сказалось. Это даже с середины видно. Разумеется, вычитывать надо было бы с начала, но мешала тоска: он читал то, что казалось ему применимым к сегодняшней российской жизни.

Эстетическая теория великого русского мыслителя до сих пор, к сожалению, не рассматривалась *в контексте* тем и проблем, поставленных русской художественной культурой, тех символических образов, в которых литература выражала свое понимание действительности. Ее темы, ее образы были тем реальным материалом, на который опиралась русская философская и общественно-эстетическая мысль (тут можно назвать имена и Чаадаева, и Хомякова, и Белинского, и И. Киреевского, и Герцена, и Добролюбова). Диссертация Чернышевского явилась в известном смысле теоретическим выражением и обобщением

целой эпохи противостояния русской художественной культуры самодержавию.

«Первый главный тезис, изложенный в сочинении, — писал о диссертации теоретик «чистого искусства» Николай Соловьев, — есть **ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕКРАСНОГО...** Но в чем же состоит это определение в статье? «Прекрасное есть жизнь». Но это не определение. Тут неопределенное определяется еще более неопределенным, прекрасное — жизнью. А что такое жизнь?..» Очевидно, с точки зрения строгих категорий, к которым апеллировал Н. Соловьев, принятых в классических философских системах немецкого идеализма, определение Чернышевского не выдерживало критики. Но стоит вспомнить тот общественно-исторический и художественно-культурный контекст, ту эпоху, когда была написана диссертация Чернышевского, чтобы основной его тезис обрел культурно-историческую обязательность, наполнился реальным смыслом.

Диссертация вышла в свет в начале 1855 года, а создавалась, как известно, в 1853 (!). У нас обычно связывают ее появление с Крымским поражением и общественным подъемом середины пятидесятых, начиная со смерти Николая I (1855). Напомним, однако, что на самом деле шли годы «мрачного семилетия» (1848—1855), но конца им никто не видел. Когда умер Николай, то руководитель диссертации Чернышевского профессор А.В. Никитенко писал в дневнике: «Я всегда думал, да и не я один, что император Николай переживет нас, и детей наших, и чуть не внуков». И теория молодого мыслителя была непосредственной реакцией на то состояние общественной жизни, которое он наблюдал вокруг и о котором мог читать в лучших произведениях отечественной словесности.

Что же это были за годы? Это была последняя попытка самодержавия удержать Россию в неподвижности, ограждаемой от живой жизни Европы. «Моровой полосой» назвал Герцен тридцатилетнее правление Николая. «Человеческие следы, замеченные полицией, пропадут, — писал он об этом времени, — и будущие поколения не раз остановятся с недоумением перед гладко убитым пустырем, отыскивая пропавшие пути мысли». В конце 1847 года, когда грянули громы над литературой и искусством, удрученный окружающей обстановкой профессор Никитенко заносил в свой дневник: «Жизненность нашего общества вообще хило проявляется: мы нравственно ближе к смерти, чем следовало бы, и потому смерть физическая возбуждает в нас меньше естественного ужаса». Разумеется, погибло не всё, мы знаем это сегодня, знаем имена «деятели», как говорилось тогда, 40—50-х годов, но сколь хрупко и ненадежно было их существование. «В самой пасти чудовища, — восклицал Герцен, — выделяются дети, не похожие на других детей; они растут, раз-

виваются и начинают жить совсем другой жизнью. Слабые, ничтожные, ничем не поддержанные, напротив, всем гонимые, они легко могут погибнуть без малейшего следа, *но остаются*, и если умирают на полдороге, то не все умирает с ними». Увиденная их глазами николаевская Россия напоминает «убогое кладбище» (Герцен), «Некрополис», город мертвых (Чаадаев), «Сандвичевы острова», то есть, по представлениям XIX века, место, где поедают людей (Никитенко), а обитатели этого мира поголовно — «мертвые души» (Гоголь), как крепостные, так и крепостники... В 1854 году историк Грановский писал Герцену за границу: «Надобно носить в себе много веры и любви, чтобы сохранить какую-нибудь надежду на будущность самого сильного и крепкого из славянских народов. Наши матросы и солдаты славно умирают в Крыму; но жить здесь никто не умеет». В том же 1854 году бывший каторжанин Достоевский задумывает свои «Записки из Мертвого (!) дома», в которых опишет вскорости, «сколько в этих стенах погребено напрасно молодости, сколько великих сил погибло здесь даром». Так воспринимали крепостническую империю не только русские писатели. Французский путешественник маркиз де-Кюстин, высоко ценимый Герценом, следующим образом определил режим русского самодержавия: «Здесь можно двигаться, можно дышать не иначе как с царского разрешения или приказа. Оттого здесь все так мрачно, подавлено, и мертвое молчание убивает всякую жизнь. Кажется, что тень смерти нависла над всей этой частью земного шара».

Характерна и не случайна метафизическая тоска, прозвучавшая в стихах Пушкина уже в первые годы николаевского царствования:

Дар напрасный, дар случайный,  
Жизнь, зачем ты мне дана? (1828)

Живущие в установленной самодержавием системе ценностей по сути не живут: это философское углубление понятия «жизнь» мы находим в трагическом вопросе Пушкина, в гоголевской поэме... «Мертвое царство», населенное «мертвыми душами», — так показал николаевскую империю Гоголь. Гоголевская поэма была задумана как трехчастная, восходящая наподобие дантовской «Божественной комедии» от «Ада» к «Раю». Но действительность дала писателю материал только для «Ада», где по разным кругам подземного царства разъезжает скупщик «мертвых душ», который не только не хочет душ живых, но и не видит их вокруг себя. Второй том, предполагаемое «Чистилище», уже показал писателю невозможность, оставаясь в пределах предложенного действительностью реального материала, осуществить его замысел. К «Раю», к третьему тому, он и не приступал. Конечно, в самодержавной России прежде всего духовная жизнь обрекалась на смерть.

Но в основе, разумеется, лежало пренебрежение к физической жизни любого человека — личности или еще не выработавшегося в личность. Таким может быть отношение лишь к рабу. Не случайно, в начале 50-х, славянофил Хомяков произнес о крепостнической России: «игом рабства клеймена». Поэтому, если обычный законопослушный подданный империи просто «приносился в жертву» интересам государства (что показал Радищев, сравнив империю со стозевным чудищем), то обладатель духовной жизни, самосознания подвергался *каре*, целенаправленно уничтожался. Вспомним мартиролог деятелей русской культуры, предъявленный Герценом самодержавию: «Ужасный, скорбный удел уготован у нас всякому, кто осмелится поднять свою голову выше уровня, начертанного императорским скипетром; будь то поэт, гражданин, мыслитель — всех их толкает в могилу неумолимый рок. История нашей литературы — это или мартиролог, или реестр каторги».

Именно это имел в виду Белинский, когда в своем знаменитом письме Гоголю утверждал, что в николаевской России нет «никаких гарантий для личности, чести и собственности» и первейшая ее нужда — «пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязном навозе». Духовно уснувших и погибших, людей — от гоголевского Тентетникова и гончаровского Обломова до чеховского Ионыча можно в русской литературе насчитать не один десяток. Чернышевский тоже не раз писал о веками выработанном равнодушии русского общества «ко всем высшим интересам общественной, умственной и нравственной жизни, ко всему, что выходит из круга личных житейских забот и личных развлечений. Это — наследство котошихинских времен, времен страшной апатии. Привычки не скоро и не легко отбрасываются и отдельным лицом, тем более народом... Мы до сих пор все еще дремлем от слишком долгого навыка к сну». Это типичный «мертвый сон», и кто пробуждается от него, духовно оживает, тот в таком случае закономерно уничтожается полицейским государством.

Продолжая и теоретически закрепляя традицию великой русской литературы, боровшейся против этого «сна-смерти», «мертвого сна», навязываемого русским самодержавием, той гласно необъявленной, но реально и безостановочно действующей системы ценностей, когда жизнь человека ничего не стоит, Чернышевский и выдвигает свой знаменитый тезис: «Прекрасное есть жизнь». Это и в самом деле был революционный тезис, который знаменовал собой переворот в ценностной ориентации всего общества. Не случайно диссертация уже во время защиты была воспринята, вспоминает Н.В. Шелгунов; как «проповедь гуманизма, целое откровение любви к человечеству, на служение которому призывалось искусство».

Однако о какой «жизни» шла речь? В.С. Соловьев главный и важнейший смысл диссертации увидел впоследствии в том, что Чернышевский



признал наличие объективной красоты в природе. Это верно, и о важности этого тезиса сегодня можно говорить в связи с лавиной экологических предсказаний, пророчеств и тревог. Но основная проблема была все же в том, что речь тут прежде всего шла о жизни *человека*. «Прекрасное есть жизнь, — писал Чернышевский и, уточняя, добавлял: — и ближайшим образом, жизнь, напоминающая о человеке и человеческой жизни». Однако же и люди бывают разные, вследствие этого еще пояснение: «прекрасно то существо, в котором видим мы жизнь такую, какова должна быть она по нашим понятиям». Но современники справедливо могли сказать, что «наши понятия» бывают разные. Чернышевский предвидел этот вопрос. Говоря о сложившемся в России восприятии красоты среди разных слоев населения, он в своей диссертации выстраивает своеобразную триаду.

В основание ее он кладет представление о красоте у «простого народа»: «В описаниях красавицы в народных песнях не найдется ни одного признака красоты, который не был бы выражением *цветущего* здоровья и равновесия сил в организме, всегдашнего следствия жизни в довольстве при постоянной и нешуточной, но не чрезмерной работе». Отрицанием этой простой жизни, близкой к природному процессу, является жизнь высшего света, для которого характерно «увлечение бледною, болезненною красотою — признак искусственной испорченности вкуса». Но синтезисом, как тогда говорили, у него выступает жизнь и представление о красоте «образованных людей», которые уже различают «лицо», личность: «*Всякий истинно образованный человек* чувствует, что *истинная жизнь — жизнь ума и сердца*. Она отпечатывается в выражении *лица*, всего яснее в глазах — потому *выражением лица*, о котором так мало говорится в народных песнях, получает огромное значение в понятиях о красоте, господствующих между образованными людьми; и часто бывает, что человек нам кажется прекрасен только потому, что у него прекрасные, выразительные *глаза*».

Эти выражения: «истинно образованный», «истинная жизнь» — говорят нам, что Чернышевский видел именно в «жизни ума и сердца» высшую точку развития человека. Иными словами, то, что каралось государством, тех людей — «поэтов, мыслителей, граждан», — которых Герцен заносил в мартиролог погубленных правительством, Чернышевский уже в самом начале своей деятельности называет выразителями истинного понимания о жизни. Впоследствии, в «Что делать?» он о таких людях скажет: «новые люди», лучшие среди которых — «двигатели двигателей», «соль соли земли».

Чернышевский говорил: жизнь выше искусства; ведь чтобы создавать искусство, наслаждаться им, необходимо быть *живым* — и физически, и прежде всего духовно. Искусство — для человека, ибо «человек, — писал Чернышевский, повторяя гуманистическую формулу

Канта, — сам себе цель; но, — добавлял он, — дела человека должны иметь цель в потребностях человека, а не в самих себе». Поэтому, принимая «чистое искусство» как один из моментов сопротивления государственному давлению, Чернышевский, тем не менее, подчеркивал его недостаточность, ограниченность, ибо оно не служило человеку. А задача искусства в России — пересоздать человека, превратить его в свободное, самодействующее существо, научить его *жить*, а не прозябать, не спать, выгнать из состояния сонной смерти. Поэтому и требовал он от искусства «быть для человека учебником *жизни*».

Надо сказать, что тема жизни как противостояния смерти, протест против рабского состояния человека являются ведущей темой великой русской литературы. Пушкин, Гоголь, Чаадаев, Лермонтов, Герцен, Белинский... Но тут и Достоевский, взывающий «живой жизни» и объявляющий в «Братьях Карамазовых» самодержавное государство, Третий Рим, языческим, стремящимся убить, а не восстановить заблудшего человека. Стоит ли добавлять, что язычество на Руси было связано с культом мертвых, и самодержавие в этом контексте приобретает страшный облик гоголевского мертвяка. Вспомним еще и великого бунтовщика и протестанта Льва Толстого, объявившего несовместимой службу государству с истинными целями человеческой жизни: в конце 80-х годов он пишет трактат «О жизни» как основной проблеме, достойной человеческого разума.

Проблема, теоретически сформулированная Чернышевским в диссертации («прекрасное есть жизнь»), оказалась, как мы видели, в центре раздумий великих русских художников XIX века. Он был не понят многими своими великими современниками, но *слово* было сказано, он сумел его произнести. Самодержавие думало уничтожить эту новую для России систему ценностей, уничтожив ее самого яркого выразителя (сибирская каторга и ссылка). Однако произнесенное слово и сама жизнь великого мыслителя стали достоянием русской культуры. С течением времени это начали признавать и те, кто, казалось бы, не мог принять весьма многих его идей. Сошлемся, хотя бы, на мнение о Чернышевском В. Розанова: «С самого Петра (I-го) мы не наблюдаем еще натуры, у которой каждый час бы *дышал*, каждая минута *жила* и каждый шаг обвеян «заботой об отечестве»... Что такое все Аксаковы, Ю. Самарин и Хомяков или «знаменитый» Мордвинов против него как *деятеля, т.е. как возможного деятеля*, который зарыт был где-то в снегах Вилюйска?.. Такие *лица* рождаются веками; и бросить его в снег и глушь, в ели и болото... это... это... черт знает что такое. Уже читая его *слог* (я читал о Лессинге, т. е. начало), прямо чувствуешь: никогда не устанет, никогда не угомонится... Именно «перуны» в душе... Ну — такие орлы крыльев не складывают, а летят и летят, до убоя, до смерти или победы...

Отлистнув последнюю страницу, Илья самодовольно задумался, какую в сущности неплохую и по нынешним временам острую статью он написал: о «народе, которому не жалко умирать» — в Крыму, в Венгрии, в Афганистане, во имя пославшего их на смерть государства. Вряд ли только будет кто-нибудь читать о Чернышевском, оболганном, обруганном. Антигосударственник, приспособленный государством для своих нужд. Государство выдало свое внешнесоциальное преобразование в Октябре за преобразование жизни, о котором мечтал Чернышевский, и объявило его своим адептом. И опять он всем чужд, ибо сущностные проблемы никого не интересуют. Нынче все поклонники «искусства для искусства»... Отчего опять такой восторг от романсов?.. Оно самое.. «Волнительное», а не сущностное, не аналитическое. Для прожигателей жизни. Паладин в восторге от Элкиных песен!.. «Мне нравится твоя жена», — так с выражением *настоящего* друга и честного парня сказал он в самом начале их знакомства после вечера, проведенного у них дома под Элкин аккомпанемент. «Мне тоже нравится», — улыбнулся в ответ Илья. Несчастные мы с Николаем Гавриловичем! И эта Ольга Сократовна!.. Тоже песни любила, гостей принимала с утра до вечера и с вечера до утра, но у него хватало сил прятаться в каморке наверху и писать, работать. Интересно, изменяла она все же Чернышевскому или нет?.. Свечки, конечно, никто не держал, но во всех его романах — мужчина, прощающий жену за измену, пытающийся наладить жизнь втроем. Прав был Чаадаев, что не женился. С женщиной скорее даже можно дружить, чем жениться на ней.

На телефонный звонок Илья выскочил из комнаты в надежде, что это Антон, так стремительно, что запнулся о стул и чуть не упал. Но это была Элка.

— Антон не пришел?

— Нет. А что?

— То, что я беспокоюсь. А ты уже успокоился? Занялся, небось, перечитыванием своих великих мыслей и пришел в хорошее расположение духа? Угадала?

— Элка, не надо так.

— А как надо? Ты где-то пьянствуешь, блюдуешь. оставляешь меня одну в пустой квартире, а я уже и слова не скажи!

— Элка, ну я же был у Розы Моисеевны.

— Оставь эти еврейские анекдоты для какой-нибудь блондинки, ей можешь вешать лапшу на уши. А мне не надо, не поверю.

— Ну, не верь, — тупо и тускло сказал Илья.

— Ладно. Я приеду. Не возражаешь? — более мягким тоном вдруг сказала жена. «Танька, что ли, ее накачала, что с мужем не надо ссориться?» — вяло и устало подумал Илья. Теперь ему было, если по совести, то все равно, приедет она или нет.

— Или ты спать собираешься?..

— Вообще-то да...

— Мириться, значит, не хочешь?

— Хочу. Но и спать хочу тоже.

— Понятно. С Розой Моисеевной утомился. Черт с тобой. Хотя пренебрегать собой я не позволю, не на такую напал. А приехать мне все равно придется, а тебе придется потерпеть. Мне, к сожалению, некуда деваться. Пока.

«Любовник, видимо, к Таньке пришел. Кто на сей раз? Кирхов? Наверно, он. Дико переплетено все. Коллеги, друзья, любовницы — какой-то и в самом деле калейдоскоп. Прав был Левка Помадов». Илья подошел к кухонному столу, допил остатки простывшего чая. И отправился стелить постель.

Улегся в благодатную прохладу простынь, закрыл глаза, и тут ему вдруг стало плохо, плохо так, что он даже в голос застонал от тоски, от отвращения и жуткой жалости к себе. Сколько времени растратил попусту!.. Элка мечтала, чтоб у нее дома было что-то вроде *салона*. Как у русского дворянства начала девятнадцатого века. Она говорила: «Салон — это форма организации культуры, если пользоваться, Илья, твоим словарем». Но не получилось из их дома салона. Получилось то, что получилось.

Илья почувствовал, как перехватило ему горло, он дал себе волю и заплакал. А потом уснул.

Ему снилось, что он снова живет в коммуналке, как жили они до выезда соседей. Но время настоящее, сегодняшнее. Он роется в вещах, раскладывает их. Куда при этом собирается, он никак не может сообразить. Но ясно, что взять нужно только необходимое. Попадают старые альбомы с фотографиями. Веселое лицо Элки с гитарой. Застыло навсегда с задорным выражением. Почему-то совсем нет таких, где они были бы в домаш-

ней обстановке. Элка все в гостях, а его фото — все походные, хотя в походы он совсем нечасто ходил. Много с сыном, и везде он доверчиво так к нему прижимается: ностальгия охватывает Илью во сне, будто растается навсегда с сыном, растался уже. И причина расставания всплывает: потому что намыливается он с Лёней Гавриловым в баню к Марьяне. И тоска охватывает, что жизнь не так прожита. Потом мысли перепрыгивают на другое, он начинает вдруг искать садовый инвентарь: лопату с узким штыком, грабли, совковую лопату. Они были приготовлены для дачи тестя с тещей, но теперь их Илья должен в какое-то другое место везти. Только засовывает их в мешок, как на дне обнаруживает несколько штук будильников. И все стоят. «Кому нужны сломанные часы?» — думает Илья, хочет их выкинуть. А сзади некто, похожий на Розу Моисеевну, но с длинной девичьей косой говорит: «Возьми один будильник. Он сам заводится. А остановится, когда ты захочешь». Эти слова путают его, и он хочет во сне увидеть Лину. Не получается. От напряженного желания ее увидеть болит голова. Все так же во сне он просыпается, чтобы встать и выпить таблетку анальгина, однако нет сил. Лучше продолжить сон и в нем разобраться. Но теперь снится море. И покойный дед в нем плещется, зовет нырнуть, очиститься. Продолжая спать, Илья понимает, что такие сны к напасти, к беде, если не к смерти. Но проснуться не может и не хочет.

## Глава XVI

# Упадок сил

В последние годы жизни, продленной сверх всякой меры, я остался без детей, без жены, без друга...

*Ч.Р. Метьюрин.* Мельмот Скиталец

С течением времени мир все более и более наполнился злом, и вот <...> учредили наконец орден странствующих рыцарей, в обязанности коего входит защищать девушек, опекать вдов, помогать сирым и неимущим.

*Сервантес.* Дон Кихот  
Т. I, гл. XI.

**В**се тело ныло, болела спина, шея. В плечах, в кистях рук чувствовалась непомерная тяжесть. Затылок ломило, хотелось лежать и не шевелиться. Опять немела вся правая сторона: часть головы, правая рука и нога. Полная разбитость. Казалось, что теперь не встать, не подняться. Скорее бы умереть. А она ни туда, ни сюда. Зачем она продолжает жить?.. Раз никому не нужна. Никому не в помощь. Только мешает. Она это чувствует, знает. Мысли в голове путаются, то приходят, то уходят, повторяются. Лина ее не поняла. Что ж, она этого ожидала. Так что не надо обижаться и расстраиваться. Она всегда была — как это по-русски? по-русски нет такого слова! — сензитивна. Всегда чувствовала, видела, знала, не взирая на преграду, что происходит неподалеку от нее. Глупая Ирина, жена Владлена, называла ее за это ведьмой. И Лина мать Алевтина. Она-то и настроила так Ирину. А ей просто дано так чувствовать.

Когда Тимашев долго не приходил, а она чувствовала, как взвинчивает себя Лина. И ей было жалко *внучку*. Потому что ей ясно было, что Лина устроит сейчас своему любовнику истерику, отвратит его от себя. Она сама никогда ни в чем не отказывала Исааку, выполняла его любые фантазии. Она не только любила его, но и понимала, была мудра. А Лина требовательна не по ситуации. Вот она и выползла к ним, когда Тимашев пришел.

Выползла сказать им, что они друг другу подходят. Потому что чувствовала: не только Лина с ума сходит, но и Илья не в себе от любви к ее *внучке*. А то, что Лина не примет ее слов и сорвет на ней свой гнев, это тоже входило в ее замысел: второй вариант. Он и осуществился. Лина на нее разрядилась и стала способной разговаривать с Тимашевым. А что если, наоборот, им помешала? Это тоже могло быть. Ей никогда не везло с добрыми делами. Хотела, как лучше, а выходило только хуже. Лина все же отказала Тимашеву в ласке. Это она поняла, когда они заглянули к ней в комнату. Она задремала и уронила книгу со стихами Бетти. Сквозь дрему она слышала, как они зашли и как оба несчастны и неудовлетворены.

Почему все или почти все в ее жизни не осуществляется из того доброго, что она хотела сделать? Как-то еще в юности, когда она была уже пропагандисткой, ее провожали до дома рабочие: они увидели, как сапожник бьет своего ученика, мальчика лет десяти. Она потребовала, чтобы тот прекратил избиение. Испугавшись сопровождавших ее рабочих, сапожник перестал мальчика бить, умильно улыбнулся и погладил его по грязной головке. Она ушла домой очень гордая собой. А через неделю случайно встретила на улице этого мальчика, и он поносил ее, обзывал, кричал, что после ее ухода хозяин так больно высек его, как никогда не сек. Это расстроило ее, но поделаться она уже ничего не могла. И с Исааком... Она надеялась, она все делала, чтобы ему было с ней хорошо. И ему было с ней хорошо, но он все равно страдал, тосковал по Алене и старшим сыновьям. И бедный, маленький Яша, ее старший и тогда единственный внук!.. Как она любила его! Почему же она оказалась одной из причин, приведших его к ранней смерти? Проклятые бациллы! Одно ей удалось, удалось общее дело: построение крепости социализма. Это потребовало больших усилий, но она не жалела себя. Они все, люди ее поколения, себя не щадили и не услаждали себя. У них не было вредных привычек, которые рождаются только из равнодушия к высоким целям. Не то, что нынешние. Даже друг ее Владлена, умный парень Тимашев, и тот *пьет водку*. Она не была ханжа, но пьянство ей претило.

Она знала за собой почти непреодолимое в свое время «тяготение к трудовым массам народа», так она это чувство называла. Но и в народе ей была неприятна приверженность к питью

крепких напитков, к пьянству. Однажды она с товарищем, тоже тогда молодым пропагандистом, который до сих пор ее не забыл и иногда заходит, с Машевичем, встретила в Харькове. Он приехал от Центра. В чудную летнюю ночь, после заседания, пошли прогуляться в университетский сад. В глубине сада несколько солдат пели украинские песни. Машевичу удалось незаметно завязать разговор, потом они вместе стали пропагандировать солдат, — горячо, увлеченно. Солдаты слушали с интересом. А потом, так как солдаты хотели выпить, они пошли в кабак: они не имели права оборвать пропаганду. Машевич потом признавался, что водка была ему отвратительна, но он глотал эту гадость, не желая отстать от компании. Им тогда казалось, что если мужчины-пропагандисты будут пить с народом, то это их с ним сблизит. Сблизила не водка, сблизила революционная борьба. Они, большевики, сумели выразить неосознанные стремления народных масс. А теперь она одна, никого рядом из друзей не осталось.

Она перевела взгляд с потолка (часть которого была высвечена светом настенного ночника, висевшего над ее изголовьем, а другая скрывалась в густой тени, вдали от света — почти черноте) на маленький круглый столик с лекарствами. Среди лекарств лежала книга стихов Бетти и стоял стакан, наполненный водой, — с ее съемной челюстью. Когда она вынула зубы, она не помнила и привычно не ощущала отсутствия челюсти. Хотя теперь знала, что рот у нее ввалился и говорить ей сейчас было бы невозможно. Только стонать и кричать. Обидно. Неужели все старики так умирают?..

Она закрыла глаза, продолжая размышлять. Она никогда не видела мать в старости, жила отдельно. Но с матерью она не была идейным товарищем и подругой. А с дочерью была. Дочь она еще увидит. Должна увидеть. Отца и мать она уже никогда не увидит. А дочь должна увидеть. Мать умерла в Аргентине — уже после Октябрьской революции, тогда она уже приехала жить в Москву. А отец поехал умирать на родину, в Юзовку. Преодолевал большие трудности — шла первая мировая война. А он бросил семью в Аргентине и уехал. Возвращался через Японию, доехал до Юзовки. Там и умер через неделю. Там была его родина. А у нее? Где ее родина? Она сражалась за интернационализм, за всемирное братство трудящихся. Ее родина была там, куда ее посы-



лала идея. Не считать же родиной, где ее братья и сестры живут. Они живут в рассеянии. Бежали от погромов. Живут кто где. Во Франции, Италии, в Уругвае, в Аргентине. В Аргентине еще и дочь. А здесь сын и внук. Только они связывают ее с жизнью. И дом. Ее дом, который она строила, сколько хватало сил, тоже здесь. Ради мужа, своего любимого, обожаемого мужа. Его давно уже нет. О Исаак, где ты? Почему я не сумела тебя спасти, чтобы ты жил дальше? Ужасно сузился ее круг. Да, дочь, сын, внук. И Лина. На остальных у нее уже нет сил. Полный упадок. Нет интереса. Потому что одна, совсем одна. Нет рядом близких по духу людей. Давно нет. В партийном движении теперь по большей части карьеристы. Она это видит, она не слепая. Она больна и не может с этим бороться. А до самой болезни она работала в госпартконтроле и выступала с лекциями. Отстаивала коммунистический образ жизни. Чтоб жили честно. Сколько она боролась! А ее не ценят, забыли, не пускают сюда дочь.

Она порывисто вздохнула. Всем наплевать! А ведь Бетти столько сделала: переводила Маяковского, Горького, Фадеева, Симонова, Федина, Эренбурга, Пастернака. Она пропагандист советской культуры! А ей не хотят помочь. Не пускают в Советский Союз. Она тоже не нужна. Отработала свое. Всем все равно, что две старухи хотят увидиться перед смертью. Две старухи! Неужели старухи? Мать и дочь! Их разделяет океан. А были молодые. Молодые и красивые. Бетти рано созрела. Как сестры ходили. Все на них оборачивались. Разница в восемнадцать лет. Как сестры. И все же мать и дочь.

Она это чувствует. Она все готова сделать, чтоб облегчить дочери жизнь. Как глупая курица прикрывает своего цыпленка крыльями. И так же бессильна, как курица перед ястребом. Она не может ничего сделать. Это дураки в аргентинском цека, это Кобовилья до сих пор ей мстит. Мафиози. Неизвестно, почему сбежал из Италии. А в Аргентине тоже был тип такого человека: *каудильо пампы*, вроде Росаса и Факундо, о которых писал еще Сармьенто, так любимый ее могучим отцом-свободолюбцем. Каудильо пампы бахвалились своей неприязнью к цивилизации, к европейской культуре, европейской воспитанности, к хорошим манерам, бахвалились своим невежеством и кровожадностью, требовали задушить «цивилизацию городов», призывали своих сподвижников к беспощадности. Кобовилья был из дико-

го итальянского местечка, невежественный, злой, как аргентинский *злой гаучо*, убивающий врагов и скрывающийся от закона. В партии он увидел группу, стоящую вне и против закона, что устраивало его дикарскую натуру. Он стал ругать буржуазную цивилизацию, но настоящего классового подхода она в нем никогда не чувствовала, только ненависть люмпена к культуре и чистоплотности. «Надо ли лечить зубы буржуазии?..» — осторожно так спрашивал он ее (она работала тогда стоматологом). Он вроде бы не обвинял, но сомневался. Сомневался в ее кристальности, а ведь она привлекла его к работе в партии. «Я человек простой, мне высшее образование ни к чему, я типичный *партеньо*, мне поэтому доверяет простой народ. Я их не пугаю непонятными словами, как некоторые». Опять намек на нее. А поначалу был подобострастный малый, ходил по пятам, и она просвещала его, хотя ей не нравилась его бесцеремонность, хамоватость, физическая нечистоплотность (он не чистил зубов, и изо рта у него пахло, под ногтями вечно была грязь), типичный уличник, житель буэнос-айресской портовой окраины, *партеньо*. Но мелкие услуги и славословия в глаза, хотя она понимала их преувеличенность, не то, что льстили, просто были приятны ей. И постепенно, благодаря *дружеским отношениям* с ней, благодаря тому, что каждому он сумел стать нужным, оказать ту или иную услугу, он вошел в ядро организации. А кончилось дело тем, что он *ее* исключил из партии под предлогом, что она принадлежит к оппозиции и хочет узурпировать власть. А сам жил потом, как богдыхан, как глава мафии. Партия постоянно в полузапрете, а он жил в собственном дворце с охраной и в подражание *Сталину* написал «Краткий курс Аргентинской компартии», А там, что ни сюжет, то: «Кобовилья сказал... Кобовилья указал...» Да, этот Кобовилья-каудильо сумел понравиться Сталину, Кобе, казался тому сильной личностью, *вождем*, и только она одна знала, что по духу он нечистоплотный дикарь и мафиози, а вовсе не вождь. Но никому об этом сказать не могла, потому что ее выдвиженец и впоследствии узурпатор *представлял* в международном движении компартию Аргентины как ее Генеральный секретарь. И это было для всех важнее истины. Теперь у нее тем более нет сил с ним бороться. Да и кто она? Кем она стала? Доцент, преподаватель испарта, пенсионерка, старый большевик не у дел... И никто не помнит, не знает, никому дела нет, что именно она *орга-*

*низовала* Аргентинскую компартию, таков кульминасьон, таков итог ее жизни. Что ж, она не жалеет, ювентуд и муэрте, юность и смерть — все, как оказалось, совсем рядом, удивительно близко друг от друга находятся. Дочь все время цитировала Гильена: «И де пронте эс ун суспиро куэн те льяма эн альта воз». В русском, хоть и приблизительном, переводе это тоже звучало неплохо: «Малейший вздох былого теперь подобен крику». Скоро наступит конечная мгла, сомбра финал, но она ни о чем не жалеет. Потому что жила и действовала не ради преуспевания, ради *идеи*. Обычно все боятся, спрашивают себя: «Что будет, когда я умру? куандо йо ме муэра?» Она знала ответ: *ничего*. От нее лично ничего не останется, важно, чтоб осталось *дело*. Поэтому она молчит о Кобовилье, тот тоже о ней не вспоминает. Только на дочери отыгрывается, мелочный, грубый человек. Оговорил ее в посольстве, и дочери не хотят помочь с приездом. И дочери не на кого рассчитывать, только на нее. Да! как же она об этом забыла!.. Надо написать Брежневу! Или кто там сейчас? А может, она уже писала?..

Она лежала, вспоминая, писала ли она, потому что два письма подряд могут вместо пользы принести вред. Она знала правила игры. Проклятая память, чертова ля мемориа!.. Петя рассказывает анекдоты про Генерального секретаря капеэсэс, на него кто-то дурно влияет, плохая компания в школе. И эта дура Лина его поощряет, смеется вместе с ним. Какой позор! И это в ее доме. Она вспомнила последний анекдот про ботинки. Ничего смешного. Как на приеме обнаружилось, что Леонид Ильич в разных ботинках — желтом и черном. Ему говорят тихо: «Надо поехать домой, переодеться. А то неудобно». А он так же тихо, но косноязычно отвечает: «Ничего не получается. Уже ездил. Там тоже только желтый и черный». Она вначале не поняла юмора, вообще ничего не поняла. Ведь и в самом деле дома были тоже разные ботинки, но потом Петя ей объяснил. А Лина и этот Тимашев хохотали. Бедная Лина. Она любит его. Хотя Тимашев хороший парень, заходит к ней, но пьет и несобранный. Рассказывал при Пете какую-то невероятную историю, что во время войны полковник Брежнев мародерствовал, будто бы рассказ адъютанта. В каком-то западном городке Брежнев захотел хорошее охотничье ружье и послал адъютанта, тот вернулся с неудачей, потому что лавки были закрыты. Полковник его обматерил

и поехал сам, разумеется, привез ружье и будто бы сказал адъютанту: «Грабить надо уметь!» Это была явная клевета. Как и рассказы о каких-то бриллиантовых делах семейства Генерального секретаря. Этого просто не может быть. Иначе все идет прахом. Потому что Кобовилья это случайность, периферия, а здесь, в главной крепости социализма, все должно быть чисто. Иначе не пригласят ее дочь. А она должна приехать. Дитя революционной борьбы! Надо все объяснить Генеральному секретарю. Он обязан помочь старым борцам за светлые идеалы социализма, всю жизнь отдавшим Советской власти. Ведь ей уже девяносто три года. И в этом году она стала что-то плохо себя чувствовать. Не знает, долго ли еще сможет прожить. А она очень хочет повидаться с дочерью. Тоже уже старухой. И тоже боровшейся за социализм. Революционная писательница Аргентины! Ведет большую работу по распространению классической русской и советской литературы. Она тоже плохо себя чувствует. Дитя подполья! Генеральный сможет дать соответствующие распоряжения для организации ее приезда в этом году. Хорошо, что она решила преодолеть бюрократов и написала письмо Генеральному секретарю. Да, написала. Теперь она вспомнила. Написала. Он поможет. Леонид Ильич такой же старый и больной, как она. Если он еще жив. Кончилась партия. Уходят последние ленинцы. Поэтому он должен помочь. Последние защитники великой крепости социализма!..

Бедная Бетти! Она лежала, закрыв глаза, и слышала голос дочери, читавшей ей свое письмо, голос, который сочился ей прямо в правое ухо, словно дочь сидела около ее постели: «Бесконечно дорогая мат! Сколько времени нет от тебя весточки! Как мой обожаемый брат Владлен? Скажи мне. Ты плохо меня слышит. Я далеко. У нас весна, а у вас осен. Я хотела бы быть с тобой в следующий ден рождения твой. Это не шутка. Я верю, что так будет. Я хочу быть в состоянии ехать. Мое здоровье так не ровно. И тоже теряю сознание. Иногда до двадцати минут. Это заставляет меня быть очень осторожная. Несчастный закон притяжения. В стратосфере не падала бы. Но здес: приходится быть осторожна, чтоб толко в некоторые часы делат кое-что. Еще не сдаюс. Хочу, чтоб ты слышала меня. Я держус. Хотя дела в Аргентине трудные. Хаос, инфляционизм страшный. Все стоит в тысячи раз больше. Каждая неделя прыжок. Ранше за двести пез можно было

ехат в Европу. Теперь не меньше двадцат или тридцат миллионов. Но если я получу приглашение из Союза, найду друзей для поездки, еще они есть. Подскажу повод приглашения: юбилей отношений между странами, а я основатель первый институт культурных связей между эсесер и Аргентина. Моя дорогая, бесконечно любимая! Я бы отдала все силы, чтобы был рядом с тобой и заботился о тебе. Владлен тоже далеко, в Праге. Надеюсь, Петя — хороший внук, заботится о тебе».

Бедная Бетти! Такая заботливая. Только уже без сил. Хорошо бы она была рядом. Дочери не надо о ней заботиться. Она бы сама о ней заботилась. Тогда бы она преодолела свою беспомощность. На заботу о дочери у нее хватило бы сил. Дочь такая доверчивая и незащищенная. Мало Кобовильи, так еще и в Союзе писателей затеяли интригу. Хотя раньше они ее приглашали. А теперь там ей мстит этот юный мальчик-критик, который за ней пытался ухаживать: не то Мерзин, не то Мензер. Она забыла его фамилию и всегда путала по телефону, когда Бетти просила ее позвонить, сказать, что не может с ним увидеться. Он очень хотел зарубежной известности, контактов, валюты, для этого готов был даже на старухе жениться. Все-таки Бетти была много старше его. Но Андрея ничего не останавливало. Он писал ей письма, шуточные стихи, приносил цветы, старался казаться свобододобивым, романтичным, поклонником свобододобивой революционной поэзии. Ему казалось, что у Бетти огромное литературное имя, деньги, связи, да и за границу ему хотелось свободно поехать. Он присылал свою любовницу, эту, как ее, Катю Хавроньеву, литературную даму, работавшую с ним в одной редакции, чтобы она расписывала Бетти его достоинства, сам говорил, что ради Бетти бросит жену, Хавроньева кокетничала с Бетти, говорила о своей трудной доле, жаловалась, что ее отец ушел от них с матерью, и теперь она ни во что не верит, только в дружбу, но не пощадит никого ради Андрея, потому что отец ее своим поведением научил, что люди беспощадны. Была она неуклюжей, толстой, ноздри дырочками наружу, косолапила при ходьбе и с завистливой злобой смотрела на стройную Бетти, гнусавым голосом воспевая таланты Андрея. Кроме Бетти она в упор никого не видела, презирала, могла даже не поздороваться с домашними, но, нахвалив своего любовника Бетти, звонила ему по телефону и гнусила баском в трубку: «Андрюша, птица!

прилетай. Я все сделала, тебя ждут здесь». Была в ней здоровая инстинктивная беспощадность. Потом она все же вышла замуж за своего Андриюшу, оторвав его от детей-малолеток. Брошенная дочь, которая пробивала себе путь. Все брошенные, наверно, такие. Катя Хавроньева бранила, поносила отца, но деньги брать у него не отказывалась, не стеснялась сегодня ругать, а завтра брать, общалась с ним. «Он мне должен», — говорила она. У Исаака с детьми всегда были хорошие отношения, потому что он с ними *дружил*, они не были брошены. Андрей и Катя и провели интригу против Бетти, добились, что ее перестали переводить и приглашать. Ух, как была довольна, наверно, эта мстительная Хавроньева, когда заочно клеветала и унижала ту, перед которой пресмыкалась, которой сватала своего любовника. Мерзин написал статью под псевдонимом, кажется, «Матадоров» доказывая, что Бетти Герилья плохо понимает русскую поэзию и лучше бы у русской поэзии не было таких псевдодрузей. Потом, уже под своей фамилией, написал письмо в Секретариат Союза Писателей (ей это письмо показали, когда она ходила хлопотать за Бетти), что, по случаю общаясь с аргентинской поэтессой Герилья, убедился в ее чуждости нашей идеологии, внутренней недоброкачественности, устарелости, о чем, де, говорит и статья в «Литературной газете» «Опоздавшая переводчица», что не чувствует она специфики нашей словесности, ее духа, потому и переводит в основном поэтов еврейской национальности и так называемого интернационального, космополитического по сути, направления, поэтому надо бы нам проявлять большую разборчивость, приглашая к нам в страну визитеров от лица писательского союза. Смысла и правды не было в этом письме ни слова. Но ему вняли. И перестали Бетти приглашать, переводить и печатать. Поверили на всякий случай, чтоб не допустить ошибки. Этому помогло, что Катя Хавроньева уже в ВОКСе кем-то работала, могла шепнуть кому надо и что надо. Она и шептала изо всех сил. Да, Бетти перестали приглашать. И печатать. А все из-за этого с фамилией на «М» и его любовницы, потом жены, Хавроньевой. А Бетти так распахнула им навстречу душу, так хотела помочь Андрею, так жалела Катю, помогла, да, это она помогла ей устроиться в ВОКС, чтобы не ходили сплетни по редакции, где они вместе с Андреем работали, а Катя устроила так, что обратила ВОКС в недругов Бетти. ВОКС — Всесоюзное Общество

Культурных Связей. А то, что речь идет только о зарубежных связях, стыдливо опускалось, в аббревиатуру заграничность не входила. Ни Катя, ни Андрей не упустили случая пнуть Бетти, печатно или устно, мимоходом бросив, что внимания эта средняя, лишенная реальной почвы и корней поэтесса не заслуживает. И эти нашептывания действовали сокрушительно. Как с этим бороться? О таком даже в письме Генеральному не напишешь. Ведь подлость у нас не наказуема. Никак не наказуема.

Она почувствовала, что из-под век выползают слезинки, но не было сил поднять руку, чтобы вытереть их. Пусть сами высыхают. Ей было до слез жаль дочь. Бетти перестали переводить. Хорошо хоть она может это делать. Но она может только подстрочник, нужен еще поэт, который мог бы это обработать. И где печатать?.. Она потеряла все связи. Разве что послать свои переводы Каюрскому в Иркутск... Он пишет, что у него есть возможность печатать книги. Может, и поэт там найдет, чтоб подправил ее перевод. И это только справедливо, что переводы Беттиных стихов напечатают в Иркутске, на родине ее отца, Федосеева.

Ее гнело воспоминание о первом муже. Если бы не Бетти, то ничего хорошего он в памяти о себе не оставил. Может, он что-нибудь натворил в последние годы жизни в Иркутске, а она не знает, и Бетти не пускают из-за него?.. Нет, вряд ли. Ни на что он не был способен, этот здоровый мужик!..

Она познакомилась с ним еще до тюрьмы. Молоденькой пропагандисткой. Он был рабочий: из сибирских казаков. Как его занесло из Иркутска в Юзовку? Она не помнила. Потом тюрьма, он тоже там. Он казался ей боевитей других. Сибирский казак! Будущий отец Бетти! Она виновата перед Бетти. Она не хотела, не хотела рожать. Дети мешают революционной борьбе. Да, тюрьма — это ее университеты. Там были товарищи из разных слоев. Но сибирский казак Федосеев был боевитей других, отличался, как ей тогда казалось, революционным поведением. Она была еще девчонкой, он уже зрелый мужчина. Да, он произвел впечатление на нее своей брутальностью, даже сама революционность его как-то сливалась с его мужскими качествами, казалось их продолжением. Его отправили на поселение на крайний Север, в деревню Сиурга Архангельской губернии. Она поехала к нему. В результате — рождение Бетти. Но не сразу. Вначале они

нелегально уехали в Малороссию, в Харьков, где им пришлось работать с солдатами. Что ж, работа в армии дала положительные результаты: произошло восстание саперов, они застрелили своих командиров, подняли красное знамя. Восстание подавили жестоко. Царские сатрапы. Многих казнили. Она раньше никогда не считала себя виноватой в этих смертях, потому что, хотя восстание и было подавлено, оно имело большое политическое значение. Знаменовало бескомпромиссную борьбу большевиков против царизма за дальнейшее развитие революции. Но теперь она вспоминала эти простоватые, хитромудрые, себе на уме лица и думала, что они-то хотели от восстания, наверно, чего-то другого, не политического смысла и значения, а конкретных улучшений жизни, но получили только смерть. Она ли в этом виновата? Но она ничего не хотела для себя! Если бы ее поймали агитирующей солдат, ее могли застрелить на месте. Но она была готова погибнуть за идею. Федосеев тоже во всем ее слушался и спрашивал совета, как ему говорить с солдатами, а она ему объясняла, тащила за собой, гордилась, что она, маленькая девчонка, может наставлять взрослого, да еще и любимого мужчину. Отца Бетти. Будущего отца. Только почему среди прочих своих вин она чувствует какую-то вину за этих, погибших за революцию солдат. В конце концов боролись две идеи: она была выражением идеи революции, и солдаты сделали свой выбор. Это ей сказал старый друг Машевич, когда заходил к ней вчера. Да, он к ней заходит, хотя и погиб еще в Испании, когда сопровождал транспорт с оружием. Он был влюблен в нее, но она не уступила, он так и остался товарищем по партии, верным другом. Когда она была информатором Коминтерна по Аргентине, он приезжал к ней в Буэнос-Айрес как представитель центра. Восхищался Бетти.

Бедная Бетти! Дитя революционного подполья! Поначалу нежеланное дитя! Они тогда были в Швейцарии, в Лозанне, где она вошла в состав заграничной группы эрэсдеэрпебе. Пребывание в заграничной группе требовало повышения политического уровня для активной работы в партии, требовало времени. Брак стал тормозом. Действительно, женщины-большевички не могли, как следует, участвовать в партийной борьбе, имея мужа и детей. К тому же Федосеев был туп к языкам. Она зарабатывала деньги и кормила его и себя. А так как она снова забеременела,



на сей раз выкидыша не было, она решила поехать к родителям и там оставить матери свое будущее дитя. Так она и сделала. Кроме того, ее чувства к Федосееву изменились настолько, что дальнейшая совместная жизнь стала невозможной. Он был здоровый мужик. Поначалу никак не решавшийся ее тронуть. А потом грубый и эгоистичный в постели. Только бы ему свое получить, не думая о ней. Ее физиологические ощущения его не волновали, он об этом не думал. Он даже не подозревал, что женщины тоже могут *желать или не желать*. Тогда она поняла то, что не хотела понимать, о чем запрещала себе даже думать, но все равно думала и знала: простой народ (даже рабочие) беспокоится только о себе, о своей пользе и выгоде, никакие идеалы его не волнуют. Она любила Федосеева. Когда он уехал в ссылку, она за ним. Там стала его гражданской женой. Поначалу была счастлива. Потому что любила. Но уже в Лозанне поняла, что разлюбила. Хотя была беременна, решила расстаться. Пусть лучше останется одна, но отношений без любви ей не надо. Говорят, любовь свободна. Но нет, любовь не дает свободы. Ты любишь одного, именно *этого* конкретного человека. А отношений без любви, нет, не надо. Это грязь. Федосеева она разлюбила. Тогда и сказала себе: пусть лучше будущий ребенок растет без отца. Это мещанские предрассудки, что должна быть семья. Семья оправдывается только любовью. Лучше уж так, без мужа, если нет любви.

Бедная Бетти! Росла без отца. Любила Исаака, как отца. Он тоже был к ней привязан. У него же не было дочери. Бедная Бетти! Младенцем все время кричала. У нее, ее матери, не было молока. А она про это не знала. Сердилась на крикливого младенца. Как только оправилась после родов, сразу связалась с существовавшей организацией русских эмигрантов «*Biblioteca russa*». Там были социал-демократы — беки и меки, эсеры и бундовцы. Полная идейная неразбериха. Она принялась за создание действительно революционной организации. Большевики победили. Ей это удалось. Но надо было зарабатывать на хлеб. Она не хотела сидеть на шее у родителей. Она всегда была самостоятельной. Зная французский с гимназии и помня немного испанский с детства, она быстро заговорила на языке. Кончила зубоврачебные курсы и устроила зубоврачебный кабинет. У нее была точная и твердая рука. Работала так, что могла содержать

себя, дочку и давать деньги родителям. Федосеев без нее чувствовал себя потерянным и приехал в Буэнос-Айрес. Она и его содержала. Но склеиться их отношениям было не дано. Даже ради Бетти. К тому же она влюбилась в Исаака. Она первый раз увидела его, когда он выступал в «Biblioteca rusa»: там обсуждались проблемы русской эмиграции. Ее поразили его блестящие, искрящиеся глаза, энергия и темперамент голоса. Выступал он очень интересно. Ей сказали, что Исаак Рабин — профессор геологии, ученый, драматург. Ей казалось, что интереснее этого человека она в жизни не встречала. Он тоже влюбился в нее. Это было мучительно, так как у него была семья: жена и трое детей, трое сыновей. Роман их тянулся около десяти лет. В конце концов он разошелся с первой женой и женился на ней. У нее уже был Владлен. Его она хотела родить. Владлен — это сын великой любви! Где он теперь? Что с ним? Почему не едет? Что-то с ним не в порядке, не смертельно, но не в порядке. Она это чувствует, но помочь не может. Если бы он влюбился, тогда она была бы на его стороне, а измену ради измены, ради адюльтера, ради того, чтобы сытно, по-европейски жить, нет, она не принимала.

Голова закружилась так резко, что помимо дурноты она испытала страх. Но переборола себя. Она не должна бояться. Хуже смерти ничего не будет. А в ее положении так ничего лучше смерти не придумаешь. Она открыла глаза, все плыло перед глазами. В горле были спазмы тошноты. Она попыталась протянуть руку, чтобы зачем-то взять стакан с водой, в котором лежали зубы. Протянула, хотя не могла понять смысл этого своего жеста. Пальцы слабо скользнули по стеклу. Стакан упал, вода вылилась на столик и закапала на пол. Зубы и вставная челюсть, по счастью, удержались внутри стакана. Хотелось исправить положение со стаканом, но сил не было, пусть уж лежит, как упал. Еще пучило живот, опять газы. Бессильная удержать их, она издала шумный протяжный звук. Животу стало легче. Все разладилось в организме, думала она, лежа навзничь на подушке. И ни туда, ни сюда. Не живет и не умирает. Как быстро человек привыкает к своему положению. Это унижительно. Но лучше не вспоминать молодость. Лучше и сегодня чувствовать себя молодой. А не кляклой старухой, которая ни туда, ни сюда. Она всегда чувствовала себя молодой. Она все делала сама до своей болезни: ходила в магазин, вызывала прачечную, мастеров для починки водопровода,

приносила хлеб и овощи, ездила в распределитель на Грановско-го за продуктами: Петя помогал ей тащить сумки с продуктами. А теперь ни туда, ни сюда. Еще недавно она сама себе стирала. Теперь же чувствовала себя униженной, что ее грязное белье приходится отдавать Лине. А от постоянно выходящих из нее газов белье грязное и плохо пахнущее. Почему она не получила мгновенной смерти? За что она так мучается? Ей стыдно, что она всем в тягость. Она привыкла помогать, а теперь всем в тягость. Ни туда, ни сюда. Она все делала сама, а теперь у нее нет пристанища. Она никому не нужна. Убежать бы, да куда?.. Некуда. Где Владлен? Сын великой любви! Почему он не едет? А она ни туда, ни сюда! Ждет. Пусть принесут ей искупительную жертву! И она спокойно умрет. Хочу, чтобы урну с моим прахом захоронили в могиле моего мужа И.М. Рабина. Это надо завещать. Хорошо бы, чтоб дочь скорее приехала. Ее не пускают бюрократы и негодяй Кобовилья. И негодяй Мензер со своей Катей. Тоже негодяйкой, подлым существом. Хорошо, что она решила преодолеть бюрократов и написала письмо Генеральному секретарю. Он поможет. Надо бы скорее сообщить об этом Бетти.

Она медленно привсталала, чувствуя слабость и головокружение от долгого лежания, от духоты и бессонницы. Несмотря на хорошие снотворные, которые Лина давала ей аккуратно, она не спала все равно часов до трех, только лежала в полубессознательном состоянии, не спала и не бодрствовала. Ни туда, ни сюда. Раз не спится, лучше уж встать, написать письмо дочери. Сообщить ей, что Леонид Ильич все знает и поможет. Наконец, она села в постели, спустив ноги на пол. Рубашка и халат сбились. Она сидела устало и понуро, рассматривая в который раз сморщенные, вялые ноги. Почему так беспощадно стареет плоть? Ведь все время делала зарядку, гимнастические упражнения, старалась быть в форме... Как же подкралась старость, слабость?.. Будто и молодой не была. Поводив из стороны в сторону головой, чтоб размять шею, сумела подняться, одернула рубашку, запахнула халат, тяжело подошла к столу. Движения были неловкие, но все же листок бумаги она не уронила, сняв со стопы чистых листков, положила на стол. Тяжело плюхнулась на подушку, лежавшую в кресле, нажала пуговку настольной лампы, зажгла свет. Сняла колпачок с авторучки. Придерживая правую руку левой, чтоб не дрожала, начала писать:

*«Дорогая любимая доченька!*

*Вот я и пишу, хотя правая рука болит, но видишь, я пишу. Пришлю на твой адрес приглашение. Генеральный секретарь обещал помочь. Ты береги себя, чтобы могла приехать. Пришлю на твой адрес приглашение. Ты береги себя, чтобы могла приехать. Билет я вышлю на твой адрес. Хотя правая рука болит, но я могу писать. Билет я вышлю на твой адрес. Я думаю, стоит ехать весной. Я бы хотела, чтобы приехал твой муж, но это, очевидно, невозможно. Ты береги себя, чтобы могла приехать. Ты говоришь об инфляционном уровне, но больше ни о чем не рассказываешь. Как у тебя отношения с партией? Ты ни о чем не рассказываешь. Жив ли еще Кобовилья? Ты ни о чем не рассказываешь. Наверно, так надо. Я уже ушла от жизни и не знаю, что и как. Как будто борьба за мир имеет успех. Приезжай в конце апреля или в мае. Когда у нас уже тепло. Теперь больше не о чем распространяться. Будьте здоровы. Обнимаю и целую вас. Мама. 18 октября 1983 г.»*

В голове вдруг что-то сверкнуло, точно молния пролетела, и от боли она минуты на две потеряла сознание, откинувшись на спинку кресла. Сколько она так просидела, она не заметила. Ей ничего не чудилось, полный провал. Только когда стала приходить в себя, перед внутренними ее глазами поплыли какие-то красные тени, будто перистые облака или фигуры, они удалялись от нее. Очнувшись, она услышала хлопок входной двери, и непонятно ей было: очнулась от хлопка или услышала дверь, очнувшись. Очевидно, пришел Петя. Но к ней почему-то не заходит. Она посмотрела на лежавшие на столе маленькие часики. Ого! Десять минут второго. Внук думает, что она уже спит. Они все всегда думают, что ночью она спит и не мучается. Пока она не начинает кричать. Тогда они прибегают, думая, что у нее приступ болей. А ей просто плохо и одиноко. Но почему он так поздно? Это тревожно. Он был с женщиной? Со своей девушкой? Но она чувствовала, что другое нечто тревожит ее. Ополумевшая Лина рядом с девственником Петей. Это опасно. Она знает женские сумасшествия. Она должна следить за ними и помогать. Бедная Лина! Бедная Бетти! Но у Бетти есть муж, Луис. Он рядом с ней. Она не одна. А Лина одна. Хоть Тимашев и любит ее. Она такая беспомощная. Он живет с нелюбимым человеком, с женщиной, которая стала ему чужой. А Лина ничего

не может поделаться. Она слишком нервная. С самого детства. Ее мать, эта дура Алевтина, совершенно не занималась дочкой.

Она тяжело вздохнула и провела рукой по лицу. Ей не хотелось даже вспоминать Алевтину, эту путану. После ареста Карла Исаак взял к ним в квартиру свою беременную невестку. Родилась Линочка. Алевтина спрашивала у нее, как назвать девочку, и ей в угоду назвала ее Лениной. Хотя такого подхалимажа никто не требовал. Да и Карл Бицын был назван не только в честь Маркса, у него было тройное аргентинское имя: Карлос — Оскар — Сальвадор. В России он, разумеется, носил одно. Алевтина хотела жить с ними, в квартире свекра-профессора. Так бы оно и вышло, и хотя, конечно, возвращение из армии Владлена, рождение Яши, — все это осложняло ситуацию. Но Алевтина не оставляла попыток снова выйти замуж. Особенно активно принялась за поиски мужа, когда узнала, что Карл погиб в лагере. До этого у нее были любовники, как она подозревала, но тайные, скрытые. Вечно она где-то пропадала, на Линочку времени у нее не хватало. А потом и вовсе озверела. Пыталась даже своих мужиков домой приводить. На Исаака жалко было смотреть. Все свои матримониальные дела Аля устраивала так грубо, неумело, без любви, что противно было. В конце концов у них была комната с Линочкой в коммунальной квартире. Она понимала, что Исаак никогда не предложит Алевтине съехать, хотя его уже корежило, когда он ее видел. Но он любил Линочку, она была смышленная девочка и напоминала ему Карла. Пришлось ей поговорить с Алей. Та плакала, обвиняла ее в жестокосердии, в жадности, в бесчувственности, но все же уехала.

Перебралась к Алене Алексеевне. И жаловалась всем встречным и поперечным, что ее незаконно выселили, говорила, что если дело до суда дойдет, то суд разберется. Исаак переживал, она успокаивала его, просила не обращать внимания на Алевтино злобство, а сама ежемесячно переводила по почте пятьсот рублей старыми деньгами, пока Линочке не исполнилось восемнадцать лет. И делала это и после смерти Исаака. Не ужились Алевтина и со своей настоящей свекровью. Алене Алексеевне тоже было неприятно смотреть, как гуляет и ищет мужа вдова ее сына. И снова Аля всем жаловалась, а Ирине, Владленовой жене, почему-то больше всех. Догадываясь, наверно, что после смерти Яши та в контрах со своей свекровью. Аля терроризи-

рвала бедную Алену Алексеевну, так что пришлось вмешаться среднему сыну Алены и Исаака Мише и выселить Алевтину по месту прописки: в коммунальную квартиру. Тогда Аля закидала Ирину жалостливыми письмами. Надеялась, наверное, что Ирина разжалобит Владлена, а тот, в свою очередь, подействует как-то на Мишу. Но Миша был кремень. Она усмехнулась и, порывшись в связке писем, достала случайно попавшее к ней, хотя адресованное Ирине, письмо Алевтины. Так оно и застряло у нее в бумагах.

*«Для всех родственников мы стали чужие, дорогая Ирочка, — читала она Алевтиныны каракули. — Ну, ничего, переживем. Почему-то только тебе, дорогая Ирочка, хотела вылить то, что есть на душе. Ты тоже, страдаешь от жестокости Розы Моисеевны. И плачешь о твоём маленьком Яше. Я сама о нём плачу. Если бы ты только знала, как мне тяжело на душе, вот пишу и плачу. Была у своей мамы, дома дела плохи, живут впроголодь, сестра вышла замуж, муж заболел, лежит в больнице, брат без работы, невестка без работы. Кругом нищета, и я помочь тоже уже не в силах. Исаак Моисеевич помогает, но денег все равно не хватает».*

Помогала-то она, а не Исаак, он был в житейских делах совсем беспомощный, но Алевтина не хотела быть ей благодарной. Ее дело, дело ее совести. Она читала дальше:

*«Миша послал маме письмо, предлагает маме взять меня к себе, в письме написано много того, что не соответствует действительности о моем поведении с мужчинами. А что делать? Я же одинокая женщина. Второе письмо было от Алены Алексеевны, которая подала на меня в прокуратуру о выселении меня с ее площади и заявила на работу, что она под старость лет хочет покой и жить одна, и что я имею комнату в коммунальной квартире и не хочу уезжать. Если б она знала, какие там ужасные соседи! У меня нет дома, где бы меня не трогали и я могла жить, как хочу. О милая Ира, какие они все несправедливые ко мне! Возможно, найду, вернее, сниму комнату за городом и дам всем покой, но вот Линочку жалко, ей будет далеко ездить в школу, а учится она прекрасно. Миша на меня так кричал, грозил, что выгонит меня с работы, сделает все, чтобы маме был покой, она всю жизнь хочет жить*

*одна, и он этого добивается и добьется. Со мной они не разговаривают, а соседям и маме пишут столь неприятные письма, что, конечно, тебе не описать. Да, я теперь убедилась, что Роза Моисеевна и Миша из себя представляют. Это ангелы в чертовой шкуре. Ириша, я тебя очень прошу: это письмо прочти и порви, не показывая никому, т. к. никому не интересно оно, да и тебе, родная, не интересно, но с тобой я просто делюсь. Я знаю, что ты меня поймешь. Береги свою фигуру и цвет лица. Мужчинам мы интересны, пока хороши. Владлен — не исключение. Крепко целую. Аля».*

Она положила письмо на место. Нет, она правильно сделала, что настояла, добилась, чтобы Алевтина из их квартиры уехала. Надо было охранять покой Исаака. Это письмо было ей оправданием, ведь даже добрейшая Алена Алексеевна была вынуждена обращаться в прокуратуру, чтобы выселить невестку. Да, правильно. Но Линочку было жалко. И она никогда не порывала с ней связи. А все-таки смешно, что Алевтина назвала ее и Мишу «ангелами», хоть и в чертовой шкуре. Хотела, видимо, наоборот написать: черт в ангельском одеянии. Но, грубая и безграмотная, спутала с пословицей «волк в овечьей шкуре», а кроме «шкуры» другого слова в голову ей не пришло.

Алевтина почему-то напоминала ей хамоватую вокзальную тетку со множеством мешков, садящуюся на первое свободное место на лавке в зале ожидания, которая постепенно вытесняет всех остальных и в конце концов располагается на лавке с ногами и мешком под головой. Была в Алевтине грубая недалекость, варварское неумение увидеть дальше своего зоологического интереса. Конечно, это характерно для всех нецивилизованных людей. Она подумала, что дикость яснее всего проявляется в общественных местах. В метро она часто злилась, когда кто-нибудь вдруг останавливался в проходе и начинал озира́ться или разговаривать с приятелем, мешая другим идти. Или когда в дверях магазина, вагона метро, электрички, автобуса какой-либо тип старался поскорее войти, не давая выйти. Она, глядя на такое, ничего не видящее перед собой существо, всегда старалась вразумить его, повторяя постоянно: «В цивилизованном обществе вначале дают выйти, потом входят». Но ее не слушали, *пёрли*, сметая ее, потому что у варвара одно на уме: «Мне надо!» *Другого* человека он не видит. Мне!.. С пустотой в глазах. Эти существа

нуждались в воспитании. Она знала эту свою особенность — поучать, как надо жить. Хотя понимала, во всяком случае догадывалась, что ее поучения только злят тех, к кому она обращалась, видела их перекошенные от тупой обиды физиономии. Они умеют слушать только себя. Таким нужен кнут. Варварскими методами искоренять варварство. Все же в буржуазной Европе бытовая дикость и хамство были преодолены.

Ее дети, что бы о них другие ни говорили, были воспитанными людьми. И ей казалось, что и от внуков она вправе требовать цивилизованного поведения. Что ж, они стараются. Только Лина срывается и кричит на нее. Это можно простить. Бедная Линочка! При такой матери росла! Бедная Линочка! Она всегда была нервным ребенком. Ей и сейчас плохо. Лина тоже несчастная, как Алевтина. Но она лучше. Она бедная. У нее с детства были неврозы. То она безумно боялась кошек, то бесконечно таскала их в дом, мыла, чистила, тискала, гладила, спала с ними. А поддегивание нижнего белья!.. Все-то оно ей резало и мешало в разных местах, и длилось это лет до двенадцати: она, могла прямо среди улицы задрать юбку и начать поправлять трусики. Это очень раздражало Алю, она говорила девочке гадости насчет писки, которую она всем показывает и все в этом духе. А это ее теперешнее сидение с сигаретой, уставившись в одну точку. Хотя нет, это не нервы, это любовь. Это она из-за Тимашева так... Но в стране развитого социализма не должно быть несчастных. И задача каждого настоящего коммуниста — вовремя выявлять их и помогать им. Но для этого надо встать и пройти на кухню. Если она позовет Лину и та придет, то, может, будет как всегда раздражена. Тогда разговора не получится. Да, она звала, она кричала. Потому что не хотела умирать всеми оставленной. Не от страха боли. Боли она не боялась.

Она вспомнила, как сломала себе правую руку. Не так давно, кажется, это было. Исаак любил, чтоб все было чисто, чтобы всюду была вытерта пыль, и она следила за этим. Это было ей легко, пока она была молодой. Особенно много внимания требовали книги. И она всегда сама протирала книжные полки. Как-то уже после смерти Исаака (или он просто в тот момент куда-то уехал, как сейчас Владлен?..) она полезла на книжные полки — по привычке безо всякой стремянки. Но сказался возраст!.. Она упала. А полки под самый потолок — четыре метра! Она



посмотрела на идущие во всю стену полки с некоторым восхищением собой. Кстати, эти полки она тоже сама заказала, Исаак был непрактичен, и, хотя любил удобства, квартиру благоустроивала она. Да, сверху она и упала. Но даже не вскрикнула, не стонала, не кричала, сама дошла до дивана, легла, а потом на шум прибежал Владлен, сидевший на кухне с Ириной, которая считала, что раз свекровь не кричит, то нечего и неотложку вызывать. Но Владлен все же вызвал, и оказался перелом кисти. Зажило, все срослось, на ней все заживает быстро. Только сейчас она — ни туда, ни сюда. Теперь ей страшно влезть на стул, чтоб открыть форточку проветрить комнату, хотя в комнате тяжело дышать. Лину для этого звать не хочется, ни к чему ее недовольство. Лину раздражают ее идеалы, ее вера в крепость социалистических идей. Сама она ни во что не верит, отсюда все ее несчастья. Любовь должна сочетаться с делом, с деянием, с борьбой во имя осуществления идей.

Она попыталась подняться. На лбу и по всему телу выступила испарина от слабости. Неужели пришла смерть? Нет, смерти она не боялась. Коммунисты не боятся смерти. Лафарги, когда дожили до семидесяти лет, по взаимному согласию вскрыли себе вены. Поль и Лаура, дочь Маркса. Это, конечно, чересчур. Но надо трезво смотреть на свою ситуацию. Поэтому она должна срочно, пока она еще может, передать свой опыт, объяснить Лине и Пете, как им жить. Поддержать Лину. Она же пропагандист, она всегда наставляла, она это умеет. Если она не делает это сейчас, то завтра может быть, будет поздно. Они так и не узнают, не поймут, как правильно жить. Она сумела выработать достойное отношение к миру, отношение борца. Она жила честно, верная идеям раз и навсегда принятого марксизма-ленинизма. Пусть они живут также. Живут, служа идеалу, а не в свою утробу, как большинство. А у Лины еще и несчастная любовь. Как ей помочь?..

Она снова попыталась собрать остаток сил и подняться. Она должна преодолеть свою проклятую слабость. Если не она, то кто поможет внучке Исаака, а стало быть, и ее внучке! На сей раз ей удалось встать. Ее пошатывало, но она крепко вцепилась в спинку кресла и устояла. Подождала, пока пройдет приступ слабости. И медленно нерешительно, переступая ногами, поводя в воздухе руками, как канатоходец, вышла из комнаты.

Только в коридоре вспомнила, что забыла вставить челюсть. Значит, будет шамкать. Но вернуться за зубами не было сил. Она продолжала идти, держась за стену.

Лина сидела за кухонным столом, опустив голову. Руки на столе, пальцы сплетены. В пепельнице лежала горящая сигарета. Видно, Лина давно не затягивалась: на кончике сигареты вырос длинный столбик пепла. Вид у Лины был несчастный, потерянный, одинокий. Заблудившаяся маленькая девочка!

— Ты слишком много куришь. Это вредно для здоровья.

— Зачем вы встали, Роза Моисеевна? Уже ночь! Что-нибудь случилось? — приподнялась было Лина.

Но лицо ее все равно оставалось бледно-желтого цвета.

— Сиди. Курение — это вредная привычка. Ты не маленькая, должна это знать, — высказывали совсем не те слова, которые она хотела произнести.

— Я пришла поговорить, — добавила она. — О жизни.

— О моей жизни нечего говорить. Не вижу необходимости, — сказала Лина, глядя в стол.

— О-о, как ты не права. Ты еще многого не понимаешь. Здоровье дается только один раз, — ей было трудно говорить без челюсти, щеки проваливались в рот и мешали ей.

— Кому какое дело до моего здоровья! — подняла Лина свои длинные выщипанные брови, раздула свои ноздри уздечкой. — Да хоть бы я совсем померла — только лучше бы было. Никому я не нужна. И Илья бы не мучился.

Надо внучке мудро ответить. Чтоб поняла. Она подняла палец:

— Человек создан для счастья, как птица для полета. Ты должна это знать. Революционеры умирали за счастье своих детей. И внуков. Им не нужно было личного счастья. Поэтому вы должны, обязаны быть счастливы.

— Вашими молитвами!.. — грубо ответила Лина, не поднимаясь.

Ей тоже пришлось сесть, чтобы не упасть:

— Как ты груба! А я хочу, чтоб ты жила с идеалом в душе, идеалом коммунизма!.. В наше время мы не только любили, мы боролись, боролись за свободу трудового народа.

— Хороша свобода! Да вы шагу ступить не даете без нотаций и замечаний!

— А тебе в таком случае свобода и не нужна. Без руководства и без помощи ни один человек не может жить. Для чего тебе свобода? бездельничать? Мы свободу не для бездельников завоевывали, а напротив. Для людей труда.

Лиана взяла недокуренную сигарету, стряхнула пепел, затянулась, выдохнула дым:

— Отчего же так строго? Свобода есть свобода. А как я ее буду реализовывать, никого не должно касаться. Если мне и в самом деле предоставлена свобода. Может, я сопьюсь и умру под забором. Но это мое дело, я свободна. А может, я весь день на тахте пролежу и в носу ковырять буду!..

— Это ты умеешь.

— Ну и что? Я не хочу бороться! Я хочу простого бабского счастья. Вот и все, что я хочу.

Это было пошло сказано. Она никогда не любила разговоров о бабских проблемах. Бабские страсти всегда шокировали ее. Исаак не зря говорил ей: «Роза, ты каменная! Роза, ты железная!» Она всегда была выше бабства. Но сейчас на ее каменность Лиана не хочет опереться! Бедная Лиана! Бедная Бетти! Как бы она хотела всем помочь, но не может.

Лиана вдруг заплакала, погасив сигарету:

— Я дура! Я его потеряла. Бабушка, что делать? Как мне быть?

Сердце потеплело. Лиана назвала ее бабушкой. Бедная девочка! Ей плохо. Она должна ей помочь. Надо подойти разумно. Если у Лианы с Тимашевым любовь, то нужны решительные средства, чтоб ее спасти. Ведь, наверно, Илья уже не любит свою жену. Что может быть хуже, чем жить с нелюбимой!.. Она это знала. Надо принимать решение быстро и правильно, по-большевистски.

Лиана продолжала плакать, даже не плакать — реветь, размазывая слезы и вздрагивая всем телом:

— Бабушка, я так несчастна! Он не вернется. Мужчины не любят, когда им говорят «нет». Я плохая. Не знаю, что со мной случилось! Что мне, жалко что ли было ему уступить! Да ничуть! Чего жалеть-то! Моя душа — его. Тело жалеть? Хоть бы кто его забрал — мне все равно! Я не уступила любимому, когда мои подружки трахаются почти что с первыми встречными. Кто теперь меня приласкает, пожалеет?.. Кого я приласкаю? Никому я не нужна. Никому.

— Линочка, пожалей себя. Я подумаю, что сделать.

— Что мне себя жалеть! Для кого? Я конченная.

— Ты не должна так говорить. Все преодолимо, — говорила она, с трудом шамкая беззубым ртом. Кожа на голове была потной от слабости. Волосы, она чувствовала это, слиплись.

— Бабушка! а вы были счастливы?

— Да-а, — сказала она нараспев. — Я была счастлива. Борьбой за счастье других людей.

— А с дедушкой вы были счастливы?

— О-о! Это была великая любовь! Я не могла жить без него! И все равно я не хотела, чтобы он уходил из семьи. Но он не умел лгать. Твой дед считал постыдным, любя одну, жить с другой. Мы с Исааком были товарищи по борьбе. Он ведь тоже стал членом партии. Любовь окрылила нашу борьбу. Надо уметь любить...

— А я не люблю?!

— Не суди по себе, — эта глупышка не понимает, что у них с Исааком все было другое. Другое небо, другое — знойное! — солнце, зеленый океан, изнуряющая жара и прохлада парков, фонтаны на городских улицах, разговоры о смысле жизни, о предназначении человека — отдать свою жизнь за угнетенных! Все, все другое. — Это была великая любовь! — снова повторила она. — Я не хотела, чтобы Исаак бросал семью. И тогда он ушел из дома и несколько лет жил один. Ему было плохо и трудно жить одному. Тогда я его пожалела и вышла за него замуж, — как Лина может даже сравнивать свою и их жизнь! Они по-другому жили! — А ты живешь не так. Ты живешь пошло и ненужно. Поэтому не умеешь любить по-настоящему, жертвовать собой ради любимого человека.

Она сказала это, исполнившись вдруг жалости к себе. И осеклась. Все не то она сказала. «Тебе надо выйти замуж за Тимашева», — вот что она должна была сказать. Она же шла помогать, спасать. А стала упрекать. Это неправильно. Лина сейчас обидится и не будет дальше ее слушать. И она не сможет помочь. Так и есть. Лина поднялась, оперевшись своими смуглыми руками о стол, ее красивое лицо стало уродливым, когда она говорила зло:

— Это не моя жизнь, а ваша прошла напрасно и бессмысленно. Вы никому добра не принесли. Кто вокруг вас? Никого!

Эти слова показались ей вдруг такой ужасной правдой, что она, ничего не видя, чувствуя только головокружение, темноту в глазах, наизусть двинулась к двери, к выходу. И медленно, внутренне вся оседая, съеживаясь, уходя в небытие, поплелась по коридору в свою комнату. Вдогон летели жалкие слова:

— Роза Моисеевна! Бабу... Извините! Что с вами? Вам помочь?

Хватило сил громко ответить:

— О-о! Оставь меня в покое! Дай мне умереть. Что тебе еще надо? Оставь меня! В покое оставь меня!

И плотнее закрыть за собой дверь. И не обращать внимания на подлое и трусливое испуганное царапанье Лины за дверью. Не удивляться, почему не вышел из своей комнаты Петя. «Я его понимаю. Ему все надоело. Тяжело ухаживать за больной старухой! О, никто не хочет принести мне жертву! Кто виноват, в том, что я никак не умру?! Почему вокруг никого не осталось? Почему я никому не могу, не умею помочь?! Что делать? Только умереть. Проклятая смерть! почему ты не приходишь за мной?»

## Глава XVII

# Ночные страсти

Оба несчастны они...

*Овидий. Метаморфозы. Кн. 4.*

**О**н шел вдоль шоссе, потом свернул к дому. В ночной тишине был слышен затихающий вдали лязг трамвая. Фонари горели тускло, в неполный накал. Ветер к ночи немного приутих. Было темно и жутковато, и Петя невольно ускорял шаги. В полумраке его крепкостенный, кирпичный дом казался неприступной громадиной. Дом, построенный из кирпича, который обжигали эки, как какие-нибудь рабы, что добывали и обтесывали в каменоломнях тяжелые камни для постройки древних крепостей. И черные железные пожарные лестницы, тянувшиеся от первого этажа до последнего, пятого, довершали сходство дома с крепостным сооружением. Железные лестницы на скобах — это запасной выход. Впрочем, выход мог оказаться и входом, лазом для врагов: грабителей — домушников, форточников и прочей нечисти. Поэтому — из предосторожности — нижние пролеты лестницы были забиты досками. Но ведь для проникновения внутрь дома возможна еще и *измена*. Кто-нибудь может оказаться на стороне врагов...

Петя быстро посмотрел на противоположный дом, на окна четвертого этажа, где жила Саша Барсикова. Окна были темные, пустые, их хорошо было видно над кустами и деревьями, росшими во дворе и разделявшими дома. Наверно, никакие бандиты не приходили, успокоил он себя, ведь во дворе тишина и спокойствие, все спят, да и бумажку с Сашиной запиской он сорвал. А вдруг она нечто похожее и в других местах налепила?.. И в ограбленной квартире сейчас лежат зарезанные Саша, ее бабка и тетка... Сердце заколотилось, и, чтоб преодолеть свой страх, он сказал себе, что как всегда преувеличивает, что не надо поддаваться своей трусости, что все-таки ничего *такого* произойти не может на самом деле. И тут, словно в назидание, почудилось ему, будто мелькнула в темных кустах, окружавших газон, физиономия Юрки Желватова,

будто подмигнул он ему, улыбнулся — зубы забелели в черноте ветвей — и опять в глубь кустов отступил, приглашая Петю шагнуть следом. Но ни слова видение не произнесло, поэтому сделал вид Петя, что ничего и никого не увидел, и, обмирая, почти добежал до своего подъезда. Захлопнул за собой дверь и ясно понял, что померещился ему Желватов. Но сердце все равно билось сильно, и страх по-прежнему сотрясал его тело. Он постоял, успокаиваясь. Чего испугался? Не того, что Желватов ему плохо сделает, а того, что потребует свидетельствовать в свою пользу, а он не осмелится сказать ему в лицо: «Ты — преступник». А еще и помогать будет.

От сознания собственной трусости Петя почувствовал себя несчастным. «Хорошо хоть, что об этом никто не догадывается», — подумал он. Может, будь рядом отец, которому не стыдно повиниться в своих ощущениях, рассказать о них, он успокоил бы его, объяснил, как себя надо вести, научил преодолевать страх. Но отец был далеко, отец оставил его, не думает о нем, забыл, как забыл о собственной матери: пишет мало, звонит редко. Оставил бабушку на Лину. Но у той хоть Тимашев есть.

Он тихо отпер дверь, чтоб никого не разбудить. Лина, однако, еще не спала. Она выглянула ему навстречу из кухни. Вид у нее был усталый, измученный и мрачный, в правой руке она держала незажженную сигарету. Пете хотелось избежать беседы. Слово почувствовав его настроение, она спросила суховаго:

— Это ты? Как спектакль?

— Нормально.

— Чаю не хочешь?

— Нет, я спать пойду. Завтра сочинение.

— Ну иди. Правильно. Правильный ты мальчик.

Слова эти прозвучали обидно, но Петя постарался не обратить на них внимания, открыл дверь в свою комнату, шагнул туда, с глаз долой, будто в самом деле спать решил, и дверь захлопнул, отгородился. Быстро снял костюм, переоделся в домашние брюки, и только тогда, уже окончательно почувствовав себя дома, в безопасности, вернулся мыслями к прошедшему вечеру и задал сам себе вопрос: «Почему я не остался с Лизой? Может, я шизофреник? Так боялся, так всего трусил, что не заметил ее *желания провести со мной ночь?* . . . Почему я сбежал от ее порога? *Этого* тоже испугался?» А Лиза бы ему помогла. Она его любит. Она бы пожалела его, раз нет с ним ни матери, ни отца. Хотя Лиза насмешница, утешать

не умеет. Лучше он навсегда останется девственником. Говорят, что девушка в первый раз теряет много крови, что *это* — как рана. И не всякий, даже *опытный* мужчина сладит с таким делом...

При мыслях о Лизе ночное возбуждение, которого он раньше никогда в такой степени не испытывал, вдруг охватило его. Члену в штанах стало тесно, он пытался распрямиться, а Пете ужасно захотелось расстегнуть пуговицы, выпустить его наружу и потрогать рукой. Чтобы избежать искушения, он сел на диван около тумбочки и вытащил из-под стопки книг свой дневник — толстую тетрадь в коричневом ледериновом переплете. Петя вел дневник уже почти год, решил когда-то, что, как и положено великим ученым, он должен заниматься самонаблюдением, чтобы преодолеть душевные неурядицы и нравственно и интеллектуально расти. Он посмотрел свои последние записи, надеясь образумиться.

18/IX

*Читал вчера Б.Г. Кузнецова об Эйнштейне. На очереди — Леопольд Инфельд о Галау. Предшественников надо знать. Читая историю таких жизней, понимаешь, что необходимо непрерывно учиться, необходимо жить наукой, чтоб и о тебе такое могли написать. Звонила Лиза, что купила Цветаеву. Очень мило хвасталась: «Умри от зависти!» Поддразнивала. Не знаю, как быть с Лизой. Временами мне кажется, что она мне нравится. Но после этих моментов, когда я вспоминаю, как держал ее под руку, а она ко мне прижималась, я сознаю, что больше всего мне нравится власть над женщиной. «Вот могу с ней делать, что хочу». И это — одновременно с глубочайшим уважением к ней, к ее уму и таланту. Не понимаю. Просто подло.*

27/IX

*Разливался соловьем перед Лизой. Почему-то хочется казаться около нее очень умным и поглощенным мировыми проблемами: быть может, чтобы объяснить как бы между прочим — почему убегаю от нее, почему редко встречаемся. Говорил сегодня примерно следующее. Когда какое-либо мировоззрение объясняет мир лучше, чем другие, то владение им дает преимущество перед современниками. Но мир глубже любого учения, и вскоре человек, объяснивший прежнее состояние мира, не может, вернее, не он сам, а его учение, не может объяснить теперешнее. Однако ученый, объяснивший мир на прошлом этапе, не*



становится ниже объяснившего мир сегодня. Как пример: Ньютон и Эйнштейн. Оба равно ценны для науки. Просто изменился круг проблем и загадок, загадываемых природой. Старые разгадки работают в старых областях, в новых — нужны новые. И задача в том, чтобы встать на вершину современного знания. Только тогда можно увидеть новые проблемы и открыть новый этап в науке. «Ты у меня будущий Эйнштейн», — сказала Лиза, но также сказала, что слово «этап» напоминает ей выражение «путь по этапу». Надо следить за своей речью. Лиза тонкая и помогает мне в этом. Но все равно ученому нужно жить в «башне из слоновой кости», изолированно.

13/Х

Нужно жить не по наитию, как живет Лиза и как я начал было жить, а на каждый день ставить себе цель и достигать ее. Это необходимо как математическая аксиома — такая напряженность жизни. Стараться не отвлекаться мыслями о постороннем. Не думать все время о своих отношениях с Лизой. Не читать ради чтения, а учиться. Учиться всему, что видишь. Нужно овладеть мастерством мыслить и разнообразными знаниями. Больше слушать. Прежде чем говорить что-либо ученое, проверить, достаточно ли я компетентен в этой области. Все, о чем хочу говорить — прежде изучать. Не спорить ради спора. Изучать глубь предмета. Когда уверен, что понимаешь причину и можешь ее показать и разъяснить, только тогда говорить.

Человек думает о себе так, как о нем думают другие. По большей части так. Нужно иметь о себе действительно собственное мнение. Но оно будет таким только при условии, что я буду выполнять все вышеперечисленное. Лиза считает, что я влюблен в Лизу. И Таня Бомкина тоже. А я не знаю. Не могу понять, нужны ли мы с Лизой друг другу. Ведь люди дружат или любят, пока они нужны друг другу. Пока один дает другому мысли или чувства. Есть натуры эмоциональные и мыслящие, рациональные. Я, наверно, рационалист. Лиза права, это мой недостаток. Но должна же быть между нами какая-то духовная связь помимо того, что мне хочется ее обнимать и целовать. Чтобы быть честным: мне просто хочет с ней. Без любви это безнравственно и пошло. А мне иногда кажется, что я ее люблю, а иногда, что нет. Как на самом деле — не пойму».

Это была последняя запись. Он закрыл дневник и спрятал его на прежнее место. От слов «хочется ее» он снова почувствовал сексуальное возбуждение. Перебарывая себя, он вышел на балкон. Было не холодно, но уже прохладно. При виде пустынного, словно неживого двора его, как всегда, охватило чувство незащитности перед жизнью. А такое чувство не способствует мужской потенции. Под балконом неяркий фонарь светил на лавку, стоявшую перед его подъездом, где тоже часто сидели старухи. Дальше — под деревьями и густыми кустами — прилегла на газоне большими пятнами темнота, которая, казалось, слегка колыхалась от несильного ветра. От темноты, пустоты и прохлады воздух был как-то особенно чист и свеж. Никакого Желватова, да и вообще никакого движения в кустах не наблюдалось. Значит, и в самом деле привиделся. От напряжения нервов. В доме напротив, где жила Саша Барсикова, как обычно горело окно. Одно и то же окно. Как-то Лина с засидевшимся допоздна Тимашевым, разгравшись, предположили, что наверняка за этим окном сидит сошедший с ума профессор кислых щей и, шевеля губами, решает, сколько будет дважды два. Четыре... Пять... Шесть часов размышляет он, но решения все нет. Петя вспомнил, что эта шутка их тогда развеселила. Но сейчас он еще больше погрустнел. Где-то, вне освещенного пространства, таились нелюди, нежить, для которых человеческая жизнь ничего не стоит. Он подумал о своих бесконечных детских болезнях, о смерти старшего брата Яши, которого он никогда не видел и чье существование стало для него своего рода мифом, и ему в голову пришло, что хулиганы, нелюди, разбойники сродни тем болезнетворным силам, микробам, которые разрушают организм человека. Как от них спастись?

Должна быть внешняя ограда. Работа, положение, общественное признание, дом. Лучше всего свой, и за забором. За стеной. Великая китайская стена не случайно возникла. Налетали из степи дикари-кочевники, надо было отгородиться. Но там весь народ, как один человек. А у нас получается, что каждый за себя. Никто на помощь не выскочит. Лучше всего свой дом. Крепостная стена и подъемный мост. А то, как у Герца, — кирпичом по башке — и привет. Чего другого ждать: первый этаж, и хозяин квартиры — в сущности никто и звать никак. Какое у него звание? Учитель? Это не защита. Потому Желватов и осмелился. Но как же он, разговаривая утром с Юркой, не почувствовал, что

тот и взаправду может убить? Наверно, Желватов и не собирался тогда убивать. А просто перешагнул барьер, которого, наверно, даже и не заметил. *Ценности жизни* для него не существует. Нет в России этого чувства. Мы не европейцы, прав Тимашев. Хотя оказалась же возможной у нас теоретическая физика, а ведь Макс Борн пишет, что это тоже специфический продукт Европы, ее порождение. Но в Европе всегда умели защищать человека. Чтобы быть свободным ученым, физиком-теоретиком, надо быть защищенным. Чтоб ум был занят наукой. И ничем иным.

Петя почувствовал озноб. Затем услышал вдруг, как хлопнула бабушкина дверь. Через пару минут с кухни донеслись ее слова, слова Лины в ответ. Кухонное окно было на той же стороне, что и балкон, на котором он стоял. По сути дела он присутствовал при их разговоре. Но он старался их не слушать, думать о своем. В детстве, да и сейчас порой, он любил воображать, стоя на балконе или во время гулянья становясь на ступеньки запертого и забитого изнутри парадного подъезда, что вот их дом отрывается от земли, плавно взмывает в воздух — и летит. И под ногами у него не тротуар, на который только шаг шагнуть, а воздушная пропасть, сотни метров пространства, а он может вниз посмотреть, ногой над пропастью поболтать, но никто с земли, никакая нечисть его не достанет. Он — в небе. И весь их многоквартирный дом — не просто дом, а воздушный корабль, летающая крепость, на которую никто не может посягнуть. Одновременно и небесный странник, и уютное, обжитое жилище, дом, с горячими батареями, ванной, теплым туалетом, встроенными шкафами, с телефоном, который все равно действует, с книжными полками, стеллажами с пластинками, — и вот дом летит, а в нем по-прежнему живут с удобствами люди. В безопасности живут.

Разговор бабушки с Линой стал приобретать интонации ссоры. И чтобы не слышать этого, Петя вернулся в свою комнату, закрыв и заперев балконную дверь. Но стоило ему сесть на диван, как он снова подумал о Лизе. Он лег навзничь, воображая Лизины поцелуи, ее талию, грудь, то, как нежно она прижималась к нему, и ему захотелось, чтобы она прямо сейчас очутилась вдруг в его комнате, где все было знакомое, родное и безопасное. Здесь бы он, наверно, *с м о г*. Он чувствовал, как его член опять набухает, поднимается, пуговицы штанов мешали ему встать, Петина рука произвольно потянулась вниз, и пальцы сами собой принялись расстегивать ширинку, освобождая возбужденную плоть.

В этот момент он услышал стук бабушкиной двери. Следом Линого царапанье, затем ее бормочущий голос:

— Ну и пусть. Значит, я такая плохая. Если все так считают, то так тому и быть. Я и еще хуже могу стать. Плевать на все.

Казалось, что она словно в бреду.

— Петя! — услышал он вдруг за дверью тихий и жалобный всхлип Линой. — Ты не спишь? Мне что-то страшно.

Моментально он сел, запихивая член назад, в брюки, схватил и положил на колени подушку, прикрылся и буркнул:

— Не сплю. Но уже собираюсь спать.

— Можно к тебе на минутку? — голос у Линой был дрожащий.

— Заходи разумеется.

Она вошла, ноздри у нее раздувались, дышала она затрудненно, глаза совсем почернели и опухли. Была она какая-то робкая, на себя не похожая, словно не старше его, а младше, смотрела моляще. Халатик ее снизу был расстегнут и открывал высокие круглые колени. Красивые колени. Такими во всяком случае Пете показались. Хотя он понимал, что о родственниках, а Лина как-никак, а все же двоюродная сестра, так думать нехорошо, тем более так смотреть на ее ноги. Но он не виноват: он сидел, и колени сами очутились перед его глазами. Он отвел взгляд, но заметил, что Лина этот его взгляд уловила, вспыхнула, однако ничего ему не сказала. Вернее, сказала, но не об этом:

— Ты слышал?

— Что?

— Нашу ссору.

— Слышал отчасти. Но ссоры не заметил.

— Я нахамила бабушке.

— Ну и что теперь делать? — отрывисто и грубовато сказал Петя, желая, чтобы Лина скорее вышла, не заметив его состояния.

Но она не уходила, губы ее дрожали.

— Я боюсь!.. Петя, я боюсь... Она молчит. Я к ней царапалась, даже постучала тихонько, а она не отвечает. Я боюсь. А вдруг снова приступ?.. Вдруг с ней случилось что?!

Тут уже Петя забеспокоился. Они ведь одни с Линой, оба житейски мало что умеют, даже по магазинам почти не ходили, раз в неделю загружаясь продуктами из бабушкиной «лечебной столовой». Отца нет, Тимашеву не позвонить — и никто им не в помощь. Что они делать будут?

— Ты иди к двери туда, — испуганно почему-то шепнул он. — Я сейчас приду.

Неожиданно Лина послушалась, вышла в коридор, словно поняла причину его сидения с подушкой на коленях и нежелания встать вот так сразу. Впрочем, член его уменьшился во время разговора до нормальных размеров. Оставалось застегнуть пуговицы и заправить в брюки выбившуюся рубашку.

Лина ждала у двери в бабушкину комнату. Горел электрический свет, освещая в прихожей вешалку с плащами, калошницу, не метенный пол с комочками засохшей грязи. Было видно, что Лина дрожит, обняв руками плечи, чтоб не так ее трясло. Она открыла было рот, но Петя поднял руку, призывая к тишине. Приложил ухо к двери. Услышал вначале звон в ушах, потом Лина выдохнула сквозь зубы и снова набрала воздух, перестала дышать, только тогда донеслось до него сонное посапывание. Петя осторожно, чтоб не скрипнула, приоткрыл плотную дверь, и теперь к шелке приложил ухо. Слышалось по-прежнему сонное дыхание.

— Спит она.

Он аккуратно и плотно, как было, притворил дверь. Теперь бы им разойтись по своим конурам и спать лечь, но Лина зачем-то прошла следом за Петей в его комнату. И встала, не уходя. Петя тоже молчал, складывая учебники в портфель.

— Ты спать собираешься? — вдруг спросила Лина и присела за круглый Петин стол, закинув ногу на ногу.

— Собираюсь. Завтра сочинение. По «Грозе».

А сам подумал, что, может, его и не будет-то, сочинения, из-за всей этой истории с Желватовым и Герцем, даже наверняка не будет. Лиза не права, надеясь на стойкость Герца. И надо бы Лине объяснить подробно, что к чему, про булыжник в окно и почему сочинения может не быть, однако он только про это подумал, как она уже сказала:

— А ты напиши, что Илья тут вещал. Он хоть ко мне и по-свински относится, но умный. Этого у него не отнимешь.

И Петя согласился, вдруг испугавшись вдаваться в подробности:

— Пожалуй... Только он про «Грозу» ничего не говорил.

— А общие идеи?.. О России и Западе. Это должно пригодиться, я думаю. Да и про «Грозу» он как-то рассказывал... Это разве не при тебе было?

— Не-а, я не слышал.

— Ну, это смешная история. Какой-то ильевский приятель-филолог принимал вступительный экзамен в эмгеу, и мальчику-абитуриенту достался билет с «Грозой». Вот мальчик этот и говорит: «А можно я не по учебнику, а сам от себя, как сам понимаю, расскажу?» Приятель Тимашева говорит: «Рассказывай. Только чтоб и в самом деле было у тебя по-своему, а не по учебнику». А абитуриент и пошел катать. «Кто, — говорит, — самое страдающее лицо в пьесе? Разумеется, Кабаниха! Вы только представьте: сын — тюфяк, тряпка, жена у него, ее невестка, — по сути дела, мечтательная сука. К тому же дура, потому что Борис, в которого она втюрилась, обыкновенное дерьмо, и надо быть дурой, чтоб этого не увидеть. Кабаниха-то видит!.. А дочь ее еще хуже: откровенная шлюха, да с преступником Кудряшом связалась... Не так ли? На Кабанихе весь дом. А от наветов, от злых языков, от общественного мнения честь дома сохранить — разве это не ее забота?» Короче, мальчик за свои старания и смелость четыре балла получил, я уж Илье сказала тогда, что его приятель — свинья, что мальчик вполне заслужил «отлично».

Она внезапно замолчала, так же резко, как начала говорить. Глаза у нее блестели, как у сумасшедшей, так что Пете стало страшновато, захотелось, чтоб она скорей ушла.

— Я постель стелить буду, — сказал он в ответ.

— Выгоняешь? — усмехнулась Лина. — Ну, стели. Мешать не буду. Пойду себе.

Она поднялась со стула, но не уходила.

Разлепила губы:

— А ты не посидишь немного со мной? Хоть двадцать минут. Я тебя очень прошу! Я хочу с тобой посоветоваться! Ты же уже большой, — говорила она, как больная в горячке.

— Может, потом? — боязливо спросил Петя. — Так поздно?..

Но чувствовал он, что исходит от Лины какая-то странная сила, которая туманит ему мозг и притягивает к ней и он вроде бы даже жаждет ее отрицательно-повелительной реплики.

— Нет, сейчас! — настойчиво-капризно потребовала Лина.

— Хорошо, — ответил Петя.

— Я пойду лягу. На ногах не стою. А ты приходи. Я все равно всю ночь не усну.

Шальная, тревожная мысль мелькнула опять у него в голове, даже не в голове, а прямо в теле, какая-то мысль-чувство. Он не посмел себе в ней признаться, но влекомый ее зовом, повторил:

— Хорошо.

— Секунду, — сказала Лина. — Я только сигареты с пепельницей на кухне возьму и сразу лягу.

— Ты ложись, я принесу.

— Правда? Ты милый, — она вдруг коротко рассмеялась каким-то горько ироническим горловым смехом. И пошла к себе.

Взяв на кухне пачку «Явы», спички и пепельницу, Петя прошел в комнату Лины. Она уже лежала в постели, точнее, сидела в подушках, укрытая по пояс одеялом. При свете ночной лампы, находившейся за ее спиной на бельевики, он увидел, что Лина осталась в одной ночной сорочке, довольно просторной и прозрачной, с короткими рукавчиками, большим вырезом, сильно открывавшим ее крупную красивую грудь.

— Давай сюда, — она протянула свою смуглую полную руку, взяла пепельницу, поставила ее рядом с лампой. — А сам садись.

Петя присел на край постели, протянул ей пачку сигарет, зажег спичку. Лина привычно затянулась, стряхнула пепел, быстро набежавший на кончик белой сигаретной палочки.

— Ты сам закуришь?

— Ага.

Он закурил: Она взяла пепельницу и поставила на постель между ними. И лихорадочно заговорила:

— Я о Тимашеве... Ты можешь его понять? Ты же большой, ты же мужчина!.. Он же мне цветы носил. Еще в мою коммуналку. Вся комната была в цветах! Клялся, что цветами мой путь устелет. Я знаю, что я красивая, всегда знала, знала, что мужчины хотят меня, влюбляются в меня. И он любил. Вроде бы и сейчас любит! А сам!.. Я, Петька, ничего не понимаю. Почему он все время меня бросает? Почему? Может, оттого он ко мне не уходит, что я — квартиронка?! — она глуповато и напыщенно раздула ноздри. — Из-за несчастной этой четвертушки еврейской крови во мне?!

Вначале Пете эта речь, этот разговор напомнил недавнее его мучительство с Лизой. Он сам вроде бы был как Тимашев, уходил, а теперь вот должен выступать арбитром в таких же отношениях. В таких же — да не таких! — успел сообразить он, когда Лина своей фразой о четвертушке еврейской крови заставила

его подумать, что хоть она страдает, но не очень умна, не то, что Лиза, которая и вправду страдает понапрасну, потому что даже не знает, любит ее Петя или нет. А Лина уверена, что Тимашев ее любит! Ей хорошо!

— Думаю, что не в этом дело! — поправила она сама себя, заметив, что Петя не подхватил ее реплики. — Хотя у нас в Архитектурном был один такой, который побоялся жениться на своей любовнице-еврейке, чтоб карьеру не испортить. Теперь из Штатов не вылезает, там его за прогрессиста считают. Я знаю, что Илья не такой! Тогда — почему?! Что его держит?! Жену он не любит. Сын уже взрослый. И она его не любит, эта его жена! Но это у нас так принято — с нелюбимыми жить. Все, как на подбор, Татьяны Ларины! Или я нехороша собой? А! — махнула она рукой. — Черт с ним! Пусть живет со своей законной и мучается! Правда, братик?

Она говорила совершенно, как безумная. А тут еще схватила Петю за руку и шепнула диким голосом:

— Я хочу отомстить Тимашеву, отомстить самой себе!

Голова у Пети стала совсем в тумане. Та невнятная мысль, которую он ощутил несколько минут назад, стала крепнуть, но все равно боялся он дать ей волю. Хотя впервые он почувствовал, оставшись наедине с женщиной, что не надо бояться нападения извне. Никогда раньше не приходило ему в голову и то, что он может к Лине отнестись, как к *женщине*, но сейчас что-то творилось с ним. Он смотрел на ее почти обнаженную грудь и чувствовал звон в затылке. Может, она его *научит*?.. Беспокойство оставалось, но привычного страха не было. Их ограждали стены дома и стены квартиры: никто не войдет. «Эх, — снова подумал он, — если бы я зашел к Лизе в квартиру, то тоже было бы не страшно...»

— Как твои дела с Лизой? — спросила неожиданно Лина.

Петя не ожидал этого вопроса, но ответил быстро:

— Нормально, — ему захотелось выглядеть *удачливым мужчиной*. Поэтому интонация была такая, будто он что-то не договаривает, шадит честь *своей дамы*.

— Ты молодец, — польстила ему Лина. — Никогда никому не рассказывай о своих взаимоотношениях с любимой женщиной. Это тайна. Это касается только вас двоих. Правда?

— Правда, — ответил Петя, которому и нечего было рассказывать. Ничего *такого* они с Лизой не делали.



— Но брату с сестрой о многом можно поговорить. Мы же с тобой кузен с кузиной, если по-старинному. А мы так мало открываем по душам. С кем же еще поговорить! Хотя у тебя есть Лиза... А меня Илья не слышит. Ему одного надо — тела!.. А я говорить хочу. Человеку ведь надо с кем-то делиться. Она, — кивок в сторону бабушкиной комнаты, — тоже только о своем талдычит, ей тоже на меня наплевать. А я хочу быть нужной хоть кому! Вся, целиком! Душой и телом! Разве я не права?

— Права, конечно, — растерянно пробормотал Петя, одурманенный ее голосом, движением рук, скачками речи.

— Скажи, ты меня осуждаешь за мои отношения с Ильей? Ты — мужчина, ты должен что-то сказать. Скажи. Я же видела, как ты на меня там посмотрел.

— Как? — глупо, зная наперед ответ, спросил Петя.

— Как мужчина. Не красней, это естественно, ты уже большой, взрослый. Вот и скажи. Только пойми: я не ханжа. Мне *это* тоже нужно. Всякой женщине, как и мужчине, *это* нужно. Но я ему сегодня отказала. Практически выгнала. Я не гаремная женщина, не могу делиться с другой.

Петя напыжился, стараясь и впрямь казаться взрослым:

— Я понимаю.

А она говорила быстро, почти в истерике:

— Думаешь, мне легко? Да и ему тоже не сладко. Бедный он! Мучается. И с женой, и с сыном, и со мной. Мне кажется, он начинает меня ненавидеть.

— По-моему, ты преувеличиваешь.

— Если бы! Он мне как-то спьяну по телефону сказал: «Тебя надо отрицать!» За что? Я не понимаю. Что я ему плохого сделала? Он же меня любит! Говорит, что лучше меня у него нет и не было женщины. Но все время убегает от меня. Потому, де, что ему надо работать. У него семья, но не из-за семьи он не хочет быть со мной. Ему, видите ли, нужно творить!.. Пожалуйста, я ему не мешаю. Скорее уж жена ему мешает! Странно все это. Не понимаю ничего. Ведь я вдохновляю его на высокие размышления. Я это знаю, он и сам это говорит. Как-то все глупо происходит!.. Ты же мужчина, Петя, объясни, что это значит. Я сильная женщина, но я боюсь, боюсь одиночества, мне страшно остаться одной. Я бы все для него делала! А он не хочет. Я сегодня нарочно создала такие условия, что он ушел несолоно хлебавши.

Я понимаю, что не склеится у нас, да и уже не склеилось. Понимаю, что надо рвать с ним. Но скажи, кто виноват! В чем я перед ним провинилась, что он меня разлюбил? Ведь совсем недавно, кажется, он усыпал мой путь цветами. Встречал меня с работы, провожал до дома. А потом исчез и звонит и появляется теперь, только подвыпив и раскрепостившись. И все равно, хоть я говорю, что он меня разлюбил, сердцем я чувствую, что это не так, что его ко мне *влечет*. А к жене уже нет. Во всяком случае как к женщине. Я это вижу. Но со мной связать свою жизнь он не хочет. Разве я плохая?

Глаза ее расширились диковато.

— Да нет, ты чудесная женщина, — бормотнул Петя, мало что соображая, и погладил ее по голой руке. «Безнравственно я себя веду», — мелькнуло у него в голове.

— Может, я некрасива? — говорила Лина. — Грудь у меня не хуже, чем у восемнадцатилетней, — она обеими руками натянула сорочку, чтобы отчетливее обрисовались груди, но Петя и так все видел, и без того в затылке у него продолжался непрерывный звон. — Или у Лизы лучше? Ты ее любишь, я понимаю. Что может быть красивее любимой женщины! Мы, женщины, прежде всего — тело, плоть, духовно мы зависим от мужчин, нам надо, чтобы вы нами любовались, восхищались!.. А мы вас ценим и любим за характер, за силу, за ум, за духовность... По крайней мере, я такова. А мужчина в женщине ищет чувственного, плотского. И понимания. Чем я ему не угодила? Такую фигуру, как у меня, не так просто найти! А бедра? — она откинула одеяло, и Петя увидел ее ноги, потому что рубашка взбилась выше колен; он почувствовал, что лицо его пылает. — Ты краснеешь? — удивилась Лина. — Я думала, Лиза тебя хоть как-то воспитала. А ты так краснеешь, будто никогда не видел обнаженной женщины. Бедненький! — она запахнула одеяло. — У тебя что, с Лизой ничего не было? Ладно, не отвечай.

Она натянула одеяло на плечи и снова засмеялась горловым смехом. А у Пети в глазах только ее грудь, ноги, бедра. «Она же моя сестра», — подумал он, но плоть его опять поднялась, распирая материю штанов, тишина и спокойствие квартиры как будто подталкивали его к Лине, а звон в голове заглушал праведные мысли. Став коленями на кровать, он неумело ткнулся губами ей в подбородок, а руки попытался запустить под одеяло.

— Ты что, миленький! — уперлась ладонями ему в грудь Лина, а поскольку он не отставал, то и сильно оттолкнула его. — Ты ошибся. Тебе, конечно, нужна учительница. Но я для этого не гожусь. Поищи в другом месте. Ты меня неправильно понял.

— Прости.

Он встал на ноги, стесняясь, прикрывая себя рукой, пошатываясь и стараясь повернуться к ней боком. Бледный, униженный, оскорбленный и несчастный. Старался не смотреть на нее.

— Петя, — вдруг услышал он, но шагнул в сторону от кровати, отрицательно помотав головой, ожидая упреков. Но голос был ласков.

— Бедный! Тебе обидно? Все я виновата. Ну поди сюда, помиримся. Я все же чудовище. Но если бы ты знал, как я несчастна! Что ты прикрываешься и отворачиваешься? Вот глупый! Подойди ко мне.

Петя приблизился. Член его снова опал, он мог двигаться теперь без неловкости. Она улыбнулась.

— Вот видишь, ты и успокоился. Наклонись. Поцелуй меня. Ну, не надо меня бояться.

— Я виноват, — прошептал он, словно в школе оправдывался перед завучем. — Мы же с тобой брат и сестра.

— Какая чушь! — услышал он в ответ. — Брат и сестра!.. Так в этом мире все относительно. И чудесно, что мы брат с сестрой! Ты такой бледный, — лепетала она, взяв его руку и притягивая к себе. — Ну, наклонись, я тебя пожалею. Солнышко, братишка мой! Мы же с тобой очень дальние родственники, нам по закону даже жениться можно, мы же с тобой дальше двоюродных. Но я все равно хочу считать тебя своим братишкой. У меня ж никого нет. Я совсем, совсем одна. У тебя отец с матерью, они вернутся скоро, а я снова в опостылевшую коммуналку. У тебя Лиза. А кто у меня, кто со мной? Что у меня? Я очень хочу, чтоб мы были близки. Как этого достичь? — она глухо и невесело рассмеялась. — У женщины для этого только один способ.

— Какой?.. — хрипло спросил он.

— Такой. Дурачок ты еще. Ну, еще ближе. Мне так неудобно.

И подтянув его к себе, она неожиданно принялась ему расстегивать пуговицы на рубашке и брюках.

— Сними ты эту чушь! — шептала Лина, дергая его за брюки. Тебе лучше, удобнее будет.

Петя раньше, когда пытался представить себе этот «роковой и восхитительный миг», пользуясь выражением Мопассана (которое он запомнил еще с тринадцатилетнего возраста, зачитываясь эротическими его рассказами), не мог вообразить не только самого *акта*, но еще больше — момента, ему предшествующего, то есть чисто технологических действий, связанных с раздеванием — не женщины, себя. Какая-то деловито-бытовая подробность виделась ему в этом, уничтожавшая самую возможность *страстного* соединения двоих. Но оказалось, что он и не почувствовал, как в секунду освободился от одежды, оставшись лишь в трусах, и уже лежал под одеялом с Линой.

— Сними, все сними, — говорила она, прижимаясь. — Я тоже, погоди, рубашку сниму, — она приподнялась на секунду и выскользнула из ночной сорочки. — Просто полежим рядом. Мне так нужно кого-нибудь обнять, прижаться к кому-нибудь. Чтоб себя забыть. Я так несчастна!.. Забыться! Это и есть мечь себе!

Она словно бредила, прижимаясь к Пете, стискивала его руками. «Мечь?» — удивился он, но в этот момент Лина провела рукой по его бедрам стаскивая с него трусы, пальцами коснулась его невольно сызнова поднявшегося члена, так что сладкая молния пронзила его, и он перестал удивляться и что-либо сообщать. Петя впервые в жизни ощущал всем своим телом голое тело женщины, но, чувствуя напряжение своей силы, не умел ею пользоваться. А Лина будто не замечала, не ощущала его напряжения и дальше не хотела помогать ему. Рука ее была на его груди. Он резко повернул ее на спину и попробовал, навалившись сверху, раздвинуть ей ноги.

— Малыш, маленький мой, не торопись, не глупи, — не даваясь, смеялась она странным, только теперь для него понятным горловым смехом. — Зачем спешить? Все испортишь. Поцелуй меня сначала, погладь, приласкай. Мы же не собаки. Собаки и те не торопятся. Ну не лезь ко мне, я тебе сказала! Погоди. Не умеешь — не лезь! Я не просто так хочу. Я хочу спастись, забыться хочу. Я с ума схожу. Уже сошла. Пусти же! Ну и колода ты! Совсем неповоротливый. Что ты с Лизой делать будешь? Такой тюлень, даже противно! Ну, не сердись, братишка, я сумасшедшая, я чудовище!..

Но достаточно было и двух холодных слов неопытному, чтобы сила вдруг покинула его. Он испугался что опозорился навсегда,

что и в самом деле у него *никогда не получится*. Он лег на спину, слезы покатались у него из глаз.

— Ну что ты опять лег, как колода?! — тут она неожиданно увидела, в каком он состоянии, и ахнула. — Что я наделала! Бедненький мой! Я чудовище. Не сердись, ты не виноват. Это я все-му виной. Не торопись. Я попытаюсь тебе помочь. Родной мой!

Ее руки гладили его тело, а он уже не хотел ее, он вспомнил Лизу, и от обиды и злости на себя слезы продолжали течь по его лицу. Слова Лины сначала ранили его, а теперь старались утешить, но не утешали, не возвращали силы. А если б она еще знала, что он промолчал про Желватова, а когда узнал, что тот наделал, то — испугался! Что он — трус!

— Со мной трудно. Я сама себе противна. Отвратительна. Я всем приношу несчастье, — бормотала лихорадочно Лина. — От меня, наверно, не исходит добра. Я тебя обидела. Ну, ничего, полежи тихонько, все вернется, все хорошо будет.

Она вытирала ему слезы, старалась заглянуть в глаза, но он плотно сжал веки, чтоб ничего не видеть, лишь почувствовал, что она откинулась назад, притянула его голову к себе:

— Ляг ко мне на плечо.

Он послушно-механически выполнил ее приказ. Но по-прежнему ничего не испытывал, кроме страха и желания убежать подальше, забыть навсегда сегодняшнюю ночь. Лина гладила его грудь, правый бок, живот, нежно касалась его мягкой плоти и ворковала виновато:

— Ты не при чем, не переживай. Не бойся, мужчина не должен бояться. Приободрись.

Казалось, конца не будет этому ужасу и позору. Телефонный звонок в ночи раздался особенно громко и неожиданно. Они вскочили на колени друг против друга, забыв о своей наготе. Вначале они даже не поняли, откуда этот звон, и испуганно переглянулись. Первая мысль была привычно-тревожная — что-то с бабушкой случилось, и она зовет их своим; звонком. Но вторая звоночная трель показала им, что это всего-навсего телефон. Хотя странно и жутковато было: среди ночи им кто-то звонит. Таких знакомых они не имели, полуночников. Даже у Лины они все перевелись давно. Не вставая, они посмотрели в сторону кухни. Может, перестанет... Петя бы и подошел, но боялся, что Лина станет его презирать за бегство. Телефон звонил.

— Сними трубку, я не буду вставать, — произнесла все же Лина. — Какой-нибудь пьяный дурак звонит.

Петя догадался, что она подумала о Тимашеве.

— Скажи ему, что я сплю. Пусть убирается!

Петя вскочил, торопливо нашел под одеялом трусы, натянул их, затем брюки и рубашку, радуясь неожиданному, счастливому избавлению и горя только об одном, что после разговора ему придется все же возвращаться назад, в койку к Лине.

— Скорей, а то *ее* разбудит! — понукающе крикнула вдогонку Лина. Она тоже накинула халат и села на постели, спустив ноги.

Петя поднял трубку. И услышал незнакомый, раскатистый, твердый, уверенный голос, который нахрапом пер в уши, не давая себя остановить, прервать:

— Владлен Исаакович? Это Каюрский. Мы с вами как-то встречались, если помните. Я из Сибири, из Иркутска. Прилетел на Запад, в Москву то есть, правды искать. Ненадолго, дня на два. За наше общее дело, за марксизм-ленинизм борюсь. Хотя у студентов-естественников курс по марксистско-ленинской философии сократить. С этим бороться надо! Я Розе Моисеевне хоть не писал об этом, но уверен, что она поможет. Да и я сам в тайге вырос. Не на того они напали, руки обломают. Я же медвежатник. Приедете к нам — на медведя свожу. Здесь, правда, тоже темнят. Но я их, сволочей-бюрократов, порастрясу! Я сегодня весь день по Москве ходил, понял. Я ж среди всех этих людишек как марсианин какой! Они ж мне все по плечо! Здесь все всего боятся. А у меня вообще нет страха. Знаете, если вы у нас под Иркутском войдете в лес, то увидите: стоят березы, согнутые, их снегом зимой согнуло, так и остались навсегда изуродованными, склоненными даже летом. Но зато есть и прямостоящие. Так и люди в Сибири: есть жизнью навсегда согнутые, зато кто выстоял, то уж крепче крепкого. Вот я — прямостоящий. И меня не согнуть! Впрочем, извините, что так поздно. Но я час назад звонил, и мне Роза Моисеевна разрешила приехать, одну ночь у вас переночевать. Просила только перезвонить.

Петя не успевал вставить слова, едва он открывал рот и издавал то звук, то писк, надеясь превратить их в нечто членораздельное, как отступал под напором чужих слов. Но сообщение, что незнакомец говорил с бабушкой, было немислимо. Да еще

час назад! Мистика. Латиноамериканская. Будто бабушка решила спасти его от Лины. Слава Богу, хотя мороз по коже! Напористый голос затих, и, тряхнув головой, перебарывая робость, Петя вклинился в разговор:

— Это не Владлен Исаакович.

— А кто же?

— Его сын.

— А! Петр! Петька! Слышал о тебе. Вот заодно и познакомимся. Не боишься незнакомца пускать? Мы, сибиряки, хоть и гостеприимны, но чужого так сразу на порог не пустим. Мы и недоверчивы и приглядчивы. Лихих людей у нас ох как много! Но тебе порукой за меня слово твоей бабушки. Так что диктуй адрес.

Поколебавшись всего ничего, Петя принялся объяснять адрес и как проехать. Этот ночной визитер был спасением, выходом из дикого положения. Лина подошла в запахнутом халатике, выражая глазами вопрос, неудовольствие, даже возмущение. Петя, однако, продолжал объяснять. Если б Лины не было и не боялся бы он остаться с ней наедине, он еще поколебался бы пускать незнакомца ночью в дом. Но сейчас!..

— Кто это? — злым шепотом спросила Лина.

Петя пожал плечами и развел руками, показывая, что не может сейчас ответить, что ответит через секунду.

— Ты что, с ума сошел? — спросила Лина, когда он положил трубку. — Кто это? Куда мы его положим?

— Положим ко мне в комнату. Я на раскладушке, он на диване, — Петя так рад был этому гостю, что совершенно утратил привычную ему осторожность. — А кто — я не знаю. Какой-то бабушкин знакомый из Сибири, кажется из Иркутска. Он час назад с ней по телефону договорился, что переночует у нас.

— Что? воскликнула Лина. — Да она весь день к телефону не подходила даже. Вот это номер:

Петя испугался неожиданной верности своего предположения о латиноамериканской мистике, похожей на чертовщину и парапсихологию, но ничего не сказал. А Лина криво усмехнулась и буркнула, глядя в пол:

— Бабушка тебе ворожит. А может, и мне тоже. Мудрая старая ведьма. А ты не переживай. У мужчин дурное свойство считать такую неудачу поражением, почти катастрофой. Все у тебя будет хорошо, нормально. А сейчас давай гостя ждать.

## Глава XVIII

# Наутро

Я был рожден для жизни мирной...

*А. С. Пушкин.* Евгений Онегин

**К**аюрский помог им пережить тот вечер. Пете во всяком случае.

«Она ненормальная», — трусовато думал он о Лине, когда они в кухне ожидали гостя. Лина была не в себе: вздергивала плечами, что-то неразборчивое бормотала, к самой себе обращаясь, пару раз ударила себя кулаком в грудь. Она уже оделась в строгое платье с длинными рукавами. Петю она не отпустила к нему в комнату, требуя, чтоб он сидел, пока она готовит чай для незнакомца. А Пете хотелось скрыться с глаз долой, пережить наедине с собой происшедшее. Он еще ощущал ее ладони на своем теле, в самых интимных местах. А она — будто ничего не было: строга, сурова, безумна.

Потом села за стол напротив него. Закурила, выдыхая дым через свои ноздри уздечкой. И заговорила, не глядя ему в глаза:

— Не бойся, голубчик. Все прошло. Порочная женщина отпускает тебя к твоей Лизе.

Петя хотел пискнуть что-то в ответ, что, мол, не надо себя так называть, но она перебила его:

— Прости. Я знаю, что я говорю. На меня нашло. Хотя я совсем не такая, как тебе могло показаться. Но вела я себя, как тварь, как дрянь. Я себе и тебе напакостила. Просто я рождена для семьи, а семьи у меня нет. В этом все дело. А я была бы Илье хорошей женой. Если он узнает, что я натворила, он меня окончательно бросит. Мужчины такого не прощают.

Пете вдруг стало страшно за себя. Он тоже был рожден для спокойной жизни, для мирных научных занятий. И в принципе не хотел ни во что вступать. А если Лина в приступе безумия возьмет и убьет его, например, ножом пырнет. Чтоб скрыть следы своего преступления перед Тимашевым. А куда тело денет? — пытался он быть рассудительным. В мешок и во дворе закопает,



продолжал пугаться он, хотя знал, что дома у них никакого мешка нет. Да и лопаты тоже. Достанет где-нибудь! — он подозрительно поглядел на Лину, и тут забренчал дверной звонок.

Вначале Пете показалось, что в дверь вошел дубовый шкаф, из которого росли крупные деревья, обозначавшие руки и ноги. Потом Каюрский напомнил ему стенобитную машину из учебника истории, заключенную в практически непробиваемый корпус. Но лицо было широкое и добродушное, под густыми, собранными в травяной пучок бровями маленькие, незлые глаза, как у медведя. Петя сразу почувствовал, что с ним надежно и не страшно. Лина смотрела угрюмо и не осталась с ними. Сумрачно кивнув гостю, сказала:

— Здравствуйте. Петя вам постелит и чаем напоит. А меня, пожалуйста, извините, я себя плохо чувствую и пойду лягу.

— Ишь ты, — буркнул вошедший, глядя вслед скрывшейся к себе молодой женщине, — она что, всегда такая сердитая? Или только меня не удостаивает? Рылом я ей что ли не вышел?

Петя ничего не ответил, растерявшись от прямого вопроса.

А вошедший продолжал гудеть:

— Что она так? — он пожал плечами. — Ладно. Покажи, где руки помыть, — и выйдя из ванной на кухню к Пете. — Чаю мне ее не надо. Я сыт, а вот в гости ко мне на Байкал приедешь, тогда узнаешь, какое оно, сибирское гостеприимство. Хариусом угощу. Пирог черемуховый жена испечет. Пельменями сибирскими накормлю. Меньше ста штук и не съешь. Это не покупное — сами делаем. Что смотришь? Я сибиряк коренной, из раскольников. Среди моих предков и хлысты были. Истину искали так. Даже в дальнем родстве с Гришкой Распутиным нахожусь. По материнской линии. Он ведь тоже в хлыстовских радениях участвовал. А я вот марксист.

Совсем растерявшись от этих слов, от предложения поехать в Сибирь, да еще, похоже, что и одному. Петя забыл и про чай, а гость не напомнил. И они прошли в Петину комнату. У Каюрского был с собой чемодан, который он оставил в прихожей, и портфель, который он внес и поставил на Петин стол.

— Бумаги там важные, с бюрократами борьбу веду, — пояснил он. — Приехал драться за то, чтоб марксизм-ленинизм перестали искажать. А вижу, что всю Россию спасать надо. Рыба с головы гниет. Это тебе любой рыбак скажет. А Москва, хоть и столица, тухнуть и гнить начала. Даже покормить не могут. Я тут в кафе курицу на обед взял. Но это, извините, та курочка, которую петух не

захотел догонять. А разговоров я за этот день наслушался — у меня вся шерсть дыбом встала! Веру потеряли. А нас, сибиряков, не сломаешь. У нас марксизм долго оседал. Теперь вы про него позабыли, а мы учение в чистоте храним. Сибиряки — скала. Ты на Лене бывал? Я вообще-то оттуда родом. Нет? Так послушай, — он сел прямо в брюках на постель, от него остро пахло потом и несвежим бельем. — Ты поймешь, в какой мощной красоте мы живем. Представь: на восходе солнца ты плывешь по Лене, и вот появляются каменные фигуры, сначала небольшие, потом они как бы сгущаются, начинают собираться в какие-то загадочных очертаний небоскребы, а над ними, вверх по горе — зеленое. В основном, это, так сказать, лес, тайга. Но, естественно, Петька, это не небоскребы. Небоскребы — чушь, мелочь, руками сделаны. Все дело тут именно в том, что перед нами именно творение природы, а она не терпит искусственности. Ты парень умный, должен понять.

Он говорил, размахивая руками, временами вставал и делал несколько шагов от двери к окну и обратно между диваном и раскладушкой, где уже под одеялом устроился Петя. А Петя поражался его правильной непровинциальной речи и провинциальной невежливости: неужели не видит, что человек спать хочет?! Ночь на дворе. А Каюрский все гудел:

— Я вас с Розой Моисеевной непременно на пароходе по Лене проведу. Я сам там раньше матросом работал, потом шкипером, все меня помнят. Но ты слушай. Каменные строения будут напоминать вам различные по величине и форме средневековые замки, каких вы и на картинках не увидите. И, как своеобразный апогей этого видения, — не один, а целую группу соборов, больший из которых выглядит величественнее прославленного Кёльнского собора. А фундамент у этого каменного царства общий и высокий. Да! на одном из замков, как бы завершая его, чудесная фигура лебедя на взлете... Ха-ха! Я хоть и философ по призванию, но в душе поэт! Так вот, Петька, я потом от друга юности, кореша моего, — геолога, узнал, что подобный фундамент скалистый — на всем многотысячекилометровом течении Лены. Скалы, фундамент этот каменный и не дает Лене сбиться с пути истинного, ха-ха! Вот мы, сибиряки, и есть такой фундамент, на котором и марксизм возводить можно, ничто не подмоет и не разрушит. Я, например, все три тома избранного Маркса и Энгельса насквозь протудировал! Понял? Когда вы

в сорок первом чуть Москву Гитлеру не сдали, кто спас? Сибирские дивизии! То-то!

Пете хотелось спать, веки закрывались сами собой, и он бы так и заснул посреди речи Каюрского, если б не подозрение, которое неожиданно пришло ему на ум, а тот ли это человек, за которого себя выдает? Холод прошел по спине, дремота слетела прочь, и Петя, не меняя положения тела, чтоб пришелец не заметил его волнения, припомнив судорожно, что он слышал от бабушки о Каюрском, встрял как бы между прочим в разговор:

— А вы в Иркутске кем работаете? Где?

— Профессор я в Университете, зав кафедрой. Я ведь акын по натуре, мне к людям обращаться надо лицом к лицу. Но, хоть и акын, пою свое, ни одной фразы не говорю, если она моих убеждений не выражает. Я марксизм-ленинизм отстаиваю. Понимаешь? У вас все скурвились, робеют марксистами называться. А я никого не боюсь. Я все равно святыню буду защищать, пусть все ее бросят! Приспособленцам плевать на подлинные идеалы. А за эти идеалы люди гибли, настоящие подвижники, вроде Розы Моисеевны. Ты, Петька, не крути головой. Я понимаю, что она не погибла. В революцию и гражданку ее здесь не было. Но ведь могла погибнуть! И до революции, и в Испании, и в застенках этого гада, Ежова! Я в Иркутске, когда из села своего приехал туда учиться, с ее первым мужем, с Иннокентием Федосеевым познакомился. Крепкий был старик. Сколько в жизни повидал! Где только не был! И в Швейцарии, и в Аргентине! И всегда считал Розу Моисеевну своей учительницей, говорил, что она из него человека сделала. А уж в Москве я сам у нее учился.

Петя успокоился, опустил голову на подушку. Каюрский оказался тем самым Каюрским, о котором он слышал от бабушки. Да и не похож был на разбойника, скорее на защитника. Безусловно, он и в самом деле знал бабушку, а главное — хорошо к ней относился.

— Роза Моисеевна меня прямою и смелости учила. Всем говорить правду в глаза. Она никого не боялась: ни парторга, ни ректора. Говорила, что думала. А думала она правильно, по-марксистски!.. Про вашу нацию говорят, что очень трусливая, что евреи вообще не гибли, за чужими спинами прятались. Но я ему, который так говорил, в морду кулаком ударил. Ты, говорю, статистику знаешь? Нет? То-то! На смерть шли, на эшафот, под пули! Десятки тысяч! Я зна-аю. У нас в Сибири евреев

всегда уважали как людей. Это вы наших писателей юдофобской мерзости обучили. Я вообще не люблю этих, которые всюду виноватых ищут вместо того, чтобы на себя поглядеть. Ты как думаешь? Они вообще про вашу нацию черт-те-что говорят. Что вы, мол, пришельцы, инопланетяне, то есть. Я не верю, хотя заманчивая идея. Но это уже вопрос антропологии...

Петя зевнул устало. Но испугался, что выглядит невежливо, и, преодолевая сонливость, спросил:

— А что у вас за шрам на шее?

— Воевал я. Я ж тебе, Петька, сказал, что мы, сибиряки, Москву спасли! Но я и на фронте учился! Представляешь. «Краткий курс» наизусть выучил!.. Это меня спасло между прочим, когда я особиста по морде хлопнул. Пошли меня таскать, а я им наизусть целыми страницами из «Краткого курса». Отпустили.

— Вы прямо, как Жюльен Сорель. Тот тоже за книгу прятался.

— Кто такой?

— Герой «Красного и черного», роман Стендаля, — через силу отвечал засыпающий Петя. Но очнулся от энтузиазма Каюрского.

— И когда же ты, Петька, успел столько, прочесть?! Вот молодец! — гудел-гремел Каюрский громким шепотом, едва сообразуясь с тем, что уже глубокая ночь и все спят, поэтому надо шептать — Я только русскую классику одолел, кое-что из философии, да Маркса с Лениным. Зато я лучше многих понимаю общеметодологические основания искусства, социально-классовую и общечеловеческую природу творчества, их диалектику. Понимаешь, о чем я? Марксизм — это оружие, надо только умеючи его применять. Ругают, скажем, классовый подход, партийный подход, а ведь классовость и партийность — это *эстетические* категории!.. А! Ловко: Что скажешь?

— Я не знаю, — слабо ответил Петя.

— Ну это ничего. Не ты один! Многие не знают и не понимают, хотя уверены в противоположном. Ничего, я им докажу! Скудоумные людишки, вроде Гани Иволгина из Достоевского. Уж русскую классику я знаю!.. Приспособленцы! Живут не ради истины, а ради корысти, ради того, чтобы выжить! А на хрена мне такая жизнь! Придешь к такому в гости, он тебе нарежет колбасу тончайшими ломтиками: нажмешь пальцем, а она продавливается. Ты помнишь, Ганя за три рубля пополз бы. А у вас и за рубль поползут. Жадные здесь, как деревенские. Потому и смысл поте-

ряли. Я им сказал: вам второй раз марксизм в подполье загнать не удастся! Циники и иуды наверху власти собрались. Коммунистические идеалы для них как прикрытие! Но марксизм выстоит! Я жизнью за это отвечу, ведь я за марксизм кровь проливал!

Больше Петя ничего не слышал, потому что он вдруг в момент отключился и уснул.

Проснулся он, когда еще не было семи. Каюрский храпел, лежа на спине с открытым ртом. Как прекратить этот храп, Петя не знал, поэтому предался любимому занятию: думать, мечтать, вроде бы рационально что-то обдумывая и решая, а на самом деле отдаваясь полусонному еще состоянию. Надо было обдумать вчерашнюю ночь. Но вспомнив руки Лины, глядящие его тело, он почувствовал начинающуюся эрекцию, расслабился, погружаясь в эротическую мечту. Минуту или две он в воображении занимался с Линой любовью. Однако недолго. Неожиданно он представил что это и в самом деле случилось, и испугался. Эротические мечты растаяли, его прохватил страх, и возможные неприятности полезли ему в голову. Во-первых, все бы догадались, потому что он притворяться не умеет и Лина тоже. Во-вторых, непонятно, как они жили бы дальше. Он бы боялся посмотреть в глаза Лине и Тимашеву, даже бабушке. Лине пришлось бы уехать, а ему выпало бы, вместо того, чтобы учиться, ухаживать за бабушкой.

Петя открыл глаза и с признательностью посмотрел на храпящего Каюрского. Хоть от того плохо пахло, но за ним можно было спрятаться, «как за каменной стеной». Ему захотелось, чтоб и отец у него был так же надежен, как этот пришелец. Как его бабушка смогла подманить?.. Впрочем, человек все может, если чего сильно захочет. Петя был в этом уверен. Правда, никого другого с такой внутренней энергией, как у бабушки, Петя не встречал. Может, и он ее унаследовал. Но его энергия направлена на то, чтобы жить мирно, заниматься наукой, стать великим ученым.

Он посмотрел на свои книги по физике и математике. Он все это будет знать! Он сам напишет исследование, насчет происхождения вселенной из пылевой туманности. Блуждающий его взгляд упал на будильник. Полвосьмого! пора вставать. Первым уроком, правда, не сочинение, а математика, но все равно. Он сел на постели, потянулся и тут почувствовал в верхней части живота сосущую пустоту, а в душе горечь, точно он совершил вчера какую-то пакость и сегодня его ждет расплата. Он сам не мог по-

нять, с чем или с кем связано это чувство. С Линой? Или Лизой? Или с Герцем и Желватовым? Лучше было бы заболеть. Но дома из-за Лины оставаться не хотелось, да и перед Каюрским как-то неловко притворяться. Надо было вставать, чтобы не опоздать.

Конечно, математичка, по прозвищу *Акула*, не Лидия Ивановна, бывшая у него учительницей в начальных классах, но опозданий тоже не терпела и что-нибудь обидное непременно вшпиливала. Разумеется, не такое, как Лидушка, заслуженная учительница РСФСР. Та обычно хватала опоздавшего, робко открывавшего дверь, за ухо и кричала: «Ты что крадешься? Уже в дневник надоело писать, но напишу, мое место там есть. Скажи, зачем ты сюда ходишь? Ты даже не понимаешь, ума не хватает, зачем ходишь. Вы ведь своим поведением учителя до ненависти доводите! Ну что уставился? У, дубина! — потом переходила на третье лицо среднего рода. — Ох, оно боится, хм, идти на урок. Какое безмозглое! Ты знаешь, сколько времени у меня съел? Что молчишь? По дороге в школу весь ум растерял? Ладно, безмозглое, садись». Герц в таких случаях бывал ироничен, спокоен, тверд, но лучше было его не раздражать. Скорее всего, Лиза права, и он придет несмотря ни на что. Петя встал, пошел в ванную умываться и чистить зубы, но там подумал, что надо бы смыть с себя *вчерашнее*, и полез в душ. Вытираясь, он почувствовал, что и впрямь смыл, что ощущение тела стало прежним. Когда он вернулся в комнату, Каюрский уже сидел среди скомканного одеяла и смятых простыней, в кальсонах, спустив ноги на пол, с обнаженным торсом, зевал и почесывал пятерней широкую грудь.

— Ну что, Петька, вставать будем? — загудел он.

— Тсс, — сказал Петя, приложив к губам палец, но головой кивнул, что, конечно, будем.

После душа особенно отчетливо почувствовал в комнате тяжелый спертый дух, запах пота и немытого тела. Пробравшись между раскладушкой и ногами Каюрского, он открыл балконную дверь. Свежий холодный утренний воздух наполнил комнату. Стало легче дышать.

— Сейчас чайку попьем и в баньку схожу, — сообщил Каюрский. — Страннику с дороги надо помыться.

— Так вот же ванная, пожалуйста, — удивился Петя.

— Не, я попариться хочу, всю грязь, весь пот из тела выгнать. У меня в чемоданчике с собой и белья смена, и свой веник. По-

парюсь — приду с Розой Моисеевной беседовать. А портфель мой с документами пусть у тебя пока в комнате постоит. Ничего? Он кушать не просит.

Пока Каюрский ходил в туалет, мыл руки, чистил зубы, Петя быстро убрал постели. Он услышал, как вышла из своей комнаты Лина, отправилась на кухню ставить чайник. Затем гудение Каюрского:

— Я не успел вчера представиться. Николай Георгиевич Каюрский. А вас как?

— Лина.

— Странное имя. Оно полное?..

— Полное — Ленина, Ленина Карловна, — голос у Лины был усталый, но спокойный и даже приветливый. Будто вчера ничего не было.

— А!.. Молодцы родители, хорошо назвали. Зря только ты имя свое по-еврейски сокращаешь.

— Что делать! Во мне четверть еврейской крови! с вызовом сказала Лина напряженно-горделивым тоном.

— Да ты что, девочка, расслабься, я же интернационалист.

Не дослушав их пикировки, Петя отправился вниз за газетами — это входило в его обязанности. А уж Лина потом читала бабушке вслух. В ящике, рядом с «Правдой», лежал журнал «Химия и жизнь». Поднимаясь по лестнице, Петя открыл журнальное оглавление и даже затормозил от неожиданности. Там стояло: «Борис КУЗЬМИН. ПУГАЧ. Рассказ». Показалось странным, что сосед, которого он видит почти каждый день, при встрече здоровается, — писатель. От Ильи Тимашева он знал, что Борис *пишет*. Но одно дело — разговоры, сплетни, слухи, вообще нереализованное писание в стол, другое — публикация. Это было как бы официальное удостоверение, что пишущий — не графоман. Петя тоже мечтал, что в будущем получит такое же удостоверение-подтверждение своего научного таланта, и все отнесется к нему с уважением, даже почтением. А сейчас просто удача, что Кузьмин опубликовался в этом журнале, который они получают, и что журнал пришел именно в это утро.

— Лина, посмотри! — воскликнул он, всячески подчеркивая тоном, что к вчерашнему вечеру он даже мыслями не возвращается.

— Я рада за него, — сказала равнодушно Лина, мельком глянув.

— Дай-ка мне, — перехватил журнал Каюрский. — Живой писатель! Вот это да! Сосед ваш? Ну, молодец парень. Ух ты, он

фантастику пишет!.. Гм. Надо бы с ним поговорить. Идея у меня есть, мучит меня. Впрочем, прочитаю сначала.

Он читал. Петя пил чай. Лина готовила бабушке завтрак.

— Пойди, разбуди ее, — сказала она, наконец, Пете. — Все уже готово. Пусть умывается.

Что-то кольнуло Петю, не по себе ему сделалось, даже лица Каюрского и Лины стали словно на черно-белой фотографии, безо всяких цветов жизни. А поскольку он старался избегать всего неприятного и пугающего, он быстро возразил.

— Я уже в школу опаздываю. Да и бабушку не надо будить, раз она спит.

Он выскочил в коридор, оставив журнал в руках Каюрского, подхватил свой, приготовленный с вечера портфельчик, но все же на секунду не удержался и приостановился у бабушкиной двери. Прислушался, смиряя жуть в душе. В комнате было тихо. Петя замер, сердце его тоже почти остановилось. И вдруг снова застучало: он с облегчением услышал, как скрипнул бабушкин диван. Сняв с вешалки китель, который он чуть было не забыл надеть, Петя привел себя в порядок и вышел из квартиры. Он вроде бы даже и успокоился, но все равно ему хотелось, если что-нибудь страшное и произойдет, то пусть без него, пусть он потом узнает. Он боялся жизни, потому что она грозила смертью, но еще больше, стало быть, он боялся смерти.

На лавочке под балконом, между подъездами, прикрывавшими их от ветра, уже сидели старухи: толстая, громоздкая в черном пальто Меркулова и маленькая, в вязаной кофточке, узкоплечая, плоскогрудая Матрена Антиповна. «Значит, у Меркуловой ночевала», — подумал Петя. Черная пуделиха Молли неторопливо, со старческой одышкой, обнюхивала кусты на краю газона.

— Чтой-то Искры Андревны не видать, — умильно плела слова Матрена. — Все с внучкой Сашенькой возится, хлопочет.

— А та ей грубит, ни во что не ставит, — сурово отрезала Меркулова. — Вырастет — заботиться о бабке не будет, это уж точно.

— Что и говорить! В старости человек никому не нужен, — отвечала Матрена Антиповна, делясь своим личным опытом.

— Здравсьте, — бросил на ходу Петя.

Но они остановили его.

— У вас, говорят, ночью неотложка была? — строго, но, с бесконечным любопытством по поводу жизни, смерти, болезней, прозвучавшим в ее голосе, спросила Меркулова.



— Нет, с чего вы взяли? — холодея, ответил Петя. Ему опять стало не по себе.

— Да это я, Петя, — угодливо склонившись, прошептала виновато Матрена Антиповна, — не спала, услышала, как в вашем подъезде дверь хлопнула. А потом к окну подошла, фортка-то открыта была, а из квартиры у вас: голоса доносятся. Один голос мужской, незнакомый. Я и подумала, что Роза Моисеевна отмучилась, а врач приехал смерть свидетельствовать. Еще порадовалась за нее, что осень теплая, без дождей, землю копать легко будет.

— Это к нам гость приехал. Вот дверь и хлопнула, — добросовестно объяснил Петя.

— Умерла, значит, — сказала Меркулова, не слушая его, и перекрестилась. — Хоронить-то где будете? С Исааком Мойсеичем рядом?

— Нигде. Бабушка жива, — отвечая, Петя почувствовал, как у него заныло все внутри.

— Жива? Ну и слава Богу. Пока жива, и ладно. Все равно скоро туда отправится. И мы за ней. Хотя по нашим законам — в разных местах нам быть придется. У евреев-то чего на том свете есть?

— Не знаю, — нейтральным тоном, будто не принимая упоминание о евреях на свой счет, сказал Петя.

— Ну и ладно. А мы уж решили, что все, отмучилась. Это Матрене Антиповне все не спится.

— Какой уж у меня сон? Старая совсем. Таблетки не помогают...

Петя двинулся дальше, к трамвайной линии, оставив их обсуждать снотворные таблетки. Неохота было ему сегодня идти в школу. Робел он встречи с Лизой. Да и с одноклассниками. Не сложилось у него ни с кем из них дружбы, а нынче еще не избежать и разговоров о Желватове. И как тут себя вести? «Пронесет как-нибудь, — решил он, наконец. — Все же день на дворе». Да и ноги уже сами по себе вели его знакомым путем: огибая дом, по дорожке вдоль кустов боярышника, напрямик к остановке трамвая.

\* \* \*

Тимашев вышел из дома с омерзительным чувством в душе, в котором совмещалось раздражение на сына, ненависть к себе, стыд перед женой и тоска от невозможности сызнова почувствовать к ней любовь. В голове крутились почему-то блоковские строчки:

«О, Русь моя! Жена моя! До боли...» Дальше строка обрывалась, как он ни напрягал память. Веселая, гульная, беспечная, талантливая, отзывчивая, а порой беспощадно непримиримая и жестокая такая вот у него Элка.

Немецкой педантичной рабочей усидчивости ей не было дано. Если что у нее получалось, то одним махом, одним духом, если же требовалась долговременная работа, то и Бог с ней, тогда и не надо никаких результатов. Как получилось, что, дожив до сорока лет, он разлюбил ее? И не в Лине тут дело. Это ад, это боль, что не может он ее больше любить. И тоска. От непонимания, как быть и жить дальше. «О, Русь моя! Жена моя! До боли...» Хоть и не церковным браком венчан, но ведь принял он на себя еще в молодости *ответственность* за ее судьбу. И за судьбу сына тоже. А с утра он опять поспорил с сыном, хотя и старался сдерживаться.

Сын все же вчера явился, часам к двум ночи. Следом приехала жена. Илья проснулся, но поскольку уже лежал в кровати, то счел для себя возможным не выходить их встречать. Жена открыла дверь в его комнату. Он лежал, закрыв глаза. Похоже, она догадалась о его притворстве. Илья это понял по тому, как долго она стояла, однако вышла, ничего не сказав, «не разбудив его». И он в самом деле тут же уснул.

Проснулся поздно, около восьми. Он лежал на спине, как и заснул, когда притворялся спящим. Обычно он безо всякого будильника вставал часов в семь — по биологическим часам: привык поднимать сына в школу. Элка была сова, вставала только-только, чтобы успеть на работу. Поэтому часто ездила на такси, денег же не хватало, и эти поездки Илью тоже раздражали. Элка отбредивалась: «Я езжу на такси, но не обедаю, так что лишних денег на себя не трачу». Это было, конечно, неполной правдой, но и не ложью: денег на украшения и наряды Элка у него не просила — обшивала себя сама. И Антона. И его, Илью, тоже.

Он лежал, тщетно пытаюсь вспомнить, что ему ночью снилось. Потом взглянул на часы и быстро вскочил, чувствуя себя виноватым, что проспал и не разбудил сына в техникум. Антон, как и Элка, был совой и будильника по утрам не слышал. Илья постучал сыну в дверь и крикнул, чтобы тот вставал, что уже без пяти восемь. Сын пробурчал сердито, что проснулся и уже встает. Надо было бы проверить, действительно ли он встал, но

Илья, не желая нарваться на утреннее хамство невыспавшегося Антона, вернулся в свою комнату.

Он снова прилег, чувствуя, что начинает нервничать, «заводиться», по выражению сына. А как было не заводиться, когда в собственном доме он должен быть все время готов к обороне от резкостей близких людей! Сына!.. Пытаясь успокоиться, он принялся вспоминать рассуждения стоиков, учивших мужеству жизни. Поглядел на Сенеку, лежавшего на столе, но брать его в руки не стал, потому что ничего, кроме рассуждений о добровольной смерти, которая и есть истинное мужество, он припомнить из его «Писем Луцилию» не мог. Все вспоминалась история про раба, которого везли на казнь, а он сунул голову в спицы колеса телеги, чтобы умереть по своей воле. Потому что мы не вольны в своем рождении, но вольны в смерти. А в жизни?.. На этот счет у Сенеки был один рефрен: тебе не нравится жизнь — можешь вернуться туда, откуда пришел. А как-то переделать жизнь?.. Но ведь сам знаешь, что это не получается, сказал он себе. Не ты ее, а она тебя переделывает.

Он снова посмотрел на часы, прислушался и сообразил, что сын так и не встал. Он поднялся. Подойдя к двери Антона, еще раз постучал. Оттуда сонный, как он и ожидал, голос бормотнул:

— Сколько времени?

— Десять минут девятого.

— Что?! Что ж ты раньше не разбудил?! Теперь я из-за тебя опоздаю.

Открылась дверь и выскочил в одних трусах сын, взлохмаченный, длинноволосый, с крестиком на голой груди, стройный, мускулистый, так не похожий на ширококостного Илью. Выглядел он раздраженным и по дороге в ванную почти оттолкнул отца.

— Я же тебе пятнадцать минут назад кричал и стучал, как только сам проснулся, — пытался миром говорить Илья, оправдываясь. — Ты же мне ответил, что встаешь.

— Будто ты не знаешь, — донеслось из ванной комнаты, что я не сразу просыпаюсь? Все принципы ломаешь, думаешь приучить меня самого рано вставать, — накручивал себя Антон. — Теперь из-за тебя мне выговор будет! — и вдруг, хлопнув дверью, вышел из ванной. — Никуда я не пойду!

— Антон, ты еще успеешь, — вместо «не хами» сказал Илья. — Умывайся, одевайся, а я чайник поставлю. Он быстро закипит.

— Не надо мне твоего чая. Сам его пей! — сын двинулся в туалет, демонстративно не торопясь.

Илья униженно сказал вслед:

— Я все же чайник поставлю, — и пошел суетиться на кухню.

Он поставил чайник. Нарезал хлеб, достал масло, колбасу. Потом, сообразив, что времени у сына и впрямь в обрез, принялся делать ему бутерброды с колбасой. Потом пошел звать сына. Антон, уже в джинсах и свитере, ростом чуть выше Ильи, двинулся на кухню. Сквозь оставленную им открытую дверь Илья мог видеть комнату-логовище с незастеленной постелью и пепельницей, полной окурков, рядом с кроватью. Антон взялся за чайник:

— Опять налил почти полный! Только о себе и думаешь. Я же и так из-за тебя опаздываю! Сколько мы с мамой просим — полный не наливать! Ну и пей сам!

— Ты совсем обалдел?! — не выдержал характера Тимашев. — Ты как с отцом разговариваешь?

А ведь все время говорил себе, что только мягкостью и терпимостью можно Антона излечить от грубости. Сын, вместо ответа, не беря приготовленных отцом бутербродов, схватил кусок хлеба и принялся намазывать его маслом, не глядя на отца. Илья снова попытался набраться терпения:

— Я понимаю, что с престарелым отцом говорить, конечно не интересно, — никак не мог он найти верного тона, — но, может, дело не во мне? Я знаю ребят почти твоего возраста, которые слушают, что я говорю, и смею думать, не без пользы, — он подумал в этот момент о Пете. — И мне обидно, что мой собственный сын лишает себя этой возможности.

— Вот с ними и общайся, — отрезал Антон. — Сам где-то шляешься, пьянствуешь, а тут морали разводишь.

— Я ж не мораль, я просто побеседовать с тобой иногда хочу.

— А я не хочу. Все. Пока.

— Антон! — крикнула вдруг из своей комнаты Элка.

— Что?!

— Поди сюда!

— Я опаздываю.

— Ничего, зайди. Если надо, то и опоздаешь.

Характер у Элки был не в пример Илье, сам тон ее не допускал возражений. Илья понимал, что парню не хочется, что потом он, пожалуй, даже и отхамит, но послушаться тоже не может. Антон вошел.

— Закрой дверь! — опять приказала Элка.

Дверь закрылась. Из комнаты послышалось ворчанье Антона.

— Не смей грубить отцу! — услышал он затем властный и сердитый голос жены, щелчок зажженной спички, пых утренней сигареты. — Ты что себе позволяешь? Отец в тебе, маленькой свинье, души не чает!.. А ты?!

«Раньше надо было это говорить, — закусил губу от жалости к себе Илья. — А не посмеиваться над желанием мужа писать «никому не нужные статьи» вместо того, чтобы ночи напролет сидеть с гостями и слушать ее гитару и песни».

— Ах, свинья! — выкрикнул Антон. — Нам тогда не о чем говорить!

— Вернись, я еще не сказала то, что хотела сказать! Речь не о твоём самолюбии, а о душевном спокойствии отца. Он на службу ходит, статьи пишет, на учителей тебе зарабатывает. В техникум архитектурный тебя запихнул. Не забывай, что Лёня Гаврилов, который тебя туда ташил, — друг твоего отца.

Илья побледнел, затем почувствовал, что покраснел от сжавшего сердце чувства стыда за самооправдания и жалость к себе. Ушел к себе в комнату. Бедная Элка! Он вспомнил, что ему, Илье, она, напротив произносила речи в защиту сына: «У парня тяжелое время, затянувшийся переходный возраст! Будь снисходительнее. Ведь из вас двоих ты старше. Не забывай этого. Парень мучается, не знает, что ему с собой делать, не может найти себя. Нотациями тут не поможешь. Только терпением». Но терпения у нее было немного, она срывалась, кричала на Антона. И все равно каким-то образом находила с ним общий язык. Может, благодаря гитаре.

Открылась дверь, вошел сын.

— Папа, прости меня. Я был не прав.

— Ну что ты милый. Я не сержусь. Просто расстроился.

Он притянул сына к себе и поцеловал в щеку. Тот вначале подставил лицо, а потом вдруг сам прижался к Илье и поцеловал его в ответ.

— Я больше не буду. У меня так бывает. Неизвестно с чего крыша вдруг едет. На меня и другие обижаются. Даже подружки. Ты уж не сердись на меня.

— Ничего, ничего, — говорил Илья.

— Ну, я побегу, ладно? А то я опаздываю...

— Конечно, конечно...

Сын выскочил, хлопнула входная дверь. Чувствуя себя не в силах смотреть Элке в глаза, через пару минут Илья вышел тоже, не заходя к ней в комнату.

Внизу у лифта около решетчатой двери в подвал, как всегда, стояло днище молочной коробки с остатками молока, из-за решетки светились кошачьи глаза, на полу в подъезде валялись скомканные пачки из-под сигарет, обрывки оберточной бумаги, пустые кульки и прочая шелуха, которую жильцы и случайные обитатели подъезда бросали там, где стояли, не утруждая себя десятью метрами до мусорных ящиков. Впрочем, уличные мусорные ящики были переполнены, давно не вывозились, рядом с каждым из них высилась куча мусора таких же размеров, как и ящик. В утреннем воздухе — пока не разъездились машины и не перебили все остальное гарью и выхлопными газами — запах помойки был силен и резок.

«Выбросить бы сюда себя самого, а сверху чтоб еще мусором засыпало. Большого не заслуживаю. Свинья! Это не Антон свинья, это я свинья! Подонок. Бедная Элка! Она же меня еще и защищает. Пытается наладить контакт отца с сыном. А я? Что меня несет к другим бабам?» — он даже не про Лину подумал, а про *баб* вообще — вроде Марьяны кисочек-девочек. «Из-за этого и чувство вины. Как побитая собака. Но почему? Ведь это тот самый *стиль* жизни, который Элке так импонирует в других мужиках: умница, гуляка, весельчак, вечно у кого любовницы-минутки. Да и ему она говорила: «Киски это ничего. Главное, чтоб ты не влюбился». Мудро. В чем же он виноват? Что влюбился в Лину? А Элкины шашни с Паладиным? Стоп! Из-за этого вчера чуть с ума не сошел, опять к Лине вернулся, а теперь так завиноватился, что за был. Стихи-то Саше Паладину! Шутка ли? «В учености ни смысла, ни границ». Это она про него, про Илью. «Расскажет больше томный взмах ресниц». А это она про себя и к нему обращение. А дальше, хотя и под Хаяма, но прямо Сашин образ жизни: «Пей! Книга жизни кончится печально. Укрась вином мелькание страниц». Действительно, книга жизни... Книга Жизни... Почему бы ей и не защищать меня перед сыном?! У самой физиономия в пуху. К Паладину не уйти. Женат! Родительским достоянием, партократическим особенно, не поразбрасываешься. Что ж мужа-то дотравливать! Все-таки дом содержит, — он почувствовал злость, безобразия и цинизм своих мыслей и спохватился. — Боже мой, какая тоска! куда идти, как жить?»

Пока же он перешел проезд и пошел вдоль большого красного дома. Он решил ни о чем не думать, купить периодику и почистить какую угодно дурь, лишь бы отвлечься. В киоске около арки он купил единственный там свежий журнал — «Химию и жизнь», сел в автобус у окна, раскрыл оглавление и даже присвистнул: «Надо позвонить поздравить. Сам-то он знает? Или по-пиратски напечатали, не предупредив? Наверно так, иначе сказал бы». Он открыл пятьдесят вторую страницу и принялся за чтение.

\* \* \*

## Борис КУЗЬМИН

### ПУГАЧ Рассказ

— Звери здесь все невидимые, кроме птичек, пташек-канареечек, черт их побери совсем!

Длинный малый с худым, темным лицом и злыми глазами сплюнул на траву, стараясь, чтоб плевок попал как можно дальше от его вытянутых ног. Зашаталась травинка. Сидевший неподалеку на пеньке толстячок с пухлыми бледными щеками, передернулся от отвращения, но тут же постарался сделать вид, что будто он ничего и не заметил. Толстячок явно робел и не хотел сориться со своим широкоплечим, могучего телосложения собеседником.

Было жарко, и солнце, проходя сквозь ветви окружавших их деревьев, яркими пятнами освещало траву. Пахло нагретой землей. От мелких луж, оставшихся после вчерашнего дождя, поднимался пар.

Толстяку было страшно и тоскливо. Положение, в котором он очутился, представлялось ему безвыходным. Никогда раньше не попадал он в такие истории, во всю свою жизнь не попадал, да и вообще не верил, что на их космической трассе что-либо может случиться. А ведь случилось, и все из-за пустячной, в сущности, неполадки, и вот вместо того, чтобы спешить домой с подарками и игрушками для жены и четырехлетнего сына, он приземлился на этой незнакомой планете... Да не в планете дело, планета ему понравилась, при этом и воздух оказался годен для дыхания, и когда он устранил неполадки, он выбрался наружу. Далеко отходить он не собирался, но, увидев на другом краю той же опушки, где приземлялся сам, чужую ракету, решил подойти поближе. По направлению от незнакомой ракеты тянулась просека недавно, видимо, поваленных деревьев. Он неспешно приблизился, а потом бежал все дальше и дальше в лес, прочь от опушки, потому что там самое опасное место, как

втолковывал ему на ходу длинный малый в космическом комбинезоне, волоча за руку. И вот уже почти сутки, как они плутают в этом лесу.

Длинный смотрел на толстяка угрюмо и неприязненно. Он и сам пребывал в тоскливом отчаянии, но, как это бывает у некоторых людей, оно выражалось у него в раздражении на ближнего. Он злился и запугивал толстяка, чтобы тем самым укрепить свой собственный дух. Длинный последний раз затянулся и щелчком отбросил сигарету в сторону. Был он небрит, грязен, космический комбинезон порван на груди, и серебристые волокна жаростойкой ткани вылезли наружу, ноги — от больших, с рубчатой подошвой башмаков до самых колен — были в болотной грязи, которую длинный и не пытался даже счистить. Он сидел, вытянув ноги в своих тяжелых ботинках, прислонившись спиной к стволу дерева, на коленях у него лежал карабин.

— Точно, — сказал длинный, — если мы не смогаемся отсюда, нам конец! Понял?

Упала шишка. Они одновременно посмотрели вверх. По веткам прыгала небольшая розовая птичка, постукивая клювом о кору, и, казалось, разглядывала их. Длинный поднял карабин.

— Прибить стерву!

— Зачем? — слабым голосом робко спросил толстяк.

— Зачем? Наводчица она, понял? На, пальни!.. Хочешь?

— Нет, — поспешно, словно даже испугавшись такой возможности, но твердо ответил пухлощекий. — Разве обязательно чуть что — так и стрелять?

— А ты думал, — захохотал вдруг презрительно его собеседник, — оружие носят, чтоб в игрушки играть?

В этот момент птичка вспорхнула и скрылась в густой листве кроны дерева. Длинный опустил карабин. На лице его выразилась досада от упущенной возможности и раздражение.

То, что этот малый готов стрелять каждую минуту и по любому поводу, толстяк понял еще вчера из его ночных рассказов. «Нас было шестеро отчаянных парней, — так ночью, когда они лежали на мху, укрывшись под низкими и мокрыми ветвями большой ели, рассказывал полушепотом длинный. — Что нас ожидало дома? Скука, понял? Работа на паршивом грейдере час в неделю, а потом? Вина безалкогольные, охота запрещена... А я мужчина! Охотник! Воин!.. Вот мы и решили добраться до этой гадской планеты, посмотреть что к чему». При каждом шорохе длинный замолкал, напряженно сжимал карабин, объясняя дрожащему слушателю: «Их все равно не увидишь и не услышишь, зверей этих. Просто был ты, а вдруг тебя нет, не видно, а где-то наверное, твои косточки хрустят. Понял? А стрелять куда — неясно. Мы сразу, как сели, из лазерной пушки шарахнули, чтоб, понимаешь, дорогу себе расчистить. Просеку видел? Наша работа. Сошли, и вдруг — бац! — исчез наш бомбардир.



Был и нету. Мы не скумекали поначалу, что, понимаешь, происходит, искать пошли. Еще двое пропало...» Он рассказывал, а толстяк щупал в кармане игрушечный, хотя и удивительно похожий на настоящий, пистолет-пугач, купленный в подарок сыну, и думал, что если и вправду на них нападут, от его игрушки будет мало проку. Да и не был он уверен, что и настоящим пистолетом он сумел бы воспользоваться. Слишком он был неповоротлив и неуклюж, слишком привык к мирной жизни...

Как ни странно, присутствие толстячка в чистеньком комбинезоне снова придало длинному духу. Когда он остался один, когда пропали один за другим все его спутники, он как безумный бежал по лесу, не смея подойти к ракете: невидимые звери, казалось ему, непременно караулят у входа. Люк ракеты был открыт и вроде как заперт: не пройти. Он от ужаса и безысходности чуть с собой не покончил, когда его последний дружок, пытаясь войти в ракету, прорваться, стреляя в дверь на бегу разрывными пулями, тоже исчез. Тогда-то он увидел, как на чертовом этом васильковом лугу опустилась ракета, из нее вылез человечек и направился к лесу. Так они и встретились.

После всех этих рассказов и разговоров толстяк чувствовал, что он не то, что шагу ступить, даже шевельнуться не в состоянии. Длинный из-под опущенных век наблюдал за ним. А вокруг все было спокойно. Солнце на просвет освещало прямые стволы деревьев, тихо, ни ветерка, только птицы, пестрые, разноцветные, щебетали и перелетывали с ветки на ветку.

— Ладно, — длинный легко вскочил на ноги. — Надо двигать.

— Куда? — ни ноги, ни язык не слушались толстяка. Он только жалобно скривился, не двигаясь с места.

— Кончай нюнить! К твоей ракете вернемся!..

— А как же?..

— Что как же?

— А как же... звери?

Длинный быстро огляделся. Нахальная розовая птичка качалась на ветке прямо перед ним. И никого больше. Трава, изумрудная и густая, но невысокая, в ней не спрячешься. Но толстяк прав. Звери могут быть везде. И уж наверняка у ракет. А раз везде, значит и здесь тоже. Он невольно вздрогнул. Остаться в лесу и ждать (чего ждать?) он больше не в состоянии. Попробовать прорваться, пока есть попутчик!.. Может, ракета толстого хмыря чиста.

— Ладно, хватит рассуждать. Вставай и потопали.

Толстяк, не поднимаясь, отрицательно покачал головой. Пугач, который он купил сыну, лежал во внутреннем кармане комбинезона и впивался в бок, но толстяк не шевелился. Он почти физически ощущал свое будущее исчезновение в желудке неведомого зверя, и его тошнило. Длинный навел на него карабин.

— Мне это раз плюнуть, понял?

Толстяк поднял голову. Дуло было черненькое и небольшое. Во рту появился медный привкус, но толстяк остался сидеть. Не все ли равно, думал он, где, как и когда умирать? И все же опустил глаза, слишком страшной и безжизненной была темная дырка, набиравшая черноты от глубины ствола.

Очнулся он — от жуткого удара башмаком в ребра — лежащим навзничь. Он чувствовал, как по щеке стекает изо рта струйка крови. Голова гудела, но резкой боли не было — очевидно, опрокинулся на мягкий мох у самого подножия дерева. Толстяк повел глазами и увидел большие грязные башмаки, которые неторопливо приближались к нему. В этой неторопливости было что-то ужасное и неотвратимое.

Быть избитым, а то и искалеченным этим безжалостным человеком всего в нескольких часах лету от дома, где его ждет не дождется сын, вдруг показалось ему чудовищным. Небо было синее, жаркое, мог бы быть радостный день, но они одни, и никто не придет на помощь...

Длинный занес ногу для удара, но неожиданно поскользнулся на мокрой траве и полетел на землю, выронив карабин. А толстяк, увернувшись от удара, откатился в сторону и теперь с трудом встал на колени, потом на ноги, разогнулся и сунул руку во внутренний карман. Длинный потянулся было к карабину, но замер. Толстячок стоял перед ним, направив ему в лоб дуло пистолета. Длинный хотел сплюнуть, но вместо этого с трудом проглотил слюну. Оказывается, толстяк был малый не промах. Длинному не первый раз направляли в лоб пистолет, и он знал, что если сразу не было выстрела, то его и не будет. И все же, и все же... Он напряженно следил за подрагивающей от тяжести пистолета рукой. Кто знает?.. Хмырь не стрелял, кровь запекалась у него на щеке, и он свободной рукой пытался ее стереть. Если все образуется, с ним можно делать дела, думал длинный. Раз ребята погибли. А когда еще таких орлов найдешь! Застрелит или не застрелит? Я-то, я-то ведь не убил его! И не хотел убивать. Хотел только поучить малость. Так ошибиться! Не понять, с каким парнем дело имею!..

На голову ему с дерева посыпалась труха. Это была все та же птичка розового цвета, устроившаяся на ветке как раз над ним. Он судорожно дернулся сначала, но поднять руки, чтоб стряхнуть с головы древесный мусор и пугнуть птичку, не посмел. Толстячок, заметив это, пистолет приопустил.

— Ты сильная личность, — сказал он. — А я, по-твоему, нет. И поэтому меня можно пинать ногами. Но и у меня есть оружие. Если надо, если потребуется, я применю его. Прошу это запомнить.

— Понял, — сказал длинный, — Не горячись. Мир.

Он все еще полулежал-полусидел, опираясь на руки, как застыл, когда увидел пистолет. Но теперь он понял, что может двигаться. Он стянул с головы труху и сел, скрестив ноги и не дотрагиваясь до карабина.

— Слушай, — обратился он к молчавшему толстяку. — Богатая идея. Точно богатая.

Идея эта представилась ему и вправду удивительно простой и выполнимой безусловно. И даже честной. Главное, не спугнуть, убедить толстяка, и тогда они спасены. Толстяк боится идти к ракете. Правильно. Он и в самом деле хотел, запустив толстяка вперед проверить, есть ли звери в ракете. Но теперь я сам пойду, решил я длинный. Пусть только пистолет даст. Что ж, он не понимает что ли, этот остолоп, что нельзя здесь, на этой гадской планете оставаться — сожрут ведь. И не заметишь, откуда подлезут.

Он и не подозревал, что спутник его уже решил. Надо возвращаться, думал толстяк. Во что бы то ни стало. Он представил, как не находят себе места жена с сыном, он ведь всегда так аккуратен. Еще разыскивать отправятся. А куда? Нет, это надо предотвратить. Скорей домой. Правда, в груди делалось нехорошо и слабели ноги, когда он думал о зверях. Но вдруг они ушли? И бандюга этот вроде бы присмирел. Вот тебе и пугач, и вправду пугач.

— Слушай, — снова начал длинный, — слушай.

Он говорил медленно, с трудом подбирая слова, чтобы они звучали убедительно и не страшно.

— Слушай, я понял в чем дело. Понимаешь, звери эти невидимые сами-то небось видят. И оружие наше издали видели. И скрылись, понимаешь? Может, в воздух подымались, может, еще куда. Мы постреляем, понимаешь, и все мимо, а они потом — бац! — И будь здоров. А с пистолетом вплотную можно подойти! И прямо у входа из кармана шарахнуть. Ведь это верняк, понял? Только попасть надо. А в упор — проще простого...

Толстяк молчал.

— Эй, ты не думай, — заторопился длинный, боясь, что толстяк откажется, — я первый с пистолетом пойду.

— Нет, — твердо сказал толстяк. — Я сам. Только у меня с глушителем пистолет. Выстрел можешь и не услышать.

— Понял, — длинный вскочил на ноги. И покосился на спутника.

— Карабин подбери, — разрешил тот.

И они пошли. Вечерело. Косые лучи солнца еще освещали лес, но чувствовалось, что скоро начнет темнеть. Птицы под вечер попримолкли. Но несколько пташек, свиристая, неотступно следовали за ними, перепархивая с дерева на дерево. Странной казалась пустота леса. Деревья, кусты, поваленные стволы, ветки, хрустящие под ногами, и, кроме птиц, ни одного живого существа — до самой опушки, до василькового поля.

Ракета толстяка стояла совсем близко к деревьям, можно добежать одним рывком, если хватит сил. Длинный остался ждать, а толстяк медленно пошел вперед, сжимая в кармане пугач.

Пусть не будет зверей, — думал он. — Пусть их не будет. Не мог же я дать пугач этому малому, он бы сразу все понял. Только бы не было зверей.

Руки плохо слушались его, люк никак не хотел открываться. С трудом он откинул его и вошел внутрь. И внутри корабля тоже никого не было. Никто не нападал. Оставив люк открытым, толстяк быстро пошел в рубку управления, захлопнул за собой дверь и прижался лицом к смотровому стеклу.

Он сразу увидел длинного. Озираясь, тот стоял на опушке. Потом, решившись, сплюнул и быстрыми шагами пошел к ракете. Он шел, поглядывая настороженно по сторонам, держа карабин в боевой готовности. Остановился. Побежал. Снова пошел шагом. Васильки, растоптанные огромными ботинками, отмечали его путь. Опять побежал. В нескольких шагах от ракеты вскинул карабин и выстрелил. Вверх, вперед, вниз. Одна пуля чиркнула по обшивке. Длинный рванулся к люку. Толстяк вышел из рубки, чтобы запереть люк. И обмер. Длинного не было.

— Эй, парень, где ты? — спросил он.

Никто не отозвался. Люк открыт, снаружи светло. Толстяк осторожно выглянул. Никого. Он вылез из ракеты, обошел ее кругом. Никого. Тишина. Только птички посвистывают.

Он вернулся. Не торопясь, запер люк, прошел в рубку и запустил двигатель.

— Домой, — сказал он себе, — домой.

\* \* \*

«Домой, — повторил Илья, — а мне, стало быть, выпало после сорока потерять свой дом. Возвращаться мне туда неохота. Все кончилось. Как только перестал представлять, каким должен быть *дом*, его сразу не стало». И с сыном не поговорить. А когда-то, как этот толстячок, бежал домой к маленькому Антону... И нечего жену винить. Надо полагать, его отношениям с сыном она не мешала. Если не считать всеразрушающей российской богемности. Откуда у Элки такая бесшабашность? Тесть с тещей — тихие работники, инженеры. Может, правда, что-то от прадеда-цыгана перedalось? С другой стороны, при чем здесь кровь? В каком русском нет цыганской, половецкой, татарской, еврейской, угро-финской, немецкой и всяких других кровей! Дело в стихийности, недоцивилизованности самой культуры. А мы — ее пленники.

Илья посмотрел на журнал и подумал, что уже далеко убрел от кузьминского рассказа. Хорошо бы дать почитать его сыну. Элка смеялась: «У Ильи классическая отцовская шишка». Он с ума сошел, когда Антон болел или домой хоть на полчаса опаздывал. Не дай Бог что-нибудь случилось! Когда сын был маленький, Илья ло-

жился с ним рядом, чтоб не страшно было малышу одному засыпать в темной комнате. В квартире гости, за дверью комнаты пьяноватый шум и гам, звучит гитара Элки, смех, возгласы «где же Илья?», а он, Илья, прилег поверх одеяла рядом с сыном, и кажется, что ничего другого ему не надо. Как и когда он утратил этот контакт?

От собственного ли беспутства? Что ж, оно давало возможность Элке возражать на его упреки. «Будь честным, — говорила она. — Ты призываешь к работе, а сколько раз видел тебя Антон пьяным!.. Ты об этом помнишь? А ты к парню с нравочениями лезешь, да еще с этим казенно-коммунистическим убеждением, что труд создал человека. Посовестись, Илья! Антон честнее тебя, когда заявляет, что хочет жить в кайф». Поведение сына — это ему наказание за его гульбу.

Может, и в самом деле прав Кузьмин, что земная жизнь и есть ад, где люди в самой своей жизни получают воздаяние за грехи?

Но почему у него так случилось? Может, потому, что не было любви? «О, Русь моя! Жена моя! До боли...» Никто из них — ни он, ни Элка, — не стал личностью, не строил свое бытие, ограничивались бытом. А там, где нет личности, нет и любви. Есть лишь зов плоти. Или удобство совместного проживания, быта.

Он страдальчески зажмурился. О Лине он сейчас даже и не вспомнил.

Автобус остановился. Все принялись выходить. Илья сунул журнал в сумку и встал. Автобус подъезжал не к самому входу в метро, а с тыла, метров сто еще нужно было идти. Илья вышел последним. Неподалеку от конечной остановки автобуса был величественно-мраморный вход на ВДНХ. Здесь как всегда дул сильный ветер. Почему именно здесь скорость ветра усиливалась, было непонятно. Возможно, какой-нибудь просчет архитекторов, устроивших на этом месте эффект аэродинамической трубы. Валялась опрокинутая урна, неслись по асфальту, подпрыгивая, конфетные бумажки и обрывки газет. Илья ускорил шаг, перешел шоссе и свернул на дорогу, которая вела мимо разнообразных киосков ко входу в метро. Но и тут ветер не унимался, так что пришлось поднять воротник куртки. Проталкиваясь сквозь толпу встречных прохожих, Илья невольно следовал за парой средних лет. Женщина на ходу выговаривала своему, очевидно, мужу: «Что тебя теперь, толстопузого, интересует? Кино, вино и домино. Хоть бы на бабу какую посмотрел, расшевелился!..» Муж отдувался и молчал.

## Глава XIX

# Вольер

Но это кто в толпе избранной  
Стоит безмолвный и туманный?  
Для всех он кажется чужим.  
Мелькают лица перед ним,  
Как ряд докучных привидений.  
Что, сплин иль страждущая спесь  
В его лице? Зачем он здесь?

*А. С. Пушкин. Евгений Онегин*

Редакцию он называл в мыслях *вольером*. То есть огороженным местом, где зверям позволено слегка резвиться. Для журнальной работы требовалась раскованность и умеренный цинизм. Не тупоумие ортодоксов — оно бесплодно и не дает возможности журнального маневрирования — а легкое фрондерство. Постороннему человеку редакция казалась оазисом свободомыслия. И он сам всегда охотно и радостно носил маску остряка и балагура и кувыркался в этом вольере, порой живее прочих.

Но сейчас, стоя в полутемном вагоне метро, он чувствовал дурноту, захлестывавшую его до самого горла. «Что в сущности, случилось? — успокаивал он себя. — Почему я решил, что все кончено? У всех все в жизни бывает. Ничего же не произошло. Что я расписывался? Все образуется. А если перейти на автономное существование?.. Бесстрашие — как принцип Стои. Дыхание ровное, лицо спокойное. Нейтральное выражение лица. Но не рвать ни с кем, оставаться прежним, но сдержаннее, без всяких шуточек. Проще говоря, одеть маску Чайльд Гарольда. И никаких выяснений с Паладиным. Бессмысленно. Даже неважно, так это или не так».

Но дыхание перехватило, когда опять подумал, что *могло быть так*. Хотя бы неделю назад. Поехали к нему после стекляшки. Элка пела под гитару. Антон был у тещи. Потом, расчувствовавшись, пьяно выводили военные песни, воображая себя настоящими друзьями. «Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой». Потом два танкиста, Илья и Боб Лун-

дин, убралась спать, а Элка и Паладин остались на кухне — петь и вести разговор. Илья проснулся как всегда рано, раньше даже семи, толкнула его ревность не ревность, а что-то вроде. Он вдруг с похмелья вспомнил начало своего романа с Линой: вот так же в гостях, пока другие спали. Вскочил и вышел на кухню. Элка сидела за столом и курила. Увидев Илью, почему-то привстала, но *открыто и честно* посмотрела на него и заговорила, словно отменяя возможные подозрения: «Только что Паладина уложила. Всю ночь протрелились. Он мне исповедовался в своей жизни». Илья не мог не поверить. Все же было бы чересчур, когда муж в соседней комнате. Теперь, по воспоминанию, этот ее открытый взгляд казался ему подозрительным. А жена Цезаря должна быть вне подозрений, вспомнил он формулу развода, использованную Гай Юлием Цезарем.

«У тебя грязное воображение», — сказал он себе.

Он ничего и никого не видел вокруг себя, бессмысленно глядя в черноту туннеля, по которому мчался поезд. Механически на «Проспекте Мира» перешел на кольцевую. Мысли проворачивались, но как-то неплототворно, словно на холостом ходу. Ничего он не мог себе объяснить, не мог принять никакого решения.

Он вышел из метро «Парк культуры» и решил пройти пешком по Садовому. Было еще полдесятого, можно не спешить. На улице по-прежнему дул ветер, и он надеялся остыть, успокоиться, охладить голову. Он шел, глядя себе под ноги. Сердце билось неровно. Пыль и мелкий песок летели ему в лицо. Приходилось отворачиваться. Было неприятно. Несколько минут он боролся с ветром, потом, не выдержав, повернул назад, к переходу. На другой стороне дождался троллейбуса. Ехать немного, всего две остановки.

Он стоял у двери, держась за поручень. К выходу пробиравась пожилая уже, худощавая женщина с седыми кудерьками, прокурненным лицом, нервными худыми пальцами, которыми она хваталась за спинки сидений для устойчивости. Тип, много раз встречавшийся Илье: классная секретарша-машинистка при каком-нибудь главном редакторе в журнале, наверняка одинокая, с неустроенной личной жизнью. Проходя мимо Ильи, она вдруг толкнула его и почти с ненавистью крикнула:

— Не видите разве, что всем мешаете?

Поспешно посторонившись, Илья тем не менее не удержался:  
— Неужели всем?

Но обидчица сошла, не ответив, бросив только на него негодующий взгляд. Вот так, ни с того, ни с сего. И Илья тогда сказал себе, что нужно затаиться, «не возникать», а то чего-нибудь натворит: слишком скверно начинался день. Житейский опыт подсказывал, что бывают дни, когда лучше где-нибудь пересидеть в укромном месте или, по меньшей мере, не предпринимать в этот день никаких начинаний.

Он подошел к двухэтажному особняку, постройки еще прошлого века. В этом особняке теперь помещалась их редакция. Еще не было десяти, и он никого не ожидал увидеть. Но у крыльца стояли сотрудники, курили, болтали. Через забор, отгораживавший их от жилого дома, свисал высохший тополь, еще летом перерубленный молнией посередине. Другой забор отгораживал стройучасток с недоразваленным каменным домом. Вдалеке маячил часовой. Года два назад военные получили этот участок в свое пользование, хотели тут что-то строить. Для этого надо было убрать старый дом. Но когда его ломали, не соблюдая, разумеется, правил безопасности, то часть кирпичной стены этого дома рухнула, солдатиков завалило, четверых — насмерть. Рассказывали, что военного начальника понизили, во всяком случае работу законсервировали, и уже год, кроме часовых, охранявших непонятно что и заигрывавших с девицами из соседнего медучилища, никто там не появлялся.

— Вот и наш друг, словно ранняя пташка, прилетел, — сказал Саша Паладин, протягивая руку.

— Ну что, засранец, все в порядке? Живой? так-то! Знай наших! Гомогрей не подведет, — дружески заулыбался навстречу Тимашеву верный семьянин Ваня Гомогрей.

— Несмотря на твою помощь, скотина, — ответил Илья. — Тебя ваш новый друг Тыковкин совсем с ума свел, — как бы между прочим добавил он, искоса глядя на Паладина. Он старался отщучиваться и не напрягаться, но все же слегка провоцировал ситуацию, будучи человеком не очень устойчивых решений.

Паладин и глазом не моргнул, а Гомогрей стал оправдываться:

— А что? Тыковкин к себе манит. Говорит, что скоро все изменится. Политбюро перестройку объявит, и его большим началь-



ником назначат. Свое издательство заведет. Гомогрея себе в заместители прочит. Вместе будем с догматизмом бороться.

— И ты, дурачок, поверил? — консервативный Паладин был ироничен, да и Тыковкин-отец был из противоположного крыла партократии. — В этой стране никогда ничего не изменится.

— Почему это? — пискнул Гомогрей. — Бровеносца-то нет уже. Я думаю, шансы у Толикова папахена повышаются.

— Что ты, Гомогрей, еще надумал? — хлопнул его по спине Паладин. — Или ты и в самом деле надеешься, что Толик тебя за собой вверх потянет?

— А чем тебе Гомогрей плох? Я удачу приношу. Надо же ему на своего человека опираться, — защищался неунывающий толстячок.

— А тем! Тем, что ты дурачок! Поначалу, конечно, возьмет, пока ты ему нужен будешь. Ты выложишься, он тебя использует, а затем выбросит, если не продаст в самый трудный момент, себе на пользу. Ты послужишь ступенькой в его карьере. А уж что за карьеру он себе наметил — это я и вообразить не могу.

— Ты слушай, Гомогрей! Паладин знает, что говорит. Все же знакомая ему стихия, родная среда, все человечки как на подбор, — зло и глупо ляпнул вдруг Илья.

Саша в ответ только усмехнулся, не возражая.

— Ты мое желание, утро мое ты раннее, — пропел долгоязыый Боб Лундин, обнимая Илью за плечи. — Ты почто такой нервный? Проспался ли ты, душа моя? Или тебе не удалось сомкнуть бессонны очи?..

— Зачем обижаешь нашего друга? — сказал Саша Паладин. — Он не только бабник, но и творец. Небось, еще одну статью о своем любимце Чернышевском написал. А, Илья?

— Почти угадал, — сухоовато, не зная, как еще уколоть Паладина, ответил Илья. — Дорабатывал предыдущую — о том, что прекрасное есть жизнь, а мы живем, как мертвецы, делаем вид, что живем, а сами не знаем, что это такое, во имя чего существуем.

— Душа моя, напомню тебе сентенцию Скокова, — ухмыльнулся Боб. — Он сегодня болен после вчерашнего, но, думаю, от слов своих не отопрется: *у них борьба за жизнь, а у нас за существование*. А я добавлю: у нас все ради человека, все во имя человека, и мы даже знаем имя этого человека.

Все засмеялись, а Илья все так же слегка вызывающе сказал, желая во всем противоречить Паладину:

— Погоди, Боб, я договорить хочу. Категорически не согласен с Паладиным, хотя изменений мало видно. Но они есть. Архетипы, конечно, работают прежние, языческие, жизнь человека, как и раньше, не ценится, значит, в основе наших ценностей остается смерть. Всегда у диких народов существует поклонение мертвецам, с развитием христианства — святым мощам. Но это не подлинное христианство, а амальгама христианства и язычества. Не случайно у христианнейшего Достоевского его святой старец Зосима, к телу которого язычествующая толпа хотела прикладываться и излечиваться, вдруг «пропах». А он, по Достоевскому, был действительно святой. Это ж явно против языческого поклонения мощам. Думаю, что на Западе в большинстве своем эти суеверия преодолены.

— Перестань, радость моя, нам лекцию читать, мы и так умные, — снова обнял его за плечи Боб. — Ты прямо говори, в чем этот засранец Паладин не прав.

— Сейчас. Я хочу сказать, что там последние годы, кажется, изменяется в сторону очеловечивании, а у нас в сторону одичания. Наш партаппарат, — он в упор посмотрел на Паладина, будто тот был прямым представителем всего партаппарата и нес за него ответственность, а Паладин опять усмехнулся, — доводит до безумия это дикарское поклонение мертвецам. В центре страны, в столице, на центральной площади лежит в гробу мертвец, и десятки, и сотни тысяч людей со всех концов страны приезжают посмотреть на него, приобщиться к святине, выставляют длиннейшую очередь, счастливые возвращаются. В особо торжественных случаях члены Политбюро, которое правит этой страной, влезают на Гроб, в котором лежит Великий Мертвец, и произносят перед идущими толпами организованных сограждан разнообразные торжественные речи, а толпы проходят и ликуют по приказу, приветствуя своих, стоящих на гробу правителей, а потом, вернувшись домой, шушукаются, кто из вождей сам стоял, а кого поддерживали, потому что от мааразма и дряхлости уже никто на ногах не держится. А речи совсем недавно произносил главный зомби, бровастый, каждый раз с трудом гальванизировавшийся труп. Андропов тоже, говорят, при смерти, во всяком случае тяжело болен. И это руководство страны!..

— Ну что ты так распалился? Охолопись, не напрягайся, — сказал Саша Паладин, его безбровое лицо юмористически сморщилось, и он дружелюбно пхнул Тимашева в грудь ладонью. — Повторю тебе: другого ничего у нас не будет. И скажи спасибо, что вожди такие, а не вроде, например, Сталина. Не кривись. Я тебе правду говорю. Не дай Бог что изменится! Будет хуже. Но чтобы порадовать твою диссидентскую душонку, могу анекдот рассказать. Знаешь, какой любимый вид спорта у нашего правительства? Гонки на катафалке вдоль кремлевской стены.

Боб отрывисто захохотал и хлопнул Сашу по плечу.

— Выполним пятилетку в четыре гроба! — крикнул он.

— Сашка Зиновьев, говорят, сказал, — заметил Паладин, продолжая подчеркивать свою осведомленность и вольномыслие, — и правильно сказал, что нынешняя пятилетка будет пятилеткой пышных похорон.

— Тише вы, — сказал осторожный Гомогрей. Пухлый, невысокий, даже маленький, в очках, с солидным плотным брюхом, он всегда был преисполнен мужской солидарности.

— А что вы, собственно, столпились здесь? — спросил Илья, чувствуя, что его обличительный запал кончился.

— Шукуров с вокзала мне звонил, — пояснил обстоятельный Гомогрей. — Везет канистру туркменского коньяку. Я всех обзвонил, а тебя уж, Илька, не было. Ну и Элка мне врезала, что рано позвонил, что она уснуть пыталась после того, как вы с Антоном ушли. Что-то она сегодня не в духе.

Илья сделал вид, что пропустил упоминание об Элке мимо ушей, задал следующий вопрос:

— А Главного пока нет в редакции?

— Пока нет. Да Чухлов сказал, моя радость, что Сергей Семеныч как на летучку придут, так после сразу и отъедут. Так что у нас будет время поправить свое здоровье, — мурлыкал Боб. — А я-то думаю, что хорошо бы он вообще не приезжал.

— А Чухлов там?

— Там, — ответил Гомогрей, — и он, и Алик Цицеронов. Неужели соскучился по ним? Тебя друзья не устраивают?

— Ты недооцениваешь нашего любимого друга, — улыбнулся поощрительно Паладин. — Просто, кроме друзей ему еще необходимо и общество дам. Впрочем, и они к нему неравнодушны. И почему, Тимашев, к тебе так девушки льнут?

— Потому что они чувствуют, кто их любит, — наставительно, тоном бонвивана ответил Тимашев и поднялся на крыльцо.

Пройдя приемную Главного и против обыкновения туда не заглянув, он открыл было дверь в свою комнату, но его окликнула секретарша Главного, Света:

— Илья, ты чего мимо идешь и не здороваешься?

Полной, пышнотелой блондинке Свете Илья нравился. Однажды она даже набивалась на роман с ним, сказав, что ей приснилось, как они с Ильей занимаются безумной любовью. Но Илья избежал тогда ее чар, потому что любовь с Линой была в самом цветении. Впрочем, обычно он кокетничал с ней, и их отношения оставались вполне милыми.

— Извини, солнышко, задумался, — ответил он, возвращаясь и заходя в приемную.

— Не уподобляйся Чухлову, — сказала улыбочиво Света.

— То есть? — Тимашев наклонился и поцеловал ее в пробор.

— Да он сейчас прошел, ни с кем не здоровается. Ему Паладин говорит: что это вы, Клим Данилович, не здороваетесь? Не плохо бы вам замечать своих сотрудников. А он: у меня в голове столько идей, что после дома не успеваю перестроиться.

— Ну, надеюсь, ты нас не путаешь? — спросил он, улыбаясь и обнимая ее за плечи, как и требовалось по роли.

— Стараюсь, — ответила она.

В приемную заглянул Алик Цицеронов. Одетый в хороший костюм, в роговых очках, он единственный, не считая Главного, имел степень доктора наук.

— Тимашев как всегда обнимается, — завистливо сказал он, протягивая Илье руку.

— Привет, — отлипнув от Светы, Илья пожал руку Цицеронову. — Главный не приехал? — поинтересовался Алик, умевший и любивший говорить с Вадимовым наедине. За это остальные недолюбливали его, считая карьеристом, а он, в свою очередь, возмущался их пьянством. Илья не находил в себе осуждения Цицеронову, потому что в отличие от прочих тот умел работать, сам, почти с нуля, строил свое преуспеяние. Споря с приятелями, Илья говорил, что вот, мол, мы рассуждаем о том, как на Западе умеют работать, восхищаемся деловыми качествами европейцев и североамериканцев, а как у нас возникает подобный персонаж, почему-то отторгаем его. Он для нас инородное тело. А ведь

Цицеронов не доносчик, подлостей не совершает и не пишет, печатает приличных авторов, а то, что он свои дела устраивает, так не за счет же других. Почему же в нашей структуре такой тип поведения кажется подловатым?..

— Скоро придет, — сообщила Света. — Злой, как мегера. Собачка у него вчера сдохла.

— А злится-то чего?

— Еще бы не злиться, — пояснил Алик, понимавший в такого рода делах. — Он же в цеховских домах живет. Там они все совместно своих псов выгуливают. Через собачку и заводятся важные знакомства и связи. У собачек связи сексуальные, у него партийно-карьерные.

За глаза Алик всегда говорил гадости о начальстве. Впрочем, сам при этом был парторгом редакции, пробивал себе путевки в закрытые дома отдыха, использовал все возможности предоставляемых ему по его должности благ, потому что, говорил он, «приличный, то есть нормальный по европейским стандартам, уровень жизни есть только у партаппарата. Но это грязная карьера, от них можно прихватить, попользоваться, но постоянно там существовать тяжело». Недавно он получил звание профессора, а теперь искал работу повыгоднее и посолиднее. «Должен быть надежный тыл, — говорил он. — Я хочу в нашем любезном отечестве чувствовать себя защищенным со всех сторон. Чтоб меня никто не мог тронуть. И тебе давно пора докторскую защищать. Что ты пример с этих пьяниц берешь? У них у всех есть Лапа, они потому так в себе и уверены. И ни хрена не делают» — «Ну, ты уж хватил, что у всех!» — отвечал Илья. Хотя, как он потом сообразил, каждый был если и не Сыном, то непременно «чьим-то человеком».

— Теперь он будет стараться собачку заместить. Вот увидишь, статьи три сразу опернабором пустит, — продолжал Цицеронов. — Тех людишек, от которых он зависит. Мало нам было Фетра Николаича, который каждой бочке затычка. Вадимов у него почти что на коленях статьи вымаливает — и сразу в набор. Что ж, — многоопытно вздохнул Алик, — он на нем держится. Полетит Фетр, полетит и наш драгоценный Главный.

— Ладно, — сказал Илья, — черт с ним! Скажи лучше, что такое секс по-советски?

— Ну? — заинтересованно спросила Света.

— У тебя, Тимашев, один секс на уме, — сказал Алик.

— Дурачок, это ж на тему вадимовских «нужников». Секс по-советски — это введение старого скрюченного члена в Политбюро, а применяясь к нашей теме — в редколлегию журнала.

Алик непроизвольно рассмеялся, но тут же пошел к выходу:

— С тобой, Тимашев, залетишь за такие шуточки.

Еще раз поцеловав Свету, Илья пошел в комнату, думая, капнет ли кому-нибудь о его шуточке Алик или нет. Но все же ему показалось, что вряд ли. Технически этот донос был непредставим. Прийти в КГБ и сказать: «Мой коллега рассказал такой-то анекдот. Возьмите его на заметку». Так что ли? Для этого надо личную неприязнь испытывать. А у Цицеронова ее ко мне нет, думал Тимашев. «Странный тип Цицеронов, — думал он, поставив сумку рядом со своим стулом. — Не плохой и не хороший. Словно новая порода человека. А идеи его о защищенности со всех сторон, прямо как у владленовского Пети». Вспомнив Петю, он вообразил вчерашний вечер, отчаяние Лины, ее бессмысленное упорство, почти истерику, почти безумие, жалкий, несчастный блеск глаз, и снова его охватила тоска от запутанности жизни, но он постарался не дать ей воли.

В комнату вошел Коля Круглов. Они поздоровались.

— Слыхал? — спросил Илья. — У Вадимова собачка померла.

— Слыхал, — отозвался Коля. — Несчастье для всех. Теперь и нам жизни не будет. — Коля был человеком, как казалось Илье, весьма нетривиальным, но ничего не пытавшимся сделать как бы от себя. Давали задание — писал редакционную или передовую, рецензию или обзор, но к научным или карьерным целям он не стремился. Как-то в совместной командировке он признался Паладину (а тот рассказал остальным), что в юности еще понял: философским гением ему не стать, карьера не привлекала, работа в редакции была хорошей заводью, а потому он никуда не совался, а просто жил. Катался на горных лыжах, ходил в походы, весь Союз объездил, а для увеселения своего и ближайшего окружения сочинял словесные шуточки. — Жуткий ветрило на улице, — говорил Коля. — Еле дошел. Вот кого никогда не сдует, так это Вадимова. В каком-нибудь кресле, а будет сидеть. Слышь, про Вадимова придумал: верный приспособленец высоко ценил кремлевские прејскуранты.

Илья рассмеялся:

— Перевернутый новояз. А тебе не кажется, — повторил он слова, которые говорил Лине, — что наши термины вроде «демократического централизма», «воинствующего гуманизма» или еще чего-нибудь в этом духе — типичное проявление закона о единстве и борьбе противоположностей?..

Илья принялся раскрывать папку «из новых поступлений». Коля Круглов подумал минуту.

— Можно и так, — он хлопнул себя ладонью по макушке, показывая, что переключается на новый голос, и заговорил с интонациями радиодиктора. — Постановление. О введении Закона о единстве и борьбе противоположностей по всей территории Советского Союза. Закон вводится с сего дня нынешнего года и требует повсеместного исполнения. В летнее время действие Закона согласно правилам начинается на час раньше. Наблюдение за неукоснительным исполнением Закона возложено на органы правопорядка.

— Слушай, ты бы записывал, — сказал Илья.

— Ну вот еще, — Коля вышел из комнаты. У горнолыжника и путешественника Круглова походка была совсем неспортивная, непружинистая, нелегкая, он старался ходить тяжеловато, как все.

А Илья принялся читать поступивший в редакцию текст:

*«Уважаемая редакция!*

*Мною написана книга «У гробовых дверей человечества», которую я хочу предложить вашему вниманию. В своей работе я прихожу к выводу о конце современной цивилизации, который наступит в 21—22 веках. Тема моего труда, как известно, не нова. Впервые об упадке человеческой цивилизации заговорил Освальд Шпенглер в своем «Закате Европы», который был издан в СССР в 1926 году («двадцать втором», — отметил, про себя ошибку Илья). Мне, как автору книги на аналогичную тему, отрадно отметить, что в нашей стране этот вопрос свободно дебатруется. Думаю, что «У гробовых дверей человечества» внесет свою лепту в этот разговор.*

*Являясь аналогом работы Шпенглера, моя работа сильно отличается от нее. Шпенглер приходит к выводу о конце Европы и человечества фактически по наитию, не видя следов подлинного разложения цивилизации. Он опирается в своих выводах на признаки разложения культуры, в частности, искусства, а в начале 20 века*

*признаков этого, как я считаю, не было («вот ведь собака, прямо от себя пишет», — восхитился Илья, хотя некая шизоидность чувствовалась профессионалом-журналистом по самой интонации). Конец цивилизации представляется Шпенглеру попросту фантазмагоричным, он по сути не видит, в чем собственно конец развития. Я же конкретно указываю на признаки деградации общества и рисую конец общества предельно ясно. Дата окончания развития у Шпенглера отдалена на неоправданно далекий срок, я же путем математических выкладок на основе установленных пропорциональностей развития устанавливаю даты конца развития России, США, Англии, Франции, Германии, Италии с большой точностью. Удивительный вывод делает Шпенглер относительно России, считая, что наша страна станет основой новой русско-сибирской цивилизации. Отрывая Россию от Европы, Шпенглер делает непростительную ошибку. Закат начинается именно с России, а также с Италии, которые наиболее близки, по моему мнению, к смерти («и вот опять сближаются два Рима — Первый и Третий», — мельком подумал Илья). Мое исследование опрокидывает пресловутую немецкую норманскую теорию, демонстрируя всю яркость политического развития, какое прошла наша страна.*

*Конечно, хотелось бы надеяться на публикацию. Работа принесла бы помимо сенсации ослабление международной напряженности в условиях катастрофы, ожидающей все народы, которые должны сплотиться в этот последний для всех час.*

*Вкратце о себе. Философское творчество владеет мной давно. Наиболее интенсивным оно было последние два года, когда были созданы мной основы философской системы псевдоморфизма.*

*Некогда я поступил в МГУ на философский факультет, откуда впоследствии был отчислен. Продолжая самообразование, в последующие годы созданные идеи я объединил в своих книгах. В настоящее время я являюсь рабочим, но философия продолжает оставаться делом моей жизни. Несмотря на выводы о конце социализма, я остаюсь патриотом своей страны, которой буду служить независимо от своих воззрений. Я верю в то, что последние годы развития нашей страны станут годами экспрессии и небывалого подъема. Так было перед концом всех качественных состояний общества. Расцвет России начался сегодня и закончится в 2000 году. Сегодня должны появиться новые гении, которые еще раз докажут*



*величие России в поэзии, прозе, искусстве. Мы живем накануне величайшего общественного перелома. Сказать об этом народу — наш долг.*

*С уважением — Иван Беленов.*

*Забайкалье*

*10 апреля 1985 г.»*

Илья прочитал, потом еще раз посмотрел на дату под письмом, не ошибся ли он. Перевел взгляд на календарь на стене. Нет, все правильно — 1983. «Фу ты, Господи, — подумал он, складывая письмо. — Рехнешься тут. Послание из будущего. Летящие тарелки, инопланетяне, Альдебаран, экстрасенсы, гробовые двери человечества, макабрические стишки, которые дети приносят из школы...» Один всплыл в его памяти:

Дети в подвале  
Играли в гестапо.  
Насмерть замучен  
Сантехник Потапов.

Он взял в руки толстую тяжелую рукопись, лежавшую под письмом, перелистал. Шестьсот шестьдесят шесть страниц через полтора интервала. «Послание из будущего, — снова повторил он. — Явно, мужичок с приветом. Мужичок из Забайкалья с приветом. Он прав в одном: разговоры о конце света, предчувствие конца света, космические знамения — все это предвестие перемен, быть может, распада империи. Мы хихикаем над фразой Вадимова, что «учение о развитом социализме имеет все черты настоящей теории». Все это распад, достойно пера Лукиана. Чем этот мужичок безумнее Вадимова, который по поводу статьи об античной философии кричит, что он «не позволит заигрывать с разными там Платонами и Зевсами»? А ведь Главный редактор единственного на всю страну теоретического журнала!.. Среди прочего безумия безумие забайкальского мужичка может оказаться по крайней мере интересным. Только не сегодня, сегодня не получится, сегодня Шукуров с коньяком».

Илья посмотрел на столы, стоявшие в комнате, заваленные рукописями, не читанными по многу месяцев («самотек»!), папками, конвертами. Стола было четыре, но рабочих, — три, вклю-

чая его собственный: четвертый стоял перед черным кожаным диваном, в этом столе прятали стакан и бутылки, на нем резали колбасу и хлеб. Посмотрел на железный шкаф, в нем под замком хранились деэспесовские издания, в нем же порой прятались и бутылки, потому что ключедержателем был Гомогрей. На тумбочке у стены был водружен еще один сейф — железный квадратный ящик для партийных и профсоюзных документов. «Чем не палата в сумасшедшем доме?..» — подумал Илья. И тут в коридоре послышался шум голосов. Тимашеву вначале показалось, что явился раньше времени Вадимов, но по громкому тенору он сразу признал Шукурова.

— Да держите кто-нибудь Гомогрея, а то он канистру из рук у меня вырывает! — кричал возбужденно Шукуров.

Гомогрей и в самом деле обычно заводился с полоборота. Как-то, когда редакция *гуляла* у Тимашева дома, пьяный Гомогрей объяснял тринадцатилетнему Антону: «Вот мы редактируем самый сложный у нас журнал, а при этом можем себе позволить повеселиться. И папу твоего любим за то, что он веселый! Понял?» В этом сочетании, казалось бы, несочетаемого заключалась его гордость. Мол, не зануды какие-нибудь, не карьеристы, а *простые* ребята, хотя и делаем *теоретическую* и *идеологическую* погоду. Никакой погоды они, разумеется, не делали, писали, что велят, но некая приобщенность к «князьям мира сего» все же была.

— Не вопи ты так, — урезонивал Шукурова Саша Паладин, открывая дверь. — Чухлов уже в редакции. А то полетишь у меня впереди собственного визга.

Шукуров засмеялся. Первым, однако, вошел не он и не Саша, а Боб Лундин. Увидев Тимашева, он радостно пропел, плавно поводя руками, словно желая его обнять:

— Ну вот, душа моя, несут нам реки, полные вина...

Следом, плечо вперед, протиснулся Саша Паладин с канистрой в руке, его безбровое, помятое лицо было сосредоточенно-мрачно, будто он заранее не надеялся на разумное поведение приятелей. За ним с чемоданчиком и еще одной канистрой вошел, раскидывая в стороны ноги, чернобородый Шукуров. Был он возбужден и сиял. Строй замыкал Гомогрей.

— Привет дорогому западнику, — возгласил Шукуров, водружая на стол канистру и чемоданчик. Затем торжественно распах-

нул чемоданчик и принялся доставать из него огромные помидоры, перцы и мытые стрелки зеленого лука. — Что бы мы делали российской осенью, если б в прошлом веке, вопреки воплям всяких там либералов-западников, не присоединили Среднюю Азию?!

— Ты спроси его, что бы мы пили?.. — подхватил Гомогрей.

— Привет, привет. Уж что-нибудь да пили бы. А что, кстати, ты привез? — невольно включился Илья.

— Канистру коньяка и канистру чего-то вроде портвейна.

— Лихо, — оценил Тимашев.

— Нажремся! у-ух! — в голос завершал Гомогрей, походивший сейчас более, чем когда-либо, на маленького пузатенького гнома, ликующего телесной радостью. — Ух!

— Тише ты! — оборвал его Паладин. — А то как в прошлый раз кости в метро рассыпешь. На днях этот болван, — пояснил он для отсутствовавшего полторы недели Шукурова, — умудрился закупить полный портфель костей для своего кобеля Чарли, а в метро рухнул и покатился по лестнице. Ну, естественно, портфель раскрылся, и кости высыпались. Старушки клеко-чут, решили, что это Гомогрей на части рассыпался. А наш друг быстренько кости собрал и прежде, чем его мент захапал, скок в вагон.

Все зареготали, а Гомогрей горделиво бросил:

— Гомогрей такой, сбежал! А теперь Гомогрей хочет полечиться, потому что вчера пожадничал.

— Слушай, обожди, — сказал Саша. — Одну канистру надо в шкаф пока спрятать — от греха. Гомогрей, давай ключ.

— Не дам! Еще успеется.

— Кто же тебя так снабдил? — спросил Илья, выходя из-за стола.

— Лично первый секретарь горкома, — с самодовольством ответил Шукуров. — Здоровый мужик! Пил так, что даже Кирхова перепил бы, — вспомнил он бывшего неформального лидера редакции. Опубликовав четыре года назад на Западе свой роман, Кирхов был вынужден уйти из редакции. И теперь начальство с тревогой принималось: вдруг еще кто, не дай Бог, *пишет*. А общение с Кирховым стало для редакции проявлением фрондерского *молодечества*. Хотя становилось это общение год от году все реже.

— Может, позвонить ему, пригласить? — спросил Гомогрей, испытывавший к диссидентам тайное почтение.

— После летучки, душа моя, после летучки, — поправил его Боб Лундин. — Когда мы отсюда свалим.

— В магазинах жратвы ни хрена, — продолжал свой рассказ Шукуров, — зато выпивки — залейся. А в горкомовской столовой — будь здоров! Кажется, что все есть.

— Как везде, душа моя, как везде, — заржал Боб. — Народ и партия едины, только разные магазины.

— Точно, — ответил Шукуров. — Капитализм загнивает социально, а социализм капитально.

— Бросьте вы ваши дурацкие разговоры, — перебил их Гомогрей, уже нырнувший за стаканом в стол у дивана. — Давай лучше по половинке перед летучкой.

— Да ведь тебя потом не остановить, — рассмеялся Саша.

— Ничего, — сказал Боб. — По стакану и на поезд. А Гомогрею еще на ход ноги.

— Это потом, под конец.

В дверь заглянул Алик, увидел компанию, помахал рукой, но заходить не стал, держась подальше от *пьянок*.

— Цицеронов не стукнет? — спросил Шукуров, когда дверь закрылась и Алик исчез.

— Хрен с ним.

— Колю Круглова позовем?

— Да надо бы. Он хоть не пьет, а коньяк уважает.

Уже было непонятно, кто что говорит.

— Вадимов не унюхает?

— Крыса гнусная.

— Если от всех будет пахнуть, то даже такая крыса, как он, не унюхает. Равномерный запах.

— Круглова зовите.

Сгоравший от нетерпения Гомогрей бросился за Кругловым.

— Что? — спросил тот, входя. — Какая организация гуляет? А, с приездом тебя, — протянул руку Шукурову. — Что привез? Косорылюю? — так Коля именовал водку.

— Бери выше. Коньяк.

— Мне коньяку на три пальца. Спасибо, хватит!

— Дорогому гостю не жалко, — говорил Шукуров, с трудом держа на весу канистру и наливая больше, чем на три пальца.

— Ваше здоровье, — Коля выпил и хлопнул себя ладонью по макушке — это был его любимый жест. — А вы, ребят, все же не очень. Послушайте старшего товарища, который многое на своем веку повидал. — Круглову было уже за пятьдесят, и он больше двадцати лет работал в редакции. — Скоро Вадимов приедет, говорят, злой и нервный. Да, еще о своей поездке в Аргентину целый час будет трепаться.

— Чтобы продержаться, надо выпить, — сказал Боб и заглотнул полстакана коньяку.

— Держава эта, — не удержался Тимашев, — судя по Кортасару, такая же гнусь самохвального провинциализма, патриотизма и амбиций, вроде, как мы. Но другое интересно: почему таких дураков всюду пускают, все им можно, а я знаю семью, родственно связанную с Аргентиной, так вот дочку, аргентинскую поэтессу, к родной матери не пускают, хотя мать — старый большевик, а дочь — переводчица советской поэзии.

— Это, душа моя, все высокая политика, — пояснил Боб Лундин, откусывая кусок сладкого перца и мотая головой.

— Не лезь ты в эти дела, — сказал и Гомогрей, выпивая свою порцию и прислушиваясь, как коньяк течет ему в желудок.

— Налейте тогда и мне, — сказал Паладин.

— Слушай, Гомогрей, не тяни, не держи стакан. Канистра простаивает. Не дома ведь, — торопил приятеля Шукуров.

Выпил Паладин, за ним Шукуров. И, выпив и вытерев рот рукой, произнес:

— А ведь смешно сказать, что в Аргентине, несмотря на инвективы нашего друга западника и почвоненавистника, наверняка есть какая-нибудь самобытная философия, а Россию представляет кретин Вадимов, который даже не знает, что такое философия. Ведь в России все же была великая философия. Этого даже Тимашев, я думаю, отрицать не будет: Чаадаева и Соловьева с Чернышевским вкуче он, как мы знаем, признает.

— Вадимов представляет не русскую философию, а марксистскую, — изрек важно Гомогрей.

— Заткнись, болван, — перебил его Паладин. — Я в свое время за марксизм мог и в морду дать. Какое отношение Вадимов имеет к марксизму?! Он же его не понимает.

— Слушай, — поднял руку, требуя внимания, Коля Круглов. — Можно у нас в журнале рубрику ввести, — он снова

хлопнул себя ладонью по темени, меняя голос. — «ФИЛОСОФИЯ ЗА РУБЕЖОМ» — это *о них*, это у нас есть. «ЗА РУБЕЖОМ ФИЛОСОФИИ» — это *о нас*, это надо ввести.

Чувствуя, что сказал удачно и не желая смазать впечатления, он вышел из комнаты.

Все радостно засмеялись, а Боб стукнул Илью по плечу:

— Ты смеешься, душа моя, а сам не пьешь. Скажи ты мне, почему ты такое говно? — коньяк упал на старые дрожжи, и видно было, что Боб *захорошел*.

Вспомнив, что хотел сегодня явиться в маске Чайльд Гарольда, сдержанного, замкнутого, живущего внутренней жизнью, Илья соорудил подходящую мину, но ответил правду, поскольку она вполне совпадала с желанной маской:

— Да не идет, не лезет. Настроения нет, вот и не могу.

— А я, думаешь, могу? А они разве могут? Но никто на обстоятельства не ссылается. Если б тут был Орешин, он бы тебе сказал, что нет таких крепостей, перед которыми могли бы спасовать большевики, — Боб поводит в воздухе руками, как бы рисуя воображаемую крепость и одновременно выражая всеобщую любовь. — А мне, думаешь, лезет? Но я стараюсь. Мы вот неделю назад с Вёдриным в Звенигороде на конференции были. Ханыркин с нами увязался. А там, на наше несчастье, молдавского портвейна — море разлитое. Я успел-таки выступить и, говорят, ничего, а потом вступил в свои права портвейн, — улыбался своей шутке Боб, растягивая рот до ушей. — Вёдрин так налился, что его еле на заседание пустили. А там Ханыркин что-то про свою экономику выступает. Вёдрин и решил, что тот пьян, потому что морда ханыркинская как всегда зеленая, а башка нечесаная, и на весь зал рычит: «Пока Ханыр пить не бросит, он никогда концепции не создаст. А без экономической теории страна пропадет». А Ханыр, как назло, в тот момент ни в одном глазу. Ну, потом мы, правда, вместе пили, пили, пили, пили — и прокатилась про нас дурная слава, что мы алкоголики.

— Бедняги, и совершенно необоснованно, — отрывисто рассмеялся Паладин, по-прежнему наблюдательный и злоязычный.

— Ты меня не обидишь, прелесть моя, — обнял его за плечи Боб, напевая. — Прокатилась дурная слава, что похабник я и скандалист. А ты, Гомогрей, чего такой умный, что на меня уставился? Наверно, в детстве много говна ел?..

— Ну, Боб завелся, — сказал Шукуров. — До летучки больше не получишь, не проси.

— И как ее, проклятую, беспартийные пьют? — мычал Боб.

— Эй, Илья, — попытался перенести разговор Шукуров. — Я там в командировке томик Бодлера из «Литпамятников» купил. «Цветы зла». Вот тебе квинтэссенция разлагающегося Запада. Послушай: «Мы к Аду близимся, но даже в бездне мы / Без дрожи ужаса хватаем наслажденье». Это тебе не святая Русь...

— Ух-ух! Что, Тимашев, съел? — заорал Гомогрей.

— Тимашев, этот да, без наслажденья жить не может. А, Илья? Без баб, то есть. Ну, я не знаю русских или каких иных, это неважно, одним словом, без баб, — сказал, входя в комнату животом вперед, доктор наук Мишка Вёдрин. До его прихода казалось, что толще и круглее Гомогрея трудно найти человека. Но Вёдрин был и толще, и круглее, правда, повыше и посолиднее. Одет в красноватую с искрой водолазку и коричневый костюм. Его сопровождал Анемподист Ханыркин, лохматый, желчный, с перекошенным лицом, колючими, взъерошенными усиками, и даже приличный серый костюм словно бы не подходил ему, скорее, ожидалось увидеть что-нибудь потрепанное, столько кинического пафоса было в его взоре. Он походил на зеленый помидор, который постарел и сморщился, так и не созрев.

— О, конечно, — парировал Тимашев, — мы весьма высоко-нравственны и никуда не движемся, ни к какому Аду, потому что в нем живем. Или наше пьянство не сопровождается блядством? Отнюдь не святым. И не наслаждаемся ли мы всем этим? — Тимашев говорил раздраженно, как и полагалось «западнику», чувствуя при этом, что хотя говорит примерно то, что от него ждут, но и то, что думает.

— Поймал, да, — согласился Вёдрин — не один ты, мы тоже наслаждаемся. И пьем, и по пьяному делу баб трахаем. Все точно. Да и вы ясно, чем тут занимаетесь. Запах у вас такой стоит, что в коридоре слышно. Что пьете?

— Коньяк, конечно, — ответил Шукуров. — Однако вы легки на помине. Только что Боб про вас вспоминал.

— Да нет — все ухмылялся Саша Паладин, — просто у Михаил Петровича классовое чутье на выпивку.

— Ну ладно, ладно, классовое, заладил, — махнул рукой Вёдрин. — Интересно, у тебя какое?

— Тоже классовое, — не возражал Саша.

— Хватит, мужики, — отрезал желчный Ханыркин, — ерундой заниматься. Мы не просто так к вам зашли.

— Да, точно, — сказал Вёдрин. — Мы с Ханыром пили пиво и вспомнили, как вчера о Левке Помадове говорили. А вы знаете, что мы вспомнили? Что сегодня как раз юбилей, четыре года уже прошло, когда мы с ним последний раз пили до того, как он исчез. Кстати, вот у Паладина, да.

— Это когда вы друг другу морду били из-за проблемы блага у Платона? — ехидно спросил Гомогрей.

— Да, то есть, нет. Ты мне налей, я вспомню.

Шукуров взялся было за канистру, но тут же быстро поставил ее под стол. В дверь заглянул и. о. зам. главного редактора Клим Данилович Чухлов, громоздкий, усатый мужчина.

— Что здесь происходит? — спросил он, не входя, однако. — Собирайтесь, собирайтесь. Сергей Семеныч уже приехал. Скоро летучка.

Никто не ответил, и Чухлов прикрыл дверь.

— Стукнет Главному? — затревожился Гомогрей.

— Да вряд ли, — протянул задумчиво Шукуров. — На всех сразу? Вряд ли. Держи стакан, Михаил Петрович.

— Да, так вот, — сказал Вёдрин, поднимая стакан и разглядывая его на свет. — Коньяк, в самом деле. Хорошо живете. Ладно. А Чухлов что, так и не исправился? Я давно с ним не пил. Я же помню, как он Гомогрею портфелями водку приносил.

— Это он тогда автором был, — ответил Паладин. — Мы ж сколько раз тебе рассказывали. А у тебя, видно, память девичья. Теперь Чухлов над Гомогреем начальник, за что спасибо тому же Гомогрею. Он Климушку в редакцию притащил. А Вадимов Чухлова на крючке держит — все ему квартиру обещает. Тот и старается.

— Да кто ж знал, что его Вадимов начальником сделает? — оправдывался Гомогрей.

— С негодяями надо бороться, — сурово сказал Ханыркин.

— Правильно, — согласился Шукуров. — Ты, Михаил Петрович, стакан не держи. Человек вон очереди ждет.

— Ладно. А ты меня не торопи. Да. О чем я? А, о Левке. Да. Пропал человек. Вот вы, мудаки, смеетесь, что мы из-за проблемы блага у Платона подрались. А ведь это доказывает, что мы



не животные, раз о высоком можем думать. Я иногда не могу понять, как такие пьяницы, как мы, способны размышлять о вечности. А об этом еще Декарт писал, что, если в существе конечном и несовершенном есть идея существа бесконечного и совершенного, это факт наличия совершенной надчеловеческой реальности, «бесконечной субстанции». Да. Хотя мы в Бога не верим. Ладно, выпьем.

Он выпил и протянул стакан Шукурову.

— Какая у вас, однако, закуска, — добавил он. — Тунеядцы у нас в стране все же хорошо живут.

— От такого же слышим! — заржал Гомогрей.

— Конечно, у вас на Альдебаране такой нет, — подначил Паладин.

— Ты не тронь, Альдебаран для Михаил Петровича святое, — остановил его Шукуров.

Но Вёдрин не обиделся.

— А что, — сказал он, — налейте еще, я вам случай расскажу. Альдебаран все же существует и за своими посланцами наблюдает. Да. Вот полстакана. Достаточно. Вчера я с вами, засранцами, сильно поднапился. Все, хватит, не надо полный. Так вот. Куда я потом отправился, я не помню. Но какие-то идеи, видимо, были. Куда-то меня занесло. А у меня, как вы помните, с собой коробка была. Я вчера перед тем, как в «стекляшку» попасть, башмаки себе новые купил. Да, те, что на мне.

— А, — сказал Паладин, прерывая рассказчика, — я этот эпос, кажется, уже слышал. Как в таких случаях говорят в школе: можно мне выйти?

— Иди, иди, засранец, — отмахнулся Вёдрин, — не мешайся. Слышал, да, слышал. Но они же не знают. Иди. Клозет тебя зажался.

Паладин вышел.

— Да. О чем я? Сбил меня. Да. И вот просыпаюсь я в кустах часов в шесть утра от холода. Где я, не пойму. Ощупал себя. Вроде, цел. Рука в карман — деньги при мне. Значит, никто меня сюда не заводил, не бил, не грабил. Под головой коробка, закрыта, честь по чести шпагатом перевязана, даже с бантиком. И кто меня дернул развязать? Развязываю, а там один башмак, один. Я же знаю, что, когда покупал, там два видел, я трезвый был. Не могли мне в коробку один башмак положить. Посмотрел под ку-

стами. Нигде ничего. Ну ладно, думаю. Надо выбираться. Оказалось, что заснул близко от кольцевого шоссе.

— Пьяницам Бог свечку держит, — встрял Боб Лундин.

— Возможно. Так вы слушать будете? Словом, выхожу я на шоссе. Никакой остановки рядом нет. На чем доехал, как сюда попал — один черт знает. Ладно. Шоссе почти пустое. Стою, голосую. А сам почему-то коробку под мышкой держу. Хотя поначалу мелькнула мыслишка выкинуть ее подальше, не позориться, с одним башмаком таскаться. На хрена он мне один. Но нет, не выкинул. Те же силы, что понудили меня в коробку заглянуть, теперь удержали меня ее выкинуть. Останавливаю я пикапчик, который газеты развозит по утрам. Сажусь рядом с шофером. Ладно. Сел. Поехали. И с ходу рассказываю ему историю с башмаком. Для убедительности опять коробку развязываю, чтобы одинокий башмак ему показать. Посочувствовал он мне и вдруг тормозит. Я даже испугался, шоссе пустынное, я с похмелья пальцем пошевелить не могу. Ограбит сейчас, думаю и выкинет на хрен. А он притормозил и говорит: «Посмотри, командир. Там не твой башмак лежит?» Гляжу — и точно. Аккурат посередине проезжей части лежит мой второй башмак, совершенно целехонький. А мы уже километра два от того места отъехали, где я из кустов вылез. Ну, взял его. Дальше поехали. Домой пришел, помылся, переоделся. Паладину позвонил — пива с ним попить. Но ему за что-то Манечка мозги полоскала. Чего-то тоже нагрешил вчера. Не вовремя пришел, что ли? А где был — объяснить не мог. Я ему все рассказал и к Ханыркину. С ним мы пивка и попили. Вот я вас, пьяниц, и спрашиваю: как мог башмак, совершенно целый башмак, попасть на середину шоссе, причем из завязанной коробки, в двух километрах от того места, где я спал? И что побудило меня рассказать шоферу про свою пропажу сразу, а не скажем, через десять минут? Чтобы он мог заметить, что ли?..

— Алкогольная амнезия, — твердо сказал Гомогрей. — Такое бывает. Напьешься и сам не помнишь, что творишь.

Боб поднял вверх палец:

— И в небе, и в земле сокрыто больше, чем снится нашей мудрости. Горацио!.. Ты скажи мне, душа моя, почему ты такой зануда, а я тебя люблю?

— Ты-то сам как объясняешь, Михаил Петрович? — спросил Шукуров. — Скажи, не томи душу.

Тимашев молчал, пытаясь переварить фразу Вёдрина о том, что Паладину от Манечки за что-то вчерашнее влетело, и как это увязывается со вчерашним же пьяным гомогреевским звонком. Вёдрин тем временем объяснял:

— Мудаки. Это же элементарно, надо только мозгами пошевелить. У всякого посланца с Альдебарана есть враги, они не персонифицированы, это нечто безличное, разлитое в воздухе, в толпе. Не случайно самое трагическое ощущение альдебаранца — это ощущение заброшенности: в толпу, в историю, в жизнь. Вот эти враги, это безличное нечто и хотело мне напакоstitь, чтобы я расстроился. Но там, на Альдебаране, наблюдают за своими, следят, чтоб их огорчения не переходили меру. Вот они-то все рассчитали и подбросили мне ботинок. Да. А вы говорите. Будем здоровы.

Он, наконец, проглотил содержимое стакана и передал пустой сосуд Ханьркину.

— Силен же ты сочинять, Михаил Петрович, — сказал недоверчивый Гомогрей.

— Я подтверждаю. Все правда, — сказал молчавший доселе Ханьркин, подставляя стакан под струю коньяка из канистры.

Все примолкли. Из-за двери стало слышно, как Паладин с кем-то говорил по телефону:

— Не сходи с ума. Ну хорошо. Конечно увидимся, куда я денусь! Тогда и поговорим. Почему? Я ни от каких своих слов не отказываюсь. Тебе надо успокоиться. Все наладится. Что я его не знаю, что ли? Ну если решила, тогда другое дело. А я что? Я же сказал, что никаких своих слов назад не беру. Ну, это уже детали, это как тебе угодно будет.

Повесил трубку и крикнул секретарше Свете:

— Если меня кто будет спрашивать к телефону, я вышел!

— «Киска» тебя доставала? — спросил Шукуров.

— А! — досадливо отмахнулся Паладин. — Все бабы дуры, даже умные. Налейте-ка мне лучше коньяку.

— Стакан Ханьрк держит, — сказал виночерпий.

— Мужики, за вас! — поднял стакан Ханьркин. — Чтобы при всех обстоятельствах вы оставались честными людьми.

Он выпил и поставил стакан на стол.

— А с чего это нам быть нечестными, позволь тебя спросить? — резонерски произнес Паладин и, не дожидаясь ответа, сам плеснул себе в стакан коньяку и подошел к Илье.

— Ты чего приуныл, друг мой Тимашев? Давай-ка выпьем с тобой за дружбу. Эй, найдите какую-нибудь посудину для Тимашева! А то можно и из одного стакана, если не брезгуешь...

Илья не успел ответить. Еще за минуту до этого, слушая Сашин разговор по телефону, он ощутил, как по спине опять пополз холодок подозрений. Он даже почувствовал, что вдруг перестал воспринимать альдебаранскую мифологию. Слишком погано было на душе от реальных переживаний. Никаким альдебаранцем он себя больше не ощущал. Несчастливым, распластанным на предметном стекле червяком, которого наблюдает естествоиспытатель со скальпелем в руке — разве что так! На его счастье, дверь приоткрылась и в комнату просунулась голова Светы:

— Ой, ребята, ну и запах у вас! Вы поосторожнее. Вадимов уже приехал. Илья, тебя к телефону. По-моему, жена.

Илья пошел в коридор, к телефону, поднял лежавшую на столике трубку. Голос у Элки был злой и решительный:

— Извини, что оторвала. Ну да ничего, перебеешься. Звонила твоя кобыла, сказала, что скачки отменяются.

— Чего?.. Какая кобыла?.. — спросил Илья, уже понимая, что произошло нечто непоправимое и почему-то сразу подумал о Лине. «Но что могло произойти?» Элка не дала ему додумать, поскольку довольно подробно и даже дружелюбно пояснила свои слова анекдотом, так что Илья на секунду успокоился, решив по ее тону, что тревога напрасна, во всяком случае, надеясь на это.

— Видишь ли, у одной дуры был муж, который дважды в неделю ходил на скачки. В эти дни жена ему гладила рубашки, он наряжался и уходил. А ходил-то он, конечно, к любовнице. И вот в один из таких дней он прибегает с работы и спрашивает: «Рубашку свежую погладила?» — «Нет», — отвечает жена. «То есть как это нет?!» — возмущается муж. «Звонила твоя кобыла, — объясняет жена, — просила передать, что сегодня скачки отменяются».

Илья коротко хохотнул и независимо сказал:

— Ну и причем здесь я? — чувствуя, как леденеют пальцы, держащие трубку.

— А при том. Ты ответь сначала, кто такая Лина?

Илья скопился, в коридоре никого не было, и ответил:

— Племянница Владлена Вострикова. А что? — Ответ, он сам это слышал, прозвучал жалко и неубедительно. Элка саркастически бросила:

— Да что ты говоришь! Как интересно! А мне вот показалось, что она — твоя любовница. Да и не только мне. Ей тоже так кажется. Разве не у нее ты проводишь все вечера? Что молчишь?

— Это же чушь, — проскулил Илья, стараясь все же, чтоб его не слышали сотрудники. — Ты сама знаешь, где я бываю. В основном в библиотеке, с друзьями выпиваю, в этом виноват. А Лину я вижу крайне редко, когда Розу Моисеевну навещаю...

— Разве? А мне так показалось, что Роза Моисеевна — это предлог. Думаю, что и Лине так же кажется. Отсюда и твое раздраженное состояние в последнее время. Ты на нас с Антоном только рычишь, словно мы твои главные враги... — Элка говорила спокойно, при этом курила, Илья слышал, как она выдыхала дым и затягивалась, но спокойствие это было для него страшнее крика. Что-то она продумала и приняла какое-то решение. Но вот какое?

— Я тебя не виню, — продолжала Элка. — За двадцать лет жена и в самом деле может надоесть. Но ведь и муж жене тоже. Ты подумай об этом. Конечно, ты терпеливый муж и когда-то был очень заботливым. Но ты этим переболел. Ты ссоришься с Антоном. Что ж, Антона сейчас, наверное, трудно выдержать. Такой у него возраст. Ему с собой трудно справиться, и он страдает от этого. А ты, всегда такой любящий отец, не хочешь замечать его терзаний, разговариваешь с парнем раздраженно, потерял с ним контакт. Требуешь от него, чтобы он походил на тебя. А он другой, по характеру он ближе ко мне. Ты ведь не от меня, ты от него бежишь. Терпения, чуткости тебе не хватило. А Антон сейчас требует усилий. Ну да это так, лирика. Ты хочешь свободы, ты ее получишь.

— Не говори ерунды, — холодно сказал Илья, слишком много у них ссор в прошлом, слишком неожиданным решение, он ей не верил, слыша в ее словах лишь раздражение и желание ударить его побольнее, реактивно чувствуя в душе тупую усталость: «Может, и на самом деле разругать все одним махом?..»

И тут к своему ужасу он услышал, что Элка словно бы прочла его мысли, его невысказанное сомнение в ее решительности.

— Я сегодня соберу тебе вещи. Они будут перед дверью. Можешь забрать их к Лине. А когда я немного успокоюсь, подумаем о размене жилплощади.

— Но я ни к какой Лине не собираюсь!..

— Это меня не интересует, будет, как я сказала.

На минуту представив, что так оно и произошло, Илья сразу вдруг ощутил пустоту и одиночество. Одно дело — хотеть самому уйти, мечтать о свободе, другое — когда ее тебе вот уже дают, и ты моментально понимаешь, что она тебе ни к чему. Потому что вся твоя жизнь, все ее содержание было связано с тем, что казалось крепостной семейной неволей. А теперь ты виноват, ибо ты причина распада семьи, лишил ощущения опоры и себя, и других. Со вчерашнего дня все пробивавшееся чувство вины, заглушаемое самооправданиями и подозрениями, затопило его с головой. Бесповоротной, неискупимой вины. Даже если у Элки роман с Паладиным — все равно она права. Что еще ей было делать?! Ведь он-то позволял себе много чего... И все же ее гипотетический роман с Паладиным — был козырь, который надо было выбросить напоследок, чтоб до конца понять, что с ним происходит. И если окажется, что подозрения липовые, результат его нечистой совести, то тогда уж оправданий ему и вправду нет. Ему уже плевать было, что его услышат, но коридор по-прежнему был пуст.

— Что молчишь? — спросила Элка.

— А ты сама не чувствуешь себя виноватой? — пытался защищаться он. — Еще более, чем я?.. Я имею в виду твои шуры-муры с моими приятелями... Я не хотел верить, закрывал глаза...

— Дурак! Это я, я закрывала глаза на твои шуры-муры. Хотела семью сохранить. А я тебе всегда была верна и терпела, понимала, что мужики без этого не могут. А теперь хватит, надоело. Ты любил называть семью крепостью, убежищем. Так вот знай и на всю свою оставшуюся жизнь запомни, что это никто, как ты, это убежище разрушил. Прощай. А за меня не беспокойся, не пропаду.

«С Паладиным поладила», — снова мелькнула подловатая мысль, но вслух он сказал другое, стараясь говорить твердо:

— Почему же это я разрушил? Ты меня гонишь.

— Видишь ли, твоя Лина мне тут позвонила и сказала, что она просит ее простить, что она от тебя отказывается, что она только ребенка хотела от любимого человека. Я такой жертвы с ее стороны допустить не могу! Вот и заводи с ней ребенка! На свободе, без помех! Все. Пока. А мы с Антоном как-нибудь сами проживем.

— Это все ее планы. При чем здесь я? Я про них даже не знал, — оправдывался Илья, предавая Лину, как когда-то Адам Еву.

— Ну уж меня это не касается, это вы между собой выясняйте. А меня избавь. Я от твоего слабодушия и так устала.

— Я сейчас приеду!

— А я не открою дверь. Прощай. Больше повторять не буду.

Элка нажала на рычаг, раздались гудки. Илья тут же перезвонил. Никто не снимал трубки. Пять, десять, пятнадцать гудков. Илья еще раз набрал номер. Безуспешно. Чувствуя мертвенную пустоту в груди, Илья встал. И подумал, что жизнь его ушла, кончилась. И как внезапно! Медленно, с потухшим лицом он вернулся в комнату. Ребята продолжали пить.

— Да. Мы мудаки, — говорил Вёдрин, — ничего не можем. Простой мужик — он по этому поводу не переживает. Было бы, на что пить. Я тут с одним пил, разговорились. Ему лишь бы деньги заработать. А нам еще создать что-то надо. Левка Помадов хоть перед смертью *концепцию* почти создал. А мы только пьем. Да. Ладно. Виноваты. Мы выродки, как у Стругацких в «Обитаемом острове». Русский интеллигент всегда во всем виноват. Так и чувствует. Но почему в ментальности простого русского мужика этого чувства вины нет? Горе ли, счастье ли, он пьет себе, и всегда, понимаешь, кристальное сознание, что не он кому-то, а ему все должны.

— Ты что мрачный? — спросил внимательный Саша.

— Ничего. Налей мне, я тоже выпью.

Он выпил полстакана коньяку. «Что я наделал? Как-то так, незаметно, не прилагая особых усилий, сломал жизнь сразу трем людям — Элке, себе, Антону. Почему я? Да потому, что я!»

## Глава XX Либералии

Сперва над нами были ханы.  
Потом наследники тевтонов.  
А нынче собственные хамы  
Рождают собственных Платонов.

*Слова не то Игоря Губермана,  
не то народные*

У них свои бывали сходки,  
Они за чашею вина.  
Они за рюмкой русской водки

.....  
*А. С. Пушкин. Евгений Онегин*

**Н**а летучку, на летучку! Сергей Семеныч сказал собираться! Что как неживые?! Бегом, бегом! — сно-ва засунулся в дверь Клим Данилович Чухлов.

— Да мы уже идем, — ответил Гомогрей, и Чухлов отправился созывать сотрудников из дру-гих комнат.

— Он у вас прямо старшина, да, — помотал головой Вёдрин. — Как в армии вас держит. Ладно. А ведь статьи пишет. Речи про-износит по философии. Нахватались слов у нас в эсесер, а делать что-то конкретно-полезное никто ни хера не умеет и не хочет.

— Неужто и ты? — подколот Паладин иронически.

— И я. А что? И я такой же мудака.

— Ну это ты брось, Михаил Петрович! На чем же тогда все держится? А ведь держится, — утвердительно сказал славяно-фильствующий Шукуров и быстро глотнул из стакана, который прятал под столом, пока в комнату заглядывал Чухлов.

— А хер знает, на чем. — отозвался Вёдрин, — Одно знаю. Что мы мудаки и ни хера себя не уважаем. Вот ты, с бородой, здо-ровый сорокалетний мужик, а ведешь себя, как школьник. Да и я не лучше, да. Пятьдесят лет, доктор наук, а тоже психология нашкодившего мальчишки. Вот и получается, что прав Чухлов, когда подгоняет. Ладно. Вы идите, только недолго.



— А это уж от нас не зависит, ухмыльнулся Паладин. Это уж как Сергею Семенычу угодно в зависимости, сколько времени он про свою поездку буровить будет...

— Вам с Чухловым надо бороться, — решительно влез в разговор еще больше побледневший от нового стакана коньяка правдолюбец Ханыркин. — Если в вас совесть еще есть и вы не продались начальству до конца. Вернетесь, надо поговорить! Надо выработать план действий, как вам противостоять Чухлову и Вадимову. Это пр-инципиально!..

— Успокойся, душа моя, успокойся, — обнял Анемподиста Боб.

Тимашев молчал, слушал, не слыша, видел, не видя. Чувство вины все глубже засасывало его, как в болото, сдавливало грудь так, что не было продыха, руки обвисли. Какая уж тут борьба с Чухловым!..

— Пошли, — беспокоился на все стороны Гомогрей. — Вы только без нас, Михал Петрович, не выжрите всю канистру.

— Да ладно. Идите, мы вас подождем. А насчет канистры не переживайте, мы чуть-чуть

— От вашего «по чуть-чуть» канистры не останется, — зареготал Шукуров. — Пейте, конечно, нам не жалко, — добавил он, увидев, как позеленел от ярости правдолюбец.

Они потянулись в зал, рассаживаясь потихоньку вдоль длинного стола, покрытого зеленой скатертью. Перпендикулярно длинному столу стоял стол главного редактора, на углу которого уже пристроился Чухлов. Разложив перед собой блокноты и ручки, ждали. Вадимова еще не было. Наконец, утиной походкой, переваливаясь с боку на бок, вошел Главный. С загорелым лицом, стрижкой «ежиком», он был похож на бурдюк — горлом вверх: узкие плечи, толстая грудь, еще более толстый живот, огромный зад. Раздвоенный ямочкой подбородок, длинный нос, глаза за очками с привычным выражением тупости, самодовольства и недовольства окружающими вызывали уныние, сопряженное, правда с ухмылкой. Зато, в отличие от своих подчиненных, одет он был в элегантный импортный костюм, отчасти даже скрадывавший его толщину. Он обошел стол, протягивая каждому сотруднику руку, но глядя не в лицо, а в пространство, поэтому казалось, что руку он не протягивал, а совал как вынужденное подаяние:

— Здрасьте. Здрасьте. Здрасьте, — но, случайно глянув в лицо, — а, с вами уже здоровался. Здрасьте. Здрасьте, с вами тоже уже здоровались. Здрасьте.

Он сел на свое место, и тут же громоздкий, уса́тый Чухлов, по прозвищу «Клязувец» (поскольку время от времени писал на кого-нибудь клязу, донос, телегу, за что был изгоняем с предыдущих работ, пока не пригрелся в журнале), искательно глянув на Главного, сказал:

— Летучку можно считать открытой, но для начала, я думаю, мы попросим Сергея Семеныча поделиться впечатлениями о поездке.

Вадимов, поджал губы, дернул головой вверх:

— Нет, сначала о деле, но кратко. Я был вчера на совещании в соответствующих инстанциях. Там нам напомнили, чтоб вы знали, о том, что на пленуме были поставлены задачи перед большими отраслями и сферами и как мы выполняем конкретные мероприятия текущего долгосрочного характера. Я вам просто скажу, пришлось сказать свою точку зрения. Нас призывали взвешенно оценивать момент и критиковали по вкладу в современную актуальную теорию развитого социализма, что мы не можем пока дать какие-нибудь выводы. Это связано, чтоб вы знали, с проблемами научного коммунизма, а не с фундаментальными философскими проблемами. Вот буквально дословные слова, которые сказали на закрытом совещании Цека для служебного пользования, чтоб вы знали: мы должны изменить коренным образом нашу работу в идеологической пропаганде. Теперь больше воспевать революционеров и давать преимущества только положительные. Другие товарищи стали выступать, а я тогда быстро думаю: даем опернабором три статьи по актуальным темам. Фетр Николаевич согласен передать нам свой доклад «Научная несостоятельность и реакционная сущность буржуазных фальсификаций марксистско-ленинской философии — идейно-теоретической основы развитого социализма». Я свою статью тоже включаю, у меня уже заглавие есть: «Совершенствование развитого социализма и некоторые задачи теоретического осмысления героических этапов развития советского общества».

Сидевшим рядом с Ильей Коля Круглов шепнул, не разжимая губ:

— Социализм зрелый, но не зримый.

Илья кивнул, показывая, что слышал и оценил.

— И напечатаем статью покойного Фиговича, написанную автором еще при жизни: «К теоретическому углублению и конкретизации анализа традиций коммунистического воспитания».

Коля снова шепнул:

— Методологические проблемы хамского воспитания.

— Когда у нас опернабор? — перекрыл его шепот голос Главного. — Через четыре дня? Две статьи есть, а свою я пришлю в понедельник. У меня уже по этой теме появились три мысли, надо только цитаты подобрать.

— Слушайте, что Сергей Семеныч говорит. И записывайте! — выкрикнул Чухлов. — Надо, Сергей Семеныч, по статьям редакторов назначить. Я думаю, Шукурова, Тимашева и Гомогрея.

— Гомогрея? — переспросил Вадимов. — Не возражаю. Нет, не возражаю. Пусть поработает. И Шукуров. Отдохнули, молодцы, что съездили, теперь пора и поработать. Особенно Тимашеву. Сам пишет, а в журнале работает мало.

— То есть как это мало? — не выдержал Тимашев, хотя настроения препираться не было, гнело чувство вины, да и бесполезным делом считал все споры с Главным. — У меня уже семнадцать материалов опубликовано.

— Вот я и говорю: сами пишете, а на журнал не работаете!

— Да это же!..

— Не надо пререкаться на летучке, потом ко мне зайдите и поговорим о вашем поведении и по поводу вашей статьи о Чернышевском. Мне сказали, что она написана у вас и вы ее в журнал хотите. Так вот, вы ее в ближайшие номера и не планируйте даже. Вы у нас решили свой восемнадцатый материал протолкнуть! Я не спорю, статья, может быть интересной, размышленческой, с постановками, но прежде я хотел бы о вашей работе в журнале поговорить.

Илья наклонил голову и не отвечал больше: «Так мне и надо, чтобы Вадимов на меня орал и ногами топал. По заслугам». Как и всякому чувствующему себя виноватым человеку, ему казалось, что чем ему будет хуже, тем лучше, тем законнее восстанавливается Божеская справедливость.

А в редакции произошел маленький бунт. Спьяну осмелевший Шукуров вдруг рявкнул:

— Мы же не успеем эти статьи как следует подготовить! Я считаю такое решение авантюризмом. И поэтому против. Зав-

тра уже суббота. Почему не пустить их в следующий номер, нормально отредактировав?!

— Я расцениваю это заявление как выпад! — побагровел Вадимов. — У меня хватает времени, хотя я больше вас работаю. Я уже читал статью Фиговича, у меня много критических замечаний, я их вам покажу, поскольку некоторые вещи вызывают удивление, то есть просто больше вопросов, чем ответов идеологического и политического характера. Но их можно вычеркнуть. И если вы не умеете, я это сделаю сам. И вам покажу. Но вы, если надо, обязаны сидеть и субботу, и воскресенье за работой на журнал.

— Я могу сидеть, — отчаянно бросил Шукуров, — когда этого требуют интересы дела, а не ваша прихоть. Я вам не раб и не крепостной! Это вам еще покойный Помадов говорил.

Не успел Илья удивиться смелости Шукурова, как Главный, став уже совсем багровым, гаркнул:

— Все! Мне надоело! Не хотите редактировать — не надо! Я делаю первый выбор и назначаю редактором статьи Фетра Николаевича вместо вас Цицеронова. А вы еще пожалеете об этом.

— Почему? Если надо, я готов, — сбавил обороты Шукуров.

Бунт был подавлен в корне.

— Нет уж, теперь поздно, — оборвал его Вадимов.

— Значит, записываю Цицеронова, Сергей Семеныч? — спросил, заглядывая в глаза Главному, Чухлов.

— Цицеронова, — подтвердил Вадимов.

— Зря ты так, — шепнул Цицеронов Шукурову, — проку все равно нет, а озлобил дурака.

— А ну его, — махнул рукой Шукуров, бледный, но не желавший терять лица, к тому же предвкушавший канистру и дружеское сообщество, которое за стаканом поддержит его.

Тем временем Вадимов вышел и опять вернулся, все так же переваливаясь с боку на бок, неся буклеты, проспекты и цветные открытки. Положил их перед собой и сел.

— Тише! — призвал всех к порядку Чухлов.

— А теперь кратко хочу поделиться о философском конгрессе в Аргентине по приглашению ла-платского университета, чтоб вы знали, — начал Вадимов. — Участвовало в нем много участников, в том числе и братских международных ученых, но они делали только общие обобщения. Я там считался как бы философом, потому что, кроме меня и Фетра Николаича, философов от нас не было.

Лететь туда долго. Когда мы летели над океаном, то вошли в ситуацию грозы. Все испугались, но я знал, что молнии для самолета значения не имеют. Хотя болтанка была сильная, я не боялся, а всех успокаивал, что если наш самолет не развалится от болтанки, то долетим хорошо. И долетели. Если провести линию по карте, то мы летели все время вниз. Европа, Африка, Америка. Останавливались на Островах Зеленого Мыса. Там вода в туалете прямо из океана. Мы нарочно умывались, чтоб попробовать. Соленая. Затем Сальвадор, это уже Бразилия. Следующая посадка — Буэнос-Айрес. Два раза пересекли экватор. Поместили нас в гостинице «Амбасадор» в Буэнос-Айресе. Вот передаю открытку, здесь это изображено. Гостиницы там хорошие, еще американцы строили, но в связи с хунтой, чтоб вы знали, мало объектов для всей созданной базы обслуживания. У каждого был отдельный номер. У Фетра Николаича даже две кровати, поскольку он академик. Город чистый. Я вам сейчас его передаю тоже, — он пустил по рукам очередную глянцевою открытку. — Видите, нарочно как распланирован. Улица Девятого июля. Если наш Кутузовский проспект расширить в три раза, то это будет эта улица. И плюс, что, конечно, так бросается, прямо поражает, очень красиво. В городе двенадцать миллионов человек. Второй после Мехико. В Мехико восемнадцать миллионов. Но в Аргентине, в отличие от Мексики, никогда не было царя. Это хорошая традиция. Там всегда диктаторы, каудильо, по-ихнему.

— Без царя в голове, а правительство рабочее, — глядя в стол, пробормотал Коля Круглов, но так, чтобы Тимашев слышал.

— Там есть обслуживающий персонал в гостиницах, — продолжал нескладно составлять слова Вадимов, — есть, как обслуживать, но некого обслуживать: иностранные туристы сейчас ездят мало. А темпераментного латиноамериканского народа на улицах много, набиваются с адским количеством в автобусе, совсем как у нас. Культуры этики очень мало. Машины ездят по всей середине улицы, не обращая внимания на пешеходов. Они нам симпатизируют. Они говорят: аргентинцы и организация вещи несовместимые. Билет на автобус стоит десять астралей сорок пять сентавос. А денег научным туристам дают мало, чтоб вы знали, но мы по утрам ходили на шведский стол и старались есть на несколько дней вперед. Там платишь немного, а ешь, сколько уместится. Один раз всю конференцию пригласили в ресторан, где подавали кучу морских вещей, политых майонезом. А на

первое суп, протертый как во всем мире. Потому что у нас, когда ешь борщ, то капуста на брюки падает, чтоб вы на будущее знали. Продолжу бытовую сторону...

По кругу тем временем из рук в руки передавались цветастые открытки и проспекты с фотографиями отелей и празднично-отдыхающих людей. На некоторых стояли крестики: либо на окнах, либо на уголке пляжа — это были места, где Вадимов жил, где Вадимов купался, чтоб сотрудники могли отчетливее представить, как и где проводил время их начальник.

Тимашева толкнул Коля Круглов и подвинул ему по столу лист бумаги, кивком показывая, что фраза, там написанная, относится к Вадимову. Илья прочитал: «Советский человек есть мера всех вещей». Он хмыкнул: «Бедный Протагор». Коля приложил палец к губам. И все же Главный заметил их перемигивание. Его физиономия сложилась в оскорбленную куриную попку:

— Я попросил бы не перешептываться и не передвигаться записочками, — заговорил он, покрывшись красными пятнами гнева, словно лишаем. — Я к вам, Илья Васильевич, обращаюсь! Вы и так халатно себя на работе держите, не выполняете, что надо, так хоть не перешептывайтесь в рабочее время! Вам будет позволено сказать, что хотите. А пока сидите и слушайте! А не хотите потом выступать, если вам не о чем, то тогда на здоровье — не надо! А пока вы на работе находитесь, вот и слушайте, что вам рассказывают!

Редакция притихла, а Вадимов продолжал с того места, где остановился, будто и не прерывался:

— Витрины изнутри горят для безопасности. Там, действительно, ходи, как хочешь. Все собираются там, но никаких экстравагантностей, они переболели. Минеральная вода или пепси стоит дороже вина. На каждого аргентинца приходится по две коровы, не считая свиней и прочего. Аргентина мясная страна. У них коровам не надо фермы, весь год на траве. Всюду фотографии гаучо. Это крестьянин-животновод. С символами аргентинской его работы. Шары, которые наполнены дробью, бросаются на ноги, а не на шею, чтобы их перебить. Нас как философов везде хорошо принимали. Некоторые злопыхатели говорят, что наша философская наука отстала, что она нигде не ценится, что мы живем за счет западной науки, критикуя ее, а своего нового не выдвигаем. Но если бы так было, то наши делегации не при-

глашались бы на международные симпозиумы. А нас всюду приглашают, шлют письменные письма с приглашениями. В Буэнос-Айресе в нашу честь был даже дан...

— ...комплексный обед, — не удержавшись, шепнул Круглов.

— ...специальный симпозиум о нашей философии. И я рассказывал о наших достижениях. Там многие по-русски не понимали, но я им на своем хорошем английском сказал, что наша сила, что мы часто лазим в практику.

Илья смотрел на рекламный проспект конгресса: на обложке кондор, повесив крылья, с белой повязкой на горле, смотрел куда-то в сторону. Сверху шла надпись: «Congreso internacional extraordinario de Filosofia».

— Я скажу последний вывод, — говорил Вадимов, — что Аргентина — это богатая и перспективная страна и она, хотя там и хунта, имеет к нам ориентацию, поэтому с ней надо дружить. А мафию мы там не видели, чтобы вы знали. И я предлагаю от журнала разослать, запишите Клима Даниловича, разослать письма всем участникам конгресса в капиталистические страны индивидуальные, а в социалистические — стандартные братские приветствия. Сделайте и принесите на подпись.

Илья сидел, понунив голову. Получалось, что аргентинские разговоры и рассказы, несмотря на феноменальную глупость Вадимова, не отвлекали его, напротив, все время напоминали о Лине, а стало быть, и о ее звонке Элке. «Зачем она это сделала? Очередной приступ безумия? Расчет, что я позвоню ей, а то и приеду выяснять причины ее звонка? Она ведь могла думать, что я вчера ушел навсегда, раз она мне не дала. Вот она и выкинула подлянку. Не поеду больше к ней! А куда? Просить прощения у Элки?..» Но нормальной жизни уже не будет. За ним навсегда теперь потянется шлейф обнаруженного проступка. Он не естественно будет жить, а как прощенный. А ведь и без того дома ни Элка, ни Антон ни разу не сказали, что они с ним счастливы, как часто говорила и чувствовала Лина, они принимали его как данность, почти как явление природы. А для него семья составляла стержень существования. Как теперь ему будет без стержня?..

Бессвязные мысли, мрачные мысли, одна противоречила другой, но он не очень это замечал, слишком очевидным казалось ему, что он довел свою жизнь до логического завершения, идти было некуда, впереди — пустота. А дела какого-нибудь, цели жизни,

ради которой стоило бы жить, например, борьбы за счастье народа, у него не было. Не верил он в общественные движения в России, даже боялся их — ни к чему хорошему никогда они не приводили!..

— Все. Летучка закончена. Можете идти обедать. А вас, Олег Витальевич, — обратился Вадимов к Цицеронову, — и вас, Илья Васильевич, — ткнул он указательным пальцем в Тимашева, — попросил бы зайти ко мне.

Неся живот впереди себя, все той же утиной походочкой он двинулся к себе в кабинет.

Боб Лундин громко захохотал, а Алик Цицеронов, подыгрывая общему тону сказал:

— Ну что ж, придется нам пойти, — он дружески хлопнул Илью по спине, — послушать очередную ахинею, — и, глянув по сторонам, хихикнул быстро.

Но у дверей приемной им пришлось задержаться. Как всегда публично комментирующий свои физиологические отправления, Вадимов и на сей раз, махнув на них ладошкой, приказал:

— Подождите здесь. Я в туалет, но быстро, потом помою руки, и тогда заходите, поговорим.

Секретарша Света прыснула. Они стояли, как идиоты, а мимо них потянулась вереница, словно стадо гусей на водопой. Первыми шли изрядно за этот час покрасневшие Ханыркин и Вёдрин, за ними Гомогрей и Шукуров, спрятавшие канистры под плащи и торопившиеся скорее выскочить из редакции. Все же Шукуров, добрый малый, задержался около Тимашева, подбодрил:

— Давай быстро. Слушай его молча, тогда не разговорится. А мы тебя в деревяшке ждем.

Дервяшкой называлась столовая, расположенная к редакции ближе, чем стекляшка.

— Понятно, — сказал Илья. — Обедать пошли.

— Знаем, как вы обедаете, — расцвел Алик.

— А знаешь, так помалкивай, — обнял его Боб Лундин и, обернувшись к Илье, спросил: — Где же ты, душа моя, семнадцать статей умудрился тиснуть?.. — и он принялся, не дожидаясь ответа, спускаться к входной двери. Все были с сумками и портфелями, а стало быть, возвращаться не собирались.

— Давай, друг мой, не задерживайся, — обратился к Илье шедший последним Саша Паладин, — а то ты сегодня какой-то грустно-задумчивый, прямо не узнать тебя.



Илья не ответил, но внимательно и вопросительно в который раз посмотрел в лицо Паладину, понимая, что его нарочитое молчание красноречиво. Мятое лицо Саши еще больше смялось, он рассмеялся, ткнул Илью кулаком в бок и побежал догонять других. Из туалета вышел Вадимов, неся перед собой мокрые руки, с которых капала вода. Он старался не замочить рукава пиджака.

— Проходите следом, — бросил он Тимашеву и Цицеронову, — я руки вытру и будем разговаривать.

В кабинете он достал из шкафа полотенце, повозил в нем руки, положил его назад, запер шкаф, сел за стол, все это обстоятельно, пока они стояли у маленького низенького столика, перпендикулярно приткнутого к основному, хозяйскому столу. И только тогда сказал:

— Садитесь, не надо стоять. Во-первых, с вами Олег Витальевич, а потом поговорим по Тимашеву. Это ведь вы редактировали статью о космосе этого физика. Я не могу согласиться с ней. У нас в стране идут хорошие процессы, но при этом не надо так обильно цитировать всяких там Зенонов и Анаксимандров. У меня масса возражений. В статье дана твердая позиция, и она склоняется к идеализму. Я так считаю, что в космосе все работает без разума. Там закон чистой природы. И мы не фактор космоса, потому что космос без разума развивается, а с разумом это мы. И опять — обращение к Платону. Зачем он? Отдельные куски проводят идею, что разум везде заложен и существует. Я с этим не согласен. Это просто какое-то заигрывание.

Цицеронов начал было спорить, сказав, что автор статьи — крупный ученый, астрофизик, что надо бы в журнал привлекать ученых-естественников, а не отпугивать их, что идеализма он в статье не заметил, но его защитительная речь успеха не имела, и, глянув в раздраженно-тупые глаза Вадимова, Алик быстро свернулся и обещал поработать с автором.

— Ну вот и хорошо, молодцы, что поняли. Поработайте, а потом мне покажете. Чтоб жалоб на вас вышестоящим не было. А теперь идите, мне по Тимашеву поговорить надо.

Алик вышел, Илья нервно усмехнулся, а Вадимов побагровел:

— Зря усмехаетесь, чтоб вы знали. В работе тоже нужна культура этики. Вы все как бы философствуете, а надо работать. И делать большое нужное дело, потому что мы работаем в инте-

ресах партии и людей. А вы манкируете, опаздываете на работу, плохо редактируете. Продукции мало.

«Проклятый Клязузевиц!» — подумал Илья, сразу сообразив что нажаловался на него Чухлов: пару дней назад они повздорили. Илья не согласился с его замечаниями на полях статьи, которую он вел, и тогда Чухлов швырнул статью на стол и заорал:

— Не умеете работать, так и скажите! Тогда подавайте по собственному желанию.

— Во-первых, будьте повежливее, — сумрачно ответил Илья, — а во-вторых, редакторский стаж у меня лет на десять побольше вашего, не говоря уж о профессионализме.

Понятно, что Чухлов мстил. И хотя Илья решил было, что чем ему хуже, тем на самом деле лучше и справедливее, инстинктивная реакция организма была — защищаться.

— Я хотел бы объяснить, — сказал Илья. — Мною опубликовано в журнале семнадцать материалов.

— Вот я именно об этом: сами пишете много, а на журнал не работаете, теперь восемнадцатый материал хотите протолкнуть. Клим Данилыч слышал как вы говорили, что хотите ее в журнал дать.

— Сергей Семеныч! я еще раз повторяю, что имею в виду свою работу в журнале в качестве редактора, и вы должны бы это знать. В год у нас редакторская норма от восемнадцати до двадцати статей. А у меня к октябрю уже проведено и выпущено в свет семнадцать статей. И около пяти на подходе.

— Вот я и говорю. Это хорошо, что вы много пишете. Писать вы умеете. Молодцы. Но надо и на журнал работать. А вы для журнала только свою восемнадцатую статью даете.

— Сергей Семеныч! К сожалению, за это время я написал всего лишь одну свою статью, а семнадцать материалов — это те, которые я сделал в нашем журнале как редактор.

— Да я же не возражаю, — уже мягче сказал Вадимов, — чтобы вы много писали, раз вы умеете. Хоть двадцать материалов публикуйте. Только для журнала тоже надо работать.

— Но я же и работаю, — с отчаянием сказал Илья, не понимая, то ли Вадимов дурака валяет, то ли и в самом деле непробиваем.

— Вот идите и работайте! — прервал его Главный. — О чем здесь пререкаются!.. Выслушали, что вам сказали, и работайте.

Илья выкатился из кабинета, тряся головой и отдуваясь.

— Ну что, влетело? — спросила Светка.

Илья покрутил пальцем у виска, побежал в комнату за сумкой, но, уходя, почему-то сказал Светке:

— Если кто срочно будет искать, ну, во что бы то ни стало, то я в деревяшке, объяснишь, как пройти.

— Ему тоже? — кивнула, ухмыляясь, Светка на кабинет Главного. — Или Чухлову?..

— Разумеется, нет, — выдохнул в ответ Илья. — Только своим, и если у кого срочное дело ко мне.

Что-то тревожно было у него на душе, подумал, что вдруг сын или Элка будут его искать или пришлют кого. А ему, кроме как в деревяшку, пути не было. Да и с Паладиным надо, наконец, на чистоту поговорить.

— Ладно, не беспокойся. Соображу, — ответила большеглазка.

\* \* \*

В деревяшке была большая очередь, тянувшаяся за высокую деревянную перегородку (в столовой, попытавшейся на современный лад отделать помещение деревом под псевдостарину было самообслуживание). Но редакционная компания уже сидела, сдвинув два стола. Завсегдатаям кое-какие вольности разрешались.

— Эй! — крикнул ему Шукуров, приподнимаясь, — мы тебе уже взяли, иди сюда. Ты уж извини, что всем, то и тебе.

На маленьких тарелках посередине стола лежали шпроты с ломтиками лимона, и еще перед каждым — тарелка борща и котлеты с вермишелью. Ели вяло, больше пили, что видно было по разгоряченным физиономиям и спутанным волосам. Илья сел между потеснившимися Паладиным и Шукуровым. Боб Лундин рассказывал анекдот, подражая всемирно памятного голосу Брежнева:

— Идет прием. Генеральный по бумажке: «Дорогая гхоспожа Маргхарет Тэтчер, в вашем лице...» Ему шепчут: «Леонид Ильич, это не Тэтчер, это Индира Ганди».

Боб поднял голову и тупо посмотрел перед собой, имитируя такой же всемирно памятный взгляд, потом продолжил:

— Снова Наш опускает глаза и читает: «Дорогая гхоспожа... Маргхарст Тэтчер». Ему снова: «Это Индира Ганди». Леонид Ильич опять смотрит (та же имитация Бобом тупой растерянности; и опять читает: «Дорогая... гхоспожа... (с отчаянной решимостью в голосе) Маргхарет Тэтчер!» «Леонид Ильич! Это Ганди!» — «Я и сам вижу, что Ганди, а написано — Тэтчер!»

Все захохотали, а Илья сказал:

— Вот-вот. С Вадимовым только что точно такой же разговор был, — и пересказал о семнадцати статьях.

И снова все захохотали.

— Теперь ты его никогда не переубедишь, — заржал, тыкая в Тимашева чайной ложкой, Гомогрей. Он уже сильно поднапился.

— Начальники подбираются, чтоб нижестоящий был ни в коем случае не умнее вышестоящего, так и готовят себе смену. Дождетесь, что Чухлов у вас Главным будет, — мрачно бросил Анемподист-правдолюбец, сутулый, тощий, с прокуренными зубами и злобным огнем в глазах. — Вам надо решать, что с ним делать!

— А пошел он! — буркнул Паладин.

— Куда же это он пойдет, душа моя? Такому засранцу совсем некуда идти, — замурлыкал Боб. — Только у нас его и терпят. А поскольку никто его не возьмет, придется нам его дальше терпеть.

— Ему наплевать! — зловещим шепотом, зеленея, просипел Ханыркин. — У него папочка начальник! Чего ему бояться! И все вы будете такими, как только в начальство выйдете.

— Что же это ты нас все пугаешь? — спросил Паладин.

— Он не пугает, душа моя, а предупреждает, — объяснил Боб Лундин. — Анемподист — это больная наша совесть.

Поощренный Ханыркин совсем озверел от коньяка и забыл о предмете разговора, то есть о Чухлове, перед ним был новый противник:

— Конечно, тебе не нужно ни бороться, ни бояться, ни в начальство лезть. За тебя все уже твой папочка сделал!

— Слушай, заткнись, — привстал, но еще миролюбиво, Паладин.

— Ладно, мужики, хватит, да, — поднялся примирительно Вёдрин. — За Левку пьем Помадова. Вот об этом лучше подумайте. Он Теорию Калейдоскопа сочинил, а вы себя как мудаки ведете.

— Тебе чего? — наклонился к Илье Шукуров. — Мы еще водочки прикупили. Так что на любой вкус.

— Пожалуй, я останусь при коньяке, — он взял стакан, Игорь Шукуров плеснул в него жидкости из канистры, сделал глоток и сказал (надо ведь было что-то говорить, чтоб не свихнуться от мыслей и от неопределенности своего положения). — Я согласен с Михал Петровичем. Давайте об умном. Я, кстати, могу рассказать о культурологической параллели к Левкиному Калейдоскопу. Сегодня у нас аргентинский день, поэтому я и вспомнил. Там

есть такой философствующий писатель — Борхес. У нас его перевод готовится, философские эссе «Семь вечеров» и рассказы. Одна моя знакомая переводит.

— Опять киска? — спросил Гомогрей. — Ох, Тимашов!..

— Совсем не киска. Весьма достойная женщина. Так вот этот аргентинец Борхес мир представляет как некий Лабиринт, по которому человек бредет, пытаясь добраться до неведомой цели. В лабиринте его может встретить чудовище Минотавр или вообще он окажется обманкой, нерешаемой задачей.

— Но есть отличие, в нашем отечественном Калейдоскопе ты никакого чудовищного Минотавра не встретишь, только благолепие и красоту, — тут же сказал славянофильствующий Шукуров.

— Если не считать, что Левка в последние дни все бредил каким-то крокодилем, — оборвал его задумчиво Паладин.

— Ну, бредить чем угодно можно, — отбился Шукуров. — Главное, что ничего такого в натуре нет.

Как и всегда, после пятой или шестой порции спиртного, на Боба нашло песенное настроение, и он тихо напел, обнимая за плечи своих соседей, Ведрина и Гомогрея:

Я ствол на ветке укрепил,  
Чтоб бить наверняка:  
То был огромный крокодил  
С ногами рысака.

— Это очень важно, что наш Левка был не глупее ихнего Борхеса, — сказал трагическим голосом Ханыркин, — но мы своего Левку проворонили, и он пропал неизвестно куда.

— Ну, скажем, по теории Михал Петровича, — осклабился Паладин, — он мог вполне попасть на Альдебаран, вернуться, так сказать, на свою историческую родину, потому что, по концепции нашего друга, все сочинители идей и теорий — это альдебаранцы, во главе, разумеется, с самим Михал Петровичем.

— У меня концепций, к сожалению, кроме альдебаранской, нету. Но вы все равно мудаки, что смеетесь, — Вёдрин заглотнул свою порцию. Водолазка сморщилась на его выпирающем пузе, выбилась из брюк, Вёдрин этого не замечал, но пьян был еще не очень. — Что же мне носиться со своим докторством, как Вадимов?.. Я лучше пью. Доктор — это ничего не значит. Да. Надо свое

сочинять. Про Альдебаран, может, и шутка, а может и нет. Может, он просто не так называется. А как человек может понять мироздание? Способен ли он на это? Я попробую сказать, да, как я сам понимаю человеческие возможности. Это взгляд пескаря из глубины пруда, куда время от времени забрасывается удочка с крючком и червяком, и вот по этой удочке, леске, крючку, тени рыболова, иногда засовываемой рыболовом в воду руки, — то есть чего-то страшного и совсем необъяснимого, — проникающему сквозь толщу воды мерцанию звезд, луны, жару солнца рыбка и пытается понять вселенную. А приспособлений, чтобы выйти за пределы своей среды, у пескаря нет, и он тужится собственным умишком связать воедино солнце, крючок, леску, руку рыболова — а в пруду еще и щуки есть, и всякая другая живность. Там, в воде, свои проблемы. Так и человек: живет на Земле, а с Космосом соприкасается, как этот пескарь с нашей реальностью. Поэтому высшая мудрость была Сократом высказана: я знаю, что ничего не знаю. Да. Я могу только предполагать. А что конкретно каждый данный индивид сочиняет это, стало быть, от его туземной культуры зависит.

— Так ты, Михал Петрович, считаешь, что по концепциям можно понять, откуда Левка, а откуда тимашевский Борхес?! — крикнул прямо над ухом у Ильи Шукуров.

— Тише ты, крикун, — сморщился Илья. — Конечно, можно. Это я тебе и без Вёдрина скажу. Аргентина вроде бы и похожа на нас, но тем не менее другая, более европейская, несмотря на хунту, гаучо, всевозможных каудильо. Традиционные корневые связи другие. Там существует все же представление, что у личности есть некая цель, своя собственная, отдельная, пусть добираться до нее приходится по лабиринту, порой обманному. Да и сама идея Лабиринта родилась в ранней Европе, в Древней Греции, просто Борхес довел эту идею до философской мифологемы. А Калейдоскоп — это наше, отечественное производство. Я не в принижение Левки говорю, напротив. Он что-то архетипическое ухватил в нашей культуре. Не ты идешь по жизни, а кто-то твою жизнь разыгрывает, складывает ее в случайные картинки, от твоей художественной воли не зависящие. Ты не преодолеваешь сам препятствий, тобой преодолевают чьи-то чужие препятствия. Твоя личность — часть общего случайного узора. Так я во всяком случае тогда Левку понял. Отсюда и наша инертность, безделье, уродство, бесплодность и безнадежность историко-цивилизационных усилий, — все не от нас зависит!..

— Ты какой умный, — навалился через стол на Илью Боб Лундин, — наверно, все же в детстве ты больше Гомогрея говна ел. Давай с тобой выпьем.

— Давай, — согласился Илья, но отпил немного, горло не глотало, слишком большое напряжение было внутри, да и злость на себя тоже: чего раскукарекался? Молчать ему надо, надо, чтоб кто-нибудь ему вмазал, а он бы не защищался от ударов, даже подставлялся под них, воспринимая как заслуженную кару. Стоило так подумать, как ему и вмазали, но слегка, необходимо.

— Тимашов! — встал, шатаясь, со стаканом в руке, Гомогрей. — Давай и со мной чокнись! А! Тимашов! Ты гад! Сколько купонов настриг со своих статей о России, а сам ее ругаешь!

— Сразу западник виден! — подхватил шутливо Шукуров. Ничего святого! Чаадаев ты наш! — и поцеловал Илью в щеку.

— Да, это точно, я думаю, Илья прав, — сказал Вёдрин. — Мы другие. Как в романе у Саймака: почти как люди, но что-то другое. Да. Ладно. Уж какие есть. Мудаки так мудаки. Говорят, у нас пророческая культура. А по мне, так мы должны честно сказать себе, что мы не пророки, а мудаки. Вот сейчас все потянулись на Запад, в эмиграцию. А кому, например, я там нужен? Мало того, что пескарь, так еще из самого затхлого пруда. Ведь я знаю, кто я. Я — старый дурак, да. Ну, не очень старый, но дурак. Что я там делать буду? О неопозитивизме писать? Так они это лучше меня знают. Это здесь, на их материалах, я могу считаться ученым и стать доктором наук. А там я на хрен никому не нужен. Да, ладно. Ты скажи, Тимашев, ты женат на еврейке или там, говорят, у тебя любовница еврейка, это все равно, почему есть евреи, которые не уезжают? Голова у них есть, мозги тоже, и они ведь не пьют, а? У меня вот, ты знаешь, есть какое-то пристрастие к своему району, к своей пивной. Где я там найду, с кем выпить?.. Нет, конечно, найду, да. Такого добра везде есть. Но для чего, скажи, мне туда ехать, когда мне и здесь есть, с кем пить и где. Так какая разница, где я буду пить?

— Никакой, — согласился Илья, чувствуя что его душевное состояние такое же. Не куда ему было идти. От себя не набегается. К матери — запилит, что из семьи ушел. К другу детства Лене Гаврилову?.. Там разговоры о Марьяночке, их общ е й, да о других тел ка х из ста да... Хотя про любовную драму друга Леня бы послушал, посочувствовал, нашел бы ему место, где жить. То есть не жить, а существовать, ночевать. Жить — это се-

мья, свой дом, книги... Он попытался собраться. — Я сегодня прочитал введение в нечто вроде трактата, называется «У гробовых дверей человечества». Скорее всего, шиз писал. А все равно страшно. Он пророчит конец света, который начнется в России, и хотя доказательств, разумеется, никаких, я поймал себя, что я ему верю. Быть может, дело в том, что мы давно уже втайне ждем этого конца — по крайней мере, в одной отдельно взятой стране. А раз так, то надо жить проще, откровеннее, говорить, что чувствуешь и думаешь, вроде как в царстве мертвых происходит.

— Это какой же откровенности ты хочешь, друг мой? И с кем? — Саша Паладин проглотил полстакана коньяку и лениво подцепил на вилку шпротину с ломтиком лимона.

— А хотя бы с тобой, — вдруг с бешенством сказал Илья, глядя Саше в глаза и с мазохистским чувством понимая, что вот сейчас-то ему, наконец, и вмажут по первое число. — Можем поговорить — о чистой совести и всяком таком прочем...

— Ну, можем, — усмехнулся Саша, скосив глаза в сторону. — Давай поговорим. А то ты, друг мой Илюша, на меня что-то второй день волком смотришь. Выйдем, заодно и покурим.

— Только не на улицу, — забеспокоился, услышавший их перепалку Гомогрей. — Там вас сдует, к чертовой матери сдует. Сегодня метет, как у нас в Чертанове. Насквозь продувает.

\* \* \*

Тем не менее они вышли из кафе на Кропоткинскую. Тротуар был узенький. Мимо катили легковые машины и троллейбусы. Неподалеку располагалась Академия Художеств. Ветер и вправду свистел, перехватывая дыханье, заталкивая слова назад в рот. Летели листья, пыль, сигаретные окурки, какие-то бумажки. Пришлось зайти за угол здания, там дуло меньше. Саша вытащил пачку «Явы», Илья — свою пачку, тем самым демонстративно отказываясь от Сашиных сигарет. Тот сухо рассмеялся. Каждый закурил от своей спички.

— Послушай, — сказал Илья. — Для начала я тебе кое- что прочту.

— Что ж, прочти, почему бы и нет.

Стихи Илья запомнил, и Сашина наглость его не сбила:

В учености — ни смысла, ни границ.

Расскажет больше тайный взмах ресниц.



Пей! Книга жизни кончится печально,  
Укрась вином мелькание страниц.

Саша посмотрел на него словно бы удивленно, пожал плечами:

— Ну и что?

— Как что? Чьи это стихи?

— Элкины. Твоей жены Элки. А-а, так вот отчего ты взъелся?

— А кому они посвящены? позволь спросить.

— Кому-кому, мне, разумеется. Ну и что? Это все знают. Конечно, уговаривать меня пить довольно наивно...

— Все знают, кроме меня, — перебил его Илья.

— Кто ж виноват, что тебя дома не бывает, когда приезжают твои друзья?! Мы приехали, выпили, Элка мне стихи и написала. Меньше по бабам надо ходить, друг мой!.. — он стряхнул с сигареты пепел и исподлобья, но посмотрел Илье в глаза.

— А почему я Элкину фотографию в редакционном столе нашел?..

— Моем столе?..

— Нет, общем, но это твоя манера засовывать туда свои письма и бумаги.

— Друг мой, фотография любимой девушки — святыня для мужчины, и засовывать ее в стол он не будет...

Илья опустил голову, сжал зубы:

— Хорошо, пусть с фотографией я не прав. А твой спор с Тыковкиным? Или, скажешь, Гомогрей наврал?..

— Ах, это... Ну и трепло наш Гомогрей! Пьян я был. А в остальном лучше своего Толю Тыковкина спроси. Это провокация в его стиле. Ради своих целей он на все способен. А тебя он ненавидит.

— За что?

— Могу только догадываться. Ты его провожал, спасал, по улице вместе шли. Когда вы с моей свадьбы отвалили. Он тебе душу, наверно, раскрыл. А душа-то темная. Вот он и будет теперь тебе всю жизнь пакостить. За то, что перед тобой раскрылся.

— Хорошо, ты не при чем. Хотя, что у пьяного на уме... Ладно, оставим. А... — Илья замолчал, не зная, как сказать.

— Ну уж договаривай, — снова рассмеялся Саша, словно преодолел какую-то тяжесть. — Вижу, еще хочешь спросить.

— Тебе сегодня Элка в редакцию звонила? — с трудом выговорил Илья.

Саша наклонил голову и позволил себе боднуть Илью в лоб своим лбом: это был его излюбленный дружеский жест.

— Ты, Шерлок Холмс!.. Звонила ли? Звонила! Советоваться, что с таким дурачком и бабником, как ты, делать. Ей же перед этим твоя пассия Лина, с которой не имею честь быть знакомым, позвонила. Девушка Элка занервничала, психанула. Ее можно понять. Вот и решила посоветоваться.

— Почему же именно с тобой?

— Потому что я твой друг, болван! И ее друг тоже.

— А от каких это слов ты не собираешься отказываться? Ты так ей по телефону сказал.

— Не помню что-то, — равнодушным голосом ответил Саша.

— Допустим и это, что не помнишь, — разговор все более и более становился диким, но Илья не отступал. — Но ответь мне — честно только! — на один вопрос: между вами что-нибудь было? Я, конечно, понимаю, что задаю нелепый вопрос...

— Конечно, нелепый. Если бы что и было, как ты думаешь, сказал бы я тебе?.. Было, не было... Тебе какое дело? — грубо вдруг огрызнулся Паладин. — Ты такую бабу, как Элка, не заслуживаешь. Но она тебя любит, если тебя это волнует. При этом согласишься, что не каждая баба терпела бы твои похождения. В любом случае, друг мой, если ты надумал от Элки уходить, меня к этому не припутывай, но знай: во всех вариантах я на твоей стороне.

«Ничего не было, — думал Илья. — А я скотина! Все в конечном счете из-за меня, по моей вине. Конец».

— Да не расстраивайся ты так, — Саша дружески положил руку ему на плечо. — Ничего у нас с Элкой не получилось и получиться не могло, потому что мужская дружба превыше всего. Ты зря взелся. Все у тебя в порядке. Ты живешь счастливо и спокойно. Кругом люди совсем не так живут, ты этого даже не замечаешь. А ты послушай любого участкового, почитай Леонида Словина, есть такой милицейский писатель, он довольно правдоподобно пишет. Как два таксиста подлавливали приезжих лимитчиц, завозили их за окружную дорогу, где наш друг Михаил Петрович вчера ночевал, там насильовали их, глумились, душили и закапывали, и это не маньяки-садисты, это наш быт! У меня родня в Чебоксарах живет, так там не найдешь тринадцатилетней девочки, которую бы насильно на хор не поставили, никто из них девственности по доброй воле не лишился. Ножи, ка-

стеты как норма жизни. Мы еще даже в средневековье не вошли, варвары. Думаю, ты с этим спорить не будешь.

Вчуже удивившись Сашиной социальной резкости, Илья продолжал ныть про свое, потому что свое болело:

— Кроме таких кошмаров есть и душевные проблемы. Я Элке не подхожу. Ей никогда не нравилось, что я пишу.

— А тебе, дураку, надо, чтоб тебя хвалили все время?

— Чтоб уважали.

— Уверяю тебя, что уважения больше, чем достаточно.

— Да не ко мне только, а и к моему творчеству, — он вспомнил с досадливой тоской, как Элка в первые годы их совместной жизни говорила: «Не пойму, на ком ты женат, на мне или на своей пишущей машинке». Потом она привыкла и даже радовалась, что Илья любит сидеть за машинкой: значит, не сопнется. А то, что с друзьями выпивает, тоже хорошо: работа не станет смыслом жизни. И работать будет ради семьи, а не ради работы.

— У вас просто разные темпераменты. Ты, мой друг, натура созерцательная, а девушка Элка — активная. Твоя Элка в потенции не то боярыня Морозова, не то Вера Засулич.

«Не то катилиновская Семпрония», — подумал Илья.

— Ты меня называешь партократом, ладно, хрен с тобой. Я не обижаюсь. На партии все здесь держится. Но ведь и я могу тебя определить.

— Как это? — оторопел Илья.

— Думаешь, так уж сложно? Типичный русский межеумок, умозрительный западник, чужой здесь, не свой на Западе. И решить ничего не можешь ни с собой, ни с обществом.

— А ты можешь?

— Как член партии. Ты вот все бухтишь на партию, на партократию, а если б не железная рука партии, здесь бы черт-те что творилось! Или ты хотел бы, чтоб Стеньки Разины да Емельки Пугачевы насильовали наших жен, сестер и дочерей, а нас бы живьем закапывали в землю? Дай только этим тварям полную волю — страшно тут будет жить! Пока партия у власти — ничего не изменится, я всегда это говорил, сейчас добавлю: и слава Богу. Тебе, конечно, твоей диссидентской душонкой этого не понять. Хотя какой ты диссидент!.. Уж скорее Элка на это отважится как будующая Вера Засулич.

— А тебя тянет к Вере Засулич профессиональный интерес? Теперь я понял, — не удержался Илья. Он не сказал — кегебешный интерес, но подразумевал это.

— Дурачок! да кто же, кроме партократов, пользуясь твоим выражением, ценит этих диссидентов, прислушивается к ним?! Уж во всяком случае не народ. Государство потому с ними и борется, что они предлагают — при всей справедливой критике недостатков — такую концепцию развития России, которая приведет к хаосу и мировой катастрофе. Партия уже однажды спасла страну из хаоса. Партия у нас — это уже не партия, а костяк государственного устройства. А демократы-диссиденты этого не понимают. Но их и жалеют. Разве сравнить со Сталиным! Заметь при этом, что среди диссидентов есть и такие, что по натуре партийные вожди, но власти не имеют, от куска пирога отторгнуты — вот и бесятся. Тот же Солженицын, чем не партийный фюрер! Или Зиновьев? Дай срок — осмотрится и тоже власти захочет. Может, и не власти, но решающего социального влияния. А это приведет его снова к идее советской системы. Не важно, как партия называться будет, главное, что все они по духу своему партийцы. Только не понимают, что в борьбе за власть с нынешней партией — страну развалят. Но твоя Элка пока не боярыня Морозова и не Вера Засулич, ей есть, что терять. Так что успокойся. Ей дорога семья.

— А я спокоен, — ответил Илья, вспоминая прошлогодние Элкины слова: «Если я влюблюсь, то меня ни ты, ни даже Антон, ничто не остановит». И снова сомнения охватили его.

— А раз спокоен, пошли в зал. Друзья нас заждались.

Они вернулись. Илья шел, понурившись, чувствуя, что его в чем-то обманули, обвели вокруг пальца, облапошили.

— Дуэль не состоялась? — заржал Гомогрей. — По этому поводу надо выпить! Налейте Тимашову!

— Из-за чего дуэль? — спросил доктор наук, наливая стакан.

— Из-за тимашевской жены Элки, — объяснил Гомогрей.

«Ничего не понимаю, — мелькнуло у Ильи в голове. — Все всё знают, обсуждают за моей спиной».

— Что это все значит? — спросил он, с трудом выговаривая слова.

— Дурак ты! — заорал Гомогрей. — Ишь, напрягся весь. Все видят, что ты ревнуешь, как дурак. И дурак будешь, если на меня обидишься! Потому что мы все любим твою жену Элку, она у тебя за-

мечательная женщина, а ты ее не стоишь! И я говорю: я хочу ехать к Элке и слушать, как она поет под гитару! Гомогрей решил! — он был совершенно пьян и неожиданно напомнил Илье маленький круглый аквариум, налитый до краев, только не водой, а коньяком.

— Ты лучше к цыганам поезжай! — пытался урезонить приятеля Илья.

— А тебя, дурака, никто не спрашивает! — орал Гомогрей. — Ты сам к своим кискам отправляйся.

— Надеюсь, что ты не сможешь поехать, — сухим голосом сказал Илья, глядя на него в упор.

— Как это не смогу?! Гомогрей хочет, значит поедет!

— Гомогрей, заткнись! — поддержал Илью Саша. — А не то по лбу сейчас получишь.

— Правда, успокойся, душа моя, — положил Гомогрею руку на плечо Боб Лундин. — Мы сейчас скажем стихи, и Илья успокоится... Уже темнеет вечер вешний... вечер вешний... Не помню дальше.

— Это ваши редакционные вирши? — спросил Ведрин.

— Редакционные, — кивнул Саша Паладин. — Еще Кирхов сочинил.

А Шукуров, знаток редакционного фольклора, продекламировал:

Уже темнеет вечер вешний,  
Пора к Тимашеву скорей:  
Там упоительный Орешин,  
Гитара там и Гомогрей!!!

— Да. Ладно, — сказал Вёдрин, которому чужды были их сентиментальные излияния. — А Орешин, как ушел, больше не заходит?

— К черту Орешина! Он стал чинушей, — вопил Гомогрей. — Там Гомогрей, и он должен быть там.

— Гомогрей, повторяю, не буянь, — снова буркнул Саша голосом настоящего друга Ильи, — а то получишь.

Тот притих на минуту, а Боб Лундин вылез из-за стола, подошел к Илье и промурлыкал:

— Уже темнеет вечер вешний, пора к Тимашеву скорей, — и он нежно прижался щекой к щеке Тимашева.

— Я тоже хочу к Тимашеву, — вдруг разлепил уста Ханыркин, — хоть он и порядочная сука. Это мне Левка говорил. Он

считал, что ты хочешь и рыбку съесть, и в лодку сесть. И с бабами трахаешься со всеми, и статейки из истории русской культуры пописываешь.

Ханыркин, как и полагалось несостоявшемуся диссиденту, постоянно искал врага.

Вдруг захихикал Гомогрей, завертел руками, запел:

Ах, огурчики-помидорчики —

Сталин Кирова убил в коридорчике!

— Ты — заткнись! — выпрямляя свое скособоченное тощее тело, приподнялся из-за стола Анемподист, в его глазах светилась святая ненависть, столь свойственная, по давним ироническим словам Кирхова, «русским мальчикам». — Пусть мне этот преуспевающий буржуа ответит, почему его статьи советская печать пропускает? Почему он не умеет прямо и честно написать, что думает?..

— Пр-равильно! — зарычал Гомогрей, подпрыгивая на одном месте, как надутый винными парами шарик, так же вяло, впрочем. — Bravo, Ханыр! Но Тимашев не при чем. Он себе на уме, у него ум есть.

Волосы у него слиплись, спутанная прядь залезла под очки:

— Тимашов!!!

— Ну?

— Тимашов! Ты меня слышишь?

— Ну что? Говори, — Илья чувствовал, что теперь Гомогрей его раздражает, как Паладин и Ханыркин. Плохой это был симптом.

— Тимашов! Раз ты слышишь, скажу. Ты что-то там пишешь. Я хочу тебе кое-что предложить. Раз уж ты играешь в эти игры.

— Что же именно?

— Ты должен напечататься в нашем журнале.

— Каком это — вашем?

— Нашем. Где я работаю.

— Ты что, обалдел? По-моему, и я там служу..

— Я тебе серьезно говорю! — голос у Гомогрея стал упрямый и почти злой. — Не выпендривайся. Вадимов тебя не любит. Он тебя никогда не напечатает.

— А главный редактор Гомогрей напечатает?..

— Зря смеешься. Я тебе дело говорю. Я хочу заказать тебе статью. Понял? Я, Гомогрей, зам. зав. отделом, заказываю тебе статью. И не только заказываю, но и напечатая. Раз тебя никто не печатает. Напишешь какую-нибудь херню, а я ее раз — и в номер. Слово!..

— Ваня! ты что?! Охренел?

— Тимашов, молчи! И слушай, что тебе говорят! Зам. зав. отделом заказывает тебе статью. И обещает ее напечатать. А пока я в журнале работаю, я ее протолкну.

— Да ведь я там тоже работаю!..

— Ты там не работаешь, а что-то пишешь. Потому что тот, кто пишет, там работать не может. А я тебе предлагаю написать, — продолжал насильничать Гомогрей, — чтоб тебя напечатали.

— Ну хорошо. На какую тему?

— Очень просто. Что-нибудь, как Вадимов пишет: марксистско-ленинская философия и что-нибудь такое. Пори, что хочешь, сдери какое-нибудь постановление — и порядок! А не в этом журнале, так в будущем, с Тыковкиным во главе. Там Гомогрей будет большим начальником!..

— Не трогай его, он хочет чистеньким остаться! — возразил желчный Ханыркин. — Он про марксизм писать не будет, — бывший подписант теперь издавал книги по политэкономии социализма.

Илья не возражал, он чувствовал, что опять погружается в протрацию, когда звуки разговора перекатывают через человека, как волны прибоя, и уходят назад, в море, его за собой не увлекая.

— Не спи — замерзнешь, — толкнул его в плечо Саша. — На, выпей.

Эта фраза была любимой Элкиной фразой. Что могло ничего не значить, а могло значить все.

Он тряхнул головой и выпил. Шум, крики и разговоры продолжались, вертясь на том же самом месте, словно он не отключался, словно и мгновения времени не прошло. Словно вечность и в самом деле существует во времени и вместе с тем — вне времени.

— Чистеньким остаться хочет, чтоб перед бабами героем выглядеть, — качался и брызгал слюной Ханыркин и тянул палец по направлению к Тимашеву.

— Что делать, если наш друг любит баб, — урезонивал его Шукуров.

Гимназистки румяные,

От мороза чуть пьяные, —

пел Боб, изливая на всех тепло добродушного равнодушия.

— Я хочу ему в морду дать! — рвался из-за стола бывший подписант, пугаясь в собственном стуле.

— Успокойся, душа моя, — усаживал его на место Боб Лундин, подмигивая Тимашеву. — Мало ли кто ему хочет в морду дать!.. На всех его морды не хватит.

— Да. Ладно. Ну, хватит, — заворчал Вёдрин, — давайте, мужики, раз мы мужики, выпьем лучше. Я гляжу, какие мы засранцы все, без стыда и без совести. Пьем, баб дерём, и все без совести, да. И думаю, что если мы до сих пор под землю не провалились или небо на нас не рухнуло, сами себя не погубили своими делами, статьями, злобой, враньем, поисками виноватых в нашем бардаке, бомбами, ракетами и прочей херней, то все же Бог хранит наше отечество. Я в этом смысле славянофил, как Шукуров, — говорил Вёдрин, поводя глазами по грязному и толкотному кафе. — Россия в таком случае, наверно, и впрямь богоизбранная страна. Иначе давно бы нас всех надо было разметать. Ну, может, не Богом избранная, а там, с Альдебарана. Может, на нас опыты проводят, до какого предела в состоянии дойти человеческое свинство... Я не знаю. Ладно. Давайте выпьем.

Он походил на пьяного Сократа или Силена, но скорей все же на Сократа, потому что разговоры вел даже спяну философские.

— Это ты брось, русский народ — носитель... — начал Шукуров.

Но тут скопления мелких тучек словно сгустилось, легкие погромыхания сменились раскатом грома: через весь зал от двери прогудел голос, перекрывавший все остальные:

— Будьте любезны, прошу извинить меня, но нет ли здесь сотрудников журнала, а среди них не найду ли я Илью Васильевича Тимашева? — построение фразы было вычурно-анекдотическим, но громовый голос гудел вполне серьезно.

Они невольно обернулись. У двери, около первых столов, возникла фигура в висевшем свободно пиджаке, широких брюках, росту такого, что самый высокий из них был фигуре до плеча, голова у вошедшего была крупная, с залысинами: больше всего незнакомец напоминал не то громоздкий, обросший мохом утес, не то огромный дуб, передвигающийся на корнях и шевелящий руками и пальцами словно ветвями.

\* \* \*

— Это я, — ответил Тимашев, отчетливо вдруг понимая, что надвинулось на него нечто, чего он боялся, предчувствовал, но не



верил, что может случиться, потому что в обычной жизни такого не бывает, или бывает, но не с ним, не с ним. Он ощутил тяжесть и слабость в икрах ног, предвестие ужаса. Только откуда этот пришелец? Кто он? Нет, точнее — по поводу кого? С кем что стряслось? С Элкой? С Антоном?.. Или с Линой? Как еще увеличатся его грехи?

Человек подошел к их столу, отодвигая случайно попадавших ему на пути посетителей, как стулья. Пораженные его габаритами собутельники застыли на минуту. Тот вздохнул шумно:

— Каюрский, Николай Георгиевич, — и лапу протянул медвежьей.

— А, — сказал Илья, и у него отлегло от сердца. — Я о вас от Розы Моисеевны слышал и, по-моему, от Владлена.

— Точно, — улыбнулся Каюрский. — Профессор философии Иркутского университета, — пояснил он свой статус.

Ведрин, мимоходом сунув ему руку, но не обратив внимания на него, снова заговорил:

— Вот меня интересует: вы все, мудаки, сейчас со своим славнофильством помешались на идее Бога и бессмертной души. Ладно. Хорошо. Допустим, я принимаю эту версию, что душа бессмертная. Но где же она находится после физической смерти? Ладно, не возражай, Шукуров, я знаю, ты скажешь о беспредельности Вселенной и тому подобной мутоте. Пусть. Но вот другое: я понимаю, когда Платон говорит о том, что душа бессмертна и вселяется в определенное тело, а после смерти этого тела — в другое, отсюда, кстати, его идея знания, как припоминания. Но вот с христианством мне непонятно, как можно множить бессмертные души? Как так получается, что в результате физического акта зачатия возникает бессмертная душа? А ведь она возникает, потому что ею наделен каждый человек. Она не приходит извне, как у Платона, хотя она принципиально нечто иное, чем плоть, чем половой акт. Парадокс? Противоречие? Как в результате такого грубого, животного акта возникает некая иная, принципиально иная субстанция? Об этом небось, ваш журнал не решится напечатать? Потому что вы засранцы. А это-то и есть подлинная п р о б л е м а : и для богословов, и для атеистов. А? Или напечатаете?

— Ни за что! — хохотнул Шукуров.

— То-то! А еще хотите, чтоб у нас была наука. Ладно.

— Ты что-то путаешь, Михаил Петрович, — развеселился Саша. — Это кто хочет, чтоб у нас была наука? Уж не Вадимов ли?

Между тем массивный пришелец, кончив пожимать руки, сказал, обращаясь сразу ко всем, сметая другие голоса:

— Мне приятно и полезно познакомиться с вами со всеми, хотя я еще не готов быть рыцарем пера.

— Да и мы не готовы, — уставил на него пьяный и уже вполне бессмысленный взгляд Гомогрей.

— Эй, Илья! — крикнул Шукуров, хлопая его по плечу. — К тебе гость пришел, а ты ему не нальешь. Да вы присаживайтесь сюда. Мы подвинемся. Надеюсь, вы не побрезгуете выпить немного коньяка с людьми сомнительного образа жизни и труда?.. Вам полный?..

— Можно полный, — прогудел Каюрский, усаживаясь верхом на стул между Тимашевым и Шукуровым. — Бывшему моряку это все равно, что слону дробинка, — он принял из рук Шукурова полный стакан, отставил, очевидно, что для эстетики, мизинец и вылил в себя стакан целиком. Вернул посудину Шукурову, а всем вдруг стало ясно, что пришелец такой большой, что к нему надо обращаться уважительно, как к старшему, в пьяном угаре вспыхнуло детское: самый большой и сильный — всегда вождь.

Пошатываясь, добрел до него Боб Лундин, припал к его спине:

Стоит средь хижины моей  
Чудовищный скелет.  
Я говорил ему: «Не пей!»  
Он не послушал, нет,

ласково напевал он. А потом сказал:

— Это преступно, что Илья скрывал от нас такого могучего человека!

— К сожалению, — громоздкий пришелец развернулся лицом к Илье, — мы с Ильей Васильевичем знакомы только заочно, да и прибыл я с печальным известием: скончалась Роза Моисеевна.

«Вот оно, это не что», — подумал Илья и почувствовал облегчение. Пусть это жестоко, признался он сам себе, но все равно, слава Богу, что не с Антоном, не с Элкой, не с Линой...

— Действительно, печально, — сказал Илья. — Когда похоронны? Я, очевидно, должен быть на кладбище. Впрочем. Владлен мне скажет подробнее. Ему уже сообщили? Когда он прилетает? — тараторил Илья, надеясь избежать сегодняшнего визита в дом, где была Лина, не хотел он ее видеть, но не объяснять же

это незнакомцу. — Вы на похороны тоже придете? Роза Моисеевна вас называла «твердокаменный марксист»...

— А что, разве есть еще такие ископаемые, которые во все это всерьез верят? — выкрикнул развязно Ханыркин, желая обидеть.

Каюрский мрачно посмотрел на Анемпадиста, но ничего не ответил ни ему, ни Илье о Владлене, затем понизив голос почти до едва слышного шепота, вдруг сообщил:

— Ленина Карловна вам никак не могла дозвониться. Она хотела, чтоб вы приехали туда. Она ведь совсем одна. Петя до сих пор в школе и ничего не знает. А нужна мужская помощь, просто поддержка. Она все пыталась вам дозвониться, но неудачно, — повторил он.

— Разве? — тоже шепотом, отвернувшись от приятелей, иронически спросил Ильяс. — Мне кажется, она весьма удачно дозвонилась до моей жены. И все передала, что сумела. Простите, вы многого не знаете, вы человек со стороны, но, раз уж вы попали в эту историю, передайте ей, что я ее не хочу больше видеть. А хочу я выпить. Вы будете? Налейте, кто-нибудь. У кого канистра?

— «Изабеллу» или водку? — поинтересовался Шукуров. — Коньяк, увы, кончился. Мы приносим извинение нашему гостю, но что делать!

Каюрский сунул руку в боковой карман пиджака и достал четвертной, прогудев:

— Вы тоже меня извините, я здесь как бы незванный гость... Я бы и сам сходил, но не знаю, куда. Если надо, могу больше. У нас в Иркутске на водку талоны, а коньяк пока свободно.

Привыкшая к поборам редакция возликовала.

— Как раз на три бутылки коньяка. Я схожу, — сказал Шукуров.

Он подхватил свой портфель и, кренясь то на один бок, то на другой, хотя и удерживаясь на ногах, вышел.

Тем временем Ханыркин сцепился с Вёдриным.

— Я не антисемит, — брызгал он слюной, — но есть логика. Вначале они нам это все устроили, а теперь уезжают.

— Ладно. Успокойся, да, — отмахивался Вёдрин. — Почему они?

— А потому. Анекдот даже такой есть. В восемнадцатом году посылает Господь на Землю, в Россию, пророка Луку — посмотреть, что тут у нас делается. Через три дня получает от него телеграмму: «Сижу в Чека. Пророк Лука». Ну, Господь тогда пророка Илью посылает, не Тимашева, разумеется. И опять те-

леграмма: «Сижу и я. Пророк Илья». Тогда Господь расстроился, но думает: «Надо кого-нибудь из евреев послать». И посылает Моисея. Что ж, через три дня приходит от Моисея телеграмма: «Жив-здоров. Нарком Петров».

— Ты от злости совсем ум потерял, — через стол крикнул Саша. — По-твоему, Илья с Лукой русские, что ли?!

— Ты сам пойми, сука, что это народное мнение! Евреи революцию совершили, а теперь бегут. Ан нет, пусть здесь сидят и жрут ту кашу, что сварили! Тебе этого твой папочка, небось не объяснил, вы не кашу, вы разносолы лопаете!

Что сказал бы Саша, не известно, но во весь свой утесистый рост поднялся вдруг Каюрский, забыв о Тимашеве, и, вздернув за подбородок голову Ханыркина, перегнулся к нему и выдохнул ему в лицо:

— Ты! Мразь! Черносотенец! Да за такие слова партийный билет мало на стол положить!

Илья не успел поразиться пафосу и искренности, столь не свойственным их иронической среде, а Каюрский продолжал:

— Я уже и повыше говорил: вам второй раз марксизм в подполье загнать не удастся! Я за марксизм кровь проливал, я его выстрадал! В нем моя жизнь, а мне уже пятьдесят семь! Моего деда Колчак расстрелял! Отец, весь изрубленный, уцелел, выжил, чтоб в тридцатом году от ран умереть старых! Теперь, я знаю, разговорчики ходят, что Колчак интеллигент был, университет в Иркутске открыл, а у меня другая правда — жизнью и кровью моих деда и отца доказанная! Если вы не за марксизм, то за что?.. Как-кие-то вы тут мелкие. Одно слово — западники, москвичи! Забыли азы, что все кругом пронизано борьбой классов, классов, а не национальностей! — это уже был пафос трибуна, и все примолкли. — Конечно, Россия — страна Водолея, а в следующем веке начинается эпоха Водолея. И от нас пойдет новая цивилизация, бесклассовая. Но путь к ней лежал и по прежнему лежит через борьбу классов. Я знаю, что через классовое пробивается общечеловеческое, но опять же — общечеловеческое, а не национальное! Ведь и вы, в сущности, человек класса! Чего вы хотите? Я вам скажу: возврата к буржуазной или мелкобуржуазной системе. Ха! Новоявленный Сисмонди — вот вы кто!

— Откуда он такой? — удивился Вёдрин, пытаясь взглянуть в лицо Каюрского.

— Он — «товарищ» или «гражданин», — съязвил побледневший Ханыркин. — Марат. Робеспьер. Дзержинский.

— Я-то из Сибири. Мы, сибиряки, вот кто революцию спасли. Наши корни в декабризм уходят. У нас в Иркутске и Волконский, и Трубецкой жили. Могу названия улиц вам перечислить: Карла Маркса, Польских повстанцев, Фурье, Степана Разина, Волконского, Свердлова, Желябова, Дзержинского, Литвинова, Марата, да, да, Марата! Мы этим духом дышим. Потому мы и в Отечественную Москву и Россию отстояли. Вы столицу чуть не сдали, а сибирские дивизии пришли и повернули, погнали фашистов. А вы всего боитесь. Вы даже термина «гражданственность» пугаетесь... А почему? Ведь он сводится всего лишь к смелой защите интересов прогрессивного класса. К смелой!.. и — прогрессивного!.. А вы — за регресс! У нас в Сибири антисемитизма никогда не было! Это вы нашего Распутина всяким гадостям научили. Не случайно сказано, что эпоха Водолея начнется из Сибири, потом перейдет в европейскую Россию. Потому что мы, сибиряки, — интернационалисты! Сколько у нас кровей и народов — масса: гольды, алеуты, тувинцы, эвенки, буряты, тунгусы, якуты, чукчи, тофалары, нанайцы, коряки... Ваш знаменитый московский Корякин — наверняка из них...

— Да вы прямо крестоносец какой-то, — сказал Шукуров, уже минуты две как вернувшийся и слушавший молча проповедь Каюрского.

— Одержимый, — поспешно отступал струсивший Ханыркин. — Кого это сюда Тимашев притащил? Впрочем, рыбак рыбака... Если меня завтра заберут, то я знаю, кто виной!..

— Да кому ты нужен! — взревел Каюрский. — Меня, меня скорей посадят, чем тебя! Я лекции читаю, так моих студентов уже таскали, по восемь часов допрашивали, но я сам пришел туда и сказал, что я за марксизм, за подлинный марксизм жизни не пожалею, по колено в своей крови стоять буду. И меня с места не сдвинешь! Не то, что вас!.. Много вы знаете, а того понять не можете, что именно жаль, что прошли времена крестоносцев. Чтобы выступили в защиту не креста, конечно, а наших марксистских идей. Вы, москвичи, идеологи, журналисты, должны это делать, а вы именно хихикаете, а не делаете. В кустах отсиживаетесь! Я напишу, и теперь я понимаю, что того, что я напишу, никто не напишет! Вы сами себе примелькались, не даете

себе труда разобраться в нашей идеологии, в том, как ее извратили, и в ее сущностном гуманистическом пафосе. Небось, думаете, — лапой своей указал он на Ханыркина, — что там, у них, за океаном, лучше. Хуже! Я докажу, что хуже. Там лже-свобода и лже-гуманизм. Свобода набивать свой карман, и гуманизм — грабить ближнего! У вас именно все понятия сместились! Даже у вас! — кивнул он Вёдрину, которого, очевидно, выделил из прочих. Взял за руку Тимашева и легко поднял его: — Пойдемте отсюда, Илья Васильевич, мне еще кое-что надо вам сообщить!..

Илья стоял растерянно, а Паладин сказал:

— Между тем это именно насилие, а отнюдь не гуманизм. Быть может, наш друг еще не хочет уходить?..

— Именно! — заорал молчаливый и, казалось, спавший Гомогрей. — Именно! Мы никого не боимся! Это к нам даже милиция боится подходить. Меня на прошлой неделе задержали. Не помню, что я им буровил, как мент вдруг: «Да вы пьяны». А я ему: «Кто пьян? Я? Да это вы пьяны!» Тимашёв у нас историк! пусть запишет в свою историю, что милиция боится хватать Гомогрея! Эй. Шукуров! Ты что принес? Я с Тимашёвым пойду. Мне только домой еще бутылку портвейна надо. Нельзя к жене без бутылки. Не поймет.

— Да брось. Потом вместе пойдем. Нам все равно по пути, — прижал его к стулу Шукуров.

А Тимашев тем временем был влеком Каюрским к выходу. Наконец, растерянность его прошла, и перед дверью он уперся:

— Однако, довольно странно вы себя ведете.

Каюрский загудел, нависнув над ним, прямо в ухо:

— Илья Васильевич, сообщение мое конфиденциальное, при всех я не мог. Вы все же должны туда явиться. Я за Петей еду в школу, снять его с последних уроков. Но мне завтра, возможно, придется идти в Цека, а при похоронных делах должен быть мужчина.

— Я думаю, не сегодня, так завтра Владлен прилетит.

Завтра и я приду, чтоб его поддержать.

— Нет, вы сегодня должны. Хотя бы потому, что Владлен Исакович не прилетит. Я сразу, на публике, не сказал, мало ли кто как к нему относится, но сегодня, утром еще пришла от него телеграмма. Может, вы слышали, что у него были неприятности, выговор с занесением. В результате — обширный инфаркт, больница, постельный режим. Так что надо идти.

— Нет уж. Пускай Лина сама колотится. А на похороны я, разумеется, приду и деньгами помогу. У меня сегодня другие дела, — упрямо и тупо говорил Илья. — Не знаю, что рассказала вам Лина о наших отношениях...

— Я не знаю ваших отношений. Но вы должны там быть! Дело в том, что Ленина Карловна повесилась.

.....

Илья никогда не думал, что ему может быть так плохо. Слово жизнь вся, разом, вышла из него. «Вот она, расплата.»

— Эй, сибиряк, ты что там с нашим другом делаешь?! Он весь посерел, — крикнул наблюдавший за ними Саша.

Илья испугался ненужного и страшного вмешательства и слабо махнул рукой, что все в порядке, а Каюрскому сказал:

— Что же вы молчали так долго?

— В спор влез, не удержался. Я по характеру проповедник, крестоносец, как меня ваш друг назвал. Хотел мозги им вправить. Для Ленины Карловны я все, что мог, уже сделал. Теперь вы там нужны. Надеюсь на ваше благородство.

— Надо же в милицию позвонить, — заторможенно пробормотал Илья. — Или милиция уже там? Я... Наверно, я виноват во всем.

— Ни милиции, ни психиатрической перевозки! Плохо вы о сибиряках думаете!

— Не понял.

— Да я успел. Грохот в ее комнате услышал, вбежал, она висит, так я крюк сорвал и этими руками веревку разорвал и из петли ее вынул. Я уже предчувствовал, что что-нибудь именно будет. Мы еще только телеграмму от Владлена Исааковича получили про инфаркт и думали, говорить ли про это Розе Моисеевне. Она все не вставала. Ленина Карловна пошла к ней, тут же прибегает, я сразу по ее лицу понял, что плохо дело, что умерла Роза Моисеевна. А у нас в Сибири говорят, что несчастья, как собачья стая: не одно, а именно все вместе. Им, как собакам, непременно надо именно вместе там быть, где что-то случилось.

Говорил он добродушно и уверенно, но до Ильи его слова доходили расплывчато, как сквозь туман. Они сели за освободившийся столик у самого выхода и беседовали.

— Но ведь нужно врача. Чтобы посмотрел. Взял под наблюдение. Лекарства прописал. Вдруг она снова... — бормотал Илья.

— Если позвать врача, то он бы ее тут же в сумасшедший дом отправил. Так у них положено. Суицид ведь. Я зна-аю, — протяжно гудел Каюрский, успокаивающе положив свою огромную лапу на руку Тимашева. — А с ней уже ничего не будет. Поверьте. У нас в Сибири болота есть, мшавая, по-нашему. Я их хорошо знаю. Родственниками моими охотники были, именно егеря, да и я в малолетстве охотился. Так вот на болоте страшнее всего охотиться, гиблые места. Но — своеобразно красивы. В солнечный день горят переливами красок, «окна» в них, как черные зеркала, светятся, а в сумраке их не видать. Идешь, мох под тобой колышется, целые пласты мха, их стараешься перебежками миновать, до твердой кочки, и знаешь — где-то рядом «окно». А его не видишь, только чувствуешь. Но на кочке не настоишься, надо идти. Главное, в это «окно» не попасть, без помощи другого из него не выбраться. Так и в жизни каждого человека бывают такие болотные «окна». Провалится — и все! А если вытащить его вовремя оттуда, то уж больше никогда туда не попадет, осторожен будет. Так вот, я полдела уже сделал, вытащил ее, теперь вы должны закрепить.

— Конечно, я поеду, — сказал Илья. — Только жене позволю, — почему-то добавил он, хотя зачем ему вдруг понадобилось звонить Элке, он и сам не знал: разве что автоматически, по привычке во всем отчитываться, пусть и подвирая, или того хуже — с мазохистским наслаждением почувствовать, как болит терзаемая часть души.

Он встал и шагнул угловато, левым плечом вперед, как всегда ходил, когда не следил за собой, к двери.

— Ты куда это от нас бежишь? — крикнул ему весело Шукуров. Саша молча вопросительно смотрел на Илью, и Илья догадался, что это он обратил внимание Шукурова на его уход.

— Сейчас приду, — как можно более спокойным голосом ответил он. — Не обижайте гостя.

— Такого замечательного гостя, — воскликнул Шукуров, — мы ни за что не обидим! Пусть только поближе сядет.

Илья вышел. На улице по-прежнему бушевал ветер. Нагнув голову, мой герой завернул за угол и как раз неподалеку от «Кулинарии», в Чистом переулке, рядом с открытым окном кафешной кухни, из которого доносились тошнотворные запахи, увидел телефон-автомат. Войдя в будку, Илья набрал номер, быстро, не давая себе времени задуматься, зачем он звонит что



скажет! А! скажет, что Роза Моисеевна умерла, тем самым как бы задним числом оправдывая свои прошлые визиты в тот дом, ведь смерть — это не шутка, не баловство, и скажет, что едет туда помогать. Зачем он это скажет? Оставить тонкий мостик к примирению, раз он сегодня не придет, униженно виноватиться, просить пощады? Наверно, так. Тут он понял, что уже несколько минут слушает короткие гудки, поглощенный дурацкими своими соображениями. Было занято. Значит, либо Элка, либо Антон дома... Хорошо бы Антон, подумал виноватый муж и отец Илья Тимашев. Тогда он ограничится простой информацией, но изложит ее в должном свете, Антон передаст ее Элке... И это было бы проще, без новых обидных и жестких слов. Хотя Антон относится к нему столь же недоверчиво и отчужденно.

Илья снова набрал номер. После первого же гудка трубку сняла Элка. Значит, это она говорила по телефону. Голос ее на удивление был веселым, совсем не такой, какой ожидал услышать Илья. Да и она, видимо, ожидала не его услышать, а кого-то из подружек. Илье стало обидно, что она не переживает, как он, поэтому сказал сухо:

— Я хочу сообщить тебе, что скончалась Роза Моисеевна и я должен поехать туда. Поэтому не еду домой.

— Да поезжай куда хочешь! — голос ее стал спокойным и холодным. — Ты что, не понял разве, что между нами все кончено. Особенно, если уж ты там стал самым близким родственником и без тебя некому похоронами заняться.

— Элка, будь справедлива. Владлен лежит в Праге с обширным инфарктом, а эта женщина, Лина, совсем одна. А она несчастная и сумасшедшая. Она сегодня пыталась покончить с собой.

— Но удивительным образом осталась жива и тут же поспешила запрячь тебя в помощь ей, сообщив, конечно, о своей попытке. Ах, Илья, Илья! Ты знаешь, на конкурсе дураков ты бы занял второе место, такой ты дурак.

— Почему второе?

— Потому что ты дурак. И мне тебя жалко.

— А, анекдот вспомнила...

— Слава Богу, догадался! Ты и вправду стал туповат как-то буквально в один день. Это твоя Лина на тебя так действует?

— Не ожидал опять анекдот услышать.

— Разве ты не был всегда любителем анекдотов? Замечаю какую-то перемену в составе твоей крови. Знаешь что! Ехал бы ты к своей Лине! Тем более, что она такая несчастная!..

И Элка бросила трубку. Илья молча постоял перед аппаратом, но еще раз звонить не стал. В кафе он возвращался подавленный. Перед входом остановился, вздохнул глубоко, но чуть не задохнулся от ветра, наполнившего ему легкие, и вскочил в прихожую. Выходило, что едет он все же к Лине. Дома живы-здоровы и без него даже веселы, а тут смерть... Уж если посторонний Каюрский такое участие принимает, то ему не поехать — стать подлецом. Станный человек этот Каюрский. По всему судя — носитель сверхценной идеи. Какой только?..

В кафе между тем все продолжалось тем же порядком или, точнее, беспорядком. Официантки «не возникали» и не препятствовали, получив от скинувшейся компании — к тому же постоянных посетителей — не только пустую посуду, но и не меньше червонца. И компания себя чувствовала вполне свободно. Со стороны это было заметно. Уже набравшийся Боб кемарил, по обыкновению уткнувшись в тарелку с закуской. Временами, правда, поднимал голову и пытался безуспешно промычать что-то про «конфетки-бараночки». Гомогрей дико и пьяно поводил очами, стараясь понять, о чем разговор, но все время терял нить и тогда кричал:

— Эй! вы сюда что, разговаривать пришли?! — и тут же устало замолкал, понунив голову.

Паладин при каждом выкрике бил его кулаком в плечо, чтоб не мешал разговору. А Шукуров тут же принимался их мирить. Ханыркин сидел, нахохлившись, потому что задирать Каюрского не решался. Каюрский же, громоздясь над столом, говорил, обращаясь к Вёдрину:

— Я считаю, что спасение человечества заключено прежде всего в марксизме! Только подлинном! Без вранья! Но вы говорили что-то об Альдебаране, я так понимаю, что вы именно летающие блюдца имели в виду. Я тоже об этом думал. И эту альтернативу не исключаю, в том числе думаю, что и в астрологии есть здравые моменты. Их надо только правильно препарировать в марксистском духе.

Вёдрин на каждое его слово отрицательно мотал головой.

— Ну да, вы уже говорили, — гудел Каюрский, — что я вас неправильно понял, что вы рассуждали о метафизических имен-

но проблемах, о душе, так сказать, взыскующей высокого, а я, де, все свожу к примитивным именно социальным проблемам. Пусть. Но я в наших подходах не вижу разницы. Тогда скажите, зачем эти блюдца к нам прилетают? И не просто прилетают, а следят за нами? Почему их обнаруживают в местах скопления военной техники?.. А что если внеземной разум, говорящий с нами через своих посланцев, по вашим же словам, я уверен, что и через Маркса тоже, о том, как нам гуманно устроить нашу жизнь, продолжает следить за нами, ибо ему жалко, если с таким трудом возникающая во Вселенной новая разумная раса погубит себя и свою планету. Но пока не вмешивается, потому что всемирная катастрофа только еще маячит, а ее-то они и хотят предотвратить... Что если их основная задача — не допустить человечество к гибели, уловить тот самый решающий момент, который нужно пресечь. Если не марксизм, то, может, эти спасут?..

Увидев Илью, прервался, взглянул вопросительно.

— Я готов, — тихо сказал Илья.

— Жаль, не доспорили, — пробасил Каюрский, распрямляясь во всю свою величину. — Но нам надо идти. Приезжайте к нам в Сибирь, приглашаю, там именно доспорим.

Боб оторвал голову от тарелки и, ласково улыбаясь, пропел:

Не спеши, когда глаза в глаза,  
Не спеши, когда спешить нельзя...

И тут же снова уронил голову в тарелку.

— Н-нет, т-так вы не уйдете — открыл пьяные глаза Гомо-грей. — Н-над п-принять на ход ноги. А т-то не дойдете.

Злобное что-то пробурчал Ханыркин.

— Вы куда? — спросил Саша.

— По делам, — уклончиво ответил Илья, отстраняя его отныне от своей жизни.

Саша пожал плечами, ничего не сказал.

Илья двинулся к выходу. Каюрский шел сзади, загрозявая его от взглядов и реплик своим могучим телом.

## Глава XXI

# Школа

Им не страшен закон...

Овидий. Скорбные элегии.  
Кн. V. Элегия 7.

**З**а углом дома ветер был ощутимее, не очень сильный, но достаточный, чтобы Петя пожалел, что не надел плаща. Продолжая идти к трамвайной остановке, Петя на ходу поднял воротник кителя, что, как он полагал, придавало ему мужественный вид, существенный для внешней безопасности: шпана помельче не привяжется к *человеку сурового облика* — с поднятым воротником. Хорошо бы вернуться и сказать, что плохо себя почувствовал. Но жутковато ему снова стало, что с бабушкой. Слишком тихо было в ее комнате. Диван, правда, скрипнул, но бывают же произвольные скрипы и шевеления без человека. Дурное предчувствие томило. Уж пусть без него там...

Это удача, что у них с Линой ничего не получилось. Но само воспоминание, какое-то телесное воспоминание голого женского тела, прильнувшего к его голому телу, не покидало его. Может, надо было, чтобы все не так кончилось?.. А как?.. Сердце заколотилось. Лучше «Грозу» вспоминать, о ней писать сейчас, Катерину.. Лина тоже несчастна и безумна, вроде Катерины. Что значат ее слова: «Я искуплю»? Понятно, что она собирается искупать. Но каким способом? Уедет? Она ведь не раз говорила, что бабушка ее жизнь заедает. Как Кабаниха?.. А кто тогда Дикой? Кто Кулигин? Нет, все же литературные аналогии, вообще, область литературы — самая случайная, неточная, никакой строгий, математической закономерности нельзя вывести...

Интересно, догадывается ли кто-нибудь, что он этой ночью лежал голый в постели с голой женщиной?.. Почему он с Линой решил на такое, а не с Лизой?.. Ведь Лиза *хотела* того же, что и Лина. Женщины *этого* тоже хотят. Удивительно! А Лиза

*созрела* уже, проскочило в голове вдруг паскудное словечко не из его лексикона. У нее взрослые друзья и подружки. Танька родила от Гиппо, а другие и вовсе богема, там, наверно, это запросто. Он вспомнил подружку художника Федора. А Лиза его, его, Петю, полюбила, он же ведет себя как мальчишка, как маленький трусливый мальчишка. Она позволяет себя целовать и гладить — везде, а он домой почему-то бежит. Но и она, хоть и хочет, но не умеет. Что тут, однако, уметь надо?..

Он затряс головой и посмотрел, не идет ли трамвай. Трамвая было не видно и не слышно. И снова Петя вернулся к сладко-тревожным размышлениям. Лиза... Значит, она тоже сама хочет лечь и... Что дальше? Раздвинуть ноги?.. Боже, как это?! Вот лежит женщина и раздвигает ноги, чтобы посторонний человек воткнул в нее свое *нечто*. Это же что-то вроде самопожертвования. В памяти внезапно возникла, как фотография в проявителе, сценка. У школьного окна в коридоре стояли Кольчатый и Юрка Желватов. Желватов рассказывал о своих летних деревенских впечатлениях, он к родне ездил: «Если девка не хочет сама, ничего не сделаешь. Ляжки сожмет — и не засунешь. Тут силой ничего не выйдет, когда вы вдвоем и ты ее не бьешь и не угрожаешь. А приятно, когда она сама ноги раздвинет». Петя тогда случайно оказался рядом и слышал весь разговор. Трудно ему было тогда поверить, что существуют на свете девушки, которые добровольно могут на это согласиться.

Вдруг кто-то, походя, ткнул его кулаком в бок. Петя вздрогнул и обернулся. Около него приостановился их сосед — из подъезда Бориса Кузьмина — Алешка Всесвятский. Было ему уже далеко за тридцать, он давно переехал, но изредка появлялся в их доме. Невысокого роста, стройный, с гибкой фигурой, тонкой костью и большими бледно-голубыми глазами он выглядел еще юношей. Мама как-то рассказывала, что в свое время Алешка «гулял» и «котовал» больше всех во дворе: вечно в его подъезде пьяные парни и девки, из окна крик магнитофона, а во дворе грохот мотоцикла. Одет он был в джемпер, болоньевую куртку, серые вельветовые брюки и адидасовские кроссовки. От него пахло водкой.

— Здорово! Какой большой уже! — воскликнул он, протягивая Пете руку. Похоже, Алешка был расположен поговорить. — Как дела? Еще в школе учишься? А с женщинами как? Живешь уже? Главное, не жалеть их. Они все шкуры. Я в твоём возрас-

те девок харил — будь здоров. С Кешкой Горбуновым на пару бардачили. Он, правда, здесь теперь тоже не живет, — он хихикнул. — Как-то мы с Кешкой двух девок закадрили и ко мне пошли. А там ребята притащились еще. Ну, выпили, сильно накирялись. Кешка со своей в комнату — и заперся. А я свою отхарил, в смысле трахнул, она пьяная лежит, и говорю: «Сейчас приду». Она ничего не понимает. Бормочет только: «Ладно». А я на кухню ушел, где остальные гужевались, и посылаю к ней мужиков по очереди. Они ее харят, в смысле дерут, а она, шкура, уже ничего вроде не понимает. Только хнычет тихонько: «Алеша, хватит. Алеша, не надо больше. Я не могу, Алеша». А те ее все харят. Всех через себя пропустила. Стала оклемываться, а тут уж я рядом лежу. И еще раз ее. Она так с подозрением на меня посмотрела, но ничего не сказала. Думаю, догадалась, поняла. Потому и «Алешей» всех звала. Но ей ведь тоже любопытно было. А могла коллективку пришить. Так что давай! Вы наша смена.

Он хлопнул Петю по плечу и, будто все сказал, что имел сообщить, двинулся дальше, через трамвайную линию, к шоссе, там ходил автобус. Сюда Алешка ездил и жил по нескольку дней, чтобы не потерять право на прописку. Тетка его хотела выселить. Тетка Алешкина была странная, с чудовищными пигментными пятнами на руках и на лице, младшая из трех профессорских дочек, оставшаяся незамужней и бездетной. После смерти отца, Алешкиного деда, она ушла с работы и устроилась уборщицей в их доме, чтобы не бросать без присмотра больную старую мать, то есть, по Петиним понятиям, жертвовала собою. Чем-то ее судьба походила на судьбу Лины, казалось Пете. А когда мать умерла, Алешкина тетка так уборщицей и осталась, мыла лестницы во всех трех подъездах, подметала двор. Как такое могло произойти, чтобы дочь профессора, ученого, заканчивала свое земное бытие обыкновенной услугой?.. И безо всяких войн и революций!.. Впрочем, Алешка, как Петя знал, тоже высшего образования не получил и работал наладчиком ксерокопировальных машин. Правда, одевался всегда элегантно.

Трамвай все не шел, и народу на остановке скучилось уже много. Парни и девицы в школьных формах из соседних домов, чьи лица давно примелькались Пете в утренних поездках в школу, но все равно знаком он с ними не был. Провинциального вида студенты: в Институте имени Мичурина учились в основном сельские и иногородние, да дети преподавателей. Несколько profes-

соров и преподавателей, живших в «профессорских» домах. Они здоровались с Петей и прогуливались, ожидая трамвая, важные, солидные, деловые. У Пети было ощущение, что они в своих темных костюмах так и живут все время, как во второй коже. Даже вечерами, по аллейке, они гуляли в костюмах. О бабушке они не спрашивали: это было другое поколение, рвущееся к своему куску теплого пирога, не желавшее знать старую гвардию.

Чтобы отвлечься, перебить мысли, он повернулся лицом к трамвайному павильону, внутри которого прятались люди от ветра. На фронтоне павильона, между прибитыми к деревянной стенке ложными деревянными полуколоннами, лепились разнообразные бумажки, напечатанные и написанные от руки: с предложениями об обмене жилплощади, продаже детских колясок, стиральных машин, столов и прочего. Петя подумал, что почему-то именно на остановках клеют объявления, будто других мест нет. Но сейчас же сообразил, что все правильно, здесь народу больше. Отвлекаясь такими простенькими рассуждениями, Петя принялся читать бумажки. Читая, вспомнил, что и вчера вечером так же, от нечего делать, на автобусной остановке прочитал записку Саши Барсиковой. Невольно начал искать глазами среди многочисленных, налетающих одно на другое сообщений, диковато-откровенные призывы соседской девочки. И точно! Вот они!

*«Кто хочет познакомиться с 15-летней девушкой? Хорошо бы, чтоб парень был от 16 до 28 лет. У меня есть машина, магнитофон, два велосипеда, энциклопедии (все), много книг, золото и драгоценности (в комоде)».*

Вторая, нижняя часть записки с телефоном и адресом была оторвана. Кто оборвал? Ему стало совсем зябко от ветра и быстро, большого воображения, мигом нарисовавшего ему возможные ужасы. Из-за поворота выскользнул трамвай, и Петя постарался поскорее забраться в его толкотню и переполненность: там казалось теплее и безопаснее. Да и одиночество в толпе было острее, изолированность от других более полная, только не обращать внимания на давку.

«Чего я переживаю? — думал он. — Она там свою бабуку, небось обманула и трахается с нашедшим ее по записке. Прав Алешка: все девки шкуры, надо только уметь ставить их на ме-

сто, брать свое и потом плевать. Не жалеть их. Вот Желватов никогда никого не жалел, советовал, если девки сопротивляются, бить их. И ведь никто на него никогда не жаловался». Вдруг отчетливо встал перед ним его вчерашний полудремотный сон о насилии Желватова над Лизой, он снова пережил свое бессилие и испуг, и то патологически-бесстыдное объятие, которым Лиза одарила в его сне Желватова. Неужели и Лиза такая же? неужели она в самом деле могла бы так?..

Хорошо этим солидным мужчинам! Они рассуждали, — прислушался Петя, — о *преподавательских часах*, о *нагрузках*, о *семинарах*, о *заседаниях кафедры*, — какие-то спокойные занудные слова, ограждающие от всяких напастей! Когда еще Петя сможет стать столь же защищенным, как они?! Им не придется сегодня выступать и что-то говорить о Желватове, а потом ждать, что его дружки отплатят. Внезапно он вспомнил, как жались и прятались один за другого ребята из пионерлагеря, когда надо было обсуждать и осуждать Валерку, прибившего гирькой женщину. А ведь Петя еще ко всему прочему и *свидетель намерения*. Свидетелем быть хуже всего, опаснее. Может, Желватов позабыл или даже не обратил внимания, что Петя слышал о его брошенных в воздух грозящих словах. И зачем только он Лизе сказал об угрозах Желватова! Наверняка она проболтается Герцу, а тот рад будет Петю в свою историю запутать и как-нибудь гадко выставить. Душа его съежилась от возникшего дискомфорта, он корил себя, что распустил язык с Лизой, а ни с кем нельзя ничем делиться, все надо держать внутри.

На остановке, где должны были сойти представители «профессорско-преподавательского состава», отталкивая их, навстречу им, повалила компания девиц в зеленых спортивных костюмах и светло-синих велосипедных перчатках. Солидные мужчины с трудом сквозь этот поток пробились к выходу. Девыцы были стройные, ладные, только вот волосы у них были взбиты наподобие куриного гребня, тоже отливавшего зеленью. Несмотря на стройность, были они вульгарные и несимпатичные.

«С головами зелеными Джамбли живут, — вспомнил он строчку из детского стишка и сказал себе: «Вот эти вот девки без сомненья ноги запросто *раздвигают*... Какая-то в них жестокость чувствуется. И сила переступить через другого, если им захочется. Как у Желватова... Он ведь тоже спортсмен...»



— И-и, милай, — говорила рядом с ним голосом странницы Феклуши бабка, повязанная платочком, — нынче девки-то хуже мужиков будут. Нечистый по Москве, по большому-то городу ходит и плевелы в народ кидает, а бабы на эти плевелы больше всех податливы. Суеются, бегают, в суете жизнь проводят, без спокойствия, все соревнуются... Тела и того нагулять не могут: тощие, мосластые, на голове хвосты чертовы...

К кому бабка обращалась, Петя не видел, стиснутый людскими телами, не в состоянии повернуться. Прижав портфель к ручке сидения, Петя расстегнул его, вытащил школьное, тоненькое издание пьесы «Гроза» А.Н. Островского, принялся эту книжечку листать. Ну и темка! Человеческое достоинство в «темном царстве»! Надо *спорить* с Герцем, тогда он не посмеет к нему придраться, чтобы не показалось кому, что он ругает за самостоятельность, к которой призывает. Но и в самом деле, какое достоинство может быть в «темном царстве»?.. Петя прикинул, как бы он чувствовал себя в те времена, в том обществе... А его знакомые? Где нынче все эти хваленые героические «русские женщины» прошлого века? Сам он не испытывал бы там, в «темном царстве», этого чувства человеческого достоинства, и сегодня-то трудно его испытать. Даже еще страшнее стало. Над изобретателем Кулигиным только смеются, но не обижают. А здесь?! Просто *уцелеть бы здесь* — и то хорошо! Да и у героев пьесы никакого человеческого достоинства и в помине нет...

С п о р и т ь с Герцем он решил еще вчера, на уроке литературы, но с уважением к его идее «сопротивления среде»: это и был его замысел, пробудивший в нем вдохновение. Уж теперь-то Герц не посмеет за спор с ним двойку поставить. Все поймут, что мстит. Зажатый в толпе, он обдумывал конспект сочинения, листая книжку в поисках цитат. Один раз поставил, второй раз не посмеет, наивно думал подросток. Вчера ведь Лиза с Линой ему помешали. Всегда легче на душе, когда есть кого виноватить. Но чужой виной себе не поможешь, надо сосредоточиться, напрячь мозг. Он сочинял тезисы:

«Возможно ли человеческое достоинство в *темном царстве*? Я бы сказал, что человек, обладающий чувством собственного достоинства, вряд ли даже выживет в этом царстве. Потому что самодурство, рабство и насилие пронизывают каждую минуту жизни русского общества тех лет. Человек должен не понимать,

не чувствовать себя. Только тогда он может там существовать. Изобретатель-самоучка Кулигин говорит: «У всех давно ворота, сударь, заперты и собаки спущены. Вы думаете, они дело делают либо Богу молятся? Нет, сударь! И не от воров они запираются, а чтоб люди не видели, как они своих домашних едят поедом да семью тиранят». Где же от этого бытового произвола, бытового, то есть проникшего в самую сердцевину общества, можно найти защиту? Что ему противопоставить?»

Мысленно он продолжал писать будущий текст:

«Островский рассматривает три типа сопротивляющихся людей. Первый — это Кудряш, вроде бы даже напоминающий удалого разбойничьего атамана, Стеньку Разина, Ермака. Но Кудряш, хоть и грозит «проучить» Дикого («Мало у нас парней-то на мою статью, а то бы мы его озорничать-то отучили»), лих только «на девок». У Кудряша нет даже мысли о человеческом достоинстве, эта проблема ни его, ни Варвару, его любовницу, не волнует, им лишь бы все шито-крыто. Их путь — это бегство из общества (в конце пьесы мы узнаем, что они убежали), а не противостояние ему. Второй тип — это изобретатель Кулигин, цитирующий Державина, человек талантливый, но в царстве дикости его талант принимает искаженные формы от недостатка образованности: он изобретает вечный двигатель, перпетуум-мобиле, а слово это правильно и выговорить не в состоянии: «Только б мне, сударь, перпету-мобиль найти!». То есть преследует заведомо недостижимую цель. И, разумеется, его наука не ограждает его от издевательств Дикого («как и меня от издевательств Герца и Желватова», — промелькнула у него параллельная мысль), а только усиливает их. Его человеческое достоинство поругано и унижено, защитить себя он не может. И, наконец, третий — это Катерина и Борис, пытающиеся отгородиться от общества, укрыться за стенами любви. Но любовь в «темном царстве», как показывает Островский, — ненадежная крепость, она разрушается, как только общество замечает ее. Само обнаружение любви уже чревато для нее гибелью. Человеческое достоинство любящих поругано, растоптано, унижено. Борис смиряется с этим. А Катерина?.. Быть может, в «темном царстве» *иного способа сопротивления, чем самоубийство, и нет*. Но отстояла ли она таким способом свое достоинство?.. Мне кажется, это компромиссный ответ драматурга, это не решение вопроса. Если, конечно, счи-

тать, что человеческое достоинство, подлинное человеческое достоинство — в противостоянии окружающему миру».

Трамвай добрался до Петинной остановки. Он ссыпался со ступенек вагона вместе с остальными, тоже идущими в школу, малышами и подростками. По асфальтовой дорожке проложенной между выбоин и рытвин неухоженной земли, отворачиваясь от ветра, Петя шел через двор девятиэтажного блочного дома, по привычке срезая угол на пути к школе, но обходя стороной внутренний дворик с пристройкой, в которой жили учителя — математичка Валентина Александровна Акулова и учитель русского языка и литературы Герц Ушерович Когрин, каждый в своей комнатке. Вот уже и огороженная проволочной сеткой баскетбольная площадка перед школой, мимо нее прямо к подъезду. Перед дверьми стояли два здоровых прыщавых девятиклассника, проверяли у входящих «наличие мешка со сменной обувью». Петя припомнил, как года два или три назад он воспользовался этой тупой жестокостью школьных правил, чтобы прогулять контрольную, к которой был не очень готов, а получить четверку, тем более тройку не хотел. Он тогда придумал *ход*.

Была тоже осень, но мокрая, дождливая, полно глубоких луж с жидкой грязью по краям. *Забыв* дома мешок с тапками, Петя по дороге к трамваю осторожно и аккуратно обмакнул по очереди ботинки в этот грязевой раствор. К тому моменту, как он доехал до школы, грязь засохла и стала отчетливо видна на его башмаках. У дверей стояла завуч Пшикалка, потребовавшая, чтобы он предъявил сменную обувь. Таковой не оказалось. Тогда она велела ему ехать домой за мешком со сменной обувью. Немного рискуя, Петя все же сказал, что у него первым уроком контрольная по алгебре. Пшикалка заколебалась, но Петя, переступив с ноги на ногу, тут же добавил, что ему хотелось бы писать контрольную, а грязь с башмаков он постарается обтряхнуть. Завуч еще раз глянула на его ботинки, вспомнила, что он отличник, решила, видно, что ничего страшного не случится, если он пропустит контрольную, но, напротив, воспитательный эффект будет, ежели она отправит Петю домой за тапками. Что она и сделала. И Пете тогда показалось, что он открыл механику воздействия на казенное сознание: надо делать так, чтобы законы тебе служили, для этого не идти против них, а их использовать. Только никого в свои замыслы не посвящать. Но это, когда жизнь по законам, по правилам.

И совершенно непонятно, что делать, когда наваливается иррациональное, непредсказуемое. Только прятаться. Ничего другого.

Первая, с кем он столкнулся в вестибюле рядом с раздевалкой, мотающая своими куцыми косичками, вихляющая своим гибким телом, жеманная, явно высматривавшая его оказалась Зойка Туманова. Петя вздрогнул, потому что не хотел с ней общаться, но она уже приблизилась к нему, взяла за рукав и, заглядывая ему в глаза и поводя, как ей казалось, кокетливо плечами, зашептала горячо:

— Петя, ты знаешь, какой ужас сделал Юра Желватов? Я его очень осуждаю за этот недостойный поступок. Я уверена, что ты тоже. Я всю ночь не спала и поняла, что должна тебе кое-что сказать и показать, чтобы ты понял. Я знаю, что Юра тебе про меня говорил нехорошие вещи. А у меня совсем чистые чувства. Я об этом написала. Ты сейчас же прочти и мне отдай, — она протянула ему двойной тетрадный листок.

— А ты откуда знаешь, что он сделал? — спросил Петя, беря листок и думая, что он никогда не сумеет ей объяснить, решимости не хватит, что она для него *чужая*, независимо от того, что говорил Желватов, что весь ее стиль мысли, жизни, облик — из *другого* мира, с которым Петя боялся соприкоснуться.

— Мне Юра сам позвонил, — объяснила Зоя, потихоньку ведя Петю за колонну: скрыться от посторонних взглядов, — он так испугался... Я его утешала, что, может, все обойдется. А сама все время о тебе думала. Ты прочти, я это давно писала, и вчера тоже.

— Звонок скоро, — попытался вырваться Петя.

— Еще десять минут, — удержала его Зоя.

И он торопливо и пугливо заскользил глазами по строчкам:

Я раньше думала, Петя, что любовь — ерунда.  
Вздыхать, страдать — не моя стихия.  
И даже решила, что не полюблю никогда,  
Как часто любят у нас, другие,  
Но однажды, по-настоящему полюбив,  
Я была обманута человеком любимым.  
И начала я, про любовь забыв,  
Смеяться над обманутыми другими.  
Но, кажется, дальше не пойдет так,  
И, кажется, меня любовь задела.  
Без любви и я жить не могу никак...

Стихотворение здесь обрывалось, и Петя с облегчением решил, что это все, мучительно не зная, что и по поводу этих строк сказать, хотя, по счастью, это не было прямым объяснением в любви.

— Честно говоря, так себе стих, — сказал он, усиленно делая вид, что от него ждут только оценки поэтических качеств, что он приглашен в качестве эксперта.

— Ты отлистни дальше, — замирающе-томным, спотыкающимся шепотом пробормотала Зойка, — главное — дальше.

Петя, проглотив слюну, перелистнул и снова стал читать:

Я раньше, Петя, любви безответной не знала.  
Глядела на любовь очень наивно.  
Об искренней, чистой любви я мечтала  
И очень хотела полюбить взаимно.  
Но в жизни бывает наоборот:  
Полюбишь искренне, всей душою,  
И любовь эта день ото дня растет,  
Становится вскоре настоящей, большою.  
Но так происходит у одной меня,  
У того, которого я люблю, напротив.  
Как ни пытаюсь, ни стараюсь я,  
Он всегда и во всем против.  
Да, в любви большая неудачница я,  
И не судьба, видно, чтобы меня любили.  
Все заняты очень, других любя,  
А обо мне, как видно, совсем забыли.

И опять Петя попытался сделать вид, что не к нему эти строчки относятся, что вроде она по-дружески с ним своими переживаниями делится. И произнес:

— Ну, не расстраивайся. Все еще образуется. Может, тот, кого ты любишь, тоже полюбит тебя, — невнятной скороговоркой, отворачивая лицо, лепетал Петя.

— А ты хочешь знать, Петя, кто *он*? — нежно спросила Зойка, решившая-таки прижать Петю. Словно история с Герцем почему-то подействовала на нее возбуждающе, как катализатор.

— Да нет, зачем? Я в чужие тайны не люблю лезть, — быстро отвел Петя и дернулся, чтобы идти. — Пора, сейчас звонок будет.

Он выглянул из-за колонны, его увидел Витя Кольчатый, по прозвищу Змей, и сразу вдруг ринулся к нему.

— Слышал про Желвака? — протянул он руку. — Ночь у Зойки отлеживался. Утром к матери пришел, там его и замели. Его со спины Когрин узнал. Сейчас в ментовке отдыхает, — тут он увидел Зойку. — А-а, вот и она. Ты чего на Вострого пялишься? Во, ненасытная!

— Как тебе не стыдно, Витя! — сказала, отступая, Зойка.

— Па-ду-ма-ешь! Подол тебе, что ль, здесь задрать? Вали отсюда, пока цела.

Вздернув плечами, Зойка медленно пошла к лестнице, обернулась; отделившись от Кольчатого, осмелела:

— Пойдем, Петя, мы с тобой еще не договорили.

Но Петя рад был остаться со Змеем, хотя и жутковато-непонятно было ему, что тот говорит о вчерашней истории, как о всем известном деле. Зойка, у которой отлеживался Желватов, симпатии не вызывала.

— Зачем ты так с ней? — заступился тем не менее робко Петя.

— Она знает, зачем. Пошла прочь! Шалава!

И когда Зойка скрылась в проеме дверей, ведущих на лестницу. Змей пояснил:

— Желвак мне позвонить сумел. Он перед тем делом с ней же ханку жрал. Она же, сука, его дур-ма-ном алко-голь-ным напитала. Зазвала к себе, пузырь поставила и на жизнь жаловалась. Кстати, на тебя да на Когрина. Но Желвак к тебе хорошо относится. Он ей пистон поставил, а потом его с бутылки повело, мне позвонил, добавить хотел, да я на тренировку бежал, он к дворовым своим корешам, там, еще жажнул. Вот кирпичом и пулънул. Пьян был. Головешка-то не работала. И опять к Зойке, она же всегда дать готова.

Петя стоял растерянный недоумевая этим подробностям и тому, что Змей их ему, Пете, вываливает. Обычно с Кольчатым они и тремя словами могли за неделю не обменяться. Но тут же все выяснилось.

— Мелким хулиганством сочтут, — шипел Кольчатый ему на ухо, — он же без намерения. Если б он кому об этом заранее говорил, было бы с намерением, это уже другая статья, сильно тяжелая. А так — пустяки! Ты понял, Вострый?.. Не подведи друга.

Этого он и боялся. Ничего не забыл Желватов! Только бы Лиза никому не сказала, что он ей сообщил о словах Желватова.

— А как я могу подвести?

— Да ты поду-умай! Держи при себе, что знаешь. И путем. Не будешь же ты своего русского из-за еврея губить.

— Какого еврея? — побледнел, испугавшись, Петя.

— Из-за Когрина. Он же жид, иными словами, еврей.

— Не может быть. Я не знал, — пробормотал, чувствуя, что слова из него от трусости выскакивают постыдные, оледеневший Петя.

— А ты думал, что Герц сраный Ушеревич — это русский? Мы, русские ребята, должны помогать друг другу. Чтобы русско-го человека еврей с потрохами не сжевал. Сечешь?

— Ага, — автоматически согласился застывший от страха разоблачения юный полукровка, но сквозь морок страха испытываемая облегчение, радость и даже признательность Кольчатому, что тот считает его представителем господствующей нации.

— Эй, — крикнул, пробегая мимо, Кстин, — вы чего тут?.. Акула уже поплыла, — румяный, вечно улыбающийся, будто ничего не происходит и ничего не может быть страшного в жизни, он нырнул в дверной проем и быстро побежал по лестнице вверх.

— Кстин! — догонял его злой, гибкий, упруго-спортивный Змей. — А Когрин пришел? Не видал?

— Пока нет, — радостно отвечал тот пролетом выше, — думаю, что не будет, змей ты мой, никакого сочинения. Не до нас ему.

Петя поспешил следом за ними, но отставая, конечно, от спортсменов. Почти у самых дверей своего класса он увидел Лизу. Похоже, она ждала его. Змей и Кстин скрылись за дверью, а она пошла ему навстречу, наперерез. Петя остановился. Ведь у нее тоже уже урок должен начаться. Она была бледна, под глазами синяки, веснушки, еле заметные обычно, теперь отчетливо выступили на переносице. Но под коричневым школьным платьем отчасти опытный с прошедшей ночи Петя увидел красивое *женское тело*. И со странным чувством самодовольного понимания ощутил, что она влечет его. Он сделал шаг к ней, сказать ей, чтоб она не обижалась за его вчерашний ранний побег от нее. И еще одно: узнать, говорила ли она кому, что он свидетель желватовской угрозы. Ведь пустым сотрясанием воздуха показались ему вчера слова Желватова, да и Лиза ему сама так говорила.

— Как дела у Герца? — поспешно спросил он.

Лиза была нахмурена и сурова. Она стояла около стенда, на котором были всевозможные иллюстрации, изображающие при-

езд Ленина в революционный Петроград семнадцатого года. Прямо над ее головой виднелась красного цвета открытка с броневиком и вождем, вытянувшим страстно вверх руку. От картинок на стенде на лицо Лизы падал багровый отсвет. В наступившей учебной тишине слышно было, как за окном бушевал ветер. Губы Лизы были плотно сжаты, вид решительный. Прямо комсомольская богиня. Она вдруг бросила сухо:

— Не уверена, что ты интересуешься судьбой Александра Рувимыча Когрина в самом деле. Но если хочешь знать, я вчера еще, ночью, звонила герцевой Наташе («пока я с Линой...» — промелькнуло у Пети в голове), а она сегодня мне еще до школы звонила. Там лучше, он будет жить, врачи говорят. Наташа — молодец, настоящая верная жена. Герца поддерживает замечательно! Такой жена и должна быть. Впрочем, тебе это не интересно и не нужно.

— Почему это? — растерялся Петя.

— Мальчик, ты не собираешься в класс? — выглянула криворотая Акула, математичка.

— Ой, извините, Валентина Александровна, мы сейчас с Петей по поводу комсомольского собрания договоримся, — ласковой лисой улыбнулась Лиза. Петя так бы не сумел перестроиться в момент.

— Тогда поскорее. Мы сложный материал сегодня повторяем, — дверь снова закрылась.

— Почему? — переспросила Лиза. — А потому, что тебе никто, кроме тебя самого, не интересен и не нужен. Ты сам в себе засел и боишься оттуда выглянуть. Вот ты, например, помнишь Федора, художника, у которого мы были? Завтра уезжает, получил визу. Сегодня проводы, звал всех и тебя, кстати, в том числе.

Будь Петя поопытнее, он бы понял, что ради последних слов все предыдущее говорилось. Но он насупился и замолчал.

— Так ты пойдешь? — прервала Лиза Петино молчание. — Человек все же с родиной прощается.

— Не знаю, — неопределенно ответил Петя, не умеющий быть решительным. — Я хотел позаниматься. Да ведь и тебе билеты по математике готовить.

— Опять дела! — воскликнула Лиза и вчерашним вечерним жестом прижала руку к горлу, словно задыхалась. — Петька, ну жели ты не чувствуешь, что я видеть тебя хочу?! И вовсе не в этих



стенах!.. На, прочти, — она сунула ему в руку листок бумаги, повернулась и пошла прочь от его класса.

Петя развернул листок. Это было письмо, не стихи.

*«Петенька! Прости за все мои насмешки. Можно тебя спросить? Почему ты стал со мной чужой? Меня мало гладили, а ты много. Я сначала обожглась, а теперь кожа слезла. Ты покраснел? Я тоже. Я, наверно, не очень умная.*

*Это все во-первых. А во-вторых, я вчера совсем забыла тебе сказать, что четыре дня назад я отвечала бином, и В. А. меня похвалила. «Чувствуется, что ты стала серьезно работать», — криво улыбаясь. В-третьих, у меня всю ночь очень болела голова, но я все равно учила химию. Петенька! Я тебя очень прошу, пойдём сегодня куда-нибудь, к Федору или куда хочешь. И еще. Если не сможешь или не захочешь, то последнее. Я сейчас много решаю разных задач. А уж эту реши ты. Ты сам остыл или я тебя охладила? На этом все. Твоя?.. Лиза».*

Опять заныло сердце, опять ему стало страшно, что она его так любит. А когда любишь, надо действовать, а в нашем обществе скрываться, отсиживаться надо за оградой. Спрятав записку в боковой карман форменного школьного кителя, Петя вошел в класс.

— Ну что, наговорился, мальчик? — спросила математичка. — Иди тогда к доске и доказывай теорему Виста.

\* \* \*

Первые три урока по классу шло смутное перешептывание, ждали четвертого — литературы. Учителя, кроме математички Акулы, спрашивали вяло. На переменах — разговоры и предположения шли в полный голос. Ходили из кабинета в кабинет, решали задачи, прогоняли прошлогодние билеты, делали опыты, но как-то отрешенно, отстраненно. Да и учителя были встревожены, часто выходили из классов, не дожидаясь звонка, бежали в учительскую, куда таскались подслушивать и Змей, и рыжий Сашка, и будущий золотой медалист Вася Утятников. Для репутации школы это было чудовищное ЧП. Но ясно стало одно, что учителя сами еще ничего не знают и живут слухами, потому что Герца пока в школе нет.

Девочки вели свои пересуды в классе. Ребята толпились в коридоре около подоконника: и Змей, и Кстин и долговязый Юрка Мишин, и Вася Утятников, и рыжий Сашка, и Костя Телков, и Петя, разумеется.

— Кубышка (прозвище директриссы) не захочет дело поднимать!

— Точно. Замять попросят.

— Попросят! Потребуют, милый ты мой.

— А что Пшикалка?

— Когрин с ней в приятелях. Она, если что, и в роно пойдет.

— Не пойдет. Ты что — честь школы!..

— А если помрет?..

— Х-хе, навряд. Желвак пьяный был, слабенький.

— А я Подоляку: знаешь, у онанистов на ладонях волосы растут.

— Ну?

— А он сразу себе в ладонь устави́лся.

— Баловник ты, Змей!

— Вот тебе и «Гроза»!

— Ты бы, Змей, поведал, что к чему..

— Потише ори. Пока гром не грянул.

— Судить буду?..

— И будет его судить судья несправедный. Махнут Персицкий али Махнут Турецкий...

— Змей, кончай свои поливы!

— Точняк. Что они ему там нарисуют затруднительно простому человеческому уму понимать.

— Когрин уж сочинит. Юдише копф.

— Ему здорово наш Игорь Сергеич врезал, я после тренировки в учительскую заглядывал о соревнованиях договориться и слышал. Он и лепит Когрину: «Простите, забыл ваше настоящее имя-отчество». А тот: «Григорий Александрович!» А Игорь: «Да? Я думал это ваш литературный псевдоним».

— Ну, жеребец дает!

— Пселдоним!

— Пселдо́ним!

— И не разберешь их, спрячутся!

— А от их пахнет, говорят. Вонюче — нос зажмешь!

— Они чеснок едят, вот чесноком и пахнет!

— Я тебя сейчас понюхаю.

— Это я тебя понюхаю!  
— На! Можешь заодно и попку поцеловать.  
— Ладно, парни. Что ему грозит все же?..  
— Так думаю, что геенна огненная!  
— Точно, братец ты мой. Туда всякого звания люди попадают.  
— Интересно, сочинение по «Грозе» будет сегодня?  
— Не умею тебе сказать, братец ты мой. И вообще: не лезь ты ко мне со всяким вздором! Может, я, как Дикой, — и говорить-то с тобой ниже достоинства сочту.

— А правда, что евреи всего мира заодно? И хотят всех русских извести?

— А ты думаешь, Адольф совсем уж дурак был?

— У него Штирлиц главным советчиком находился!

— Кончайте, пацаны, эти шутки!

— А что было-то на самом деле? Змей, не томи!

— Да с Зойкой, шалавой, трахался, потом портвею жажнул.

А та и возьмишь Герца поливать: он ей недавно двойку вкатил да еще и прищучил. А Желвак и без того этот народец недолюбливает. Херово Желватычу придется. Герц, бля, все про справедливость толковал. Как чуяло его сердечко! Теперь Желватычу — колония, как пить дать! Если мелким хулиганством не признают. Или Герц заявление не заберет.

— Свободно, что и заберет!

— Кубышка уговорить сможет.

— А то и Пшикалка.

— Ну нет, ты что!

— Мишин дело говорит! Честь школы, блин, превыше всего!

— Чтой-то у вас, братцы, обличье человеческое истеряно. О пролитой кровушке даже и не подумали.

— На эту кровушку думальщиков и без нас хватит.

— Теперь вот русскую кровушку попьют!

— А правда, что папаня его вечный двигатель мастерил, перпету-мобиль искал?

Такие разговорчики, пересыпанные цитатками и словечками из «Грозы» (умел все же Герц заставить *читать текст!*), велись у подоконника. Все в общем-то знали, что Герц — еврей, но пока ему симпатизировали, он считался за латыша. Теперь же, выступив на защиту кореша, вдруг обнаружили в Герце основной грех, основную вину — еврейство! Этого и боялся Петя, что его

когда-нибудь так обнаружат. Тогда, казалось ему, не будет ему пощады: бить, конечно, не будут, но жизнь отравят. Зря что ли знакомые пацаны Змея на Пушкинской площади день рождения Гитлера праздновали!

Меж тем девицы во главе с хорошисткой Таней Бомкиной подвергли остракизму Зойку Туманову. Та ходила заплаканная, с красной, уродливой физиономией. Таня говорила, что все они должны быть откровенны, правдивы и не бояться осуждать других людей, что сейчас перед ними задача — осудить Зойку, как подругу Желватова. А потом самого Желватова. Надо заклеить его перед классом, прежде, чем брать на поруки и обещать, что он исправится и больше так не будет. Отколовшийся от ребят низенький и плюгавый онанист Сева Подоляк, чувствовавший себя увереннее рядом с комсоргом класса Таней Бомкиной, сказал:

— Считаю, что надо провести комсомольское собрание. Нам следует быть принципиальными и что-то решить.

Длинный Юрка Мишин, засунувшийся в класс, хмыкнул:

— Чего это ты решать собрался, Севочка? Что прикажут, то и решишь. Ты же активист, значит, человек послушный.

Его оборвала Таня Бомкина:

— Ты неправ, Юра. Мы должны устроить собрание. Я тоже так думаю. Может, это глупо, но я так думаю. Только надо непременно посоветоваться с Диной Андреевной, — так звали Кубышку.

— Во-во! — сказал Мишин. — Иди советуйся. Но лучше с Пшикалкой. Она тебе точнее подскажет.

— Не вижу в этом ничего плохого, — отрезала Таня, мотая головой с косичками. — Может, это и глупо, но принципиальный совет старших товарищей нам важнее твоего зубоскальства.

— Да ты не нервничай, не расстраивайся, — успокоил ее долговязый Юрка Мишин. — В милиции и без твоей помощи разберутся.

У окна по-прежнему гаерничали Змей, Кстин, Телков:

— У крепость его! у крепость!.. — вопил раздухарившийся Змей.

— В тюремный замок! — поддерживал один из дружков.

— Расстрелять на куй! За то, что еврея обидел, — гундосил дурковато другой.

— В Израиль его, в дикую страну, пушай нашего Желвака там сионисты сжуют!

— Не моги так человеками разбрасываться! Человек у нас собственность государства. А ты уж, блин, на государственную собственность позарился!..

Сновали учителя, поглядывая на столпившихся у окна с некоторым испугом. Те отвечали ухмылками.

— Как у вас такое могло случиться? — попытался дружески спросить историк, носивший странную кличку «Джага», в честь Радж Капура, видимо. Он улыбался напрочь прокуренными зубами, кривыми, раскрошенными, в коричневых налетах. Историк был трудолюбив, при большой семье, работал еще и учителем труда, потому что не хватало денег, за это над ним трунили. Он хотел дружить с Герцем, который импонировал ему своим хамством, независимостью, вздернутой кверху головой, резкостью суждений, но Герц держал себя с ним высокомерно, принимая его дружбу, но не давая свою. Его слабость жестоко чувствовали ребята, и если резкого Герца побаивались, то добродушного Джагу презрительно игнорировали. К тому же он тоже был евреем. На его вопрос долго не отвечали, разговаривая между собой, пока Юрка Мишин не сжалился:

— Да это не у нас. Это наследие проклятого прошлого сказалось. Вы ж как историк должны это понимать, что советские школьники здесь не при чем, — и к окну отвернулся.

Историк поплелся дальше, а к говорившим подошел физкультурник Игорь Сергеевич, под два метра ростом, даже по школьным коридорам ходивший в синем тренировочном костюме (на занятиях очень любивший щупать девочек — Лиза рассказывала):

— Жаль Желватова. Что ж вы его не уберегли? Кто теперь за школу выступать будет? Что молчишь, Кольчатый?..

— Да я что? — ответил тот. — Да мы его, Игорь Сергеевич, на поруки — хап! Сыграет и опять у крепость!..

— Тебе шуточки! А у меня игра горит. Драть вас некому.

— А нынче не крепостное право, Игорь Сергеевич! Нынче мы государственная собственность, а не помещичья, так что уж драть нас не моги, — повторил свою шутку Мишин.

— Э-эх! — физкультурник зашагал навстречу юной учительнице химии, игриво на нее поглядывая.

— Ишь, жеребец! Посакал, — зареготал Кстин.

Но тут пронеслось, все разговоры прерывая:

— Герц пришел. Говорят, Герца видели.  
— Точно?  
— Позырим.  
— А сочинение?..  
— Будет. Гроза будет, вот что!  
— А ты не бзди! Держись один за одного!  
— Обчиной, братцы мои, обчиной!  
— Может, пронесет?  
— Не, вон какие тучи собираются, — длинный Мишин издали увидел решительно шагавшую к ним Пшикалку.

Она носила коричневые платья до щиколоток, черный галстук на шее, короткую комсомольскую стрижку, была худа, «как шепка», метила на место Кубышки, а потому была в оппозиции директрисе. И все понимали, что если и будет разбирательство Желватова, то только по ее настоянию. Хотя честь школы и для нее была святыней.

— Попрош-шу пройти в кабинет литературы. Шейчаш придет Григорий Александрович, надо, чтобы вы сидели по мештам.

Расселись по местам. Петя рядом с тихим Костей Васильевым. Но ручек и тетрадей не доставали, словно ждали чего-то. В кабинете было как всегда сумрачно: масса огромных горшков с какими-то ползучими и вьющимися цветами стояли по подоконникам, а также стенды вдоль окон — с датами жизни великих писателей и иллюстрациями советских художников к их произведениям: к «Мертвым душам», «Войне и миру», «Матери»... В левом углу, за учительским столом, обретался на высокой тумбочке телевизор, по которому иногда смотрели они литературные передачи, когда их вели прогрессивные критики — Лакшин или Турков. Герц был поклонник «старого «Нового мира»» и хранил верность его почвенным устоям.

Пшикалка принялась говорить об их долге — всем, как один, выступить и осудить хулиганский поступок товарища с тем, чтобы добиться его исправления, а потом, взяв на поруки, совместными усилиями перевоспитывать, чтобы честь школы никогда больше не была замарана. Змей и Телков понимающе и довольно переглянулись.

В это время дверь резко открылась, в класс вошел Герц. Был он прям, мрачен, глаза запали, превратились в щелки. Но в остальном все такой же: комиссар двадцатых годов — волосы

завивались, как мелкая проволока, голова вздернута кверху, резкий, еще более худощавый, чем всегда, хлопчатобумажные штаны, дешевая куртка, углы длинного рта опущены книзу.

— Здравствуйте, Григорий Александрович — вскочила ему навстречу комсорг Бомкина, а следом весь класс, как положено, поднялся, приветствуя учителя вставанием. — Мы бы сейчас по этому поводу хотели бы комсомольское собрание провести.

— Это я с ними пообшудала вчерашнее, — пояснила Пшикалка.

Герц еще больше помрачнел:

— Это лишнее, Анна Васильевна. Я уже беседовал с директором, с Диной Андреевной, и согласился с ней. Согласие это мне нелегко далось. Но сейчас у нас по расписанию сочинение должно быть, а все остальное, Анна Васильевна — потом.

— Понимаю наши чувства, — прошептала, потупившись, Пшикалка и вышла из класса.

Герц закрыл за ней дверь, повернулся к сидящим, сказал сухо:

— Если вы рассчитываете, что после вчерашнего не будет сочинения, вы жестоко ошибаетесь.

— Григорий Алексаныч! А как вчера бы-ыло? Нам бы подробности! — вылез, юродствуя, рыжий Сашка.

— Думаю, ты знаешь, потому не отвечаю, — стараясь, чтоб голос его звучал твердо, произнес Герц. — А после сочинения последний урок у вас снимается, но вы все задержитесь. Тогда и поговорим, — и он вдруг неприязненно посмотрел на Петю. Похоже, что он искал врага и почему-то видел его — в Пете.

Во всяком случае так тот почувствовал. «Лиза проговорила, что я знал... — холод побежал по Петинной спине, — что я слышал слова Желватова». Как теперь быть? Как выбираться из чудовищной ловушки, в которую попал? Встать на собрании и признаться, что слышал, но не понял? А Кольчатый и другие?.. Надо было дома оставаться не ходить никуда. Страх терзал его душу.

— И после уроков подробности? — не унимался рыжий шут.

— Ладно, рыжий, заткнись, — оборвал его Мишин.

Герц тяжелым взглядом посадил на место балаболку, но не отвел, затем снова глянул на Петю и сказал:

— Переходим к сочинению. Надеюсь, непереваренных чужих мыслей не будет, это прежде всего к Вострикову относится, он

у нас толстые книжки читает вместо того, чтобы своей головой думать. Да еще и будущий физик! Ему, наверно, кажется, что все в мире относительно — и добро, и зло...

«Мстит», — подумал Петя, опуская голову, а остальные, недоуменно глянув на него и на Герца, быстро доставали ручки и тетради, щелкая и шурша портфелями и сумками.

— Но не пишите, — продолжал Герц оторвавши, наконец, свой взгляд от Петиной физиономии, — как в десятом «Б», — он достал блокнот и зачитал: — «Характер, родившийся у Катерины в детстве, сделал свое дело. Она утопилась». Вот так писать не надо, хотя о детстве героини, когда она была близка народу и природе, надо вспомнить. Это очень важно, потому что в народе не может быть зла, он учит человека только хорошему. Помните, что времени у вас немного, но я полагаю, что вы дома хоть чуть-чуть думали, по театрам не ходили, с кирпичом под окнами не стояли. Текстом пьесы пользоваться разрешаю. Начинайте.

Послышался чей-то одинокий кашель, затем скрип перьев. Петя тоже достал ручку и, преодолевая тошноту от навалившейся на него тяжести Герцевых нападков, попытался сосредоточиться. Вспомнить то, что он придумал в трамвае. Хорошо, что хватило у него собранности, несмотря на потерянный вечер и дикую ночь, хоть мысленно, но составить конспект сочинения. Уже не до пятерки ему было, не схватить бы снова двойку. Написал он быстрее всех. Однако сдавать не понес, сидел, тщательно проверяя, нет ли ошибок. Думал, что, быть может, если бы бабушка и дед остались в Аргентине, он бы тоже там жил и его бы миновали все сегодняшние обиды, страхи и напасти. После того, как Сева Подоляк и Таня Бомкина сдали свои тетради, пошел и он положить свою тетрадку Герцу на стол.

— Быстро ты справился, — ошерился тот, — еще вчера писал, наверно, откуда-нибудь.

Петя ничего не ответил, пошел и сел на свое место. Ноги у него почему-то дрожали. Прозвенел звонок. Торопливо сдавались последние сочинения.

Собрав тетрадки в стопку, Герц взял их, поднялся и сказал:

— Я бы попросил всех не расходиться. Я сейчас вернусь.

Минуты через три он вернулся, но не один. Следом, в сопровождении пожилого, квадратного, с толстыми плечами и толстой грудью милиционера в перетянутой ремнями форме, поя-



вился Юрка Желватов. Шел он твердым пружинистым шагом, опустив голову, набычившись, напряженно озираясь, окидывая класс быстрыми взглядами. Петя ожидал увидеть его испуганным, но не тут-то было: разве что слегка подавлен своим положением. Как животное, которое попало в капкан, но пока не рвется, присматривается. Желватов при этом хотел выглядеть виноватым, но не умел. Он упирал глаза в пол, но наглость, нераскаянность так и перли из каждого его жеста. Еще он старался не уронить себя перед приятелями, поэтому, когда милиционер усадил его за парту и сам с трудом втискивался рядом, он ухитрился улыбнуться Змею, Кстину, всем, кому попалась его улыбка, даже Пете. «Как Пугачев Гриневу», — почему-то вспомнил Петя. Точно так же, подумал он вдруг, улыбался и Валерка из пионерлагеря, проломивший голову деревенской учительнице. В животе у Пети стало пусто, заныло.

Герц оглядел класс:

— Я просил никого из учителей не присутствовать на этом собрании, потому что хотел поговорить с вами, как с людьми...

— А раньше мы были для него нелюди, — шепнул сзади Змей.

Открылась дверь, вошла Лиза:

— Григорий Александрович!

Он с тревогой вопросительно посмотрел на нее. Она покачала головой, мол, все в порядке, не тревожьтесь.

— Можно я посижу?

— Садись, — буркнул Герц.

Лиза села за парту позади Пети. «Теперь о желватовских словах мне не промолчать», — с испугом решил Петя.

Герц засунул большие пальцы рук за брючный ремень, качнулся с пятки на носок и обратно и заговорил:

— Я предполагаю, что все вы, во всяком случае, большинство, знаете, что вчера произошло. Но все же я вынужден вкратце рассказать, чтоб вам было понятней, о чем я дальше буду говорить, — он вздохнул, потер лоб рукой, словно пытался найти формулировки поточнее. — Вчера ученик вашего класса Юрий Желватов, подойдя к окну моей комнаты, находящейся на первом этаже школьной пристройки, бросил в окно кирпич. Разбив окно, кирпич попал в голову моему отцу, в тот момент склонившемуся над коляской, где лежал мой годовалый сын. Кирпич нанес тяжелую травму черепа моему отцу, а если бы попал в ребен-

ка, мог бы убить насмерть. Если бы было известно, что Желватов бросал кирпич с заранее обдуманном намерением, этот поступок можно было бы назвать *покушением на убийство*.

— Товарищ правильно квалифицирует, — пыхтя, подал голос толстый милиционер.

Но Герц не стал продолжать о намерениях, заговорил вообще:

— Я привык называть вещи своими именами, даже если это кому-то и не понравится. Могу сказать о себе словами поэта Павла Когана: «Я с детства не любил овал. Я с детства угол рисовал». Такое уж у меня воспитание на идеях русской литературы. Я, извините, реалист. Вы относитесь к литературе как в учебному предмету, материалу для нудного заучивания, а ведь это — *школа жизни*. Вы думаете, ваша жизнь впереди, что она еще наступит, а пока вы к жизни только готовитесь, учитесь. Это ошибка. Вы уже живете. И в вашей школьной жизни уже есть все проблемы взрослого мира. Более того, в школе, несмотря на регламентацию, вы свободнее можете осуществлять себя, вас не давит жизненная необходимость, как она уже давит ваших родителей и учителей. К сожалению, вы поймете это много позже. Только когда дети сами становятся папами и мамами, они понимают, как хорошо им было в детстве, и начинают сознавать, что для них делали их родители. Но так устроено в природе, что родители больше любят своих детей, чем дети родителей. Нелюбовь к учителю — это, в сущности, нелюбовь к отцу, ибо каждый отец должен быть учителем своих детей...

Все сидели с сумрачным, тупым выражением на лицах, не понимая, куда Герц клонит и почему он так далеко ушел от конкретного дела, от того, что будет с Желватовым. Это затягивание казалось преднамеренной жестокостью по отношению к нему, теперь уже выглядевшему затравленным, бросавшему из-за массивной спины толстого милиционера блудливые взгляды на одноклассников в поисках поддержки. И кто-то избегал его ищущего взгляда, а кто-то и ободряюще улыбался в ответ, — мол, держись.

—... Меня удивляет бессмысленность поступка. Я понимаю, что может быть убийство из ненависти, мести... Я не могу допустить, что Желватов ненавидит меня. Наше общение не столь тесно, чтобы я мог ему как-то навредить, относился я к нему всегда неплохо, не связаны мы с ним никакими запретными делами, чтобы он мечтал избавиться от свидетеля путем убийства...

— Черт нерусский, — снова прошипел сидевший сзади Лизы Змей.

—... Мне понятно, когда убивает грабитель. У него есть цель — деньги. Здесь же, на первый взгляд, никаких мотивов. Так сказать немотивированное преступление.

— Товарищ правильно квалифицирует, — снова подал свой густой голос толстый милиционер.

— Возможно, что и правильно, — согласился Герц. — Но я не к тому веду. А к тому, что у этого вроде бы немотивированного преступления не может не быть причины и реального виновника. Которого по закону не накажешь. И тут я перехожу к самому главному своему рассуждению.

Класс недоуменно переглядывался. Что за главный виновник? Даже Желватов выглядел озадаченным.

— Но начну я немного издали. Я знаю, что родители Юры Желватова переехали в Москву, когда мальчику было всего четыре года. У него отец сельский механизатор, потом инженер. Юра жил и воспитывался в народной, крестьянской среде. А я верю в народ, в детей из народа. И считаю, что причиной многих наших бед была интеллигенция, особенно нынешняя, превратившаяся, по словам очень большого современного русского писателя, когда-нибудь вы его прочтете, в образованщину. То есть потерявшая веру в народные идеалы, умственно развратившаяся и думающая только о своем преуспевании, не замечающая уже грани между добром и злом, ибо все для нее в нашем мире относительно. Она не видит ничего дурного в самом плохом поступке...

«Это он про меня», — с замиранием сердца вдруг понял Петя, мигом вспомнив все своё скверное: желание преуспеть, трусость, постыдные сексуальные порывы, особенно этой ночью с Линой.

—... Потому что книжные мальчики легко могут себя убедить в благотворности, не говоря уже о позволительности, самого гадкого деяния, они уверены в своей безнаказанности, потому что умеют делать плохое чужими руками, да и надеются на семейные связи, на своих дедушек и бабушек. Русская литература всегда ненавидела книжников и фарисеев, много о себе мнящих, и этим она мне близка. Это книжники своим извращенным сознанием подготавливают почву для дурных поступков других людей. Образно говоря, вкладывают им в руку камень. Есть такой роман — «Братья Карамазовы». Великого русского писателя

Достоевского. Там книжный мальчик Иван Карамазов на убийство своего собственного отца подтолкнул человека из народа — Павла Смердякова, растлив ему ум разговорами, а потом указав и цель преступления. Человек из народа у нас есть, он сидит рядом с милиционером. Остается найти подстрекателя, нашего Ивана Карамазова, которому тем легче было спровоцировать другого, что речь не о его отце шла.

Петя растерянно оглянулся на Лизу, но она, видно, ждала Петиного поворота головы, потому что, тревожно зыркнув на него, не обиделся ли Петя на утренний разговор, шепнула о Герце:

— Он обалдел.

И тут же вскочила:

— Вы не понимаете, что говорите, Григорий Алексанч, — она позволяла себе многое на правах почти приятельницы. — Разве кто Желватова насильно портвейном поил, камень ему в руку вкладывал? Антисемитизму учил? Вы посмотрите на него, он вполне сформировавшийся подонок и сам за себя отвечает.

— Сядь. Лиза, я тебе отвечу. В тебе *чувства говорят*, конечно, но говорят зря, — ироническим тоном сказал Герц. — Ведь я пока никого конкретно не обвинял. При чем здесь антисемитизм? Я исхожу из логики. Я Желватова никогда не обижал и не мог обижать, потому что русская литература всегда любила народ. А я ее адепт.

— В таком случае я не люблю мой народ! — выкрикнула Лиза.

— Ты еще от Родины откажись! — вякнул вдруг зло молчальник Телков.

— Для некоторых такого понятия, Костя, не существует, — вдруг прорезалась спортсменка и двоечница Тося Маркова, всегда раньше лебезившая перед Лизой.

— Ты бы помолчала, Лизок, — подал голос и Кольчатый. — Для здоровья полезней.

— Не буду! Вы, Григорий Александрович, говорите невесть что, а Желватов с дружками уже ликуют.

Петя все еще боялся, что Лиза расскажет в запале о слышанных им угрозах Желватова в адрес Герца, не очень еще догадываясь, хотя и чувствуя смутно, что удар ему будет нанесен иначе.

— Ну хорошо, я тогда скажу напрямую — озлился Герц. — Вчера после уроков я видел, как Востриков с Желватовым стояли под моим окном, беседовали и на окно посматривали. А ве-

чером уж только Желватов явился! Востриков в театр собирался, куда и поехал, а науськанный им Желватов с камнем под окно. Еще Достоевский писал, виноват на самом деле тот, кто идею подал. Убил Смердяков, но убийца-то Иван Карамазов!

Да, этот удар был посильнее того, которого так опасался, так трусил Петя. Речь шла не о том уже, что он замешан, потому что не сказал вовремя о словах, к которым всерьез не отнесся, а о том, что он-то и есть главный и единственный преступник. Беспомощно и потерянно он поглядел на свой класс.

— Тогда Вострикова судить нужно! — крикнула Таня Бомкина.

— Устроить ему очную ставку с Желватовым, — предложил Подоляк.

— Пусть Желватов расскажет, — добавил Вася Утятников.

Желватовские дружки молчали, и только на выкрик Лизы, которая не могла видеть такое страдальческое выражение на Петином лице:

— Это надо доказать! Существует же презумпция невиновности! — они отреагировали:

— Слова-то какие ино-сран-ные. Пусть, действительно, Юра сам расскажет, как дело было, — елейным голосом сказал Телков.

Но Желватов был поумнее приятелей.

— Да я не помню точно, — заныл он, отпираясь, но не говоря, как дело было. — Я не знал, что так нельзя. Я больше не буду, Григорий Алексаныч — и неожиданно для всех добавил со слезой в голосе. — Мне еще восемнадцать нет.

— Боишься колонии? — переключился на него Герц. — И за поступок свой отвечать боишься? А ведь отвечать надо.

— Это правильная классификация, — туповато подтвердил милиционер, ничего не понявший в развернувшейся склоке. — По закону, если товарищ не заберет заявление, вашему однокласснику грозит колония для несовершеннолетних преступников. После суда.

— Простите, Григорий Алексаныч, — выл Желватов. — Я исправлюсь.

— Правда, не надо ему мстить, — сказала Тося Маркова.

— Он же ненарочно, — добавил Кольчатый.

— Григорий Алексаныч, мы на собрании можем осудить Желватова и взять его на поруки, как вы скажете, — выступила флюгерная Бомкина.

Все с сочувствием смотрели на Желватова, с неприязнью на Петю, а о Зойке которую все утро третировали, вовсе забыли.

— Что ж, заявление я заберу, — помолчав, произнес Герц, — чтобы не подводить школу и потому также, что не считаю Желватова в данном случае виноватым. Русская литература учит прощать. Юре не за что было на меня обижаться. А вот Вострикову я за прошлое сочинение по «Капитанской дочке» поставил двойку, потому что он тему не сумел раскрыть. Для него, желающего быть отличником и рвущегося в престижный вуз, это катастрофа, повод для мести. Тем более, что на носу новое сочинение, которого он боялся. Он мог надеяться, что у другого преподавателя он получит пятерку, как и раньше ему ставили, чтобы не портить пятерочный дневник. Вот какая тут, Лиза, причина.

— Это неправда, — Лиза даже из-за парты выскочила. — Мне Петя рассказывал, что ему Желватов говорил! Что ему хочется кирпичом вашу мишпуху разнести, чтоб вы залетали, — он примерно этими словами выразился.

— Так-так-так, — густым басом сказал милиционер. — Значит, получается, было предварительное намерение.

Желватов сидел наконец-то испуганный. У Пети пухла голова. И обвинений Герца он боялся, но не меньше страшил Желватов и его компания. В подтверждение своих фобий он услышал шип Змея:

— Ох, Лизок, дождешься-допрыгаешься. Мы с тебя шкурку с живой сдерем.

А Лиза перла на рожон:

— Как же вам не стыдно! Вы прощаете убийцу, а на невинного напраслину возводите! Вы что хотите сказать, что Петя мог желать вашей смерти?! Что за дикая чушь! А я верю тому, что он мне рассказывал, вовсе не думая о сегодняшнем судилище.

— Позволю с тобой не согласиться, — Лизе Герц всегда отвечал вежливо, пусть и иронически. — Я думаю, что интеллигентское сознание много тоньше и рефлексивнее, чем у нормально-го человека. А Востриков же у нас потомственный интеллигент. Уж на ход-то вперед он мог просчитать! Предположить, что его беседа с Желватовым раскроется и, забегаая вперед, дать ей свою интерпретацию, чтобы у него был свидетель защиты. Желватову такое бы и в голову не пришло. А, кстати, почему ты раньше не сказала?..

— Не знаю. Петю не хотела подставлять.

— Подо что подставлять? Тут что-то не то, Лиза.

А Петя аж замер от ее чуткости и заботливости, с которой до сих пор, как ему казалось, никто к нему не относился.

— Я думала, — нашлась Лиза, — вернее, мне и в голову не приходило, что этот разговор может быть кому-то важен, когда преступник абсолютно ясен. Да и о причине можно догадываться: антисемитизм, пьяный кураж, помноженные на российское «просто так»!

— А ты полагаешь, что половина еврейской крови у Вострикова — гарантия от преступных намерений?

— Ча-во? — изумленно спросил на весь класс Кольчатый. — Вострый, ты у нас яврей, значит? Сто лет жил — не знал. Вот потеха!

Душа у Пети в груди съежилась до размеров кедрового орешка. Как отныне потечет его жизнь в школе — он и вообразить боялся. А ведь почти целый год еще учиться!..

— Посмей только вякнуть еще! — развернулась к нему Лиза.

— Ой, забоялся! — схватился гаерски за голову Змей, будто прикрываясь от ее удара.

В дверь неожиданно постучали, и опять, как чертик из табакерки, на пороге возник Каюрский, громоздкий, все так же похожий на шкаф. Он склонил голову, чтоб не удариться о притолоку.

— Извините, — прогудел он, входя. — Я вынужден вызвать с вашего собрания Петю Вострикова. У него сегодня утром бабушка скончалась. Ему домой надо.

Петя побледнел и шагнул навстречу спасительному Каюрскому.

— Я позвоню и приду, — сказала ему вдогон Лиза.

## Глава XXII

# Русская рулетка

- Вы счастливы в игре, — сказал я Вуличу!
- В первый раз отроду, — отвечал он само-довольно улыбаясь, — это лучше банка или штосса.
- Зато немножко опаснее.
- А что? вы начали верить предопределе-нию?
- Верю; только не понимаю теперь, отчего мне казалось, будто вы непременно долж-ны нынче умереть...

*М. Ю. Лермонтов.* Герой нашего времени

**У**богая, нищая, грязная Москва... Рокот, шум, лязг и рычание машин, чад и смрад выхлопных газов. Почему-то в детстве, при Сталине, столица казалась Илье величавой и торжественной. А теперь без содрогания и отвращения он не мог ее видеть. Сквозь решетку в асфальте вдруг дохнуло вонью сточных вод. Из кухонного окна деревяшки, рядом с которой на минуту они задержались, доносился устойчивый тошнотворный запах несвежего мяса и подгнивающих овощей. Ветер нес привычные ароматы давно не убиравшейся, прокисшей помойки, швырял в лицо вонючие окурки, мелкую пыль. Его мутило. Хотелось остановиться, уткнуться лбом в холодную стенку каменного дома и мучить себя, проворачивать одно и то же чувство вины и отчаяния на сорван-ной резьбе, терзать себя, словно это принесло бы облегчение. Но Каюрский спокойно, не глядя на него, двигался к метро вниз по Кропоткинской, вынуждая следовать за собой.

Выговорившись перед Паладиным, он почти забыл, что муча-ло его два дня подряд, про возможную измену, то есть про Эл-кину вину (словно получил подтверждение ее невинности), погрузившись в переживание своей вины, своей несостоятель-ности. Ничего он не может. Семью развалил. Лине счастья не дал тоже. Хотела покончить с собой! Боже! Какой он мерзавец! Ведь даже ада не испугалась. Илья вроде бы и не верил в Бога, но с



детства, от бабушки, наверно, засело в нем суеверное убеждение, что души самоубийц идут в ад, где мучаются *вечно*. Эти возможные вечные муки казались ему чем-то непередаваемо страшным. Хотя ведь и в России человек ничего не стоит и все направлено на его унижение и уничтожение. Что-то похожее он сегодня сказал Шукурову. Прямо какая-то крепость тьмы. Толкиенского «Властелина колец» перевел его студенческий приятель Андрей Кистяковский, и они с Антоном читали и перечитывали подаренную рукопись. Подумав про Антона, Илья стиснул зубы: как он смел злиться на сына! Замечательный парень, а возраст — возраст трудный, и он, отец, должен иметь и в самом деле больше терпения и мудрости. Его опять замутило, но он продолжал идти следом за Каюрским, отставая на шаг.

Боль в груди была такая, тоска такая, что в глазах становилось темно. Ноги плохо слушались его, и дышалось с трудом, словно воздуха не хватало, да еще и ветер перехватывал дыхание. Бесполезный он человек. Нет твердой позиции, подчиняется первому встречному, потому что сам не знает, чего хочет в этой жизни. От презрения к себе он почти вслух сказал: «Хочу не жить». И испугался этих слов. Как сделать так, чтобы не жить? Как бы так получилось, чтобы умереть, не убивая себя. В аду гореть не хотелось. Но в лицо ни Элке, ни Лине он теперь смотреть не сможет, он это знал. Нет, лучше умереть. Русский немец Крафт у Достоевского в «Подростке», вспомнил внезапно он, покончил с собой, любя Россию и неожиданно придя к мысли, что Россия — это «второстепенное место», что она никогда не станет ведущей страной мира. Такое самоубийство, не говоря уж о германской решительности, вызывает вчуже уважение. А кончать с собою из-за баб — наверно, постыдно. А тем более из-за собственной половинчатости. Но ведь и он, и его бабы — в России и этой Россией больны. Паладин прав: он, Илья, межеумок. Лишний человек. Онегин, Печорин, Тимашев. Беда их всех в том, что жили в России. Русские европеизированные дворяне!

В нашей стране, как говорила его теща, никогда не знаешь, когда пойдет снег. Что со мной творится? — думал он. Ведь я же верил, всегда верил в русскую культуру. Почему вдруг такая тоска от окружающей жизни? Тошнота, до головокружения, до рвоты. Скорее бы метро, может, там не будет такой вони и пыли в лицо. Они шли уже мимо Дома ученых, красивого, старинно-

го здания, куда временами привозили пиво: тогда здесь бывало много народу, редакция в том числе.

Илья слотнул противную слюну набегавшей на него тошноты. Элка, родная моя! — бормотал он про себя. — Прости меня. А Лина? Лина — чужая? Тоже родная? Бедные мои, несчастные. Ничего я не могу придумать, как быть. Нет у меня будущего, как и у всей страны. Так, в разговорах да размышлениях и сдохнем. Эй, сказал он себе, не путай свой футурум и футурум державы. Если не веришь в будущее России, то во что еще здесь можно верить? Во всяком случае, не в настоящее. В науку? Ее здесь нет. В технику? В технике, как говорят японцы из анекдота, мы отстали от мира навсегда. Ни техники, ни быта, ни умения жить здесь нет. В искусство? Но то, что сейчас наиболее интересно. Солженицын, скажем, — это не искусство, а политика, публицистика. Даже Левши нет. Да и английской блохи, которую можно бы было подковать, тоже нет. Транзистор и компьютер не подкуешь. Да уж точнее, чем Тютчев, не скажешь: «В Россию можно только верить». А вот у меня веры нет. Нет, и все тут. Ни во что.

Его вдруг сильно и резко замутило, затошнило. Чувствуя, что сейчас не удержится, он, напрягая мышцы горла и гортани, быстро свернул в подворотню перед «Аптекой», добежал до мусорных баков, стоявших у стены дома, и его начало выворачивать, как с сильного перепоя. Его рвало неостановимо, спазмы следовали один за другим, со слезами, с соплями. От запаха рвоты и отбросов в баках мутило еще сильнее, а он все не мог остановиться. Правда, когда подошел Каюрский, он уже вытирал платком глаза и сморкался, прислонившись к стене, бледный и слабый.

— Это от нервов Илья Васильевич, — гудел Каюрский, взяв его под руку и выводя на улицу. — Пойдемте по бульвару прогуляемся. Дышите спокойнее, все пройдет.

Его лицо не выражало ни осуждения, ни ироничной снисходительности, только сочувствие и сострадание, что казалось странным в таком диковатом большом мужике. Но Илья был ему признателен.

Они перешли дорогу и от Кропоткинского метро двинулись по бульвару. Каюрский все еще поддерживал его под руку.

— Я-то думал, что мне лучше помолчать, чтоб вас не тревожить, — басил мужик из Сибири мягко. — Глупость, оказалось. Виноват. Мне бы, наоборот, вас разговорить, заговорить, а я о

коммунизме внеземных цивилизаций мозгами раскидывал. О человеке-то и забыл. А разговор, он, как заговор, лечит, облегчает. Знаете, как у нас в Сибири считают: боль можно заговорить. Человек — существо более тонкое, чем мы думаем, Илья Васильевич. Вот вы, историк, философ, а и то не выдержали. Ведь вы же не инопланетянин какой-нибудь, не энлонавт. Те уж наверняка не переживают и не чувствуют, как мы, люди. У них — голый рации. Представляете, появляется на Земле разведчик с другого созвездия, так он — сплошная функция, никаких чувств.

Илья не возражал, хотя мысль Вёдрины, что разведчик-альдебаранец испытывает на Земле непрерывные нравственные и прочие муки, казалась ему еще вчера не в пример занятнее. Сегодня его все эти космические аллюзии, иллюзии и аллегории только раздражали. Но ощущение слабости, дурноты не покидало его, поэтому он промолчал. А Каюрский все говорил. Илья заметил, что несколько фраз он прослушал.

— ... Только всеземной коммунизм сможет воспользоваться опытом коммунизма внеземных цивилизаций, сумеет направить науку на спасение человечества от его собственной злобы, неустройства, озонного излучения и удара кометы Галлея, — уловил Илья заключительный аккорд фразы своего собеседника.

— Но ведь есть страны, совсем чуждые идеям коммунизма, — пробормотал он автоматически возражение для поддержания беседы.

— Ну и что? Это поверхностный взгляд, дорогой Илья Васильевич, — прогудел снисходительно Каюрский. — Если учесть, что Земля — хранительница и общекосмических идеалов, то в конечном счете нельзя не признать, что идеи коммунизма — это те идеи, которые передали землянам древние космические пришельцы. А то, что они были, — факт. Я уверен, что все так называемые религиозные учителя человечества: Будда, Моисей, Христос — это космонавты, учившие диких землян гармоническому общежитию.

— Возможно, возможно, — бормотал Илья, думая совсем о другом, — мне в отрочестве после всех этих бесконечных фантастических рассказов тоже хотелось так думать. Тогда и доктор Фауст — это землянин, столкнувшийся с внеземным разумом — Мефистофелем, бывшим всего навсего обыкновенным космонавтом.

— Вот видите, вы на правильном пути! Я, правда, «Фауста» не читал самого, только про него... То есть я имею в виду пьесу Гёте, вы ведь о ней... Из немцев — только Маркса с Энгельсом знаю. Да еще предшественников, Канта с Гегелем, немного читал.

За этими, вполне бессвязными разговорами они прошли почти половину бульвара. Илья отдышался и хотел было повернуть назад, хотя пришлось бы идти тогда навстречу ветру, сейчас он дул им в спину. Каюрский остановил его, тронув за плечо:

— Давайте уж до Арбатского дойдем. Люблю московские бульвары. Даже осенью. Даже, когда с деревьев листья облетели. Хоть какое-то живое место в этой вашей Москве.

Они пошли дальше. Каюрский продолжал бурчать что-то о пришельцах из Космоса, уже совсем полную ахинею:

— Ныне учеными-фантастами, — гудел он, — высказываются гипотезы, согласно которым в мироздании где-либо может существовать даже и такая цивилизация, которая находится впереди нашей земной не на тысячу и не на миллионы, а на миллиарды лет. Она боится, что земляне не совладают с открытой ими ядерной энергией и вызовут коллапс своей части Вселенной. Конечно же, они пытаются создать поблизости от нас нечто вроде интеллектуального центра, вроде Соляриса, который способен осуществить функции кантовского «чистого разума» по отношению к стоящей много ниже их цивилизации. Я думаю, они только не знают, помогать нам или простоты ради — уничтожить...

Илья посмотрел на него снизу вверх недоуменно-вопросительно, понимает ли он, что говорит. Каюрский вдруг смутился:

— Я вижу, вас это не забавляет. В таком случае простите за медвежью услугу. Я отвлечь вас хотел.

Илья благодарно улыбнулся: «Вот ведь вспомогательный чу-дак!»

— Вы, Николай Георгиевич, наверно, сами энлонавт, пришелец...

— Ага, — охотно-радостно согласился Каюрский. — Пришелец. Прямой потомок тунгусского метеорита. Только из тех энлонавтов, что хотят помочь, а не уничтожить. У нас ведь тоже борьба идей...

Илья рассмеялся:

— Спасибо вам.

— Не за что. Давно замечал, что именно правде и не верят...

Они уже спускались мраморными ступенями старого входа Арбатского метро. Внезапно на второй площадке шедшая впереди женщина в сиреновой шляпке шагнула в сторону, толкнула мало-заметную дверь в стене и скрылась за ней. Невольно и Илья следом. Перед ним открылся коридор, вдалеке окошко, у которого небольшая очередь из мужчин и женщин. На стуле около окошка, напоминавшего окошко кассы, сидел милиционер. На стене висела табличка: «Место для некурящих». Над Ильей поверху Каюрский голову в дверь просунул. «Богатырский все же мужик», — подумал мельком Тимашев. Но уже милиционер к ним шел, а под руку Илье кто-то третий лез: как потом он разглядел — мужичонка с мохнатой головой в провинциальном фиолетовом костюме и рубашке в клеточку. Милиционер, подходя, крикнул:

— Вам сюда нельзя! — и, рукой выпихивая их, плечом решительно надавил на дверь. Все трое оказались перед закрытой и запертой дверью (щелкнул замок), недоуменно друг на друга глядя. «Вот она таинственная Москва», — сказал себе было Илья, но тут же сообразил, что ничего, быть может, таинственного нет, просто одно из подземных укрытий, ходов, которые, говорят, пронизывают город насквозь, кремлевские лабиринты, об этом лучше у Паладина или Тыковкина спросить, да ведь не скажут, а по слухам под землей для поспешного бегства вождей даже самолетные взлетные полосы есть. Провинциальный мужичонка, держа несколько наотлете авоську, набитую разнообразными продуктами (пачки печенья, два батона колбасы, дрожжи, апельсины), бросил неприязненно:

— Собираются, от народа прячутся и харчатся за его счет.

И пошел себе.

Коммунист Каюрский дернулся сказать ему что-то вдогонку, но не нашелся, а потому выглядел таким растерянным, что Илья решил пошутить, чтобы теперь его встряхнуть. Но шутка невольно продолжила умозаключения статьи о Чернышевском, мрачные его размышления, вызванные глухой тоской:

— Раз есть пришельцы, Николай Георгиевич, то почему не быть в нашей стране и царству мертвых. У нас все есть. И мы с его уголком сейчас случайно столкнулись. Вы спросите, почему случайно? Во-первых, случайность есть проявление закономерности. Во-вторых, в нашей стране все случайно и спонтанно. Никогда не знаешь, когда здесь снег выпадет, — повторил он тещу и добавил. —

Все спонтанно, все вдруг. Лина вдруг пыталась покончить с собой, моя жена вдруг все узнала, моя жизнь вдруг круто переменилась. И это не моя персональная судьба, это общий закон. Впрочем, извините. Я только хотел сказать, что, может быть, умирая, люди просто переходят в иную субстанцию, нам, живым, неведомую, в этой субстанции могут еще долго существовать как бы живыми. Что-то делать. И зарплату за свою мертвяцкую работу получать. А вход в их царство элементарен: вдруг в московском метро открывается дверь, там мертвяцкое бюро пропусков, вохра...

— А правильно это, — внезапно соглашаясь, перебил его Каюрский. — Живому с мертвецом никак нельзя общаться, затянуть к себе может. Так что охрану тут правильно поставили. Я уж Ленину Карловну предупреждал, чтоб с Розой Моисеевной аккуратнее была. Я покойницу уважал, а все равно — мало ли что!..

— Вы что, всерьез это? — одно дело теоретизировать, метафорически определяя нежизненные формы как мертвые, а людей, чуждых развитию, как мертвцов, другое — воспринимать эту метафору как реальность.

Они уже стояли на платформе, ожидая поезда. Каюрский ухмыльнулся:

— Ишь ты, конечно, всерьез. Потому что *знаю*. В Сибири у нас народ опытный, ближе к земле, к лесу живем. У вас тут сколько опосредованных форм! — морт, крематорий и тому подобное. А мы прямо рукой касаемся. Особенно в деревне.

Подошел поезд, они вошли в вагон, встали у противоположных, закрытых дверей. Каюрский продолжал громко говорить, пассажиры невольно прислушивались, хотя влезть в его рассказ репликой желающих не находилось.

— Мальчишкой был, мне мать рассказывала, как к товарке ее, подружке то есть, во сне покойница-мать пришла и говорит: «Нам с отцом плохо живется, дай нам что-нибудь для Христова дня». А баба-то та помнила, знала, что нельзя покойнику ничего давать, а то унесет с собой кого-нибудь. Она и говорит: «У меня, мама, нет ничего». А мама ее настойчивая была: «А я все равно возьму». Подошла к жаровне, выскребла из нее в подол, а потом и сообщает: «Пойду. Мне нельзя долго с живыми быть». Вышла за дверь — и колокола бить стали. А потом у этой женщины дочь померла. Забрала-таки покойница внучку. Так мне мать рассказывала, но дело-то в том, Илья Васильич, именно, что умершую эту

дочь я знал, в соседней избе жила. И в одночасье вдруг, по улице шла с ведрами, вздохнула, за сердце схватилась и на землю грянула. Ведра покатались, вода разлилась, подбежали к ней, а она уже мертвая. И никогда дотоле на сердце не жаловалась. Вот я Ленину Карловну и предупреждал, что чтобы ей не мерещилось, пока одна, ничего никому не давать, кто бы и чего бы ни просил.

— Что ж, и бороться с этими мертвяками никак нельзя? — криво улыбнулся Тимашев, чувствуя невольную жуть фольклорной побасенки.

— Отчего нельзя? Можно. У нас вот случай был. У одной муж умер. Думала, переживала, боялась, что придет — он и пришел. Никогда не надо бояться в таких случаях, Илья Васильич. Вот он приходил к ней каждую ночь и жил с ней как муж. Конфеты приносил. Она их ест ночью, а останутся — под подушку положит. Утром смотрит, а там вместо конфет орешки бараньи лежат. Рассказала все свекрови, а та и посоветовала: «А ты сядь на порог, чеши волосы, а семя, семечки по-вашему, ешь. Только ногу не поставь в раствор двери, — оторвет. А как он спросит: чего ты ешь — отвечай: вошей». Так та и сделала. Сидит, волосы чешет, муж к ней пришел и спрашивает: «Что делаешь?» — «Вшей грызу», — отвечает. Он как хлопнет дверью! И больше не приходил. Так с детства нас и учили: именно, что всегда нужно слушать советы старых людей, ведь годков и опыту у них поболее. Во всяком случае женщину ту ее свекровь убедила. И именно ей на пользу.

За завораживающими этими рассказами они доехали до станции «Динамо», и теперь эскалатор вез их к выходу на улицу. Дурнота и слабость вроде бы отпустили Илью, но при том словно все жизненные процессы в нем остановились. Не в силах был ни думать, ни чувствовать. Только логика разговора вытягивала его из оцепенения:

— А вы сами-то Николай Георгиевич, верите в то, что рассказываете? Ведь это все суеверия...

— Помилуйте, — гудел Каюрский. — Как можно не верить в народную мудрость! Опыт поколений...

Они шли мимо стадиона «Динамо» к трамвайной остановке, — часто так Илья к Лине ездил, но сейчас не замечал привычного пути. Иркутянин вел его и говорил, ни на секунду не затыкая глотки:

— Я и Ленине Карловне целую миску семечек насыпал и, как отвечать, научил. Береженого все Бог бережет. А почему верю я

сам?.. Да вам историю про себя расскажу. Как раз трамвай пустой подошел, сядем — я и расскажу. Ну вот, — усевшись рядом с Ильей, он начал рассказ. — Гулял я с одной девушкой, молодой еще был. Влюбленный. И вот девушка эта, невеста моя, померла. Я ее очень любил и крепко жалел. Долго об ней потом думал. И вот собрались как-то мы, парни, возле колокольни. Рядом молодежь бегают. Я и говорю: «Э-эх, была бы там сейчас моя Маруся, я бы сейчас залез на колокольню». Ребята привязались: «А тебе не залезть на колокольню!» Время было уже одиннадцать, двенадцатый час. Я говорю: «Но, да пустяки. Залезу! Залезу и позвоню». Только туды залез, на колокольню-то, гляжу моя Маруся там сидит! Вот так скорнувшись... Я ее: «Маруся!» Она мне не отвечает. «Маруся!» Опять голоса не дает. Я с нее платок сдергиваю — и в карман. В колокол позвонил и спускаюсь. Ребятам говорю: «Вот, она счас там была, платочек снял с нее». Смотрят: верно, в ее платке моя рука обмотана, в котором похоронили, — этот платок. Действительно, значит, правда. Домой пришел. Вечером она приходит и говорит: «Отдай мне платок!» Я, значит, ей выношу, кладу на крыльцо, говорю: «Возьмите». Напугался, как видите, на «вы» перешел. А ведь жил с ней до того. Она мне отвечает: «Нет, как умел снять, так сумей и повязать». И скрылась. А на второй вечер она опять приходит. «Коля, отдай мне платок». Я опять вынес ей — она опять не берет. И вот привели потом попа, поп ходил, кадил тут, причастил меня — все это сделали. Поговел я. Все равно каждый вечер приходит. Но, решили: что же, именно, что делать нечего, придется лезть на колокольню и повязывать. Залез. И только стал повязывать, платок-то, она меня как схватит! Схватила крепко и зажала!..

Илья вздрогнул, чувствуя невольный детский испуг. Каюровский перехватил его вздрог, но сделал вид, что ничего не заметил, повествуя дальше:

— Да, зажала... Потом никак не могли ее руки разомкнуть: ни топором разрубить, ни пилой распилить. Так я тут и помер. Вместе с ней меня и похоронили. Ха-ха-ха!.. — захохотал он на весь трамвай, глядя на ошалелое, осунувшееся лицо Тимашева. — Да вы впечатлительный человек, Илья Васильевич! Шучу я, не видно разве? — мощной рукой он обнял Илью за плечи. — Не обижайтесь. За такими байками легче время проходит. Да и успокаивают они. Я к вам хорошо отношусь, вы мне понравились. Я бы хотел подружиться с вами.



Это прозвучало неожиданно, а потому нелепо, но лестно.

— Вы мне тоже симпатичны, — осторожно сказал Илья.

— Значит, будем дружить, — он протянул свою лапу. — А насчет своих женщин не беспокойтесь — все перетерпится и образуется. Жалеть их надо, но не потакать. Вы сходите все же в Ленине Карловне, ее поддержать надо. Человека в нервном расстройстве можно повернуть и так, и эдак. Можете убить, можете спасти. А завтра-послезавтра решайте, кто вам дороже. Извините за совет. Просто я уже сходить должен. И без того остановку лишнюю проехал. Назад к Савеловскому придется возвращаться. Мне еще в «Правду», чтоб извещение о смерти старого члена партии дали. Потом за Петей в школу заеду. Я быстро, вы не сомневайтесь.

Пожав Илье руку, ласково потискав и помяв ее в своей лапе, Каюрский двинулся к двери и на следующей остановке соскочил на тротуар. Трамвай тронулся, иркутянин поднял руку с рот-фронтовским приветствием — сжатый кулак у плеча — и зашагал метровыми шагами к Савеловскому. Через минуту Илья почувствовал, что из него словно вынули какой-то стерженок. Присутствие Каюрского, его болтовня держали его, не давали упасть. А теперь он ссутулился, опустил голову, горло у него сдавило.

Виноват. Виноват кругом и во всем. Виноват перед Элкой. Сам скверно воспитал сына. А в годы, когда тот требовал особого внимания, запустил его окончательно: слишком много романов, слишком много пьянок. И что толку, что старался убирать всяческие преграды перед Антоном. Требовалась душевная работа, а на нее-то он оказался не способен. И вот — потерял жену и сына. И не знает, как ему отныне жить, да и имеет ли он право на жизнь... Но покончить с собой — страшно. До римских стоиков, видевших в смерти последний шанс на свободу, ему далеко. Нет воли принять решение. Да и другое еще: а вдруг за самоубийство и в самом деле полагается ад?.. А он еще ведь может исправиться, не исключено также, что и Бог имеет на него свои виды. Вдруг ему суждено создать что-нибудь великое. А покончить с собой — оборвать надежду на исправление, на созидание, на возможное улучшение своей жизни.

Как бы это выяснить намерения Бога по отношению к нему? Хочет ли Бог, чтобы он, Илья, жил дальше?.. Если бы у него был

револьвер, он бы смог проверить. Илья вспомнил слышанные им рассказы о *русской рулетке*. Игра с самим собой. Положить в барабан револьвера одну пулю, крутануть барабан, прижать дуло к виску и нажать курок. Повезет — жив, если же нет, то пуля окажется у него в черепе, и все вопросы будут решены. Значит он на Земле не нужен и бесполезен. Значит, так Богу угодно, чтобы он ушел из жизни.

А может постараться?.. Работать, преодолевать себя, зажить честной жизнью, заняться наукой всерьез, а не от случая к случаю, прекратить пьянство и траханье с посторонними бабами, покаяться, вернуться в семью... А Лина? Лину оставить. Но ведь ей плохо, да и любит он ее, не может себя представить без нее. Что бы он ни сделал, с кем бы ни остался, все равно он кому-нибудь причинит боль: не Элке, так Лине, не Лине, так Элке... Зачем жить? Если бы хоть высшая цель была... Что же? Существовать на Земле для какой-то из женщин? чтобы ей лучше было? для ее самоутверждения (о, она владелица мужчины, мужа!)? Да и для какой? Похоже, что если меня не будет, то на этом свете не убудет. Конечно, не был он поставлен ни разу в экстремальные ситуации. Созревал в эпоху Реабилитанса, живет в эпоху Стабильности. Но прохиндейские передовые и редакционные — писал, руки не только Паладину и Тыковкину, но и чудовищам похуже — пожимал. А почему нет? Они же часть его мира. Другого мира он не знает. Правдолюбцы вроде Ханыркина не многим лучше. С кем и зачем жить? Да, был бы револьвер с одним патроном, он бы сыграл в русскую рулетку.

Водитель объявил «Краснопрофессорский проезд». Илья вышел. Павильон трамвайной остановки с ложными деревянными колоннами производства, как он думал, тридцатых годов оказался ему грязным и обшарпанным, каким он и был. Илья сделал несколько мелких и затрудненных шагов по дорожке к дому, где недавно жила Роза Моисеевна, где нынче лежит ее мертвое тело. Там ждет его безумная или полубезумная, пытавшаяся *из-за него* прервать свою жизнь Лина. Идти не было сил. Он решил еще минут десять помедлить: в конце концов Лина же не ждет его к определенному сроку. Он присел на железный, выкрашенный зеленой краской прут низенькой ограды, протянутой вдоль кустов.

«Надо собраться с духом, — думал он. — Что там Каюрский болтал о мертвецах? Какую-то чушь. Веселил меня, — потекли

поначалу мысли совсем не в том направлении: не о себе, не об Элке с Антоном, не о Лине, а какая-то метафизическая дребедень. — Вот умерла Роза Моисеевна. Что изменилось в мире? Ее просто не стало. Как не стало за тридцать лет до того ее мужа, как двадцать лет назад не стало на свете первой жены ее мужа, как когда-то погиб и ушел в небытие мой отец, а потом умерли мои бабки и деды. Слава Богу, жива мать, но я, негодяй, с ней почти не общаюсь. Для нее я живой или мертвый? А я вот он, пока живой, а ей кажется, что живу совсем не той жизнью, как ей хотелось бы, словно на том свете нахожусь. А буду ли я жив через время для Элки с Антоном? Или они вычеркнут меня из своей жизни?.. С Элкой вся молодость, а может, уже и вся жизнь прошла. Ну, почти вся. Сколько-нибудь сознательная во всяком случае. Не спали ночами с маленьким Антоном, таскали его на руках в поликлинику, возили на трамвае в детский садик, он не хотел ездить туда, засыпал по дороге... А болезни, а прививки, а этот вечный страх за его здоровье! А совместные отпуска, поездки в Армению, в Прибалтику, в Крым... Как им было хорошо и весело! Да, книга жизни кончится печально... Во всяком случае уже кончается... Элка это и себе и мне нагадала».

Он достал пачку сигарет. Вытряхнул одну, поднося к губам, уронил на землю. «Все из рук падает», — подумал. Достал новую, закурил. Хотя курить не хотелось, и не случайно: закружилась от сигаретного дыма голова, вновь до дурнотной тошноты. Он поспешно загасил о железный прут ограды недокурок и бросил его в траву. Сидел, глубоко дыша, преодолевая тошноту. Какой-то он несправедливый к своим близким!

Элка все его упрекала в последнее время: «Любое нестандартное поведение тебя пугает. Тебе кажется, что Антон ведет себя неправильно, а он просто нестандартен. Радуйся этому. Ты и сам не святой, хоть и прикидываешься, зудишь все. Я тоже тебе поддаюсь, начинаю пилить его. А он, ты учти это, когда я пристаю к нему с учебой, отвечает: ты вроде папы. Вам лишь бы галочку у себя в душе поставить, что, дескать, ваш сын не хуже иных прочих. Пойми ты, что он не такой, как ты. Не лепи его по своему образу и подобию». Илья потер пальцами виски, Ведь и сам он не жил по стандартам, чего так хотела его мать. Тем более Элка. За ее необычность и полюбил он ее тогда. А Элкины родители переживали, что дочь у них нетривиальна, непохожа

на соседских детей. И его мать, и ее родители — тридцатых годов, с другой, пуритански-советской моралью. Элка своим родителям всегда говорила: «Для вас идеал в прописях». Но они... Ах, они мудрецы, это Илья только сейчас понял. Они отвечали: «А прописи и есть идеал». Так они и жили, советские Филемон и Бавкида: дочка, дачка, которую сами выстроили, обиходили, болотистый участок превратили в чудо. Липы, две елки, кусты смородины, яблони, малина, клубника, флоксы, розы и хризантемы, которые так любила его теща. Как славно проводили они там с Антоном летние дни и вечера. Днем купались в реке или в бочаге, гоняли на велосипедах, вечером на террасе или, если было холодно, у печки читали вслух Диккенса или «Собаку Баскервилей». Жутко, но одновременно защищенно, уютно, пахло сухим деревом, гудела печка, за окном темнота, шумел сад.

Куда это все ушло?!

Тимашев сидел, опустив голову, делая вид, что не замечает проходивших к дому, и в самом деле временами не замечал. Но невольно думал, что они знают, кто он и зачем сюда ходит. Это ему было неприятно. Кто-то остановился перед ним. Он поднял голову. Кузьмин!..

— Илья! Вы что такой неприкаянный сидите?

Тимашев встрепенулся. Несмотря на мрачные мысли о револьвере, русской рулетке, он еще оставался общественным человеком, чтобы сказать любезные слова собеседнику и как бы между прочим передать ему свое эссе: «Мой дом — моя крепость», хотелось, даже если он умрет, чтоб хоть один из людей знал о его мыслях.

— Да ничего, — попытался он улыбнуться. — Собираюсь с духом. Вы знаете, Роза Моисеевна умерла...

— Н-да, — неопределенно-бесчувственно пробормотал Кузьмин. — Конец эпохи, — но по лицу его было видно, что волновало его другое: впечатление Ильи от его рассказов.

И Илья заторопился ему навстречу:

— Я вас, кстати, поздравляю. И с «Пугачом», и с «Джамблями».

— Понравилось? — выдохнул писатель.

— Пожалуй.

Кузьмин просветлел, но сказал небрежно:

— Спасибо на добром слове. Хотя все уже давно пройденное. Вот моя семейная сага — это серьезно, это задача. Но вы мне обещали что-то свое.

Ожидавший этих слов Илья раскрыл портфель:

— Да-да, я помню. Здесь всего несколько страничек. Но мне было бы любопытно ваше мнение...

Борис небрежно сложил и спрятал листочки во внутренний карман пиджака, показывая этим, что прочтет непременно.

— Здорово, мужики! услышали они грассирующий, нахально-нетрезвый голос. Оба вздрогнули и обернулись. К ним подошел стройный, сухошавый, в джемпере, серых вельветовых брюках и болоньевой куртке мужик — с большими, слегка навывкате бледно-голубыми глазами.

— А, Алешка, привет, — сказал Кузьмин и добавил, знакомя: — Алеша Всесвятский, друг моего детства. Илья Тимашев, друг Владика Вострикова и отчасти мой.

— Не помешал? — все с тем же нахальным напором врезался Алешка в разговор. — Об чем спич держим? А то пошли ко мне. У меня банка самогона деревенского. Литровая.

— Нет, Алексей, вряд ли. Илья вон идет к Востриковым, ему помочь там надо. Роза Моисеевна умерла сегодня.

— А, еврейка наша! Померла, значит? Царство ей небесное, если оно у них есть. О ней говорили?

— Нет, — сухо ответил Илья, которому стали неприятны и тон, и развязность этого Алешки, особенно пренебрежительное «еврейка наша». И, жестом отстраняя наглеца, повернулся к Борису. — Знаете, кто мне сказал о ее смерти? Совершенно случайный человек, ее бывший ученик, обожавший ее: она его марксизму научила.

— В сталинском варианте? — ухмыльнулся Борис.

— Нет-нет, — перебил его Илья, — в идеальном, русско-революционном, мессианское учение о спасении человечества. Он, ее ученик, только об этом и думает. У него разные проекты спасения: от марксизма до космических пришельцев. Натура совершенно первобытная, сибиряк...

Но, Алешка не отставал:

— А ты сам оттуда, что ли? Из Сибири? Борода густая...

— Разве похож? — произвольно вступил с ним в разговор Тимашев.

— Да не очень. Я там бывал, там другие люди живут. Законы у них другие, и сами они другие.

— А ты разве бывал в Сибири? — удивился Кузьмин. — Не знал.

— Где только Алексей Николаич не бывал! — сказал о себе в третьем лице голубоглазый блондин. — Сейчас покурим, расскажу. Был я на шабашке в Якутии. Для золотоискателей там кое-что строили. Места ужас какие, не приведи Господь, и нравы тоже. Жестокие. Убьют — по нашим понятиям ни за что. На реке Алдан был. Скорость — три метра в секунду. Глубина десять метров, представляете? А скорость, как в горной речке. Там по грудь зайдешь — покойник.

— От холода? — спросил Илья.

— И от холода тоже, — затягиваясь дымом, бросил небрежно Алешка. — Главное — скорость. Я по Алдану на ракете до Хандыги плыл. Кажется, что течение скорей ракеты идет. Да, — рассказывал он, выдыхая спиртовые пары, — законы там совсем другие. За пьянку, например, если взяли, никаких вытрезвителей. На вертолет — и на сено. Не понимаете? Сейчас объясню. С вертолета тебя спускают на полянку в лесу, косу в руки — и коси пятнадцать суток. Еду тебе, конечно, оставят, брезент. И все. А уйти — не уйдешь. Там сосны и лиственницы стеной стоят, меж ними расстояние в ладонь шириной — не протиснуться. Если рубить будешь, то только топор затупишь. Лиственница там, как железо, твердая. За пятнадцать дней больше десяти метров не пробьешься. Дорог никаких. Не только на сене. Во всей той местности. Одну только прямую проложили — на Магадан. В этом районе женские лагеря были при Сталине. Убежать оттуда невозможно. Бабам тем более.

Алешка добился ожидаемого эффекта и самодовольно ухмылялся. Два не знающих жизни интеллигента слушали его, оцепенев и развесив уши. Привыкнув к теплу и удобствам московских квартир и к тому, что многожды клятые в их кругу сталинские времена все же ушли в прошлое, они вдруг увидели очевидца тех мест. Сами эти места невольно напоминали о тех временах. Само существование этих мест, продолжающееся во времени, казалось чудовищным: эта воронка могла опять завихриться и втянуть новые жертвы. То, о чем на своих кухнях они говорили просто так, судили-рядили, умствовали, есть ли на этой земле ад, в безумной реальности вставало перед их мысленным взором. Женские лагеря!.. Нежные, тонкие, чувствительные и капризные женщины, их женщины (каждый вообразил мигом наиболее близких), как они могли там жить, да просто существовать!..

— Это — Россия, — прошептал угрюмо Илья.

— Сибирь это, — поправил его Алешка. — Хотя, пожалуй, ты прав. Как у Лещенко. В детстве, пацанами, на костях слушали. Помнишь, Борьк?.. — и он промурлыкал. — Но я Сибири, Сибири не боюсь, Сибирь ведь тоже русская земля!.. Точно, пацаны, русская! наша!

— Да уж, — вздрогнув и отчетливо, каким-то неестественным тоном выговаривая слова, словно для того, чтоб Алешка его тоже понял, сказал Кузьмин, — наша! Как с таким жутким и необжитым пространством и существовать! Раздолье для любого тирана. Есть куда всех своих противников девать! Да и само это пространство жертв требует.

— Не понял, — ответил Алешка. — А-а! — вдруг догадался он. — Понял. Точно. Сталин туда не зря ссылал. Понимал, что к чему. Ледяная тюрьма. Тайга. Это почище пустыни, не пройти. Стена из сосен и лиственниц, как я уже говорил, — возвращался он к своему рассказу, поочередно взглядывая на них своими большими бледно-голубыми глазами, шеголяя «знанием жизни» и с удовольствием ловя эффект от своих слов. — И холод. Вечная мерзлота. В ней зеки дорогу железную строили. А мерзлота-то плавает. Потом, как дорогу законсервировали, обнаружили, что под каждой шпалой труп — для прочности. Это как раньше в крепостные стены замуровывали, — проявил он неожиданное у него знание неких исторических фактов. — В трехстах километрах от Хандыги — Оймякон, полюс холода, восемьдесят семь ниже нуля. В «Правде» писали, что геологи там шурф долбили, добрались до замерзшего подземного озера, взяли пробу, а там тритон. Тыщу лет пролежал. Оттаяли его, а он ожил и побежал наутек, — неожиданно Алешка рассмеялся добрым, простодушным смехом, почти детским. — Вот какие места! Там золота!.. Отойди в сторонку с лопатой, копай и намывай. Но оттуда не увезешь — убьют. Были случаи. Публика там такая же дикая, как этот тритон доисторический. Страшные места. Некоторые вещи ценятся, которые у нас — тьфу! Я туда коробку яичного шампуня привез, шесть пузырьков, за них месяц в бане с бабами мылся. Хе-хе-хе! Что они только, шкуры, мне за этот шампунь не делали! На любую срамоту шли! Так-то! За двадцать дней тыщу триста заработал. Потом улетел. Двоих заболевших увез. Один психически стронулся на этой почве, а другой ногу сломал: носилки

с цементом ему на ногу упали. Неделю, правда, на аэродроме сидели. Там, как солнце в тучах, — лететь нельзя. Значит, буря будет. Разобьешься на хрен! Ледяные места. Хоть миллион людей похоронить можно, никто и не заметит даже.

Тут Илья почувствовал чей-то взгляд, повернул голову и увидел, что около них стоит длинный, верзилистый милиционер с рябым лицом и кривым ртом. Борис с Алешкой тоже повернулись. Тогда милиционер поднес ладонь к козырьку фуражки:

— Попрошу предъявить документы.

— Да мы что, — командир? Мы ничего, сидим просто, разговариваем, — вылез вперед Алешка, как наиболее опытный и разговорчивый.

— Попрошу предъявить документы, — повторил мент.

Послушно они начали копаться в карманах. У Бориса и Алешки оказались паспорта с пропиской — в этом доме. У Ильи только журналистский билет. Поэтому мент напустил на себя служебное рвение:

— А вы к кому?

— Он ко мне идет, — опережая Кузьмина, бросил Алешка.

— Извините, — снова козырнул мент. — Проходите.

— А что, собственно, случилось? — позволил себе вопрос Кузьмин.

— Квартиру в соседнем доме ограбили, — вступая в разговор, расслабился милиционер. — У вас сигаретки не найдется? — и закулив предложенную Алешкой сигарету, добавил: — Внучка открыла дверь. Видно, знакомому. Только молчит, имени не называет. Тот зашел к ней в комнату, раздел, ее же платьем ее связал, а из нижнего белья кляп сделал. Но факта изнасилования не было. Только факт глумления. В половой орган ей сигарету вставили, — он вдруг глупо хрюкнул. — Старуху тоже связали. Все деньги, ценности, радиоаппаратуру, — все вынесли. Пенсионерка одна ваша заметила незнакомых, дала знать в милицию. Пришлось дверь ломать. А придурочная, что там живет, в своей комнате заперлась даже на шум не вышла. Никаких показаний дать не может.

— Бог мой! сказал Илья.

— Это Красновы?.. — полуутвердительно спросил у милиционера Борис.

— Ага, — ответил тот и добавил, с сожалением затаптывая сигарету. — Ладно, надо идти. Нынче с открыванием дверей осто-



рожнее надо быть. Сегодня гость, а завтра ограбит, — он хохотнул и пошел, прикрывая лицо рукой от задувшего с новой силой ветра.

— Лихие ребята... — начал было Алешка о грабителях, но осекся, зверино ощутив иное настроение собеседников.

— Жертвенная семья, — обратился Кузьмин к Илье. — Я вам о них рассказывал. Как раз вчера рассказывал. Надо же совпадение!.. Внучка — это Саша Барсикова, девочка-подросток, припоминаете!

Илья отрицательно помотал головой. Занятый своими переживаниями он и в самом деле не помнил, все из головы вылетело.

— Так это дочку Аньки Красновой повязали? — опять встрял Алешка. — Хорошая была баба. Я с ней в одном классе учился. С мужем ей только не повезло. Муж-то ее зарезал и себя убил, — пояснил он Илье, но Илья и сам уже вспомнил. — А дочку я видел, такая писуха еще, а уж глазнапы на мужиков, будь здоров, как пялила! Хорошо, что Анька, мать ее, не дожила, чтоб такое видеть, — неожиданно заключил он, совсем в духе старух, сидевших у подъезда.

Илья слушал, вроде сопереживал, но вдруг отключился: острая боль захлестнула ему грудь. Он здесь сидит, а там Лина одна, мучается, и Элка с Антоном тоже, наверное, мучаются. Он как-то судорожно вскочил, словно его что кольнуло, нелепо крепясь на бок:

— Я, пожалуй, пойду.

— Ты чего это сорвался ни с того, ни с сего? — подивился Алешка. — Дело никуда не денется. Может, вначале все-таки ко мне? По стакашечке самогона жажнем и разбежимся, — заблекотал этот перекати-поле, внук покойного академика.

— Нет-нет, не могу, — бросил Илья уже на ходу.

— Да и я не буду, — услышал он произнесенные ледяным тоном слова Кузьмина, двинувшегося следом. — Мне еще работать.

Алешка догнал их. Завернув за угол дома, они вошли во двор. У противоположного дома стояла милицейская машина. Около нее, несмотря на ветер, толпились и суетились старухи, все в черном: на фоне белой штукатурки похожие на гарпий, слетавшихся на поживу. У среднего, своего, подъезда Борис остановился, тронул Илью за руку:

— Илья, если что, звоните.

— Спасибо, — каким-то голосом и через силу улыбнувшись, ответил несчастный, запутавшийся в женщинах «бабий пророк».

Алешка и Борис зашли в свой подъезд, через несколько шагов вошел в подъезд и Тимашев. Пока он поднимался по широким каменным ступеням, лишь одна не очень мудрая мысль посетила его: «Другая сторона, другая разновидность, — поправился он, — да, другая разновидность ада — это душа человека. Мало нам, что живем, как в аду... Но в душе тоже есть своя Сибирь, своя российская жестокость, свои наказания...»

\* \* \*

Дверь открыла Лина. Но она была не одна.

— Кто к нам пожаловал? — раздался с кухни неуместно-оживленный, как показалось Илье, голос, и на заднем плане появилась вышедшая с кухни приятельница Лины и одноклассница Кузьмина Валька Косина с зажженной сигаретой в руке. Иногда Илья заставлял ее у Лины. Он знал также, что ее окно находится напротив комнаты Лины, и именно от Вальки Лина задерживала шторы, когда приходил к ней Илья. Веснушчатая, горбоносая, с маленькими, словно бы случайными глазками, Валька не нравилась Илье своей тяжеловесной шутливостью и назойливостью. — Ну вот и мужик пришел, — говорила она плотоядно. — Теперь тебе не так тяжело будет тут. Дай только и мне хоть минутку постоять рядом. Хоть запахом мужским подышу, — продолжала она, приближаясь. — Эх, не будь ты подруга, увела бы. А не то Илья, пойдем ко мне. Блинами накормлю.

— Не пойду, — сухо сказал Илья, глядя па Лину. Та опустила глаза, а подруга протиснулась между ними.

— Можешь меня поцеловать, с ней потом намилуетесь. А я за свои труды хоть немножко чужим мужиком попользуюсь.

Илья поцеловал ее в щеку, стараясь быть галантным: его корбил ее тон, ее жадное попрошайничество. Была она совсем невезучая. Илья знал о ее жизни не только от Кузьмина, но и от Лины. Пять лет назад у Вальки умер муж, с которым она бесконечно ссорилась, почти дралась, умер от опухоли в мозгу, когда она была беременна. Родив дочку, назвав ее именем покойного мужа и утверждая в сознании дочери культ отца, она тем не менее отчаянно и настойчиво искала себе если не мужа, то хотя бы по-

стоянного любовника. Но безуспешно. Жила она в девятиэтажном блочном доме на пятом этаже, в однокомнатной квартире, на мизерную зарплату преподавателя техникума, хотя раньше ее квартира была в среднем подъезде напротив квартиры Кузьмина. Но родители сочли ее брак мезальянсом, она прописалась к мужу в Бибирево, затем умер отец-профессор, тут же и муж, она с трудом поменяла свое Бибирево на квартиру рядом с матерью, но вскоре скончалась и мать. В ее бывшую трехкомнатную квартиру Институт вселил кого-то из новых преподавателей. А она стала вроде приживалки при своем прежнем доме и прежних соседях.

— Эх, — вздохнула удовлетворенно после его поцелуя Валька, — посидела бы я с вами, да Женька в квартире одна. А то ведь так приятно, пусть со стороны, посмотреть на мужика, который способен на чувство любви и ответственности.

Сердце Ильи сжалось, он сразу подумал об Элке, которая одна имела право требовать от него ответственности по отношению к себе. Ведь беря ее в жены, он, стало быть, нечто обещал ей. По его нахмурившемуся лицу Лина сообразила, что не то что-то сказала Валька.

— Эй, не надо так, — тихо, непривычно для Ильи попросила она приятельницу. Была она в темном платье с длинными рукавами и стоячим воротничком, закрывающим шею. Лицо бледно-зеленое, нос уздечкой заострился, глаза испуганно ловили взгляд Ильи с каким-то жалобным вопросом.

— А что? Мы свое дело сделали, обмыли Розу Моисеевну, обрядили, одели — любо-дорого! Может и он посмотреть. Мы тоже ответственность чувствуем. Ну ладно, ладно. Пойду. Оставлю голубков наедине, пока сибиряк ваш не явился. Вы бы его ко мне пристроили, а? Могу переночевать его у себя оставить. Все, поняла, иду. Сигареты только возьму и иду. А ты, Илья, смотри, побереги ее!..

Удивительное свойство — каждое ее слово звучало невпопад, казалось глупым, неточным и неуместным, хотя по сути было и деликатным, и даже чутким, заботливым, предупредительным. Да и сама она была безотказна в помощи. Валька все медлила, зажав в руке принесенную Линой с кухни пачку сигарет, теснясь в коридоре и не давая Илье пройти, а брать ее за плечи или за локти, чтобы отодвинуть, ему не хотелось. Все же она ушла, напоследок обняв Илью и поцеловав в подбородок около губ.

— Илья, не сердись, — сказала Лина, как только хлопнула дверь.

— На кого?

— На меня, на нее. Она такая одинокая и несчастная. И я тоже.

Илья поставил у стены сумку, которую до этой, минуты держал в руке, но с места не сдвинулся. Ее незащищенность, виноватый вид вдруг вызвали у него прилив желчи.

— Зачем ты звонила Элке? Я по вчерашнему свиданию понял, что ты со мной не хочешь быть.

— Это не так. Я просто сошла с ума. Я все делаю последние дни что-то чудовищное. Я знаю, что я преступница. Ты и не догадываешься, какая я плохая. Я, Илюша, тебе изменить хотела. Не вышло, — она криво усмехнулась. — Когда-нибудь, если ты захочешь со мной дальше общаться, я тебе расскажу. А пока не буду. Ты меня проклянешь. А я и так себя уже заела. Мне же ничего не нужно, только бы ты простил меня. Ты ведь мне самый близкий человек. Да и вообще кроме тебя у меня никого в жизни не осталось.

Волосы ее распрямились, висели патлами, голова не мыта. Красивой, но совершенно потухшей была она. Илья не отвечал, не выпрашивал, внезапно сообразив, что она несколько часов назад пыталась сделать. Невольно поглядел на ее стоячий воротничок, закрывавший шею, но говорить об *этом* не стал, не решился сразу.

— Где Роза Моисеевна? — перевел он разговор, заставляя себя успокоиться и не обращать внимания на ее темные признания.

— В своей комнате.

Лина шагнула в сторону, пропуская Илью.

В комнате был полумрак, занавески на окне задернуты. Мертвое тело Розы Моисеевны лежало на диване, одетое в парадный, хорошо сохранившийся костюм (темно-синий жакет и юбка) с орденской планкой на груди. В этом костюме, как помнил Илья, Роза Моисеевна выходила на партсобрания или иные торжественные мероприятия. Лицо ее, изжелта-бледное, как у нераскрашенного муляжа, заостенело, морщины и те казались заостренными, а волосы так странно выглядели, будто приклеенные к голове. Круглого столика с лекарствами около постели уже не было, он стоял у книжных полок пустой, но спец-

ифический лекарственный запах в комнате все равно ощущался. Илья подошел к письменному столу. На нем лежали всевозможные документы: паспорт, свидетельство о рождении, медицинский акт и свидетельство о смерти, паспорт на жилплощадь, расчетная книжка оплаты за жилье, газ и электричество, партбилет. Все так же стоял задумчивый Дон Кихот, скрестив ноги, опершись на копьё, с книгой в руке, — металлическая черного цвета скульптура, «мелкая пластика». Писчие листы бумаги лежали на углу стола стопкой. Но запускать в них глаз ему показалось неудобным. Правда, под свидетельством о смерти он заметил листок с начальными строчками уже знакомого ему стихотворения «La felicidad» — «Счастье».

В доме все было готово,  
Ожидали счастья...

Заговорила Лина, прервав его молчание, голос ее был то скрипучий, то жалобно-молящий:

— Ты так ужасно смотришь. И за нее меня тоже осуждаешь? Я заслужила, я понимаю. Но перед ней я меньше виновата, чем ты полагаешь. Я старалась быть ей внучкой! Мне казалось, что ее судьба рифмуется с моей, хоть мы и не в прямом родстве. Помнишь, Виктор Шкловский писал, что судьбы наследуются наискосок: от дядей к племянникам. Мы обе полюбили женатых мужчин, только ей повезло, а мне нет. Но, знаешь, хоть я и говорю, что ей повезло, а сама всю жизнь не могла ей простить, что она отобрала у моей родной бабушки мужа, моего деда. Когда Роза Моисеевна была в Испании, бабушка сюда приходила, сидела с дедом, ухаживала за ним. Она его до самой смерти любила. Когда нас с мамой отсюда *выставили*, она, идя к дедушке в гости, всегда брала меня с собой, а по дороге плакала. Видишь, какая я нехорошая: до сих пор не могу забыть, что меня лишили возможности жить с дедом. А бабушка с Розой Моисеевной стала общаться, вроде все простив, чтобы своего Исаака видеть, а случится такое счастье, так и оторвавшуюся пуговицу к пиджаку пришить. Она ему всю себя отдала. И, умирая, шептала: «Ухожу к Исааку».

Илья исподлобья смотрел на говорившую Лину, прижавшую руки к груди, и все больше мрачнел. Лине показалось, что он в этот момент ненавидит ее. Что-то опять неправильное сказала.

Но если б она сумела проникнуть в его мысли, то удивилась бы, насколько они были плоские и никакие. «Роза Моисеевна хоть с книжным идеалом в душе жила, — думал он. — Ты ее осуждаешь, а сама?.. Да и я — безвольный, слабодушный сластолюбец. Замамила в западню!..» — захотелось вдруг завывать ему. Лина опередила его, угадывая реплику. Она стояла около мертвого тела, то прижимая руки к груди, то опуская их, будто не в силах держать тяжесть разговора. Эта тяжесть даже в ее плечах чувствовалась, сутулила их.

— Я плоха..., я скверна-а, — быстро забормотала она, теряя окончания слов. — Но я не могла каждый день переживать, что ты не со мной, что душой ты все равно там. С женой и сыном. Не со мной. Я ведь тебе вчера сказала, что тоже могла бы иметь от тебя ребенка, а ты как испугался!.. Как мне быть? как понять — любишь ты меня или я для тебя всего лишь подстилка? Боже, как я тебя вчера проклинала, когда ты ушел! И тебя, и себя. Решила забыться, решила, что найду тебе замену, раз ты ведешь себя подло, то и мне можно. Прости! сорвалось, — она прижала руку ко рту. — Это я подлая, а не ты! я!.. А как Роза Моисеевна умерла, со мной вообще что-то случилось. Мне вдруг показалось, что либо ты будешь со мной, любой ценой, но будешь, либо я умру.

— Скорее я умру, — не отдавая отчет в своих словах, сказал Илья.

— Не говори так, — испугалась Лина, — Тебя все любят, тебе есть для кого и для чего жить. Ради твоей семьи, ради науки...

— Зачем ты позвонила Элке? — прервал он ее.

Она замерла на мгновенье, потом забормотала:

— Я вначале хотела покончить с собой — я ведь такая грешница, ты даже не представляешь. Меня этот ужасный Каюрский спас. Он ушел, а я, сама не знаю как смелости набралась, и позвонила. Прости, я виновата, надо не о смелости говорить, а о чем-то плохом, но так получилось. Если все расписывать, как было, ты все равно не поверишь, скажешь, что меня в психушку, в дурдом отправить надо, чтоб лечить. А так все и было, как я расскажу. Каюрский, как из петли вытащил, все мне нотации читал — о светлом будущем, о марксизме, о космических пришельцах, а затем и вовсе какую-то чушь о мертвецах понес, миску семечек насыпал. И ушел дела похоронные оформлять. Обещал к

тебе на работу заехать, мы по телефону дозвониться не смогли. И только он ушел, как я словно голос Розы Моисеевны услышала, да такой ласковый и убедительный: «Тебе замуж надо. А он тебя любит, но решиться не может. Совсем как Исаак. Мужчины боятся брака, тем более нового. Его нужно подтолкнуть. Будь настойчивее, пока он тебя любит. Мужчины имеют обыкновение остывать. Если сейчас его возьмешь, он тебя потом всю жизнь не оставит. Возраст такой. Исааку тоже было сорок три года, когда родился Владлен, сын великой любви. Создай ситуацию выбора. Скажи, что ты ждешь ребенка». Так она вроде мне сказала, и я как сомнамбула пошла к телефону. Но потом остановилась, решив, что так будет нечестно, что надо быть честной и все рассказать твоей жене, как есть. А пока я набирала номер, я поняла, что должна сказать, что я тебя оставляю, что ты не мой, а ее. Так и сказала. Я правды хотела, я не могла больше врать!

— Ты, кажется, бредишь.

— Нет, Илья, нет. Давай пойдем из этой комнаты, я тебе еще скажу, — она, вздрогнув, оглянулась на покойницу.

Илья следом за ней тоже глянул. Черты лица Розы Моисеевны казались и впрямь живее, чем десять минут назад. Какое-то негодование было написано на ее лице, будто силилась она оборвать Лину, упрекнуть ее в чем-то. Илье тоже стало не по себе. Они перешли в комнату Лины. В квартире, особенно в коридоре, теперь он это явственно ощутил, пахло карболкой, а вовсе не лекарствами Розы Моисеевны. В Лининой комнате шторы тоже были задернуты, стояла полутьма, словно на дворе наступили сумерки. Илья отдернул штору перед балконом, открыл дверь и вышел вдохнуть свежего воздуха. Опершись о проржавевшие перила, он посмотрел вниз на кусты, росшие вдоль асфальтовой дорожки. С этой, торцевой стороны дома всегда бывало пустынно, старухи, как правило, сидели между подъездами. Да и сильный ветер, срывавший листья и ломавший мелкие сухие ветки деревьев, здесь дул беспрепятственно. Он вернулся в комнату, но дверь не закрыл, чтобы избавиться от приторного запаха больницы. Лина зажгла свет.

— Зачем? — удивился Илья, выключая. — Еще не темно.

— При электричестве не так страшно. Лучше шторы назад задернуть. А то Валька, думаю, изо всех сил сюда смотрит. А в темноте я боюсь. И вообще боюсь, — голос Лины был слабый и роб-

кий, и не походила она на себя прежнюю, решительную, гордую, истеричную. — Я тебя скоро отпущу, пусть только Каюрский вернётся. Дождись его и уходи. Я не могу здесь одна оставаться. Владлен не приедет, ты знаешь? У него инфаркт.

— Я знаю.

— Каюрский сказал? Удивительный он какой-то. Марксоид, а сам при этом, как добрый самаритянин. С чуткостью совсем даже еврейской. Во все вникает, как родной человек, и все знает, что и как делать, обо всем заботится. Словно твоими глазами смотрит и понимает поэтому, что тебе нужно.

Илья почувствовал, что краснеет. Он со стыдом вспомнил, как Каюрский уговаривал его на время забыть свои неприятности и поддержать Лину. А он!.. Не может от своего Я отрешиться, свои переживания прежде всего!.. Не заслуживает он за все это сострадания высших сил. Он хотел заставить себя, но что-то застыло в нем, и ничего он не мог с собой поделать. Не получалось у него почувствовать, что чувствует Лина. А та, прислонившись ягодицами к краю стола, почему-то совсем бледная, плела что-то иронически и как-то странно усмехаясь, про Петю:

— Он положительный такой. Только совсем нетвердый, не камень. Ты сам говорил, что его имя по латыни значит «камень». Может, просто он маленький еще. Бедный мальчик.

— Почему бедный?

— Так. Столько проблем на него вчера и сегодня свалилось. Но ничего. У него девушка есть, Лиза. Будем надеяться, что она ему поможет и станет с ним счастлива. И твоя жена пусть будет счастлива. Ты возвращайся к ней. Она хорошая. Да и друзья у вас: общие. А меня никто из друзей и не знает, ты меня скрываешь, потому что ты внутренне не со мной. Они меня не примут. Твоя жена такая талантливая, а я, что я?.. Что они скажут?

— Им все равно, — почему-то поддержал Илья эти ее нелепые рассуждения, подумав, что его приятелям и впрямь друг на друга плевать.

— Хотя не в том дело, — поправились Лина. — Просто я себя заела, — повторила она прежние свои слова. — Ведь я не знаю, смогу ли я тебе счастье дать. Не знаю. Если ты останешься со мной, ты будешь мучиться. Ой, прости, я так говорю, будто ты решил со мной остаться. У меня в голове мутится. Не обращай на меня внимания.



Илья молчал. Перед глазами у него все время, пока Лина говорила, вставали картинки из прошлого. Куда бы он ни обратился мыслью, всюду в его жизни оказывалась Элка, причем в лучшие свои минуты, когда она проявила себя, как настоящая подруга — верная, преданная. Двадцать лет вместе. Вот они едут ночным автобусом в Новгород с экскурсией с Элкиной работы. Откидные сиденья, на которых можно спать, заняты женщинами, а Илья чувствовал, что умирает, как хочет спать. На переднем сиденье не поспишь. И тут Элка его зовет: «Давай поменяемся». Уступает свое сиденье и переходит вперед. Конечно, Илья — жаворонок, а она сова и может до утра проболтать, но все же она пожалела его. Это почему-то так поразило Илью, что он сказал себе: никогда ее не оставлю. Хотя тогда скорее она могла его оставить: он инфантильный мальчишка, а она — красивая юная женщина, умная, яркая, гитарная. А теперь? А теперь он предатель! Вспомни, говорил он себе, вспомни, как путешествовали по Армении... Добрались до Арени. Весь день не ели, да еще гюрзы опасались по дороге. Сидели в клубе, пока местные решали, куда их пристроить ночевать. Селение небольшое, кругом горы. Но после изнурительного подъема, днем, в жару, по пыльной дороге, вечернюю красоту гор воспринять они не могли. Крестьяне совещались, а попутно рассказывали страшные истории про гюрзу, как смертелен ее укус, что нападет она без видимой причины, цокала языками, удивляясь тому, что путешественники избежали встречи с этой змеей — ужасом гор, рассказывали, что недавно похоронили мужика, отца шестерых детей, которого прямо у собственного арыка укусила гюрза. Наконец, определили их ночевать к учителю русского языка и литературы местной школы. Жена у него была в больнице. В первой комнате на полу, на кошке спали его девять детей, во второй комнате стоял стол и высокая кровать, которую он собирался им уступить. Хозяин достал литровую бутылку виноградной чачи, помидоры, лаваш, зеленый перец и лук. Больше в доме ничего не было. Илья хотел показать себя мужчиной и пил рюмку за рюмкой: ему недавно исполнилось двадцать два. Ночью его кровать поплыла. Спасаясь от качки, он пытался уцепиться за Элку, проснулся и остатками работающего мозга понял, что чудовищно пьян. Заснуть снова не удавалось: все плыло, кружилось, качалось. Потом затошнило. Он встал и вы-

скочил во дворик. Сунуть голову в арык — и все пройдет!.. По пути к арыку его несколько раз рвало. Элка вышла следом и, хотя смертельно боялась гюрзы, все прибрала за ним, вымыла весь двор, а его вытащила из арыка, куда он чуть не свалился. А случай во Владимире!.. До того, как стал его сманивать Леня Гаврилов в поездки по российской глубинке, он всюду путешествовал с Элкой: собственно, она и приучила Илью к разнообразию летних маршрутов. Тогда, поздним вечером, на вокзале, они ожидали владимирского поезда на Москву. Свалили рюкзаки на пол и пристроились на них — среди бабских охов, мужского матерка, детского хныканья, грязи, вони, перегара, доносившихся от соседей. Но все равно в помещении вокзала было спокойней, чем на темной улице, где кучились совсем уже подозрительно-уголовные группки. Вдруг через окно, с улицы, стали в них вглядываться какие-то искаженные стеклом безобразные, пропитые и преступные физиономии, через минуту хлопнула дверь и вошел фиксатый малый в кепке, пошарил глазами по публике, а затем вдруг поманил пальцем Илью, просипев: «Выдь на минуту, поговорить надо. Разговор есть». Чувствуя мерзкий страх, пронзивший все тело, но стараясь не показать этого, Илья принялся медленно подниматься с рюкзака, но его опередила Элка, вскочила, встала перед фиксатым парнем: «А ну уходи отсюда! Не то милицию мигом позову!» — «Я те позову!» — пригрозил парень, но все же слинял.

— Ты все молчишь, — робко сказала Лина, подходя и касаясь его руки.

Он отстранился от нее:

— Я пойду на кухню позвоню. Посиди здесь.

Он вышел, закрыв за собой дверь. Лина не сделала даже попытки пойти за ним. Сидела тихо. Он набрал номер.

— Але, — трубку сняла Элка.

— Это я, — с трудом сказал он. Язык цепенел, еле ворочался. — Я хотел бы с тобой поговорить все же...

— Дорогой, — прервала она его, — лично я тебе уже все сказала. Я самостоятельная женщина, и если ты завел себе бабу на стороне и после того, как все открылось, все равно поехал к ней, то уж не обессудь, что я с тобой не хочу разговаривать. И не надо мне лапшу на уши вешать насчет смерти какой-то там Розы Моисеевны! Можно подумать, что ты ее самый близкий родствен-

ник. Не надо возражать, помолчи и послушай. Я заранее знаю, что ты мне скажешь. Паладина ты мне шьешь попусту, у меня никого не было, но теперь я себе непременно кого-нибудь заведу. Чтоб даром твои подозрения не пропали. На этом все. С Антоном общаться я, конечно, тебе запретить не могу, но мне больше не звони. Счастливо оставаться.

«Гордость ее оскорблена. Никогда теперь не простит», — подумал Илья, услышав гудочный отбой.

Он повесил трубку, сам уже не понимая, зачем звонил Элке. Сделал несколько шагов по кухне взад-вперед, как в загоне себя ощущая, не зная, куда деваться от бездонного, пожирающего чувства вины. «Псих какой-то», — сказал он себе о себе. Снова взялся за трубку, но, постояв минуту у телефона, руку разжал, глубоко вдохнул сквозь нос воздух и медленными шагами вернулся в комнату. Там его ждала Лина, руки у горла, глаза широко открыты:

— Ну что? Тебе простили?

— Это мои проблемы, — с трудом выговорил он.

— И мои. Это я во всем виновата. Я — подлая женщина. Я не должна была так делать. А твоя жена — чистая, хорошая, честная. Такой и должна быть настоящая жена. Ты должен вернуться к ней. Понимаешь? К ней. Она тебя простит.

Илья не отвечал.

— Ты молчишь? — снова тихо спросила Лина.

— Молчу, думаю...

Лина протянула ему сигареты:

— Хочешь закурить?

— Нет.

Способен ли он, Илья Тимашев, на деятельность, которая заставит его забыть о личных неурядицах? Если рассматривать нашу духовную историю, как качели между типом Ильи Муромца и типом Ильи Обломова, то сейчас мы как никогда застыли на обломовской точке. Даже в отношении к своим двум женщинам не может он определиться. Потому что не знает, ради чего живет. Проклятая российская особенность — все простейшие жизненные отправления превращать в метафизические проблемы.

— Ты мне ничего не скажешь? — Илья сидел на диване, и Лина встала перед ним на колени, заглядывая ему в глаза.

— Давай оставим эту тему, — Илья погладил ее по голове. — Лучше расскажи мне, что ты не хотела в комнате Розы Моисеевны говорить. Что тебя испугало?

Лина задрожала и встала, обхватывая руками плечи.

— Ты напомнил, и я опять боюсь. Я боюсь, Илья. Я, наверно, сумасшедшая. Но я своими глазами все видела. После того, как я... как я позвонила твоей... твоей жене, я сидела на кухне и плакала. Семечки эти, Каюрского, на холодильнике стояли. Вдруг, ты знаешь, я думала, что умру от страха, вдруг в дверях появляется Роза Моисеевна, в ночной рубашке, бледная, волосы седые не причесаны, висят, ну, как обычно она по утрам ходила, и говорит: «Ты что делаешь?» Я вздохнуть не могла, но как-то ответила: «Ничего» — «Тогда, — она говорит, — дай мне мою чашку с водой, куда я всегда зубы на ночь кладу. Надо их туда положить, мне они теперь ни к чему». У нее, ты же знаешь, челюсть вставная. Уж не могу понять, как я встала, до умывальника дошла, чашку водой наполнила и ей подала. «Спасибо», — говорит и по коридору к себе в комнату уходит. А я с места сдвинуться не могу. Потом до телефона доползла. Вальку пригласила. Слава Богу, она пришла. Она первой к Розе Моисеевне решила зайти, я за ней, смотрим, чашка с зубами на столе, она мертвая на постели лежит, а щеки ввалились — просто жуть. Значит, она их все же вынула и в чашку положила.

— Я ничего не заметил, — пожал плечами Илья. — Щеки, как щеки. Ну, лицо осунулось, так это у всех мертвых бывает. Это как раз ерунда. Ты перенервничала.

— Нет, Илья, нет. Спасибо Вальке, она ухитрилась ей зубы назад вставить. Но я не того боюсь, хоть оно и страшно было; мне Каюрский сказал, что нельзя покойнику ничего давать, это к несчастью.

— Слушай, не мели чепухи. Зубы она всегда на ночь вынимала. А умерла она ночью, так что они так в чашке и остались. Тебе померещилось. Пойди лучше приготовь чаю. И успокойся.

— Хорошо, — покорно сказала Лина. — Только я все равно боюсь.

Она пошла на кухню, а он зашагал по комнате и каким-то образом оказался на балконе. Сказав ей успокоиться, сам он успокоиться не мог. Втянув в себя свежий, чистый воздух, затем выдохнув, Илья задышал ровнее, оперся руками и грудью о перила.

Но мысли текли неровные, злые, беспокойные. «Боже, почему я не могу быть сам по себе! Быть независимым от всех... Почему я все время ищу крепостной зависимости? В семье, в любви, в детях... Чем-то все время кому-то обязан. Хорошо себя чувствую, уверенно, только когда к чему-то прикреплен — как другие к кольцу в стене или к кремлевской башне. Тогда я на месте и прочно стою на ногах. Прочно. Не взлететь. Хочу не выбирать тот или иной хомут, хочу быть один. Ты царь, живи один, дорогою свободной иди, куда влечет свободный ум. Да, так. Пушкин прав. Но для такой жизни нужно мужество. А я ведь ни разу даже жизнью не рисковал. Разве что, когда с Элкой по церквям реставрируемым ездил, то под самый купол залезал, по прогибающейся, шаткой досочке с одних стропил на другие переходил. И не для дела, просто так. Но тогда на ее дух опирался. А сам по себе?»

Илья вдруг отжался на руках и с неожиданной для себя легкостью перешагнул перила балкона. Перила были ветхие, проржавевшие. Стоя над асфальтом, лицом к комнате, спиной в пространство, Илья почему-то не испытывал страха, хотя понимал, что перила, за которые он держался, настолько ветхие, что при повторном усилии обратного перелазы могут рухнуть. «Упаду — так упаду, — отрешенно подумал он. — Упаду, если перила надломаются. Значит, за грехи наказание. Значит, я на этом свете не нужен. Если нужен, то вернусь». В голове был туман. Илья отпустил руки и тут же снова схватился за перила. И еще раз, и еще раз. Это была странная, но увлекательная игра. Перила скрипели. Он позволял себе уже не сразу за них хвататься, а медлить, удерживаясь и сопротивляясь ветру ловкостью тела.

Вошедшая и комнату Лина увидела его в тот момент, когда он в очередной раз разжал руки, — и вскрикнула. Илья вскинул голову, заметил Лину, улыбнулся ей, но, потеряв равновесие, схватил пальцами воздух и рухнул вниз. Ломая ветки, его тело тяжело шмякнулось головой и плечами в кусты, ногами и копчиком на асфальт.

\* \* \*

Душа его словно застыла. Петя чувствовал, что страх, который временами посещал его, теперь навсегда угнезвился в нем. И Каюрский не успокоил, а только усилил это настроение.

Сразу же, после слов:

— Крепись, Петька! — он сжал его плечо и, не отойдя еще от дверей класса, на весь коридор, так что везде было слышно, про-  
басил:

— Ты зря стесняешься, что ты еврей.

— Я русский, — почти выкрикнул в ответ Петя.

— Все русские, а ты еще и еврей! Этим гордиться нужно. Народ-страдалец, но и — народ-революционер. Будь, как твоя бабка. Роза Моисеевна достойно свою жизнь прожила, настоящим коммунистом.

Они уже спускались по лестнице, минуя прогуливавших уроки. Их любопытные взгляды холодили Петю. Он замолчал. Ему казалось, что каждое очередное слово Каюрского увеличивает его инакость, его странную вину перед непонятным и *жутким нечто*, разлитым в окружающем воздухе. Наконец, вестибюль, раздевалка.

— А не любят евреев неразвитые люди, ты это, Петька, запомни. Это с древних времен идет, с легенды, что евреи Христа распяли, — Петя вдруг вспомнил, что именно эти слова произнес вчера под окном Герца Желватов, но тогда он пропустил их мимо ушей, и без того как всегда чувствуя себя скованно и затравленно с Юркой. — Но это же ерунда! — продолжал греметь Каюрский. — Я так считаю: распяли Христа римские легионеры, а на евреев свалили. И из-за этой клеветы их повсюду теперь преследуют. Поэтому и Христа, хоть и не верю я в Бога, надо иначе воспринимать. На мой взгляд, он стал символом еврейской нации, которую распинают с тех пор все националисты. Конечно, Петька, и среди евреев бывают, как и в других нациях, плохие, злые и глупые люди. Поэтому единственное решение этого вопроса — интернационализм!

Они шли мимо краснокирпичного физкультурного зала. Затем Петя машинально свернул на дорожку из гравия, чтобы кратчайшим путем выйти к трамваю. Подойдя к калитке, он внезапно сообразил, что им придется миновать двор, где живет Герц, ему этого не хотелось, но не поворачивать же назад. Еще издали он увидел окно с дыркой посередине, от которой разбежались во все стороны трещины. Около песочницы стояла коляска, рядом на лавочке сидела пышнотелая, простоволосая женщина — жена Герца Наташа. Она испуганно и неловко посмотрела на Петю, словно не зная, здороваться ли с ним, — и

отвернулась. Будто по щеке Петю хлестнула. С остановившимся сердцем и комком воздуха, сжавшимся в груди, Петя понял, что Герц убедил жену. Она тоже теперь считала, что Петя причастен к преступлению. Это было клеймо. Все беды навалились сразу.

Они вышли к трамвайной остановке. Ветер здесь дул довольно сильно, обрывал последние листочки с деревьев, поднимая в воздух мелкий гравий, песок и окурки. Но сквозь ветер все же пробивалось солнце, было тепло.

— Ты что, Петька, опечалился? Да, такого человека, как Роза Моисеевна, поискать! Она в людях хотела зажечь огонь разума! Она ведь из породы Дон Кихотов. Всегда жила ради людей. Ты должен на всю жизнь запомнить, что ты ее внук! А от смерти никому не спастись, — по-своему истолковал Каюрский перемену его лица.

А Петя подумал, что утром ему почудилось перед бабушкиной дверью *что-то*, но он побоялся войти. Хотя надо было: тогда бы в школу не пошел и избежал бы сегодняшнего кошмара.

— Ты отвлекись, — продолжал утешать его Каюрский. — Поведай лучше, что за собрание у вас было? Мне там двое не понравились: со змеиным лицом, что на тебя вякнул, и второй, узкоглазый такой и широкоплечий, что с милиционером сидел.

Жизнь Петина менялась. Бабушка умерла, и оказалось, что нечто важное из его жизни вынули, какую-то защиту убрали. Но какую — понять он не мог. Он подумал, что даже физикой теперь заниматься не сумеет. Каюрский погладил его по голове. Надо было отвечать. Запинаясь, Петя сказал, что парень, сидевший рядом с милиционером, бросил булыжник в окно, мимо которого они сейчас проходили, и попал в голову отца их учителя. Тот сейчас в больнице. О своем участии в этой истории он умолчал, не представляя, как все это изложить, и труся, что и Каюрский не разберется и осудит его.

— Значит, преступник у вас в классе завелся, — констатировал приезжий. — Плохо дело. Вот эту всю шваль и дрянь потом к нам в Сибирь шлют. Хотя у нас и своих сволочей хватает. Я-то подзабыл уже, что и в Москве в этом смысле погано. Кстати, сегодня утром в доме, что напротив вашего, полно милиции было...

«Саша Барсикова», — мелькнуло в голове у Пети. И в этой ситуации он чего-то струсил, не решился рассказать никому о

записке. Он безусловно был уверен, что милиция по этому поводу приезжала.

А Каюрский вдруг прервал свою речь:

— О, погоди-ка!

Он неожиданно зашагал к киоску, в котором торговали газировкой, сигаретами, мороженым. На переменах ребята сюда бегали покупать по мере надобности сигареты. Через минуту сибиряк вернулся, держа в руке два эскимо.

— На, — протянул он одно Пете. — У нас в Сибири эскимо не делают. Зато молоко на палках продают.

— Как то есть молоко на палках? — не понял Петя, невольно отвлекаясь от своих мыслей.

— А так, — Каюрский откусил большой кусок мороженого! — Зимой, конечно. Заливают бабы молоко в кастрюлю, палку стоймя ставят туда — и на мороз. Потом этот смерзшийся кругляш достают. И таким же именно образом еще раз, и еще раз. Потом эти чурки молочные на телегу — и на рынок. У меня сестра в Иркутске этим занималась. Не слыхал про такое? Чего в жизни не бывает?..

— Не могу, — сказал Петя и выбросил эскимо в урну.казалось, что холодные кусочки мороженого, проваливаясь в его заледенелые внутренности, добавляют туда морозу.

— Да Петька же! — воскликнул Каюрский. — Жизнь — штука непростая. Часто получается, чего не ожидал. Человек живет себе живет, а с ним ни с того ни с сего что-то происходит. Все надо уметь пережить. Хотя, согласен, именно бывают события трудно переносимые. Когда у меня отец помер, когда меня от преподавания отстранили, я переживал. Но не поддался слабости. Человек сильней судьбы. У тебя бабушка умерла, это горько, но надо потерпеть. Конечно, когда хулиган старику голову камнем разбил, или, как в доме напротив вашего, квартиру ограбили, старуху и ее внучку связали, а над внучкой еще и поглумились, — вот с этими всеми силами надо бороться. И себя в борьбе не щадить. А смерть от старости — дело природное. Тут ничего не попишешь. Только вот Ленина Карловна все равно очень переживает. Ты с ней, Петька, повнимательней будь.

Последние слова Петя услышал, как сквозь зажатые уши. Квартиру ограбили, над внучкой поглумились, старуху связали — вот что он уловил. Его колотило: угадал он про Сашу



Барсикову! Он плохо понимал, что дальше говорил Каюрский. «Значит, *это* и на самом деле возможно. Прийти, надругаться, ограбить — это не просто моя фантазия! Это возможно». Сжимая зубы, чтобы не стучать ими, Петя стал, думать о Крепости, которую он создаст для себя в будущем, могучую и неприступную. С высокими толстыми стенами, крепкими башнями, рвом вокруг стены, подъемными мостами, а на случай если кто предаст, — какая-нибудь Саша Барсикова! — и крепость возьмут враги, он сумеет уйти тайными подземными ходами, тоннелями, как во французском кино «Парижские тайны» или романе Виктора Гюго «Девяносто третий год». «Эль кастильо!», что значит по-испански «крепость», вспомнил он бабушкины случайные уроки.

Подошел трамвай. Петя и его спутник еле влезли. Вагон был набит, и пришлось стоять. Не стесняясь присутствием десятков чужих людей в трамвае, Каюрский продолжал разглагольствовать:

— Я все думаю, откуда эта шпана и нечисть берется. Вряд ли от социальных условий. В одной и той же среде — есть хорошие люди, а есть злодеи...

— Бога забыли, — пробурчал сидевший перед ними плотный, толстощекий, с поросычьим лицом мужичонка.

— Если бы! — неожиданно подхватил брошенную фразу Каюрский. — Но дело-то все именно в том, что память о Боге осталась. А если Бог есть, считает каждый человек, то ему, человеку, все позволено. Все можно свалить на Бога: не работать, не защищать людей, пусть, де, Бог старается. Человек грешит, а сам думает: если грань перейду, то Бог меня остановит. А Он никого не останавливал, какие только ужасы не позволял! Даже инквизицию позволил! И Гитлера! И Сталина! Что на меня смотрите?! Двадцатый съезд нам правду рассказал, и его постановления еще никто не отменил!

Трамвай меж тем катил мимо общежития Полиграфического института, мимо магазина «Продукты», где, как всегда, стояла толпа у входа в винный отдел, мимо Тимирязевского пруда и грота, в котором Нечаев убил студента Иванова, а затем утопил в этом самом пруду...

— Да, именно безобразия в столице творятся, а все привыкли. Мне бы в Москве начальником стать, я бы постарался навести тут порядок. А здесь — значит, и по всей стране. Пора державу вызволять. Только, — он вдруг рассмеялся, — где бы Конь-

ка-Горбунка найти, чтобы вывез всех? Русскому Ивану без Конька-Горбунка никак нельзя. Единственные свободные русские у нас в Сибири жили, да вы еще и своих свободолюбцев к нам ссылали. То есть и здесь их можно найти. Мы марксизм отстоим!.. И отца твоего, Петька, к работе привлечем.

— А папе телеграмму послали? — спохватился Петя.

Он с облегчением подумал, что завтра, наверно, родители будут в Москве, и он сможет найти у них защиту.

— Извини, — смешался Каюрский. — Не хотел тебе сразу говорить. Ну да все равно узнаешь. И вправду, беды, как собаки, стаями... Я тебя, Петька, огорчить должен. Инфаркт у твоего отца. Именно что обширный. Не меньше месяца ему лежать. Ты уж будь мужчиной. С похоронами я пособлю, а потом Илья Васильевич Тимашев о вас с Линой позаботится.

Петя не отвечал. Только головой кивнул, губы стиснув. Ко всем его прочим страхам добавился ужас одиночества. Как будут они с Линой?! Прошедшая ночь ему даже и не вспоминалась. Он другого боялся. Своей и Лилиной беззащитности, неприспособленности к жизни. Непонятно даже, на что, на какие средства они жить будут! Он не знал, где бабушка хранила деньги, которые выдавала ему и Лине на прожитие. Искать среди ее вещей?! Ни за что! А родители не раньше, чем через месяц приедут. И еще он подумал, что хлипкость их входной двери не сможет противостоять нашествию извне. Словно в самом бабушкином присутствии, силе ее духа, воли, властности, решительности, безапелляционности была преграда всякому злу, могущему на них напасть. Отец всегда, когда бабушка уезжала в дом отдыха, запирали дверь на цепочку, опускали собачку на замке, а иногда и маленьким замочком скрепляли кольца этой цепочки, чтобы и щели не могло возникнуть, даже если дверь кто сломает. Он как-то даже сказал дяде Илье Тимашеву, что двери наших квартир открываются вовнутрь по приказу Сталина, установившего эту архитектурную норму, — для удобства энкаведешников: чтобы легче было дверь выломать. А теперь, с тревогой добавлял отец, это по-прежнему удобно — для всяких насильников, грабителей и убийц. Зато, когда бабушка возвращалась, отец мог неделями не одевать на дверь цепочки, словно забывал про свои опасения. Но сейчас и отца нет. Лина — безумная, да и ни о ком, кроме Тимашева, думать не может. К кому притулиться? Перед ним воз-

никло решительное лицо Лизы, ее порыв, как она вскочила из-за парты, будто могла прикрыть его своим телом...

Они сошли с трамвая. Между двумя подъездами, скрываясь от ветра, сидели старухи. Черная пуделиха Молли лежала, уткнув голову в лапы. Золотоочковой бабки Саши Барсиковой среди них не было. На ее месте сидела низенькая, с усатой верхней губой, жена бывшего ректора Института. Меркулова, увидев Петю, протянула палку с резиновым набалдашником, останавливая их, и заговорила почти гневно:

— Видишь, так и случилось, как я тебе утром говорила. Не хотел старших слушать. Все лишь бы скорее пробежать. Гордые вы все, молодые. На стариков-то вам наплевать. Вот бабушка и умерла. Пожилых людей слушать не хотите. Допрыгаетесь все, как Саша Барсикова допрыгалась. Кому, спрашивается, дверь открывала! Знала она его?.. И Искра Андревна из-за нее кастетом по голове получила, чуть не погибла. Плевать вам, что старикам много не надо. Малейшее потрясение и мы на том свете. Так-то, Петя. А каково оно *там*, один Бог знает!

Теперь траурно-черное одеяние Меркуловой было уместно. Хотя она всегда так одевалась. Петя туповато-равнодушно пропускал ее слова мимо сознания, чувствуя, что не к нему они относились, а вообще к молодежи. Пахло мертвечиной, и собирались здесь эти старухи, даже те, что не часто здесь сиживали, как вороны, когда, разогнав воробьев и прочую мелюзгу, приземляются поклевать найденные теми отбросы. И стоят потом, и мнутя с ноги на ногу, не перепадет ли еще чего, искоса друг на друга поглядывая. Так и старухи подсакивали на месте от неутраченного, едва ли не сладострастного интереса к тому процессу, который увел кого-то по тому пути, каким и им скоро идти. Но были при этом грубы и злобны.

— Ну, она, наверно, и *там* неплохо устроится, — сказала усатая жена бывшего ректора, — Такой уж она породы, — словно о породе какого-то зверя говорила. Тон и выражение маленькой ее мордочки стали в точности такими, как бывали у золотоочковой бабушки Саши Барсиковой, когда та наезжала на «еврейскую тему».

— Да уж, Роза Моисеевна умела, — сказала, вздыхая тяжело, как ее пуделиха, и с трудом преодолевая внутреннее давление своего толстого тела, Меркулова. — В Самарканде она первая

себе паек выбила. И жилье приличное первой нашла. Исаак Моисеич ничего не умел, прямо как ребенок был. Так и умер бы с голоду, если б не она.

— Роза Моисеевна всегда о себе понимала. Всегда себя выше других чувствовала, — добавила вдруг Матрена Антиповна, желая быть всем в угоду, подлаживаясь к говорившим по мере своего разума, хотя не раз клялась бабушке в «вечной благодарности».

Каюрский и на сей раз не стерпел, вступился:

— У меня есть основания иначе думать! — рявкнул он так, что старухи съезжились. — Она революционерка была. Она ради всех жила.

Профессорские вдовы испуганно замолчали, а Матрена Антиповна, напротив, забормотала, как бы выручая своих благодетельниц:

— Я, Петя, зайду, книжку занесу. У меня книжка одна, что Роза Моисеевна мне давала. Может, она нужна, а я держу.

В секунду в Петинной голове пронеслась сцена месячной давности. Матрена Антиповна, зайдя после обеда в бабушкину комнату, говорит, стоя у стола: «Мне бы книжку какую почитать, отвлечься» — «Посмотрите, милая, какую хотите. У нас книг много», — отвечает бабушка. После трехминутного осмотра полка, робкого и не подробного, Матрена достала затрепанную тонкую книжку Эсхила «Прометей прикованный». Бабушка: «Это вам не надо». И сразу Пете, здесь присутствующему: «Это не для нее». Но говорит это громко, не стесняясь того, что Матрена слышит ее слова. И обращаясь к ней: «Это книга в стихах, вам не понравится». Петя, стараясь сгладить возникшую, как ему кажется, неловкость, торопливо произносит: «Зачем же вы рваную берете?» Она, совсем смешавшись: «Да мне хватит». Бабушка: «Возьмите, милая, другую. Поувлекательнее». Но Матрена прижимает вынутую книжку к груди и шепчет: «Спасибо и на этой». Тогда бабушка улыбается ей, как маленькому ребенку, и начинает вслух рассуждать, будто Матрены Антиповны в комнате нет: «Надо ей рассказать, кто это такой, пусть знает. Тогда можно брать». И к Матрене: «Вы знаете, о ком эта книга?» Та робко, почти затравленно: «Нет». Бабушка: «Это книга про героя, который раньше был ангелом». Петя, не выдержав: «Про титана, который восстал на царя богов, на Зевса». Бабуш-

ка с раздражением машет на него рукой, замолчи, мол, ей этого не нужно, она этого не поймет. Петя уходит в свою комнату, но невольно продолжает слушать: «Это ангел, который восстал на бога, чтобы дать людям счастье. Он был герой и хотел жить ради людей, как Дон Кихот. И бог приковал его к скале. Каждый день прилетали туда птицы и терзали ему сердце и печень». Петя понимает, что в своем объяснении бабушка хочет избежать античной мифологии и приблизиться к знаниям собеседницы, но не очень у нее это получается. Но главное Матрена схватывает: «Замучали его, значит?» Бабушка радостно, что ее поняли: «Да, но он совершил подвиг ради счастья людей. Понимаете, моя милая?» Все это в момент вспомнил Петя и неожиданно для себя спросил:

— Понравилась книжка?

— Мудреная больно, — затем, подойдя поближе, сказала тихо, чтобы ее другие старухи не слышали: — Может, что помочь надо? Скажите, я приду. Хочется мне напоследок услужить чем-то...

Петя не нашелся еще, что ответить, как вдруг за углом дома послышался хруст ветвей и тяжелый удар о землю. А потом дикий, пронзительный, страшный женский крик. Они не узнали голос Лины, но за угол, разумеется, бросились. Головой на траве, а ногами на асфальте лежал Илья Тимашев, безжизненный, как куль с тряпьем. Ноги нелепо вывернуты, а около рта в выемке земли маленькая лужица крови. Петя и не подозревал, что ее так много может вылиться из человека.

## Глава XXIII

# После смерти

Взгляни, возле тебя существа, у которых уже нет языка, повествуют о себе красноречивее всех живых. Взгляни, их немые и недвижные руки протянуты к тебе так, как никогда еще не протягивались руки из плоти и крови. Взгляни, вот те, что безгласны и, однако, говорят; что мертвы и, однако, живы, те, что пребывают в бездне вечности и, однако, все еще окружают тебя сейчас и призывают к тебе так, как могут призывать только люди. Услышь их!

*Ч. Р. Метьюрин.*

Мельмот Скиталец, гл. XIV

**О**на никак не могла проснуться. И сон тоже не возвращался. Промежуточное состояние. «Ни туда, ни сюда», — сказал кто-то в ней ее слова, но чужим голосом. В голове стоял звон. Что-то словно сковывало, спеленывало ее. Хотелось сделать усилие и освободиться. Но звон мешал сосредоточиться и сделать необходимый рывок. Сжимало сердце, болела от звона голова, давно не стриженные ногти на ногах врезались в мясо пальцев — Лина с Петей забыли подстричь: казалось, что каждая клеточка ее тела ныла и стонала от какого-то стеснения. Внезапно звон прекратился, наступила тишина и перед ней появилось странное, зовущее сияние, к которому она потянулась, облегченно вздохнув. С этим вздохом ее покинула боль, а выдох повлек ее за собой вверх, как пуховое перышко, как листок унесенной ветром бумаги.

Вдруг она поняла, что видит себя со стороны, точнее, сверху. Она (во всяком случае ее тело) лежала на постели в ночной рубашке, с отброшенным на пол одеялом, рот ее был приоткрыт, глаза недвижно уставлены в потолок. Она вскрикнула. Никто ее не слышал. Она и сама себя не слышала, только знала, что вскрикнула. Но она даже обрадовалась этому беззвучию, потому что впервые в жизни испытывала чувство абсолютной свободы. Свободы и легкости. К этому чувству надо было привыкнуть. Да

и к виду своего мертвого тела тоже. Вот это и случилось. Свобода, легкость и радость.

Она услышала царапанье у двери. Легко и не задумываясь она проникла сквозь деревянную преграду и увидела внука, прислушивавшегося к тому, что делается в ее комнате. Она знала причину его встревоженности: он почувствовал, что она умерла. Но он безумно боялся столкнуться со смертью. Так, как можно бояться подойти к заразному больному. Словно она по-прежнему бациллоносительница. Ей стало жалко внука и захотелось, чтобы он слышал ее ровное, сонное дыхание и скрип постели. Он тоже этого хотел. Что хотел, то и услышал. Обрадовавшись, Петя подхватил портфель и покинул квартиру.

Она смотрела на мир теперь, как на театр: со стороны, как зритель. Все ранее знакомое становилось тем самым немножко чужим и интересным. Это было странное ощущение: видеть живых людей как актеров, играющих свои роли, которые к ней теперь не имеют отношения, к ее нынешнему состоянию: спектакль из другой жизни.

Она проплыла по коридору и медленно вплыла на кухню, зависла под потолком. На кухне сидел Каюрский и ел яичницу, громко чавкая. Прихлебывал из большой чашки кофе с молоком. Лины не было, ушла в свою комнату. Но для нее дверь не препятствие!.. Там разыгрывалась другая мезансцена. Лина стояла на столе, подтянув его под лампу, лампу она уже сняла и теперь, тихо всхлипывая, привязывала к крюку петлю. Мысли и чувства Лины были видны ей, словно она проникла и сквозь телесную преграду черепа и грудной клетки. Лина решила убить себя, считая, что она самая подлая и грязная женщина на свете и не имеет права больше жить. Подлетев, она попыталась вырвать у Лины веревку. Но рука ее прошла сквозь веревку или веревка сквозь руку. «Каюрский!» — крикнула она. Он, конечно, ее не услышал, но было все же что-то схожее в их психическом строе. Он нечто ощутил и насторожился. И шагнул в сторону Лининой комнаты. Поэтому успел. Как только грохнулся перевернутый стол, он ворвался и выдернул из потолка крюк, выломав кусок штукатурки. Разорвал у нее на горле петлю и принялся делать искусственное дыхание. Когда Лина очнулась, посадил ее на диван, ушел на кухню, вернулся с веником и совком, все подмел. Занимая неудачливую самоубийцу хозяйственными вопросами, спросил, есть ли в квартире сухой цемент. Развел его

водой, замесил, добавил эпоксидки, поднял стол, встал на него. Поставил крюк на прежнее место и замазал. Лина молча смотрела на него, раздувая ноздри и прижимая руку к горлу.

— Именно, что напакостил я вам в комнате, Ленина Карловна, — говорил Каюрский виноватым голосом. — Вы уж извините великодушно. Кстати, крюк я зацепил там за арматуру, он хорошо держится, можно хоть сейчас лампу на место вернуть: не рухнет. Или подождать пока подсохнет, тогда побелить, а уж потом лампу.

Лина отрицательно повела глазами.

— Понял. Давайте водрузим ее на прежнее место.

Он укрепил на крюке лампу, проверил контакты проводов, затем слез и подвинул стол к окну, где он раньше и стоял. Ни о чем не спрашивал, будто ничего и не было. Закончив работу, сказал как бы между прочим:

— Как вы думаете, Ленина Карловна, не заглянуть ли нам к вашей бабушке? В ее именно возрасте все может в любую минуту случиться.

Еще не до конца опомнившаяся, но уже постепенно успокаивающаяся, Лина встала и двинулась впереди Каюрского. Определить их труда не составило. Лина тихо ойкнула, увидев ее тело с запрокинутой головой и недвижным взглядом. Резким движением отстранив Лину, сибиряк склонился над мертвым телом. И начал сразу действовать в меру своего разумения: подносил ей ко рту зеркальце, щупал пульс. Все это выглядело забавным. Потом Каюрский закрыл ей глаза и позвонил врачу. По телефону же дал телеграмму-молнию в Прагу.

Пришел врач, высокий, худой и бородатый мужчина с иконописным лицом и крестиком на шее. Послушал трубочкой не бьющееся больше сердце, оттянул пальцами веки мертвого лица глянул в потухшие зрачки, сел к столу и выписал свидетельство о смерти. Она наблюдала за всеми этими действиями, тихо покачиваясь в воздухе. Заканчивался пятый акт пьесы ее жизни. Закрыв свой чемоданчик, врач велел вымыть пол с хлоркой или карболкой, вызвать заморозчика, обмыть и обрядить тело к приходу этого заморозчика. И чего они так волнуются? — думала она. — Уже ничего не сделаешь. Ей теперь замечательно хорошо. И Лина заботами о ней отвлекается от своих сумеречных мыслей.

Сев за телефон, Каюрский дозвонился до заморозчика, пригласил его, затем вызвонил партком Института — сообщил о ее смер-



ти, долго говорил о ее похоронах, которые те обещали организовать на следующий день после обеда. Лина тем временем мыла полы.

Неожиданно звонок в дверь. Лина вздрогнула, видно было, как заколотилось ее сердце, — она надеялась: а вдруг Тимашев!.. Но это почтальон принес телеграмму. Лина расписалась в амбарной книге, протянутой почтальоном, закрыла дверь. Подошел Каюрский, взял из Линыных рук телеграмму, распечатал ее. Они оба склонились над текстом. Заглянула и она им через плечо, прочла: «Дорогие Петя Лина скорблю вместе с вами Владлен прилететь не может у него обширный инфаркт я ему ничего не сказала остаюсь с ним умоляю постараться справиться самим берегите себя мама Ирина».

Так! Значит, Владлен не прилетит. Бедный Владлен! Но она не очень беспокоилась. Она каким-то образом знала, что он выкрутится из своего инфаркта. А сюда срываться и ехать и не надо. С ней уже все в порядке. Ей легко и не больно. Раньше надо было ехать к своей матери! Ну да ничего, она не сердится и даже уже не огорчается. Так уж у Владлена в жизни получилось. Бетти тоже не придет!

Каюрский стоял в коридоре, опустив руку с телеграммой. Вид у него был замученный и мрачноватый. Спросил Лину, кого из знакомых мужчин она могла бы позвать на помощь. Покраснев, не дослушав его, эта глупышка назвала «Илью Васильевича Тимашева, сотрудника Владлена по журналу и близкого его друга».

— Что ж, звоните, Ленина Карловна...

Лина, напряженная, настороженная, растерянная, принялась набирать номер. Раз за разом. Но все ей в ухо шли короткие гудки. Каюрский стоял около нее и ждал.

— Я знаю, — сказала, наконец, Лина. — Там секретарь редакции, курящая такая барышня, трубку с аппарата снимает, рядом кладет и курить уходит. Это может быть надолго.

— Что же делать? — бормотал Каюрский. — У меня завтра, к сожалению, могут чрезвычайно важные дела образоваться. Надо звонить.

— Он все равно не придет, — внезапно выдала себя и свой страх Лина. Опустевшими глазами смотрела она мимо Каюрского.

— Почему?

— Долго объяснять. Роман у нас. А я его вчера выгнала.

— Ну что ж такого? Именно, что так в жизни и бывает. Значит, придется ехать за ним, — просто согласился сибиряк. —

А уж вы тело обмойте и заморозчика дождитесь. Как до Тимашева-то добраться?

Лина рассказала, добавив, что если Илья согласится приехать, то нельзя ли и Петю из школы снять с уроков, во всяком случае с собрания. Ей хотелось, чтоб Петя вернулся, пока здесь Каюровский.

— Ладно, — согласился сибиряк, надавал Лине смешных советов и ушел.

Лина осталась одна. Она вернулась в свою комнату и легла на диван, уткнула лицо в подушку и начала всхлипывать.

Как ей помочь? Она отчетливо видела, что нельзя от Лины ждать самопожертвования и горения во имя великих идеалов, что так важно было для них с Исааком. Другая она, но это не значит, что плохая, и вне любви к Тимашеву ее не существует, без этой любви ее личность разрушится. Любовь — это ее последний шанс остаться самой собой, не потерять разум. Как помочь ей? Зависнув над ее головой, почти прильнув к ее уху, нашептывала она Лине историю своей любви, как влюбилась она в Исаака, как влюбился он, любил и себе не верил, что любит, как стала она его последней любовью. Его жена узнала все, но их союз скрепил ребенок — Владлен. Поэтому и Лидия Алексеевна простила их. Она шептала, надеясь на целебность схожих историй, надеясь, что Лина ее услышит, но примет ее слова за свои мысли-воспоминания. И вдруг заметила, без труда читая в Лининой головке, что ее слова Лина воспринимает, как слова бабушки, а не как свои мысли, более того, как *бабушкины советы*. Словно пройдя сквозь земную атмосферу и земную плоть другого человека, смысл высказывания искажается, как в детской игре в «испорченный телефон». Ах да, скорее к телефону!.. Лине показалось, что она предложила ей позвонить жене Тимашева и сказать ей: «Я жду ребенка», создать «ситуацию выбора». Звонок предотвратить ей не удалось, но в последний момент Лина сама опомнилась и, по крайней мере, не сказала безумную ложь о ребенке, принявшись горячо и слезно каяться в своей любви к Тимашеву. На той стороне провода, очевидно, швырнули на рычаг трубку.

Лина сидела за кухонным столом ошалелая и окончательно несчастная от своего дикого звонка. Вздрагивала, ей не хватало воздуха. Понимая, что должна наблюдать Линину истерику и трагедию всего лишь как зритель, ибо этого требует ее новая субстанция, новое положение, она тем не менее жалела ее и хо-

тела помочь. Отвлечь надо, — решила она и взмолилась, сама не зная кому: «Дай мне сил хотя бы на малость». И силы были ей дарованы. Она почувствовала, что ее новая прозрачная субстанция как бы материализуется, глаза Лины округляются от страха, а она говорит ей спокойно принести в комнату чашку с водой, чтобы она могла туда свою вставную челюсть положить, которая ей теперь ни к чему. Поворачивается, уходит и снова невидимая, легкая и невесомая оказывается в своей комнате. Но Лина опомнилась. Испугалась, но опомнилась. Подала ей чашку и тут же позвонила своей приятельнице из соседнего дома.

И вот уже она видит на постели свое совершенно голое тело: старческие морщины, почти борозды, обвислые длинные груди и вздутый живот, вялые толстые бедра в рытвинах, — неужели это ее тело? Две молодые женщины, одна из них Лина, мокрыми тряпками, которые они регулярно смачивали в воде с уксусом, налитой в стоящей на полу миске, обтирали ее тело. Все чисто. Тело должно быть чистым. Она всегда соблюдала гигиену. Вымыв ее, женщины забрали миску и вышли, закрыв за собой дверь. Но она за ними не последовала.

Она то зависала под самым потолком, то опускалась, прощаясь со своей комнатой, с вещами, со статуэткой Дон Кихота, с испанским интербригадцем, с книгами, со своим мертвым телом. Ей было грустно, но светло. Отныне, она ясно понимала, это ей предстояла другая жизнь, никак уже не связанная с земной. И вместе с тем, она каким-то высшим разумением осознавала абсолютную ценность оставляемой ею смертной жизни: боль, любовь, радость, труд, мучения и страх смерти. Ей были ясны важность и серьезность Линоиной любви к Тимашеву, и Петиных фобий...

Жалко только, что, когда она составляла единое целое со своим телом, она многого не понимала. Интересно, может ли тело чувствовать что-либо помимо нее? Ясно одно: личность человека не есть простая сумма мозговых, психических движений, Сеченов здесь был не прав — личность обладает таким источником цельности, который не исчезает с разрушением тела.

И вдруг она явственно услышала исходящий из ее мертвой плоти звук. Впрочем, это был почти беззвучный звук, словно выдох какой-то, звук распадающейся телесной ткани, невнятный шелест разложения и выход скопившихся в мертвом теле газов. Но для нее этот шелест, этот невнятный звук совершенно от-

четливо складывался в слова. Похоже, что тело высказывало то, что за долгие годы пребывания на Земле его владелица слышала или читала. Так отмерзали слова в романе Рабле. Так и здесь — странный звук превращался в слова.

— Прежде всего, — донеслось до нее, — обрати внимание на то, что надо различать в человеке три стороны: тело, душу (жизнь которой примыкает к жизни тела) и духовное начало, которое связывает человека с вечностью. Душевная жизнь, хотя и зависит от тела (через восприятие света, цвета, звуков и через другие ощущения), но связана и с духовным началом. Душа стоит как бы между чисто телесной и чисто духовной жизнью.

— Но ведь я и сейчас различаю свет и звук! — воскликнула было она, но тут же осеклась, сообразив, что очень по-особому она различает их, словно бы *помимо* органов слуха и зрения. Все было другое. В самом деле — мыслим ли был в прежнем ее состоянии разговор с собственным телом? Какое удивительное разделение некогда цельного организма на Я и бывшее Я! Но раз уж так случилось, то не могла она отказать себе в причуде — побеседовать сама с собой. И состоялся меж ее *душой* и *телом* прелюбопытнейший разговор.

*Тело:* Ты-то различаешь! А вот я скоро совсем ничего различать не буду. После того, как ты меня покинула. Как мне теперь существовать? Никак. Я уж кое-как смирилось с тем, что не могу больше любить мужчин. Но я было живым. И у меня оставались мои телесные воспоминания. А теперь — все утекает, как вода, как воздух.

*Душа:* Ты хочешь сказать, что мы с тобой жили только для чувственных удовольствий? Но это неправда! Я тебя и себя не щадила во имя идеи, во имя идеала! Я управляла тобой.

*Тело:* А я тобой. Тело сильнее души, как природа сильнее Бога. Природу можно уничтожить, но, пока она жива, она сильнее своего Создателя. Пока ты была во мне, тебе казалось, что ты верховодишь в нашем союзе. Но верховодило я. Потому что я сильнее. Я — твоя крепость, которую ты покинула. Бог помещает душу в тело, надеясь, что душа будет тянуть природу тела к духу, а на самом деле получается так, что душа подчиняется телу. Поясню на примере: человек строит крепость, чтобы защититься, спасти себя от внешних врагов. И думает, что отныне, защитившись, сможет зажить духовной жизнью, реализовать себя. Но не тут-то было: он вынужден все силы тратить на охрану и даль-

нейшее укрепление крепости. Только тогда одну десятую времени он сумеет отвести для дел своего духа. Так и жизнь с телом, которое есть великое искушение природы, соблазн для души.

*Душа:* Но я жила во имя идеалов! И ты мне служило!..

*Тело:* Ты повторяешься. Лишившись меня, ты стала незащищенной. И в нашем материальном мире пропала бы. Остроумия в тебе маловато: сплошная возвышенность. Хотя весь парадокс в том, что оба мы с тобой всегда были материалистами. И ни в какую такую душу не верили. Эй, может тебя и нет? И не было?

*Душа:* Я была и я есть. И я готова была сгореть во имя идей. Хоть и была, как ты говоришь, материалисткой.

*Тело:* Сгорю я. В крематории. Уверяю, что тебе тоже будет больно. Мы еще с тобой связаны. Если б я сгнило в земле, ты бы рассталась со мной на сороковой день время моего окончательно-го распада. А так ты со мной окончательно расстанешься завтра.

*Душа:* Я с тобой уже рассталась. Я никогда не жила ради тела. Никогда тебя не ублажала и не холила. Готова была на любые трудности и беды.

*Тело:* Ну, конечно же! Только за мой счет. Но и тут я готово с тобой поспорить. Или у тебя не было мужчин? Ведь ты с ними проводила время не ради зарождения новой жизни, новой души, а для моего и, стало быть, твоего удовольствия. Мы же были едины. Ладно, ладно... Это я над тобой зубоскалю, хоть челюсти у меня давно уже искусственные. Я знаю, что ты старалась жить для идеала. Но я-то хотело совместного с мужчиной одеяла. И, признайся, что я доставило тебе немало прекрасных переживаний. Жаль только...

*Душа:* Что жаль?..

*Тело:* Жаль, что мы рождаемся вместе, вместе живем, любим и страдаем, а потом ты получаешь жизнь вечную, а мне — капут, опять соединяюсь с природой, пропаду навсегда. А я бы с удовольствием еще поуправляло тобой, поглумилось...

*Душа:* Все же ты преувеличиваешь свою власть надо мной! Да, я смотрела твоими глазами, слушала твоими ушами, осязала твоей кожей, наслаждалась через тебя соитием с мужчиной, но искала я прежде всего духовной близости! А ты мне просто служило, чтобы мой избранник, увлекшись красивым телом, влюбился потом в душу. Ты — не более, чем слуга!..

*Тело:* Ну положим! Твой избранник брал меня, а не тебя, и находился в этом удовольствии. Скажи, ведь ты хотела жить только

велением духа, ради добра, не так ли? Но нужен ли тебе был брак с Исааком ради вашей пресловутой духовной близости?! Нет уж, ты под моим влиянием много раз давала себе поблажку, тешила меня. Ну, не расстраивайся, правит всегда слуга. В стране, из которой мы оба уходим: я — в никуда, ты в другую жизнь, — кто правит? Не те ли, кто должны служить? *Служи народа...* Уверяют, что во имя народа, во имя народных идеалов. А тебе они кидали кусочек, кроху от своих привилегий — паек, санаторий в Барвихе — и ты молчала!.. Но ты можешь вообразить, сколько благ имеют они, все эти Паладины и Тыковкины!..

*Душа:* Это ты у Тимашева, Лениного возлюбленного, такие мысли и рассуждения усвоило...

*Тело:* Ну и что? Я свое беру, где можно. Это ты скоро будешь обладать высшим знанием. Для меня смерть стала мукой, а для тебя излечением, освобождением, ибо, пока ты во мне заключалась, мысленного и внутреннего не способна была видеть. Ведь для тела только внешние различия существуют: пол, мужской или женский, цвет волос, возраст, форма черепа и носа, нация, социальное положение... *А там,* я думаю, ни высоких, ни низких не будет, ни черных, ни белых, ни тонких, ни толстых, ни русских, ни рыжих, ни лысых, ни кудрявых, ни русских, ни евреев там не будет, ни хромых, как Тамерлан, ни сухоруких, как Сталин, ни бесноватых, как Гитлер, ни одноногих, как пират Сильвер, ни также прокаженных, согбенных, одноглазых, одноруких, слепых, горбатых, даже картавых, как Ленин, не будет, ни косноязычных, ни шепелявых, ни мудрых, ни глупых, ни старых, ни юных, ни рабов, ни свободных, ни варваров, ни скифов. Там не будет ни мужчин, ни женщин, ни детородных органов мужских и женских для соития блудного и скверного, никаких! Но — иное все, совсем иное, бессмертное, вечно живое и нетленное, непричастное печали и скорби, всяких хлопот и забот, с жизнью связанных. А потому войн и раздоров не будет, страданий не будет...

*Душа:* Вот видишь, и ты согласно, что все зло от преобладания тела над душой...

*Тело:* От того, что душа не может совладать с телом!.. Ты ненавидела варварство. Но варваром руководит тело и природа, он ее часть, потому и разрушает цивилизацию, где природой правит дух. Но варвар ненавидит и губит цивилизованного человека, а цивилизованный не уничтожает природу, он ее культиви-

рует, чистит, моет, заставляет соблюдать гигиену... Надо отдать тебе должное, ты держала меня в порядке, соблюдала диету, делала каждое утро зарядку!.. Но и ты, хоть и была сильной, слишком меня жалела: жаловалась, стонала, просила о помощи... Даже жертву просила принести, чтобы выкупить меня из мук и боли! Спасибо, конечно! И все же похвалиться независимостью от меня ты не можешь. Это ты еще вспомнишь, когда ощутишь мои муки в крематории. Ха-ха!

*Душа:* Что ты так злорадуешься?

*Тело:* А мне обидно, что я навсегда исчезну, а ты за то, что переживала, трудилась, не ленилась, мучилась, не спала, небось, еще и в свет попадешь... Эх! Еще бы час жизни!.. Но нету чудес, и мечтать о них нечего. Поэтому прощай, и если навсегда, то навсегда прощай!

*Душа* Тело мое, тело! Почему мы стали в разладе?

В ответ — ни звука.

Тело лежало неподвижно, а ее вдруг закрутило, как перышко ветром, но мягко, без насилия, ей самой было приятно это вращение, а затем стало засасывать в какую-то длинную цилиндрическую трубу. Ее несло по этой трубе в абсолютной черноте, страха при этом не было, прошла досада от беседы с телом, снизошло ощущение полного покоя, свободы и мира. Тьма была кругом, и ее со свистом влекло сквозь тьму, сквозь темную пустоту, где она парила и даже кувыркалась, как счастливая девочка во сне. Никаких тревог. Потом впереди замаячил яркий свет. Как долго она летела этим черным цилиндрическим коридором, она не знала; времени тут как бы не существовало. Свет становился все ярче и ярче, пока не достиг неопишуемой яркости, которая, однако, не слепила, не мешала видеть *других*, мелькавших в конце тоннеля. Ей показалось, что она узнала Исаака, внука Яшу, Лидию Алексеевну, Федосеева. И все они были рады ей.

Потом они исчезли, и все заполнил собой свет, исходивший из кого-то похожего на человека, хотя и не человека. От света исходило тепло и ощущение добра. Все звуки исчезли, только вдали раздавалось что-то похожее на скрипку. И *светоносный* обратился к ней, но не словами, не на русском, не на французском, не на испанском, а прямо, минуя языки, но так, что смысл его вопроса был абсолютно ясен. «Что же ты в жизни сделала? — спросил он. — Давай посмотрим», — добавил он ласково.

И перед ней замелькали картинки из ее жизни, они жили и двигались, и она в них была участницей, но вместе с тем смотрела на них как зритель, как сразу после смерти стала смотреть на Лину и Каюрского. Она очутилась в своем детстве и одновременно видела себя и всех остальных как бы со стороны. Она видела задумчивого, широкоплечего отца с книжкой Сармьенто в руке среди баулов: они готовились к бегству в Аргентину. Видела ранчо, где они жили, видела гаучо-убийцу и мертвое тело работника. И себя, испуганную, маленькую, плачущую. Потом Таню, дочь попа, которую она вовлекла в *организацию*, и смерть Тани в тридцать седьмом году на полу камеры, запачканной кровью и испражнениями. Да, здесь был ее грех, почувствовала она, но почувствовала и то, что *светоносный* не осуждает ее, а жалеет. Потом мелькнула тюрьма, их хождения из камеры в камеру, песни, ее первый муж. Опять особо выделилась сценка ее пропаганды среди солдат, а затем она увидела их расстрел. Но она не хотела этого, видит Бог! И снова чувство своей вины и греха, а также ощущение жалости и добра от смотревшего с ней вместе ее жизнь. Потом Исаак, его жена Лида, и ее собственные мучения и терзания в маленькой комнатке в Буэнос-Айресе, когда она совсем было решила порвать с Исааком, чтоб не увести его из семьи. И почувствовала одобрение от находившегося рядом. Счастье и муки их с Исааком брака: он чувствовал себя виноватым, она тоже. Опять Россия, затем Испания, снова Россия. Ее неусыпные заботы об Исааке и горение на работе, вера, что своим словом она воспитает людей, преданных идее счастья человечества, освободит их от дикости и варварства. Сколько глупостей она говорила тогда! Верила ложным вождям! И длительная болезнь-умирание, когда она пережила мужа и всех друзей.

Ей стало стыдно за так нелепо прошедшую жизнь: ничего она не достигла, ничего не совершила. Она не решалась взглянуть на *того*, кто прокрутил перед ней все эти картинки, потом осмелела, потому что исходило от Него чувство мира, покоя, понимания и прощения. И снова в нее полились Его не то, чтобы слова, но нечто высшее, что она могла перевести так на язык слов: «Что человек желает другому, то сам после своей физической смерти и получит. Ты никому не желала зла. Ты даже добра хотела другим, ради этого старалась жить. У тебя была боль за угнетенных и обездоленных. Это многого стоит. А самообманы присущи человеку, они часть его природы. Ты заслужила свет, где ты встре-



тишь своих близких и любимых. Больше я тебе пока ничего не сообщу».

Ее охватило чувство невыразимого счастья. Она теперь знала, что всем, кто носил в себе хоть крупицу добра, будет даровано прощение и свет, светлое сияние. И еще одной стороной чудесно прояснилась ей ее жизнь. Огромная — по земным понятиям: и во времени, все же девяносто лет прожила, и в пространстве: Юзовка, Одесса, Петербург, Харьков, Брюссель, Лозанна, Париж, Буэнос-Айрес, Монтевидео, Москва, Мадрид, Валенсия, опять Москва... Говорила на трех языках, знала сотни, даже тысячи людей. Чувствовала себя человеком, делающим великое дело, работающим ради всеобщего человеческого процветания и добра. Дело не получилось, все прошло, идеи, ради которых она жила, стали раздражать ее прагматичных близких, да и сама она стала более прагматичной. Но сейчас ей было ясно, что так бывает с каждым большим делом. Существует в человеческой истории прилив, затем отлив, но, отдохнув, люди снова вернутся к тому, за что она боролась, чем жила. Так будет!

«Я должна проститься с моим телом», — подумала она.

И сейчас же получила ответ: «Лети. И возвращайся».

И снова какой-то странный вихрь повлек ее. Все обесцветилось, сияние осталось позади, ее крутили бурунчики воздушных водоворотов. Казалось, длится ее полет вечность и вместе с тем не более одного мгновения. И она опять очутилась в комнате, где на диване лежало восковое тело, уже *подвергшееся заморозке*. У дивана на стуле сидел Петя. Видно ей было, что страх терзал его и что он недавно плакал.

\* \* \*

Раздался телефонный звонок. По привычке она вздрогнула, встрепенулась и через секунду с девичьей, воздушной легкостью была уже у аппарата. Но спохватилась и, сообразив, что не может снять трубку, отплыла в сторону, уступив дорогу внуку.

— Алё. Лиза? Конечно, приходи. Какой у меня голос? Нормальный. Еще что случилось? Разбился друг отца. Упал с балкона. Как? Откуда я знаю. Упал, и все тут. Илья Тимашев, я тебе про него рассказывал. Линин любовник, — грубо говорил внук. — Одно к одному. Мне его жене позвонить надо, сообщить. А я боюсь. Чего я жду? Подожду, пока гость из Пятидеся-

той больницы позвонит. Ну, наш гость, бабушкин, ну тот, что, за мной в школу приходил. Они вместе с Линой Тимашева в больницу повезли. Откуда же мне знать, есть ли шанс. Приходи, вместе подождем. Почему в Пятидесятую? Просто оттуда «Скорая» приехала. Похороны? Вроде бы завтра.

Девочка не задержалась, быстро приехала. Она видела ее в первый раз. Раньше Петя ее в дом не приглашал. Она с любопытством ее рассматривала. Челка на лоб, тонкая талия, ноги длинные, бедра широкие: сумеет когда-нибудь хорошо рожать. Если жизнь ее не прервется до того, когда эти ее способности ей понадобятся, — с неземной отрешенной мудростью думала она. Девочка очень волновалась за Петю, это было написано на ее бледном лице. Смотреть было неловко и трогательно. Она хотела защитить Петю, эта девочка. Впрочем, какая девочка!.. Уже взрослая, созревшая, уже любящая милая девушка... А Петя боялся. Боялся мертвого тела своей бабушки, боялся звонить жене рухнувшего с балкона бородатого дурака... Она знала, что обычно, когда внуку бывало не по себе, он читал биографию Эйнштейна, успокаивая себя, равняя свою жизнь на жизнь великого ученого, или читал «Эволюцию физики» — книгу Инфельда и того же Эйнштейна, стараясь найти гармонию в описании логики алогичного мира. А тут так сразу приехала Лиза, и ему было не по себе от ее приезда, хотя он был рад, что теперь не один в пустой, как ему казалось, квартире. И еще чего-то ей непонятного он боялся. Да, дети говорили о чем-то непонятном.

— Сволочи, — говорила дивно сложенная, высокогрудая, перетянутая в талии, как оса, девушка. — На поруки его взяли. Но если отец Герца умрет, ему все равно колония. Герц, конечно, психанул, поэтому на тебя и напал. Я с ним после собрания целый час ругалась. Уперся, как баран: «Во главе всякого преступления нужно искать идеолога, — передразнивала она чью-то интонацию. — Может, Востриков сам себе в своем желании не признавался, но тайные его намерения были таковы, какими они предстали в исполнении Желватова». Герц все на Достоевского ссылался, на образ *Ивана Карамазова*. Вместо того, чтобы самому подумать и посмотреть, — Петя слушал ее молча, его словно озноб колотил. — А сам не сумел быть твердым. Как школьное начальство велело, так и сделал. Я думаю, он на тебе свою слабость вымещает. Народ, видите ли, нельзя ни в чем обвинять. Совсем на русской классике свихнулся. А Желватов —

фашист. Я его знаю. Очень хорошо знаю. Он прикидывается простым парнем. А сделал все сознательно. Я это сегодня поняла. Герц не понимает, что своим прощением он ему только руки развязал, ободрил его. Сам же Герц когда-то смеялся над евреем, хозяином кинотеатра в Париже, у которого Махно работал билетером. Мол, *кого* пожалел!.. А сам!.. Желватов наверняка хотел Герца если не убить, то покалечить. И тебе бы он, конечно, ни слова не сказал, если б знал или хотя бы догадывался, что твой отец — еврей. Они с Кольчатым тогда бы тебе в школе жуткую жизнь устроили, глумились бы непременно. Хорошо, что меньше года осталось учиться...

Петя резко вздрогнул:

— Им как раз времени хватит. Еще жизнь мне отравят. Если вообще не прибьют..

Она с умилением видела сверху, как эта девочка, эта девушка начала гладить ее внука по волосам, по щеке, утешая:

— Не посмеют. И потом я с тобой, не бойся. Мы их преодолеем.

Сверху ей было видно, что эти слова и глажение вовсе не казались ему надежной защитой. И вдруг поняла: он прав. На Пете обрывался, кончался род. Род приходит, и род уходит.. Она видела у него способности Исаака, даже умноженные. Мог и в самом деле прославиться, сохранить память об их роде в истории. Но уже знала: не будет этого. Он себя не реализует. Холодное знание. Но печали не было. У бессмертных душ нет печали, только жалость.

Петю лихорадило:

— Я хочу быть независимым от преступников и от общества, которое их порождает! Хочу быть защищенным, чтобы не бояться их! Чтоб они боялись подойти ко мне! Чтоб бастион славы, чинов, известности ограждал от них, — лепетал он, пока Лизины руки гладили его лицо. — Чтоб быть лицом поименованным и не соприкасаться с ними!

— Бедный ты мой, бедный! Я тебя никому не дам в обиду! Я буду твоей крепостью, твоим бастионом.

Они уже сидели, плотно прижавшись друг к другу на Петинем диване. И речь их с трудом прорывалась сквозь их тяжелое, прерывистое дыхание. Что ж, дай Бог, успеть ему испытать в жизни *это*. И лучше не придумаешь, чем с чистой и любящей. Хорошо, что она, бабушка, спасла его от Лины. Она сумела спасти его, заставила Каюрского дозвониться. Силой воли заставила. Даже перед

смертью сила воли у нее была огромной. Главное для нее было — захотеть. И все получится. И получалось, всегда получалось.

Снова зазвенел телефон. Этот звонок она *не заказывала*. Петя оторвался от Лизы и вышел из комнаты. Лиза осталась сидеть на диване, закрыв глаза. Потом она чего-то испугалась, вскочила, как встрепанная, ринулась на кухню. Услышав Петин разговор, успокоилась. Петя сидел на табуретке перед холодильником и говорил в трубку:

— Да, Николай Георгиевич. Ясно. Я никуда и не собираюсь. А Илья Васильевич?.. Жив?.. Пока что да?.. Понял. Очень плохо слышно, нет, нет, это понятно. Да, всю ночь буду дома. А куда мне деваться? Вы там, в больнице останетесь? Нет? Да, слышу. Возникли обстоятельства. Куда? К какому деятелю? Понял. Завтра вы весь день в Цека. Наверно, справимся. Раз машина приедет. Люди тоже будут? Хорошо. Я понял, вы проследите за этим? А Лина? Понятно. Остается дежурить. Жене Тимашева?.. Позвоню. Всего доброго, — он очень старался говорить взрослым и мужественным голосом.

Лиза села на другую табуретку, вплотную к Пете, обхватив и сжав его колени своими коленями. Сидела, готовая отдать себя, лишь бы помочь. Ее серо-голубые глаза были полны преданности — прямо до слез. И вся она была такая нежная, влажная. Петя сидел, набираясь решимости на какой-то поступок. Наконец, Лизе удалось вдохнуть дух в его грудь. И он набрал номер.

— Здравствуйте. Позовите, пожалуйста к телефону жену Ильи Васильевича Тимашева. Здравствуйте еще раз. Это говорит сын его приятеля Владлена Вострикова. Петя меня зовут. Погодите секундочку! Никто меня не подучил! Не кладите трубку. Бабушка здесь не при чем. Она сегодня умерла... — он повернулся растерянно к Лизе. — Бросила трубку.

В головке у Лизы меж тем нечто мелькнуло. Ласковым, кошачьим голоском, звеневшим от страсти, ластясь, она сказала:

— Постой, а может, и не надо звонить. Ведь тогда жена Тимашева помчится в больницу, а там твоя сестра. Это для них обеих может оказаться ударом. Как тебе кажется?

Петя задумался.

— Пожалуй, — простодушно-испуганно согласился он.

«Ах, простак, — подумала она, восхищаясь и умиляясь находчивости Лизы. — Ведь девочка просто боится, что Лина не вовремя вернется и помешает вам...»

Дети вернулись в Петину комнату.

— И вообще, — мудрым, женским тоном говорила Лиза, — она наверно не очень хорошая женщина. Злая. Понятно, что этот Илья от нее бегал. Женщина должна уметь любить — это главное. Я тебе буду хорошей женой, доброй и ласковой. Если ты, конечно, захочешь на мне жениться. Но я и так буду тебя любить и оберегать...

— Для меня самое главное — это физика, моя наука, — отвечал невпопад внук, слабея и сдавая последние бастионы.

— Я не буду тебе мешать. Я тебе помогать буду. Вот увидишь!

Девочка уже сидела у внука на коленях, прижимаясь, почти вжимаясь в него. А он, чувствуя сладкую женскую тяжесть, млея и тяжело дышал.

Ей казалось, что воздух вокруг детей какой-то вязкий, плотный, словно она в воздухе, а они в воде двигались. Лиза соскочила с его колен, отошла к столу, засмеялась манящим смехом. Он неуклюже потянулся за ней. Она видела их неловкие движения: они то тянулись друг к другу, то что-то заставляло их отпрянуть друг от друга — будто пугались самих себя. Впрочем, девочка пугалась меньше, да и вообще была активнее: как рыбка-самочка металась она, то толкая, то поклевывая робкого самца, и, задорно плеща плавниками, уплывала в сторону — но недалеко, ограничиваясь стенками аквариума, как Лиза стенами комнаты. Наконец, набегавшись, наигравшись, они снова очутились на Петиним диване.

— Я не боюсь смерти, — Лиза сделала пленительный жест рукой, словно отменяя этот страх и от себя, и от Пети, — хочется только, чтобы не просто так, а за любимого умереть. А перед этим кому-то жизнь дать... Но это потом, потом. Сейчас тебя любить...

— А я боюсь мучений и бессмысленной смерти, боюсь умереть, ничего не совершив, — раскрывался перед возлюбленной ее внук. — И пока существуют такие, как Желватов, этот страх у меня непреодолим. Откуда только такие берутся?! Словно часть гуманоидов через неандертальцев и кроманьонцев доэволюционировала до людей, а часть осталась дикими зверями, хоть и в человеческом обличье.

— Откуда? — переспросила Лиза, вскинув на него голову. — Да оттуда. Из нашей жизни. Гуманоиды тут не причем. У нас на Буграх в соседнем доме мать-алкоголичка за бутылку свою дочь почти каждый вечер предлагает. С тех пор, как девочке десять лет

исполнилось. Сейчас ей тринадцать, но она уже привыкла. Мы ее хотели спасти, а она все отрицает, хочет с матерью остаться. А Зойка Туманова? Ей четырнадцать было, когда ее пьяный родной дядя изнасиловал. А потом тоже привыкла и год с ним жила, пока он по пьяному делу под машину не попал. А мать молчала, потому что этот дядя, родной брат ее умершего мужа, и с ней спал. А потом уж за Зойку Серега Длинный с Бугров взялся, а теперь — Желватов. Я знаю, знаю, она в тебя влюблена. Но неужели тебя может привлекать такая грязь! Еще и после Желватова!..

— Ты что — с ума сошла? — искренне удивился Петя, который и помыслить не мог о таком.

— Забудь Зойку. Нельзя брать женщину из-под Желватова, — ревниво и с детской ригористично-очаровательной серьезностью сказала Лиза.

— Ты сама с ним в кино ходила, — поддел он ее.

— Знаешь — все-таки разница! И что же, что ходила! Мне любопытно было. Ревнуешь ты напрасно. Он полез ко мне, но получил по морде и убрался. Так что не ревнуй, глупенький мой.

Она видела (хотя слово «видеть» включало теперь для нее и много других смыслов, не только способность видеть, но и чувствовать, постигать как бы изнутри, что переживает тот, кого она видела), что Петя возбужден, ничего и никого, кроме Лизы, не замечает. Она понимала, зная эту породу, этих Рабиных, что, переспав с женщиной, они принимали на себя ответственность за ее судьбу, вступали в брак. А похоже было, что Петя сегодня не устоит. Ночь смерти всегда чревата соитием и зачатием.

— А если я тебя разлюблю, и мы разведемся?.. — беспокоился Петя.

Они уже полулежали, и он гладил ей колено.

— Ну и что? Вон Гиппо, когда я к Таньке заходила, в ногах у меня валялся, говорит, что не любит больше Таньку, что уйдет от нее. Ну и пусть, зато у Таньки маленький есть. И у меня будет. Но мы с тобой хорошо будем жить, я тебе обещаю. Ты сделаешь великие открытия. И прославишься. А я не допущу до тебя никаких Желватовых. Я тебе всегда буду нужна.

Движения их стали совсем плавные и вязкие, словно слиплись они и не отлепить, не отклеить их друг от друга. Они уже готовы были влиться один в другого. Одежда им мешала. Петина левая рука расстегивала пуговицы на брюках, а правая глубоко-

ко залезла ей под платье. Девочка томно прижимала его голову к своей груди, не останавливая его руки...

Надо было оставить их вдвоем, и она вылетела в свою комнату, легко пройдя сквозь стену. И зависла над своим мертвым, восковым телом. Одетое в парадный темно-синий костюм, с наградными колодками с левой стороны, оно показалось ей ужасно старым. А ведь как она была когда-то хороша!

\* \* \*

Сколько времени она предавалась медитации, трудно сказать. Она сама не знала. Звонок в дверь нарушил ее мысли. Как испуганная птица, выпорхнула она в коридор, в прихожую: та же ободранная изнутри входная дверь, подставка для башмаков, которую она купила некогда, шкаф с верхней одеждой. Из Петинной комнаты слышался поспешный шорох. Выскочил растерянный внук, без майки, в брюках без ремня и тапках на босу ногу. Следом, готовая к его защите, Лиза в платье, не перетянутом поясом и тоже босая. Петя открыл дверь. Лиза дышала ему через плечо. Вошла Лина. Ее большие глаза мрачно глядели перед собой, никого не видя. Волосы не причесаны. Бледна.

— Ну что? — спросила Лиза.

Петя не догадался спросить.

— Илья умер, — ответила почти беззвучно и пошла в свою комнату.

Дети потащились следом. Лина села на тахту, закурила. Ее тело было каменное, застывшее какое-то, будто ее морозил заморозчик. Дети переминались у двери, не зная, что сказать, не умея еще выражать сочувствие. И полны они были *другим*. Да и что тут скажешь! Лина затягивалась дымом, словно хотела опьянеть от него, напиться, как водкой.

Потом она заговорила, но лучше бы молчала — так это было мучительно слушать. Но и молчать Лина не могла.

— Я во всем виновата. Я — и никто другой. Подлая! Я любила его, а хотела еще радости от жизни. А жизнь — жестокая. Я думала, что, может, и мне, как Розе Моисеевне, как нашей *бабушке*, повезет. Она же увела чужого мужа — и ничего, обошлось. Илью в коридоре положили. В палате мест не было. Поставили капельницу, но так равнодушно, так равнодушно! Капельницу еле Каюрский выбил. Без него вообще бы ничего не стали делать.

Дежурному врачу наплевать. Типичный «совок». Он все одну из сестричек щупал. И как только Николай Георгиевич ушел — у него какое-то срочное дело образовалось, но он перед этим всюду дозвонился, по поводу бабушки, я имею в виду, с постели секретаря парткома Института поднял — лекарь этот свою пассию подхватил и наверх куда-то двинулся, а оставшейся медстерве свидетельство о смерти, уже *подписанное* им, сунул. «Час смерти проставишь», — сказал. И пошел. А я как онемела. Слова сказать не могу. Сажу около койки и плачу. А обстановка!.. В больнице ремонт, краской пахнет, белилами, грязь, куски потолка обвалились, какая-то дранка видна, кучи мусора и щебенки по углам. И тут же хирургические больные! Люди под капельницами лежат. Кто стонет, кто бредит. Проклятая Совдепия! А меня все эта оставшаяся медстерва пыталась выжить. Ей тоже спать охота, а неловко, пока при умирающем кто-то сидит. Она все в ординаторскую бегала: то на полчаса, то на час. Вернется, на Илью глянет — еще жив! — и ко мне: «У нас не полагается ночью родственникам присутствовать. Правила почитайте! Так что приходите завтра утром, вам доктор скажет о состоянии больного». А он уже сказал! Илья все время без сознания был, с закрытыми глазами лежал, а может, просто открывать не хотел, меня видеть не хотел. Ведь это я его убила. Я! Я! Оправдывать меня не надо, я оправданий не ищу. А что знаю, то знаю. Я и жена его. Он от жены-то бегал, потому что ему заботы, внимания не хватало. Ласку и нежность искал. А от меня тоже одни упреки. Мужчины ведь слабее нас, вы это, Лизонька, запомните. Им поддержка нужна, опора.

— Я это знаю, — прошептала Лиза, прижимая к себе Петину руку.

— А женщины — они, как кошки, живучи. Я это по себе знаю. Вот он умер — умер! а я, подлая, жива. И даже в обморок не упала, и потом и плакать перестала. Целехонькая! И слова уже произношу, говорю что-то! Я эгоистка. Потому что не поняла, что ему я нужна вся, целиком, чтобы он мог найти во мне поддержку: он не смог и погиб, — Лина выглядела резко постаревшей, почерневшей, зато нос уздечкой побелел смертной белизной, все его хрящики отчетливо обозначились, в глазах застыли боль и безумие, губами двигала с усилием, но слова артикулировала отчетливо. — Сломала ему жизнь. А все потому, что прежде себе сломала. Хотела от жизни радости. О себе все думала. А жизнь — труд.



Только сейчас это поняла. Поздно поняла. Трудиться не умела. Я на своем замужестве обожглась, а все равно ничему не научилась. Стала по-прежнему ждать принца, который из моей жизни делает сказку. Ждала принца, а какой Тимашев принц!.. И хотела его удержать, и одновременно не очень. Сама не знала, чего хотела. Может, в этом и время виновато. Я ведь «дитя хрущевской оттепели». Казалось, что вот-вот развернется сияющая жизнь, сама собой, без наших усилий. Дурацкое время и дурацкое место, в котором мы живем. Как сказал бы Илья, *внекультурное пространство*. А теперь он вот умер. И навсегда замолчал, — лицо ее искривилось, из правого глаза потекла слезинка, потом из левого. А потом она легла на тахту, отвернулась к стене и зарыдала. Дети стояли, переминаясь с ноги на ногу, не решаясь к ней подойти.

Так прошло минут пять. Наконец, Лиза, махнув Пете рукой, чтоб он уходил, легко и грациозно неся свое тело, опустилась на колени рядом с тахтой и положила Лине на плечо руку. Петя продолжал стоять растерянно в дверях.

— Выйди, пожалуйста, — снова сказала ему Лиза.

— Не надо, Петя, не уходи, я и перед тобой виновата, — подняла голову Лина. — Мне от тебя нечего скрывать. — Она тяжело присела на своей лежанке, поджав под себя ноги. Взглянув на ее ноги, Петя покраснел. Никто из живых женщин этого не заметил. А Лиза, слава Богу, и не поняла, о чем говорила Лина, приняв ее слова за бред. Лина больше не плакала. Лицо ее было смятым, перерезанным морщинами, красным, глаза запали, нос уздечкой стал некрасивым, каким-то даже жалким, заострился. — Лучше бы Илье со мной не встречаться, — запричитала она. — Я ему только несчастье принесла. Оставаться бы ему лучше с женой и сыном. Был бы сейчас жив, — она снова судорожно всхлипнула.

— Да вы полежите, постарайтесь уснуть, — сказала Лиза. — И завтра на похороны вам ехать не надо. Мы с Петей справимся.

— Нет-нет, я поеду. Одна я совсем с ума сойду. Надо что-то делать. Мне еще до похорон Ильи надо продержаться. Проститься мне с ним, конечно, *не дадут*. Так хоть в стороне постоять, из-за угла на него последний раз глянуть...

Чтоб снова не зарыдать, она вцепилась зубами в сгиб большого пальца на правой руке. Стискивая зубы, хлюпя носом, она раскачивалась, словно молилась. Так продолжалось минуту или две. Глаза опять стали набухать слезами. Но вдруг она решитель-

но, выдернула руку изо рта, вытерла лицо от слез и, собравшись с силами, произнесла, выговаривая слова так, будто с трудом проталкивая их через гортань:

— Похоронная машина придет в девять утра. Они перенесли время. На ней поедет в крематорий. Кремация в одиннадцать тридцать. Из Института будут представители от кафедры и от парторганизации. Каюрский все устроил. Он и венки заказал. В восемь утра домой принесут. Так что идите спать. Завтра рано вставать, надо успеть одеться и подготовиться. А я пойду попрощаюсь с *бабушкой*. Мне с ней надо как следует проститься.

Лиза встала, взяла Петю за руку, и дети безропотно удалились в свою комнату. Лина слезла с тахты, подошла к зеркалу, посмотрела на свое почерневшее, опухшее лицо, потом тяжелыми, *старческими* шагами двинулась к ее мертвому телу. Она тоже вернулась к себе. Тело продолжало лежать недвижно, восковое, отдающее в желтизну. Лина села рядом, застыла. Долго так сидела, более неподвижная, чем мертвое тело. Начала бормотать неразборчиво, причем неразборчивость, неясность была не в словах, а в мыслях. Замахнулась на тело рукой, но ударила в грудь себя, бросилась перед телом на колени, прижалась к нему лбом, отшатнулась, снова склонилась, принялась целовать мертвые руки, приподнялась, поцеловала застылые ледяные губы. Снова замахнулась. И снова упала на колени. Эта безумная пантомима продолжалась до утра.

\* \* \*

Синий автобус, на котором привезли гроб, стоял во дворе перед подъездом. Около него толклись люди: криворотый и кривобочный Саласа вместе с широкоплечей девицей в пиджаке, приходившей брать интервью, стояли у задней стенки автобуса; мамы с детьми, придерживая их, все же не уходили далеко, живо интересуясь происходившим; старухи, снявшие с привычного места, сгрудились на пространстве между капотом автобуса и подъездом; пузатый шофер сидел на лавочке и курил «Дымок». Стояла прислоненная к стене дома крышка гроба. Рядом с ней средних размеров венки на проволоке, повитой искусственными цветами, среди цветов была пущена красная лента: «Память о верном коммунисте-ленинце навсегда останется в наших сердцах. От парткома, ректората и товарищей по работе». Старухи тихо, но с видимым возбуждением перебрасывались репликами:

- В «Правде» про нее некролог пропечатали.
- Значит, заслужила.
- А все равно народу немного.
- Ну, она, слава Богу, всех пережила.
- Все туда сойдем.
- А сын?
- Давно не видать.
- В Праге он. Говорят, с инфарктом слег.
- Молодые непочтительные стали, невежливые.
- А жилец-то, ну, не жилец, а тот, бородатый, который к Лине этой ходил, вчера насмерть разбился?
- В больницу увезли, живой еще был.
- Все равно помрет. Так сверзиться!..
- За собой утащила.
- О покойниках нельзя так говорить: накажут.
- Она и при жизни мало кому добра принесла.
- Эвон. Петя сколько болел. Мать его считала, что от нее.
- Потому что Роза Моисеевна ба-цил-ло-но-си-тель-ни-цей была. Дифтеритом заражала. А старший Петин брат тоже неизвестно отчего помер. Петю уж мать как оберегала! И все одно — болел! — пояснила с присвистом дышавшая, как и ее пуделиха Молли, необъятная Меркулова.
- Вся их нация такая, у этих Моисеев, — поддержала вдруг уличное отпевание невесть откуда взявшаяся мещанка в дорогой одежде, с любопытством в крошечных глазках слушавшая пересуды. — Заразная нация. Мне покойный муж всегда говорил, чтоб я к евреям не подходила: могут заразу надышать. Такая уж у них ненависть к ним, к русским людям.
- Все может быть, — была здесь и усталая жена бывшего ректора Института. — Не гляди, что они вежливые. Их, я думаю, учат вежливости, чтоб нас, дураков, обманывать.
- Это точно, — согласилась мещанка. — Русский мужик спроста, как свинья, в своей грязи валяется, да еще наблюдает кругом. Матерится и дерется. А эти всегда в порядке, никогда Хаим своей Саре грубого слова не скажет. Такая уж хитрая нация.
- Не поняв осуждающего тона, ввязалась в разговор старая Матрена, закончив его на жалостливо-идиотской ноте:
- А я и то скажу — гордая и сильная она была, наша Роза Моисеевна. И всего-то месяц прошел, как я у ней сидела и с ней говори-

ла. Она сама себя сильной считала. «Вот я сильная, а болею», — мне говорит. А я ей: «И сильный помрет, и бессильный помрет» — «И сильный?» — спрашивает. «И сильный, так Бог велел», — я ей рассказываю. Не хотела мне верить. А вот по моему вышло, померла.

Из подъезда вышли Петя, Лина и Лиза. К ним кинулся Саласа, прихрамывая и кривя рот в гримасе, за ним семенила широкоплечая молодка-журналистка, дежурно-привычно ухмыляясь во весь рот. Пузатый шофер поднялся со скамейки, бросил сигарету на асфальт, подумал, поднял и, погасив о стоящую около скамейки урну, спрятал в карман.

— Ну вот и скончалась, наконец, наша дорогая Роза Моисеевна, — приподнятым тоном, который должен был означать сочувствие, с напряжением ворочая языком в кривом рту, сказал Саласа. — Приношу вам свои соболезнования от лица кафедры, парткома и месткома. А Владлен Исаакович так и не приехал? Жаль. Мать так его ждала. Ей было бы приятно увидеть сына на своих похоронах.

— Ей уже все равно, — сухо и зло отрезала Лина.

— Ну, это... вы ж поняли что я имел в виду, — задвигал виновато языком Саласа, косясь подозрительно на широкоплечую журналистку в пиджаке. — Я ж материалист и понимаю.

Заметавшийся Саласа сунулся в автобус, проговорил:

— Гроб подавайте, а мы принимать будем.

Шофер поднял заднюю стенку автобуса и стали видны фигуры трех мужчин, старательно выталкивающих гроб на улицу, а здесь его принимал на себя Саласа. Одного из них она помнила, он был член парткома, персональное дело которого по поводу неуплаты партвзносов со второй зарплаты ей пришлось разбирать. Одет он был добротнo, в хороший костюм, хотя и отечественного производства. Другой — крепкий парень с открытым крестьянским лицом, усеянным угрями. Как она поняла из разговора — староста курса и секретарь комитета комсомола. Похоже было, что парень изо всех сил тянул общественную работу, надеясь остаться в Москве при Институте. Третий — тощий, с костлявым, выпирающим носом, волосы — ежиком, казался типичной «шестеркой», посылаемой на все мероприятия. Выпрыгнув из автобуса, он, заглядывая искательно в глаза Саласе, перехватил у него гроб, держа его на весу, пока его коллеги спускались на землю, чтобы помочь ему. Затем вчетвером, вместе с Петей, они понесли гроб вверх по лестнице.

— Так в Институт не едем? — спросил стоявший рядом шофер. Таскать тяжести в его обязанность не входило.

— Не поедем, — неуклюже шевеля языком, но сохраняя начальственность тона, ответил Саласа. — Народу на панихиду не собрать, — зачем-то пустился он при этом в подробности. — Неудобно будет перед родственниками, они к тому же и не связаны с Институтом. Им это все ни к чему, не нужно.

И повернувшись к широкоплечей журналистке и Лине с Лизой, сообщил не без гордости:

— А для морга я речь составил. По старым поздравлениям.

И вот ее тело в деревянном ящике вынесли, накрыли крышкой и засунули в автобус. Шофер сел за руль. Остальные разместились на сиденьях автобуса около гроба. Саласа, сидящий рядом с женщиной из институтской многотиражки повернулся к родственникам, считая своим долгом произносить слова:

— Я Розу Моисеевну иначе, чем на трибуне, иначе, чем пламенным оратором, и не представляю. Она и лекции студентам читала пламенно, прививала с юности правильное мировоззрение, чтобы, как она говорила, наука у нас стала орудием переустройства и преобразования природы в интересах трудящегося народа. И с ней ее ученики делились всегда самым сокровенным. Я сам ее ученик. Жаль Николая Георгиевича Каюрского сейчас с нами нет, его по важному делу в Цека пригласили, он тоже ее ученик, мы с ним вместе учились. Но он всегда такой резкий был, спорщик. Зато у него и жизнь непросто сложилась. Но сейчас он выправился. Я его даже домой к себе пригласил.

— А что же Ильи Васильевича здесь нет? — томно спросила вдруг журналистка, перебивая Саласу. — Он занят?

— Он в больнице, — за всех ответила Лиза.

— Что-нибудь серьезное?

— Не беспокойтесь, все в порядке, — быстро ответила Лиза, стараясь не глядеть на Лину, но думая, что оберегает ее.

— Он умер, — мрачно буркнула Лина, с нескрываемой неприязнью уставившись в подрисованные тушью и подкрашенные синью глаза газетчицы.

— Эх, жаль! — хлопнул себя по колену криворотый Саласа. — А я для его журнала статью решил подготовить: «Об одном важном аспекте ленинской теории отражения в преподавании сту-

дентам общественных дисциплин». Очень актуальная тема. Еще немножко бы он пожил...

— Но он умер, а потому можете уже не трудиться, — Лина перевела свой мрачный взгляд на Саласу.

— Станный тон, — отодвинулась и отвернулась к окну широкоплечая воздыхательница Тимашева, а Саласа хрюкнул неопределенно, не зная, что сказать.

А автобус катил себе московскими улицами, все ближе пробираясь к окраине города, срезая углы и почти не появляясь на центральных магистралях: Петя не знал мест, где они ехали. Сбоку от него гудел разговор сотрудников Института. Жаловался угреватый малый:

— ... А то русскому человеку и в Москве, своей столице, остаться нельзя. Если и оставят, придется по общежитиям мыкаться. Все жилье евреями занято. Знают, где селиться. Небось, к нам на Вологодчину не едут. Считают себя умнее других, а на самом деле обворовывают всех. Например, ихний Эйнштейн — просто вор. Он работал в патентном бюро и все свои изобретения воровал. Это доподлинный факт. Мне один человек документы показывал...

Петя непроизвольно зажал уши ладонями, чтобы не слушать. Девочка Лиза, не слышавшая их слов, но увидевшая Петин жест, бросила вызывающий взгляд в разные стороны и прижалась к Пете, утешая собой, обещая поддержку.

Между тем автобус подъехал к воротам крематория, где стояло еще несколько таких же автобусов. Все сошли на землю. Саласа и широкоплечая женщина отправились в контору при воротах, мужчины из Института закурили, а Лина, Лиза и Петя стояли, понуриив головы и взявшись за руки. Бедные, взявшиеся за руки дети, они походили на обреченных на заклятие!.. Жестокая жизнь!

Саласа и женщина в пиджаке вытащили из подсобки возле конторы нечто на колесиках, на что надо было поставить гроб с ее телом. Мужчины вынули гроб и поставили на тележку, тележку покатали сквозь ворота по асфальтированной дорожке по направлению к зданию крематория. Катили Саласа и человек из парткома. Петя и угреватый парень шли впереди и несли венки: второй венок был заказан Каюрским и доставлен под утро — «От родных и близких». Остальные тянулись сзади. Лина плакала. Лиза обнимала ее за плечи. Небо было пасмурное, тяжелое. Но ветра не было. У входа в крематорий — кучки людей, ждавших своей очереди сжечь тело

близкого человека. Венки грудились вдоль стены здания. Однако каталки с телами — в прохладном вестибюле крематория. Тележку с ее телом тоже втолкнули в кафельно-мраморное помещение. Преддверие. Прохлада как предварение всежигающего пламени.

— Кто последний? — спросил присутствующих, норовя при этом без очереди, криворотый Саласа.

Оказалось, однако, что перед ними должно было пройти еще три кремации. Мужчины вышли курить. Остались женщины. Остался и Петя, который, она видела это, испугался людей из Института. Как же ему дальше жить?! Он прислонился к стене, и холод мрамора студил его тело, а ему хотелось застыть, самому стать мрамором, — только бы стать недоступным для тех, кто может учинить над ним злодейство, спрятаться от этого мира! Уж лучше камнем быть!.. И она ничем не могла помочь внуку.

Подошла их очередь. Каталку, на которой покоилось ее тело, везли в специальный зал. Поставили рядом с мраморным надгробием, в середине которого находилась железная плита. Гроб на руках перетащили с каталки на эту плиту. Руководила всеми этими действиями женщина в темно-сером костюме. На рукаве у нее была траурная повязка. Каталку увезли, а к мраморному надгробию прислонили два венка. Широкоплечая редакторша институтской многотиражки достала из портфеля помятый букет хризантем и положила в изножье гроба, выполнив тем самым до конца свое общественное поручение. Минуту звучал траурный марш Шопена. Смолкла музыка, и женщина в траурной повязке сказала:

— А теперь предоставляется время для последнего слова об умершей. Кто хочет что-нибудь сказать? Предлагаю не тянуть, потому что времени на церемонию у вас не так уж много, — она посмотрела на наручные часы.

— Бабушка! — вдруг всхлипнув, зарыдала Лина. Она подбежала и обняла, обхватила руками гроб, целуя мертвое тело в лоб, вздрагивая. — Что же теперь будет?! — выкрикнула она.

Распоряжавшаяся похоронами женщина взяла ее за плечо:

— Прощаться — потом. Пока нужно провести официальную часть. От организации кто-нибудь есть?

— Я, — выдвинулся криворотый Саласа и, прихрамывая, пошел к изголовью гроба.

Лина стояла молча, не двигаясь, опустив руки, почему-то сосредоточенно глядя в пол. К ней подошла Лиза и увела в угол,

где притулился к стене Петя. Саласа вынул из бокового кармана пиджака лист бумаги, развернул его и принялся, с трудом выталкивая слова, запинаясь и спотыкаясь на некоторых, читать речь:

— Глубокоуважаемая и дорогая Роза Моисеевна! Ректорат, партийная организация, а также Ученый совет Института горячо сожалеют о вашей безвременной кончине, последовавшей после тяжелой, продолжительной болезни на девяносто третьем году вашей жизни. Являясь членом партии с одна тысяча девятьсот пятидесяти года, более сорока лет своей плодотворной жизни вы отдали педагогической деятельности в стенах нашего Института. Как один из представителей старой большевистской гвардии, вы всегда являлись образцом преданности идеям марксизма-ленинизма, примером коммуниста-бойца ленинского типа. Ваш жизненный путь — беззаветное служение делу социалистической революции, претворению в жизнь великих идей марксистско-ленинской науки. Институт высоко ценил ваши педагогические дарования, богатый опыт пламенного пропагандиста теории научного социализма, умение воспитывать в сознании студенчества коммунистическую идеологию. Ваша страстность и убежденность, глубокая научная эрудиция ваших лекций снискали вам, дорогая Роза Моисеевна, искреннюю любовь и глубокое уважение студентов вашего Института. Вы также проводили и после ухода на пенсию большую идейно-пропагандистскую работу среди профессорско-преподавательского состава Института, помогая нам всем, благодаря вашим разносторонним знаниям, творчески изучать марксистско-ленинскую теорию. Сегодня, провожая вас в последний путь, мы с чувством законной гордости отмечаем, что все последние годы вашей яркой жизни были отданы нашему Институту, ибо все ваши стремления были направлены на благо нашей социалистической Родины, на каком бы участке вам бы ни выпадало работать!

Саласа откашлялся, высморкался, поднял руку вперед и вверх и заключительные слова почти выкрикнул — для торжественности восприятия:

— Дорогая Роза Моисеевна! Сейчас, прощаясь с вами, так сказать, провожая вас, мы все клянемся последовать неуклонно вашему пути! Спите спокойно, дорогая Роза Моисеевна!

Приложился к ее лбу, вытер губы и заковылял на место. Похоже, что никто не заметил жуткого смысла его слов, кроме Пети, который вздрогнул и оглянулся на Лину, всегда способ-



ную *оценить такое*. Но Лина была в ступоре и ничего не воспринимала. Лиза гладила ее по волосам и что-то шептала, а бедная внучка смотрела в угол совершенно стеклянным взглядом.

Женщина-распорядительница с траурной повязкой на рукаве, торопясь окончить церемонию, сказала:

— А теперь попрошу прощаться. Сначала родственники.

Проблеск разума появился в глазах у Лины, она отстранила Лизу и твердыми шагами первой приблизилась к гробу, поцеловала мертвое тело в щеки и лоб, уже ничего не произнося, только слезы текли по ее лицу. Глядя сверху, в сущности — из другого измерения, она все понимала, понимала, что Лина оплакивает не только ее кончину, но и свою пропавшую жизнь. Подошла Лиза, поцеловала, поправила покрывало и за руку увела Лину. Петя приложился губами к ее восковому лбу и быстро отошел. Остальные траурными шагами, слегка наклоняя головы, продефилировали мимо гроба и вернулись на прежнее место. Женщина с повязкой подняла руку.

Снова зазвучал Шопен. Подошли двое рабочих, накрыли ящик с телом крышкой, четырьмя гвоздями приколотили ее, скрылись в сторону. И под музыку железная плита с гробом стала опускаться в медленно открывшийся черный провал, казалось, что в бездну, преисподнюю. Музыка смолкла. Через минуту плита поднялась на свое место.

Она ринулась вниз, сквозь надгробие, сквозь плиту. И увидела груды мертвых тел. Их оттаскивали в особую жароупорную комнату, составляли в пирамиду. Потом подожгли. И вот уже пламя охватило ее тело. На мгновение она ощутила непереносимую боль. А потом боль прошла; она простилась с телом и отныне была навсегда свободна. Она увидела себя в темно-синем небе, земля была внизу, как круглый шар. Пространство вокруг нее сгустилось, почернело и ее опять куда-то повлекло. Теперь она знала, куда. Начиналось новое ее существование. И перед собой она увидела свет, к которому, как теперь понимала, стремилась всю жизнь.

## Глава XXIV

# Последняя возможность свободы

Недвижен он лежал, и странен  
Был томный мир его чела

*А. С. Пушкин. Евгений Онегин*

Пора — пора — пора  
Творцу вернуть билет

*М. И. Цветаева*

**Н**о Тимашев не умер.

Он открыл глаза. Тело было — сплошная застывшая боль. От этой боли, чтобы не умереть, он словно одеревенел. Стал смотреть на свое тело, как на чужое, как на нечто постороннее. Над ним плыл грязно-белый потолок с отвалившейся штукатуркой. Когда болит чужое тело, то боль доносится издали. Свою боль переживаешь, а чужой — сочувствуешь. Сочувствовать легче, чем переживать. Кружилась голова, подташнивало. Поэтому вращать глазами было трудно, да к тому же и бессмысленно: мешала накрученная через подбородок и темя марля, лохмотья которой превратились в шоры. Он мог смотреть только вверх или прямо перед собой.

Он видел: усатый мужик в белом халате толкал, держась за никелированную ручку, нечто, на чем лежало укрытое белой простыней чужое тело, когда-то, когда не болело так, бывшее телом Ильи Тимашева. Простыня, видимо, раньше закрывала и лицо Тимашева, но от движения съехала, освободив глаза и нос, но оставив закрытым рот. «Это санитар», — догадался умирающий про усатого мужика. Был тот санитар пузат — сначала живот увидел Тимашев, затем одутловатые щеки землистого цвета и свисающие жидкие «гуцульские» усы, которые в тот год многие стали носить для придания себе мужественного облика.

Видеть — больше ничего не видел, а слышать — слышал.

Гнусный голос с простонародно-радостным восторгом:

— Опять жмурик у нас образовался! И все, как нарочно, под утро норовят, доспать не дают.

Голос обстоятельный:

— Так-так. Все на каталке этой поедем, дай срок.

Женский старческий, встревоженный:

— Господи! Могли бы не возить мимо больных!

Обстоятельный, со вкусом, поясняя:

— А куда деваться! Не по воздуху же. Ты не огорчайся, мамаша! Что ж делать, что в коридоре лежим! Мест в палатах-то нет. Да и то: сегодня больные, а завтра туда же поедем. Пусть сынуля твой привыкает!.. Это — жизнь!

Тот же старушечий:

— Господи! Зачем вы так?..

Интеллигентный, противный, требовательно-нудный:

— Мама! Мать! Ты болтаешь или за мной следишь? Не видишь, что ли, кого мимо нас повезли! Тебе, наверно, все равно, что твой сын может умереть и отправиться туда же!

— Куда? — всполошенный старушечий голос.

— Куда-куда!.. За кудыкину гору! Туда. Куда мертвеца этого сейчас повезли!

Полумрак больничного коридора тем временем сменился ярким электрическим светом лестничной площадки. Было тихо. Больница еще спала. Тимашев закрыл глаза, но все равно понял, почувствовал, что его завезли в лифт, и на этом лифте он начал падать вниз, туда, где обитают низшие боги русского пантеона: бесы, домовые, ведьмы, кликухи, оwinники, колдуны-чародеи, оборотни, они же волкодлаки, упыри... Лифт остановился, теперь санитар катил Тимашева подвалом с толстыми стенами и низким белым потолком. Глаза его поблескивали, он довольно ухмылялся сам себе, надувая одутловатые щеки и пыхая время от времени ртом. По потолку, уходя куда-то вбок, извивались трубы, как вены, выступившие на натруженном теле. А может, как кишки в чреве.

— Эй! — попытался подать голос Илья.

Молчание. Санитар не слышал, не смотрел даже на него, подмаргивая левым глазом, словно подманивая кого-то, кривя физиономию и прищокивая. Санитар показался ему туповатым *подвальным бесом*, ликующим, что ему в лапы попало мертвое тело. «Неужели гомосек-некрофил?» — леденя от ужаса, подумал Тимашев. Надо было остановить санитаря, крикнуть изо всех сил. Но рот закрывала простыня, а для ослабевшего она была вроде кляпа.

— Эй! Э-гей!

Санитар вздрогнул, остановился, уставился круглыми, бессмысленными и испуганными глазами. И без того землистое лицо еще больше посерело, стало озадаченно-недовольным. Подошел к изголовью каталки, взялся за простыню, чтоб натянуть на лицо Тимашеву. А тот даже пальцем пошевелить не мог, глазом мигнуть... Но язык вдруг шевельнулся.

— К-ку-да е-дем? — еле слышно спросил оживший, не желая ехать в неизвестность, надеясь на человеческую помощь.

Санитар отпрянул, руки опустил:

— У морхг!

— Но я же жив, — прошептал он, уже понимая, что санитар наплюет на его слова, прячась за туповатую свою исполнительность, но лелея какие-то тайные свои цели. Так и есть!

— Сестра сказа-ва у морхг — значит у морхг!

Но, видимо, не дано было Тимашеву умереть не по его воле.

— Вы с кем это разговариваете, Залупенко? — над каталкой склонилось холеное лицо с большими коричневыми семитскими глазами и бородой-эспаньолкой.

— Непослушание проявляет, Заломон Заломонович! Сестра сказава у морхг, а он предписанию возражает. Да я думаю: там доспеет. И дохтор уже свидетельство о смерти подписав и ушев, а Надька-сестра час проставила и велела по-быстрому отвезти, чтоб больных после подъема не травмировать.

— Ты с ума сошел, Залупенко! Разворачивайся — и быстро в реанимацию. Я сейчас приду.

— Да, Заломон Заломонович! Первый раз мне мертвяк с бородой попался! А мне борода от мертвяка ух как нужна! — заныл подвальный бес. — Гховорять, как по мужскому месту клоком мертвой бороды проведешь, то, что твой еловый сук стоять будет — в аккурат на бабье полое место нацелится. Гхы-гхы-гхы!

Но спасительный колдун-чародей был настойчив и, что важнее, — начальник:

— Ах ты, бедолага, — приговаривал он, приподнял простыню и разглядывая изувеченное тело Ильи, — попал! Ну, ничего, укрепим и жилы твои, и кости твои, чтоб не было на теле твоём, ни на костях, ни на сердце ретивом ни болезни, ни крови, ни раны, ни ломоты, ни опухоли. Залатаю. Как новенький будешь!

Так зав. отделением доктор Бляхер, поссорившись с женой, вернувшийся в больницу и совершенно не знавший, чем себя за-

нять, потому что у его любовницы, сестрички этого же отделения, были регулы, спас Тимашеву на время жизнь.

И потянулась длинная неделя забытья, провалов, бреда, переходящего в явь, и яви, переходящей в бред. Может, и впрямь, думал он в секунды просветления, тот и этот свет соприкасаются и взаимопроницаемы? Во всяком случае, в своем бреде Тимашев не мог понять, на каком он свете. Он словно прикован к печке, к русской печке, как расслабленный Илья Муромец, а калик-перехожих не ожидалось, и в ушах звучали Элкины слова: «Ты — типичный москвит, Илья. Ты создан для того, чтобы на печи лежать. Ни на что большее ты не способен!» — «Неправда!» — хотел воскликнув Илья, но не воскликнул, чувствуя, что не может оторваться от печки.

Пахло сушеной аптечной ромашкой, жар и духота печи дурманили его, голова была тяжелая, как от угара. Его рвало, он свешивался через край печки головой вниз. Какие-то девки в зеленых платьях помогали ему, поддерживая его голову, подставляя тазик, а когда он промахивался, убирали с пола его блевотину, мыли некрашенные деревянные доски пола, а потом, делая, как ему казалось, непристойные движения, залезали к нему на печь, обтирали влажными полотенцами его голое, пропахшее вонючим потом тело, теребили — как Марьянка в бане — его бессильный ныне член, от болезненной слабости неспособный к совокуплению, вздыхали разочарованно и тут же, на уступах печки, со стонами отдавались бородатым молодцам — с нахальными и печальными глазами и копытами вместо ног. И Марьянка возникла среди них со своей застенчивой улыбкой, но от товаров не отставала. И почему этим распутным девкам, похожим на русалок, скользким, как рыбы, так нравились эти козлоногие сатиры?.. Некоторых он узнавал: доктор Бляхер, Паладин, помахивавший своей нравственностью, привешенной ниже пояса, усатенький Олег Иванович Любский, восхищенно оценивавший девок и непрестанно трахавший их, как машина, словно в него включен был вечный двигатель, смущенно-довольная улыбка Лени Гаврилова мелькала среди женских грудей и ляжек, взвизгивал лежавший под чьей-то попкой Цицеронов, не способный на большее. Ханыркин кусал, как вампир, девок в шею, пил их кровь, а те только сладострастно мычали. И Боб Лундин, пьяненький, крутился тут же, то гладил девок, то, оставляя это занятие, отмахивался от их зазывных жестов и пел, глядя на Илью:

А теперь тебя нет,  
Тебя нет почему-то!..  
Я хочу, чтоб ты был  
И все так же глядел на меня!

Бежать, бежать надо отсюда! «Убежишь, если царица позволит, — появился рядом с ним Паладин, взлохмаченный, сено в волосах торчит, прямо *овинник* какой-то. — Разрешения у нее спросить надо. Вон она в соседнем помещении на гитаре играет и поет». Точно, пела. Из-за стены доносился голос Элки и гитарный перебор, слова:

Отойди, не гляди,  
Скройся с глаз ты моих;  
Сердце ноет в груди,  
Нету сил никаких.  
Отойди, отойди!

Тоска заполонила грудь. И хоть не здесь она, не среди этой грязи, а все равно рядом, песни поет — царица! Ползком — но убраться отсюда! Добродушный Гомогрей в образе милого толстячка-домового показывал ему рукой, что, мол, дверь открыта. Вперед! Бородатый козлоногий Шукуров дверь придерживал, чтобы не захлопнул кто ненароком. У двери стояла телега с овчинными шкурами, в нее он и влез. Запах был от шкур кислый. Но не долго принюхивался: телега покатила и в момент оказалась на горных отрогах. Пригляделся он, а вместо коней — Паладин, Тыковкин, Вадимов: лихая тройка! Лягаются лошади, между собой грызутся, норовят телегу опрокинуть, а седока в пропасть сбросить. Кое-как упряжь он перерезал откуда-то взявшимся ножом, тройка вдаль помчалась, а телега немного проехала и заскользила с обрыва вниз. Сорвалась! Но нет страха — уж очень долог полет вниз. С балкона, помнил он, сверзился — только раз успел охнуть. Телега мягко спланировала в болото. Раздался чавк, но удержалась телега на плаву, потом стала. Илья огляделся. Болото было, как море, как огромная страна. Настоящая держава кикимор болотных!

Их тут был легион. Скользили по болоту, выныривали из черных окон и снова с бульканьем туда опускались. Красивые, малящие: иные светились, как болотные огоньки, другие темнели

зеленой смуглотой. *Джамбли*, вспомнил он в бреду. Местная фауна, подумал он. *А какого такого места?* Куда-то их несло, словно цель у них была, а телега-плот медленно следовала за ними. Другая планета? Альдебаран? Одно из черных болотных окон вдруг взбурлило, и из него, хлопая по воде хвостом, выполз крокодил. Глаза у ящера горели. Он жадно смотрел на Илью. Но в зубах у него уже была добыча. Телега приблизилась, и Илья узнал неожиданно в крокодилийей жертве человека. Еще ближе! Левка Помадов! — вот кого увидел Тимашев в пасти пресмыкающегося, увидел, дуря от гнилостного болотного запаха.

Левка поднял голову, изогнувшись, и заметил Илью. «Привет! — крикнул он. — Ты понял, что я был прав? Калейдоскоп-то вот он! Крутятся, перемещаются стеклышки-то! Вся наша жизнь — калейдоскоп. История Земли — калейдоскоп! Р-раз — и на Земле господствуют рыбы. Р-раз — и пресмыкающиеся! Еще поворот — млекопитающие. Тряхнем еще игрушку — гуманоиды! Еще — и человек появился. До сих пор не могу понять только одного: кто в этот калейдоскоп смотрит? А теперь смотри, в какой роскоши мы с тобой очутились! Никаких железобетонных коробок! Болото! Да здравствует болото! Долой город! Болото — наша крепость! Знаешь ли ты, что крепь по-древнерусски значит болото?! И только здесь отменен закон калейдоскопа. Потому что болото всегда равно себе. Оно всегда болото!» Крокодил махнул хвостом и снова нырнул, вместе с Левкой в глубину черного проема. И даже в бреду почувствовал Илья, что тоска переполнила его сердце и надорвала душу.

Не может такого быть, чтобы показался ему, предстал в гнусном этом облике — *тот свет!* Там человек обретает свободу, думал он в бреду, а я прикован: то к печи, то к телеге. И тоска не оставляет. Или потому, что в земной жизни не был свободен и независим? А человек родом *оттуда*. И тоска альдебаранца, о которой говорил Ведрин, — это тоска по утраченному знанию, по утраченной свободе. Если на Земле стремишься к свободе и знанию, то и вернувшись в мир духов, мир горний, обретешь искомое. А не стремишься — попадешь в кошмар и бред. Так он думал, придя в себя и лежа в пустой реанимационной. Теперь он знает, как жить. Он постарается!

Больше двух недель пролежал он, скитаясь между жизнью и смертью. Разбился он в середине октября, а перевели его из реанимации назад в коридор пятого ноября, накануне праздника Великого Октября. Врачей не было, пахло лекарствами, сестрич-

ка поправляла ему капельницу, но он ничего не видел: на глазах плотная повязка. Так распорядился доктор Бляхер, чтобы неделю он лежал в темноте: дабы не утомлять зрительные нервы. С кроватей доносился сумеречный разговор:

— А интересно, жмурик наш слышит чего-нибудь?

— Так-так. Глаза у него завязаны, это уж без обмана.

— Молчит. Значит, не очнулся еще.

— Очнется. Скажет: «Здравствуйте, доктор». А тот в ответ: «Я не доктор, я апостол Петр».

Раздался смех.

— Так-так. А то еще, — продолжал обстоятельный голос, — в палату к одному заходит мужик в белом халате. «Доктор, ну как мои анализы?» Беспокоится, как наш философ. А вошедший его линейкой меряет и говорит: «Я не доктор, я здешний столяр».

— Жестокие у вас анекдоты, не дают человеку сопротивляться болезни, — возразил занудливо-интеллигентский слабый голос философа, как догадался Илья.

— Жизнь жестокая, — ответил обстоятельный.

— Народу у нас много, — подхватил простонародно-приблатненный. — Не жалко. Пускай мрут.

— Глянь, а потом не хватит!..

— Не бойсь! Взаймы у Америки возьмем.

— Так-так. А не даст если?..

— Тогда у Китая, их там, говорят, больше миллиарда, — предположил гнусно-приблатненный, простонародный голос.

— Это можно, — согласился обстоятельный. — Китайцы и работники хорошие. А русский Иван работать не умеет. Работает вполсилы.

— Вы должны прекратить такие разговоры. Они не этичны, потому что мы живем за счет мужика, за счет русского народа, — аж взъерепенился занудно-интеллигентский голос, даже забыв постонать перед своей фразой, тон был менторский.

— А ты зайди в пивную, браточек! — поддержал с гордостью за соотечественников приблатненный обстоятельного. — Кто там сидит? Мужики! Наши Иваны! Вся пивная набита. С утра глаза наливаем.

Обстоятельный — задумчиво:

— Так-так. Это точно. Если б у нас все работали, сколько надо, весь рабочий день, то все бы у нас было.



Вмешивается новый голос, раздраженный, сильный, судя по произношению, не московский, слегка окающий:

— А у нас не могут как следует работать! Устроили, например, летом день животновода — все целый день гуляли, пьянствовали, утром похмелялись: вот вам три дня как не бывало! Если бы правительством был, я бы зимой все эти праздники устраивал!

— Так животноводу что? — удивился обстоятельный. — Какие у животновода летом проблемы? Сейчас сено убирают.

— А животноводу сено, конечно, не нужно, — съязвил раздраженный. — К тому же и техника от пьянства гибнет. Не знаешь, что ли, как у нас гуляют? Где день надо, там неделя получается. За комбайн — спяну, за трактор — спяну! А еще и бабы теперь пьют.

— А чего ж ей не выпить, если она мужицкую работу ломит!.. — это гнусоватый, простецкий.

— Ну вы уж скажете! Женщины у нас не пьют! — снова вступил философ.

— Пьют, — решительно крикнул раздраженный. — И мужиков с собой тянут. А как быть? Как бабу одну на пьянку отпустить? Ведь ее любой натянет, подвыпившую-то!

— А чего ей с того сделается? — хихикает гнусоватый приבלатненный. — Тебе дала, и другому мужику дала, и для третьего осталось!

«Растленные мы. Неужели у Элки было что-то с Паладиным? Не может быть! А и может! Ведь ездила с ним на пьянки, и домой он ее однажды в три часа ночи привез, и лица у обоих странные, смущенные были: что-то тогда все же случилось!» Но мысли текли вялые, мимоходные. Илья ничего и никого не видел, он только слышал голоса. А лица мог только воображать, визионерствовать. Хотя и это не очень-то получалось.

Одинокое ему было, неудобно. Неудобно есть больничное пойло почти наощупь, слабой правой рукой, левая чуркой лежала в гипсе. Нести ложку ко рту, обливая супом бинты и рубаху, а запах пролитой и засохшей еды не заглушала даже вонючая мазь Вишневского. Еще более некомфортно было просить сестру об утке или судне, тем более о клизме: его мучали запоры и изжога.

Шли дни. Никто к нему не приходил. Когда он погружался в забытье, перед ним начинали кружиться сухие, осенние листья. Они сыпались на него с шорохом и треском, тревожным и неприятным. Да и листья, если приглядеться, были не просто ли-

стья. Листья-лица. Каждый листок — чья-то физиономия. Лица Элки, Антона, Лины, Владлена, Пети, Розы Моисеевны, Паладина, Каюрского, Гомогрея...

Но кому он нужен? Никто не навещал его. Ни Элка, ни Лина, ни приятели из редакции.

Первым пришел Каюрский.

Громохая, пододвинул к кровати стул, сел, заговорил рыкающим басом, но вполголоса:

— Именно что живы и выкарабкиваетесь, это сейчас главное. Хотя неосторожность — это не смелость, дорогой Илья Васильевич. Я говорил с заведующим отделением. Вас скоро в палату переведут. Вы тут не залеживайтесь. Ваша голова нам нужна. Я ж вам сказал: будем дружить. А друзей в беде не бросаю. У меня, пока вы здесь отлеживаетесь, ситуация поменялась. Я и в Иркутск уже успел слетать снова. И вернуться. Дело в том, дорогой Илья Васильевич, что меня пригласили работать на Старую площадь, именно что в Цека, я теперь зав. сектором там по теории. А вас беру к себе инструктором.

— Я беспартийный, — сказал, зная, что не хочет туда.

— Ничего, вступите, — успокоил его Каюрский. — Поможем. Предстоят большие бои. Все мозги должны быть на учете, — после этих слов в затуманенном сознании Тимашева даже добрейший Каюрский предстал людоедом, которому он нужен как объект поедания.

— Как Лина? Где она? — перевести решил разговор, думая, что не знает Каюрский ничего о Лине.

— Гм. Именно что вынужден вас огорчить. Не хотел говорить. Но врач сказал, что уже можно. Все печальные события скверно повлияли на психику Ленины Карловны. Тогда я ее уберег от этого, но, как оказалось, ненадолго. Она сейчас в психиатрической лечебнице, я был у нее. Дела там плохи, Илья Васильич! Ведет она себя тихо, но никого не узнает и никого не вспоминает. Сидит на постели, в грязном халате, не прибрана, не умыта, все время бьет себя кулаком в грудь и повторяет одно и то же: «Я подлая, я любви не заслуживаю, меня покарать надо». Я, конечно, сообщил ей, что вы живы, но она, мне кажется, не услышала и не поняла.

Илья больше не слышал, не слушал, не хотел слышать, отключился. Как и когда ушел Каюрский, он не заметил. Спустя время очнулся. Донесли слова. Говорил обстоятельный:

— Так-так. Вот и ночь. А сестрички наши сбежали. Я вчера их анекдот слышал. Волк в лесу встречается Красную шапочку, ну, спросил ее: «Ты куда идешь, на елочку?» — «Нет, на палочку», — ответила Красная шапочка, а волк густо покраснел.

Раздался мужской регот.

Вторым визитером оказался Лёня Гаврилов. Голос как всегда жизнерадостный, хотя и старающийся быть грустным, приличествующим ситуации, но все равно — энергия через край:

— Илькец! Ну ты как? Я все твои просьбы помню выполняю. К Элке несколько раз заходил. Ничего, они с Антоном бодры и веселы. Держатся, несмотря на твои, старичок, выкрутасы. Я им курицу принес. Ну, подкормить семью друга думал. Ты Элку знаешь. «А, говорит, помощь пострадавшим при семьятрясенин». Острит, зараза такая. Но ничего, тебя уже не бранит. Так что все обойдется, образуется. Ты давай поправляйся. Раньше зайти не мог, пришлось своим телом кое-кому послужить. *Свое* поправляй, хорошенький мой. Я тебе витаминов тут принес — для бодрости: апельсинов, лимонов. Подпитаешь организм твой ослабевший. Я их рядом с тобой на тумбочку кладу. Хочешь, почишу один? Как поправишься, баньку специально для тебя закажу — через Олега Ивановича. Вместе с гетерами...

Это еще тяжелее было слушать. Значит, Элка приходить не хочет. Вычеркнула его из своей жизни. Будто его и не было. Он не отвечал Лёне, терпеливо ожидая его ухода. Да, терпению он за эти недели научился. От выкручивающегося навыворот сознания душа болела много сильнее, чем тело. Сам виноват. Каждый человек сам творец своего несчастья, часто повторяла Элка, себе и ему напророчила.

Наконец, Лёня ушел. Ушел обиженный на его молчание: человек, искренне его любивший. Но оставались голоса сестер, врачей, больных.

Он мечтал о тишине, а она не наступала.

Из разговоров он узнал, что интеллигентски-занудливый голос принадлежал доценту, преподавателю философии, читавшему этику в Гидромелиоративном институте. Попал сюда философ, пожаловавшись на боли в животе, а когда они прошли и его стали выписывать, мнительный доцент перепугался, не доверяя отечественной врачебной этике, решил, что дела его плохи, дни сочтены, и его выпихивают, чтоб не портить отчетности. Он жаловался, стонал, просил отнестись к себе повнимательней,

требовал, чтобы ночами около него дежурила мать. Его жалобы, когда философ-этик выходил в сортир, комментировал голос обстоятельного насмешника — инженера из МАДИ, как услышал раз Илья: «И вот стонет, стонет, а потом говорит: «Доктор, я не чувствую никакой боли, может, у меня перитонит?» Так вот. А врачиха, Клавдия Захаровна, ну та, толстенная, что на евреечку похожа, ему заявляет: «В таком случае проведем операцию в плановом порядке. Так сказать, профилактически». Тоже не хочет, боится. И то сказать, у них за месяц, что я тут лежу, четверо померли после этой операции. Вот так. Странное дело: вон жмурика нашего с того света вытащили, а на пустяках режут».

Сам инженер лежал тоже после операции. У него была язва двенадцатиперстной кишки, с которой он лет двенадцать маялся, пока осмелился лечь под нож.

Приблатненно-простецкий голосок извергал из себя работяга, токарь с какого-то мелкого заводика. Его привезли с сильными болями, сделали резекцию желудка, а наутро у него случилась белая горячка. Он попросил у сестры спиртику похмелиться, та отказала. Тогда он, вскочив с постели, что было для него смертельно опасно, прошел за медсестрой в перевязочную, где хранились лекарства, оттолкнул ее, ударил, разбил стеклянный шкафчик в поисках спирта, двинул прибежавшего врача дрючком, которым открывали окна, короче, покуралесил порядочно, пока не скрутили его двое здоровых санитаров прибывшей психиатрической перевозки и не увезли. Думали, что помрет в психушке без хирургического ухода, но через пять дней его вернули вполне живого.

Четвертый, слегка окающий раздраженный голос подавал некий горьковчанин. Кто он по профессии, Тимашев так и не понял. А свою историю, как его пырнули ножом на Ветлуге, рассказывал подробно. Сам Тимашев на Ветлуге был дважды — с Лёней Гавриловым, который из дружеских чувств считал, что историк Тимашев должен «изнутри увидеть настоящую Россию». И Илья живо вспомнил мелкие домишки с занавесочками и массой цветов на окнах, домашний уют и разрушенные церкви, испохабленные каменные дома начала века, дикость мужиков, пьянь, безделье, отсутствие всякой духовной жизни, там, где до революции кипела торговля, устраивались ярмарки, были свои театры, создавалась местная элита, а теперь — как после нашествия гуннов: гуляет дикая стихия народной жизни. И горьковчанин об этом же рассказывал.

— Ты на Ветлугу отдыхать ездил? — допытывался обстоятельный.  
— Куля — отдыхать! Ножом в живот пырнул, блядь этакая! Да еще и руку порезал.

— Так-так. Кого пырнул? — изображал непонимание обстоятельный.

— Кого? Меня!

— За что?

— Ни за что! вот за что! Сука, блядь такая. Увидеть снова и убить его насмерть! Ей Богу, убил бы! Да, боюсь, в Горьком его дружки семью порежут. Я сам из Горького. Привез оттуда на Ветлугу рабочих на уборку. Спим в сарае. Я вышел покурить. Возвращаюсь — он в дверях, ждал, сука. И, слова не говоря, сразу в живот пикой. Я отшатнулся прямо. А он, сука, снова. Я рукой раз отбил, вон видишь, тоже пропорол, теперь зажила почти. И в живот. Убить хотел. И надо же, через пять дней его выпустили, говорят, нет свидетелей, нет и состава преступления. Что ж, я сам себя на нож три раза натыкал? В милиции говорят: сам виноват. В чем? В том, что мордвин я. А тот, сука, мордву не любит, высказывается, что для него мордвин хуже еврея.

— Хуже не бывает, — возразил приبلатненный.

— А он уехал отпуск догуливать, — продолжал повествовать горьковчанин. — Теперь вот из больницы боюсь и на родину-то возвращаться. Подстережет он, или из дружков кто, ведь и жену могут, и ребенка. Все же убил бы его, да меня засудят. Это таким, как он, с рук сходит. Одна судимость у него есть, правда. Девушку, то есть женщину, человека, одним словом, со второго этажа выкинул. Она теперь увека, увечная, а он три года отсидел — и хоть бы что!

— А вы с ним не ссорились? — интеллигентски-занудный голос.

— Да на куй мне это надо — ссориться. Просто ему крови захотелось. Хорошо еще, что до города, до Ветлуги то есть, всего шесть кэмэ было. А то бы так там кровью и истек. Из Ветлуги самолетом в Горький, тоже там не все операции могут, вот в Москву и отправили.

«Криминогенный мир», — думал Тимашев. Казалось бы, на фоне этого дикого быта все его терзания и переживания, чувства вины и раскаяния должны бы потускнеть, испариться. Но ничего Илья не мог с собой поделать — вспоминал, вспоминал, корчась внутренне от мук.

В коридоре, где они лежали, шел ремонт. Пахло краской и известкой. Слышался топот тяжелых рабочих сапог и матерные шутки. Маляры порой бегали больным за водкой по рублю сверху каждой бутылки. Заполночь, когда сестры уходили спать или заниматься любовью, ходячие и выздоравливающие распивали припасенные днем одну или две бутылки. Укрываясь, разумеется, от иногда заглядывавшего на этаж дежурного врача. «Прямо, как наша редакция», — думал Илья, засыпая. Думал об этом и на следующий день, когда неожиданно услышал рядом с собой голос Гомогрея:

— Здорово, Илька! К тебе от всех делегирован! Я — рад! Ты понял? Я рад, что ты выжил! Сто лет теперь будешь жить! Ты выжил, Илька! Мы еще с тобой великих дел наделаем! Будем разбивать гнилые головы догматиков! Ха-ха! Ты нам нужен. Толик Тыковкин в тебе заинтересован! Он говорит, что давно на тебя глаз положил, что взгляды на происходящее у тебя то, что надо! Он к себе и литературного критика на подхват возьмет, чтоб мог, кого надо прижучить: есть такой Андрюша Мензер, в Толика верит, за ним хвостом ходит, в рот ему глядит.

— Почему это?

— Да ты что, Илька! Как во сне живешь! Ничего вокруг себя не видишь! Толиков отец — прогрессист, он сейчас в почетной ссылке, но за ним есть силы, он вроде как разведчик в стране врагов, свой среди чужих, чужой среди своих, Азеф, одним словом, изнутри, — тут он зашептал, — изнутри хочет партию развалить. Он их заставит собственное мясо жрать, ну, это я образно выражаясь. Они думают, что его от власти отстранили. Но он у них ее назад вырвет. А их растопчет. Вначале некоторый упадок в стране, а потом подъем на новых основах. Илька, посмотри, что происходит. Прогрессисты непременно придут к власти, и мы должны успеть затесаться в эту компанию. Пока не поздно перескочить в другую лодку. Партию, на хрен, развалят, создадут другую, — он забыл, что надо эти слова шептать, его слышали другие больные.

— Так-так! — сказал обстоятельный. — Никак это невозможно. Двух партий у нас быть не может: не прокормим.

— Вот именно, — сказал Илья. — Что же, они под себя копают, что ли? Они же пайков и привилегий не стоять в очередях лишатся.

— Ты что? — простодушно возразил Гомогрей. — Они-то себе нахапают. Они же у руля останутся. Будут руководить. Большевики же в разруху неплохо совсем жили. Не бойся, себя они не

забудут. — Наклонившись, зашептал в ухо: — Ты подумай. Коммунык повыведем! А? Ведь ихняя идеология во всем виновата, Карла Маркса этот! — ликовал член партии Гомогрей.

Высказавшись, убежал.

«При чем здесь, у нас, Маркс? — думал Илья. — Потому что — еврей? Не для России он писал. А, все равно — евреи виноваты, так и будут кричать. На себя обернуться не захотят». Он понял, что не будет примыкать ни к каким прогрессистам. Придут к власти — снова будут враги народа, снова будут сажать. Логика борьбы. Тоска. И вообще — жить в этом мире ему не хотелось: все дичь какая-то. Хоть бы поглядеть вокруг себя зрячими глазами. Хотелось смотреть, видеть свет. Но глаза не открыть — темнота от повязки. И снова разговор.

Начинает обстоятельный:

— Так-так. В морге — ха-ха чепе. Слыхали? Шесть золотых зубов у мертвеца вынули. Я думаю, санитары, больше некому.

— У нас это бывает, запросто, — раздраженный голос горьковчанина. — Какому ни то разбойнику все по херу. И живой, и мертвый.

— Почему разбойнику? — хрипит приבלатненный. — Ты, бля, как будто других человек в жизни не видал. Тут один сторож на даче жил, ну, дачные участки охранял, со своей бабой в финском домике кантовался. Так что они делали? Девочек молоденьких к себе заманивали, там он их насильничал с ее помощью, потом убивал, в тазу или корыте они их на куски разделявали и их мясом питались. И еще на шашлык знакомым мясом продавали. Штук семнадцать убили. Это как же вот, объясните мне, она своего мужика любила, чтоб помогать ему других баб драть? Моя бы скорей меня бы прибила. А может, от человецкого мяса стоит тверже? Вот этик наш чего скажет? Ученый все же.

Интеллигентски-занудный, но перепуганный голос:

— И вы так спокойно про это рассказываете! Ведь могла попасться ваша сестра, жена, дочь! Нет, этого не может быть, это каннибализм! Мать, не слушай их!

— Я такие страсти и слушать не хочу, — старушечий голос. — Как только по-ужасному себя люди не ведут!

— Правильно, мать, — соглашается обстоятельный. — Это жизнь. А у жизни надо учиться, она все тебе, покажет, чего бывает. Про мужика, который трех своих жен съел, не слыхали? Так-так.

На последней его застукали. При людях потому что сожрал и их накормил. Пили они. И баба этого мужика с ними. Ну, закуска кончилась, а самогону навалом. «Что ж, — говорят ему, — и закусить у тебя, у засранца, нечем. Бабу плохо воспитываешь» — «Счас, — отвечает, — с Глашкой чего-нибудь сообразим. Пойдем, Глафира, со мной». Ну, ушли, час их нету. А те уж, гости, значит, встать не могут, только рычат: «Нас, дескать, на бабу променял». Через час хозяин возвращается, но, заметьте себе, что один. «Ну, — кричат ему, — про друзей забыл, что просили. Все из-за бабы своей. Убить ее не жалко. Ладно, где Глафира? Пусть хоть макарон сварит». Он им: «Я, говорит, друзей не забываю. Для друзей мне ничего не жалко. А Глашка в кухне, сейчас ее мясца попробуем». А те так понимают, что Глашка мясо готовит, и ее-то стряпню и будут есть. Минут через десять выходит, возвращается с печеным мясом. «Ишь ты, хвалят его, вырезка!» — «Мне, — повторяет, — для друзей ничего не жалко». Ну, жрут, пьют. А потом кто-то спрашивает: «А Глашка где?» — «Да вон, на столе» — «Где на столе?» — «Да вы ж ее сами съели. Мне, что друзья захотят — закон! Ничего не жалко» — «Как!?» Кого-то прямо тут рвет, кто-то в ванную ползет-ковыляет. Там, в ванной, ее и нашли на куски порубленную. Мягкие места только для жаркого он вырезал. Ну, позвонили, повязали его. Милиция приехала, забрала. На следствии и про двух своих прежних сознался.

— Широкий мужик! — квакнул приبلатненный и добавил. — Это, бля, прямо, как Стенька Разин. И за борт ее бросает в набежавшую волну, — прогнусил он даже слова песни. — Все, бля, для корешей делаем, а они, суки, и продадут, как и Стеньку продали.

— Ужасы какие вы рассказываете, — старушечий голос. — Такое, не приведи Господь, во сне увидеть!

— Так-так. Во сне! — воскликнул обстоятельный. — Это, мать, в жизни, к несчастью, бывает. А ты, — обратился он, видимо, к приبلатнному, — чего сдуру обрадовался?! Я тебе про каннибала, который людей ест, про людоеда, чтоб тебе понятнее было, рассказываю. А ты — Стенька! Ладно, надо встать отлить. А то чаю сегодня много пили. Пойду побрызгаю.

Молчание в течение минут десяти. И опять новые истории, новые разговоры.

Он притерпелся к ровной, безостановочной боли в поломанных костях, она даже как будто становилась все слабее и слабее. Но иногда резкая боль в области позвоночника, ближе к копчику,



словно пронзала его: дыхание становилось прерывистым, глаза вылезали из орбит, натываясь на марлю повязки, он начинал корчиться и, задыхаясь, стонать. Тогда подходила сестра и делала ему укол. Он впадал в полудрему, и его посещали видения. Вариации на одну и ту же тему — Конца Света. Того самого Конца, когда восстало племя на племя, род на род, страна на страну, люди на людей.

От этих видений его бросало в ужас, в холодный пот: где бы он ни оказывался в этом кошмаре в редакции, у Элки с Антоном, у Лины — чудилось одно и то же. На улице начиналось смятение, какие-то толпы неслись лавиной, шли танки и бронетранспортеры, стреляли пулеметы, от толп отделялись отряды, заходили в подъезды, врываются в квартиры, вытаскивали людей, выбрасывали их на мостовую, давили их гусеницами, ломали и рубили им руки и ноги, жгли, сдирали с живых кожу. Последний раз, когда пришел к нему этот ужас, он бежал по залитым кровью улицам, прячась в подворотнях от спецподразделений, к Элке и Антону. Добежал. Дверь открывает ему Элка. «Чего прибежал?» — спрашивает. Лицо холодное, решительное. Антон собирается уходить, надевает ботинки. «На улицу нельзя», — умоляет он. «Испугался? — усмехается Элка. — А мы вот на баррикадах тусуемся. Все приличные люди там. Там — весело. Это настоящая жизнь!» — «Привяжите хотя бы белый бант на руку. С бантами не трогают», — просит. Чтобы не пустить Антона, он накидывает цепочку на дверь. Антон отталкивает его: «Отойди, трус!» Униженный, он отступает. Сын уходит, хлопая дверью. Они сидят с Элкой, молча глядя друг на друга, она — с презрением. Не обращая внимания на ее взгляд, он вооружается топором, становится около двери. Раздается стук в дверь, потом грохот, дверь трясется и трепещет, уже на одной цепочке держится. Нападающие стихают на минуту! Затем густой мрачный голос: «Открывай, падла, патриотам!» — «Фашистам не открою». — «Русским людям не откроешь? Ах ты, жидовская морда!..» — «Русский человек не может так поступать», — увещевает он их неуверенно. «Еще как может. Ты что, не знал этого, говно?!» С улицы слышны выстрелы, крики и рев толпы. «Открывай! А то сынка твоего приколем!» Он лихорадочно сдергивает цепочку. И вот в дверной проем врывается парень, толсторукий охотнорядец, с белыми губами, перекошенным лицом и с ножом, острием направленным Тимашеву в живот. На заднем плане он видит скрученного бандитами-командос Антона. Их зелено-пятнистая одежда, как у ящеров, как у

крокодилов или иных страшных пресмыкающихся. Илья обухом топора выбивает у парня нож из руки. Охотнорядец хлопается на колени, моленно к нему руки протягивает и рыдающим голосом кричит: «Папаня! Папаша! Это ж я от обиды! Я ж твой второй сын родной. Незнакомый, вот ты и не знал, что я у мамки родился. Ты ж ее бросил, когда она только затяжелела!» Илья в растерянности, с привычным чувством вины, стараясь не глядеть на Элку, опускает топор, вспоминая, о ком может речь идти. А в дверном проеме грудятся рыла, рожи, хари, морды, но и они замирают, они вроде бы как сопровождающие правдоискателя. И в этот момент парень ловко подбирает нож и снизу бьет Илью прямо в сердце, убивая с одного удара. Некогда Илья Муромец встретился в бою со своей незаконной дочерью-поляницей, но его крест спас от ее предательского удара. Ничто не спасает Тимашева. Нет на нем креста. И когда он падает, единственный защитник, ждущая толпа зелено-пятнистых врывается в квартиру, хватает, пытается, мучает Антона и Элку, также Лину и Петю, откуда-то здесь появившихся. А он лежит убитый и ничего не может поделать.

И снова с какой-то высоты видел он, как гибли сотни, тысячи, сотни тысяч людей... Люди бегали по улицам и умирали на ходу. Других хватали человекоподобные существа, они пытали свои жертвы, насиловали их, вешали, топтали ногами, рвали на куски, резали на части и варили их мясо в котлах на разведенных среди улиц кострах, насыщаясь человечиной. И повсюду стоял запах дыма, гари, крови и мясного бульона. Его мертвое тело валялось меж других трупов.

— Тимашев? Вон лежит, — донесся до него женский голос, и он, с трудом выбираясь из забытья и кошмара, был удивлен, как и кто смог его разыскать в этой груде трупов.

— Спасибо, — ответил знакомый мужской голос. — Здравствуйте, Илья, это Борис Кузьмин к вам пришел.

— Да? Я рад. А где же он?

— Я — это он и есть. Не узнаете мой голос?

— Теперь узнал.

\* \* \*

Борис шел к больнице пешком, через Тимирязевский парк. Утоптанная, посыпанная гравием дорога вела его сначала прямо, затем он свернул налево. С обеих сторон за истлевшей колочей проволо-

кой, натянутой на уже скособоченные столбики, стоял в меру неухоженный, хотя и разбитый на квадраты парк. Темно-серые осенние тучи зависли над его кустарниками, соснами, лиственницами и дубами, нагоняя почти вечерний сумрак. А вечерами, особенно поздними, здесь ходить было жутковато: случалось, грабили, случалось, насиловали, а то и убивали. Но днем здесь гуляли мамы и бабушки с детьми, почтенные семейные пары, старики со старушками. Вот и сейчас — впереди шага на два, выставив вперед правое плечо, шел невысокого роста старичок, шел стремительным, злым шагом, с каменным выражением на лице, а следом перебирала ногами, отставая шага на три-четыре, такого же роста старушка, очевидно, что спутница жизни. Но старик не оглядывался на нее, словно навсегда озлился на свою старуху и даже замечать ее не хочет.

Дорогу к больнице Борис знал хорошо: не раз ходил мимо на лыжах, да и лежал в ней дважды — раз по случаю аппендицита, когда его чуть не зарезали на операционном столе, другой раз, чтобы отмотаться от армии. Он подошел с тыла больницы, где был пролом в заборе. Среди кустов гуляли больные в пижамах и полосатых халатах, рядом с некоторыми шли одетые в цивильное платье родственники. Пройдя вдоль железного забора, Борис нашел напротив хирургического корпуса дырку: был выломан один из железных прутьев. Пролезши в эту щель, он оказался на заднем дворе больницы. Стояло два железных контейнера для мусора. Сладковато-приторный, гнусный запах помойки перебивал все лесные запахи. На асфальте валялись арбузные и дынные корки, смятые длинные использованные бинты, куски ваты со следами крови, сплюснутые гнилые помидоры и огрызки яблок, выброшенные из верхних окон или просто оброненные по дороге к мусорным контейнерам. На крашенных в синий цвет скамейках сидели парни и девицы в белых халатах, медсестры и санитары, и курили.

«Сумею ли я когда-нибудь описать эту больницу, этот парк? Особенно парк. Больница — сюжетна. А парк? Не описывать же, как зимой по воскресеньям ходил сюда кататься на лыжах».

Но лучше подумать, как рассказать Илье новости. Да так, чтобы его не травмировать. Откуда-то из Сибири взявшийся некто Каюрский узнал телефон Бориса, раза три уже звонил, побуждая навестить Тимашева, говоря, что тому нужна дружеская поддержка. Что про Лину уже можно сказать, что Илья уже о ее судьбе знает, а про Петю не надо. Борис и сам хотел навестить

Тимашева, но сначала был занят, потом смущала необходимость говорить про Лину... Только о тимашевском эссе «Мой дом — моя крепость»! Специально перечитал, сюда направляясь. Месяц назад Каюрский передал текст через Петю, пока тот еще был здесь. Илья ведь хотел знать его мнение... А там есть занятные наблюдения. Вот про эссе и надо поговорить. О собственном творчестве всякий послушать любит.

\* \* \*

**Илья ТИМАШЕВ**

## **МОЙ ДОМ — МОЯ КРЕПОСТЬ**

Эссе

Это выражение, пришедшее к нам, кажется, как отзвук английского института права, мы повторяем как шутку, не вдумываясь в его глубинный, культуросоцидающий смысл. А между тем, оно содержит едва ли не основной элемент правового сознания. Что значит: мой дом — моя крепость? Это значит, что общество гарантирует не просто неприкосновенность жилища, но — шире — неприкосновенность отдельной человеческой личности, уважение ее независимости. В России это «право личности» не сложилось исторически. Как замечает один из современных историков, Московская Русь сама была «огромной осажденной крепостью», равнинной страной, открытой со всех сторон набегам всевозможных врагов. Внутри этой осажденной крепости не могло быть и речи о правах отдельного человека. В результате в Московском государстве развился тягловый, неправовой характер внутреннего управления. Сословия различались не правами, а повинностями, меж ними распределенными.

Интересно, что в словаре у Владимира Даля слово «крепость» в смысле «укрепленное противу врагов место, твердыня» занимает пятое место, первым же объявляется значение принадлежности, состоянья, то есть крепостного подчинения. В народе крепостью называли тюрьму, а крепостное право строилось фактически на основе полного бесправия. Слово «крепость» в русской культуре получило значение не защиты, а порабощения человека. Причем закрепощение происходило стихийно, юридически не оформляясь. Земля была государева. Сперва можно было мужику переходить с места на место. Затем, чтобы земля обрабатывалась в нужных государству местах, переход был запрещен: вот огрубленный смысл появления крепостных. Потеря личной независимости произошла как бы сама собой. Когда, в период великих реформ прошлого века, стали искать юридический акт, объявлявший значительную часть народа бесправной, такого акта не нашли. Как, впрочем, не было юри-

дических обоснований, позволивших миллионы людей загнать в сталинские концлагеря. Сталинская тирания утверждалась постепенно, стихийно, как результат совместного творчества масс и власти. Масс, которые не сопротивлялись, и власти, которая почувствовала, говоря лагерным языком, возможность «беспредела».

Ключевский как-то заметил, что русская история склонна к повторам. Я бы говорил не о повторам, а о рифмовке через столетия основных понятий, выработанных историей. Сегодняшние проблемы родились не сегодня, но у сегодняшних и вчерашних проблем — один корень. Как известно, Сталин любил Ивана Грозного. А сходство сталинских расправ и расправ Грозного — огромное. (В скобках напомним, что Нечаев действовал от имени «Народной расправы» — как выразительно употребление слов!). Приведу как пример эпизод новгородского погрома (опять сходство, но как же иначе, если слово точно обозначает действие и никогда не лжет!) — в изображении С.М. Соловьева. К Ивану Грозному приводили новгородцев, пытали, жгли их какую-то «составною мудростию огненной», которую летописец называет «поджаром»; обвиненных привязывали к саням, волокли к Волховскому мосту и оттуда бросали в реку; жен и детей их бросали туда же с высокого моста, связавши им руки и ноги, младенцев, привязавши к матерям; чтоб никто не мог спастись, дети боярские и стрельцы ездили на маленьких лодках по Волхову с рогатинами, копьями, баграми, кололи рогатинами и копьями и погружали в глубину; так делалось каждый день в продолжение пяти недель. По окончании суда и расправы Иоанн начал ездить около Новгорода по монастырям и там приказывал грабить кельи, служебные дома, жечь в житницах и на скирдах хлеб, бить скот; приехавши из монастырей, велел по всему Новгороду грабить по торговым рядам и улицам товары, амбары и лавки «рассекать и до основания рассыпать»; потом начал ездить по посадам, велел грабить все дома, всех жителей без исключения, дворы и хоромы ломать, окна и ворота высекать. Весь этот разгром продолжался шесть недель.

И еще удивляются, почему мы так быстро привыкли к сталинским бесчестным расправам, привыкли, что двери наших жилищ открываются вовнутрь, словно для удобства тех, кто ломится к нам снаружи!

Разве не напоминает расправа над новгородцами расправу над крестьянами в годы коллективизации, когда уничтожали столь же беспощадно миллионы людей и их достояние?! Да и причина новгородского погрома многое может напомнить: донос, что новгородцы хотят «отложиться» к польскому королю. То же и у нас были изменники, «шпионы» в пользу кого угодно!.. Когда-то вольная новгородская республика, попавши под власть московского князя, перестала распоряжаться своей судьбой. А причина, быть может, в том, что еще дед Ивана Грозного Иван III, завоевав Новгород, отказался подписывать с ним договор, который как-либо ограничивал власть московского князя.

Мы традиционно пренебрегаем договорами, условиями, определяющими наши отношения с государством, упрекая Запад за формализацию общественной жизни. Но корни этого пренебрежения — в привычке к политическому бесправию. Существует точка зрения, что отсутствие правовых

отношений народа и государя в Московской Руси объясняется вотчинным типом отношений, напоминавшим отношение отца к своим детям в большом семействе. Но разве не больше это похоже на позицию завоевателя в покоренном племени?

Герцен полагал, что русское самодержавие сформировалось под сенью ханской власти татаро-монгольских завоевателей. И в этом есть резон, если мы вспомним о более, чем двухвековом иге, о том, что ярлык на великое княжение московские князья получали в Золотой Орде. Можно сказать, что Московская Русь в борьбе с монгольскими завоевателями невольно усвоила принцип единой державного, беспрекословного правления, характерного для войска, для военного лагеря. Но на каком экономическом принципе основывалось это единое державие?

Русские князья усвоили принцип «монгольского права», по которому вся земля, находящаяся в пределах владычества хана, была его собственностью. Никто из живших и работавших на земле не мог считать, что ему принадлежит земля, поэтому и дом на этой земле не был крепостью для его хозяина. Князь мог до основания срыть этот дом, поставленный на его земле и прогнать прочь земледельца. Известная независимость Новгорода, до которого не дотянулись монголы, была уничтожена московскими князьями — на основе монгольского права. Кстати, и поместья, которые получали дворяне, не были поначалу их собственностью. Они были жалованьем за службу. Дворянин владел поместьем, пока служил. Потом оно могло быть передано другому. Думается, и коллективизацию легко было провести, потому что земля не принадлежала обрабатывавшему ее крестьянину. Налетали вооруженные «представители центра», как отряд монгольских баскаков, собиравших дань, и никто не мог им противиться.

Крепостное право, пережитки которого сохранялись и в XX веке, было вроде бы опровергнуто «революционным правом», правом мужицкого топора. Тварь ли я дрожащая или право имею — спрашивал Раскольников. Право на что? На кровь. Во имя революции это право получили миллионы. Большевики хотели опереться на стихийное политическое творчество народных масс. В «окаянные дни» И.А. Бунин вспоминал, что А.К. Толстой всю жизнь сокрушался о прекрасной Киевской Руси (имевшей свой свод законов, Русскую Правду), погубленной монголами. В расстрельщиках из солдат и матросов Бунин увидел проснувшееся варварство, «воровское шатание», столь излюбленное Русью с незапамятных времен, стихию всеразрушающего татаро-монгольского нашествия: «город чувствует себя завоеванным». Взгляд великого писателя точен, ибо правового сознания у народа за века рабства выработаться не могло. Вначале татары, затем помещики, бесправие, названное крепостным правом, где крепость не защита, а место заключения: из крепости не убежишь. Славянофил Ю.Ф. Самарин, один из умнейших людей прошлого века, замечал, что «народ покоряется помещичьей власти как тяжкой необходимости, как насилию, как некогда покорялась Россия владычеству Монголов, в чаянии будущего избавления». Опора на неправоное сознание народа позволила придать бессудным расправам видимость законных действий. Сработала вековая привычка, что государство — полный хозяин

твоей жизни и смерти, привычка народа к тому, что его мучают, грабят, убивают все, кому не лень, в том числе и «свои».

Чтобы остановить анархию и разбой вольницы гражданской войны, возникла нужд в «твердой руке». Но и сама вольница — оборотная сторона бесправия. Не случайно, у нее общий корень со словом «произвол»: Бунин проводил параллель между «красным террором» и разинской вольницей. Этот произвол усвоила и диктаторская власть Сталина. Советы, рожденные творчеством масс, но не подкрепленные «буржуазным» правом, правом личности, подпали под власть тоталитарной структуры, стали ее элементом. Свобода, в отличие от вольницы, имеет ограничительный характер, меру, предел. Моя свобода кончается там, где начинается свобода другого человека. Ибо человек есть крепость, которую нельзя тронуть. Эта крепость должна быть несокрушима.

\* \* \*

Отделение, в котором лежал Тимашев, находилось на третьем этаже. Был день приема. Обшарпанные стены, побитые ступени, заляпанные известкой, по два телефона-автомата на каждой лестничной площадке... Но на втором этаже телефоны не работали, на четвертом, как он понял из разговоров, работал только один, поэтому желающие позвонить толпились на третьем: мужчины в разноразмерных пижамах и женщины в халатах. С площадки Борис прошел в вестибюль с лифтом, а оттуда в коридор, где среди прочих больных лежал Илья.

В пахнущем масляной краской коридоре — перед стеклянной дверью в столовую между двумя большими кадками с фикусами — стоял низенький столик. Вокруг него на банкетках и стульях сидели больные. Четверо играли в домино, остальные следили за ходом борьбы. Проходившие мимо сестры и врачи время от времени просили их быть потише. Гам на минуту стихал, потом постепенно нарастал снова. Верховодил игрой обстоятельного вида мужик с редкими волосами, зачесанными так, чтобы прикрыть голый череп, лицо с лукавинкой.

— Так-так. Ну, давай, батя.

— Голого отрубил, — сообщил утконосый старичок. «То есть пусто-пусто», — догадался Кузьмин, задержавшийся неподалеку и, как положено писателю, наблюдавший «картинку жизни».

— Так-так. Ты что, батя, не видишь? Я же шестерки даю.

— И я своего напарника учу, а он все никак, — жаловался мрачного вида детина в расстегнутой пижаме, с тремя марлевыми наклейками на животе.

— Ага, пустырь вышел!  
— А я ойзермана тебе (это было пусто-один).  
— Вот на двоих-то лучше.  
— А на пятерых и того краше.  
— Так-так. Петушок, значит. А мы рыбу. Считаю, — обратился обстоятельный мужик к старичку.

— Сорок один.

У противников оказалось столько же:

— Сорок один. Проверь!

— Так-так. Верю. Значит, яйца. Восемьдесят два на яйца!

— Без яиц играть не интересно. Кто рыбу сделал, заходи.

— Дупелек двушечный.

— Ну и мы потихонечку. Цыпленок по зернышку клюет, а сыт бывает.

— А ты, батя, не мудрой. Ты что не видишь, с чего я заходил? А ты мне двойку бьешь! Играй на заходчика!

— На двоечках решили проехаться. Не выйдет.

«Сюрреализм, разговор умалишенных», — попытался писатель определить, как можно бы изобразить разговор игроков в домино. Озираясь по сторонам, он миновал играющих и, спросив у медсестры, где больной, двинулся к койке, стоявшей у стены между двумя окнами. Около нее торчала капельница, но сейчас она не была подсоединена к лежащему на койке телу. Увидев Тимашева, Борис произвольно вздрогнул. И подумал, что не только о Лине и Пете, но даже слова сочувствия говорить здесь бессмысленно, и порадовался, что перечитал его эссе. Худой, как из Освенцима или с Колымы, Тимашев лежал на спине, заострившимся лицом кверху, с марлевой повязкой на глазах. Желтовато-белая кожа с пятнами йода, выступавшими из-под повязки, обтягивала его лоб, щеки ввалились, бороде ему, видно, недавно подстригли, но как-то неаккуратно, клочковато. Руки тонкие, бессильные, поверх одеяла. Словно какая болезнь пожирала его изнутри. Так выглядят раковые больные в последние перед смертью месяцы. Кузьмин отвел глаза, но потом все же заставил себя смотреть на лежащего, привыкая к его новому облику. «Хорошо, что он сам себя не видит», — промелькнуло в голове. Он проглотил слюну, пересилил себя и окликнул Тимашева.

— Что скажете? — раздался с постели скрипучий голос.

В словах, в интонации почудился было Борису упрек, что он не приходил раньше.



— Что я рад вас видеть, Илья, живым. Слава Богу, произошло чудо и вам повезло.

— Да не так чтобы очень и повезло. Опять надо принимать самому решение, — нет, упрека в словах не было, но звучали они непонятно.

— По поводу жены вашей и Лины? — решил осторожно спросить Борис, думая даже напомнить Илье о нынешнем состоянии Лины, в каком-то затмении полагая, что сама судьба сделала за Илью выбор, избавив его от метаний между двумя женщинами.

— Дело не в женщинах. По поводу себя решать надо.

— Простите, Илья, не понял.

— Трудно объяснить. Сил нет. Скажите лучше, как ваши успехи? Как ваша «семейная сага»?

Борису показалось, что это и в самом деле интересует умиряющего, и он начал рассказывать, что заканчивает первую повесть задуманного цикла, но вдруг спохватился: стало стыдно говорить о себе.

— Я, кстати, перечитал ваше эссе «Мой дом — моя крепость». Понятие крепости для нас и еще более символично: мы слишком усердно строили крепость социализма наперекор всему миру. Об этом, я понимаю, написать было нельзя, но это читается между строк. Вы не пытались где-нибудь опубликовать текст?

— Забыл текст, забыл, о чем писал.

— Как?

— Так. Я многого не помню. Теорий своих не помню, а вспоминаю все время близких людей. Только о них и думаю. Вспоминаю слова, жесты, ситуации. Да разговоры слушаю. Еще кошмары снятся.

— Какие кошмары?

— Разные. Смешно сказать, но я ведь в самом деле почти на том свете побывал. Вот и кошмары. Неправильно, несправедливо жил. Сейчас бы все иначе строил. Всю свою жизнь. И отношения с женщинами тоже. Еще что? Еще Конец Света снится.

— В каком смысле — Конец Света?

— В самом прямом. Ну да это сами со временем увидите. Расскажите лучше об общих знакомых. Что Петя? Как он?

— Пети здесь больше нет.

— То есть? — вздрогнул больной. — Что случилось? Или не можете говорить? Меня не надо щадить...

— Да все могу. Слов только сразу не подберу. Версии собственно две. Первая ужасна. Тут у нас всякое плетут. Говорят, что связался с какой-то шайкой, науськал на школьного учителя хулиганов, которые того чуть не убили. А затем, чтобы концы в воду, с Петей расправились. Задушили полиэтиленовыми пакетами его и его девочку, а девочку еще и изнасиловали Темная история. И позорная, если все это так и было, я имею в виду — с учителем. Получается, что сам виноват: инициировал дьявола, дьявол его и погубил. А по второй, она мне кажется более реальной, сразу после похорон Розы Моисеевны приехали коллеги Владлена и увезли его в Прагу к родителям. Он настаивал, чтобы и его девочка Лиза с ним поехала. Но пока не получилось. А недавно до меня дошел слух, что Владлен умудрился получить приглашение в Германию, возможно, там с семьей и останется по еврейской линии. Немцы, как вы знаете, еще искупают свою вину перед евреями. Правда, Петина Лиза к ним не едет: немцы пока не разрешили. Не подходит под немецкий орднунг, не жена, стало быть, прав нет.

— Забавно, — слабо улыбнулся Тимашев. — Едут в Германию, которая придумала газовые печи, а России бояться. Может, и не зря. Беда в том, что ничего лучше мы не построим. Не способны. И снова будет кровь и насилие.

— Илья, это чересчур мрачно.

— Почему? Когда шли к власти большевики, у них несмотря на нечеловеческую жестокость, не только их, кстати, но и белых, и зеленых, были и идеалы. Нынче — идеалов нет. Всколыхнется наше болото, и мир вздрогнет.

— Откуда вдруг болото? Вы себе противоречите, Илья. Вы ж вывели в качестве константы нашей культуры понятие *крепости*, — сказал Борис, видя, как оживился лежавший на кровати полумертвец, и радуясь, что он, как ему показалось, способствует его оздоровлению своими разговорами.

— Отвечу. У Даля в словаре поговорка приводится: «Стоит Москва на болоте, не сеет, не молотит, а лучше других питается». Кремль-крепость есть производное от этого болота. Ведь болото в России выполняло функцию защиты, крепости, как на Западе — горы, каменные укрепления. Слово «крепость» можно произвести от слова «крепь» через ять, что значит «болото». Игра в слова очень важна для понимания культуры. Болото спасало жителей. Враги не могли пробиться сквозь его топи, гибли в тря-

сине, — говоря это, Илья даже пальцем не шевелил, лицо тоже было недвижно, жили только губы.

Больные и сестры проходили, с любопытством поглядывая на них, но в разговор не встречали.

— Положим, — согласился Борис неуверенно. — Но кто живет в болоте?

— А вы сами про Джамблей написали! Разве это не болотные кикиморы? Зеленые, гадкие. Болото — это и защита, но и место обиталища всяких гадов, с которыми живущим среди болота людям приходится сосуществовать. Мы соседи исадиям бездны, так сказать, пограничные жители, на границе с адом.

— Я понимал этих зеленых девок как пришельцев...

— Откуда? *Откуда*, спрашиваю? Пришельцы разные могут быть. Из мира горного, и из бездны. Ваши явно оттуда, из глубины болота. Но они, конечно, не более, чем передовой отряд, всего лишь разведка боем. Беда и ужас в том, как вы и угадали, что люди их с охотой примут и пойдут за ними. По трупам людей же.

— Ну не все же у нас такие, — с уверенностью и некоторым самодовольством, что к нему нельзя отнести этих слов, сказал Борис.

— Конечно, не все. Но других мало. Они — избранные. Много званых, но мало избранных. Но на избранность надо решиться. Чтобы не идти с толпой, чтобы стать свободным, надо ощутить себя *странником* и *пришельцем* на Земле...

— Кто так сказал?

— Из послания апостола Павла к евреям. Могу вам процитировать.

— Как? Наизусть?

— А у слепых — я за эти недели понял — иначе память работает, очень обостренно. Они не могут прочитать, перечитать, поэтому память в состоянии восстановить многое из того даже, что и не думал запоминать. Слепой Гомер помнил тысячи стихов. Темнота способствует не только бреду, но и сосредоточенности. Вот послушайте, — и он медленно, отчетливо, с паузой в нужных местах начал произносить: «И говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле; ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечества. И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться; но они стремились к лучшему, то есть, к небесному; посему и Бог не стыдится

их, называя Себя их Богом: ибо Он приготовил им город». Взыскающие Града Небесного — только они имеют шанс выстоять.

— Но при Конце Света и они погибнут...

— Конечно, погибнут. Но я имею в виду другое: нравственно выстоять во всеобщем одичании, которое неминуемо будет. Когда свершится последняя катастрофа. Задача человека — не уцелеть, а выстоять. Впрочем, боюсь, что я для этого выстаивания уже потерял.

— Вы чувствуете себя очень несчастным, — вдруг быстро и утвердительно произнес Борис.

Губы собеседника сжались. Потом он ответил:

— Очень. Очень душа болит. А крепости духа в себе не нахожу.

— Не надо так себя мучить...

— Почему же?.. *Я виноват* — вот в чем дело. От того и мучаюсь. Виноват перед женой, что не умел ее и свою любовь уберечь, опорой для нее не стал, вечно женственное в ней проглядел, а оно ведь в каждой женщине присутствует. Виноват перед сыном, что не стал для него настоящим, авторитетным другом. Перед Линой, потому что, полюбив, не поверил себе, испугался любви, искал в ней только плотских утешений. И перед собой виноват, что не трудился, как должен бы, — в силу мне Богом отпущенных способностей. Тогда бы, может, и остальное иначе сложилось.

— Не вы один, Илья, все так живут.

— Вот именно. И по-другому у нас, за редким исключением, никто никогда не жил.

— Вы разуверились в России, — голос у Бориса прервался. — Но это состояние духа даже Чаадаев преодолел. Такая позиция бесперспективна, на мой взгляд. В таком случае, выход — или в отъезде, или... — он запнулся, глядя на умирающего.

— В смерти. Я знаю. Ехать мне некуда и незачем. Мне теперь везде будет плохо. Я вам напомним вашу же мысль, что ад находится на Земле. Если так, то Россия — один из его департаментов, не более. Но и не менее.

От слов Тимашева Борису стало не по себе. Конечно, он говорил это. Но как-то не так. Жизненных выводов он из этого не делал, только писательские.

— Вы замолчали, Борис. Вам, наверное, пора уходить. Вы не стесняйтесь. Я лежу, думаю, не скучаю. Спасибо, что зашли.

Это была помощь, и он ее с благодарностью принял.

— Да, мне пора. Поправляйтесь.

В этот момент в коридор с ведром, щеткой и тряпкой вошла одетая в серый халат нянечка, собираясь, видимо, протирать пол. С крепкими руками и ногами, по-деревенски толстыми, с крупным торсом, для которого ее руки и ноги казались слишком короткими. Волосы завивались как у негритянки, глаза синие, рот большой, губы полные. Она бросила тряпку в ведро с водой, затем достала, отжала, накрутила на щетку и, начиная двигать щеткой по полу, заговорила, поглядывая на мужиков:

— Природу не обманешь. Нет. Врачи анекдот вчера рассказали: приходит один дядечка в поликлинику, ну, ту самую, и спрашивает: «Доктор, у меня американская болезнь?» — «Спустите штаны, говорит. Нет, у вас японская. Называется — ханакеру».

Под общий смех Борис тихо вышел из коридора. Идя по парку, он постепенно успокаивался. Нелепое, упрямое ощущение того, что не зря же он на свет родился, посетило его. А раз он призван, значит, и избран, и будет свое дело делать, и Свет будет на нем держаться. Его искусство нужно России. Он поможет ей очиститься и выстоять. К Тимашеву он решил зайти через неделю, когда дописет «Два дома», повесть, которая была у него в машинке.

\* \* \*

Кузьмин ушел, а Илья тоскливо думал, что не умеет никто из людей его круга жалеть, что живут разговорами, а не душой. А у него душа болит. И эту душу пожалеть бы надо, но — некому. Он прислушался. Промогласно рассуждала раздражавшая его все последние дни своей пошлостью сменная нянечка. Мужики, похрюкивая, смеялись над ее высказываниями.

— Все от того, что распустились люди. Бабы особенно. Женщины на любое согласны. А у мужика нынче член не стоит, а хочется. Вот его на всякие извращения и тянет.

— Так-так. А женщину разве не тянет?

— Да если у женщины нормальный мужик, разве ей другие нужны? Надо только мужика в строгости держать, а то падки.

— А если женщина развратна?

— Вот я и говорю. Мне в войне десять лет было. На Украине я жила. Там всяко пишут. А я видела, как пришли немцы, высокие, белокурые, голубоглазые, сильные. Так девки сами к ним липли. А те безговали, отшивали их. Сама видела.

— А чего! Так, наверно, и было! — голос горьковчанина. — Наши девки грязны, а откуда и чистоте взяться? У нас до войны еще и сразу после немцы на Волге работали. Чистюли, аккуратисты. Слабых и увечных выбраковывали. Хулиганства у них не водилось.

— Это же ужасно, вы фашистов оправдываете! — с праведным изумлением плаксиво воскликнул философ-этик.

— Про это не знаю, — отрезала нянька. — А что видела, то видела. Наши девки лезли, а те брезговали.

— Так-так, — проговорил обстоятельный, посмеиваясь. — Видишь, открываются какие нюансы в жизни.

— Надо жить порядочно, — продолжала баба, не заботясь о логике своей речи. Мой папа женился, когда ему было тридцать шесть. Вот так. Не пил, не курил. Был здоров. И шестерых на ноги поставил. Трех сыновей и трех дочерей.

Илья вдруг почувствовал зависть к отцу этой бабы, потому что в ее голосе слышалась детская любовь к отцу, которую он мечтал хоть раз услышать в голосе Антона. Он даже застонал.

— Чего стонешь? — спросила его нянька. — Стонать мужику нельзя. Может, душно? Сейчас и в коридоре проветрим. Фрамуги открою, пока пол протираю. О мужиках есть такая поговорка. Хочет, но не может — это слабость. Может, но не хочет — это жестокость.

— Почему же это? — спросил обстоятельный, поддразнивая ее. — Например, мужик может ударить, но не хочет бить. Это — доброта.

— Неправильно. Я об отношениях мужчины к женщине говорю. Когда он, мужик то есть, может, но не хочет женщину, — это жестокость.

Опять все захихикали, а Илья под все эти препирательства и подначивания заснул.

Проснулся он с тяжестью на сердце, ощущая тоску и отчаяние, которых не испытывал с такой силой еще даже день назад. Чуть, дичь, дикость, глупость, ярость, взаимное равнодушие существ, называющих себя по привычке людьми, отсутствие душевной близости и тепла все длятся и длятся, столетия постукивают по стыкам исторических периодов, а зла и раздражения в мире не убывает. По-прежнему самые примитивные чувства — взял женщину, не взял женщину, убил, избежал смерти от ножа или не избежал: все та же равнодушная природа, меняя свои калейдоскопические рисунки людей и народов, этносов и суперэтносов, господствует над человеком. Природные циклы: детство, юность,

зрелость, старость, смерть — никуда от этого не убежать. И эта самка, говорившая о жестокости в отношениях между мужчиной и женщиной: все правда. Таково мироустройство. Преодолеть его можно только любовью. Но умеет ли русский человек любить?..

И тут он услышал Элкин голос. Слишком долго она не приходила, он перестал ее ждать. Он было потянулся к ней, но от первых же ее слов сжался, как от удара.

— Говорят, ты поправляешься. Мне твой Каюрский звонил. Сказал, что ты хочешь меня видеть. Пришла сама поглядеть.

— Немного поздно ты пришла.

— Уж как сумела! Ты наблудил — теперь терпи. Но я не это хотела сказать. После некоторого размышления я решила разрешить тебе вернуться домой.

— Благородно.

— А то нет? Кому, как не мне, придется за тобой ухаживать, кормить, судно подставлять, пока ты сам ходить сможешь! Я, пожалуй, готова на это. Но при некотором условии.

— Интересно, каком?..

— Я понимаю, что тебе это интересно. Скажу, не волнуйся. Похоже, что ты перебесился. Я готова все забыть. Живи с нами. В конце концов ты имеешь такие же права на квартиру, как и мы с Антоном. Я знаю, что твоя Лина в дурдоме и пойти тебе после больницы не к кому. А я на тебя много сил и молодости положила и еще придется класть, так что зачем мне лишаться статуса мужней жены?

— Я виноват. Элка. Прости, если можешь.

— Мне твои покаяния ни к чему. Я хочу с тобой договориться. Ты в свое время хотел быть сам по себе. Хотел свободы. Ты ее получишь. Но не мешайся и в мои дела и отношения. Ты — сам по себе, я — сама по себе. Заботой я тебя не оставлю, это я тебе обещаю. Здесь, кстати, курить нельзя?

— Как будто нельзя.

— Ладно, потерплю. И подумай: раз ты будешь с нами жить, то и тебе польза. Не замкнешься в своей книжной скорлупе. Время от времени живых людей хоть увидишь. Но не ожидай, что мы, раз ты с балкона сверзился, будем тебе ноги мыть и эту воду пить. У Антона уже своя жизнь. Да и вообще мало что в жизни меняется. Он все так же будет нам хамить, я все так же не буду вовремя мыть посуду и готовить обед. Но у тебя будет все же какой-нибудь, а дом.

— Знаешь, Элка, с тобой хорошо тусоваться или ходить на баррикады. Но не жить.

— Это уж как пожелаешь. Но если ты тем не менее решишь вернуться, запомни: я тебе рабой не буду. Я не Лина какая-нибудь...

Говорить с ней он больше не хотел. Надо было что-то решать. И делать это одному, наедине с собой.

— Я устал. Прости, мне надо отдохнуть, — он сжал губы и через некоторое время услышал звук удаляющихся каблуков. Тогда он погрузился в себя, отключившись от внешнего мира.

Можно подвести итог, думал он. Две женские жизни я испоганил. Одну навсегда, другую, в сущности, тоже. Свою жизнь сломал. И возвращаться мне некуда. Не хочу больше немой посуды, дыма коромыслом, ссор и раздражения по пустякам, российской романтики неустройства и разрухи. Если б знал, что делать дальше, как жить, то непременно бы жил. А так — бессмысленно. Оторваться от земного притяжения, взлететь, в горние выси подняться — не удалось. А хотел. Но здешняя жизнь оказалась сильнее меня. И теперь во мне все пусто. Никому ничего не надо. Нет ни земли, ни неба. Ничего нет. Копшатся некие существа на поверхности одного из космических тел. Как в сказке — деревня на спине рыбы-кита. А если он нырнет под воду?.. Всему конец. Мы не знаем, почему происходят бесконечные войны, убийства, революции. Как связан, как зависим человек от неведомой силы! Все темно и слепо. И нет любви. А все рассуждения о России, о Европе — ух, какие важные! — оттуда, из космоса, кажутся ничем. И нет такой крепости, которая способна была бы защитить свободу и независимость человека.

Он умирал, но еще не догадывался об этом. Чуть побольше бы силы духа, думал он, как у древних римлян... Что там писал Сенека? Человек, способный умереть, — свободен. Способный не по воле злодея, а сам по себе. Так надо осуществить эту последнюю возможность свободы. Он боялся ада. Нелепость. Ад остается на Земле. Он задержал дыхание, прекратив доступ воздуха в легкие, тело его стало выгибаться, жилы на лбу напряглись, и вдруг в голове и груди что-то разорвалось. Последнее, что он услышал, — слова приклатненного ублюдка:

— Жмурик-то наш как задергался. Помирает, что ли?

А потом наступила темнота, переходящая в вечный свет.



Владимир Карлович Кантор - доктор философских наук, ординарный профессор философского факультета Национального Исследовательского Университета «Высшая Школа Экономики» (НИУ-ВШЭ), член редколлегии журнала «Вопросы философии», литературный стипендиат фонда Генриха Бёлля (Германия, 1992), лауреат нескольких отечественных премий, трижды номинировавшийся на премию Букера, дважды входил в шорт лист премии Бунина, лонг лист премии «Русский Букер» (2014) и лонг лист премии «Ясная поляна» (2014), историк русской культуры, автор более семисот (700) опубликованных работ. Дважды лауреат премии «Золотая вышка» за достижения в науке (2009 и 2013 гг., Москва). Лауреат первой премии в номинации «За лучшее философское эссе» в Первом Международном литературном Тютчевском конкурсе (2013). Область научных интересов - философия русской истории и культуры. По европейскому рейтингу, публикуемому раз в 40 лет (январь 2005) парижским журналом “Le nouvel observateur (hors serie)”, вошел в число 25 крупнейших мыслителей современности, как «законный продолжатель творчества Ф.М. Достоевского и В.С Соловьева». Произведения Владимира Кантора переводились на английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, чешский, польский, сербский, эстонский языки.

### Основные опубликованные сочинения ВЛАДИМИРА КАНТОРА

#### *ПРОЗА*

- ДВА ДОМА.** Повести. М.: Советский писатель, 1985.  
**КРОКОДИЛ.** Роман // Нева. 1990, № 4.  
**ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА.** Повести и рассказы. М.: Советский писатель, 1990.  
**ПОБЕДИТЕЛЬ КРЫС.** Роман-сказка. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1991.  
**ПОЕЗД «КЁЛЬН-МОСКВА».** Повесть // Вопросы философии. 1995. № 7.  
**МУТНОЕ ВРЕМЯ.** Из цикла «Сны» // Золотой век. 1995. № 7.  
**КРЕПОСТЬ.** Роман (журнальный вариант) // Октябрь. 1996, №№ 6, 7.  
**ЧУР.** Роман-сказка. - М.: Московский Философский Фонд, 1998.  
**СОСЕДИ.** Повесть // Октябрь. 1998, № 10.  
**ДВА ДОМА И ОКРЕСТНОСТИ.** Повесть и рассказы. М.: Московский философский Фонд. 2000.  
**РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ, ИЛИ ЗАПИСКИ ИЗ ПОЛУМЕРТВОГО ДОМА.** Повесть // Октябрь. 2002. № 9.  
**КРОКОДИЛ.** Роман. - М.: Московский философский Фонд. 2002.  
**ЗАПИСКИ ИЗ ПОЛУМЕРТВОГО ДОМА.** Повести, рассказы, радиопьеса. М.: Прогресс-Традиция. 2003.  
**КРЕПОСТЬ.** Роман. М.: РОССПЭН, 2004. (Серия «Письмена времени»).  
**KROKODYL.** Roman. *Przekład: Walentyna Mikołajczyk-Trzcńska.* Warszawa: Dialog, 2007.

ГИД. Повесть // Звезда. 2007. № 6.

СОСЕДИ. Арабески. М.: Время, 2007.

KROKODILL: Romaan. Vene keelest tõlkinud Jüri Ojamaa. Tallinn: Loomingu Raamatukogu, 2009 / 3—5.

СМЕРТЬ ПЕНСИНЕРА: Повесть, роман, рассказ. М.: Летний сад, 2010.

Сто долларов: Маленькая повесть // Звезда. 2011. № 4.

ZWEI ERZÄHLUNGEN. Tod eines Pensionärs. Njanja. Dresden: DRKI, 2012.

НАЛИВНОЕ ЯБЛОКО. Повествования. М.: Летний сад. 2012.

MORTE DI UN PENSIONATO. Venezia-Mestre: Amos Ediziooni. 2013 *per la tradizione Emilia Magnanini*.

ПОМРАЧЕНИЕ. Роман. М.: Летний сад, 2013.

ПОМРАЧЕНИЕ. Роман // Волга. 2014. №№ 1—4.

ПОСРЕДИ ВРЕМЕН, ИЛИ КАРТА МОЕЙ ПАМЯТИ. Истории из прошлой жизни (Серия «Письмена времени»). М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив; Университетская книга, 2015 (в печати).

ЗАПАХ МЫСЛИ. Повесть (*готовится к публикации*).

### МОНОГРАФИИ

РУССКАЯ ЭСТЕТИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX СТОЛЕТИЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ БОРЬБА. М.: Искусство, 1978.

“БРАТЯ КАРАМЗОВЫ” Ф. ДОСТОЕВСКОГО. М.: Художественная литература, 1983.

“СРЕДЬ БУРЬ ГРАЖДАНСКИХ И ТРЕВОГИ...” Борьба идей в русской литературе 40–70-х годов XIX века. - М.: Художественная литература, 1988.

В ПОИСКАХ ЛИЧНОСТИ: ОПЫТ РУССКОЙ КЛАССИКИ. М.: Московский Философский Фонд, 1994.

“...ЕСТЬ ЕВРОПЕЙСКАЯ ДЕРЖАВА”. РОССИЯ: ТРУДНЫЙ ПУТЬ К ЦИВИЛИЗАЦИИ. *Историософские очерки*. М.: РОССПЭН, 1997.

RUSIJA JE EVROPSKA ZEMĹJA. *Mukotrpan put ka civilizaciji. Prevela s ruskog Mirjana Grbić*. (Biblioteka XX vek). Beograd. 2001.

ФЕНОМЕН РУССКОГО ЕВРОПЕЙЦА. Культурфилософские очерки. М.: Московский общественный научный фонд; ООО «Издательский центр научных и учебных программ», 1999.

РУССКИЙ ЕВРОПЕЕЦ КАК ЯВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ (ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ). М.: РОССПЭН. 2001.

РУССКАЯ КЛАССИКА, ИЛИ БЫТИЕ РОССИИ. М.: РОССПЭН, 2005. (Серия «Российские пропилеи»).

WILLKÜR ODER FREIHEIT? Beiträge zur russischen Geschichtsphilosophie. Ediert von Dagmar Herrmann sowie mit einem Vorwort versehen von Leonid Luks. ibidem-Verlag. Stuttgart, 2006.

МЕЖДУ ПРОИЗВОЛОМ И СВОБОДОЙ. К вопросу о русской ментальности. М.: РОССПЭН, 2007 (Серия «Россия. В поисках себя...»).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ ПРОТИВ РОССИЙСКОГО ХАОСА. М.: РОССПЭН, 2008. (Серия «Российские Пропилеи»).

DAS WESTLERTUM UND DER WEG RUSSLANDS. Zur Entwicklung der russischen Literatur und Philosophie. Ediert von Dagmar Herrmann. Stuttgart: ibidem-Verlag, 2010.

«СУДИТЬ БОЖЬЮ ТВАРЬ». ПРОРОЧЕСИЙ ПАФОС ДОСТОЕВСКОГО. Очерки. М.: РОССПЭН, 2010. (Серия «Российские Пропилеи»).

**«КРУШЕНИЕ КУМИРОВ», ИЛИ ОДОЛЕНИЕ СОБЛАЗНОВ** (становление философского пространства в России). М.: РОССПЭН, 2011. (Серия «Российские Пропилеи»).

**ЛЮБОВЬ К ДВОЙНИКУ, МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ.** Очерки // М.: Научно-политическая книга, 2013. (Серия «Актуальная культура-турология»).

**РУССКАЯ КЛАССИКА, ИЛИ БЫТИЕ РОССИИ.** М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив; Университетская книга, 2014 (Серия «Российские пропилеи»).

### *СБОРНИКИ*

**РУССКАЯ ЭСТЕТИКА И КРИТИКА 40—50-х ГОДОВ XIX ВЕКА.** Подготовка текста, составление, вступительная статья и примечания В.К. Кантора и А.Л. Осповата. М.: Искусство, 1982. (История эстетики в памятниках и документах).

**А.И. ГЕРЦЕН. ЭСТЕТИКА. КРИТИКА. ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ.** Составление, вступительная статья и комментарии В.К. Кантора. М.: Искусство, 1987. (История эстетики в памятниках и документах).

**К.Д. КАВЕЛИН. НАШ УМСТВЕННЫЙ СТРОЙ.** Статьи по философии русской истории и культуры. Составление, вступительная статья В.К. Кантора. Подготовка текста и примечания В.К. Кантора и О.Е. Майоровой (Серия «Из истории отечественной философской мысли»). М.: Правда, 1989.

**МЕТАМОРФОЗЫ АРТИСТИЗМА.** Составление, первая статья. М.: РИК, 1997.

**Ф.А. СТЕПУН. СОЧИНЕНИЯ.** Составление, вступительная статья, примечания и библиография В.К. Кантора (Серия «Из истории отечественной философской мысли»). М.: РОССПЭН, 2000.

**SIMON L. FRANK. Licht in der Finsternis.** Versuch einer christlichen Ethik und Sozialphilosophie. Einleitung von Vladimir Kantor: Das „Prinzip des christlichen Realismus“ oder Gegen utopische Willkür. (S. 11—35). Kommentar von Vladimir Kantor (S. 303—304). Verlag Karl Alber. Freiburg/München. 2008. 306 S.

**ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ЛОТМАН. Сборник.** Составление, вступительная статья В.К. Кантора — (Серия «Философия России второй половины XX века»). М.: РОССПЭН, 2009.

**ФЕДОР АВГУСТОВИЧ СТЕПУН. ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО.** Избранные сочинения / Вступительная статья, составление и комментарии В.К. Кантора. (Серия «Социальная мысль России»). М.: Астрель, 2009.

**ФЕДОР АВГУСТОВИЧ СТЕПУН. Большевизм и христианская экзистенция:** Избранные сочинения / Вступительная статья, составление и комментарии В.К. Кантора (в печати).

**АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ГЕРЦЕН. Избранные труды /** Составление, предисловие, комментарии В.К. Кантора. (Серия «Библиотека общественной мысли»). М.: РОССПЭН, 2010.

**ФЕДОР АВГУСТОВИЧ СТЕПУН. Сборник /** Составление, вступительная статья В.К. Кантора. — (Серия «Философия России первой половины XX века»). М.: РОССПЭН, 2012.

**ПЕТР БЕРНГАРДОВИЧ СТРУВЕ. Сборник /** Составление, вступительная статья О.А. Жуковой и В.К. Кантора. (Серия «Философия России первой половины XX века»). М.: РОССПЭН, 2012.

**ФЕДОР СТЕПУН. ПИСЬМА /** Составление, археографическая работа, комментарии, вступительные статьи к тому и всем разделам В.К. Кантора. (Серия «Российские Пропилеи»). М.: РОССПЭН, 2013.

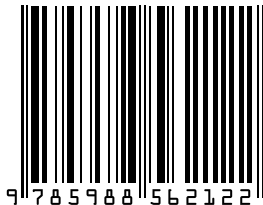
# Содержание

Глава I. Урок литературы .....	7
Глава II. Старухи.....	26
Глава III. Лина, или безумие .....	37
Глава IV. Интервью.....	51
Глава V. Существо с Альдебарана.....	65
Глава VI. Разговоры в коридоре и в комнате .....	89
Глава VII. Историософия за обедом .....	101
Глава VIII. Страхи и терзания подростка .....	127
Глава IX. Варварство и цивилизация .....	153
Глава X. Умствования .....	197
Глава XI. Из рассказов Бориса Кузьмина .....	235
Глава XII. Не дам!.....	259
Глава XIII. Ожидание .....	275
Глава XIV. Рыцарь печального образа.....	293
Глава XV. Прекрасное есть жизнь .....	315
Глава XVI. Упадок сил .....	337
Глава XVII. Ночные страсти.....	361
Глава XVIII. Наутро .....	379
Глава XIX. Вольтер .....	401
Глава XX. Либералии .....	427
Глава XXI. Школа .....	463
Глава XXII. Русская рулетка.....	491
Глава XXIII. После смерти .....	529
Глава XXIV. Последняя возможность свободы.....	557

**Кантор Владимир Карлович**

**Крепость**

*Роман*



Художник: П. Ефремов

Корректор: И. Ремезова

Компьютерная верстка: Ю. Балабанов

Издательство «Летний сад»:  
121069, Москва, ОПС 69, а/я 46.

Сайт: <http://letsad.org>

E-mail: [letsad@mail.ru](mailto:letsad@mail.ru)

Подписано в печать 10.12.2014. Печ. л. 37. Печать офсетная.  
Бумага офсетная № 1. Гарнитура Petersburg. формат 60x84/16.  
Тираж 1500 экз.





Владимир Кантор написал книгу об обреченности русской интеллигенции XX века – по крайней мере, в устоявшихся выморочных формах ее существования.

Об ужасе, который охватывает книжных мальчиков, когда реальность врывается в бумажный мир.

Книгу о непрочности любой крепости: социализма, семьи, духа.

О том, что панцирь и хитин непрочны, как скорлупа.

Книгу, как у Чехова, вполне мизантропическую, но, как у него же, умную и светлую.

*Виктор Куллэ (Санкт-Петербург)*

Роман Владимира Кантора – современное трагическое произведение, связанное с великим прошлым нашей культуры.

Если искать преемственность, традицию, то, на мой взгляд, роман «Крепость» многими нитями связан с Достоевским и через него – с древней греческой трагедией.

Речь идет, как понятно, о структуре романа, созданного по законам трагедии.

*Елена Андрущенко (Харьков)*

Право же, "Крепость" хороша.

Ваш роман полифоничен, глубок, время заката показано в нем с удивительной и беспощадной точностью. Персонажи, от бабки-аргентинки до Ильи, все звучат правдочным звоном.

Еще, конечно, это роман философа-мудреца, философа-европейца, дающий пищу для глубоких и, увы, невеселых размышлений.

Есть сцены, просто пробравшие меня до счастливых мурашек очевидца: последний раз я "заводился" так от Бунинской и Газдановской прозы.

Это, правда, удавленная вещь, только по какому-то недоразумению оставшаяся малоизвестной.

Впрочем, романы такого свойства и не для масс пишутся.

*Афанасий Мамедов (Москва)*

Ваш роман - сильное и запоминающееся удовольствие.

Внутренний дискурс основных "главных героев", рефлексия, продолжающаяся даже за пределами человеческого существования, создает читателю уверенный фон для сопереживания. Романов, ставящих перед собой столь масштабные задачи, очень мало и ценность этой вещи неоспорима.

*Елена Костюкович (Милан)*